



Эмиль Габорио
Дело вдовы Перуж
Гастон Перу
Духи Дамы в черном
Морис Леблан
Арсен Люпен —
ДЖЕНТЛЬМЕН-
ГРАБИТЕЛЬ

Романы
Перевод с французского



Москва · Прогресс · 1990

ББК 84.4Фр
Д29

Составители *д. ф. н. В. Е. Балахонов*
и *Э. Л. Шрайбер*
Автор предисловия *д. ф. н. В. Е. Балахонов*
Художник *Ю. А. Ноздрин*
Редактор *О. С. Богданова*

Д29 **Дело вдовы Леруж: Сборник: Пер. с фр./ Авт.**
предисл. В. Е. Балахонов.— М.: Прогресс, 1990.—
608 с.

В сборник классического французского детектива вошли произведения трех признанных мастеров этого жанра: Эмиля Габорио (1832—1873) «Дело вдовы Леруж» (1868), Гастона Леру (1868—1927) «Духи Дамы в черном» (1909) и рассказы Мориса Леблана (1874—1941). Все произведения отличаются четко выраженной демократической направленностью, дают широкую панораму общественной и социальной жизни второй половины XIX в.— начала XX в. Мастерски построенная интрига, увлекательная манера повествования держат читателя в неослабном напряжении. Адресуется широкому кругу читателей.

4703010100

Д $\frac{4703010100-235}{006(01)-90}$ КБ—23—25—89

ББК 84.4Фр

ISBN 5—01—002101—3

© Предисловие, перевод на русский язык и художественное оформление издательство «Прогресс», 1990.

Полицейский роман... Кто хотя бы раз в жизни не обращался к этому жанру литературы, нередко вслух выражая к нему высокомерное пренебрежение, но втайне зачитываясь подчас невероятными или даже нелепыми приключениями его героев! Люди вполне самостоятельные и не склонные во всем соглашаться с мнением тонких ценителей изящной словесности открыто признавались в том, что вместе с Шерлоком Холмсом, комиссаром Мегрэ или мисс Марпл пытались найти разгадку таинственных и страшных преступлений, примеривали на себя роли борцов за поправную справедливость, бесстрашных защитников оскорбленной добродетели. Среди этих достойных людей можно было бы назвать и выдающихся государственных деятелей, решавших судьбы целых народов, и знаменитых мужей науки, художников, музыкантов, поэтов и тех, кого мы иногда склонны величать «простым народом». Люди серьезные и легкомысленные, прошедшие суровую школу жизни или только вступающие в нее, они видели в гонимой и презираемой одними, превозносимой и почитаемой другими детективной прозе то способ уйти от серой и унылой повседневности, то источник знаний о скрытых сторонах жизни той или иной эпохи, повествование о людских страстях, пороках и добродетелях.

Кто только не ломал голову над романами о преступниках и о тех, кто призван — часто рискуя здоровьем и самой жизнью — охранять общество от покушений на установленный в нем порядок: психологи и социологи, медики и историки литературы, юристы и просто историки; будем признательны им — мы теперь многое знаем об этой *законной* ветви художественной литературы, признали за ней право на существование, знаем о том, как и при каких условиях она зарождалась, о ее предшественниках, о ее корифеях и эпигонах.

Таинственные приключения, мрачные преступления и просто загадки природы вроде славного Бермудского треугольника или летающих тарелок, за которыми нередко хотелось видеть чью-то злонамеренную или, напротив, бла-

годетельную руку, всегда привлекали внимание человека. О них думали, говорили, писали с незапамятных времен, и это, надо признать, весьма затрудняло решение вопроса о том, когда же, собственно говоря, на нашей планете появился детективный роман.

Вообще здесь, как и во многих других случаях, определение того, о чем мы рассуждаем, оказывается не столь уж простым делом. Практически мы не делаем различия между двумя не вполне тождественными понятиями: роман детективный и роман полицейский. Действительно, произведения о преступлении (или даже проступке, нарушающем общепринятые нормы поведения) и о поисках виновного — злодея или просто человека, нарушившего установленный порядок, — можно найти в литературах и давно ушедших в прошлое эпох, когда самих полицейских еще не было в помине.

Лишь с некоторой натяжкой можно было бы отнести к предшественникам подлинно детективной литературы так называемый *готический* или черный роман, весьма распространенный в Англии XVIII — начала XIX в.: «Замок Отранто» (1764) Г. Уолпола, «Удольфские тайны» (1794) А. Радклиф, «Монах» (1808) М. Г. Льюиса и знаменитый «Мельмот-скиталец» (1820) Г. Метьюрена. Вот уж где было вдоволь тайн и преступлений, в том числе и таких, для разгадки которых нужны были не столько проницательный ум и наблюдательность Шерлока Холмса или Лекока, героя романов Э. Габорио, сколько бесстрашие перед лицом таинственных инфернальных сил и жестокостью коварных злодеев.

В названных выше романах нет того, что позволило бы нам отнести их к жанру собственно детективных произведений. Мы упоминаем их авторов лишь потому, что они передали последующему поколению писателей некоторые устойчивые компоненты литературы о приключениях, столкновении могучих страстей и преступлениях, о беспримерных злодействах и о возвышающей душу готовности к самопожертвованию ради справедливости или великой любви. Это и ряд сюжетных схем и ходов, и готовые описания мест, особенно благоприятствующих совершению преступлений (старых замков, крепостных развалин с потайными ходами и жуткими подземельями), своеобразная *живописность* в изображении пейзажей и характеров и даже неповторимый *пафос*, обращенный к чувствам и уму потрясенного и растроганного читателя.

Не забудем и того, что один лишь, например, «Мельмот-

скиталец» оказал огромное воздействие на современную ему европейскую, в том числе и русскую, литературу¹. Его переводили на другие языки, ему подражали, следы его влияния мы обнаружим даже в некоторых произведениях, созданных через столетие после его появления на свет².

При всех несомненных достоинствах произведений Г. Уолпола или А. Радклиф в них, однако, не было той главной фигуры — полицейского или хотя бы сыщика-любителя, «из любви к искусству» более или менее систематически и не без успеха занимающегося сыскным делом (того же Шерлока Холмса или Ш. Дюпена из рассказов Э. По), — которая становится как бы организующим стержнем всего произведения. Не было ее по той простой причине, что фигура сыщика-профессионала в реальной жизни, в общественной иерархии XVIII в. еще не занимала сколько-нибудь заметного места.

Существенно и другое. Внимание авторов готических романов практически не привлекала социальная проблематика: время социального исследования действительности, подлинно исторического подхода к ней еще не наступило. Необходимо было появление «Человеческой комедии» Бальзака для того, чтобы в литературе сместились многие акценты, место необыкновенных *романтических* персонажей заняли реальные, живые люди, место таинственных, исполненных мистики приключений — реальные, подчас не менее страшные драмы, происходящие с этими людьми в реальной же, а не рожденной слишком пылкой фантазией жизни.

Конечно, Бальзак многое унаследовал от готического романа, внимательным читателем которого он был. Это заметно не только в его «Прощенном Мельмоте», но и в «Истории тринадцати», в таких романах, как «Блеск и нищета куртизанок». Для нас, однако, более существенно то, что в его произведениях борьба Добра со Злом утратила свойственную большинству произведений готической литературы некую отвлеченность. Бальзак сделал важный для современной ему литературы шаг, обратившись к реальным фактам повседневной жизни, используя подлин-

¹ Подробно об этом любознательный читатель может узнать из превосходной статьи акад. М. П. Алексеева в книге: Г. Р. М е т ь ю р е н. Мельмот-скиталец. Л., 1976, с. 563—674.

² Один из главных мотивов романа Г. Леру «Привидение в Оперном театре», о котором несколько слов будет сказано позже, на наш взгляд, прямо заимствован из романа Метьюрена.

ные документы эпохи, воспоминания и дневники реально существовавших людей. Говоря об этом, чаще всего ссылаются на «Мемуары» Видока, от которых Бальзак отталкивался, создавая злобещий образ «Наполеона каторги», одновременно сыщика и преступника Вотрена.

Все же главным обстоятельством, которое способствовало появлению детективного романа в полном смысле слова, явился совершавшийся в литературе поворот к современности. События в готических романах, в произведениях на исторические темы, например в романах Вальтера Скотта, происходили почти всегда в более или менее отдаленном прошлом. Успех детективному роману в конечном счете принесло обращение именно к современному материалу, непосредственно затрагивающему читателя: с ним, этим читателем, могло произойти то, что происходит с героями литературного произведения, и это, естественно, вызывало соответствующие эмоции, особые переживания, ощущение подлинности происходящего в романе.

Усилению интереса читающей публики к преступлениям, совершаемым где-то рядом, в самой обыкновенной обстановке, людьми, которые, может быть, ежедневно встречаются нам на улице, а не на страницах романа, способствовала и пресса. В частности, основанная в 1825 г. «Судебная газета» систематически публиковала свидетельства очевидцев и участников уголовных дел, став тем самым неисчерпаемым источником для многих литературных произведений.

Поворот к современности вызвал в значительной части литературы и существенную смену персонажей, мест, в которых развивается действие. Писатели обратились к таким темам, к таким событиям, которых они раньше почти никогда не касались. Это были темы, непосредственно затрагивающие широкий круг новых читателей, принадлежавших не к образованной и состоятельной верхушке общества, но к рабочему и ремесленному люду, мелким чиновникам, получившим доступ к литературе благодаря общественным читальням, дешевым абонементом, мелким передвижным библиотекам, постепенному вместе с совершенствованием типографского дела удешевлению книг. Многие газеты, которые можно было практически бесплатно читать в недорогих парижских кафе, публиковали на своих страницах из номера в номер так называемые романы-фельетоны, адресованные в первую очередь именно этим новым читателям, стремясь удовлетворить их интересы и потребности.

Широкое распространение получили романы, которые историки литературы относят к числу так называемых «народных» (*romans populaires*). Создавали их писатели весьма различные как по таланту, так и по масштабам их творчества. В огромной массе подобной литературы можно найти произведения и просто развлекательные, и познавательные, и «воспитательные»; существовал некоторое время даже жанр романа «слезливого», рассчитанного на самого чувствительного и жалостливого читателя. Большая часть этих романов вполне заслуженно канула в Лету, и вспоминают о ней лишь самые дотошные специалисты по литературной продукции. Не забудем, однако, и того, что у истоков «народного романа» стояли и такие писатели, как автор «Парижских тайн» Э. Сю, который привел читателя на самое дно современной парижской жизни с ее нищетой и пороками. Вслед за этими тайнами появилось немало и других — лондонских, марсельских и т. п. «Народный роман» не чуждался и тем исторических; работал в этом русле и А. Дюма, вплетая в подлинные исторические события невероятные приключения выдуманных им героев. Советский читатель хорошо знает его книги о бесстрашных мушкетерах, гораздо меньше известна тетралогия Дюма, построенная на материале истории Франции последней трети XVIII в. («Жозеф Бальзамо», «Ожерелье королевы», «Анж Питу», «Графиня де Шарни»), в которой большое место занимает и «детективный» элемент. К «историческим» романам следует отнести и знаменитого «Горбуна» П. Феваля, одного из корифеев «народной» литературы, сыгравшего заметную роль в создании классического французского полицейского романа.

Впрочем, не будем углубляться в историю этой литературы, хотя она и заслуживает самого серьезного внимания. Отметим только, что на протяжении XIX в. она принимала различные обличья, знала взлеты и падения читательского интереса, но никогда не исчезала совсем. Одним из признаков ее живучести была способность к самопародии, которая в значительной мере как бы нейтрализовала действие пародий, принадлежащих перу ее противников.

За десятилетия своего существования (а она жива до сих пор) «народная» литература претерпела эволюцию, заметно сдвигаясь вправо, обнаруживая «охранительные», консервативные тенденции.

Все сказанное выше имеет для нас здесь смысл лишь постольку, поскольку именно на периферии «народной» литературы развивался и французский полицейский роман,

унаследовав многие ее особенности. Это тот самый роман, произведения трех «классиков» которого, Э. Габорио, Г. Леру и М. Леблана, представлены в предлагаемой читателю книге.

Французский детектив питался не только отечественными источниками. Главное в собственно полицейском романе — утвердившийся в поздней литературе тип героя, расследующего преступление, который пришел в Европу в почти законченном виде с далекого Американского континента. В 1856 г. Шарль Бодлер перевел несколько новелл американца Э. По, в том числе и «Убийство на улице Морг». По иронии судьбы (точнее — по воле автора) человеком, давшим разгадку чудовищного преступления, над которой бились лучшие умы парижской полиции, здесь стал человек штатский, так сказать любитель, Ш. Дюпен.

По мнению исследователей, именно новеллы Э. По заложили основы существующей и поныне детективной литературы. Скорее всего, дело обстоит именно так при всем том, что ни дедуктивный (логический, как он его называл) метод Дюпена, которым впоследствии будут пользоваться сыщики «всех времен и народов», ни описанное в «Убийстве на улице Морг» преступление, совершенное в замкнутом пространстве комнаты (нечто подобное уже было в романе А. Радклиф), не являлись изобретением американского писателя. Он сделал другое: в сравнительно небольших, но необыкновенно емких новеллах По установил классическую структуру детективного произведения: основные сведения о преступлении, информирующие читателя, действия официальной полиции, которые обычно не приводят к нужным результатам, а иногда и просто еще больше запутывают дело, вмешательство главного героя (им может быть и полицейский и сыщик-любитель), его действия и размышления и, наконец, объяснение тайны, разгадка поставленной в начале произведения проблемы.

Новеллы По ввели в литературу тип рассказчика-комментатора происходящих событий (например, доктор Ватсон у Конан Дойла); таким повествователем-летописцем (у Габорио, Леру, Леблана, Агаты Кристи и других) обычно становится человек недалекий, присутствие которого лишь подчеркивает ум и проницательность главного героя.

Исследованию материальных примет, оставленных преступником следов, наблюдательности французские сыщики учились и у другого американского писателя, Фенимора Купера, с его Кожаным Чулком, отчасти у Майн

Рида. Были у европейских детективов и другие учителя, но о них говорить мы уже не будем.

Интерес к полицейскому роману с середины XIX в. никогда не увядал, он завоевывал все новых и новых почитателей. Французы переводили американских и английских авторов, американцы и англичане — французов, не отставали в этом увлечении и другие страны, в том числе и Россия. Особенной популярностью у нас пользовались произведения Габорио, признанного отца европейского детективного романа. Габорио читали многие русские писатели; читал его и А. Чехов, в письмах и произведениях которого имя автора «Преступления в Орсивале» и «Господина Лекока» встречается весьма часто. «Шведская спичка» Чехова — великолепная пародия на полицейский роман, один из героев которой, незадачливый помощник следователя Дюковский, «начитался Габорио».

Размышляя о современной литературе, Чехов говорил о том, как в России распространялись бездарные, но «страшные» романы об «убийствах, людоедстве, миллионных проигрышах, привидениях». «Страшна фабула, страшны лица, страшна логика и синтаксис, но знание жизни всего страшней». В этих словах немало справедливого, некоторые упреки могли бы быть адресованы и Габорио, но все же, думается, инвективы Чехова направлены не столько против французского писателя, сколько против его бесталанных подражателей в России вроде популярного в свое время А. Шкляревского.

Публикуемый здесь роман Габорио «Дело вдовы Леруж» позволит читателю вынести свое собственное суждение, мы же позволим себе сказать несколько слов о самом писателе.

Возможно, кому-нибудь творчество Габорио покажется несколько архаичным: стиль романов писателя отражает особенности жизни, чувствования, реакции на происходящие события людей середины прошлого века; в нем переплелись живописность, утрированные эмоции, декламационность, свойственные части романтической литературы предшествующего периода, и жесткость интонации, рассудочность и прозаичность современной Габорио реалистической литературы нравов. Внимание к детали, точность в передаче реалий эпохи в соединении с блестящим умением вести захватывающее повествование делают романы Габорио привлекательными и для читателя XX в. Многие произведения писателя переиздаются в

наше время и постоянно находят широкую аудиторию. Творчеству Габорио посвящено немало статей и солидных исследований; так, всего несколько лет назад, в 1985 г., во Франции появился обширный труд Роже Боннио «Эмиль Габорио и рождение полицейского романа», в котором собран богатый материал, посвященный жизни и творчеству писателя.

Родился Габорио в 1832 г. в маленьком городе Сожоне на западе Франции. Детство его прошло в частых переездах: отца, мелкого чиновника провинциальной администрации, переводили из одного города в другой. Мальчику пришлось менять и учебные заведения, в которых он постигал премудрости школьной науки. Познакомился он и с Провансом, и с атлантическим побережьем Франции в районе города Ла-Рошели, но особенно сильные впечатления у него остались от старинных провинций Турени и Анжу, куда он охотно помещал персонажей своих книг. Превосходный край! Кто хоть раз посетил его, не забудет ни его мягкий благодатный климат, ни берега мирно текущей Луары, ни великолепные замки и аббатства, ни благоухающие розами сады.

Увы! Ни прекрасная природа, ни замечательное искусство зодчих эпохи Возрождения не в состоянии остановить преступную руку жестоких злодеев, которые и здесь вершат свои гнусные дела...

Во времена Габорио люди путешествовали в дилижансах, неспешность которых оставляла достаточно времени и для наблюдений над местными достопримечательностями, и для философских размышлений о свойствах человеческой природы, все еще далекой от совершенства. Это было большое преимущество перед нами, несущимися сломя голову в автомобилях, поездах, самолетах, преимущество, которым Габорио воспользовался в полной мере, изучая быт и нравы своих современников в разных уголках Франции. Военная служба, на которую он отправился досрочно, возможно соблазненный блеском гусарского мундира, ненадолго забросила Габорио в Алжир, но в своих художественных произведениях к африканским впечатлениям он практически никогда не возвращался.

После окончания военной службы будущий писатель перебрался в Париж, без которого успехов в литературе и искусстве не мыслил ни один честолюбивый провинциал. Университетские занятия медициной и юридическими науками оказались непродолжительными; ни врачом, ни юристом Габорио не стал, хотя некоторое время исполнял обя-

занности помощника клерка в одной нотариальной конторе. Впрочем, и не очень обширные знания, почерпнутые на студенческой скамье, впоследствии весьма пригодились автору полицейских романов.

Мечтам добиться материального благополучия на деловом поприще, свойственным многим молодым людям, не суждено было осуществиться: как и его любимый писатель Бальзак, пытавшийся разбогатеть на издательской ниве, Габорио тоже пробовал заняться *серьезным* делом — не то производством, не то продажей железнодорожных шпал. Как и Бальзак — неудачно.

С конца 50-х годов Габорио целиком посвятил себя журналистской и литературной деятельности. До самой смерти он работал в нескольких провинциальных и парижских газетах, вел театральную и судебную хронику, не чуждался вопросов международной политики. Уже первые его заметки (иногда написанные в стихах!) в «Ля Верите», «Тентамаре», «Пятисантимовой газете» и других изданиях пользовались успехом у читателей. Габорио писал обо всем понемногу; он выступал против злоупотреблений рекламой, против беспорядков в кафе, в частности — неумеренных чаевых и продажи там абсента, вредной для здоровья полынной водки, против невежественных врачей, богатых прожигателей жизни и беспринципных карьеристов. Он писал о парижских консьержках, о литературных и художественных салонах, под его пером оживали картины французской жизни времен Второй империи с ее *блеском и нищетой*.

За первыми стихами Габорио, относящимися к 1857 г., и первым романом, которые остались незамеченными, последовали произведения с заметным автобиографическим элементом. Это были своеобразные романы-очерки, созданные на основе воспоминаний о пребывании на военной службе и в конторе нотариуса и отличавшиеся необыкновенной точностью в изображении провинциальной жизни. В своих книгах Габорио разрабатывал самые разнообразные темы, в том числе историю прессы, жизнь духовенства и военных. В том, что он интересовался и жизнью королевских любовниц — от средневековья до начала XIX в., — не следует видеть нечто легкомысленное: в то же время, что и Габорио, подобными темами занимались такие почтенные писатели, как братья Гонкуры; их перу принадлежит, в частности, историческая книга о мадам Дюбарри, любовнице Людовика XV, или изданный в 1862 г. труд под названием «Женщины в XVIII в.». Это

были книги о нравах общества в определенный период французской истории. Заметим только, что и Габорио и Гонкуры интересовались жизнью не только великосветских дам, но и судьбами молодых работников, условия существования которых выгоняли их на панель.

С годами мастерство Габорио-романиста совершенствовалось, хотя блестящим стилистом он так и не стал (впрочем, он мог утешаться тем, что за многие стилистические погрешности критиковали и великого Бальзака). Габорио был внимательным читателем своих предшественников и современников. Не прошло для него бесследно чтение романов Стендаля, произведений реалиста Шанфлера, описывавшего провинциальный быт, романов Радклиф, Купера. Большое значение имело знакомство с новеллами Э. По, влияние которого на Габорио бесспорно. И все же следует с самого начала сказать: кое-что позаимствовав у американского писателя, Габорио — автор полицейских романов пошел собственной дорогой, развивая многое из сложившихся до него традиций французской национальной литературы. Существенно то, что писал он не новеллы, а обширные романы с большим количеством персонажей, «вставленных» в широкий контекст реальной жизни. Подобно Бальзаку, он обращался к людям самых разных социальных слоев, пытаясь показать их связь и взаимозависимость.

Исследователи творчества Э. По подчеркивали, что криминалистика как наука, в те годы еще только складывающаяся, его не интересовала. То, что он описывал в «Убийстве на улице Морг» или в «Тайне Мари Роже», были почти изолированные от всей остальной жизни случаи, достойные изучения сами по себе. У Габорио преступление — результат нескольких определяющих его условий, событий, в которые оказываются замешанными десятки людей.

В романах Габорио действует реальный розыскной и следственный аппарат — полицейские и следователи, обвинители и защитники; ставятся актуальные и сегодня юридические проблемы. В «Деле вдовы Леруж» это и вопрос о роли суда присяжных, которые помогают избежать судебных ошибок, и вопрос о судебных ошибках вообще (писатель полностью на стороне тех, кто «предпочтут отпустить на свободу три десятка злодеев, лишь бы не осудить одного невиновного»), и до сих пор не решенный полностью вопрос о случаях, когда ответственность преступника ограничена. Эта проблема, зафиксированная в статье

64 французского уголовного кодекса¹, привлекла особенное внимание Ж. Сименона — не только в его романах, но и в публицистических выступлениях. Возмущение Габорио вызывает недостаточная техническая оснащённость полиции: «Хотя существует фотография, электрический телеграф, имеются тысячи возможностей, неизвестных раньше, они не используются».

Романы «Дело вдовы Леруж» и «Преступление в Орсивале» появились почти одновременно в 1866 г.² С этого времени французские исследователи и отсчитывают историю французского полицейского романа.

Уже в этих произведениях Габорио следует сформулированному им принципу: «Роль читателя состоит в том, чтобы установить убийцу, роль автора — в том, чтобы сбить читателя с правильного пути». Однако если бы все искусство романиста заключалось только в этом, вряд ли полицейские романы принесли бы Габорио европейскую славу.

Время действия в «Преступлении в Орсивале» и в «Деле вдовы Леруж» с самого начала совершенно точно определено автором: события происходят в начале 60-х годов. Тут не просто указание на современность, но и установление исторического контекста, многие особенности, обстоятельства которого были хорошо знакомы читателю середины века и придавали повествованию подчеркнутую достоверность.

Впечатление достоверности, подлинности описываемых событий усиливают и точные указания на *место действия*. Преступление, совершенное в «Деле вдовы Леруж», произошло в окрестностях Буживаля, селения, хорошо знакомого парижанам. По субботам и воскресеньям и тогда, и в наши дни на живописный берег Сены приезжали и приезжают отдыхающие горожане. С описания усадьбы графа де Тремореля, также расположенной неподалеку от Парижа, начинается действие и в романе «Преступление в Орсивале».

Подобно Бальзаку, Габорио «прописывает» своих парижских героев «Дела вдовы Леруж» в местах, где им и положено быть в соответствии с их социальным положением: богатый особняк графа де Коммарена расположен в аристократическом предместье Сен-Жермен, маркиза д'Арланж

¹ Статья эта гласит: «Преступление не имеет места в случае, если подсудимый действовал в состоянии невменяемости или под влиянием силы, которой он был не в состоянии воспротивиться».

² Чтобы быть совершенно точным, отметим, что «Дело вдовы Леруж» публиковалось в виде романа-фельетона еще в 1865 г. в газете «Ле Пэи».

живет в центре города недалеко от Дома Инвалидов, ушедший на покой сыщик Табаре — вблизи вокзала Сен-Лазар, откуда рукой подать до рабочих кварталов, следовательно Дабюрон — на левом, «интеллектуальном», берегу Сены, любовница Ноэля Жерди Жюльетта Шафур — на улице Фобур-Монмартр, где живет немало женщин сомнительного поведения. Значение таких подробностей, конечно, часто ускользает от читателя-нефранцуза, но для соотечественников Габорио они были весьма существенны.

Возможно, от Бальзака в романах Габорио и неожиданные, почти никогда не повторяющиеся в полицейских романах пространные рассуждения автора и его героев о роли и месте современного дворянства, буржуазии, крестьян, о взаимоотношениях в обществе различных составляющих его классов и социальных групп не вообще, а в специфической обстановке Второй империи. Выразительны портреты графа де Коммарена, потерявшей представление о времени вздорной маркизы д'Арланж, сыщика Табаре, ростовщика Клержо, следователя Дабюрона. Стремясь преодолеть неподвижность, заданность персонажей приключенческих романов «народной» литературы, Габорио наделяет своих героев их предысторией, во многом объясняющей их поведение, придает им способность изменяться в ходе действия, некоторой противоречивостью между их внешним обликом, поступками, рассчитанными на реакцию других людей, и их подлинной сущностью. Правда, в этом есть и некий хитрый умысел автора, желание «обмануть» читателя, подsunуть ему *ложную версию*, заставить подозревать в совершенном преступлении то одного, то другого персонажа.

Характеризуя участников происходящих событий, Габорио использует иронию, например по отношению к Клержо или маркизе д'Арланж, прямые инвективы, сатиру и юмор (так, блестящий аристократ граф де Коммарен у него «на любое противоречие реагировал, как племенной жеребец на укус слепня»).

Со знанием дела, опять-таки следуя Бальзаку, описывает Габорио кварталы Парижа, аристократические и буржуазные интерьеры, государственные учреждения и светские салоны. Рассказывая о кругах парижской жизни, Бальзак называл их адом, который «когда-нибудь, вероятно, обретет своего Данте»; словно повторяя создателя «Человеческой комедии», Габорио взывает к великому итальянскому поэту («понадобился бы новый Данте»), когда отправляет читателя в парижский Дворец правосудия, галерею которого он описывал также «по-бальзаковски»: «Это

своего рода кулисы Дворца правосудия, зловещего театра, где разыгрываются самые реальные драмы, замешенные на настоящей крови».

Есть в «Деле вдовы Леруж» и в последующих романах Габорио неправдоподобные «случайности», неоправданные повороты в событиях; иногда, говоря об общих для нескольких произведений персонажах в одном романе, он забывает об этом в другом, впадая в заметные и для не очень искушенного взгляда противоречия. Все это большей частью не мешает увлекательному развитию сюжета, мастерскому умению Габорио нарочно запутывать читателя.

Важное достижение Габорио-романиста — создание им образов полицейских, получивших продолжение в целой галерее сыщиков, которые стали любимыми героями не только читателей, но и самих их авторов: Шерлок Холмс у Конан Дойла, мисс Марпл и Эркюль Пуаро у Агаты Кристи, Рультабийль — у Леру и т. д. У Габорио это сначала Табаре (в «Деле вдовы Леруж»), в последующих романах — Лекок. Образы эти разработаны писателем особенно тщательно; поданы они в особенно выгодном свете по сравнению с их незадачливыми коллегами, полицейскими и следователями, иногда — со слишком бойкими журналистами, высказывающими самые нелепые догадки и предположения. Не беда, что сами наши герои хвастливы, тщеславны, хотя и прикрывают подчас эти свои человеческие слабости ложной скромностью и показным самоуничтожением.

К Табаре, к Лекоку официальные инстанции обращаются тогда, когда дело уже окончательно запутано и все глупости в отношении личности предполагаемого преступника уже высказаны.

Табаре мы застаем в конце его карьеры; когда-то в молодости он читал мемуары знаменитых сыщиков и в его сознании сложился образцовый тип такого человека, «ангела-хранителя», который помогает посрамлению злодейства и торжеству добродетели. Он, как и Лекок, может ошибаться (ошибки эти бывают чреватые драматическими последствиями), но лишь для того, чтобы затем с блеском опровергнуть самого себя и предложить единственно правильное решение. Действует он в соответствии с дедуктивным методом, позволяющим ему в кратчайший срок определить предполагаемого убийцу, которого он, разумеется, и в глаза не видел: «Человек этот еще молод, роста немного выше среднего, изящно одетый. В тот вечер на нем был цилиндр, в руках зонтик; он курил гаванские сигары, причем

с мундштуком». Нужно ли добавлять, что Табаре был неподкупно честен, мудр и великодушен при всей своей невзрачной внешности?

Младший коллега и ученик Табаре, известный под фамилией Лекок, в «Деле вдовы Леруж» появляется лишь эпизодически, да и то с не очень лестной характеристикой: «бывший правонарушитель, великий пройдоха». Из других рсманов мы узнаем, что Лекок, оставшись сиротой, вел далеко не добродетельный образ жизни, предаваясь азартным играм, но затем исправился и стал полицейским. Лекок наделен многими необходимыми для настоящего сыщика качествами. Он — превосходный актер, умеющий мгновенно надеть маску, до неузнаваемости изменить свой внешний вид. Его отличают необыкновенная наблюдательность, незаурядная физическая сила, умение проникнуть в психологию преступника; его принцип: «Из сотрудника сыскальной полиции я перевоплощаюсь в этого человека со всеми его особенностями».

Предшественники прекрасно организованной рекламой, один за другим появляются новые романы Габорио: «Досье № 113» (1867), «Господин Лекок» (1868) и романы, в которых писатель отходит от разработанного им же самим типа полицейского романа, пытаясь, не всегда успешно, найти новые приемы повествования, новых героев.

В последние годы жизни Габорио достиг полного материального благополучия, но здоровье его было подорвано продолжительной болезнью и непосильным трудом. «Денди-республиканец», как называли Габорио знавшие его современники, умер в Париже в 1873 г., когда ему было всего 40 лет.

Творчество Гастона Леру (1868—1927) и Мориса Леблана (1864—1941) переносит нас на несколько десятилетий вперед.

Поражение во франко-прусской войне, трагическая судьба Парижской коммуны, скандалы и кризисы, потрясавшие политическую и общественную жизнь Третьей республики, наложили свой отпечаток на всю культуру страны, на ее литературу и искусство.

Экономически Франция довольно быстро справилась с последствиями позорного поражения в 1870 г. Если улучшения в материальном положении трудящихся были весьма мало заметны, что вызывало на рубеже веков многочисленные забастовки, массовые выступления рабочих и крестьян в защиту своих политических и экономических

прав, то французская буржуазия сумела извлечь для себя из складывавшейся в те годы ситуации максимум выгоды. Период, охватывающий полтора-два десятилетия перед первой мировой войной, не случайно получил название «прекрасной эпохи» (*la belle époque*). «Сладость жизни» — так характеризовал эти годы в одном из томов своих воспоминаний писатель консервативного направления А. Бордо. «В ту пору, — уточнял Ж. П. Сартр в книге о своем детстве, — Запад погибал от удушья: это именовали «сладостью жизни». За неимением явного врага буржуазия тешилась, пугая себя собственной тенью; она избавлялась от скуки, получая взамен искомые треволнения».

Быстрое развитие промышленности и техники, новые средства передвижения (трамвай, метро, автомобили), новые виды связи (телефон, пневматическая почта, позже — радио), приносившая огромные прибыли эксплуатация заморских колоний — все было поставлено на службу торжествующей буржуазии. Не избежала этой участи и значительная часть литературы. Поверхностные романы и комедии, только еще рождавшееся искусство кино служили развлекательным целям, способствовали распространению утешительных иллюзий.

Действительность, в которой правили погоня за наслаждениями и вызывающей роскошью, не могла вызвать к жизни настоящих героев, людей подлинного мужества и благородства. Потребность в «героике» удовлетворялась разного рода суррогатами, в том числе и в интересующей нас области истории полицейского романа, шире — приключенческой литературы. «Разгромленная Франция, — писал Ж. П. Сартр, — кишела воображаемыми героями, подвиги которых врачевали ее самолюбие».

В Америке и в Европе, как грибы после дождя, появлялись эпигоны Габорио и Конан Дойла, до дыр зачитывались книжки о Нике Картере, Нате Пинкертоне, псевдоисторические романы «плаща и шпаги» М. Зевако. Теперь дедукции Лекока или Шерлока Холмса все больше уступали место кулачным расправам, пистолету и другим подобным способам действий, ставшим отличительной чертой большинства американских детективов¹. Творчество Леру и Леблана принадлежит к тому немногому, что сохранилось

¹ Справедливости ради надо сказать, что и европейский полицейский роман наших дней в этом отношении американскому не уступает; с другой стороны, и среди американских сыщиков попадаются «интеллектуалы», занимающиеся разведением орхидей или игрой на музыкальных инструментах.

от необозримого моря литературы о полицейских и преступниках разного калибра, которое нам завещала «прекрасная эпоха».

Г. Леру, как и многие другие писатели, по сложившейся во Франции несколько странной традиции, получив юридическое образование, практической юридической деятельностью почти не занимался: слишком велико было искушение попробовать свои силы в художественной литературе. Кто только не писал в Париже поэмы, романы или, на худой конец, рассказы, отдавая дань современной, чаще всего эфемерной моде! В соответствии с другой традицией путь в *большую* литературу лежал через журналистику. Отдал дань этой традиции и Леру. Несколько лет он сотрудничал в парижских газетах, оставив этот не всегда благодарный труд на время, которое ему понадобилось на то, чтобы спустить в картежной игре значительное состояние, полученное им в наследство. Впрочем, известно, что Леру успел довольно много попутешествовать; это было похвально не только само по себе, но и способствовало приобретению знаний, которые весьма пригодились позже — после возвращения к журналистской и литературной работе.

Десятки написанных Леру романов не оставили глубокого следа в литературе. Он писал романы с несколько фантастическим оттенком вроде «Привидения в Оперном театре»; здесь мрачный фантом, поселившийся в подземельях (!) парижской Оперы, терроризирует театральную дирекцию, совершает ряд неблагоприятных поступков, влюбляется в молодую начинающую певицу, пытается соблазнить ее своим ангельским (!) пением и в конце концов оказывается простым смертным: страшное уродство изолировало его еще с детских лет от остальных людей. Леру принадлежат и романы, одни названия которых могут повергнуть в трепет впечатлительного читателя («Машина для убийства», «Кровавая кукла» и т. п.), целая серия «Шери-Биби», увековеченная для потомства, будучи переложенной в так называемых комиксах и запечатленной в кинофильмах. Герой этих романов за чужое преступление приговорен к каторге, а затем и сам совершает всяческие преступления.

В сущности, в полицейской литературе Леру занял место — пусть скромное, маленькое место — благодаря двум своим романам, объединенным общими персонажами: «Тайна Желтой комнаты» (1907) и несколько лет спустя «Духи дамы в черном». Оба произведения можно было

бы отнести к «классике» полицейского романа, но «классике» с некоторым — как бы сказать? — странным привкусом. Леру и главный его герой, молодой газетный репортер Жозеф Жозефен, прозванный Рультабийлем, словно мстят Шерлоку Холмсу за его высокомерно-пренебрежительное отношение к старшим коллегам-сыщикам, но уж такая традиция сложилась у сыщиков, вышедших из-под пера разных писателей, критиковать своих собратьев. Едва появившись на страницах произведений Конан Дойла, Шерлок Холмс дал уничижающие характеристики и Ш. Дюпену, «существу посредственному», и Лекоку, которого он просто обозвал «жалким сапожником». Теперь Рультабийль платит такой же монетой Шерлоку Холмсу, а заодно и Лекоку. Внимательный читатель увидит в «Тайне Желтой комнаты» пародию не только на сыщика с Бейкер-стрит, но и на полицейский роман вообще, и будет, прав.

Так что же случилось в Желтой комнате? На дочь знаменитого ученого Стейнджерсона совершенно покушение. Преступник самым загадочным образом исчез из запертой изнутри комнаты, причем сама мадемуазель Стейнджерсон запереть ее была не в состоянии. Как же это произошло? Страшная тайна! Раскрыть ее не может ни специально приглашенный знаменитый сыщик Ларсан, ни жених молодой женщины, ни другие свидетели драмы. Лишь Рультабийль, используя все известные нам еще со времен Габорио приемы и *серое вещество* своего мозга, находит разгадку тайны: Ларсан, он же Балмейер, он же Руссель, — одновременно и сыщик и преступник, в разоблачении которого он столь усердно участвует на протяжении всего романа! Но почему Рультабийль дает ему возможность избежать заслуженного наказания, кто такая дама в черном, запах духов которой преследует молодого человека? Новые загадки! Ключ к ним — во втором романе, но читатель и сам узнает кто же такой Ларсан на самом деле и кто такая прекрасная и таинственная дама в черном; мы же об этом умолчим.

Как и Габорио, создавая иллюзию достоверности повествования, Леру называет нам точную дату происходящих событий — год 1895-й. Мало того, оказывается, что Рультабийль еще в своем несчастливом детстве, попав в Марсель, встречается там не с кем иным, как с самим Гастоном Леру! В остальном же приметы времени здесь отсутствуют, а главное место действия романа скорее напоминает произведения романтической литературы с ее старинными замками и подземельями. Это форт Геркулес, организация обороны которого Рультабийлем носит почти комический

характер. Вообще и во втором романе о деяниях славного Рультабийля пародийный элемент весьма заметен. Пародийный характер носят и названия некоторых глав, долженствующие внушить читателю трепет: «Нас всех охватывает ужас», «Самый страшный полдень». Автор настолько запутывает действие, что временами даже рассказчик, некто Сенклер, от имени которого ведется повествование, задумывается над вопросом: а уж не он ли сам и есть разыскиваемый преступник.

В конце романа «Духи дамы в черном» мы узнаем, что слава Рультабийля перешагнула границы Франции: «Его требует цари!» — для борьбы с большевиками и «нигилистами». Так Леру как бы рекламирует еще одно свое произведение — «Рультабийль у царя».

В 1904 г. Пьер Лаффит, директор популярного журнала «Жё сэ ту» («Я знаю все»), в котором в это же время сотрудничал молодой А. Барбюс, обратился к М. Леблану с предложением написать новеллу «в противовес» англосаксонскому полицейскому роману и установившейся во Франции моде на Шерлока Холмса. Леблан откликнулся на эту просьбу большой новеллой «Арест Арсена Люпена». Так было положено начало целому циклу произведений, посвященных подвигам джентльмена-грабителя, который сразу же приобрел европейскую известность, сохраняющуюся до сих пор среди многочисленных его поклонников. Арсен Люпен — не просто литературный персонаж, а фигура, характерная для всей «прекрасной эпохи», явление далеко не случайное, ответившее на ожидания определенного круга читателей в определенное время. Он, можно сказать, должен был появиться и обладать такими именно свойствами, которыми его наделил Леблан.

Прежде чем заняться самим Люпеном, скажем несколько слов о его создателе. К началу века Леблан был уже автором пьесы, романов, как утверждают специалисты, в духе Флобера и Мопассана, что не помешало им оказаться прочно забытыми и читателями, и историками литературы. Человек передовых идей, Леблан, во-первых, был стойким дрейфусаром, во-вторых — заядлым велосипедистом и сотрудником газеты «Пари-Вело» и, наконец, поклонником современного театра, с миром которого был связан через свою сестру Жоржетту, талантливую актрису. Леблан хорошо ориентировался в культурной жизни Парижа, различные ее стороны нашли отражение и в книгах об Арсене Люпене.

Первое, что бросается в глаза при знакомстве с «люпеновским» циклом, решительная, хотя и не новая в литературе, смена главного персонажа, которому читатель отдает свои симпатии: теперь им становится не полицейский, а преступник. Это — герой необычный, нарушающий общепринятые нормы поведения, но не основы существующего порядка, подобный благородным пиратам и великодушным разбойникам старинных романов. Один из критиков уподобил Люпена Дон Кихоту, «движимому то жаждой развлечений, то состраданием». Сравнение с рыцарем Печального Образа, как мы увидим, весьма сомнительное. По собственному его несколько ироническому признанию, Люпен — буржуа, консерватор, мелкий рантье, готовый постоять за свой кошелек (новелла «Эдит Лебединая Шея»).

И все-таки это настоящий герой своего времени: знаток искусства, ценитель изысканной кухни, завсегдатай театральных премьер; одетый по последней моде, Люпен не расстается со своим цилиндром и фраком даже тогда, когда вынужден спастись от полиции по крышам Парижа. Грабит он только богачей и если вынужден убивать, то только в порядке вполне законной самообороны. Ностальгически вспоминая о нем, газета «Либерасьон» в 1961 г. назвала Люпена «законченным джентльменом». «Джентльмен» «прекрасной эпохи», Люпен — и заурядный воришка: мужественно спасая людей во время пожара на благотворительном базаре¹, он затем обворовывает их и скрывается со своей добычей.

Психология персонажей детективной литературы никогда не была ее сильной стороной. В общем примитивна и психология Люпена, но зато Леблан не поленился познакомить нас с жизнеописанием своего героя. Отец его был преподавателем бокса, гимнастики и фехтования и, надо думать, передал сыну свое искусство, но не навыки элементарной морали. О матери будущего «джентльмена», Анриетте д'Андреzi, мы почти ничего не знаем. Известно лишь, что у него было *тяжелое детство*; бедняга рано стал

¹ Пожар этот — реальная трагедия, происшедшая в Париже в 1895 г. Во время благотворительного базара, устроенного высшим столичным обществом, возник пожар, быстро охвативший все павильоны. Вырываясь из огненного плена, люди расталкивали друг друга, топтали упавших. Погибло более ста человек. Самое ужасное было в том, что подавляющее большинство погибших составляли женщины: среди мужчин настоящих рыцарей не оказалось.

сиротой, приобщился к темным сторонам жизни, испробовал много профессий, был коммивояжером и ювелиром, грузчиком, шофером и даже оперным певцом, прежде чем стать *профессиональным* грабителем. Предпочитал же он выдавать себя за аристократа, князя или герцога, а потому был вхож в светские салоны Парижа.

Как и его предшественники, Лекок или тот же Шерлок Холмс, Люпен — мастер перевоплощений; в результате частых переодеваний, смены профессий и внешнего облика он, кажется, и сам частенько запутывается настолько, что не может понять, кто же он, в конце концов, такой.

Подчеркнем еще раз: Арсен Люпен был именно таким героем, какого ждала буржуазная публика. Намекая на созданный Э. Ростаном образ Сирано де Бержерака в его одноименной героико-романтической пьесе, Сартр очень точно определил Люпена как «Сирано уголовников», который «своей исполинской силой, насмешливой отвагой, истинно французским складом ума был обязан тому, что в 1870 г. мы сели в лужу».

С замиранием сердца, восторгаясь и сопереживая, читатели следили за борьбой Люпена с полицией, ни на минуту, однако, не забывая, что эта самая постоянно обманываемая ловким грабителем полиция придет на помощь, сумеет защитить его собственность от покушений реальных грабителей. Люпен никогда не посягает на государственную собственность; он — патриот, мечтающий о возвращении Франции Эльзаса и Лотарингии, участник войны 1914—1918 гг., героически сражающийся с агентами германского кайзера.

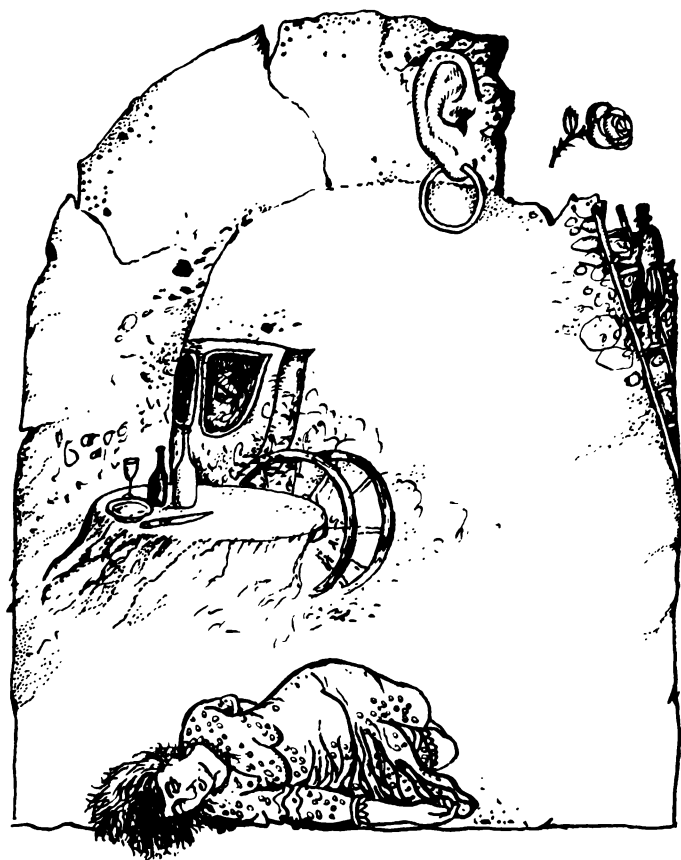
В поздних произведениях Леблана появляются элементы фантастики, но в век научно-технической революции их следовало бы назвать *фантастикой ненаучной*.

Творчество Э. Габорио, Г. Леру, М. Леблана — лишь страница еще не написанной истории французского полицейского романа, тем более интересная, что это одновременно и страница истории страны, истории ее нравов, мировосприятия, отношения к жизни нескольких поколений французов. Книги классиков полицейского романа и развлекают, и поучают нас, открывая дотоле неизвестные стороны жизни людей сравнительно недалекого прошлого, только относиться к ним надо без предвзятости и высокомерия, не требуя от них того, что они и не могут дать.

В. Балахонов

Эмиль Габорио

Дело вдовы Леруж



Emile Gaboriau
L'affaire Lerouge

Paris

1866

Перевод Е. БАЕВСКОЙ и Л. ЦЫВЬЯНА

В четверг 6 марта 1862 года, на второй день великого поста, в полицию Буживаля явились пять женщин из деревни Ла-Жоншер.

Они заявили, что их соседку, вдову Леруж, одиноко живущую в домике на отшибе, вот уже два дня никто не видел. Несколько раз к ней стучались, но тщетно. Внутри не заглянуть — дверь заперта, окна плотно закрыты ставнями. Исчезновение хозяйки и тишина в доме насторожили соседок. Заподозрив несчастный случай, а то и преступление, они попросили, чтобы представители закона ради успокоения соседей сообразовали взломать дверь и проникнуть в жилище вдовы.

Буживаль — очаровательное местечко, по воскресеньям сюда стекается множество любителей и любительниц прогулок на лодках; здесь порой совершаются всякие правонарушения, но настоящие преступления редки. Поэтому комиссар сначала отказывался выполнить просьбу женщин. Но те столь долго и упорно настаивали, что он наконец махнул рукой и сдался. Вызвав бригадира жандармерии с двумя жандармами и прихватив слесаря, он вместе с ними последовал за соседками вдовы Леруж.

Деревня Ла-Жоншер приобрела некоторую известность благодаря изобретателю железнодорожной стрелки, на протяжении многих лет скорее настойчиво, чем успешно демонстрирующему публике работу своей системы. Эта захолустная деревушка раскинулась на склоне холма, возвышающегося над Сеной между Мальмезоном и Буживалем. От нее минут двадцать ходьбы до большой дороги, которая, проходя через Рюэйль и Пор-Марли, соединяет Париж с Сен-Жерменом. Ведет в деревню крутой проселок, о котором министерство путей сообщения и слухом не слыхивало.

Кучка людей с жандармами во главе двинулась по большой дороге, которая в этом месте подходит вплотную к Сене, и вскоре свернула вправо на проселок, прорезанный на склоне холма и защищенный с обеих сторон каменной

кладкой. Еще несколько минут, и экспедиция подошла к жилищу вдовы Леруж, более чем скромному, но с виду вполне приличному. Этот домик или, скорее, хижину построил, вероятно, какой-нибудь парижский лавочник — большой любитель природы, поскольку все деревья вокруг были заботливо вырублены. Узкий по фасаду, но зато вытянутый в глубину двора одноэтажный домик состоит из двух комнат и чердака. Вокруг раскинулся запущенный сад, защищенный от воров метровой оградой, сложенной из плоских камней и местами уже обвалившейся. В сад ведет деревянная решетчатая калитка, подвешенная на проволочных петлях.

— Это здесь,— объявили женщины.

Комиссар полиции остановился. По пути его свита изрядно пополнилась за счет окрестных ротозеев и бездельников. Окружало его уже человек сорок.

— В сад никого не пускать,— приказал он и, выставив для верности у калитки двух жандармов, пошел к дому в сопровождении бригадира и слесаря.

Набалдашником своей залитой свинцом трости он несколько раз громко постучал сперва в дверь, затем поочередно в ставни. После каждого удара внимательно прислушивался, но, не дождавшись ответа, велел слесарю:

— Открывайте.

Тот расстегнул сумку с инструментами и достал все необходимое. Не успел он вставить отмычку в замочную скважину, как зеваки загалдели:

— Ключ! Вот ключ!

Оказывается, игравший с приятелем мальчуган лет двенадцати заметил в придорожной канаве огромный ключ, выудил его и с победным видом принес к дому.

— Давай его сюда, мальчик,— сказал бригадир,— сейчас проверим.

Ключ подошел. Комиссар и слесарь переглянулись, полные самых мрачных предчувствий.

— Худо дело,— проворчал бригадир, и они вошли в дом.

У калитки, с трудом сдерживаемая жандармами, волновалась толпа; люди вытягивали шеи, влезали на стену, только бы хоть что-нибудь увидеть.

Заподозрившие преступление, к несчастью, не ошиблись: едва ступив на порог, комиссар в этом убедился. Первая комната мрачно и красноречиво свидетельствовала о том, что в ней побывали злоумышленники. Комод и два сундука были взломаны и разворочены. Во второй комнате, служившей спальней, царил еще больший беспорядок.

Казалось, здесь неистовствовал какой-то безумец и перевернул все вверх дном.

У камина, уткнувшись лицом в золу, распростерлось бездыханное тело вдовы Леруж. Щека и волосы у нее обгорели, лишь чудом огонь не перекинулся на одежду.

— Ох, негодяи! — пробормотал бригадир. — Не могли просто ограбить, обязательно нужно было убить!

— Но куда же ее ударили? — спросил комиссар. — Я не вижу крови.

— Сюда, господин комиссар, между лопаток, — ответил жандарм. — Какие две раны, черт побери! Клянусь моими нашивками, она и охнуть не успела.

Он нагнулся и притронулся к телу.

— Да она совсем холодная! Окоченение, похоже, уже проходит — видимо, убийство произошло около двух суток назад.

Комиссар, кое-как пристроившись на краешке стола, писал протокол осмотра места преступления.

— Нужно не разглагольствовать, а искать виновных, — заметил он бригадиру. — Сообщите мировому судье и мэру. Кроме того, необходимо доставить в Париж в прокуратуру это письмо. Следователь сможет быть здесь часа через два. А пока я займусь предварительным расследованием.

— Письмо отвезти мне? — спросил бригадир.

— Нет. Пошлите кого-нибудь из своих людей, а вы мне понадобится здесь — будете сдерживать любопытных и приводить свидетелей. Тут ничего не трогать, я расположусь в соседней комнате.

Посланный жандарм поспешил на станцию в Рюэиль, а комиссар немедленно приступил к предписанным законом предварительным опросам. Кто такая была вдова Леруж, откуда родом, чем занималась, на что и как жила? Какие были у нее привычки, характер, знакомства? Имелись ли враги, не слыла ли она скупой, не могли ли ее убить из-за денег? Это и пытался узнать комиссар.

Однако свидетели, хотя и многочисленные, осведомленностью похвастаться не могли. Показания соседей были бессодержательны, отрывочны и туманны. Вдова была не здешней, никто о ней ничего не знал. Вдобавок многие приходили не затем, чтобы что-то сообщить, а скорее в надежде самим поживиться известиями. Только садовница, водившая дружбу с вдовой Леруж, да хозяйка молочной, у которой покойная делала покупки, дали кое-какие не особенно важные, но, во всяком случае, точные сведения.

В конце концов после трех часов утомительных допросов, выслушав все местные пересуды и собрав воедино самые противоречивые показания и нелепые сплетни, комиссар располагал некоторыми более или менее достоверными фактами.

Два года назад, в начале 1860 года, г-жа Леруж прибыла в Буживаль с фургоном, полным мебели, белья и прочего скарба. Остановившись в гостинице, она объявила о своем намерении обосноваться в этих местах и сразу же начала присматривать дом. Найдя жилище по своему вкусу, она, не торгуясь, сняла его за 320 франков с уплатой вперед за полгода, однако арендный договор подписать отказалась.

В тот же день она въехала и почти сто франков истратила на ремонт дома. Вдове Леруж было года пятьдесят четыре — пятьдесят пять, она неплохо сохранилась и отличалась отменным здоровьем. Почему она поселилась в местах, где решительно никого не знала, — неизвестно. Предполагали, что родом она из Нормандии, так как по утрам ее часто видели в хлопчатом чепце. Приверженность к этому ночному головному убору нисколько не мешала ей днем одеваться весьма кокетливо. Обычно она носила нарядные платья и шляпки со множеством лент, а также увешивала себя уймой украшений. Без сомнения, в свое время она жила где-то на побережье, потому что море и корабли не сходили у нее с языка.

О своем муже говорить она не любила. По ее словам, он погиб при кораблекрушении. Больше никаких подробностей о нем она не сообщала. Только однажды при трех посторонних сказала молочнице: «Ни одна женщина не была так несчастлива в браке, как я». В другой раз бросила: «Что ново, то и мило: покойный любил меня всего год».

Вдова Леруж слыла богатой или по крайней мере зажиточной, но скупой не была: однажды ссудила женщину из Мальмезона шестьюдесятью франками, не назначая срока, и с возвратом не торопила. А еще как-то дала займы двести франков рыбаку из Пор-Марли. Она жила в свое удовольствие, много тратила на еду, вино же заказывала целыми бочонками. Ей нравилось угощать знакомых, обеды у нее были превосходны. Когда ей делали комплименты по поводу ее богатства, она особенно не протестовала. Люди слышали, как она говорила: «Купоны я не стригу, но и не бедствую. Если мне понадобится, у меня будет больше».

Ни разу не обмолвилась она, хотя бы намеком, о своем

прошлом, о родине, о семье. И хоть была чрезвычайно разговорчива, ни разу ни единого доброго слова не сказала о ком-нибудь из близких. Можно предположить, что она повидала и жизнь, и мир. Была очень подозрительна и дома у себя запиралась, словно в крепости. По вечерам из дому не выходила; все знали, что за ужином она изрядно напивается и сразу ложится спать. Посторонних у нее видели редко: раз пять даму с молодым человеком и однажды двух мужчин — старика с орденом и юношу. Эти приезжали в роскошной карете.

В общем и целом, мнение о вдове Леруж сложилось невысокое. Речи ее частенько бывали малопристойны и странны для женщины ее возраста. Однажды слышали, как она давала молодой девушке советы самого гнусного свойства. Тем не менее колбасник из Буживаля, дела которого пошатнулись, попытался посвататься к ней. Однако она дала ему от ворот поворот, сказав, что с нее вполне довольно и одного замужества. Соседи не раз видели, как к ней приходили мужчины. Сначала это был молодой человек, похожий на железнодорожного служащего, потом высокий пожилой брюнет в блузе, отличавшийся необычайно свирепой наружностью. Полагали, что тот и другой — ее любовники.

Комиссар продолжал расспросы и записывал свидетельские показания; за этим и застал его судебный следователь. Он привез с собой начальника уголовной полиции вместе с одним из его помощников.

Следователь г-н Дабюрон, тот самый, который впоследствии, к удивлению друзей, подал в отставку и удалился на покой как раз тогда, когда перед ним открывалась карьера, был статный мужчина тридцати восьми лет, весьма привлекательной наружности, с добрым и немного печальным лицом. Это печальное выражение осталось у него после тяжелой болезни, случившейся два года назад и чуть было не сведшей его в могилу.

Исполняя должность судебного следователя с 1859 года, он очень скоро приобрел блестящую репутацию. Трудолобивый, терпеливый, одаренный здравым и острым умом, он с редкой проницательностью умел распутать самое сложное дело, из тысячи нитей выбрать единственную, путеводную. Обладая железной логикой, он был непревзойденным мастером решать труднейшие задачи, в которых искомой величиной является преступник. Легко восходя от известного к неизвестному, он в совершенстве владел искусством собирать факты и превращать ничтож-

ные и на первый взгляд несущественные обстоятельства в неопровержимые улики.

Однако, несмотря на все эти редкие качества, нельзя было сказать, что он рожден для подобной деятельности. Он занимался ею с содроганием и с превеликой осторожностью пользовался своей огромной властью. Ему не хватало дерзости для рискованных эффектов, в результате которых проявляется истина.

Г-н Дабюрон с трудом приспособлялся к иным методам, используемым без зазрения совести наиболее суровыми из его собратьев. Ему, к примеру, претило обманывать обвиняемого и ставить ему ловушки. В прокуратуре о г-не Дабюроне отзывались: «Трусоват». А все дело было в том, что при одном воспоминании об известных судебных ошибках волосы у него вставали дыбом. Ему нужны были не внутренняя убежденность, не предположения, пускай самые правдоподобные, а только самые непреложные доказательства. Он не давал себе отдыха вплоть до дня, когда обвиняемый склонит голову перед уликами. Товарищ прокурора, смеясь, даже упрекал его, что он ищет не столько преступников, сколько невиновных.

Начальником уголовной полиции в ту пору был прославленный Жевроль, которому еще предстоит сыграть важную роль в драме наших героев. Человек он был несомненно способный, однако ему недоставало настойчивости, а кроме того, его частенько ослепляло невероятное упрямство. Потеряв след, он не желал в этом признаться, а тем более возвращаться назад. Он обладал замечательной отвагой и хладнокровием, и ничто не могло привести его в замешательство. Тая в сухощавом теле поистине геркулесову силу, Жевроль, не колеблясь, шел один на один с самыми опасными преступниками.

Но главной его особенностью, гордостью и величайшим достоинством была выдающаяся, необычайная память на лица. Достаточно ему было в течение пяти минут посмотреть на человека — и все: тот навсегда запечатлевался в его памяти. Отныне Жевроль мог узнать его где угодно и когда угодно. Ни самое невероятное окружение, ни самое немыслимое стечение обстоятельств не способны были сбить его с толку. Он уверял, что, глядя на человека, запоминает только его глаза. Людей он узнавал по взгляду, не обращая внимания на черты лица.

Несколько месяцев назад в Пуасси был проведен опыт. На троих арестантов набросили покрывала, чтобы скрыть особенности сложения каждого, на головы надели плотные

капюшоны с вырезами для глаз и в таком виде показали Жевролю. Он тут же, ничуть не колеблясь, назвал трех своих бывших подопечных. Только ли случай помог ему в этом?

Помощником Жевроля в ту пору был ставший на праведный путь бывший правонарушитель — великий пройдоха и весьма искусный в сыском деле молодчик, к тому же люто завидовавший начальнику полиции, которого он считал посредственностью. Звали его Лекок.

Комиссар, начавший уже тяготиться ответственностью, встретил следователя и двух полицейских как избавителей. Он вкратце изложил факты и прочел составленный им протокол.

— Вы действовали совершенно правильно, сударь, — заявил судебный следователь, — все сделано безукоризненно, однако кое о чем вы забыли.

— О чем, господин следователь? — переполошился комиссар.

— Когда вдову Леруж видели в последний раз и в каком часу?

— Сейчас дойду и до этого. Ее видели вечером во вторник в пять двадцать. Она возвращалась из Буживаля с корзиной съестного.

— Господин комиссар, а вы уверены, что время указано точно? — поинтересовался Жевроль.

— Вполне, поскольку имеются совпадающие показания двух свидетелей — госпожи Телье и бочара, которые живут неподалеку. Они сошли с омнибуса, отправляющегося из Марли каждый час, и заметили на проселочной дороге вдову Леруж. Прибавив шагу, они догнали ее и беседовали с нею до самого ее дома.

— А что было у нее в корзине? — осведомился г-н Дабюрон.

— Этого свидетели не знают. Им известно только, что она несла две запечатанные бутылки вина да литровую бутылку водки. Вдова жаловалась на головную боль и сказала, что, хотя в канун поста принято веселиться, она собирается лечь спать.

— Ну что ж! — воскликнул начальник полиции. — Я знаю, где следует искать.

— В самом деле? — промолвил г-н Дабюрон.

— Черт возьми, да это же яснее ясного. Нужно найти высокого брюнета в блузе. Водка и вино предназначались ему. Вдова ждала его к ужину. Вот он и пришел, любезный воздыхатель.

— Однако, — осторожно вмешался явно несогласный

с ним бригадир,— она ведь была нехороша собой и довольно стара.

Жевроль с насмешкой взглянул на честного жандарма.

— Да будет вам известно, бригадир,— сказал он,— что женщина при деньгах молода и мила всегда, когда ей это нужно.

— Быть может, в этом что-то есть,— отозвался следователь,— однако меня, скорее, заставляют задуматься слова вдовы Леруж: «Если понадобится, будет и больше».

— Я тоже обратил на них внимание,— поддержал его комиссар.

Но Жевроль уже не давал себе труда слушать. Словно взяв след, он принялся кропотливо изучать все уголки комнаты. Потом вдруг подскочил к комиссару.

— Не во вторник ли,— спросил он,— изменилась погода? Две недели подмораживало, а потом полило. В каком часу пошел здесь дождь?

— В половине десятого,— ответил бригадир.— Я поужинал и решил обойти танцевальные заведения, и как раз на Рыбачьей улице меня застиг ливень. За десять минут на дороге образовался слой воды с полдюйма.

— Отлично! — сказал Жевроль.— Стало быть, если этот субъект явился сюда после половины десятого, башмаки у него должны были быть в грязи; в противном случае он пришел раньше. Были тут чьи-нибудь следы, господин комиссар?

— Должен признаться, мы не обратили внимания.

— А вот это весьма досадно,— с неудовольствием отозвался Жевроль.

— Погодите,— сказал комиссар,— мы можем проверить, нет ли их в другой комнате. Там ничего не трогали. Мои следы и следы бригадира отличить легко. Давайте-ка посмотрим.

Комиссар отворил дверь, и Жевроль первым делом остановил г-на Дабюрона:

— Прошу вас, господин следователь, позволить мне произвести тщательный осмотр, прежде чем туда кто-либо войдет. Мне это крайне важно.

— Ну, разумеется,— согласился г-н Дабюрон.

Жевроль встал в дверях, остальные столпились у него за спиной. С этого места они могли обозреть место преступления. Все здесь, как и докладывал комиссар, было перевернуто вверх дном.

Посреди комнаты возвышался стол, накрытый тонкой белоснежной скатертью. На нем стояли изящный бокал

граненого хрусталя, фарфоровая тарелка и лежал очень красивый нож. Была там и початая бутылка вина, а также бутылка водки, из которой отпито лишь несколько рюмок.

У правой стены по обе стороны окна помещались два великолепных шкафа орехового дерева с бронзовыми накладками изящнейшей работы. Шкафы были пусты, их содержимое — скомканное платье и белье — валялось по всей комнате.

В глубине у камина зиял распахнутый настежь стенной шкаф с посудой. По другую сторону камина стоял взломанный старинный секретер с треснувшей мраморной доской, в котором кто-то явно обшарил все до последнего уголка. Оторванная откидная полка болталась на одной петле, вытащенные ящики были брошены на пол.

Слева находилась развороченная постель. Даже тюфяк был вспорот.

— Никаких следов, — проворчал раздосадованный Жевроль. — Он явился до половины десятого. Теперь можно смело входить.

Начальник полиции перешагнул порог и, подойдя к трупу вдовы Леруж, опустился на колени.

— Ничего не скажешь, чистая работа, — пробормотал он. — Убийца явно не новичок, — затем, оглянувшись по сторонам, добавил: — Ого! Бедняжка стряпала, когда ей нанесли удар. Сковородка, ветчина, яйца — все на полу. Мерзавец не дождался ужина. Он, видите ли, торопился и убил натошак. Да, оправдаться тем, что за столом он выпил лишнюю рюмку, ему не удастся.

— Все ясно, — обратился комиссар полиции к следователю. — Убийство совершено с целью ограбления.

— Надо думать, — насмешливо ответил Жевроль. — Именно поэтому на столе и нет никакого серебра.

— Глядите-ка, в этом ящике золотые монеты! — воскликнул Лекок, который тоже шарил по всем углам комнаты. — Целых триста двадцать франков!

— Вот те на! — протянул несколько сбитый с толку Жевроль, но быстро оправился от удивления и продолжал: — Он про них забыл. Иной раз и не такое случается. Я сам видел однажды преступника, который, совершив убийство, настолько потерял голову, что забыл, зачем пришел, и убежал, так ничего и не взяв. Вероятно, наш молодчик разволновался. А может, ему помешали? Кто-то мог, например, постучать в дверь. И вот что заставляет меня в это поверить: негодяй не поленился задуть горевшую свечу.

— Да будет вам! — прервал Лекок. — Это ничего не доказывает. Может, он просто бережливый и аккуратный человек.

Полицейские обшарили весь дом, но самые тщательные их поиски не увенчались успехом: они не нашли ничего — ни единой улики, ни малейшей зацепки, которая могла бы служить отправной точкой для следствия. К тому же все бумаги вдовы Леруж, если таковые у нее и были, исчезли. Ни письма, ни листка бумаги — решительно ничего. Жевроль время от времени бранился и ворчал.

— Ловко! Первоклассная работа. Этот негодяй — малый не промах.

— Итак, господа? — спросил наконец следователь.

— Нас обставили, господин следователь, — отозвался Жевроль, — и ловко обставили! Злодей принял все возможные меры предосторожности. Но от меня он не уйдет. Уже к вечеру дюжина моих людей будет искать его. К тому же деваться ему некуда. Он ведь унес деньги и драгоценности — это его и погубит.

— При всем том, — ответил г-н Дабюрон, — с утра мы не очень-то продвинулись.

— Ну уж не знаю! Сделано все, что можно, — проворчал Жевроль.

— Черт побери! — вполголоса произнес Лекок. — А почему не позвали папашу Загоню-в-угол?

— Ну и чем бы он нам помог? — возразил Жевроль, бросив на подчиненного неприязненный взгляд.

Лекок молча опустил голову, радуясь про себя, что задел начальника за живое.

— Кто такой этот папаша Загоню-в-угол? — поинтересовался следователь. — Кажется, это прозвище я уже где-то слышал.

— Ну, ему палец в рот не клади! — воскликнул Лекок.

— Это бывший служащий ссудной кассы, богатый старик, его настоящая фамилия Табаре, — пояснил Жевроль. — В полиции он служит по той же причине, по какой Анселен стал торговым приставом, — из любви к искусству.

— И ради умножения доходов, — добавил комиссар.

— Вот уж нет! — возразил Лекок. — Он считает этот труд делом чести и нередко тратит на расследование собственные деньги. В сущности, для него это развлечение. Мы прозвали его Загоню-в-угол, потому что он вечно повторяет эту фразу. О, это дока! В деле с женой того банкира именно он догадался, что она инсценировала кражу, и доказал это.

— Верно, но он же чуть не отправил на гильотину беднягу Дерема, портняжку, которого обвиняли в убийстве жены-потаскухи, тогда как он был невиновен,—парировал Жевроль.

— Мы теряем время, господа,— прервал спор следователь и, обратясь к Лекоку, попросил: — Разыщите этого папашу Табаре. Я много о нем наслышан и хотел бы увидеть его в деле.

Лекок убежал, Жевроль же почувствовал себя оскорбленным.

— Господин следователь,— начал он,— вы, конечно, имеете право привлекать к расследованию кого вам заблагорассудится, однако...

— Не будем ссориться, господин Жевроль,— сказал г-н Дабюрон.— Я знаю вас не первый день и высоко ценю, но сегодня наши мнения разошлись. Вы упорно настаиваете, что преступление совершил тот черноволосый, я же убежден, что вы на ложном пути.

— Полагаю, что я прав,— ответил начальник полиции,— и надеюсь доказать это. Я найду негодяя, как бы хитер он ни был.

— Именно это мне и надо.

— Только позвольте, господин следователь, дать вам,— как бы так выразиться, чтобы это не выглядело неуважительно,— дать вам совет.

— Слушаю вас.

— Так вот: я призываю вас, господин следователь, не слишком доверяться папаше Табаре.

— Вот как! И почему же?

— Он чересчур увлекается. В сыском деле ему важен лишь успех — точь-в-точь как какому-нибудь сочинителю. А поскольку он тщеславен, как павлин, то запросто может поддаться порыву и попасть впросак. Столкнувшись с преступлением, к примеру, таким, как это, он сочтет, что способен все объяснить, не сходя с места. И впрямь, он тут же сочиняет историю, которая как нельзя лучше будет соответствовать обстоятельствам. Этот Табаре воображает, что может по одному факту восстановить сцену убийства,— ну, вроде как тот ученый, что по одной кости восстанавливал облик допотопных животных¹. Порой он

¹ Имеется в виду французский зоолог и палеонтолог Жорж Кювье (1769—1832), установивший принцип корреляции органов, на основе которого он реконструировал облик вымерших животных. (Здесь и далее прим. перев.)

угадывает верно, но частенько и ошибается. Вот, например, в деле портного, этого несчастного Дерема, если бы не я...

— Благодарю за предупреждение,— прервал его г-н Дабюрон,— не премину принять его во внимание. А сейчас, господин комиссар, нужно обязательно попытаться узнать, откуда родом эта вдова Леруж.

Вновь потянулась — на сей раз уже перед следователем — вереница свидетелей, вызываемых бригадиром. Однако они не сообщили ничего нового. По-видимому, вдова Леруж отличалась исключительной скрытностью: из всех ее речей — а почесать язык она любила — в памяти окрестных кумушек не задержалась ни одна существенная деталь.

Все допрошенные лишь старательно излагали следователю собственные предположения и доводы. Общее мнение явно склонялось на сторону Жевроля. Все в один голос обвиняли высокого черноволосого мужчину в серой блузе. Кому и быть убийцей, как не ему? Люди вспоминали его свирепый вид, наводивший страх на всю округу. Многие, пораженные его подозрительной внешностью, благо-разумно его избегали. Однажды вечером он якобы угрожал женщине, в другой раз ударил ребенка. Ни женщины, ни ребенка назвать никто не мог, но тем не менее эти жестокие поступки были известны всем.

Г-н Дабюрон уже отчаялся внести в дело хоть какую-нибудь ясность, когда к нему привели тринадцатилетнего мальчика и бакалейщицу из Буживаля, у которой покойная покупала съестное; оба, похоже, знали что-то важное. Первой вошла торговка. Она сказала, что слышала, как вдова Леруж говорила о своем сыне.

— Вы в этом уверены? — усомнился следователь.

— Не сойти мне с этого места! — ответила торговка. — Помню даже, что в тот вечер — это случилось вечером — она была, с позволения сказать, малость под хмельком. Просидела у меня в лавке больше часа.

— И что же она говорила?

— Как сейчас вижу,— продолжала женщина,— стоит, облокотившись о прилавок, рядом с весами, и шутит с рыбаком из Марли, папашей Юссоном,— он может вам подтвердить,— дразнит его «горе-моряком». «Вот мой муж,— сказала она,— тот был в самом деле моряк, потому что уходил в море на целые годы и всегда привозил мне кокосовые орехи. Мой сын — тоже моряк, как покойный отец, плавает на военном корабле».

— Она не упомянула, как зовут сына?

— Говорила, но не в тот раз, а в другой, когда была, не побоюсь сказать, и вовсе пьяна. Все твердила, что его зовут Жак и что она очень давно с ним не виделась.

— Не отзывалась ли она дурно о муже?

— Никогда. Говорила только, что покойный был ревнивец и грубиян, но, в сущности, добрый малый, и что жилось ей с ним несладко. Умом он был слаб и вечно воображал себе невесту что. К тому же чересчур был честен — сущий простофиля.

— Навещал ли ее сын, после того как она поселилась в Ла-Жоншер?

— Мне она ничего об этом не говорила.

— Она тратила у вас много денег?

— Когда как. В месяц покупала у нас франков на шестьдесят, иногда больше — когда требовала выдержанный коньяк. Платила всегда наличными.

Больше торговка ничего не знала, и ее отпустили. Сменивший ее мальчик оказался весьма общительным. Для своих лет он выглядел высоким и крепким. У него был смысленный взгляд и живая, любопытная физиономия. Перед следователем он, казалось, вовсе не робел.

— Ну, так что же тебе известно, мальчик? — спросил следователь.

— На той неделе, в воскресенье, сударь, я видел у садовой калитки госпожи Леруж какого-то мужчину.

— В какое время дня?

— Рано утром, я как раз шел в церковь к заутрене.

— Понятно, — сказал следователь. — И мужчина этот был высокий, черноволосый, в серой блузе...

— Нет, сударь, напротив, маленький, приземистый, очень толстый и довольно старый.

— Ты не ошибаешься?

— Вот еще! — обиделся мальчик. — Я с ним разговаривал и видел его, как вас.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи.

— Я как раз, сударь, шел мимо, когда увидел у калитки этого толстяка. Он был злующий-презлующий — просто ужас. Весь красный, даже макушка багровая. Я хорошо разглядел: он был без шляпы и почти лысый.

— И он заговорил с тобой?

— Да, сударь. Он меня заметил и окликнул: «Эй, малыш!» Я подошел. «Скажи-ка, — спросил он, — ты легок на ногу?» Я ответил: «Да». Тогда он взял меня за ухо, но не больно и сказал: «Коли так, сослужи-ка мне службу, а я дам

тебе десять су. Беги к Сене. Возле пристани увидишь большое пришвартованное судно, зайдешь на него и спросишь патрона Жерве. Не беспокойся, он будет там; скажи, чтобы собирался отплывать, я готов». После этого он сунул мне в руку десять су, и я ушел.

— Как было бы приятно,— пробормотал комиссар,— если бы все свидетели были такие, как этот мальчишка.

— А теперь расскажи, как ты справился с поручением,— попросил следователь.

— Пошел на судно, сударь, нашел хозяина и передал, что было велено,— вот и все.

Жевроль, слушавший с самым живым вниманием, наклонился к уху г-на Дабюрона.

— Господин следователь,— прошептал он,— не позволите ли мне задать парнишке несколько вопросов?

— Разумеется, господин Жевроль.

— Скажи, мой юный друг,— спросил полицейский,— узнаешь ты этого человека, если увидишь снова?

— Еще бы, конечно!

— Значит, в нем было что-то особенное?

— Ну да — лицо кирпичного цвета.

— И все?

— Все, сударь.

— Но ты видел, как он был одет. На нем была блуза?

— Нет, куртка с большими карманами. Из одного торчал уголок платка в голубую клетку.

— А какие были на нем штаны?

— Не помню.

— А жилет?

— Погодите-ка,— задумался мальчик.— Жилет?

По-моему, жилета не было. Да, не было, потому что... Ну конечно, вспомнил: он был без жилета, но в галстук, концы которого были продеты в большое кольцо.

— А ты, малыш, не дурак,— с удовлетворением сказал Жевроль.— Держу пари, что, хорошенько подумав, ты вспомнишь еще что-нибудь.

Мальчик молча опустил голову. По морщинам на его юном лбу можно было догадаться, что он отчаянно напрягает память.

— Точно! — вдруг воскликнул он.— Вспомнил!

— Ну?

— Этот человек носил большие серьги.

— Bravo! — вскричал Жевроль.— Примет вполне достаточно. Я его разыщу, а вы, господин следователь,

можете заготовить для него вызов в суд.

— Я полагаю, что показания этого мальчика, пожалуй, самые важные,— отозвался г-н Дабюрон и, обратившись к пареньку, спросил: — Не скажешь ли, мой юный друг, что за груз был на судне?

— Вот этого не знаю, сударь: судно-то было палубное.

— Оно шло вверх или вниз по Сене?

— Но оно ведь стояло, сударь.

— Это понятно,— пояснил Жевроль.— Господин следователь спрашивает, в какую сторону был повернут нос судна: к Парижу или к Марли?

— Оба конца судна показались мне одинаковыми.

Начальник полиции разочарованно развел руками.

— Но ты,— обратился он к мальчику,— мог заметить название судна: ты ведь умеешь читать? Следует всегда смотреть, как называется судно, на которое заходишь.

— Я не видел названия,— ответил парнишка.

— Если судно стояло в нескольких шагах от причала,— вмешался г-н Дабюрон,— на него могли обратить внимание жители Буживаля.

— Господин следователь прав,— поддержал комиссар.

— Верно,— согласился Жевроль.— Да и матросы наверняка сходили на берег и заглядывали в трактир. А этот патрон Жерве, как он выглядел?

— Как все здешние речники, сударь.

Мальчик собрался уходить, но следователь остановил его.

— Прежде чем уйти, мой мальчик, скажи: говорил ты кому-нибудь об этой встрече?

— В воскресенье, вернувшись из церкви, я все рассказал матери, сударь, и даже отдал ей десять су.

— А ты ничего от нас не скрыл? — продолжал следователь.— Утаивать истину от правосудия — тяжкий проступок. Оно все равно до всего дознается, и должен тебя предупредить, что для лгунов существуют страшные наказания.

Юный свидетель покраснел как помидор и опустил глаза.

— Вот видишь, ты от нас что-то скрыл. Разве ты не знаешь, что полиции известно все?

— Простите, сударь,— воскликнул мальчик, заливаясь слезами,— простите, не наказывайте меня, я никогда больше не буду!

— Говори же, в чем ты нас обманул?

— Сударь, этот человек дал мне не десять, а двадцать су. Десять я отдал матери, а десять оставил себе, чтобы купить шарики.

— Мой юный друг,— успокоил его следователь,— на этот раз я прощаю тебя. Но пусть это послужит тебе уроком на всю жизнь. Ступай и запомни: скрывать правду бесполезно, она всегда выйдет наружу.

II

Последние показания, добытые следователем, давали хоть какую-то надежду. Ведь и ночник во мраке сияет, словно маяк.

— Господин следователь, я хотел бы сходить в Буживаль, если вы не возражаете,— сообщил Жевроль.

— Вероятно, вам лучше немного подождать,— ответил г-н Дабюрон.— Этого человека видели в воскресенье утром. Давайте узнаем, как вела себя в тот день вдова Леруж.

Позвали трех соседок. Они в один голос заявили, что все воскресенье она провела в постели. Когда одна из соседок осведомилась у вдовы, что с ней произошло, та ответила: «Ах, этой ночью случилось нечто ужасное». Тогда этим словам никто не придал значения.

— Человек с серьгами становится для нас все важнее,— сказал следователь, когда женщины ушли.— Его необходимо найти. Это относится к вам, господин Жевроль.

— Не пройдет и недели, как я его отыщу,— ответил начальник полиции.— Сам обшарю все суда на Сене — от истока до устья. Хозяина зовут Жерве — хоть какие-то сведения в управлении судоходства я о нем добуду.

Речь его была прервана появлением запыхавшегося Лекока.

— А вот и папаша Табаре,— объявил он.— Я встретил его, когда он выходил из дома. Что за человек! Даже не захотел дожидаться поезда. Уж не знаю, сколько он дал кучеру, но мы домчались сюда за четверть часа. Быстрее, чем на поезде!

Вслед за Лекоком на пороге появился некто, чья внешность, надо признать, никоим образом не отвечала представлению о человеке, которого полиция почтила разрешением работать на нее.

Было ему лет шестьдесят, и возраст, похоже, давал уже о себе знать. Невысокий, сухопарый и сутуловатый, он

опирался на трость с резным набалдашником слоновой кости.

С его круглого лица не сходило выражение тревожного изумления; двое комиков из Пале-Рояля сколотили бы себе состояние на таких физиономиях, как у него. Маленький подбородок вошедшего был тщательно выбрит, пухлые губы свидетельствовали о простодушии, а неприятно вздернутый нос напоминал раструб инструмента, изобретенного г-ном Саксом¹. Крохотные тускло-серые глазки с покрасневшими веками не выражали решительно ничего, однако раздражали невероятной подвижностью. Редкие прямые волосы не закрывали больших оттопыренных ушей и ниспадали челкой на покатый, точно у борзой, лоб.

Одет он был добротнo и опрятно: ослепительной белизны белье, на руках шелковые перчатки, на ногах гамашы. Длинная, чрезвычайно массивная золотая цепь редкой безвкусыности трижды обвивалась вокруг его воротничка и скрывалась в жилетном кармане.

Папаша Табаре по прозвищу Загоню-в-угол поклонился прямо в дверях, согнув дугой свой старый позвоночник, и смиренно спросил:

— Благоволили послать за мной, господин судебный следователь?

— Да,— ответил г-н Дабюрон и подумал: «Может, он человек и способный, но по виду этого не скажешь».

— Я всецело в распоряжении правосудия,— продолжал г-н Табаре.

— Надеюсь,— сказал следователь,— вы окажетесь удачливее нас и найдете какую-либо улику, которая поможет напасть на след убийцы. Сейчас мы вам все объясним.

— Мне известно вполне достаточно,— прервал его папаша Табаре.— Лекок по дороге рассказал, что тут произошло. Я знаю столько, сколько мне нужно.

— И все-таки...— недовольно произнес комиссар.

— Положитесь на меня, господин следователь. Приступая к делу, я предпочитаю не знать подробностей и больше доверяться собственным впечатлениям. Когда тебе известно чужое мнение, волей-неволей поддаешься ему и... Впрочем, я начну расследование вместе с Лекоком.

Глазки у папаши Табаре разгорелись и сверкали, словно

¹ Сакс Адольф (1814—1894) — бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона (1843), который в описываемое время был модной новинкой.

карбункулы. Лицо светилось от внутреннего ликования; казалось, оно лучится каждой морщинкой. Он выпрямился и стремительно ринулся во вторую комнату.

Пробыв там около получаса, он также бегом вылетел обратно. Потом снова скрылся в ней, выскочил еще раз и почти сразу же куда-то убежал. Следовательно не преминул заметить про себя, что старик беспокоен и резв, словно гончая, идущая по следу. Его вздернутый нос вздрагивал, словно пытаясь уловить еле слышный запах убийцы. Носясь туда и сюда, папаша Табаре непрерывно жестикулировал и говорил сам с собой: то отчитывал и бранил себя, то подбадривал, то издавал торжествующие возгласы. Лекоку он не давал ни секунды покоя и все время что-то просил у него: сперва бумагу и карандаш, потом лопату, а то вдруг потребовал немедленно добыть гипс, воду и бутылку масла.

Приблизительно через час следовательно, уже начинавший проявлять признаки нетерпения, осведомился о своем добровольном помощнике.

— Трудится,— ответил бригадир.— Лежит на животе в грязи и размешивает в тарелке гипс. Говорит, что почти закончил и скоро придет.

И верно, почти тут же папаша Табаре вернулся — радостный, торжествующий, помолодевший лет на двадцать. За ним вошел Лекок, с большою осторожностью неся вместительную корзину.

— Все совершенно ясно,— заявил старичок следователю.— Теперь загнать его в угол проще простого. Лекок, дитя мое, поставь корзину на стол.

В комнату вошел Жевроль и тоже с весьма удовлетворенным видом.

— Я напал на след человека с серьгами,— сообщил он.— Судно шло вниз по реке. У меня есть точные приметы хозяина судна Жерве.

— Слушаю вас, господин Табаре,— произнес следователь.

Тот выложил на стол содержимое корзины: большой ком жирной глины, несколько больших листов бумаги и несколько еще не засохших комков гипса. Стоя перед столом, он представлял собою фигуру почти гротескную и сильно напоминал тех господ, которые выманивают на ярмарках у зрителей деньги, показывая фокусы. Одежда папаши Табаре сильно пострадала: он был весь в грязи.

— Я начинаю,— произнес он наконец с притворной

скромностью.— Убийство, которым мы занимаемся, не имело своей целью ограбление.

— Напротив! — пробормотал Жевроль.

— Я докажу это с полной очевидностью,— продолжал папаша Табаре.— Я также выскажу свои скромные соображения о причине убийства, но это позже. Итак, убийца прибыл сюда до половины десятого, то есть перед дождем. Я, как и господин Жевроль, грязных следов не нашел, однако под столом, куда преступник ставил ноги, обнаружил немножко пыли. Стало быть, время мы установили. Вдова Леруж не ждала посетителя. Когда он постучал, она уже начала раздеваться и как раз заводила часы с кукушкой.

— Вот так подробности! — воскликнул комиссар.

— Установить их нетрудно,— охотно пояснил полицейский.— Осмотрите часы над секретером. Завода у них хватает часов на четырнадцать-пятнадцать, не больше — я в этом убедился. Значит, вдова, скорее всего, заводила их вечером перед сном. Как же могло случиться, что они остановились на пяти часах? Вдова их трогала. Когда к ней постучались, она начала подтягивать гирю. В подтверждение моей догадки мне хотелось бы обратить ваше внимание на стул, стоящий под часами: на его обивке ясно виден отпечаток ноги. Теперь взгляните на одежду жертвы: лиф ее платья расстегнут. Торопясь открыть, она не стала его застегивать, а просто набросила на плечи старый платок.

— Черт побери! — воскликнул явно заинтригованный бригадир.

— Вдова знала пришедшего,— продолжал старик.— Об этом свидетельствует поспешность, с какой она ему открыла, и все прочее подтверждает наше предположение. Итак, убийцу сразу же впустили. Человек этот еще молод, роста немного выше среднего, изящно одетый. В тот вечер на нем был цилиндр, в руках зонтик; он курил гаванские сигары, причем с мундштуком...

— Ну извините! — воскликнул Жевроль.— Это уже слишком!

— Возможно, и слишком,— отвечал папаша Табаре,— но тем не менее правда. Если вы не отличаетесь тщательностью, ничем не могу помочь, но я-то человек добросовестный. Я ищу и нахожу. Вы говорите: «Это слишком»? Отлично! Благоволите бросить взгляд на эти влажные куски гипса. Это слепки с каблуков убийцы; их отпечатки, очень четкие, я обнаружил у канавы, где был найден ключ. Видите эти листы бумаги? На них перерисованный мною след целиком. Снять с него слепок я не смог: он был на песке. Взгляните:

высокий каблук, крутой подъем, маленькая узкая подошва, одним словом, элегантная обувь для ухоженных ног. Поислав, вы встретите на дороге такой отпечаток дважды. Кроме того, он пять раз повторяется в саду, куда никто не заходил. Это, между прочим, доказывает и то, что убийца постучал не в дверь, а в ставень, через который пробивался свет. Входя в сад, человек перепрыгнул через грядку — на это указывает более глубокий отпечаток носка. Убийца легко преодолел почти двухметровое расстояние, значит, он ловок и, следовательно, молод.

Папаша Табаре говорил негромко, но четко и решительно; взгляд его перебегал с лица на лицо, как бы следя за отражавшимся на них впечатлением.

— Вас удивила шляпа, господин Жевроль? — продолжал он. — Обратите внимание на правильный круглый след на мраморной доске секретера, которая была покрыта тонким слоем пыли. Вас поразило, что я определил рост этого человека? Потрудитесь посмотреть на верх шкафа, и вы увидите, что убийца шарил там рукой. Следовательно, он гораздо выше меня. И не говорите, что он вставал на стул: в этом случае ему было бы все видно и не пришлось бы шарить по шкафу. Вас привел в изумление зонт? Этот ком глины сохранил прекрасный отпечаток не только его острия, но и деревянного кольца, которым закреплена ткань. Может, вас озадачивает сигара? Вот окурок, подобранный мною в золе. Конец его изжеван, сохранил следы слюны? Нет. Следовательно, куривший пользовался мундштуком.

Лекок беззвучно аплодировал, даже не пытаясь скрыть восхищения. Комиссар тоже, казалось, был восхищен, лицо следователя выражало восторг. Физиономия Жевроля заметно вытянулась. Что же до бригадира, тот просто окаменел.

— А теперь, — снова заговорил папаша Табаре, — слушайте внимательно. Молодой человек вошел. Как он объяснил свой приход в такой час, я не знаю. Ясно одно: он сказал вдове Леруж, что еще не ужинал. Славная женщина обрадовалась и тут же принялась за стряпню. То, что мы видели, она стряпала не для себя. В шкафу я нашел остатки ее ужина — она ела рыбу, и вскрытие это подтвердит. К тому же вы видите, что на столе только один бокал и один нож. Но что это за молодой человек? Вдова, очевидно, относилась к нему с почтением. В стенном шкафу есть еще чистая скатерть. Но постелила ли она ее? Нет. Для гостя она достала самое лучшее, белоснежное столовое белье. Ему она подала этот чудесный бокал, несомненно кем-то подаренный.

И наконец, совершенно очевидно, что сама она обычно не пользовалась этим ножом с ручкой из слоновой кости.

— Все верно,— пробормотал следователь,— совершенно верно.

— Вот молодой человек уселся. Пока вдова ставила сковороду на огонь, он для начала выпил бокал вина. Затем, чтобы собраться с духом, попросил водки и выпил несколько рюмок. Минут десять молодой человек боролся с собой — столько времени нужно, чтобы поджарить ветчину и яйца; как мы видим, они успели поджариться; потом встал и подошел к вдове, которая, наклонясь вперед, сидела на корточках, и нанес ей два удара в спину. Умерла она не сразу. Она привстала и схватила убийцу за руки. А он, рванувшись, резко приподнял ее и оттолкнул туда, где она сейчас и лежит.

Положение трупа свидетельствует, что имела место короткая борьба. Иначе, получив удар в спину, сидевшая на корточках женщина упала бы навзничь. Убийца воспользовался острым и тонким предметом, это был, если не ошибаюсь, кусок клинка рапиры, с которого сняли наконечник и заточили. Вытерев оружие о юбку убитой, преступник оставил нам его отпечаток. На самом же убийце следов борьбы не осталось. Жертва вцепилась ему в руки, но так как своих серых перчаток он не снимал...

— Роман, да и только! — воскликнул Жевроль.

— Вы осмотрели ногти вдовы Леруж, господин начальник полиции? Нет. Так вот, осмотрите, а потом скажите, ошибаюсь ли я. Итак, женщина мертва. Что нужно убийце? Деньги, ценности? Нет, нет и еще раз нет! Он хочет найти и забрать бумаги, которые, насколько ему известно, хранятся у жертвы. Чтобы разыскать их, он переворачивает все вверх дном, обшаривает шкафы, вышвыривает белье, взламывает секретер, поскольку ключа у него нет, и даже вытряхивает матрас.

В конце концов он их находит. И знаете, что он делает с этими бумагами? Сжигает, но не в камине, а в маленькой печурке в первой комнате. Цель достигнута. Что же дальше? Он убегает, захватив с собою все ценное, что смог найти, чтобы, инсценировав ограбление, направить расследование по ложному пути. Завернув добычу в салфетку, которой он пользовался за обедом, и задув свечу, убийца уходит, запирает дверь и выбрасывает ключ в канаву. Вот и все.

— Господин Табаре,— отозвался следователь,— расследование вы провели превосходно, и я уверен, что вы полностью правы.

— Ну, что я говорил! — вскричал Лекок. — Папаша Загоню-в-угол просто великолепен!

— И неподражаем! — иронически заметил Жевроль. — Только я думаю, что этот молодой человек чувствовал себя не очень-то ловко с узелком из белой салфетки — ее ведь видно издалека.

— Ну, узелок он далеко не унес, — ответил папаша Табаре. — Поймите, он не дурак, чтобы ехать до железнодорожной станции omnibusом. Он пошел туда пешком и короткой дорогой — по берегу. А дойдя до Сены, первым делом незаметно выбросил свою ношу — если только он не хитрее, чем я предполагаю.

— Вы уверены, папаша Загоню-в-угол? — спросил Жевроль.

— Могу держать пари. Я даже послал троих людей, чтобы они под наблюдением жандарма обшарили поблизости дно Сены. Если они найдут узелок, то получают вознаграждение.

— Из вашего кармана, неугомонный старик?

— Да, господин Жевроль, из моего.

— Да только найдут ли? — пробормотал следователь. В этот миг вошел жандарм.

— Вот, — сказал он, протягивая мокрую салфетку, в которую было завернуто столовое серебро, деньги и золотые украшения. — Это люди нашли в Сене. Они просят обещанные сто франков.

Папаша Табаре достал из бумажника банкноту и отдал жандарму.

— Что вы теперь думаете, господин следователь? — спросил он, снисходительно и гордо взглянув на Жевроля.

— Думаю, что благодаря вашей необычайной проницательности мы близки к тому...

Закончить ему помешали: явился врач, приглашенный для вскрытия.

Покончив со своими неприятными обязанностями, он смог лишь подтвердить предположения и догадки папаша Табаре. Положение трупа врач объяснил точно так же и так же полагал, что убийству предшествовала борьба. Более того, он обнаружил на шее жертвы чуть посиневшую странгуляционную полосу — по всей вероятности, убийца схватил вдову за горло. И наконец, врач сообщил, что ела вдова Леруж примерно за три часа до смерти.

Теперь оставалось лишь собрать кое-какие вещественные доказательства, чтобы впоследствии предъявить их обвиняемому.

Папаша Табаре с необычайной тщательностью осмотрел ногти убитой и с величайшими предосторожностями извлек из-под них несколько крошечных лоскутков перчаточной кожи. Самый большой не достигал в длину и двух миллиметров, однако цвет его был хорошо различим. Сыщик отложил в сторону и лоскут юбки, о который убийца вытер оружие. Это, а также найденный в Сене сверток и обнаруженные г-ном Табаре отпечатки было все, что оставил после себя преступник.

Этого было мало, но и такая малость в глазах г-на Дабюрона приобретала величайшую ценность: она давала надежду на успех. Камень преткновения при расследовании таинственных преступлений — ошибка в установлении мотива. Если поиски принимают неверное направление, то следствие все больше и больше отдаляется от истины. Следовательно был почти убежден, что теперь — благодаря папаше Табаре — уже не собьется с пути.

Настал вечер, в Ла-Жоншер следователю больше делать было нечего. Жевроль, испытывавший неукротимое желание изловить человека с серьгами, объявил, что остается в Буживале. Он пообещал обойти до ночи все кабачки и постараться откопать новых свидетелей.

После того как комиссар и прочие откланялись, г-н Дабюрон предложил папаше Табаре ехать вместе.

— Я собирался сам просить вас оказать мне эту честь, — ответил старик.

Они вышли вместе и, естественно, заговорили о занимавшем обоих преступлении.

— Узнаем мы или нет о прежней жизни этой женщины? — произнес папаша Табаре. — Это очень важно.

— Узнаем, если бакалейщица говорила правду, — отвечал следователь. — Если муж убитой плавал, а сын тоже моряк, морское министерство быстро сообщит нам недостающие сведения. Сегодня же вечером я туда напишу.

Они добрались до станции Рюэйль и сели в поезд. Им посчастливилось: в их распоряжении оказалось целое купе первого класса.

Однако папаша Табаре приумолк. Он думал, строил догадки, сопоставлял; по его лицу можно было прочитать все движения мысли. Следователь с любопытством наблюдал за ним: его занимал характер этого необыкновенного человека, которого привела на службу на Иерусалимскую улицу такая, прямо скажем, своеобразная страсть.

— Господин Табаре, — внезапно спросил он, — скажите, вы давно служите в полиции?

— Девять лет, уже девять лет, господин следователь. Я, признаюсь, несколько удивлен, что вы до сих пор ничего обо мне не слышали.

— Нет, я, конечно, знал о вас понаслышке, но не больше,— отвечал г-н Дабюрон.— Мне, хотелось дать вам возможность проявить ваши способности, потому-то мне и пришла в голову столь удачная мысль привлечь вас к этому делу. И все же хочется знать, что толкнуло вас на этот путь.

— Тоска, господин следователь, одиночество, скука. Я, знаете ли, далеко не всегда был счастлив.

— Мне сказали, вы богаты.

Ответом был тяжкий вздох, свидетельствовавший о скрытых от всего мира жестоких разочарованиях.

— Да, живу я в достатке, но так было не всегда,— отвечал он.— До сорока пяти лет жизнь моя была сплошное самоотречение, я терпел нелепые и бессмысленные лишения. Мой отец загубил мою молодость, испортил мне жизнь и сделал из меня жалкого неудачника.

Есть профессии, отрешиться от которых до конца невозможно. Вот и г-н Дабюрон всегда и во всем оставался немножко следователем.

— Как, господин Табаре! Виновник всех ваших несчастий — отец? — удивился он.

— Увы, это так. В конце концов я его простил, но в свое время проклинал. Да, некогда, вспоминая отца, я осыпал его всеми проклятиями, какие только может внушить самая жестокая ненависть. Это было, когда я узнал... Вам я могу довериться. Мне было двадцать пять, я зарабатывал в ссудной кассе две тысячи франков в год, и вдруг как-то утром ко мне явился отец и поведал, что он разорен и остался без средств. Он был в отчаянии, говорил о самоубийстве. Я любил отца. Разумеется, я стал его утешать и, несколько украсив свое положение, постарался убедить его, будто зарабатываю недурно и он не будет ни в чем нуждаться, а для начала объявил, что мы будем жить вместе. Сказано — сделано, и на двадцать лет я взвалил на себя обузу, этого старого скрягу...

— Неужели вы раскаиваетесь в своем благородном поступке, господин Табаре?

— Еще бы мне не раскаиваться! Да как только у него мой хлеб в глотке не застрял!

Г-н Дабюрон не сумел скрыть удивления, и это не ускользнуло от внимания папаши Табаре.

— Погодите меня осуждать,— продолжал он.— Пред-

ставьте себе: с двадцати пяти лет мне пришлось терпеть по милости родного отца невероятные лишения. У меня не было ни друзей, ни любовных приключений, одним словом, ничего. По вечерам для приработка я переписывал бумаги у нотариуса. Отказывал себе даже в табаке. Делал все, что мог, но старик без конца ныл, оплакивал былой достаток, требовал денег на то, на се. Я лез из кожи вон, а он все равно был недоволен. Одному Богу известно, как я мучился! Не затем же я родился, чтобы жить и состариться в одиночестве, словно пес. Я создан для семейных радостей. Я мечтал жениться, любить свою милую жену, стать отцом и радоваться, глядя на резвящихся вокруг меня славных ребятишек. Ну да полно... Когда от таких мыслей у меня сжималось сердце и на глазах выступали слезы, я брал себя в руки. Я говорил себе: «Дружище, раз ты зарабатываешь всего три тысячи франков в год и у тебя на руках любимый старик отец придется тебе задушить все чувства и остаться холостяком». И тут я повстречал девушку! Это случилось тридцать лет назад. Видите, я и сейчас не могу спокойно вспоминать! Она была хороша собой и бедна... Но, увы, я уже был старик, когда умер мой отец, этот изверг, этот...

— Господин Табаре! — укоризненно остановил его следователь.

— Уверяю вас, господин следователь, я простил его. Однако вы должны понять мой гнев. В день его смерти я нашел у него в столе бумаги на ренту в двадцать тысяч франков!

— Так он был богат?

— Да, очень богат, но и это еще не все. Неподалеку от Орлеана у него было поместье, приносящее шесть тысяч франков годового дохода. Кроме того, ему принадлежал дом — тот, в котором я живу. Мы жили в нем вместе, и я — глупец, дурень, олух царя небесного — каждые три месяца вручал привратнику квартирную плату.

— Невероятно! — вырвалось у г-на Дабюрона.

— Не правда ли? Он попросту воровал деньги у меня из кармана. Верхом насмешки было его завещание: в нем он клялся Богом, что поступил так ради моего же блага. Он написал, что хотел приучить меня к порядку и бережливости, удержать от безрассудных поступков. А мне было уже сорок пять, в течение двадцати лет я ругал себя за каждый бесцельно потраченный грош. Он просто воспользовался моим добросердечием, просто... Клянусь вам, это убило во мне всякие сыновние чувства.

Вполне оправданный гнев папаши Табаре был столь ко-

мичен, что следователь с огромным трудом удерживался от смеха, несмотря на всю горестную суть услышанного.

— Но хоть наследство-то принесло вам радость? — поинтересовался он.

— Да нет, господин следователь. Я получил его слишком поздно. Что за радость иметь вдоволь хлеба, когда не осталось зубов. Время жениться уже прошло. Я подал в отставку, чтобы уступить место тому, кто беднее меня. Через месяц я уже умирал от скуки, а поскольку никаких привязанностей у меня не было, я решил предаться какому-нибудь пороку, какой-нибудь страсти, увлечению. Я принялся собирать книги. Вы, должно быть, полагаете, что для этого необходимы определенные познания?

— Думаю, господин Табаре, что для этого нужны прежде всего деньги. Я знал одного знаменитого библиофила, который, похоже, умел с грехом пополам читать, но уже написать собственное имя был не в состоянии.

— Это вполне возможно. Но я умею читать и прочитывал все книги, которые приобретал. Признаюсь, собирал я только то, что имеет какое-либо отношение к полиции, — мемуары, сообщения, памфлеты, трактаты, всякие рассказы, романы — и все буквально проглатывал. Понемногу я стал чувствовать, что меня притягивает та таинственная сила, которая из недр Иерусалимской улицы наблюдает и оберегает общество, проникает повсюду, приоткрывает самые плотные завесы, изучает подоплеку всевозможных заговоров, угадывает то, что желают скрыть, знает подлинную цену человеку, цену совести и копит в своих зеленых папках самые страшные и постыдные тайны.

Читая мемуары знаменитых сыщиков, захватывающие, как самые занимательные сказки, я восхищался этими людьми, наделенными острым чутьем; людьми тонкими, как шелк, упругими, как сталь, прозорливыми и коварными, всегда готовыми изобрести какой-нибудь неожиданный трюк; они преследуют преступника именем закона, пробираясь сквозь его хитросплетения, подобно индейцам Купера, идущим по следу врага в дебрях американских лесов. Мне захотелось стать винтиком этой великолепной машины, сделаться ангелом-хранителем, который помогает посрамлению злодейства и торжеству добродетели. Я попробовал и, кажется, не ошибся в выборе профессии.

— И она вам нравится?

— Я обязан ей, господин следователь, самыми радостными минутами. Сменив охоту за книгами на преследование себе подобных, я распростился со скукой. Ах, как это

прекрасно! Я лишь пожимаю плечами, когда вижу, как какой-нибудь простофиля платит двадцать пять франков за право подстрелить зайца. Разве это добыча? Вот охота на человека — другое дело! Тут нужно проявить все свои способности, и это не бесславная победа. Какова дичь, таков и охотник: оба умны, сильны и хитры, оружие у них почти равное. Ох, если бы люди знали, как волнует эта игра в прятки, в которую играют преступник и полицейский, то все бы ринулись наниматься на Иерусалимскую улицу. Жаль одного: это искусство мельчает и исчезает. Настоящие преступления стали редки. Могучая порода дерзких злодеев уступила место заурядным жалким мошенникам. Несколько жуликов, которые время от времени заставляют говорить о себе, столь же глупы, сколь и трусливы. Они подписываются под совершенным преступлением и только что не оставляют свою визитную карточку. В том, чтобы их поймать, никакой заслуги нет. Убедись в самом факте преступления, а потом иди и арестовывай, кого следует.

— Мне кажется, однако,— прервал, улыбнувшись, г-н Дабюрон,— что наш убийца не так уж неловок.

— Он — исключение, господин следователь, и тем приятнее мне будет его разоблачить. Я приложу к этому все усилия, а если придется, рискну и своим добрым именем. Должен признаться,— прибавил старик с некоторым смущением,— что перед друзьями я не хваюсь своими подвигами. Напротив, я их старательнейшим образом скрываю. Узнай мои знакомые, что Загону-в-угол и Табаре одно и то же лицо, может случиться, что их рукопожатия станут не такими дружелюбными.

Незаметно разговор вернулся к преступлению. Собеседники условились, что завтра папаша Табаре обоснуется в Буживале. Он взялся в течение недели опросить всех местных жителей. Следователь со своей стороны обещал сообщать ему все, что узнает нового. И как только добьется, чтобы дело вдовы Леруж было передано ему, призовет его под свое начало.

— Для вас, господин Табаре,— сказал он напоследок,— доступ ко мне всегда открыт. Когда у вас появится нужда поговорить со мной, приходите без стеснения хоть днем, хоть ночью. Я почти нигде не бываю. Вы непременно найдете меня или дома, на улице Жакоб, или в кабинете во Дворце правосудия. Я распоряжусь, чтобы вас пропускали ко мне беспрепятственно.

Поезд подъехал к перрону. Г-н Дабюрон нанял фиакр и предложил в нем место папаше Табаре, но тот отказался.

— Не стоит,— ответил он.— Как я уже имел удовольствие сообщить, я живу неподалеку отсюда на улице Сен-Лазар.

— В таком случае до завтра! — попрощался г-н Дабюрон.

— До завтра! — ответил папаша Табаре и добавил: — Мы его отыщем.

III

Дом папаша Табаре и в самом деле располагается не далее чем в четырех минутах ходьбы от вокзала Сен-Лазар. Это красивое здание содержится в превосходном порядке и приносит, по-видимому, недурной доход, хотя плату с жильцов берут вполне умеренную.

Сам папаша Табаре живет в свое удовольствие. Он занимает большую квартиру во втором этаже с окнами на улицу; расположение комнат прекрасное, они хорошо обставлены, а главное их украшение — собрание книг. Хозяйство в доме ведет старая служанка, которой, когда в том есть нужда, помогает привратник.

О причастности хозяина к полиции никто в доме и понятия не имеет, тем паче, что, судя по внешности, он начисто лишен той пусть небольшой доли сметливости, какой должен обладать любой, даже самый последний полицейский. Папаша Табаре настолько рассеян, что все принимают это за первые признаки старческого слабоумия.

Однако странности его поведения не остались незамеченными. Вечные отлучки из дому окружили его ореолом таинственности и эксцентричности. Никакой молодой гуляка не вел столь безалаберную и беспорядочную жизнь. Папаша Табаре часто не возвращался домой к обеду или ужину, ел когда попало и что попало. Он уходил из дому в любое время дня и ночи, часто ночевал неизвестно где, а то и пропадал по целым неделям. Вдобавок к нему приходили странные личности: в его дверь звонили то какой-то шут гороховый с манерами, не внушающими доверия, то сущий разбойник.

Столь сомнительный образ жизни до некоторой степени поколебал уважение к папаше Табаре. В нем подозревали ужасного распутника, который проматывает состояние, таскаясь по непотребным местам. «Для человека его возраста это просто срам», — говорили о нем. Он знал о сплетнях, но только посмеивался. Правда, все это не мешало многим жильцам искать общества и расположения папаша Табаре.

Его приглашали отобедать, однако он почти всегда отказывался.

Он навещал в доме лишь одну особу, и с нею его связывала такая тесная дружба, что он чаще бывал у нее, чем у себя. То была вдова г-жа Жерди, уже более пятнадцати лет занимавшая квартиру на пятом этаже. Жила она вместе с сыном по имени Ноэль, в котором души не чаяла.

Ноэлю было тридцать три года, но выглядел он старше своих лет. Он был высок и хорошо сложен, черноглаз, с черными кудрявыми волосами; черты его лица были проникнуты умом и благородством. Он слыл одаренным адвокатом и уже приобрел некоторую известность. Работал он упорно, хладнокровно, вдумчиво и, будучи страстно предан своей профессии, придерживался, быть может, несколько нарочито, весьма строгих правил.

У г-жи Жерди папаша Табаре чувствовал себя как дома. К ней он относился как к родственнице, а к Ноэлю как к сыну. Не раз у него возникала мысль попросить руки очаровательной вдовы, невзирая на то что ей уже стукнуло пятьдесят; удерживал его не столько вполне возможный отказ, сколько страх перед последствиями. Сделав предложение и получив отказ, он испортил бы хорошие отношения, которыми так дорожил. Между тем в завещании, составленном по всем правилам и хранившемся у нотариуса, он объявил молодого адвоката единственным своим наследником с одною лишь оговоркой: ежегодно выдавать премию в две тысячи франков тому полицейскому, который сумеет «загнать в угол» самого хитроумного преступника.

Дорога до дома заняла у папашы Табаре добрых четверть часа, хотя жил он рядом с вокзалом. Расставшись со следователем, он вновь погрузился в размышления; спешившие по своим делам прохожие со всех сторон толкали его, так что, продвигаясь к дому на один шаг, он удалялся от него на два. В который раз он повторял про себя переданные молочницей слова вдовы Леруж: «Если понадобится, будет и больше».

— В том-то все дело,— бормотал он.— Вдова Леруж знала тайну, которую какие-то богатые и высокопоставленные люди очень хотели бы скрыть. Она держала их в руках — вот источник ее доходов. Шантажировала их, но, видать, перегнула палку, и они ее убрали. Но что это за тайна и откуда она ее знала? Возможно, в молодости она служила в богатом доме. И там увидела, услышала или подметила что-то. Что? Очевидно, в этом замешана женщина. Быть может, вдова была соучастницей любовных приключений сво-

ей хозяйки? Почему бы и нет? В таком случае дело усложняется. Нужно отыскать не только эту женщину, но и ее любовника — ведь он-то и нанес смертельный удар. Если я не ошибаюсь, этот человек из дворян. Буржуа — тот просто нанял бы убийц. Этот же не отступил, совершил убийство сам, обойдясь, таким образом, без болтливых или глупых сообщников. Человек этот — крепкий орешек. Он дерзок и хладнокровен: убийство исполнено превосходно. Малый не оставил никаких более или менее серьезных следов. Без меня Жевроль уверовал бы в ограбление и все завел бы в тупик. На счастье, неподалеку оказался я... Нет, нет, — продолжал размышлять сыщик. — Все не так. Тут не просто любовная интрига, тут хуже. Супружеская неверность! Да нет, слишком много времени прошло...

Папаша Табаре вошел в парадную дома. Привратник, сидевший у окна своей каморки, увидел его в свете газового рожка.

— Смотри-ка, — сказал он, — хозяин вернулся.

— Сдается мне, — отозвалась его жена, — нынче вечером его прелестница не пустила его на порог: вид у него удрученный, как никогда.

— Стыд и срам! — высказал суждение привратник. — Экий он растерзанный да помятый. Вот до чего довели его красотки! В один прекрасный день наденут на него смиренную рубашку и упрячут в сумасшедший дом.

— Гляди, гляди! Торчит столбом! — воскликнула жена.

Почтенный господин Табаре стоял без шляпы и, жестикулируя, бормотал:

— Нет, нить я еще пока не поймал... Уже тепло, но это не то.

Он поднялся по лестнице и позвонил, забыв, что в кармане у него ключ, подходящий ко всем дверям в доме. Отворила экономка Манетта.

— Это вы? Так поздно!

— А? Что? — встрепнулся папаша Табаре.

— Я говорю, уже половина девятого, — отвечала экономка. — Я уж думала, вы сегодня не вернетесь. Вы хоть обедали?

— Еще нет.

— Хорошо, что я держала обед на плите, можете садиться за стол.

Папаша Табаре сел и налил себе супу, однако тут же задумался и замер с ложкой в руке, пораженный только что пришедшей мыслью.

«Ей-ей, у него не все дома, — подумала экономка. —

Сидит дурак дураком. И то сказать, разве человек в своем уме станет вести такую жизнь?»

Она коснулась его плеча и крикнула, точно глухому:

— Что же вы не едите? Вы не голодны?

— Голоден, голоден,— забормотал папаша Табаре, машинально стремясь избавиться от голоса, гудевшего у него над ухом,— я хочу есть, потому что с утра мне пришлось...

Он вдруг замолк, да так и остался сидеть с открытым ртом; взор его блуждал в пространстве.

— Что пришлось?..— переспросила Манетта.

— Разрази меня гром! — завопил старик, вздев сжатые кулаки к потолку.— Нашел, разрази меня гром!

Его жест был столь внезапным и стремительным, что экономка несколько струсила и попятилась к двери.

— Ну разумеется,— продолжал папаша Табаре.— Какие тут сомнения? У них был ребенок!

Манетта поспешно приблизилась и спросила:

— Ребенок?

Тут старик вдруг заметил, что служанка все слышит.

— Ах, это вы? — сердито проговорил он.— Что вам здесь нужно? Как вы осмелились торчать здесь и подслушивать, что я говорю? Сделайте одолжение, отправляйтесь на кухню и не появляйтесь, пока не позову.

«Осерчал»,— подумала Манетта и мгновенно исчезла.

Папаша Табаре снова сел к столу и принялся поспешно глотать вконец остывший суп.

— Как же я об этом не подумал? — говорил он вслух.— До чего же слаб человек! Мой ум состарился и притупился. Между тем дело ясно как день. Обстоятельства совершенно очевидны.

Он позвонил в стоявший перед ним колокольчик; вошла служанка.

— Жаркое,— потребовал он,— и оставьте меня одного. Да,— продолжал он, яростно разрезая баранью ногу.— Наверняка у них был ребенок. Дело же было так. Вдова Леруж служит у богатой высокопоставленной дамы. Муж дамы, возможно, моряк, отправляется в дальнее плавание. У дамы есть любовник, она, забеременев от него, довернется вдове Леруж и с ее помощью тайно разрешается от бремени.

Тут папаша Табаре снова позвонил:

— Манетта! Десерт, и — вон отсюда.

Нужно признаться, что такой хозяин, как папаша Табаре, не заслуживал столь искусной кухарки. Он затруднился бы сказать, что ему подавали на обед или хотя бы что он ест сию минуту, а между тем это был грушевый компот.

— Но ребенок! — продолжал он вполголоса. — Что стало с ребенком? Быть может, его убили? Нет, если бы вдова Леруж принимала участие в детоубийстве, она не представляла бы опасности. Любовник пожелал, чтобы ребенок жил, и его поручили заботам вдовы, которая его воспитала. Возможно, потом ребенка у нее отобрали, однако остались доказательства его рождения и существования. Тут я попал в цель. Отец — это мужчина в карете, а мать — та женщина, что приезжала к вдове с красивым молодым человеком. Не сомневаюсь, что ловкая вдовушка ни в чем не испытывала недостатка. Есть тайны, которые стоят фермы в Бри. Она шантажировала двух человек. Понятно, что если она позволяла себе такую роскошь, как любовник, то расходы ее с каждым годом росли. Слаб человек! Сердцу не прикажешь! Но шантажистка перестаралась, и все пошло прахом. Она стала угрожать, родители ребенка испугались и решили, что с нею пора покончить. Но кто взялся исполнить это? Отец? Нет, он слишком стар. Черт побери, конечно, сын! Хотел спасти мать, милый мальчик. И вот вдова — хладный труп, а доказательства преданы огню.

Манетта же приникла ухом к замочной скважине и слушала, затаив дыхание. Время от времени до нее доносились отдельные слова, восклицания, удары кулака по столу — и все.

«Понятное дело, — думала она, — ему все женщины покойя не дают. Пытаются убедить его, что он стал отцом».

Снедаемая любопытством, она не выдержала и рискнула приотворить дверь.

— Вы просили кофе, сударь, — робко произнесла она.

— Не просил, но принесите, — ответил папаша Табаре.

Он попытался выпить кофе одним глотком, но обжегся, и боль мгновенно вернула его к действительности.

— Горячо, черт возьми! — проворчал он. — Проклятое дельце совсем вывело меня из равновесия. Верно, я принимаю все слишком близко к сердцу. Но кто, кроме меня, может, пользуясь только логикой, восстановить все, что произошло? Уж, конечно, не бедняга Жевролы! То-то он будет посрамлен, то-то будет злиться! А не навестить ли мне господина Дабюрона? Нет, рано еще. Нынче ночью я должен обдумать некоторые обстоятельства, привести мысли в порядок. С другой стороны, ежели я останусь здесь в одиночестве, вся эта история приведет мою кровь в движение, а после столь плотной еды это грозит несварением желудка. Пойду-ка проведаю госпожу Жерди —

эти дни ей нездоровилось, поболтаю с Ноэлем и немного развеюсь.

Папаша Табаре встал, надел сюртук, взял шляпу и трость.

— Вы уходите? — спросила Манетта.

— Да.

— Вернетесь поздно?

— Возможно.

— Но все же вернетесь?

— Понятия не имею.

Минуту спустя папаша Табаре звонил к своим друзьям.

Квартира г-жи Жерди была во всем под стать хозяйке. Г-жа Жерди располагала средствами, а труды Ноэля, у которого уже появилось немало клиентов, должны были в скором времени превратить эти средства в целое состояние.

Жила г-жа Жерди крайне уединенно, и, если не считать друзей, которых иногда приглашал к обеду Ноэль, в доме у нее бывало совсем немного посетителей. Папаша Табаре, который запросто заглядывал к ней уже лет пятнадцать, встречал там лишь приходского священника, старого учителя Ноэля да брата г-жи Жерди, отставного полковника.

Когда все эти гости собирались вместе, что случалось не часто, составлялась партия в бостон. В другие дни играли в пикет или империал. Ноэль в гостиной не сидел. После обеда он уходил в кабинет — его кабинет и спальня имели отдельный вход — и погружался в дела. За работой он засиживался очень поздно. Зимой лампа у него иногда не гасла до рассвета.

Мать и сын жили лишь друг для друга. Все их знакомые охотно это повторяли. Ноэля любили и почитали за ту заботу, какую он окружал мать, за беспредельную сыновнюю преданность, за жертвы, на которые, по мнению многих, он шел, живя в свои годы, словно старик. Обитатели дома с удовольствием противопоставляли поведение столь серьезного молодого человека поведению папаши Табаре, этого неисправимого старого шута, этого мышиного жеребчика.

Что до г-жи Жерди, она за сыном света белого не видела. Со временем ее любовь к нему превратилась в обожание. Она считала Ноэля воплощением физических и духовных совершенств. Он казался ей каким-то высшим существом. Стоило ему заговорить, она умолкала и слушала. Любое его слово было для нее приказом. Любое его мнение она воспринимала как веление промысла божьего. Заботиться о сыне, изучать его вкусы, угадывать его желания,

окружать его нежной теплотой — в этом заключался смысл ее существования. Она была прежде всего мать.

— Госпожа Жерди принимает? — осведомился папаша Табаре у служанки, открывшей ему дверь, и, не дожидаясь ответа, вошел, как к себе, уверенный, что его появление будет не в тягость, а в радость.

В гостиной горела лишь одна свеча и замечен был беспорядок. Маленький столик с мраморной столешницей, стоявший всегда посередине комнаты, был сдвинут в угол. Большое кресло г-жи Жерди стояло у окна. На полу валялась развернутая газета. Добровольный сыщик одним взглядом охватил всю эту картину.

— Что-то случилось? — спросил он у служанки.

— И не говорите, господин Табаре; ну и страху мы натерпелись, ну и натерпелись...

— В чем дело? Говори же!

— Вы знаете, что уже месяц хозяйка сильно хворает. Она почти не ест. Сегодня утром она мне говорила...

— Ладно, ладно, что произошло вечером?

— После обеда хозяйка, как обычно, отправилась в гостиную. Села в кресло и взяла одну из газет господина Ноэля. Только начала читать и вдруг закричала, страшно закричала. Мы прибежали: хозяйка лежит на полу, словно мертвая. Господин Ноэль взял ее на руки и отнес в спальню. Я хотела сходить за врачом, но он мне сказал, что не надо, он, мол, знает, в чем дело.

— А как она сейчас?

— Пришла в себя. Во всяком случае, я так думаю, потому что господин Ноэль услал меня. Я знаю только, что она сию минуту разговаривала, и даже довольно громко, так что мне было слышно. Ах, господин Табаре, как все это странно!

— Что странно?

— То, что она говорила господину Ноэлю.

— Так вы, красавица, подслушиваете под дверьми? — насмешливо спросил папаша Табаре.

— Нет, клянусь вам, но госпожа кричала криком, что, мол...

— Дочь моя! — строго проговорил папаша Табаре. — Запомните, подслушивать под дверью скверно, можете спросить у Манетты.

Смущенная служанка принялась оправдываться.

— Довольно, — прервал старик. — Возвращайтесь к своим занятиям. Беспокоить господина Ноэля не нужно, я подожду его здесь.

С этими словами папаша Табаре, довольный преподанным уроком, поднял газету и устроился в уголке у камина, поставив свечу поудобнее. Не прошло и минуты, как он подскочил в кресле, вскрикнув от удивления и безотчетного страха. Дело в том, что в глаза ему бросилась следующая заметка:

«Страшное преступление повергло в ужас деревню Ла-Жоншер. Некая вдова Леруж, пользовавшаяся всеобщим уважением и любовью, была убита в собственном доме. Своевременно предупрежденные представители правосудия прибыли на место преступления; есть все основания надеяться, что полиция нашла на след преступника, совершившего это гнусное убийство».

— Разрази меня гром! — пробормотал папаша Табаре. — Неужели госпожа Жерди...

Это было как вспышка молнии. Пожав плечами, старик снова опустился в кресло и, устыдившись, заговорил сам с собою:

— Нет, решительно, на этом деле я совсем свихнулся. Только о вдове Леруж и думаю, она мерещится мне повсюду.

Однако неосознанное любопытство заставило его пробежать газету. Кроме этих нескольких строчек, он не нашел в ней ничего, что могло бы стать причиной обморока, крика или даже малейшего волнения.

«Странное все же совпадение», — подумал неумный сыщик. Только теперь он заметил, что газета слегка надорвана и смята, словно ее судорожно сжала чья-то рука.

— Странно! — повторил он.

В этот миг дверь, ведущая из спальни г-жи Жерди в гостиную, отворилась, и на пороге появился Ноэль. Внезапная болезнь матери, бесспорно, сильно отразилась на нем: он был чрезвычайно бледен; его обычно бесстрастное лицо выдавало большое волнение. При виде папашы Табаре он, казалось, удивился.

— Ах, дорогой Ноэль, — воскликнул старик, — развейте мое беспокойство и скажите, как чувствует себя ваша матушка?

— Госпожа Жерди чувствует себя неплохо, насколько это возможно.

— Госпожа Жерди? — изумленно повторил старик, однако продолжал: — Я вижу, вы пережили жестокое потрясение.

— В самом деле,— ответил адвокат, усаживаясь,— мне был нанесен ужасный удар.

Ноэль явно прилагал большие усилия, чтобы спокойно слушать старика и отвечать на его вопросы. Папаша Табаре, находясь в сильном волнении, ничего этого не замечал.

— По крайней мере, дитя мое,— попросил он,— расскажите, как это произошло.

Молодой человек помедлил, как бы обдумывая что-то. Он не был готов к поставленному в лоб вопросу и колебался, не зная, как отвечать. Наконец он сказал:

— Госпожу Жерди страшно поразило известие в газете о том, что женщина, которую она любила, убита.

— Вот так так! — вскричал папаша Табаре.

Старик был до такой степени потрясен, что чуть было не проговорился о своей тесной связи с полицией. Еще немного, и он воскликнул бы: «Как! Ваша матушка знала вдову Леруж?» По счастью, он сдержался. Больших трудов стоило ему скрыть свое удовлетворение: он был рад, что безо всяких трудов узнает что-то о прошлом жертвы преступления в деревне Ла-Жоншер.

— Эта женщина была верной служанкой госпожи Жерди. Она была настолько предана ей душой и телом, что бросилась бы за нее в огонь и воду.

— А вы, друг мой, знали эту почтенную женщину?

— Я очень давно ее не видел,— отвечал Ноэль, в голосе которого сквозила глубокая печаль,— но знал ее и знал хорошо. Должен признаться, я ее очень любил — она была моей кормилицей.

— Она? Эта женщина? — запинаясь, проговорил папаша Табаре.

На этот раз он пребывал в совершенном ошеломлении. Вдова Леруж — кормилица Ноэля! Ну и повезло же ему. Само providение выбрало его своим орудием и направляло его руку. Теперь он узнает все, что ему нужно, все сведения, которые полчаса назад он отчаялся где-либо добыть. Онемев от изумления, папаша Табаре сидел перед Ноэлем. Вскоре, однако, он понял, что должен сказать хоть что-нибудь, чтобы не ставить себя в неловкое положение.

— Большое несчастье,— пролепетал он.

— Не знаю, как для госпожи Жерди,— мрачно сказал Ноэль,— но для меня это огромное горе. Удар, нанесенный этой несчастной, поразил меня в самое сердце. Ее смерть, господин Табаре, развеяла в прах все мои мечты о будущем и разрушила вполне законные надежды. Я собирался отомстить за жестокую обиду, а смерть эта выбила у меня из

рук оружие и ввергла в бессильное отчаяние. Ах, как я несчастен!

— Вы? Несчастливы? — воскликнул папаша Табаре, которого глубоко тронуло горе его дорогого Ноэля. — Боже мой, отчего же?

— Я страдаю, — тихо сказал адвокат, — и притом жестоко. Не только из страха, что справедливость не восторжествует, но и оттого, что остался беззащитен перед клеветой. Теперь обо мне могут сказать, что я мошенник, честолюбивый интриган без стыда и совести.

Папаша Табаре не знал, что и думать. Он не видел ничего общего между честью Ноэля и преступлением, совершенным в деревушке Ла-Жоншер. В голове у него роились тысячи смутных и тревожных мыслей.

— Успокойтесь, дитя мое, — произнес он. — Никакая клевета не в силах вас запятнать. Смелее, черт возьми, разве у вас нет друзей? Разве я не с вами? Доверьтесь мне, расскажите, что вас печалит, и, дьявол меня раздери, если мы вдвоем...

Адвокат резко встал, воспламененный внезапным решением.

— Хорошо! — прервал он старика. — Вы узнаете все. Я и впрямь устал уже хранить эту тайну, я задыхаюсь. Роль, которую я вынужден играть, тягостна и оскорбительна. Мне нужен друг, способный утешить меня. Я нуждаюсь в советчике, который мог бы меня ободрить. Человек ведь не судья себе, а это преступление ввергло меня в бездну сомнений.

— Вы же знаете, — просто ответил папаша Табаре, — что я полностью в вашем распоряжении, вы мне как сын. Располагайте мною без стеснения.

— Так знайте же... — начал адвокат. — Но нет, не здесь. Я не хочу, чтобы нас услышали, пройдемте ко мне в кабинет.

IV

Когда Ноэль и папаша Табаре, плотно затворив за собою дверь, уселись в комнате, где работал адвокат, старик забеспокоился.

— А вдруг вашей матушке что-нибудь понадобится? — спросил он.

— Если госпожа Жерди позвонит, придет служанка, — сухо ответил молодой человек.

Это равнодушие, это холодное презрение озадачили

папашу Табаре, привыкшего, что сын и мать всегда нежны и предупредительны друг к другу.

— Бога ради, Ноэль, успокойтесь,— заговорил он,— не давайте волю раздражению. Вы, как я вижу, немного повздорили с матушкой — на завтра все позабудется. Оставьте же этот ледяной тон, которым вы говорите о ней. Отчего вы с таким упорством называете ее госпожой Жерди?

— Отчего? — переспросил адвокат глухо. — Отчего?

Он встал, прошелся по кабинету и, вновь усевшись рядом со стариком, проговорил:

— Оттого, господин Табаре, что она мне не мать.

Для старого сыщика эта фраза прозвучала как гром среди ясного неба. Он был потрясен.

— Что вы! — произнес папаша Табаре тоном, каким отвергают непозволительное предложение. — Что вы! Подумайте, что вы говорите, дитя мое. Возможно ли, вероятно ли это?

— Да, это невероятно,— ответил Ноэль с некоторой напыщенностью,— в это невозможно поверить, и тем не менее это так. Тридцать три года, с самого моего рождения, эта женщина играет поразительную, постыдную комедию ради блага сына — а у нее есть сын — и в ущерб мне.

— Друг мой...— начал папаша Табаре, перед которым замаячил призрак вдовы Леруж.

Но Ноэль не слушал и, казалось, утратил способность что-либо понимать. Этот молодой человек, столь холодно-кровный, сдержанный и скрытный, не прятал более своего гнева. Слова, которые срывались с его губ, подгоняли его, как подгоняет добрую лошадь звон бубенчиков на ее сбруе.

— Ни один человек на свете,— продолжал он,— не ошибался столь жестоко, как я, и не был столь гнусно одурачен! Я так любил эту женщину, так изоощрялся, чтобы выразить ей свою привязанность, я принес ей в жертву свою молодость. Как она, должно быть, смеялась надо мной! Ее гнусное преступление началось в тот день, когда она впервые взяла меня на руки. И все эти годы она играла свою отвратительную роль, не выходя из нее ни на минуту. Ее любовь ко мне была лицемерием, преданность — притворством, ласки — ложью! А я обожал ее! Почему я не могу взять назад всю нежность, которой отвечал на ее поцелуи? Сколько героических усилий, сколько хлопот употребила она на обман, на двоедушие! А цель ее была — побеззастенчивей предать меня, обернуть, ограбить, чтобы

ее внебрачный сын получил все, что принадлежало мне: благородное имя, огромное состояние...

«Дело идет к развязке», — подумал папаша Табаре, в котором проснулся сотрудник Жевроля. Вслух же он произнес:

— Все это весьма серьезно, дорогой Ноэль, чрезвычайно серьезно. Приходится допустить, что госпоже Жерди присущи дерзость и предприимчивость, какие редко бывают свойственны женской натуре. Поэтому у меня возникает предположение, что ей кто-то советовал, помогал, кто-то ее, быть может, склонял на это. Кто ее соучастники? Ведь не могла же она действовать в одиночку! Возможно, ее муж...

— Ее муж! — прервал адвокат с горьким смешком. — Вы тоже попались на удочку со вдовством. Никакого мужа никогда не было, блаженной памяти господина Жерди не существовало в природе. Я незаконнорожденный, дорогой господин Табаре: Ноэль, сын девицы Жерди и неизвестного отца.

— Господи! — воскликнул старик. — Так, значит, поэтому четыре года назад расстроился ваш брак с мадемуазель Левернуа?

— Да, мой друг, именно поэтому. Как я страдал, что не могу жениться на девушке, которую любил! Однако тогда я не досадовал на ту, что называла себя моей матерью. Она плакала, винилась, сокрушалась, а я, простодушный, утешал ее, как мог, осушал ей слезы, оправдывал ее в ее собственных глазах. Нет, мужа у нее не было... Разве у таких женщин, как она, бывают мужья? Она была любовницей моего отца; пресытившись, он ее бросил, швырнув триста тысяч франков — плату за доставленные ему удовольствия.

Ноэль, наверное, еще долго продолжал бы свои неистовые обличения, не останови его папаша Табаре. Старик чувствовал: история эта точь-в-точь похожа на ту, что он сам недавно вообразил, и, весь во власти суетного нетерпения, жаждал узнать, правильно ли он угадал, а между тем прежде всего надо было подумать о несчастном Ноэле.

— Дитя мое, — сказал он, — не будем отдаляться от предмета нашего разговора. Вы спрашивали у меня, что делать. Быть может, я единственный, кто способен дать вам действительно добрый совет. Ближе к делу. Как вы узнали об этом? Есть ли у вас доказательства и где они?

Решительный тон старика должен был бы насторожить Ноэля, но тот не обратил на это никакого внимания. Времени остановиться и поразмыслить у него не было. Он поспешил ответить:

— Я знаю об этом уже три недели. Открытие это я сде-

лал случайно. У меня есть серьезные косвенные улики, но косвенные улики ничего не решают. Одно слово вдовы Леруж, одно только ее слово сделало бы их неопровержимыми. Ее убили, и она не сможет повторить это слово, но мне она его сказала. Я знаю, теперь госпожа Жерди будет все отрицать, даже стоя на эшафоте. Отец, разумеется, будет свидетельствовать против меня... Я уверен в своей правоте, у меня есть доказательства, однако это преступление обесценивает мою уверенность и разбивает во прах все мои доказательства.

— Расскажите-ка мне лучше все по порядку,— после минутного раздумья произнес папаша Табаре,— понимаете, все. Старики могут дать порой хороший совет. Посмотрим.

— Три недели назад,— начал Ноэль,— мне понадобились кое-какие старые документы, и я открыл секретер госпожи Жерди. Задев нечаянно полку, я рассыпал бумаги, среди которых оказалась связка писем. Не знаю, что побудило меня развязать ее, но, снедаемый необоримым любопытством, я прочел первое попавшееся письмо.

— И напрасно,— неодобрительно отозвался папаша Табаре.

— Согласен, но как бы то ни было, я его прочел. Первых десяти строчек оказалось достаточно, чтобы я понял: это письма моего отца, имя которого госпожа Жерди, несмотря на все мои увещевания, скрывала от меня. Вы должны понять, что я почувствовал. Я забрал связку, заперся в кабинете и прочел всю переписку от начала до конца.

— И вы жестоко наказаны за это, мое бедное дитя!

— Это верно, но кто бы смог устоять? Письма эти разбились мне сердце, но в них я нашел доказательства того, о чем только что рассказал вам.

— Вы, я надеюсь, их сохранили?

— Они здесь, господин Табаре,— ответил Ноэль.— Чтобы дать мне совет, вы должны знать суть дела, поэтому я прочту их вам.

Адвокат выдвинул ящик письменного стола, нажал в глубине скрытую пружину и достал связку писем из потайного отделения, устроенного в столешнице.

— Разумеется,— продолжал он,— я не стану знакомить вас с несущественными подробностями, хотя и они кое-что добавляют к общей картине. Я прочту лишь самое важное, непосредственно относящееся к делу.

Сгорая от нетерпения, папаша Табаре устроился в кресле поудобнее. Глаза и все его лицо выражали напряженное внимание. Адвокат довольно долго перебирал письма и, выб-

рав наконец одно, начал читать; хотя он старался хранить спокойствие, голос его временами дрожал.

— «Любимая моя Валери!» Валери,— пояснил он,— это госпожа Жерди.

— Знаю, знаю, не останавливайтесь.

Ноэль продолжал:

«Любимая моя Валери!

Сегодня счастливый день. Утром я получил твое письмо, моя милая; я покрыл его поцелуями, перечел сто раз, и теперь оно заняло свое место там же, где и другие,— у меня в сердце. Я чуть не умер от радости, друг мой. Значит, ты все же не ошиблась, значит, это правда! Наконец милостивое небо увенчало нашу страсть. У нас будет сын.

У меня будет сын от моей обожаемой Валери, ее живой образ! Ах, почему нас разделяет столь огромное расстояние? Отчего у меня нет крыльев? Я прилетел бы к тебе, упал бы в твои объятия, опьяненный сладостным влечением! Никогда еще я не проклинал так злополучный союз, навязанный мне жестокими родителями, которых не смогли тронуть мои слезы. Я не в силах сдержать свою ненависть к этой женщине, что вопреки моей воле носит мое имя, к этой невинной жертве наших бесчеловечных родителей. И в довершение моих мук она тоже собирается сделать меня отцом. Как описать ту боль, что я испытываю, ожидая появления на свет этих детей.

У одного из них, сына той, к которой я отношусь столь нежно, не будет ни отца, ни даже отцовской фамилии, поскольку закон, беспощадный к чувствительным душам, не позволяет мне признать его. В то же время другой, рожденный ненавистной мне супругой, будет единственно благодаря своему рождению богат, знатен, окружен любовью и уважением и займет высокое положение в свете. Мне невыносима мысль о столь ужасающей несправедливости. Но что сделать, чтобы исправить ее? Не знаю, но уверен, что я ее исправлю. Желанная, дорогая, любимая, тебе должна достаться лучшая доля; так будет, потому что я этого хочу».

— Когда написано это письмо? — поинтересовался папаша Табаре, хотя содержание письма давало об этом некоторое представление.

— Взгляните,— отвечал Ноэль и протянул старику листок.

Тот прочел: «Венеция, декабрь 1828 года».

— Вы, конечно, понимаете,— продолжал адвокат,— всю важность этого первого письма. В нем кратко изложены все обстоятельства. Отец, которого принудили вступить в брак, обожает свою любовницу и питает отвращение к жене. Примерно в одно и то же время обе женщины оказываются беременны, и чувства отца к детям, которые должны родиться, вполне ясны. В конце письма у него возникает замысел, который позже, вопреки всем законам божеским и человеческим, он не побоится осуществить.

Адвокат заговорил красноречиво, словно в суде, но папаша Табаре поспешил его прервать.

— Нет смысла в это углубляться,— сказал он.— Из того, что вы прочитали, все достаточно ясно. Я не дока в подобных материях и слушал, как если бы был простым присяжным; тем не менее мне все совершенно понятно.

— Несколько писем я пропущу,— отозвался Ноэль,— и перейду к датированному двадцать третьим января тысяча восемьсот двадцать девятого года. Письмо очень длинное и в большей части не имеет отношения к тому, чем мы занимаемся. Однако я нашел два отрывка, которые характеризуют медленную и непрерывную работу мысли моего отца.

«Рок, более могущественный, нежели мое желание, удерживает меня здесь, но я с тобой, любимая Валери. Вновь и вновь мысль моя возвращается к обожаемому сыну, свидетельству нашей любви, который трепещет у тебя под сердцем. Пекись, друг мой, пекись о своем здоровье — оно теперь драгоценно вдвойне. Тебя умоляет об этом твой возлюбленный, отец твоего ребенка. Последняя страница твоего ответного письма пронизала болью мое сердце. Как ты ко мне несправедлива, когда беспокоишься о судьбе нашего ребенка! Боже всемогущий! Ты же меня любишь, знаешь и все равно беспокоишься!»

— Я пропущу две страницы любовных признаний,— сообщил Ноэль,— и прочту несколько последних строк.

«Беременность графини становится все невыносимее для меня. Несчастливая! Я ненавижу ее и вместе с тем жалею. Мне кажется, она догадывается о причинах моей печали и холодности. Своею робкой покорностью, неизменной нежностью она словно просит прощения за наш союз. Бедная жертва! Быть может, и она до венца отдала свое сердце другому. В таком случае наши судьбы схожи. На-

деюсь, ты с твоим добрым сердцем простишь мне эту жалость».

— Это он о моей матери,— дрожащим голосом произнес адвокат.— Святая! А он еще просит прощения за жалость, которую она вызывала. Бедняжка! — Ноэль провел ладонью по глазам, как бы смахивая слезы, и добавил: — Ее уже нет в живых.

Несмотря на сжигавшее его нетерпение, папаша Табаре не посмел произнести ни слова. К тому же он искренне сочувствовал глубокому горю своего молодого друга и уважал это горе. После долгого молчания Ноэль поднял голову и снова взялся за письма.

— Из следующих писем явствует,— сказал он,— что отец был озабочен судьбой своего незаконнорожденного сына. Читать их я, однако, не стану. Но вот что поразило меня в письме, посланном из Рима 5 марта 1829 года:

«Мой сын, наш сын! Вот моя единственная и неотступная забота. Как обеспечить ему то будущее, о каком я мечтаю? В прежние времена у знати таких забот не было. Я пошел бы к королю, и одно его слово обеспечило бы ребенку положение в обществе. Сегодня же король, с трудом управляющий мятежными подданными, не может ничего. Дворянство утратило все права, и к благороднейшим людям относятся, как к последним мужикам».

— А вот, немного ниже:

«Мне радостно представлять себе, каким вырастет наш сын. От матери он унаследует душу, ум, красоту, очарование, всю ее прелесть. От отца — гордость, мужество, все признаки высокого рода. Каким будет другой? Я содрогаюсь, думая об этом. Ненависть может порождать лишь чудовищ. Силой и красотой господь наделяет только детей, зачатых среди восторгов любви».

— Чудовище — это я! — воскликнул адвокат со скрытым гневом.— А другой... Но хватит об этом, все это лишь предшествовало ужасному деянию. Я только хотел показать вам, какие уродливые формы приобрела страсть отца. Мы уже близки к цели.

Папашу Табаре изумляла пылкость любви, пепел

которой ворошил Ноэль. Быть может, он принял эту историю так близко к сердцу потому, что вспомнил свою молодость. Он понимал, насколько неодолима может быть такая страсть, и содрогался, угадывая, что последует дальше.

— А вот,— заговорил Ноэль, держа в руке листок бумаги,— уже кое-что другое: не новое бесконечное послание, вроде тех, отрывки из которых я вам читал, а короткое письмецо. Отправлено оно в начале мая, на нем штемпель Венеции. Оно лаконично и тем не менее решительно.

«Дорогая Валери!

Сообщи мне, по возможности поточнее, когда могут произойти роды. Жду твоего ответа с нетерпением, которое, полагаю, тебе понятно, если ты догадалась, какие планы я строю относительно нашего ребенка».

— Не знаю,— сказал Ноэль,— поняла ли госпожа Жерди. Во всяком случае, ответила она без промедления: вот что писал отец четырнадцатого числа:

«Твой ответ, моя дорогая, таков, что о лучшем и мечтать нельзя. Теперь я вижу, что задуманный мною план вполне осуществим. Я понемногу начинаю обретать спокойствие и уверенность. Наш сын будет носить мое имя, и мне не придется с ним разлучаться. Он будет воспитываться подле меня, в моем доме, у меня на глазах, я буду сажать его на колени, брать на руки. Достанет ли у меня сил вынести столь безграничное счастье? Душа моя приучена к горю, привыкнет ли она к радости? О моя обожаемая, о мое драгоценное дитя, не бойтесь ничего, в сердце у меня хватит места для вас обоих! Завтра я отправляюсь в Неаполь, откуда напишу тебе более подробно. Что бы ни случилось, даже если мне придется пожертвовать доверенными мне важными делами, к торжественному часу я поспею в Париж. Присутствие мое удвоит твое мужество, сила моей любви уменьшит твои страдания...»

— Прошу извинить, что прерываю вас, Ноэль,— заговорил папаша Табаре,— но скажите, какие серьезные причины удерживали вашего отца за границей?

— Мой отец,— ответил адвокат,— несмотря на свой возраст, был другом и доверенным лицом Карла Десятого, который поручил ему секретную миссию в Италии. Мой отец — граф Рето де Коммарен.

— Черт возьми! — воскликнул старик и, словно для того, чтобы лучше запомнить, несколько раз повторил: — Рето де Коммарен.

Ноэль замолчал. Он, казалось, обуздал свою ярость и впал в уныние, словно человек, который принял решение примириться с судьбой и не отражать нанесенный ею удар.

— В середине мая, — продолжал он, — мой отец находился в Неаполе. Именно там этот осмотрительный, благоразумный человек, достойный дипломат, дворянин осмеливается, поддавшись безрассудной страсти, доверить бумаге свой чудовищный план. Слушайте хорошенько.

«Моя любимая!

Это письмо передаст тебе Жермен, мой старый камердинер. Я посылаю его в Нормандию с весьма щекотливым поручением. Он из тех слуг, которым можно безоглядно доверять.

Пришло время открыть тебе планы, касающиеся моего сына. Самое позднее через три недели я буду в Париже. Если я не обманываюсь в своих предположениях, вы с графиней разрешитесь от бремени в одно и то же время. Несколько дней разницы никоим образом не повлияют на мои замыслы.

Вот что я решил. Оба моих ребенка будут предоставлены попечениям кормилиц из N., где находятся почти все мои имения. Одна из этих женщин, за которую Жермен ручается и к которой я его посылаю, будет посвящена в наши планы. Ей мы и поручим заботы о нашем сыне. Обе женщины покинут Париж в один день, при этом Жермен поедет с той, что будет опекать сына графини.

Заранее подстроенное происшествие заставит обеих женщин заночевать в пути. Жермен устроит так, что спать им придется на одном постоялом дворе и даже в одной комнате.

Ночью наша кормилица подменит детей в колыбели.

Я предусмотрел все меры предосторожности, чтобы наша тайна не обнаружилась. Проезжая через Париж, Жермен должен заказать совершенно одинаковые пеленки для обоих новорожденных. Помогите ему советом.

Твое материнское сердце, милая Валери, быть может, обливается кровью при мысли о том, что ты будешь лишена невинных ласк своего ребенка. Пускай же тебя утешит мысль о судьбе, которая ему уготована благодаря твоей жертве. Никакая, даже самая пылкая материнская нежность не заменит ему грядущих благ. Что же до другого

ребенка, я знаю твою добрую душу, ты полюбишь его. Разве не будет это еще одним доказательством твоей любви ко мне? К тому же участь его вовсе не так плачевна. Он ни о чем не будет знать, и поэтому ему не о чем будет жалеть; он получит все, что сможет дать ему его состояние.

Не говори, что замысел мой преступен. Нет, любимая моя, нет. Ведь для того, чтобы наш план удался, нужно столь невероятное стечение обстоятельств, столько совпадений, независимых от нашей воли, что без явного покровительства провидения нас постигнет неудача. Если же наше предприятие увенчается успехом, значит, само небо на нашей стороне. Уповаю на это».

— Этого я и ожидал,— пробормотал папаша Табаре.

— И этот негодяй еще взывает к провидению! — вскричал Ноэль.— Ему нужно заполучить в соучастники самого господа бога!

— А как ваша матушка, то есть, извините, госпожа Жерди, отнеслась к этому предложению? — спросил старик.

— Кажется, сначала отказалась: вот здесь граф на двадцати страницах убеждает ее, уговаривает решиться. О, эта женщина!

— Послушайте, дитя мое,— мягко проговорил папаша Табаре,— не будем чрезмерно пристрастны к ней. Помоему, вы обвиняете ее одну, гневаетесь на нее одну. А ведь, по совести, граф заслуживает вашего гнева гораздо больше.

— Да,— безжалостно прервал его Ноэль,— да, граф виноват, очень виноват. Он выдумал всю эту позорную интригу, и все же я не питаю к нему ненависти. Он совершил преступление, но его можно извинить: им двигала страсть. К тому же мой отец не лгал мне, как эта женщина, каждую минуту на протяжении тридцати лет. И наконец, господин де Коммарен был столь жестоко наказан, что сейчас я могу лишь простить его и пожалеть.

— Так, значит, он был наказан? — заинтересовался старик.

— Да, ужасно, вы об этом еще узнаете; однако позвольте мне продолжать. К концу мая, даже скорее к началу июня, граф, судя по тому, что переписка прекратилась, прибыл в Париж. Он повидался с госпожой Жерди, и они уточнили последние подробности заговора. Вот записка, которая устраняет всяческие сомнения по этому поводу. В тот день граф дежурил в Тюильри и не мог оставить

свой пост. Он писал в кабинете короля, на его бумаге. Взгляните на герб.

Все готово: женщина, согласившаяся привести в исполнение план отца, уже в Париже. Отец уведомляет свою любовницу:

«Дорогая Валери!

Жермен сообщил, что кормилица твоего сына, нашего сына, приехала. Днем она придет к тебе. На нее можно положиться; прекрасное вознаграждение порукой ее молчанию. Тем не менее не говори ей ни о чем. Ей дали понять, что ты ничего не знаешь. Я хочу, чтобы вся ответственность лежала на мне — так будет благоразумнее. Женщина эта из Н. Она родилась в нашем поместье и даже, можно сказать, у нас в доме. Муж ее — храбрый, честный моряк; ее зовут Клодина Леруж. Смелее, любовь моя! Я прошу у тебя самой большой жертвы, какую только возлюбленный может просить у матери своего ребенка. Не сомневайся, небо покровительствует нам. С этой минуты все зависит от нашей ловкости и осмотрительности, а значит, мы добьемся успеха».

По крайней мере один вопрос для папаши Табаре прояснился. Заполучить сведения о прошлом вдовы Леруж не представляло теперь никакого труда. Он не смог сдержать возгласа удовлетворения, который, однако, Ноэль пропустил мимо ушей.

— Эта записка,— сообщил адвокат,— последнее письмо графа.

— Как! — удивился старик.— У вас ничего больше нет?

— Есть еще десяток строк, написанных много лет спустя. Они, конечно, тоже имеют некоторое значение, но, это, пожалуй, чисто косвенная улика.

— Какая жалость! — пробормотал папаша Табаре.

Ноэль положил на стол письма, которые держал в руках, и, повернувшись к своему старому другу, пристально взглянул на него.

— Предположим,— медленно проговорил адвокат, делая ударение на каждом слове,— предположим, это все, что мне известно. Представьте на секунду, что я знаю столько же, сколько и вы. Что вы можете сказать обо всем этом?

Папаша Табаре несколько минут молчал, прикидывая

в уме, какие выводы можно сделать из писем г-на Коммарена.

— По-моему — так подсказывают мне сердце и совесть, — вы не сын госпожи Жерди, — ответил он наконец.

— И вы правы, — с нажимом произнес адвокат. — Вы, разумеется, полагаете, что я отыскал Клодину. Эта бедная женщина, вскормившая меня своим молоком, любила меня и мучилась от ужасной несправедливости, жертвой которой я стал. Нужно ли говорить о том, как она страдала от мысли, что участвовала в этом преступлении; к старости угрызения совести сделались особенно тяжелы. Я повидался с нею и расспросил ее, она во всем призналась. Простой и безупречный план графа легко осуществился. Все совершилось через три дня после моего рождения: меня, несчастного, бедного ребенка, предал, ограбил, лишил всего тот, кто должен был быть моим защитником, — мой отец. Несчастливая Клодина! Она обещала, что будет свидетельствовать в мою пользу, когда я решу восстановить себя в правах.

— Но она умерла и унесла тайну с собой, — с сожалением в голосе тихо проговорил старик.

— И все же у меня есть еще надежда, — ответил Ноэль. — У Клодины было несколько писем, которые писали ей и граф, и госпожа Жерди, писем неосторожных и недвусмысленных. Они будут найдены и, без сомнения, сыграют решающую роль. Эти письма я держал в руках, я их читал; Клодина непременно хотела, чтобы я их забрал, но я, увы, ее не послушал.

Нет, и тут надеяться было не на что: папаша Табаре знал это лучше, чем кто бы то ни было.

Именно за этими письмами убийца и явился в Ла-Жоншер. Он нашел их и сжег вместе с другими бумагами в маленькой печке. Старый сыщик-любитель начинал понемногу все понимать.

— Зная о состоянии ваших дел, которые мне знакомы, как мои собственные, я полагаю, что граф не вполне сдержал свои щедрые обещания обеспечить ваше будущее, о которых упоминал в письме к госпоже Жерди.

— Совсем не сдержал, мой друг.

— Но это же еще бесчестнее всего остального, — с негодованием вскричал старик.

— Не обвиняйте моего отца, — мрачно промолвил Ноэль. — Его связь с госпожой Жерди длилась еще долго. Я помню, что в коллеже меня иногда навещал надменный господин — это явно был граф. Но потом наступил разрыв.

— Естественно,— с насмешкой сказал папаша Табаре,— аристократ...

— Не спешите с выводами,— прервал адвокат,— у господина де Коммарена были свои причины. Он узнал, что любовница ему изменяет, и в справедливом негодовании порвал с нею. В десяти строках, о которых я упоминал, как раз об этом и говорится.

Ноэль довольно долго рылся в разбросанных по столу бумагах и наконец нашел листок, более других выцветший и измятый. По тому, как он был обтрепан на сгибах, можно было догадаться, что его перечитывали не один раз. Некоторые буквы стерлись.

— Взгляните,— сказал адвокат с горечью.— Госпожа Жерди уже не обожаемая Валери.

«Друг, жестокий, как все истинные друзья, раскрыл мне глаза. Я не поверил. За Вами стали следить, и теперь у меня, увы, нет сомнений. Вы, которой я отдал больше, чем жизнь, изменили мне, причем уже не в первый раз. Увы! Теперь у меня даже нет уверенности в том, что я отец Вашего ребенка!»

— Но ведь эта записка — доказательство! — воскликнул папаша Табаре.— Неопровержимое доказательство! Для графа не так уж важно было бы, отец он или нет, если бы он не принес в жертву внебрачному сыну своего законного наследника. Да, вы правы, его постигла суровая кара.

— Госпожа Жерди,— продолжил рассказ Ноэль,— пробовала оправдаться. Она писала графу, но он возвращал ей письма нераспечатанными. Пыталась увидеться с ним, но ей это не удалось. В конце концов она прекратила бесплодные попытки. Поняла она, что все кончено, когда управляющий графа принес ей бумаги на ренту в пятнадцать тысяч франков на мое имя. Ее сын занял мое место, а его мать меня разорила...

Негромкий стук прервал рассказ Ноэля.

— Кто там? — не вставая, спросил он.

— Сударь,— послышался за дверью голос служанки,— хозяйка хочет поговорить с вами.

Адвокат, казалось, замаялся.

— Ступайте, дитя мое,— посоветовал папаша Табаре,— не будьте безжалостны, не уподобляйтесь святошам.

С видимой неохотой Ноэль встал и направился к г-же Жерди.

«Бедный мальчик,— подумал папаша Табаре, оставшись

один.— Какое ужасное открытие! Как он, должно быть, страдает! При его-то благородстве и чистом сердце узнать такое! Он так честен и порядочен, что даже не заподозрил, откуда пришла постигшая его беда. По счастью, мне не занимать прозорливости, и в тот самый миг, когда он отчаялся, я прихожу к уверенности, что сумею восстановить справедливость. Благодаря ему я на верном пути. Теперь и ребенку стало бы ясно, чья рука нанесла удар. Но как это произошло? Ноэль и сам не заметит, как все мне расскажет. Ах, если бы мне удалось получить эти письма хотя бы на день! Но тогда придется объяснить ему — зачем. Короче, попросив его об этом, я выдам, что связан с полицией. Лучше просто взять украдкой какое-нибудь письмо, чтобы сравнить почерк».

Едва письмо исчезло в кармане папаши Табаре, вошел адвокат.

Сильный характер помогал молодому человеку мужественно сносить удары судьбы. Постоянная скрытность, эта броня всех честолюбцев, закалила его дух.

Вот и сейчас невозможно было догадаться, что произошло между ним и г-жой Жерди. Ноэль был невозмутим и совершенно спокоен, словно находился у себя в приемной, где выслушивал бесконечные излияния клиентов.

— Ну, как она? — поинтересовался папаша Табаре.

— Ей хуже, — отвечал Ноэль. — Бредит и несет бог знает что. Она осыпала меня градом всевозможных оскорблений, обращалась со мной, как с последним негодяем. Порой кажется, что она сошла с ума.

— Это случается и по менее серьезным причинам, — заметил папаша Табаре. — Думаю, следует вызвать врача.

— Я уже послал за ним.

Адвокат сидел за столом и собирал разбросанные письма, складывая их по датам. Казалось, он и думать забыл о том, что обратился к старому другу за советом, и не выказывал ни малейшего расположения продолжить начатый разговор. Видимо, он полагал, что папаши Табаре это не касается.

— Чем больше я размышляю над вашей историей, дорогой мой Ноэль, — начал старик, — тем больше она меня поражает. Сказать по правде, я не знаю, какое бы принял решение и как бы поступил на вашем месте.

— Да, друг мой, — печально промолвил адвокат, — тут станет в тупик и более опытный человек, чем вы. Старый сыщик с трудом сдержал лукавую улыбку.

— Смиренно признаю вашу правоту, — ответил он, не

без удовольствия прикидываясь простаком. — А вы-то как поступили? Первым делом, надо полагать, попросили объяснений у госпожи Жерди?

Ноэль вздрогнул, но папаша Табаре, занятый тем, чтобы направить разговор в нужное русло, не заметил этого.

— Да, я с этого и начал, — ответил адвокат.

— И что она вам сказала?

— Что она могла сказать? Ее же уличали факты.

— Как? Она не пыталась оправдаться?

— Почему? Пыталась, но безуспешно. Пробовала объяснить эту переписку тем, что... Да мало ли что она говорила? Все это было лживо, нелепо, гнусно.

Адвокат закончил собирать письма, так и не заметив пропажи. Аккуратно перевязав, он спрятал их в потайной ящик.

— Да, она пыталась меня одурачить. — Ноэль вскочил и быстро заходил взад и вперед по кабинету, словно движение могло умерить его гнев. — Как будто это возможно при тех доказательствах, которыми я располагаю! Но она обожает своего сына. При мысли, что его заставят вернуть то, что он у меня похитил, у нее сердце разрывается. А я-то — глупец, болван, трус — вначале даже не хотел ни о чем ей говорить. Еще убеждал себя: «Нужно ее простить, она же меня любит, в конце концов». Любит — как же! Она бы не пролила и слезинки, глядя, как меня пытаются, — лишь бы ни один волос не упал с головы ее сыночка.

— Возможно, она сообщила графу, — перебил папаша Табаре, который продолжал гнуть свою линию.

— Не исключено. Но если даже и так, пользы от этого не будет: графа нет в Париже уже больше месяца, и придет он не раньше чем к концу недели.

— Откуда вы знаете?

— Я хотел встретиться со своим отцом, объяснить...

— Вы?

— Да, я. Вы что же, считаете, что я не буду протестовать? Полагаете, что я, которого обокрали до нитки, ограбили, предали, буду помалкивать? Что может меня удержать, кого мне щадить? Своих прав я добьюсь. Что вы находите в этом странного?

— Решительно ничего, друг мой. Так, значит, вы были у господина де Коммарена?

— О, я не сразу решился на это, — продолжал Ноэль. — Поначалу из-за этого открытия я чуть было не потерял голову. Мне нужно было все обдумать. Меня раздирали тысячи противоположных чувств. Я и хотел и не

хотел, гнев ослеплял меня, мне не хватало смелости, я колебался, я не мог решиться, я был во власти сомнений. Меня ужасала огласка, которую неизбежно вызовет это дело. Я страстно желал, да и сейчас желаю вернуть свое имя, тут все ясно. Но я не хотел чернить его, еще не успев даже получить. Размышлял, как бы уладить все тихо, без скандала.

— И наконец решились?

— Да. После двух недель борьбы и терзаний, после двух ужасных недель. О, как я страдал эти дни! Я забросил все дела, перестал работать. Днем стремился утомить себя ходьбой, надеясь, что ночью засну от усталости. Напрасные усилия! С тех пор как я обнаружил эти письма, мне ни разу не удалось заснуть дольше чем на час.

Адвокат рассказывал, а папаша Табаре время от времени незаметно поглядывал на часы. «Господин следовательно скоро ляжет спать»,— думал он.

— Наконец однажды утром,— рассказывал Ноэль,— после нестерпимо мучительной ночи, я сказал себе: пора с этим покончить. Я был в отчаянии, подобно игроку, который после непрерывных проигрышей ставит все, что у него осталось, на одну карту. Я взял себя в руки, послал за фиакром и отправился в особняк Коммаренов.

Старый сыщик испустил вздох облегчения.

— Это один из самых великолепных особняков Сен-Жерменского предместья, роскошная обитель, подобающая высокородному вельможе-миллионеру. Сначала входишь на широкий двор. Направо и налево размещаются конюшни с двумя десятками лошадей, каретные сараи и службы. В глубине высится дом с величественным и строгим фасадом, огромными окнами и мраморным крыльцом. За домом простирается большой сад, я бы даже сказал — парк, где растут самые, быть может, старые в Париже деревья.

Это вдохновенное описание невероятно раздражало папашу Табаре. Но что делать, как поторопить Ноэля? Неосторожное слово могло пробудить в нем подозрения, открыть, что говорит он не с другом, а с сыщиком, работающим на Иерусалимскую улицу.

— Стало быть, вас пригласили в дом? — спросил старик.

— Нет, я сам посетил его. Узнав, что я единственный наследник Рето де Коммаренов, я навел справки о своей новой семье. Я ознакомился в библиотеке с ее родословной — о, это блистательная родословная! В тот вечер

я бродил в лихорадочном возбуждении вокруг жилища моих предков. Ах, мои чувства вам не понять! «Здесь,— говорил я себе,— я родился, должен был расти, мужать, здесь я должен был бы сегодня быть хозяином!» Я упивался той несказанной горечью, что сжигает изгнанников.

Я сравнивал свою печальную жизнь бедняка со счастливым уделом незаконнорожденного, и меня охватил гнев. Во мне возникло безрассудное желание взломать дверь, ворваться в гостиную и крикнуть самозванцу, сыну девицы Жерди: «Вон отсюда, ублюдок, вон! Здесь я хозяин!» Только уверенность, что я буду восстановлен в правах, удержала меня от этого. Да, теперь я знаю обиталище моих отцов! Я люблю его старинные статуи, высокие деревья, даже мостовую двора, по которой ступала нога моей матери. Люблю все, вплоть до герба над парадным входом, гордо бросающего вызов нынешним дурацким идеям о всеобщем равенстве.

Последняя фраза настолько не соответствовала взглядам адвоката, что папаша Табаре отвернулся, чтобы скрыть насмешливую улыбку. «Слаб человек! — подумал он.— Вот он уже и аристократ».

— Подъехав к дому,— продолжал Ноэль,— я увидел у дверей швейцара в роскошной ливрее. Я спросил господина графа де Коммарена. Швейцар ответил, что господин граф путешествует, а господин виконт у себя. Это нарушало мои планы, и все же я настойчиво потребовал, чтобы мне разрешили поговорить вместо отца с сыном. Швейцар не спеша осмотрел меня с ног до головы. Он только что видел, как я вылез из наемного фиакра, и оценивал, что я за человек. Его одолевали сомнения, не слишком ли я ничтожен, чтобы иметь честь предстать перед господином виконтом.

— Но вы же могли все ему объяснить.

— Прямо так, с места в карьер? О чем вы говорите, дорогой господин Табаре! — с горькой насмешкой ответил адвокат.— Похоже, экзамен этот я выдержал: моя черная пара и белый галстук сделали свое дело. Швейцар подвел меня к разряженному слуге, с которым мы пересекли двор и вошли в пышный вестибюль, где на банкетках зевало несколько лакеев. одному из них меня препоручили.

Он повел меня по роскошной лестнице, по которой проехала бы карета, по длинной, увешанной картинами галерее, через просторные тихие комнаты, где под чехлами дремала мебель, и наконец передал с рук на руки камер-

динеру господина Альбера. Так зовут сына госпожи Жерди, на самом же деле это мое имя.

— Понимаю, понимаю.

— Я выдержал осмотр, теперь мне предстояло подвергнуться допросу. Камердинер пожелал узнать, кто я, откуда, чем занимаюсь, что мне нужно и прочее. Я просто ответил, что виконт меня не знает, но мне нужно пять минут побеседовать с ним по неотложному делу. Он предложил мне сесть и подождать, а сам ушел. Я прождал более четверти часа, пока он не появился снова. Его хозяин милостиво согласился меня принять.

Нетрудно было догадаться, что этот прием тяжким грузом лег на сердце адвоката, который счел его за оскорбление. Он не мог простить Альберу лакеев и камердинера. Ноэль позабыл, с каким ядом некий знаменитый герцог сказал: «Я плачу своим слугам за наглость, чтобы избавить себя от дурацкой и докучной необходимости быть наглым самому». Папаша Табаре был удивлен, что столь пошлые и заурядные подробности так огорчают его молодого друга.

«Какая мелочность! — подумал он. — И это у столь одаренного человека! Быть может, верно, что именно в высокомерии слуг следует искать корни ненависти простолюдинов к любезным и учтивым аристократам».

— Меня провели, — продолжал Ноэль, — в небольшую, просто обставленную гостиную, единственное украшение которой составляло оружие всех времен и народов, развешанное по стенам. Никогда еще я не видел в таком маленьком помещении столько ружей, пистолетов, шпаг, сабель и рапир. Можно было подумать, что находишься в оружейной учителя фехтования.

Старому сыщику, естественно, тут же пришлось на ум оружие, которым была убита вдова Леруж.

— Когда я вошел, — Ноэль говорил уже спокойнее, — виконт полулежал на диване. Одет он был в бархатную куртку и такие же брюки, вокруг шеи у него был повязан большой платок из белого шелка. Я отнюдь не питаю зла к этому молодому человеку; сам он не причинил мне ни малейшего вреда, о преступлении своего отца не знал, поэтому я хочу быть к нему справедливым. Он хорош собою, полон достоинства и с благородством носит имя, которое ему не принадлежит. Он моего роста, черноволос, как я, и, если бы не носил бороду, был бы похож на меня с тою лишь разницей, что выглядит на несколько лет моложе. Эту молоджавость нетрудно объяснить. Ему не при-

шлось трудиться, бороться, страдать. Он из тех счастливицков, которые имеют с рождения все и катят по жизни в экипаже, раскинувшись на подушках, не испытывая ни малейшей тряски. Завидев меня, он поднялся и вежливо поклонился.

— Вы, я полагаю, были крайне взволнованы? — спросил папаша Табаре.

— Пожалуй, меньше, чем сейчас. Две недели мучений, что ни говори, притупляют чувствительность. Я сразу начал со слов, вертевшихся у меня на языке: «Господин виконт, вы меня не знаете, да и неважно, кто я такой. Я пришел к вам с чрезвычайно печальным и серьезным делом, оно затрагивает честь вашего имени». Он, конечно, мне не поверил, так как довольно грубо осведомился: «Это надолго?» Я только кивнул.

— Прошу вас, — вмешался папаша Табаре, превратившийся весь во внимание, — не упускать никаких, даже незначительных подробностей. Вы же понимаете, насколько это важно.

— Виконт явно забеспокоился, — продолжал Ноэль. — «Беда в том, — сказал он, — что я весьма спешу. В этот час я должен быть у девушки, на которой намерен жениться, у мадемуазель д'Арланж. Не могли бы мы отложить наш разговор?»

«Хорошенькое дело! Еще одна женщина!» — подумал старик.

— Я ответил виконту, что наше объяснение не терпит отлагательств, и, увидев, что он собирается выставить меня, достал из кармана письма графа и протянул ему одно из них. Узнав почерк отца, виконт смягчился. Он объяснил, что поступает всецело в мое распоряжение, и лишь попросил позволения уведомить тех, кто его ждет. Быстро написав несколько слов, он отдал записку камединеру и приказал немедленно доставить ее маркизе д'Арланж. После этого мы прошли в соседнюю комнату — библиотеку.

— Одно только слово, — прервал рассказ сыщик. — Увидев письма, он смешался?

— Ничуть. Плотно прикрыв дверь, он указал мне на кресло, сел сам и сказал: «Теперь, прошу вас, объяснитесь». В прихожей у меня было время подготовиться к разговору. Я решил рубить сплеча. «Господин виконт, — произнес я, — дело это весьма тягостное. Я собираюсь открыть вам нечто невероятное. Умоляю, не отвечайте, пока не познакомитесь с этими письмами. Кроме того, заклинаю вас, не пытайтесь прибегнуть к насилию, это ничего не

даст». Он удивленно взглянул на меня и ответил: «Говорите, я слушаю». Я поднялся и проговорил: «Знаете, господин виконт, что вы — внебрачный сын господина де Коммарена. Доказательство — в этих письмах. Законный наследник жив, он и послал меня сюда». При этом я неотрывно смотрел на виконта и заметил, как глаза его вспыхнули гневом. На секунду я даже подумал, что он схватит меня за горло, но он быстро с собой справился. «Где письма?» — спросил он. Я протянул связку.

— Как? — вскричал папаша Табаре. — Подлинные письма? Но это же безрассудство!

— Почему?

— Он мог их... Да он мог сделать с ними все, что угодно! Адвокат положил старику руку на плечо.

— Я ведь был там, — глухо ответил он. — Уверю вас, никакой опасности не было.

Лицо у Ноэля вспыхнуло такой яростью, что папаша Табаре даже немного испугался и инстинктивно отодвинулся. «Да он убил бы его!» — подумал старик.

Адвокат продолжил рассказ:

— Я сделал для виконта Альбера то же, что сделал сегодня вечером для вас, мой друг. Я избавил его от чтения, по крайней мере в тот раз, всех ста пятидесяти шести писем. Я посоветовал ему ознакомиться лишь с теми, что помечены крестиком, и обратить особое внимание на строки, подчеркнутые красным карандашом. Тем самым я сокращал его муки...

Виконт сидел за маленьким столиком, таким хрупким, что на него даже нельзя было облокотиться, я же стоял спиной к горящему камину. Я следил за всеми его движениями и наблюдал за лицом. Да, никогда в жизни я не видел ничего подобного; проживи я хоть тысячу лет, этой сцены мне не забыть. Меньше чем за пять минут лицо виконта изменилось настолько, что его не узнал бы даже собственный камердинер. Он схватил носовой платок и время от времени машинально подносил его ко рту. Прямо на глазах он побледнел, а губы его могли сравниться белизной с платком.

На лбу у него сверкали крупные капли пота, глаза потускнели, словно покрылись какой-то пленкой. Но кроме этого — ни возгласа, ни слова, ни вздоха, ни жеста — ничего. Был миг, когда мне стало его так жаль, что хотелось вырвать у него письма, бросить их в огонь, обнять его и воскликнуть: «Ты — мой брат! Забудем же все, останемся каждый на своем месте и станем любить друг друга!»

Папаша Табаре взял руку Нозля и крепко пожал.

— Узнаю вас, мое благородное дитя!— проговорил он.

— Я не сделал этого только потому, что спросил себя: «Если письма сгорят, признает ли он меня своим братом?»

— Совершенно справедливо.

— Примерно через полчаса виконт кончил читать. Он поднялся и встал передо мною. «Вы правы,— сказал он мне.— Если это письма отца, в чем я не сомневаюсь, то все сходится на том, что я не сын графини де Коммарен». Я молчал. «Но это лишь предположения. Есть ли у вас другие доказательства?» К возражениям я, разумеется, был готов. «Жермен сможет подтвердить»,— сказал я. Он ответил, что Жермен скончался несколько лет назад. Тогда я напомнил ему о кормилице, вдове Леруж, и объяснил, что найти и расспросить ее будет нетрудно. Потом добавил, что живет она в Ла-Жоншер.

— И что он на это ответил? — поспешно спросил папаша Табаре.

— Сперва молчал и, казалось, размышлял. Потом вдруг стукнул себя по лбу и сказал: «Ну конечно, я ее знаю! Отец трижды ездил к ней вместе со мной и давал ей большие деньги». Я заметил, что это еще одно доказательство. Он не ответил и принялся мерить шагами библиотеку. Наконец он подошел ко мне и спросил: «Вы знаете законного наследника господина де Коммарена?» «Это я». Он опустил голову и прошептал: «Так я и думал». Потом взял меня за руку и добавил: «Брат мой, я не держу на вас зла».

— Мне кажется,— проговорил папаша Табаре,— по справедливости не ему бы вас прощать, а вам его.

— Нет, друг мой, ведь это его, а не меня настигло несчастье. С высоты упал не я, а он...

Старик сыщик лишь покачал головой, не желая высказывать вслух обуревавшие его мысли.

— После долгого молчания,— продолжал Нозль,— я спросил, каково будет его решение. «Послушайте,— проговорил он,— отец вернется через неделю с небольшим. Вы мне дадите эту отсрочку, не так ли? Как только он придет, я объяснюсь с ним, и справедливость восторжествует, даю вам слово чести. Заберите письма и оставьте меня. Я чувствую себя так, словно у меня из-под ног уходит земля. В один миг я потерял все: знатное имя, которое всегда старался носить достойно, прекрасное положение, громадное состояние и, самое главное, быть может, женщину, которую люблю больше жизни. Правда, взамен я обрету мать. Мы будем утешать друг друга. Я постараюсь, сударь,

чтобы она вас забыла: она ведь любит вас и станет оплакивать».

— Он в самом деле сказал это?

— Почти слово в слово.

— Негодяй! — проворчал сквозь зубы старик.

— Что вы сказали? — переспросил Ноэль.

— Я говорю, что он достойный молодой человек, — отвечал папаша Табаре, — я был бы счастлив с ним познакомиться.

— Я не показал ему письмо, в котором отец порывает с госпожой Жерди, — добавил Ноэль, — ему лучше не знать о ее падении. Я предпочел обойтись без этого доказательства, чтобы не усугублять горе виконта.

— А что теперь?

— Теперь я жду возвращения графа. Буду действовать в зависимости от того, что он скажет. Завтра пойду в прокуратуру и попрошу разобрать бумаги Клодины. Если письма найдутся, я спасен, если же нет... Но, как я уже говорил, я не могу судить беспристрастно, пока не выясню, кто убийца. К кому мне обратиться за советом?

— Любой совет требует долгих размышлений, — ответил старик, который мечтал уйти. — Бедный мальчик, как вам чудовищно тяжело было все это время!

— Невыносимо! И добавьте еще денежные затруднения.

— Да вы же так мало тратите!

— Пришлось кое-что заложить. Разве я могу прикоснуться к нашим общим деньгам, которыми распоряжался до сих пор? Мне и подумать-то об этом страшно.

— Верно, этого делать не следует. Послушайте-ка, вы очень кстати заговорили о деньгах, так как можете оказать мне услугу.

— Охотно. Какую же?

— Понимаете, у меня в столе лежат не то двенадцать, не то пятнадцать тысяч франков, которые меня страшно стесняют. Я стар, я не отличаюсь храбростью, и если про эти деньги кто-нибудь прознает...

— Боюсь... — возразил адвокат.

— И слышать не хочу! — прервал его старик. — Завтра я вам их принесу.

Однако вспомнив, что он собирается к г-ну Дабюрону и, возможно, не будет располагать своим временем, папаша Табаре добавил:

— Нет, не завтра, а сегодня же, сейчас. Эти проклятые деньги не проведут у меня больше и ночи.

Он поднялся наверх и вскоре появился, держа в руке

пятнадцать тысячефранковых банкнот.

— Если этого не хватит,— сказал он, протягивая деньги Ноэлю,— есть еще.

— Все же мне хотелось бы,— предложил адвокат,— написать расписку.

— Да зачем? Можно завтра.

— А если я сегодня ночью умру?

— Тогда я еще получу от вас наследство,— ответил старик, вспомнив о своем завещании.— Доброй ночи. Вы спрашивали у меня совета? Мне нужна ночь, чтобы все обдумать, а то сейчас у меня мозги набекрень. Я, может, даже пройдусь. Если я сейчас лягу, мне будут сниться кошмары. Итак, друг мой, терпение и отвага! Кто знает, быть может, в этот миг провидение работает на вас.

Папаша Табаре ушел; Ноэль оставил дверь открытой, прислушиваясь к затихающим на лестнице шагам. Вскоре возглас «Отворите!», обращенный к привратнику, и стук двери возвестили о том, что старик вышел из дома.

Ноэль подождал еще немного и прикрутил лампу. Затем достал из ящика стола маленький сверток, сунул в карман деньги, данные стариком, и вышел из кабинета, который запер на два оборота ключа. На площадке он остановился и прислушался, словно до него мог долететь стон г-жи Жерди. Ничего не услышав, Ноэль на цыпочках спустился вниз. Через минуту он был на улице.

Кроме квартиры на четвертом этаже, г-жа Жерди снимала также помещение на первом, служившее некогда каретным сараем. Она устроила там нечто вроде кладовой, куда сваливала всякое старье: ломаную мебель, негодную утварь, короче, всякий ненужный хлам. Там же хранились запасы дров и угля на зиму.

В этом помещении имелась давно заколоченная дверь, выходившая на улицу. Несколько лет назад Ноэль втихомолку починил ее и врезал новый замок. С тех пор он мог выходить из дома и входить в него в любое время без ведома привратника, а значит, и остальных жильцов.

В эту-то дверь адвокат и вышел на сей раз, отворив и затворив ее с величайшей осторожностью.

Оказавшись на улице, он несколько мгновений постоял, как бы решая, куда направиться. Затем медленно двинулся в сторону вокзала Сен-Лазар и тут увидел свободный фиакр. Ноэль сделал извозчику знак, и тот, придерживая лошадь, подогнал экипаж к тротуару.

— На улицу Фобур-Монмартр, угол Провансаль-

ской,— приказал адвокат, влезая,— да поживей!

Добравшись до места, он вылез и расплатился с извозчиком. Когда тот отъехал достаточно далеко, Ноэль пошел по Провансальской улице и, пройдя шагов сто, позвонил в один из самых красивых домов.

Дверь тотчас же отворилась.

Когда Ноэль проходил мимо каморки привратника, тот поздоровался с гостем почтительно, покровительственно и дружелюбно в одно и то же время; так парижские привратники здороваются лишь с теми жильцами, которые им по душе, людьми великодушными и щедрыми.

Поднявшись на третий этаж, адвокат остановился, достал из кармана ключ и вошел, словно к себе домой, в среднюю квартиру.

Хотя ключ в замке повернулся почти беззвучно, этого оказалось достаточно, чтобы навстречу Ноэлю выбежала горничная: довольно молодая, довольно хорошенькая, с дерзким взглядом.

— Ах, это вы, судары! — воскликнула она.

Восклицание было как раз той громкости, какая необходима, чтобы его услышали в глубине квартиры и восприняли как предупреждение. С таким же успехом горничная могла просто крикнуть: «Берегись!» Ноэль, казалось, не обратил на это внимания.

— Хозяйка дома? — спросил он.

— Да, сударь, и очень на вас сердита. Сегодня утром она хотела послать за вами, а недавно собиралась сама к вам поехать. Насилу я отговорила ее не нарушать ваши указания.

— Это хорошо,— сказал адвокат.

— Хозяйка в курительной,— продолжала горничная.— Я готовлю ей чай. Может, вы тоже выпьете?

— Да,— ответил Ноэль.— Посветите мне, Шарлотта.

Он прошел через великолепную столовую, сверкающую позолотой гостиную в стиле Людовика XIV и оказался в курительной.

В этой просторной комнате был очень высокий потолок. Казалось, она находится за тысячи миль от Парижа, во владениях какого-нибудь богатого подданного Поднебесной империи. Мебель, ковры, картины, обои — все здесь было явно привезено прямо из Гонконга или Шанхая.

Стены и двери были задрапированы расписным шелком. На сценках, изображенных киноварью, перед зрителями проходила вся Срединная империя: пузатые мандарины среди фонариков, одурманенные опиумом ученые, спящие

под зонтами, девушки, стыдливо опустившие взгляд на свои туго перебинтованные ноги.

Цветы и плоды на ковре — секрет изготовления таких ковров в Европе неизвестен — были вытканы с искусством, которое обмануло бы и пчелу. На шелковой драпировке потолка какой-то великий китайский художник нарисовал на лазурном фоне фантастических птиц с распростертыми золотыми и пурпурными крыльями. Драпировка удерживалась лаковыми рейками, изысканно инкрустированными перламутром; такие же рейки украшали углы комнаты.

Подле одной стены стояли два причудливых сундука. Все помещение было заставлено мебелью самых прихотливых очертаний, столиками с фарфором, шкафчиками из драгоценных пород дерева.

Были там и этажерки, купленные у Лин-Ци в городе художников Сучжоу, множество редких и дорогих безделушек — от палочек из слоновой кости, что заменяют китайцам наши вилки, до фарфоровых чашек тоньше мыльных пузырей, чудес династии Цин¹.

Посередине комнаты стоял широкий и низкий диван с грудой подушек, обтянутых тою же тканью, что и стены. Окно было огромно, словно витрина магазина, с двойными открывающимися рамами. Пространство между рамами с метр шириной было уставлено редкостными цветами. Вместо камина комната была снабжена отдушниками, расположенными таким образом, чтобы поддерживать температуру, необходимую для выведения шелковичных червей, вполне гармонизировавшую с обстановкой.

Когда Ноэль вошел, молодая женщина, свернувшись клубком на диване, курила сигарку. Несмотря на тропическую жару, она была закутана в кашемировую шаль.

Она была невысока ростом, но ведь только миниатюрные женщины могут обладать всеми совершенствами. Женщины, рост которых выше среднего, — просто ошибка природы. Как бы красивы они ни были, у них всегда найдется какой-нибудь изъян, словно в творении скульптора, пусть даже талантливого, но впервые взявшегося за слишком большое изваяние.

Да, ростом она была невелика, однако ее шея, плечи и руки поражали плавностью линий. Пальцы ее с розовыми ногтями напоминали драгоценные вещицы, за которыми тщательно ухаживают. Ноги в шелковых, похожих на

¹ Императорская маньчжурская династия, правившая в Китае в 1644—1711 гг.

паутинку, чулках были само совершенство. При взгляде на них вспоминались не ножки сказочной Золушки в хрустальных башмачках, но вполне живые, вполне осязаемые ножки банкирши, любившей, чтобы ее почитатели заказывали с них копии из мрамора, гипса или бронзы.

Женщину нельзя было назвать красивой, ни даже хорошенькой, однако лицо ее принадлежало к тем, что поражают, словно удар грома, и никогда не забываются. Лоб у нее был чуть выше, чем нужно, рот чуть великоват, хотя губы пленяли своею свежестью. Брови, казалось, были нарисованы китайской тушью, но художник, пожалуй, слишком нажимал на кисточку: когда она забывала за собой следить, они придавали ей суровый вид. Зато лицо у нее было великолепного светло-золотистого цвета, черные бархатные глаза обладали необычайной магнетической силой, зубы сияли перламутровой белизной, а в удивительно густых черных волосах, тонких и волнистых, мерцали голубоватые отблески.

Увидев Ноэля, откинувшего шелковую портьеру, женщина оперлась на локоть и приподнялась.

— Наконец-то,— произнесла она недовольным тоном.— Вы очень кстати.

Адвокату стало душно в африканской атмосфере курительной комнаты.

— Какая жара! — сказал он.— Здесь можно задохнуться.

— Вы находите? — отозвалась женщина.— А я вот стучу зубами. Мне так плохо. Ожидание невыносимо для меня, я места себе не нахожу, а вы заставляете себя ждать со вчерашнего дня.

— Но я никак не мог прийти, просто никак! — объяснил Ноэль.

— Вам же прекрасно известно,— продолжала дама,— что сегодня подошли сроки платежей и что платить мне нужно много. Набежали поставщики, а у меня за душой ни гроша. Принесли счет от каретника — денег нет. Этот мошенник Клержо, которому я задолжала три тысячи франков, устроил мне ужасный скандал. Как это все неприятно!

Ноэль понурил голову, словно школьник, которому учитель выговаривает за невыученный урок.

— Но ведь задержка-то всего на один день,— пробормотал он.

— По-вашему, это пустяки? — отозвалась молодая женщина.— Уважающий себя человек, друг мой, может

позволить опротестовать свой вексель, но никогда — вексель своей любовницы. Да за кого вы меня считаете? Неужели вам не известно, что мое положение в обществе зависит прежде всего от денег? Стоит мне не заплатить по векселям — и все, конец.

— Жюльетта, дорогая, — ласково начал адвокат. Она резко его прервала:

— Ну, разумеется: «Жюльетта, дорогая, обожаемая». Пока вы здесь, все очаровательно, но только выйдете за порог, вас не дозовешься. Наверное, и не вспомните даже, что есть такая Жюльетта...

— Это несправедливо! — возразил Ноэль. — Вы же знаете, я постоянно думаю о вас, я тысячу раз вам это доказывал. А сейчас докажу снова.

Он достал из кармана пакетик, взятый им из стола, развернул его и показал прелестную бархатную коробочку.

— Это браслет, что так понравился вам неделю назад на витрине у Бограна.

Мадам Жюльетта, не поднимаясь, протянула руку за коробочкой, открыла ее небрежно и безразлично, взглянула на браслет и неопределенно хмыкнула.

— Тот самый? — спросил Ноэль.

— Да, но у торговца он нравился мне гораздо больше. Она закрыла коробочку и бросила ее на столик.

— Не везет мне сегодня, — проговорил адвокат с досадой.

— А что?

— Я вижу, браслет вам не по душе.

— Ну почему же? Он прелестен. И кроме того, он довершает вторую дюжину.

Теперь в свою очередь хмыкнул Ноэль. Жюльетта промолчала, и он добавил:

— Что-то не верится, чтобы вы были ему рады.

— Вот оно что! — воскликнула дама. — Вам кажется, что я недостаточно жарко выражаю свою признательность. Вы принесли мне подарок и считаете, что я тут же должна отплатить сполна: наполнить дом радостными криками, прыгнуть к вам на колени, называя вас щедрым и великодушным повелителем.

Ноэль не смог сдержать нетерпеливого жеста, который не ускользнул от Жюльетты и привел ее в полный восторг.

— Этого будет достаточно? — продолжала она. — Или вы хотите, чтобы я позвала Шарлотту и похвасталась ей этим замечательным браслетом, памятником вашему благородству? А может, нужно пригласить привратника и ку-

харку, чтобы сказать им, как я счастлива, имея столь щедрого любовника?

Адвокат пожал плечами с видом философа, который не обращает внимания на проказы ребенка.

— К чему эти язвительные шутки? — произнес он. — Если вы и в самом деле обижены на меня за что-то, скажите прямо.

— Ладно же, будем говорить прямо, — ответила Жюльетта. — Вот что я хочу вам сказать: лучше бы вы забыли об этом браслете и принесли мне вчера вечером или сегодня утром восемь тысяч франков, которые мне так необходимы.

— Я не мог прийти.

— Значит, надо было прислать: посыльные на улицах еще не перевелись.

— Раз я их вам не принес и не прислал, значит, у меня их не было, мой друг. Прежде чем я их нашел, мне пришлось побегать, да и то мне обещали только завтра. Те деньги, что я принес, достались мне по чистой случайности, на которую я не рассчитывал еще час назад; я просто схватился за них, рискуя поставить себя в неудобное положение.

— Бедняжка! — сказала Жюльетта с насмешливой жалостью. — И вы осмеливаетесь мне говорить, что с трудом достали десять тысяч франков!

— Да, осмеливаюсь.

Молодая женщина посмотрела на любовника и разразилась хохотом.

— В роли бедного юноши вы неподражаемы!

— Это не роль.

— Вы только так говорите, дорогой мой, а сами все-таки явились. Это ваше милое признание лишь предисловие. Завтра вы объявите, что весьма стеснены в средствах, а послезавтра... Вас просто сдает скупость. Раньше вы были лишены этой добродетели. Быть может, вы испытываете угрызения совести из-за денег, что мне дали?

— Вот дрянь! — пробормотал в сердцах Ноэль.

— В самом деле, — продолжала дама, — мне вас жаль, и весьма. Злополучный любовник! Может, мне устроить подписку в вашу пользу? На вашем месте я обратилась бы в комитет общественного призрения.

Несмотря на все усилия остаться спокойным, Ноэль взорвался.

— Вы полагаете, это шутки? — воскликнул он. — Знайте же, я разорен, у меня кончились последние сбережения. Я совсем потерял голову!

Глаза у молодой женщины засверкали, она с нежностью взглянула на любовника:

— Ах, если бы это была правда, котик! Если бы я могла тебе поверить!

Для Ноэля ее взгляд был как нож острый. Сердце его разрывалось.

«Она поверила,— подумал он,— и до смерти рада. Она ненавидит меня».

Он ошибался. Мысль о том, что мужчина любит ее до такой степени, что разорился из-за нее без слова упрека, приводила ее в восторг. Она чувствовала, что готова любить этого впавшего в нищету человека, который был ей ненавистен, пока был богат и горд. Однако выражение ее глаз очень скоро изменилось.

— Ну и дурочка я! — вскричала она. — Уже и поверила, уже и пожалела. У него, видите ли, деньги текут сквозь пальцы. Рассказывайте кому другому, мой дорогой! Сейчас ведь все мужчины считают денежки не хуже ростовщиков. Разоряются лишь немногие олухи — тщеславные мальчишки да иногда сластолюбивые старички. Вы же — очень хладнокровны, серьезны и, уж конечно, очень сильны.

— Но не с вами,— прошептал Ноэль.

— Довольно! Оставьте меня наконец в покое, вы ведь прекрасно знаете, что делаете. У вас ведь вместо сердца двойное зеро, как на рулетке в Хомбурге¹. Заполучив меня, вы сказали себе: «Я буду платить за любовь как таковую». И слово свое вы сдержали. Такое помещение капитала не хуже любого другого; каждый имеет свою выгоду. Вы способны на любые безумства по твердой цене — четыре тысячи франков в месяц. А если выйдет дороже, хотя бы на двадцать су, вы заберете под мышку сердце и шляпу и отправитесь туда, где вам не придется переплачивать.

— Верно,— холодно ответил адвокат,— считать я умею, и это весьма полезно. Я точно знаю, куда и как идут мои деньги.

— В самом деле? — с издевкой спросила Жюльетта.

— Да, и могу рассказать вам, дорогая моя. Поначалу вы были не слишком требовательны. Но аппетит приходит во время еды. Вам захотелось роскоши, и вы ее получили: у вас есть квартира, прекрасная обстановка, невообразимые туалеты — я не отказывал вам ни в чем. Вы захотели иметь карету и лошадь — пожалуйста. Я не говорю уже о тысяче

¹ Хомбург (Бад-Хомбург) — известный курорт в Германии, где в ту пору был игорный дом.

ваших прихотей. Не считаю ни этой китайской комнаты, ни двух дюжин браслетов. Все вместе стоило четыреста тысяч франков.

— Вы уверены?

— Как человек, у которого они были, а теперь нет.

— Ровно четыреста тысяч? Без сантимов?

— Ровно.

— Ну а если я представлю вам счет, мой друг, то вы еще останетесь мне должны.

Горничная, которая принесла чай, прервала этот любовный дуэт, коему предшествовала уже не одна репетиция. При виде Шарлотты адвокат замолчал. Жюльетта хранила молчание ради любовника, у нее не было секретов от Шарлотты, которая служила ей уже три года и которой она охотно прощала все, даже красавца-любовника, обходившегося довольно дорого.

Г-жа Жюльетта Шаффур была парижанкой. Она родилась в 1839 году где-то на Монмартре от неизвестного отца. Все ее детство представляло череду равно неистовых ласк и взбучек. Питалась она скверно — одними конфетами да подпорченными фруктами, но ее желудку ничто не могло повредить. В двенадцать лет была она худа, как щепка, зелена, как незрелое яблоко, и порочна, как все обитательницы Сен-Лазара¹ вместе взятые. Г-н Прюдом² сказал бы, что эта юная особа начисто лишена нравственных начал.

У нее не было ни малейшего представления об этом абстрактном понятии. Она полагала, что весь мир состоит из порядочных людей, живущих, как ее матушка, друзья ее матушки и ее собственные друзья. Она не боялась ни бога, ни черта, однако опасалась полицейских. Кроме того, ее страшили некие таинственные и жестокие личности, которые, судя по разговорам, жили где-то в окрестностях Дворца правосудия и испытывали злобную радость, причиняя горе хорошеньким девочкам.

Поскольку она не обещала стать красавицей, ее решили определить в магазин, но тут некий почтенный старик, знававший некогда ее мамашу, взял ее под свое покровительство. Благоразумный и предусмотрительный, как все старики, он был знатоком и понимал: что посеешь, то и пожнешь. Поэтому он решил сперва придать своей протеже лоск образованности. Он нанял ей учителей, она стала брать уроки

¹ Женская тюрьма в Париже.

² Жозеф Прюдом — персонаж французского писателя Анри Монье (1799—1877), олицетворение самодовольной посредственности.

музыки, танцев и меньше чем за три месяца научилась писать, немного брэнчать на рояле и овладела первыми началами искусства, которое вскружило голову не одному любителю танцев.

Единственное, чего старик ей не дал, это любовника. Его она выбрала сама: то был художник, не научивший ее ничему новому, но похитивший ее у старика; он предложил ей половину того, что имел, то есть ничего. Наскучив им через три месяца, она покинула гнездышко первой любви, унося с собой весь свой гардероб, завернутый в носовой платок.

В течение следующих четырех лет Жюльетта жила по преимуществу теми надеждами, какие никогда не оставляют женщину, сознающую, что она хороша собой. Она то опускалась на дно, то вновь выплывала на поверхность. Дважды рукой в дорогой перчатке в дверь к ней стучалась удача, однако у Жюльетты недоставало присутствия духа ухватить гостью за полы пальто.

С помощью некоего актера она дебютировала в театре и даже стала уже довольно бойко декламировать роли, когда совершенно случайно ее встретил Ноэль, влюбился и взял на содержание.

Поначалу «мой адвокат», как она его называла, особого неудовольствия у нее не вызывал, однако через несколько месяцев надоел. Он раздражал ее мягкостью и учтивостью, светскими манерами, благовоспитанностью, плохо скрываемым презрением ко всему низкому и подлому, и в особенности неизменным, неистощимым терпением. Ее весьма огорчало, что он не был весельчаком и наотрез отказывался водить ее в славные местечки, где царит веселье без предвзятости. Чтобы развлечься, Жюльетта начала сорить деньгами. И по мере того как росли ее амбиции и умножались жертвы любовника, возрастала ее неприязнь к нему.

Она сделала его несчастнейшим из людей и обращалась с ним, как с собакой, причем не из врожденной злобности, а намеренно, из принципа. Она была убеждена, что чем больше огорчений причиняет, чем больше зла приносит, тем сильнее ее любят.

Жюльетта не была злой и очень жалела себя. Она мечтала, чтобы ее любили какой-то особенной любовью, и даже чувствовала, как именно, но объяснить не могла. Для своих любовников она была лишь игрушкой или предметом роскоши, понимала это и, поскольку пренебрежение было ей невыносимо, приходила в ярость. Ей хотелось, чтобы возлюбленный был ей предан и многим для нее жертвовал, чтобы

он опускался до ее уровня, а не стремился поднять до своего. Но она уже отчаялась встретить такого человека.

Безумные траты Ноэля оставляли ее холодной как лед; она полагала, что он весьма богат, а саму ее, как это ни странно, деньги занимали мало, хотя алчность была ей не чужда. Возможно, Ноэль покори́л бы ее, если бы прямо, без обиняков раскрыл ей глаза на свое положение; потерял же ее он из-за своей сдержанности и даже скрытности, поскольку никогда не упоминал о жертвах, на которые шел ради нее.

Он ее обожал. До рокового дня их встречи Ноэль жил целомудренно. Первая страсть выжгла его, и после этой катастрофы уцелела одна лишь оболочка. Остались четыре стены, но внутри дом весь выгорел. У всякого героя есть уязвимое место: Ахилл погиб, пораженный в пяту; даже у самого искусного воина в броне есть изъяны.

Ноэль покори́лся Жюльетте и шел на бесчисленные уступки. Этот образцовый молодой человек, адвокат с незапятнанной репутацией, этот суровый моралист спустил на нее за четыре года не только свое состояние, но и состояние г-жи Жерди.

Он любил Жюльетту неистово, безрассудно, безмерно, слепо. При ней он забывал осторожность и все говорил напрямик. У нее в будуаре он сбрасывал маску привычной осторожности, и тут все его недостатки выступали наружу. Ему так нравилось быть перед нею робким и податливым, что он и не пытался бороться. Она стала его владычицей. Иногда он пробовал сопротивляться ее безумным прихотям, но она сгибала его, словно ивовый прут. Он чувствовал, что под взглядом черных глаз этой девчонки его решимость тает быстрее, чем снег под апрельским солнцем. Она терзала его, но умела и утешить улыбкой, слезами или поцелуем.

Временами, когда он находился вдали от обольстительницы, к нему возвращался рассудок, и в минуты просветления он говорил себе: «Она не любит меня, она мною играет!» Однако верность пустила у него в сердце столь глубокие корни, что вырвать их он не мог. Ноэль безмерно ревновал, но удерживался от напрасных проявлений этого чувства. Веские причины сомневаться в верности любовницы бывали у него не раз, и все же ему всегда не хватало смелости высказать открыто свои подозрения. «Если я окажусь прав,— думал он,— придется либо уйти от нее, либо принимать все как есть». Мысль о том, чтобы бросить Жюльетту, повергала его в ужас; он чувствовал: страсть его столь раболепна, что ради нее он примет любые унижения.

Горничная довольно долго расставляла чайные принадлежности, и Ноэль успел тем временем собраться с мыслями. Он смотрел на Жюльетту, и гнев его улетучивался. Адвокат даже начал спрашивать себя, не слишком ли он был с нею резок.

Когда Шарлотта ушла, он сел рядом с любовницей на диван и обнял ее.

— Что-то ты сегодня сердита,— сказал он ласково.— Если я в чем-то и провинился, ты меня уже наказала. Поцелуй меня и помиримся.

Жюльетта раздраженно оттолкнула его и холодно промолвила:

— Оставьте меня. Сколько раз вам повторять: я сегодня плохо себя чувствую.

— Плохо себя чувствуешь, друг мой? Что с тобою? — спросил адвокат.— Хочешь, я пошлю за врачом?

— Не утруждайтесь. Я знаю, что у меня за болезнь: это скука. Вы вовсе не тот врач, который мне нужен.

Ноэль с унылым видом встал и сел за чайный стол напротив любовницы. Его покорность говорила о том, насколько он привык к таким грубым отказам. Жюльетта обходилась с ним дурно, а он все возвращался, словно несчастный пес, который целыми днями ждет, когда на его ласки обратят внимание. А ведь он слыл суровым, вспыльчивым, своенравным! И в сущности, это так и было.

— Последние месяцы вы часто говорите, что я вам наскучил,— продолжал он.— Что же мне для вас сделать?

— Ничего.

— Ну, а все-таки?

— У меня теперь не жизнь, а сплошная зевота,— ответила молодая женщина,— и вовсе не по моей вине. Думаете, быть вашей любовницей весело? Да посмотрите вы на себя! Есть ли на свете создание более печальное и унылое, чем вы, более беспокойное, подозрительное, да вдобавок еще и постыдно ревнивое.

— Вы так встречаете меня,— отважился вставить Ноэль,— что и впрямь пропадет всякая охота радоваться и откровенничать. К тому же где любовь, там и опасения.

— Хорошенькое дело! Тогда нужно подыскать женщину по себе, по своей мерке, запереть ее в подвале и выпускать раз в день, после обеда, на десерт вместе с шампанским — чтобы поразвлечься.

— Лучше бы мне вовсе не приходить,— пробормотал адвокат.

— Ну конечно! А я сиди здесь одна и утешайся сигаркой

да какими-то книжонками, от которых только спать хочется! Ну что это за жизнь — торчать безвылазно дома?

— Так живут все порядочные женщины, которых я знаю, — сухо ответил адвокат.

— Благодарю! В таком случае я, по счастью, не отношусь к порядочным женщинам, и мне надоело жить взаперти и любоваться лишь вашей физиономией, словно жене какого-нибудь турка.

— Это вы-то живете взаперти?

— Разумеется, — продолжала Жюльетта все более едко. — Скажите, вы хоть когда-нибудь приводили сюда своих приятелей? Нет, вы изволите меня прятать. Когда вы предлагали мне пойти прогуляться? Никогда: ваше достоинство может пострадать, если вас увидят вместе со мною. У меня есть карета: часто ли мы в ней катались? Да и то вы опускали занавески. Я выезжаю одна, гуляю одна...

— Старая песня, — прервал Ноэль, которым опять начал овладевать гнев, — без конца одни и те же беспричинные оскорбления. Будто вы не знаете, почему все так.

— Мне прекрасно известно, — гнула свое молодая женщина, — что вы стыдитесь меня. Однако я знаю людей и познатнее вас, которые не стесняются своих любовниц. Вы изволите бояться, что я запятнаю прекрасное имя Жерди, а между тем отпрыски самых знатных фамилий не боятся показаться в ложе в обществе кокоток.

На этот раз к большому удовольствию г-жи Шаффур Ноэль взбесился.

— Хватит упреков! — воскликнул он, вскочив. — Если я скрываю наши отношения, то лишь потому, что это необходимо. На что вы жалуетесь? Я предоставил вам свободу, и вы пользуетесь ею столь широко, что я понятия не имею о вашем времяпрепровождении. Вы мне пеняете на пустоту, которую я создал вокруг вас? А кто виноват? Разве это мне наскучила покойная и скромная жизнь? Мои друзья могли бы прийти в пристойную зажиточную квартиру, но как я приглашу их сюда? Увидев вашу роскошь, это бесстыдное свидетельство моего безрассудства, они тут же зададут себе вопрос, откуда у меня столько денег?

Я могу содержать любовницу, но у меня нет права швырять на ветер состояние, которое мне не принадлежит. Если завтра станет известно, что вас содержу я, мне конец. Какой клиент доверит свои дела дураку, разорившемуся ради женщины, о которой говорит весь Париж? Я — не аристократ, я не рискую ни прославленным в веках именем, ни громадным состоянием. Я Ноэль Жерди, адвокат, все, что у меня

есть, это моя репутация. Она ложна — пусть так. Но какова бы она ни была, я должен ее беречь, и я ее сберегу.

Жюльетта, зная Ноэля как облупленного, решила, что зашла слишком далеко, и принялась его успокаивать.

— Хорошо, хорошо, мой друг. Я не хотела причинить вам боль, — сказала она ласково. — Имейте снисхождение, просто сегодня я что-то очень раздражительна.

Такая перемена пришлась адвокату по душе, и он почти успокоился.

— Своею несправедливостью вы меня просто с ума сводите, — вздохнул он. — Я из сил выбиваюсь, чтобы хоть чем-то порадовать вас! Вы все упрекаете меня за серьезность, а ведь и двух дней не прошло, как мы с вами так повеселились на карнавале. В тот вторник я резвился, точно студент. Мы ходили в театр, на бал в Оперу, я нарядился в домино, пригласил двух друзей отужинать с нами.

— Да уж, то-то было весело! — произнесла молодая женщина, надув губы.

— По-моему, было.

— Вы так считаете? Не слишком-то вы разборчивы! Мы были на водевиле, верно, но только, как всегда, по отдельности: я одна на галерке, вы в партере. На балу у вас был такой вид, словно вы на похоронах. За ужином ваши друзья сидели с кислыми физиономиями. Вы велели, чтобы я притворилась, будто едва с вами знакома. Сами же пили как лошадь, а я даже не могла понять, под хмельком вы или нет.

— Это доказывает, — прервал Ноэль, — что никогда нельзя себя принуждать. Поговорим о чем-нибудь другом. — Он прошелся по комнате и вытащил часы. — Через час, друг мой, я вас покину.

— Разве вы не останетесь?

— Нет. К величайшему сожалению, моя мать серьезно заболела.

Ноэль выложил на стол и пересчитал деньги, взятые у папаши Табаре.

— Маленькая моя Жюльетта, — произнес он, — здесь не восемь тысяч, а десять. Вы не увидите меня несколько дней.

— Вы уезжаете из Парижа?

— Нет, но я буду занят делом, которое имеет для меня первостепенную важность. Первостепенную! Если оно удастся, моя милая, наше будущее обеспечено, и ты узнаешь, как я тебя люблю.

— Ох, Ноэль, дорогой, расскажи!

— Не могу.

— Ну, прошу тебя! — воскликнула молодая женщина

и, обняв любовника за шею, приподнялась на цыпочки так, что губы их сблизились.

Адвокат поцеловал ее, решимость его пошатнулась.

— Нет! — выговорил он наконец. — В самом деле, не могу. Не стану радовать тебя раньше времени. А теперь, дорогая, слушай меня внимательно. Что бы ни произошло — понимаешь? — ни в коем случае не приходи ко мне, как ты имела неосторожность это делать, даже не пиши. Если не послушаешься, сильно навредишь мне. Если вдруг с тобой что-нибудь случится, отправь мне записку с этим старым чудаком Клержо. Я увижусь с ним послезавтра, у него мои векселя.

Жюльетта отступила и шаловливо погрозила Ноэлю пальчиком.

— Значит, ты так-таки ничего мне не скажешь?

— Сегодня нет. Скоро, — отвечал адвокат, смешавшись под взглядом любовницы.

— Вечно какие-то тайны! — воскликнула Жюльетта, раздосадованная, что ее нежность оказалась бессильна.

— Клянусь, это в последний раз.

— Ноэль, голубчик, — снова, уже серьезно, принялась убеждать молодая женщина, — ты что-то от меня скрываешь. Ты же знаешь, я тебя насквозь вижу, последнее время ты сам не свой. Ты очень переменился.

— Клянусь тебе...

— Не нужно клясться, все равно не поверю. Только предупреждаю: никаких фокусов, я сумею за себя постоять.

Адвокат явно чувствовал себя не в своей тарелке.

— Да ведь дело может и не выгореть, — пробормотал он.

— Хватит! — прервала его Жюльетта. — Все будет потвоему, обещаю. А теперь, сударь, поцелуйте меня, я собираюсь лечь.

Не успел Ноэль уйти, как Шарлотта уже сидела на диване подле хозяйки. Останься адвокат за дверью, он услышал бы, как Жюльетта говорит:

— Нет, я решительно не намерена больше его терпеть. До чего несносен! Ах, если бы он не нагонял на меня такого страха, я бросила бы его. Но он способен меня убить!

Горничная пыталась защищать Ноэля, но тщетно: молодая женщина, ничего не слушая, продолжала:

— Почему я так редко его вижу, что он затевает? С какой стати он исчез на целую неделю? Это подозрительно. Уж не собрался ли он случаем жениться? Ах, если бы знать! Ты опостылел мне, мой милый, и в одно прекрасное утро я тебя брошу, но не потерплю, чтобы ты оставил меня пер-

вый. Неужели он женится? Этого я не вынесу. Нужно бы разведать...

Однако Ноэль не подслушивал за дверью. Он выскочил на Провансальскую улицу, добрался до дому и вошел тем же путем, что и выходил,— через бывший каретный сарай. Не пробыл он у себя в кабинете и пяти минут, как в дверь постучали.

— Сударь,— послышался голос прислуги,— сударь, отзовитесь, во имя неба!

Ноэль открыл дверь и раздраженно воскликнул:

— Ну что там еще?

— Сударь,— проговорила служанка, заливаясь слезами,— я стучалась уже три раза, а вы все не отвечаете. Пойдемте, умоляю вас. Боюсь, госпожа умирает.

Адвокат поспешил вслед за служанкой в комнату г-жи Жерди. Больная так страшно переменилась, что он содрогнулся.

Накрытая одеялами, она тряслась в лихорадке, лицо ее сделалось таким бледным, словно в жилах у нее не осталось ни капли крови; глаза, горевшие мрачным огнем, казалось, подернулись тонкою пленкой. Распущенные волосы обрамляли лицо и спускались на плечи, отчего г-жа Жерди выглядела еще ужасней. Из груди у нее порой вырывался слабый стон, иногда она что-то неразборчиво бормотала. Временами при сильных приступах боли она вскрикивала: «Больно! Больно!» Ноэля она не узнала.

— Видите, сударь,— сказала служанка.

— Кто же мог предположить, что болезнь будет развиваться столь стремительно? Быстрее бегите к доктору Эрве: пусть встает и немедленно идет сюда. Скажите, я просил.

Распорядившись, Ноэль сел в кресло лицом к больной.

Доктор Эрве был старым другом Ноэля, его соучеником и товарищем по Латинскому кварталу. История доктора Эрве — это история одного из тех молодых людей, которые без денег, без связей, без протекции осмеливаются посвятить себя самой трудной, самой сомнительной профессии, какая существует в Париже. Увы, нередко случается, что молодые талантливые врачи ради пропитания вступают в сговор с самыми бесчестными аптекарями.

Человек поистине замечательный и знавший себе цену, Эрве, закончив учение, сказал себе: «Нет, я не стану прозябать в деревенской глуши, я останусь в Париже, стану знаменит, сделаюсь главным врачом больницы и кавалером ордена Почетного легиона».

Чтобы вступить на этот путь, в конце которого маячила

ослепительная триумфальная арка, будущий академик залез в долги на двадцать тысяч франков. Нужно было снять и обставить помещение, а это стоит недешево.

Затем, вооружившись долготерпением и неукротимой волей, он стал бороться и ждать. Но кто может себе представить, что значит ждать в таких условиях? Чтобы понять, нужно пройти через все это. Умирать от голода — во фраке, свежевыбритым и с улыбкой на губах! Современная утонченная цивилизация придумала эту муку, и перед ней бледнеют самые жестокие пытки дикарей. Начинаящий врач пользуется бедняков, которым нечем платить. А больные — народ неблагодарный. Выздоровливая, они прижимают врача к груди и называют своим спасителем. Выздоровев, они смеются над медиками и с легкостью забывают о гонон-
раре.

После семи лет героических усилий у Эрве образовалась, наконец, приличная практика. Все это время он платил чудовищные проценты по долгу, но тем не менее ему удалось приобрести известность. Несколько брошюр, премия, полученная без особых интриг, привлекли к нему внимание.

Увы, это был уже не тот жизнерадостный молодой человек, которого в день первого визита переполняли надежды и уверенность в будущем. Он еще хотел, и сильнее, чем когда бы то ни было, добиться своего, преуспеть, однако радости от преуспевания уже не ждал. Слишком много он мечтал об успехе вечерами, когда ему не на что было пообедать. За свое будущее богатство, сколь бы оно ни оказалось велико, он уплатил с лихвой. Преуспеть для него теперь означало лишь взять реванш. В свои тридцать пять лет он познал столько разочарований и обманутых надежд, что ни во что не верил. Под его напускной доброжелательностью таилось безмерное презрение. Проницательность, обострившаяся за годы нужды, мешала ему, поскольку людей прозорливых обычно опасаются, и он старательно скрывал ее под маской добродушия и беспечности.

Вместе с тем он был добр и преданно любил друзей.

Одетый кое-как, он вошел в спальню г-жи Жерди и спросил:

— Что случилось?

Ноэль молча пожал ему руку и вместо ответа указал на постель. Доктор взял лампу, осмотрел больную и подошел к другу.

— Что с ней было? — отрывисто спросил он. — Мне необходимо знать.

Услышав вопрос, адвокат вздрогнул.

— Что знать? — пробормотал он.

— Все! — отвечал Эрве. — У нее воспаление головного мозга, сомнений тут нет. Болезнь эта встречается не так часто, хотя мозг есть у каждого человека и работает в течение всей его жизни. Ее причины? Нет, отнюдь не повреждение мозга, не травма черепа, но жестокие душевные потрясения, сильное огорчение, какая-нибудь внезапная катастрофа...

Ноэль жестом прервал приятеля и отшел к окну.

— Да, мой друг, — тихо заговорил он, — госпожа Жерди испытала недавно сильное потрясение, она в страшном отчаянии. Послушай, Эрве, я полагаюсь на твою честь и дружбу и хочу доверить тебе нашу тайну: госпожа Жерди мне не мать, ради своего сына она лишила меня состояния и имени. Три недели назад я открыл этот недостойный обман; она знает об этом, последствия привели ее в ужас, и с тех пор она медленно умирает.

Адвокат ожидал, что его друг вскрикнет от удивления, станет задавать вопросы. Однако врач принял это известие, не моргнув глазом, просто как сведения, необходимые ему для лечения.

— Три недели, — пробормотал он, — все ясно. У нее были какие-нибудь недомогания в это время?

— Она жаловалась на жестокие головные боли, головокружения, нестерпимую боль в ухе, но все это относилась на счет мигрени. Не скрывай от меня ничего, Эрве, прошу тебя, скажи: это серьезно?

— Настолько серьезно, друг мой, настолько опасно, что медицине известны лишь единичные случаи выздоровления.

— Боже мой!

— Тебе ведь хотелось знать правду — ты ее услышал. Я решился сообщить тебе только потому, что бедная женщина тебе не мать. Да, она погибла, если только не случится чуда. Но мы должны надеяться на чудо. И можем помочь ему совершиться. А теперь за работу!

VI

Часы на вокзале Сен-Лазар пробили одиннадцать, когда папаша Табаре, распростившись с Ноэлем, вышел из дома, потрясенный всем услышанным. Вынужденный сдерживаться во время разговора, он наслаждался теперь свободой, с какой мог обдумать свои впечатления. Первые шаги по улице он проделал, шатаясь, точно пьяный, который вышел на свежий воздух из душной харчевни. Он сиял от радости,

но вместе с тем был ошеломлен непредвиденной стремительностью событий, которые, как он надеялся, приближали его к установлению истины.

И хоть папаша Табаре спешил поскорее добраться до дома следователя, фиакр он брать не стал. Он чувствовал, что ему нужно пройтись, так как был из тех, кому движение проясняет ум. При ходьбе мысли у него укладывались на свои места, одна к другой, словно зерна пшеницы в кувшине, который хорошенько встряхнули.

Не торопясь, он добрался до улицы Шоссе-д'Антен, пересек бульвар, сияющий огнями кафе, и вышел на улицу Ришелье.

Он шагал, отрешившись от внешнего мира, спотыкался на выбоинах тротуара, подскальзывался на грязной мостовой. Правильную дорогу он выбирал только благодаря инстинкту, какой руководит животными. Мысленно он рассматривал возможные повороты дела, следуя сквозь мрак за таинственной нитью, незримый конец которой он ухватил в Ла-Жоншер.

Как все, кто испытывает сильное волнение, папаша Табаре не замечал, что говорит вслух, совершенно не заботясь о том, что его восклицания и обрывки фраз можно подслушать. В Париже на каждом шагу попадаются подобные люди, которых отделяет от толпы какое-либо сильное чувство, они выбалтывают во всеуслышание самые свои сокровенные тайны, подобно треснувшим вазам, из которых вытекает содержимое. Этих бормочущих себе под нос чудаков прохожие часто принимают за безумцев. Иногда за ними следуют зеваки, забавляющиеся их странными излияниями. Именно из-за болтливости такого рода стало известно о разорении богатейшего банкира Роскары. Так же выдал себя и Ламбрет, убийца с Венецианской улицы.

— Какое везение! — бормотал папаша Табаре. — Какая невероятная удача! Что бы там ни говорил Жевроль, случай — вот величайший сыщик. Кто бы мог выдумать подобную историю? А все же я был недалеко от истины. Я чуял, что за всем этим кроется ребенок. Но разве возможно было предполагать, что детей подменили? Прием столь избитый, что им уже не пользуются даже бульварные писаки. Это доказывает, что полиции опасно иметь предвзятые мнения. Она страшится невероятного, а оно-то и оказывается правдой. Она отступает перед нелепостью, а ее-то и надо развивать. Все возможно.

Ей-богу, этот вечер мне дороже, чем тысяча эку. Одним выстрелом я убиваю двух зайцев: нахожу виновного и по-

могаю Ноэлю восстановить свои права. Вот уж кто поистине достоин выпавшего ему счастья! На сей раз я не сожалею: повезло молодому человеку, прошедшему школу несчастий. А впрочем, он будет не лучше других. Богатство вскружит ему голову. Разве он не заговаривал уже о своих предках? Слаб человек — я едва удержался, чтобы не расхохотаться... Но больше всего меня поражает эта Жерди. Женщина, которой я дал бы причастие без всякой исповеди! Когда подумаю, что я чуть было не попросил ее руки... Бр-р!

При этой мысли старик содрогнулся. Он представил себе, что уже женился, и вдруг открывается прошлое г-жи Табаре, и он оказывается замешан в скандальный процесс, скомпрометирован, выставлен на посмешище.

— Подумать только,— продолжал он,— Жевроль рыщет в поисках человека с серьгами! Бегай, мой мальчик, бегай, движение на пользу молодым. Вот раздосадуется-то он, когда узнает! Разозлится на меня до смерти. А я немного посмеюсь над ним. Если же он начнет строить мне козни, меня защитит господин Дабюрон. Я как-нибудь выведу его из такого лабиринта! У него, небось, глаза сделаются словно блюдца, когда я скажу ему: «Я знаю преступника!» А уж как он мне будет обязан! Этот процесс прославит его, если только на свете существует справедливость. Его должны сделать по меньшей мере кавалером Почетного легиона. Тем лучше! Он мне нравится, этот следователь. Если он спит, я сделаю его пробуждение приятным. Да он засыплет меня вопросами! Захочет знать все до тонкости, станет вникать во всякую мелочь.

Тут папаша Табаре, который как раз переходил через мост Св. Отцов, резко остановился.

— А ведь деталей-то я и не знаю, мне известна лишь суть дела! — воскликнул он, но снова двинулся вперед, продолжая: — Вообще-то, они, конечно, правы: слишком увлекаюсь, меня «заносит», как говорит Жевроль. Когда я беседовал с Ноэлем, мне нужно было вытянуть из него все необходимые сведения, а я и не подумал даже. Мне не терпелось, я хотел, чтобы он побыстрее все рассказал. Да оно и естественно: когда преследуют оленя, не останавливаются, чтобы подстрелить дрозда. Тем паче, я не знал, как вести допрос. А будь я настойчивее, я мог бы пробудить подозрительность Ноэля, быть может, он даже догадался бы, что я служу на Иерусалимской улице. Разумеется, краснеть мне не приходится, я даже горжусь своей работой, а все-таки лучше, чтобы никто о ней не подозревал. Люди так глупы, что терпеть не могут полицию, которая их бере-

жет и охраняет. А теперь — спокойствие и выдержка: мы уже пришли.

Г-н Дабюрон уже отошел ко сну, однако оставил соответствующие распоряжения прислуге. Едва папаша Табаре назвал себя, как его тут же провели в спальню следователя. Завидев своего добровольного сотрудника, тот сразу же стал одеваться.

— Что-нибудь случилось? — спросил он. — Вы что-нибудь обнаружили, какие-то следы?

— Берите выше, — ответил сыщик, улыбаясь во весь рот.

— Ну, ну!

— Я знаю, кто преступник!

Папаша Табаре остался доволен произведенным эффектом: следователь так и подскочил на постели.

— Как! Уже? Не может быть! — воскликнул он.

— Имею честь повторить господину судебному следователю, — произнес старик, — мне известно, кто совершил преступление в Ла-Жоншер.

— В таком случае, — заявил следователь, — вы самый искусный полицейский всех времен! Отныне все расследования я провожу только с вами!

— Вы слишком добры, господин следователь. Моя заслуга невелика, просто случай...

— Не скромничайте, господин Табаре: случай любит людей сильных. Это-то и возмущает глупцов. Но садитесь же, прошу вас, и рассказывайте.

Старый сыщик очень точно и кратко, на что он, казалось, был неспособен, пересказал следователю все, что узнал от Ноэля. Он даже почти дословно приводил на память отрывки из писем.

— Письма эти я видел, — добавил он. — Мне удалось даже стащить одно, чтобы проверить почерк. Вот оно.

— Да, господин Табаре, — произнес следователь, — вам известен преступник. Тут все ясно и слепому. Так уж установлено Богом: одно преступление порождает другое. Вина отца сделала сына убийцей.

— Я не называл имен, сударь, — заметил папаша Табаре, — мне хотелось прежде узнать ваше мнение.

— Можете назвать, — нетерпеливо прервал следователь, не подозревая, как он будет поражен. — Каково бы ни было их положение, правосудие во Франции покарает их.

— Знаю, сударь, но люди они в самом деле высокопоставленные. Так вот, отец, променявший законного сына на внебрачного, — граф Рето де Коммарен, а убийца вдовы

Леруж — его незаконнорожденный сын виконт Альбер де Коммарен.

Папаша Табаре, как прирожденный артист, произнес имена нарочито медленно, ожидая, что они произведут огромное впечатление. Результат превзошел все его ожидания. Г-н Дабюрон был потрясен. Он замер, глаза его расширились от изумления. Он сидел и, словно заучивая новое слово, машинально повторял:

— Альбер де Коммарен! Альбер де Коммарен!

— Да,— подтвердил папаша Табаре,— благородный виконт. Я понимаю, в это невозможно поверить.

Заметив, однако, как изменилось выражение лица следователя, он, немного испугавшись, подошел к постели:

— Вам нехорошо, господин следователь?

— Нет,— отвечал г-н Дабюрон, не очень-то соображая, что говорит,— я чувствую себя прекрасно, но все это так неожиданно...

— Понимаю вас,— отозвался старик.

— Простите, мне нужно немного побыть одному. Но вы не уходите, нам предстоит долгий разговор об этом деле. Благоволите перейти ко мне в кабинет, камин еще горит, а я вскоре к вам присоединюсь.

Г-н Дабюрон встал, набросил халат и уселся или, скорее, упал в кресло. Его лицо, которому он, исполняя свою суровую службу, научился придавать холодность мрамора, отражало на сей раз жестокое волнение, глаза выдавали охватившую его смертельную тоску.

Дело в том, что неожиданно прозвучавшее имя Коммаренов пробудило в нем мучительнейшие воспоминания и разбередило едва зарубцевавшуюся рану. Это имя напомнило ему события, которые погубили его молодость и разбили жизнь. словно для того, чтобы вновь вкусить всю изведенную им горечь, он невольно перенесся в минувшее. Еще час назад ему представлялось, что все прошло, кануло, однако одного слова оказалось достаточно, чтобы воскресить пережитое. Сейчас ему чудилось, что события, к которым имел касательство Альбер де Коммарен, произошли лишь вчера. А с тех пор минуло уже два года!

Пьер Мари Дабюрон принадлежал к одному из самых старинных семейств в Пуату. Несколько поколений его предков занимали важные должности в этой провинции. Тем не менее он не унаследовал от них ни титула, ни герба.

Поговаривают, что отец следователя скупил более чем на восемьсот тысяч франков прекрасных земель по соседству с безобразным современным замком, в котором он жил.

Со стороны матери, урожденной Котвиз-Люксе, он принадлежал к старинному дворянству Пуату, да что там, к одной из лучших, как всем известно, фамилий во Франции.

Когда г-н Дабюрон получил назначение в Париж, его родственные связи тотчас открыли ему двери нескольких аристократических салонов, и он не замедлил расширить круг своих знакомств.

Однако он не обладал ни одним из тех ценных качеств, которые создают основу и обеспечивают успех салонной репутации. Он был холоден, серьезен и даже угрюм на вид, сдержан и к тому же крайне робок. Ему недоставало блеска и легкости; он не отличался находчивостью и часто терялся. Ему было совершенно недоступно милое искусство болтать ни о чем; он не умел ни лгать, ни изящно вернуть плоский комплимент. Как все живо и глубоко чувствующие люди, он не мог выразить свои впечатления тотчас же. Для этого ему требовалось хорошенько поразмыслить и критически оценить их.

Вместе с тем знакомства с ним искали, но за качества более основательные: благородство чувств, характер, верность. Те, кто узнавал его достаточно близко, вскоре отмечали здравость и глубину его суждений, высказываемых легко и остро. Под его холодноватой наружностью друзья обнаруживали горячее сердце, необычайную чувствительность и почти женственную мягкость. И если в салоне, где находились люди безразличные и пустые, он не был замечен, то в узком кружке друзей он блистал, ободренный сочувственной атмосферой.

Мало-помалу он привык много выезжать, не считая это напрасной тратой времени. Он полагал и, быть может, не без оснований, что представитель судейского сословия не должен все время сидеть взаперти у себя в кабинете в обществе уложений и кодексов. Он думал, что человек, призванный судить других людей, должен их знать, а следовательно, изучать. Внимательный и осторожный наблюдатель, он следил за игрой интересов и страстей вокруг себя, учась распознавать нити, приводящие в движение окружающих его марионеток, и по необходимости управлять ими. Он, если можно так выразиться, деталь за деталью пытался разобрать замысловатый и сложный механизм, именуемый обществом, за исправной работой которого он призван был наблюдать, управляя его пружинами и колесиками.

И вдруг в начале зимы 1860/61 года г-н Дабюрон исчез. Друзья принялись его искать, но нигде не могли найти. Что случилось? Стали расспрашивать, выяснять и узна-

ли, что все вечера он проводит у маркизы д'Арланж. Это вызвало изрядное и вполне естественное удивление.

У вдовствующих особ, собирающихся в салоне принцессы де Сутне, маркиза слыла, вернее, слывет, поскольку и поныне пребывает в добром здравии, весьма старомодной ретроградкой. Безусловно, она являет собой самое необычное наследие, оставленное нам XVIII веком. Как, каким чудесным образом удалось ей сохраниться такой, какой мы ее видим? Тщетно мы будем ломать себе голову над этой загадкой. Никто не удивился бы, если б оказалось, что вчера она была на вечере у королевы, где к неудовольствию Людовика XVI шла чересчур крупная игра и знатные дамы, не скрываясь, напропалую плутовали. Обычаи, язык, привычки и даже туалеты — все сохранила она с тех времен, о которых насочинено столько нелепых выдумок. Один ее внешний вид может поведать о той эпохе куда больше, чем длинная статья в журнале, а из часового разговора с нею удастся почерпнуть не меньше, чем из толстенного тома.

Родилась маркиза в крохотном немецком княжестве, куда ее родители бежали от карающей руки мятежного народа. Она выросла и воспитывалась среди старых эмигрантов в каком-то старинном раззолоченном салоне, напоминавшем кабинет редкостей. Ум ее развивался под шелест допотопных разговоров, воображение питалось разглагольствованиями не убедительнее тех, что высказывали бы глухие, собравшиеся обсудить творения Фелисьена Давида¹. Там она черпала мысли, которые в современном обществе звучат столь же нелепо, сколь мысли человека, ребенком заключенного в музей ассирийской культуры и прошедшего там лет двадцать.

Империя, Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая империя прошествовали мимо ее окон, которые она не давала себе труда даже открыть. Все, что произошло после 1789 года, она считает недействительным. Для нее это не более, чем ночной кошмар, и она ждет пробуждения. Она на все смотрела и смотрит сквозь волшебные очки, которые продаются у торговцев иллюзиями и через которые видно только то, что хочется видеть, а не то, что есть на самом деле.

В свои шестьдесят восемь лет маркиза крепка как дуб и ни разу еще не болела. Она невероятно подвижна, дея-

¹ Давид Фелисьен (1810—1876) — французский композитор романтического направления, автор оперы «Лалла — Рук» и др.

тельна и способна оставаться на одном месте лишь в двух случаях: когда спит или играет в свой любимый пикет. Ест она четыре раза в день, причем на аппетит не жалуется, и обильно орошает еду вином. Питает нескрываемое презрение к изнеженным женщинам нашего века, которым хватает на целую неделю одной куропатки, сдобренной высокими чувствами, излитыми в витиеватых фразах.

Во всем она всегда была да и теперь остается весьма рассудочна. Речь ее находчива и образна. Говорит она смело и за словом в карман не лезет. Если ее слова оскорбляют чей-нибудь деликатный слух, тем хуже! Больше всего на свете она презирает лицемерие. Маркиза верует в Бога, но верует и в г-на Вольтера, так что ее благочестие весьма сомнительно. Однако же с местным священником отношения у нее прекрасные, и подчас она даже оказывает ему честь пригласить его на обед. Должно быть, она считает его чем-то вроде чиновника, который может оказаться полезен для спасения ее души и открыть ей двери в рай.

Из-за всего этого от нее бегают, словно от чумы. Люди боятся ее высокомерия, бестактности и бесцеремонности, с какою она выпаливает им в лицо все гадости, которые приходят ей в голову.

Из родственников у нее осталась лишь дочь ее рано умершего сына.

Свое некогда очень значительное состояние она промотала; сохранилась только двадцатитысячная рента, тающая с каждым днем. Неподалеку от Дома Инвалидов у нее есть особнячок, в котором она и живет; к нему примыкают тесный дворик и обширный сад.

При всем том она считает себя несчастнейшим созданием на земле и половину дня проводит в жалобах на нищету. Время от времени, после очередного безумства, она признается, что боится умереть в больнице для бедных.

И вот однажды приятель г-на Дабюрона представил его маркизе д'Арланж. Как-то, в хорошем расположении духа, приятель этот увлек его за собой, пообещав:

— Пойдемте, я покажу вам феномен — призрак во плоти.

В первый же раз, когда следователь явился засвидетельствовать маркизе свое почтение, она показалась ему весьма занимательной. Во второй раз она его позабавила, и он пришел еще. Вскоре она перестала его забавлять, и все же он стал постоянным и преданным посетителем ее бледно-розового будуара, в котором она проводила все время. Г-жа

д'Арланж записала его в свои друзья и, упоминая о нем, рассыпалась в похвалах.

— Что за восхитительный человек этот молодой судейский! — говорила она. — Такой тонкий, такой чувствительный! Какая жалость, что он низкого рода. Однако принимать его все же можно: его родители были весьма порядочные люди, а мать — урожденная Котвиз, хоть потом она и опустилась. Я желаю ему добра и употреблю все свое влияние, чтобы ввести его в свет.

Самым большим доказательством ее расположения к Дабюрону было то, что она правильно произносила его имя. У нее сохранилась комичная привычка не запоминать имен худородных людей, которые для нее просто как бы не существовали. Она так привыкла коверкать их имена, что, если ей случалось произнести их правильно, она тут же спохватывалась и, поправляясь, перевирала еще пуще. Первое время, к неизменному удовольствию следователя, она искажала его имя на тысячу ладов, называя то Табюроном, то Дабироном, то Малироном, то Лалироном, то Ларидоном. Однако по прошествии трех месяцев она уже четко и ясно произносила имя Дабюрон, словно он был каким-нибудь герцогом, владельцем огромных поместий.

Порою она пыталась ему доказать, что он дворянин или обязан стать таковым. Ей очень хотелось, чтобы он обзавелся титулом и поместил на своих визитных карточках дворянский шлем.

— Как же вашим предкам, деятелям, известным в судейском сословии, не пришло в голову выйти в люди, купить дворянство? — спрашивала она. — Вы были бы дворянином, человеком, достойным уважения.

— Мои предки были умны, — отвечал г-н Дабюрон, — и предпочитали быть первыми среди мещан, нежели последними среди дворян.

После таких слов маркиза принималась втолковывать ему, что между самыми достойными мещанами и самыми захудалыми дворянчиками лежит такая пропасть, какую не преодолеть с помощью всех денег на свете.

Однако те, кто удивлялся постоянству г-на Дабюрона по отношению к маркизе, не были знакомы с ее юной воспитанницей или по крайней мере забывали о ней. Она так редко выходила к гостям! Старая дама не любила обременять себя, как она говорила, обществом юной шпионки, мешавшей ей болтать и рассказывать анекдоты.

Клер д'Арланж только-только исполнилось семнадцать. Это была милая, грациозная девушка, прелестная в своем

наивном неведении жизни. Густые пепельные волосы, которые она имела обыкновение распускать, тяжелыми волнами небрежно ниспадали на ее точеную шею. Пока еще немного худощавая, лицом она напоминала божественные образы Гвидо Рени¹. Особенно восхитительны были ее синие глаза, оттененные длинными ресницами, несколько более темными, чем волосы.

Редкое очарование м-ль Клер усиливалось благодаря присущему ей ореолу необыкновенности, которым она была обязана маркизе. Люди восхищались чуть старомодными манерами девушки. Она была даже остроумнее бабки, достаточно образованна и имела вполне ясные понятия о мире вокруг нее.

Образование, а также кое-какое представление о жизни Клер почерпнула от гувернантки, на которую маркиза переложила заботы о своей «соплячке».

Эту гувернантку, мадемуазель Шмидт, взяли не глядя, и по чистой случайности оказалось, что она кое-что знает, да к тому же еще и честна. Она была из тех женщин, каких часто можно встретить по ту сторону Рейна: романтическая и вместе с тем рассудочная, сентиментальная, но в то же время весьма строгих правил. Эта достойная женщина вывела Клер из царства фантазий и химер, куда завлекла ее маркиза, и в своих уроках обнаружила много здравого смысла. Она открыла ученице всю смехотворность причуд ее бабки и научила, как от них избавиться, сохраняя к ним уважение.

Каждый вечер, приехав к г-же д'Арланж, г-н Дабюрон был уверен, что найдет м-ль Клер сидящей подле бабки; ради этого он и приезжал.

Рассеяннo слушая брюзжание старой дамы попеременно с анекдотами времен эмиграции, он смотрел на Клер, словно фанатик на своего идола. Его восхищали ее длинные волосы, прелестный рот, глаза, которые он находил самыми прекрасными на свете.

Часто случалось, что в упоении он забывал, где находится. Он совершенно не помнил о маркизе, не слышал ее фальцета, вонзавшегося в барабанные перепонки, словно вязальная спица. В таких случаях он отвечал невпопад, совершал самые невероятные промахи, которым потом пытался придумать оправдания. Но это было ни к чему. Мар-

¹ Рени Гвидо (1575—1642) — итальянский живописец, в картинах которого изящество линии и композиции сочеталось с нарочитой идеализацией образов.

киза д'Арланж не замечала рассеянности своего любимца. Вопросы, которые она задавала, отличались такой простотой, что ее уже мало заботили ответы на них. Ей было достаточно иметь слушателя; главное, чтобы время от времени он подавал признаки жизни.

Когда приходило время садиться за стол для игры в пикет (следовательно про себя называл его галерой), он проклинал и игру, и мерзкого ее изобретателя. Играл он невнимательно, постоянно ошибался: бросал карту не глядя и забывал бить козырем. Старая дама пеняла ему за рассеянность и беззастенчиво ею пользовалась. Она подглядывала в снос, меняла карты, которые ее не устраивали, дерзко записывала себе фантастические очки, а в конце без всякого стыда и угрызений клала в карман выигранные деньги.

Г-н Дабюрон был чрезвычайно робок, Клер держалась неприступно, поэтому молодые люди почти не разговаривали. За всю зиму судья не обратился к девушке и десяти раз. Вдобавок перед каждым разговором он затверживал наизусть слова, которые намерен был произнести, зная, что без этой подготовки язык у него прилипнет к гортани.

Зато он хотя бы видел ее, дышал с нею одним воздухом, слышал ее голос, мелодичный и чистый, как хрустальный колокольчик, вдыхал веявший вокруг нее нежный аромат, казавшийся ему воистину небесным благоуханием.

Он, разумеется, не смел спросить у нее, как называются ее духи, но после бесконечных поисков, из-за которых он прослыл в нескольких парфюмерных магазинах сумасшедшим, г-н Дабюрон наконец их обнаружил. Этими духами он опрыскал у себя дома все вплоть до папок с делами, громоздившихся на столе.

Он так долго созерцал ее глаза, в которых ему виделось нечто неземное, что в конце концов изучил все перемены в их выражении. Ему казалось, что он читает каждую мысль той, кого обожает, и через эти глаза, словно через распахнутые окна, постигает ее душу. Он говорил себе: «Сегодня ей весело», — и его переполняла радость. В другой раз думал: «Сегодня что-то ее огорчило» — и тут же впадал в уныние.

Не раз г-ну Дабюрону приходила мысль попросить руки Клер, но он не решался. Житейские принципы маркизы были ему известны, он знал, что она помешана на знатности и непреклонна в отношении к мезальянсу; он был уверен, что, стоит ему заговорить, она прервет его ледяным «нет» и никогда уже не позволит ему вернуться к этой теме. Осмелиться на предложение значило без малейшей надежды

на успех подвергать опасности нынешнее счастье, которым он бесконечно дорожил, потому что любовь довольствуется малым.

«Если мне откажут,— рассуждал он,— двери их дома закроются для меня. Тогда прощай блаженство, которое дано мне в этой жизни, тогда мне конец».

С другой стороны, он ясно понимал, что юную мадемуазель д'Арланж может встретить другой, которому ничто не помешает влюбиться, посвататься и получить ее в жены.

Как бы то ни было, отважится ли он просить руки или будет медлить, ему неминуемо грозило ее потерять. В начале весны Дабюрон решился. Погожим апрельским днем он отправился в особняк маркизы д'Арланж, и мужества ему на это понадобилось не меньше, чем солдату, идущему в атаку на вражескую батарею. Г-н Дабюрон тоже твердил: «Победить или погибнуть».

Маркиза сразу после завтрака уходила и только что вернулась. Она была в неопишуемой ярости и кричала на весь дом.

А случилось вот что: месяцев восемь—десять тому назад маркиза заказала маляру, жившему по соседству, кое-какие работы. Сто раз с тех пор маляр являлся в надежде получить по счету, и столько же раз его спроваживали, предлагая зайти позже. Наконец ему надоело ходить и ждать, и он подал жалобу мировому судье на высокородную и сиятельную маркизу д'Арланж.

Вывоз в суд поверг маркизу в ярость, однако она никому не сказала об этом, решив, с присущей ей мудростью, что воспользуется приглашением с единственной целью: просить у правосудия защиты и призвать мирового судью сделать соответствующее внушение бесстыдному маляру, посмевшему беспокоить ее из-за какого-то пустяка, из-за ничтожной суммы.

Нетрудно угадать, к чему это привело. Мировому судье пришлось распорядиться, чтобы упрямую маркизу удалили из его кабинета. Потому она и была в такой ярости.

Г-н Дабюрон застал ее в бледно-розовом будуаре. Полуодетая, совершенно растрепанная, красная, как пион, она сидела среди осколков фарфора и хрусталя, подвернувшегося ей под руку в первую минуту. В довершение несчастья Клер с гувернанткой куда-то ушли. Вокруг незадачливой маркизы хлопотала горничная, пичкая ее всевозможными снадобьями для успокоения нервов.

Старая дама встретила следователя, словно посланца небес. Более получаса, перемежая повествование воплями

и проклятиями, она рассказывала ему свою одиссею.

— Вообразите себе этого судью! — восклицала она. — Какой-то бешеный якобинец, плоть от плоти тех фанатиков, что обагрили руки в крови нашего короля! Друг мой, я вижу, на вашем лице написаны оторопь и негодование... Подумать только, этот судья принял сторону бесстыдного прохвоста, которому я дала работу и тем самым возможность заработать кусок хлеба! А когда я стала сурово ему выговаривать, как велело мне чувство долга, он приказал выставить меня за дверь. Меня! За дверь!

При этом мучительном воспоминании она угрожающе взмахнула рукой, задела флакон, который держала горничная, — великолепный флакон отлетел в угол и разбился.

— Дура! Неумеха! Растяпа! — завопила маркиза.

Г-н Дабюрон, поначалу несколько оглушенный, попытался немного утихомирить г-жу д'Арланж. Но она перебила его после первых же слов.

— Как это кстати, что вы пришли, — заявила она. — Я знаю вашу преданность. Надеюсь, вы предпримете надлежащие шаги и, употребив свое влияние, обратившись к друзьям, добьетесь того, чтобы мерзавец маляр и преступный судья очутились за решеткой; уж в тюрьме-то их научат относиться к таким, как я, с должным уважением.

В ответ на эту неожиданную просьбу следователь не позволил себе даже намек на улыбку. Он и прежде слышал из уст маркизы немало несообразностей, но никогда не потешался над ними: маркиза была бабкой Клер, следовательно, он любил ее и почитал. Он воздавал ей хвалу за внучку, как иногда человек, гуляя, воздаст хвалу небу за душистый лесной цветок, который сорвал под кустом.

Гнев старой дамы был ужасен и долго не утихал. Его, как гнев Ахилла¹, можно было бы описывать на протяжении доброго десятка глав. Однако на исходе часа она, судя по всему, совершенно успокоилась. Горничная поправила ей прическу, привела в порядок ее туалет и убрала черепки.

Ярость наконец истощила самое себя, и маркиза простерлась в кресле, оглашая гостиную жалобами.

Эта волшебная перемена, изумившая горничную, произошла с ней благодаря г-ну Дабюрону. Чтобы добиться столь поразительного успеха, он призвал на помощь все

¹ Имеется в виду «Илиада» Гомера, начинающаяся с описания гнева Ахилла из-за того, что предводитель всех городов Агамемнон отнял у него пленницу Брисеиду. Ахилл отказался участвовать в сражениях с троянцами и перестал гневаться лишь после гибели своего друга Патрокла.

свое хитроумие, пустил в ход ангельское терпение и удесятерил обходительность.

Победа его была тем более достойна восхищения, что он был совершенно не готов к этой битве. Нелепый случай с маркизой нарушил его планы. В кои-то веки набрался он решимости, чтобы заговорить, но события обернулись против него. Ему пришлось примириться с неизбежным.

Вооружась отменным судейским красноречием, г-н Дабюрон обрушил на голову раздражительной маркизы холодный душ. В огромных дозах использовал он нескончаемые периоды, которые, подобно клубку ниток, умеют разматывать товарищи прокурора, стяжая себе этим немалую славу. При этом у него хватило ума не перечить ей, напротив, он гладил ее только по шерсти.

Он был то патетичен, то насмешлив. О революции упомянул надлежащим образом, проклял ее заблуждения, осудил ее злодеяния и посетовал на пагубные последствия, которые она принесла порядочным людям. От нечестивца Марата искусно перешел к прохвосту мировому судье. Не стесняясь в выражениях, заклеил возмутительное поведение этого судейского крючка и втоптал в грязь мерзавца маляра. Однако, по его суждению, от тюрьмы их все же следовало избавить. Его выводы клонились к тому, что, пожалуй, разумнее, мудрее и даже благороднее будет уплатить.

Не успел он вымолвить это злополучное слово «уплатить», как г-жа д'Арланж вскочила на ноги и надменно выпрямилась.

— Уплатить? — вскричала она. — Чтобы эти злодеи коснели в своей испорченности? Поощрить их преступной слабостью? Никогда!

— Речь идет всего-то о восьмидесяти семи франках, — возразил следователь.

— По-вашему, это пустяк? — отвечала маркиза. — Легко вам говорить, сударь. Сразу видно, у вас денежки водятся. Ваши предки были ничтожества, революция пронеслась высоко над ними, никак их не задев. Кто знает, может быть, они даже нажились на ней. А у д'Арланжей революция отняла все. Что мне будет, если я не уплачу?

— Да что угодно, госпожа маркиза. Вы разоритесь на судебных издержках, вам будут присылать письма на гербовой бумаге, придут судебные исполнители, на ваше имущество будет наложен арест.

— Увы! — возопила почтенная дама. — Революция не кончилась! Она доберется до каждого из нас. Вам хорошо,

вы сами из черни. Вижу, мне придется уплатить, не откладывая, и это весьма прискорбно: ведь у меня ничего нет, и ради внучки я вынуждена идти на величайшие жертвы.

Г-н Дабюрон изучил маркизу как свои пять пальцев. Слово «жертвы» в ее устах до того его изумило, что, не удержавшись, он переспросил вполголоса:

— Жертвы?

— Разумеется, — отвечала г-жа д'Арланж. — Если бы не она, разве я жила бы, во всем себе отказывая, чтобы свести концы с концами? Да ни за что! Покойный маркиз часто со мной заговаривал о тонтинах, учрежденных г-ном де Калонном¹, вложенные в них деньги дают большую прибыль. Такие тонтинны, по-видимому, существуют и поныне. Если бы не внучка, я бы вложила туда все, что у меня есть, без остатка, чтобы пользоваться пожизненной рентой. Тогда бы мне хватало на хлеб. Но я никогда не решусь на это. Слава Богу, мне известно, в чем состоит родительский долг, и все мое состояние в целостности и сохранности перейдет малютке Клер.

Это признание так поразило г-на Дабюрона, что он не нашелся, что сказать в ответ.

— Это милое дитя доставляет мне ужасные мучения, — продолжала маркиза. — Вам-то я могу признаться, Дабюрон: когда я размышляю, как ее пристроить, мне худо становится.

Следователь покраснел от радости. Счастливый случай стремительно приближался, еще немного — и он окажется совсем рядом, остается только покрепче его ухватить.

— А мне кажется, — пробормотал он, — что пристроить мадемуазель Клер вовсе не трудно.

— К сожалению, вы заблуждаетесь. Она, конечно, лакомый кусочек, хоть и худышка, но что толку! Мужчины стали так расчетливы, что просто слов нет. Их интересуют только деньги. Я не знаю среди них ни одного, кому достало бы порядочности жениться на девушке из рода д'Арланжей, у которой всего приданого — красивые глазки да манеры.

— Полагаю, вы преувеличиваете, сударыня, — робко заметил г-н Дабюрон.

¹ Тонтинны (по имени итальянского банкира Лоренцо Тонти) — страховые учреждения, обеспечивавшие пожизненную ренту; впервые появились во Франции в XVII веке и в разных формах дожили до начала XX века.

Калонн Шарль Александр (1734—1802) — французский политический деятель, в 1783—1787 гг. генеральный контролер финансов.

— Ничуть. Верьте моему опыту, я живу на свете дольше вас. К тому же, если я выдам Клер замуж, зять мой причинит мне кучу неприятностей — так утверждает мой нотариус. По-видимому, мне придется дать ему отчет — как будто я вела счета! Ах, если бы у малышки Клер было доброе сердце, она бы постриглась, ушла в какой-нибудь монастырь. А я бы уж в лепешку разбилась, чтобы собрать ей необходимый вклад. Но она совершенно меня не любит и не жалует.

Г-н Дабюрон понял, что пришло его время. Он прищиприл свою отвагу, как всадник прищипривает лошадь перед прыжком через ров, и решительно заговорил:

— Ну что ж, госпожа маркиза, по-моему, я знаю подходящую партию для мадемуазель Клер. Я знаю порядочного человека, который любит ее и сделает все на свете, чтобы составить ее счастье.

— Ну, без этого вообще не может быть разговора, — откликнулась маркиза.

— Человек, о котором я говорю, еще молод, — продолжал следователь. — Он обладатель изрядного состояния. Он был бы счастлив получить мадемуазель д'Арланж в жены без всякого приданого. Он не только не станет требовать у вас отчета, но будет умолять вас, чтобы вы распорядились своим состоянием, как вам угодно.

— Черт возьми, а вы не дурак, дорогой мой Дабюрон! — воскликнула старая дама.

— Если бы у вас возникли трудности с переводом вашего состояния в пожизненную ренту, ваш зять мог бы помочь вам, внося недостающую сумму.

— Ах, мне худо! — перебила его маркиза. — Что же это вы, имея на примете подобного человека, никогда мне о нем не говорили! Надо было давно уже мне его представить.

— Я не смел, сударыня, я опасался...

— Скорее же, кто этот изумительный зять? Где гнездится эта белая ворона?

Сердце у г-на Дабюрона сжалось от невыносимой тревоги. На карту было поставлено его счастье.

Наконец, словно пугаясь своих слов, он пролепетал:

— Это я, сударыня...

Его голос, взгляд, вся его фигура приняли самое умоляющее выражение. Он был в ужасе от собственной дерзости, потрясен тем, что сумел все-таки преодолеть свою робость. Он готов был пасть к ногам маркизы.

Старая дама покатилась со смеху. Она хохотала до слез и, пожимая плечами, повторяла:

— Нет, что за шутник этот любезный Дабюрон! Ей-богу, он меня уморит! Ну и потешник!

Но вдруг, в разгаре приступа веселья, она замолчала и с достоинством спросила:

— Следует ли принимать ваши слова всерьез?

— Я сказал чистую правду,— пролепетал следователь.

— Значит, вы в самом деле богаты? — осведомилась маркиза.

— Сударыня, от матери я унаследовал почти двадцать тысяч ренты. В прошлом году умер мой дядя, оставив мне в наследство чуть больше ста тысяч экю. У отца моего около миллиона. Если я попрошу у него половину, он даст мне ее хоть завтра. Если бы от этого зависело мое счастье, он отдал бы мне все свое состояние и вполне удовольствовался бы ролью управляющего.

Г-жа д'Арланж знаком велела ему замолчать и по меньшей мере минут на пять погрузилась в раздумья, сжав руками лоб. Затем она подняла голову и заговорила:

— Послушайте меня. Если бы вы посмели сделать подобное предложение отцу Клер, он велел бы своим людям вышвырнуть вас за дверь. Во имя чести нашего рода мне следовало бы поступить так же, но я не могу решиться. Я стара и всеми брошена, я бедна, я беспокоюсь за судьбу внучки, вот мои оправдания. Ни за что на свете я не стала бы предлагать Клер этот чудовищный мезальянс. Не отговаривать ее — вот все, что я могу вам обещать. Довольно с вас и этого. Попытайтесь же, откройте ваши чувства мадемуазель д'Арланж, уговорите ее. Если она от всего сердца ответит «да», я не скажу «нет».

Окрыленный г-н Дабюрон хотел расцеловать руки маркизе. Она казалась ему добрейшей, милейшей женщиной на свете; при этом он и внимания не обратил на то, с какой легкостью уступила ему эта столь высокомерная дама. Он был как в бреду, он совсем потерял голову.

— Погодите,— продолжала маркиза,— ваше дело еще не выиграно. Ваша матушка, хоть я и не могу одобрить ее крайне неудачное замужество, как-никак была Котвиз, но отец ваш — сьер Дабюрон. Это имя, дитя мое, звучит просто смешотворно. Как вам кажется, легко ли уговорить девушку, которая до восемнадцати лет звалась д'Арланж, стать госпожой Дабюрон?

Эти соображения, судя по всему, не слишком заботили следователя.

— Впрочем,— продолжала старая дама,— женился же ваш батюшка на одной из Котвизов, так почему бы вам не

получить руку одной из д'Арланжей? Быть может, Дабюрон, беря в двух поколениях подряд в жены девушек из благородных родов, в конце концов и сами облагородятся. И последнее, о чем я вас предупреждаю: Клер кажется вам робкой, покорной, мягкой? Знайте же: внешность обманчива. Хоть с виду она и неженка, на самом деле она отважна, горда и упряма, точь-в-точь покойный маркиз, ее отец — тот был упрям как мул. Итак, вы предупреждены. Имеющий уши да услышит. Мы обо всем условились, не так ли? Кончим же этот разговор. Я почти желаю вам успеха.

Эта сцена так живо представилась следователю, что и теперь, спустя месяцы, у себя дома, сидя в кресле, он, казалось, слышал голос маркизы д'Арланж, и в ушах у него звенели слова: «Желаю успеха».

В тот день он ушел из особняка д'Арланжей торжествующим, хотя входил со смятенным сердцем.

Он уходил с гордо поднятой головой, с ликованием в душе, дыша полной грудью.

Как он был счастлив! Небо казалось ему синим, как никогда, солнце сияло ярче обычного.

Ему, суровому правоведу, хотелось броситься на шею прохожим на улице и закричать:

— Неужели вы не знаете? Маркиза согласна!

Он шел, и ему чудилось, будто земля приплясывает у него под ногами, а сам он от переполняющего его ликования стал до того невесом, что вот-вот взвоется к звездам.

Какие воздушные замки возводил он на обещании старой маркизы! Он подаст в отставку, построит на Луаре, неподалеку от Тура, прелестную виллу. Он так и видел эту виллу, живописную, обращенную фасадом на восход, всю в цветах, в тени высоких деревьев. Он отделывал это жилище волшебными тканями, которые изготовили феи. Когда он станет обладателем драгоценной жемчужины, он сумеет создать для нее подобающую оправу.

Он уже был в этом уверен, сияющий горизонт его надежд не омрачался ни единым облачком сомнений, и внутренний голос не шепнул ему в этот миг: «Берегись!»

С того дня г-н Дабюрон стал еще более частым посетителем дома д'Арланжей. Он почти переселился туда.

Сохраняя всю почтительность и сдержанность по отношению к Клер, он искусно и настойчиво старался отвоевать себе место в жизни девушки. Истинная любовь изобретательна. Г-н Дабюрон преодолел свою застенчивость, чтобы говорить с любимой, чтобы вовлекать ее в беседы, пробуждать в ней интерес к нему.

Ради нее он гонялся за новинками, читал все подряд, чтобы отбирать книги, которые потом можно будет предложить ей.

Мало-помалу, благодаря деликатной настойчивости, ему удалось, так сказать, приручить эту дикарку. Он стал замечать, что кое-чего уже достиг: ее нелюдимость исчезла почти бесследно. Теперь, встречая его, она не напускала на себя тот ледяной, высокомерный вид, которым прежде, должно быть, надеялась держать его на расстоянии.

Он чувствовал, что она, сама того не замечая, доверяет ему все больше и больше. Разговаривая с ним, она по-прежнему краснела, но теперь уже отваживалась первая вступать в беседу.

Часто она спрашивала у него о чем-нибудь. Например, при ней похвалили какую-то пьесу, и она пожелала узнать, о чем там речь. Г-н Дабюрон поспешил посмотреть спектакль и прислал девушке по почте подробный отчет. Подумать только: он написал ей письмо! Несколько раз она давала ему небольшие поручения. Радость бегать по ее делам он не променял бы и на пост посланника в России!

Однажды он расхрабрился и послал ей роскошный букет. Она приняла этот букет, но удивилась, попеняла и попросила впредь не делать ей подобных подношений.

Дабюрон огорчился до слез. В тот раз он уходил от нее в полном отчаянии.

«Она меня не любит,— думал он,— и никогда не полюбит».

Он приуныл, однако три дня спустя она попросила его отыскать для ее жардиньерки какие-то цветы, которые были в большой моде. Он послал ей столько цветов, что ими можно было бы завалить дом от чердака до погреба.

— Она меня полюбит! — в восторге убеждал он себя.

Эти маленькие происшествия, столь важные для него, не отменяли партий в пикет. Но теперь девушка внимательнее следила за игрой. Почти всегда она принимала сторону следователя против маркизы. Правил она не знала, но, когда старая картежница плутовала чересчур уж дерзко, Клер, видя это, со смехом говорила:

— Вас грабят, господин Дабюрон, вас грабят!

А он отдал бы на разграбление все, что имел, лишь бы слышать ее милый голос, слышать, как она за него застывает.

Было лето. Часто по вечерам она брала его под руку, и под бдительным оком маркизы, сидевшей в большом кресле на крыльце, они неторопливо гуляли вокруг лужай-

ки по аллее, посыпанной столь мелким песком, что подол ее платья, волочившийся по дорожке, заметал их следы. Она весело щебетала с ним, словно с любимым братом, и для него пыткой было удерживаться от того, чтобы не поцеловать эти белокурые волосы, пушистые и разлетавшиеся под ветерком, как хлопья снега.

И в конце этой прелестной тропы, с обеих сторон усаженной цветами, ему виделось счастье.

Он попытался заговорить с маркизой о своих надеждах.

— Вы помните наш уговор,— отвечала она.— Ни слова. И так уж совесть упрекает меня в том, что я уступила бесчестному искушению. Подумать только, моя внучка будет, быть может, зваться госпожой Дабюрон! Чтобы получить разрешение на перемену ее фамилии, мой милый, придется писать прошение королю.

Не будь г-н Дабюрон так упоен мечтами, ему, столь проникательному и тонкому наблюдателю, удалось бы лучше изучить характер Клер. Возможно, тогда он был бы начеку. Но где ему было даже думать об этом?

И все же от него не укрылись странные перемены в ее настроении. В иные дни она была беззаботна и весела, а потом на целые недели погружалась в уныние и тоску. Наутро после бала, на который Клер сопровождала бабка, он осмелился спросить у девушки о причине ее грусти.

— Ах, вот вы о чем! — ответила она с глубоким вздохом.— Это моя тайна. Ее не знает даже бабушка.

Г-н Дабюрон всмотрелся в Клер. Ему показалось, что на ее длинных ресницах блеснула слеза.

— Когда-нибудь, быть может,— продолжала она,— я вам откроюсь. Может быть, это будет необходимо.

Следователь был по-прежнему слеп и глух.

— У меня тоже есть тайна,— отвечал он,— и я тоже надеюсь когда-нибудь открыться вам.

Уходя в первом часу ночи, он сказал себе: «Завтра я ей во всем признаюсь». Вот уже два месяца он неизменно повторял себе: «Завтра».

Был августовский вечер; весь день продержалась гнетущая жара, к ночи поднялся ветерок, листва зашелестела, в воздухе чувствовалась близость грозы.

Они оба сидели в глубине сада, в беседке, увитой экзотическими растениями; сквозь ветви им был виден развевающийся пеньюар маркизы, которая прогуливалась после ужина.

Они долго сидели молча, замороженные природой, опья-

ненные разлитыми в воздухе ароматами цветов на лужайке. Г-н Дабюрон осмелился взять девушку за руку.

Это было впервые, и, коснувшись нежной, шелковистой кожи, он испытал ужасное потрясение; кровь бросилась ему в голову.

— Мадемуазель Клер! — пролепетал он.

Она в изумлении остановила на нем взгляд своих прекрасных глаз.

— Простите меня,— продолжал он,— простите... Прежде чем дерзнуть заговорить с вами, я говорил с вашей бабушкой. Разве вы не понимаете о чем?.. Одно слово из ваших уст решит мою судьбу. Клер, мадемуазель Клер, не отталкивайте меня, я вас люблю!

Пока юрист говорил, мадемуазель д'Арланж смотрела на него так, словно не знала, верить ли зрению и слуху. Но на словах «Я вас люблю!», произнесенных с трепетом подлинной страсти, она поспешно отняла руку и чуть слышно вскрикнула.

— Вы,— прошептала она,— так, значит, вы...

Г-н Дабюрон онемел: он не выговорил бы ни слова, даже если бы речь шла о его жизни. Сердце его тисками сжало предчувствие огромного горя. А уж что стало с ним, когда Клер разразилась слезами!

— Как я несчастна! Как несчастна! — повторяла она, закрыв лицо руками.

— Вы несчастны? — вскричал следователь.— Из-за меня? Клер, это жестоко! Заклинаю вас, объясните, чем я провинился? В чем дело? Все, что угодно, только не эта неизвестность, которая меня убивает!

Он упал перед ней на колени и вновь хотел завладеть ее рукой. Она мягким движением отстранила его.

— Дайте мне поплакать,— отвечала она,— мне так больно. Знаю, вы возненавидите меня. Быть может, даже станете презирать, а между тем клянусь вам, я не знала того, что вы мне сейчас сказали, даже не подозревала об этом.

Г-н Дабюрон так и застыл на коленях в ожидании удара, который его добьет.

— Да,— продолжала Клер,— вы заподозрите меня в постыдном кокетстве. Теперь я все понимаю. Если бы вы не любили меня, разве вы могли бы относиться ко мне с такой преданностью — да и кто бы мог на вашем месте? Увы, я не слишком-то опытна, я радовалась, что мне посчастливилось иметь такого друга, как вы. Ведь я одна на свете, я — как путешественник, заблудившийся в пусты-

не. Я доверилась вам бездумно и неосторожно, словно заботливому, снисходительному отцу.

Последнее слово приоткрыло несчастному следователю всю бездну его заблуждения. Словно чугунный молот, раздробило оно на тысячи кусков хрупкое строение его надежды. Он медленно поднялся и голосом, в котором сквозил невольный упрек, повторил:

— Словно отцу...

Мадемуазель д'Арланж поняла, как опечалила, как ранила она человека, любившего ее больше, чем она могла себе вообразить.

— Да,— вновь заговорила она,— да, я любила вас, как отца, как брата, как всех родных, которых у меня больше нет. Когда я видела, что вы, такой суровый, такой важный, становитесь при мне мягким и ласковым, я благодарила бога, что он послал мне защитника, заменившего моих усопших родных.

У г-на Дабюрона вырвалось рыдание, сердце его разрывалось.

— Одно слово,— продолжала Клер,— одно ваше слово рассеяло бы все недоразумения. Зачем вы его не произнесли! Мне было так сладко чувствовать вашу опеку, словно ребенку — заботу матери. С тайной радостью я говорила себе: «Я знаю, что есть человек, который мне предан, которому я могу излить душу». Ах, почему я не доверялась вам еще больше? Зачем хранила от вас свой секрет? Тогда мы были бы избавлены от этого тягостного объяснения. Я должна была вам признаться, что я более не принадлежу себе, что по доброй воле и с радостью отдала свое сердце другому.

Внезапно упасть наземь с небес! Страдания следователя были неопишуты.

— Да, лучше бы вы сказали мне, Клер,— отвечал он,— а может быть, нет. Благодаря вашему молчанию я полгода питал сладостные иллюзии, полгода предавался волшебным мечтам. Вероятно, это и было счастье, отпущенное мне на земле.

Еще не совсем стемнело, и он ясно видел мадемуазель д'Арланж. Ее прекрасное лицо было бледно и неподвижно, как мрамор. Крупные слезы беззвучно струились по ее щекам. Г-ну Дабюруну казалось, что он видит плачущую статую.

— Вы любите другого,— заговорил он наконец, прервав молчание,— другого! И ваша бабушка не знает об этом. Клер, человек, которого вы избрали, не может быть

недостойн вас. Почему же маркиза его не принимает?

— Тому есть препятствия,— прошептала Клер,— и боюсь, эти препятствия останутся навсегда. Но я из тех, кто любит лишь единожды в жизни. Такие, как я, выходят замуж за того, кого любят, а если нет... Тогда монастырь.

— Препятствия...— глухим голосом проговорил г-н Дабюрон.— Есть человек, которого вы любите, он знает об этом, и ему мешают какие-то препятствия?

— Я бедна,— откликнулась мадемуазель д'Арланж,— а его семья страшно богата. Отец его — человек черствый и неумолимый.

— Отец! — воскликнул следовательно с горечью, которой и не думал скрывать.— Отец! Семья! И это для него преграды! Вы бедны, он богат — и это его останавливает! И он знает, что любим вами!.. Ах, если бы я был на его месте! Я восстал бы против целого света! Разве жертвы, приносимые любви, как я ее понимаю, могут быть слишком велики? Впрочем, это и не жертвы вовсе. Чем огромнее жертва, тем огромнее радость от нее. Страдать, бороться и все-таки надеяться, надеяться, несмотря ни на что, самозабвенно отдать всего себя — вот что значит любить.

— Так люблю я,— просто сказала мадемуазель д'Арланж.

Этот ответ добил юриста. Он понимал ее. Все кончено, ему не оставалось ни малейшей надежды. Но он испытывал мучительную потребность продлить свои терзания, испытать всю горечь до конца, чтобы еще больше убедиться в собственном несчастье.

— Скажите,— настойчиво спросил он,— откуда вы его знаете? Где и когда могли с ним говорить? Ведь маркиза никого не принимает.

— Признаюсь вам, сударь, во всем,— с достоинством отвечала Клер.— Мы уже давно знакомы. Впервые я встретила его в гостях у приятельницы моей бабки, старой мадемуазель де Гоэлло, которая приходится ему дальней родственницей. Мы заговорили, потом встретились там же еще раз...

— Да, помню,— подхватил г-н Дабюрон в каком-то внезапном озарении,— теперь вспомнил. Когда вам предстояло идти к мадемуазель де Гоэлло, перед тем вы дня три или четыре бывали веселей, чем обычно. А возвращались частенько в печальном настроении.

— Это потому, что я видела, как он страдает, сознавая свое бессилие перед препятствиями.

— Значит, его семья столь знатна и богата,— мрачно

проговорил юрист,— что отвергает союз с вашим домом?

— Я расскажу вам все и без ваших вопросов, сударь,— отвечала мадемуазель д'Арланж,— все вплоть до его имени. Его зовут Альбер де Коммарен.

В эту минуту маркиза, нагулявшись, собралась возвращаться в нежно-розовый будуар. Она приблизилась к беседе.

— Блюститель правосудия,— воскликнула она своим оглушительным голосом,— пора садиться за пикет!

Следователь, не отдавая себе отчета в своих действиях, поднялся и пробормотал:

— Иду, иду.

Клер удержала его за руку:

— Я не предупредила вас, что все сказанное мною должно остаться между нами.

— Ах, мадемуазель! — с упреком воскликнул юрист, уязвленный таким недоверием.

— Я знаю,— продолжала Клер,— что могу на вас положиться. Но как бы ни повернулись события, покой мой утрачен.

Г-н Дабюрон вопросительно посмотрел на нее, он был удивлен.

— Можно не сомневаться,— пояснила Клер,— что если я, юная и неопытная девушка, могла чего-то не заметить, то бабка моя заметила все; раз она продолжает вас принимать и ничего мне не сказала, значит, она желает вам успеха, молчаливо поощряет ваши намерения, которые, можете мне поверить, я нахожу чрезвычайно для себя лестными.

— Я вам сказал об этом с самого начала, мадемуазель,— отвечал следователь.— Госпожа маркиза не отвергла моих надежд.

И он пересказал вкратце свой разговор с г-жой д'Арланж, деликатно обойдя денежные проблемы, игравшие для старой дамы столь важную роль.

— Я не ошиблась,— печально заметила Клер,— теперь мне придется худо. Когда бабка узнает, что я не приняла вашего предложения, она будет вне себя от ярости.

— Плохо же вы меня знаете, сударыня,— перебил юрист.— Я ничего не собираюсь рассказывать госпоже маркизе, я исчезну без всяких объяснений. Она сделает вывод, что по зрелом размышлении я...

— О, я знаю, вы добры и великодушны!

— Я удалюсь,— продолжал г-н Дабюрон,— и скоро

вы позабудете самое имя бедняги, который сегодня расстался с надеждой на счастье.

— Я надеюсь, вы не верите в то, что говорите? — пылко перебила девушка.

— Нет, это правда. Последнее мое утешение — мысль о том, что когда-нибудь вы вспомните обо мне не без доброго чувства. Пройдет время, и вы скажете себе: «Этот человек любил меня». Поверьте, мне хотелось бы, несмотря ни на что, остаться вашим другом, да, преданнейшим вашим другом.

Клер порывисто схватила руки г-на Дабюрона.

— Вы правы, — сказала она, — мы должны остаться друзьями. Забудем, что произошло, забудьте то, что вы мне сейчас сказали, станьте для меня, как прежде, лучшим, снисходительнейшим из братьев.

Стало темно, она уже не могла разглядеть его лицо, но догадалась, что он плачет; недаром он медлил с ответом.

— Да разве это возможно? — прошептал он наконец. — Разве возможно то, о чем вы меня просите! Вы призываете меня все забыть. У вас-то достанет силы на это. Неужели вы не видите, что я люблю вас в тысячу раз сильнее, чем любите вы... — он осекся, не смея произнести имя Коммарена, и только добавил: — Я вечно буду вас любить.

Они уже удалились на несколько шагов от беседки и были недалеко от крыльца.

— Теперь, сударыня, — вновь заговорил юрист, — разрешите мне откланяться. Отныне вы будете редко видеть меня. Я стану навещать вас не чаще, чем это требуется, чтобы не создавать видимости разрыва. — Голос его дрожал и был почти невнятен. — Что бы ни случилось, помните: есть на свете несчастный, который принадлежит вам душой и телом. Если когда-нибудь вам понадобится преданность друга, обратитесь ко мне. Ну, вот и все. Я не отчаиваюсь, мадемуазель Клер. Прощайте же!

Она была почти в таком же смятении, что и он. Безотчетно она подставила ему лоб для поцелуя, и г-н Дабюрон коснулся холодными губами лица той, которую так любил.

Они под руку поднялись на крыльцо и вошли в розовый будуар, где маркиза поджидала свою жертву, начиная уже терять терпение и яростно постукивая картами по столу.

— Где же вы, неподкупный страж порядка? — воскликнула она.

Но г-н Дабюрон был, казалось, на грани смерти. Он не

в силах был взять карты в руки. Проямлив какую-то нелепость в оправдание, упомянув о каких-то неотложных делах, срочной работе, внезапном недомогании, он вышел, держась за стены.

Его уход возмутил старую картежницу. Она обернулась к внучке, которая, чтобы скрыть свое смятение, держалась как могла дальше от свечей, горевших на карточном столе, и спросила:

— Да что это сегодня с Дабюроном?

— Не знаю, сударыня,— пролепетала Клер.

— Сдается мне,— продолжала маркиза,— этот следователишка возомнил о себе и слишком много стал себе позволять. Надо будет поставить его на место, а то он вообразит себя с нами на равной ноге.

Клер попыталась оправдать г-на Дабюрона. Ей, дескать, показалось, что он плохо выглядел, да он и жаловался нынче вечером на недомогание. Уж не заболел ли он?

— Ну что ж,— отрезала маркиза,— в этом случае ему следовало бы в благодарность за честь находиться в нашем обществе сделать над собой некоторое усилие, не правда ли? По-моему, я рассказывала тебе историю нашего двоюродного деда герцога де Сент-Юрюжа. Он был приглашен играть в карты за королевским столом после охоты, играл весь вечер и весьма учтиво проиграл двести двадцать пистолей. Все собрание отметило его веселость и отменное настроение. Лишь на другой день узнали, что на охоте он упал с лошади, сломал ребро и тем не менее играл с Его Величеством в карты. Такое проявление почтительности выглядело настолько естественным, что никто особенно не ахал. Пусть этот следователишка и заболел: будь он человеком порядочным, он бы умолчал об этом и остался сыграть со мной в пикет. По-моему, он такой же больной, как я. Кто знает, в какой притон он помчался.

V

Покинув особняк д'Арланжей, г-н Дабюрон не пошел домой. Всю ночь он блуждал неведомо где, пытаясь хоть чуть-чуть остудить пылающую голову и изнурить себя усталостью, которая принесла бы ему немного покоя.

— О, я безумец! — твердил он себе. — Лишь безумец мог верить, надеяться, что когда-нибудь будет любим ею. Какое безрассудство было мечтать о том, чтобы завладеть этим воплощением грации, благородства, красоты! Как

прекрасна она была нынче вечером с лицом, залитым слезами! В ней было что-то ангельское! Каким возвышенным чувством озарились ее глаза, когда она говорила о нем! Да, она его любит. А меня почитает, как отца. Она сама сказала: «Как отца». Да разве могло быть иначе? Поделом же мне! Разве могла она увлечься угрюмым и суровым правоведом, унылым, как его неизменный черный сюртук? Что за преступный замысел был соединить ее девичью чистоту с моим отвратительным знанием жизни! Грядущее для нее — страна прекрасных иллюзий, а для меня давно уже поблекли все радужные упования. Она молода, как сама невинность, а я стар, как порок.

В самом деле, несчастный следователь был жалок сам себе. Он понимал Клер и не осуждал ее. Он корил себя за то, что не сумел скрыть от нее свою невыносимую боль, за то, что омрачил ее жизнь. Не мог себе простить, что вообще затеял это объяснение.

Разве не обязан он был предвидеть, что она отвергнет его и он лишится небесной радости видеть ее, слышать, молча обожать?

«Юная девушка,— размышлял он,— должна мечтать о возлюбленном. Должна видеть в нем идеал. Она радуется, украшая его самыми блистательными достоинствами, воображая его благороднейшим, отважнейшим, великодушнейшим из смертных. А что Клер могла бы думать обо мне, когда меня нет рядом? Воображение нарисовало бы ей меня в зловещей судейской мантии, в мрачной тюремной камере, в единоборстве с каким-нибудь негодяем и отщепенцем. Не в том ли состоит мое ремесло, чтобы опускаться на самое дно общества, копать в грязи преступлений? Да, я обречен во тьме стирать грязное белье нашего развращенного общества. Что и говорить, некоторые профессии метят особой метой тех, кто ими занимается. Юрист, подобно священнику, должен бы приносить обет безбрачия. Ведь и тот и другой все знают, все слышат. Они даже одеваются похоже. Но священник в складках своей черной сутаны несет людям утешение, а судья ужас. Первый воплощает милосердие, второй — кару. Вот о чем она думает, вспоминая обо мне, между тем мой соперник, мой соперник...»

И несчастный продолжал бесконечно и бессмысленно кружить по пустынным набережным.

Он был без шляпы, глаза его блуждали. Чтобы легче было дышать, он сорвал с себя галстук и бросил.

Изредка навстречу ему попадался одинокий прохожий,

но он не замечал никого. Прохожий останавливался и с жалостью смотрел вслед горемычному безумцу.

В безлюдном месте недалеко от улицы Гренель к нему подошли полицейские и попытались выяснить, кто он такой и что ему надо. Он оттолкнул их, но как-то машинально, и сунул им визитную карточку.

Прочитав, они отпустили его, уверенные, что он пьян.

На смену первоначальному смирению пришла безумная ярость. В сердце его зародилась ненависть, которая была сильнее и неукротимей даже, чем любовь к мадемуазель д'Арланж.

Ах, попадись ему этот соперник, этот счастливчик, благородный виконт, которому все на свете дается даром!

Г-ну Дабюрону, гордому, благородному человеку, самоотверженному судебному следователю, открылась вся непреодолимая сладость мщения. Сейчас он понимал тех, кто от ненависти хватается за кинжал, кто, притаившись в темном углу, подло, исподтишка наносит удар — в грудь или в спину врага, как придется, лишь бы ударить, убить и с радостью увидеть кровь жертвы.

Как раз в эти дни он расследовал преступление жалкой уличной женщины, которую обвиняли в том, что она ударом ножа расправилась с одной из своих товаров.

Она ревновала к этой товарке, пытавшейся отбить у нее любовника, грубого пьянчугу-солдата.

Теперь г-ну Дабюрону было жаль эту презренную женщину, которую он накануне начал допрашивать.

Она была безобразна, вызывала отвращение, но ему припомнилось выражение ее лица в ту минуту, когда она заговорила о своем солдате.

«Она любит его,— думал следователь.— Если бы каждый присяжный перенес те же страдания, что я, она была бы оправдана. Но многие ли испытали в жизни страсть? Дай бог, один человек из двадцати».

Он поклялся себе призвать суд к снисходительности и, насколько удастся, смягчить кару за преступление.

Он и сам был готов решиться на преступление. Г-н Дабюрон замыслил убить Альбера де Коммарена. До самого утра он все больше укреплялся в своем замысле, приводя сотни безумных доводов, казавшихся ему вполне основательными и бесспорными, в пользу необходимости и законности мщения.

К семи утра он очутился на одной из аллей Булонского леса недалеко от озера. Он добрался до заставы Майо, нанял экипаж и велел отвезти себя домой.

Ночной бред продолжался, но страдание унялось. Он не испытывал ни малейшей усталости. Одержимый навязчивой идеей, он действовал спокойно и методично, словно сомнамбула.

Он раздумывал, рассуждал, но разум его бездействовал.

Дома он тщательнейшим образом оделся, как в те дни, когда собирался в гости к маркизе д'Арланж, и вышел. Сперва он заглянул к оружейнику и купил маленький револьвер, который по его просьбе тут же зарядили. Сунув револьвер в карман, он отправился навещать тех знакомых, которые, по его мнению, могли знать, в каком клубе состоит виконт. Он разговаривал и держался настолько естественно, что никто не заметил, в каком странном состоянии духа он находится.

И только под вечер один его молодой приятель назвал ему клуб, который посещает г-н де Коммарен-сын, и, будучи сам членом этого клуба, предложил г-ну Дабюрону сводить его туда.

Юрист пылко поблагодарил друга и принял приглашение.

По дороге он иступленно сжимал в кармане рукоять револьвера. Думал он только об убийстве, которое собирался совершить, да о том, как бы не промахнуться.

«Поднимется чудовищный шум,— хладнокровно размышлял он,— особенно если мне не удастся сразу пустить себе пулю в лоб. Меня арестуют, посадят в тюрьму, будут судить. Пропало мое доброе имя! Ах, не все ли равно: раз Клер меня не любит, какое мне дело до прочего? Отец умрет от горя, знаю, но мне нужно отомстить».

В клубе приятель показал ему молодого черноволосого человека, который читал журнал, облокотясь на стол; г-ну Дабюрону показалось, что у него высокомерный вид.

Это был виконт.

Г-н Дабюрон, не вынимая револьвера, пошел прямо на него, но когда тот был уже в двух шагах от виконта, решимость изменила ему. Он резко повернулся и бросился прочь, оставив приятеля в глубоком недоумении относительно сцены, которую он не в силах был истолковать.

Никогда еще за всю свою жизнь г-н Альбер де Коммарен не был так близок к смерти, как в тот день.

Выйдя на улицу, г-н Дабюрон почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Перед глазами все поплыло. Он хотел крикнуть, но не мог. Судорожно взмахнув руками, он покачнулся и грузно осел на тротуар.

Сбежались люди, помогли полицейскому его поднять.

В кармане у него нашли адрес и доставили его домой.

Придя в сознание, он обнаружил, что лежит в постели, а в ногах у него стоит отец.

— Что со мной было?

Ему со множеством предосторожностей рассказали, что полтора месяца он был между жизнью и смертью. Теперь врачи считают, что он спасен. Он уже начал поправляться, ему лучше.

Пятиминутный разговор изнурил его. Он закрыл глаза и попытался собраться с мыслями, которые метались в беспорядке, как осенняя листва, подхваченная ветром. Прошрое, казалось, тонуло в непроглядном тумане, но все, что касалось мадемуазель д'Арланж, виделось ему четко и ярко. Все, что он делал после того, как поцеловал Клер, стояло у него перед глазами, словно на залитой светом картине. Он вздрогнул, его бросило в пот.

Он едва не стал убийцей!

Но он уже в самом деле поправлялся, и умственные его способности восстановились; поэтому его мыслями завладел один вопрос уголовного права.

«Если бы я совершил убийство,— рассуждал он,— осудили бы меня? Да. Но был бы я на самом деле ответствен за свое преступление? Нет. Не есть ли преступление форма умственного расстройтва? Что со мной было? Безумие? То особое состояние, которое должно предшествовать покушению на человеческую жизнь? Сможет ли кто-нибудь мне на это ответить? Почему не дано каждому судье перенести подобный необъяснимый приступ? Но расскажи я о том, что со мной было, разве мне поверят?»

Несколько дней спустя, немного окрепнув, он во всем открылся отцу, который пожал плечами и стал убеждать, что все это ему привиделось в бреду.

Дабюрон-отец был человек добрый, история печальной любви сына растрогала его, но никакой непоправимой беды он в этом не усмотрел. Он посоветовал сыну вести более рассеянный образ жизни, заверил, что тот волен распоряжаться всем его состоянием, и, главное, принялся уговаривать его жениться на какой-нибудь богатой наследнице из Пуату, доброй, веселой и здоровой, которая подарит ему прекрасных детей. Затем он отбыл в провинцию, поскольку имение страдало без его присмотра.

Через два месяца судебный следователь вернулся к прежнему времяпрепровождению и трудам. Но прошлого не вернуть: что-то в нем надломилось, он это чувствовал и ничего не мог с собой поделать.

Однажды ему захотелось повидать свою старую приятельницу маркизу. Увидев его, она испустила вопль ужаса: он так изменился, что она приняла его за привидение.

Поскольку мрачные лица внушали ей отвращение, она поспешила его спровадить.

Клер неделю была больна после того, как повидала г-на Дабюрона.

«Как он любил меня! — думала она. — Ведь он чуть не умер. Способен ли Альбер так любить?»

Она не решалась ответить на этот вопрос. Ей хотелось утешить г-на Дабюрона, поговорить с ним, попытаться ему помочь. Но он больше не приходил.

Однако г-н Дабюрон был не из тех, кто сдается без борьбы. Он решил, следуя совету отца, вести рассеянный образ жизни. Устремившись на поиски радостей, он обрел отвращение, но ни о чем не забыл.

Порой он был близок к тому, чтобы удариться в самый настоящий разгул, но всякий раз небесный образ Клер в белом платье преграждал ему дорогу.

Тогда он стал искать забвения в работе. Он обрек себя на каторжный труд, запрещая себе думать о Клер, подобно тому, как чахоточный запрещает себе думать о своем недуге. Его усердие и лихорадочная деятельность стяжали ему репутацию честолобца, который далеко пойдет. Ничто в мире его не задевало.

Со временем к нему пришло если не спокойствие, то оупение, наступающее вслед за непоправимыми катастрофами. Он начал забывать, начал исцеляться.

Обо всех этих событиях напомнило г-ну Дабюруну имя Коммарена, произнесенное папашей Табаре. Следовательно думал, что события эти погребены под пеплом времени, но вот они снова предстали ему, подобно буквам, написанным симпатическими чернилами, которые проступают, если поднести бумагу к огню. В одно мгновение эти события развернулись с волшебной быстротой перед его взором, словно во сне, для которого ни время, ни пространство не существуют.

Несколько минут он, словно раздвоившись, смотрел со стороны на собственную жизнь. Он был одновременно и актер, и зритель, он был у себя дома, в своем кресле, но в то же время и на подмостках; он играл роль и оценивал себя в этой роли.

Первым его ощущением, надо признаться, было ощущение ненависти, вслед за которым пришло отвратительное чувство удовлетворения. Волей случая у него

в руках оказался человек, которого предпочла Клер. И человек этот уже не надменный вольможа, обладатель огромного состояния и потомок прославленных предков, а незаконнорожденный, сын доступной женщины. Чтобы сохранить за собой украденное имя, он совершил самое подлое преступление на свете. И г-ну Дабюрону, судебному следователю, невыразимо сладко было представлять себе, как он поразит своего недруга мечом правосудия.

Но длилось это всего одно мгновение. Тут же восстала и властно заговорила совесть этого порядочнейшего человека.

Что может быть чудовищней соединения двух несовместимых понятий — ненависти и правосудия! Может ли юрист сознавать, что преступник, чья судьба находится в его руках, был его врагом, и не испытывать к себе более жгучего презрения, чем к самым бесчестным из подсудимых? Имеет ли право судебный следователь употреблять свою чудовищную власть против обвиняемого, питая к нему в глубине души хоть каплю неприязни?

Г-н Дабюрон снова повторил себе то, с чего весь последний год начинал каждое расследование: «Я и сам едва не запятнал себя страшным злодейством».

И вот теперь ему предстояло отдать приказ об аресте, а потом допрашивать и предать суду человека, которого он в свое время твердо намерен был убить.

Разумеется, никто не знал об этом преступлении, которое так и осталось замыслом, намерением, но мог ли он сам об этом забыть? И разве не следовало ему уклониться от этого дела, отойти в сторону? Разве не его долг — отстраниться и умыть руки, предоставив кому-нибудь другому обязанность отомстить за него именем общества?

— Нет! — произнес он. — Это было бы трусостью, это было бы недостойно меня.

Тут на ум ему пришла мысль, исполненная безумного великодушия.

— Что, если я его спасу? — пробормотал следователь. — Что, если ради Клер я сохраню ему жизнь и честное имя? Но как его спасти? Для этого надо не дать ходу сведениям, обнаруженным папашей Табаре, и вовлечь его в заговор молчания. Тогда придется добровольно пойти по ложному пути и вместе с Жевролем устремиться на поиски воображаемого убийцы. Осуществимо ли это? Вдобавок выгородить Альбера — значит развеять надежды Ноэля; это значит оставить безнаказанным гнуснейшее из предательств. И наконец, это означает

вновь принести правосудие в жертву собственной страсти.

Следователь терзался. Легко ли принять решение, когда все так запутано, когда тебя раздирают противоречивые желания?

Он растерянно метался между взаимоисключающими намерениями, бросаясь из крайности в крайность.

Что делать? Испытав новое неожиданное потрясение, рассудок его тщетно искал точку опоры.

«Отступить? — размышлял следователь. — Это было бы малодушием. Я всегда должен оставаться представителем закона, недоступным ни страстям, ни лицеприятию. Неужели я настолько слаб, что, надевая мантию, не могу отбросить все личные предубеждения? Неужели не в силах, сосредоточившись на настоящем, отстранить от себя минувшее? Мой долг — расследовать преступление. Сама Клер велела бы мне следовать долгу. Да и захочет ли она принадлежать человеку, запятнанному подозрением? Ни за что. Если он невиновен, его ждет оправдание; если виновен — смерть».

Ход его мыслей, казалось, был безупречен, но в глубине души он терзался тысячью сомнений, жаливших, как шипы. Ему необходимо было чем-то подкрепить свое решение.

«Неужели я еще питаю ненависть к этому человеку? — думал он. — Нет, конечно, нет. Клер предпочла его мне, он меня даже не знает, значит, я должен винить не его, а ее. Моя ярость была просто-напросто приступом безумия. И я докажу это. Я хочу, чтобы во мне он нашел не столько судебного следователя, сколько советчика. Если он невиновен, я помогу ему воспользоваться для доказательства своей правоты всем арсеналом средств и всем превосходным полицейским механизмом, который находится в распоряжении прокуратуры. Да, я вправе заниматься этим делом: богу, который читает в глубине наших душ, ведомо, что любовь моя к Клер так велика, что я искренне, от всего сердца желаю ее возлюбленному оказаться невиновным».

И только тут г-н Дабюрон очнулся и понял, что прошло уже немало времени.

Было уже около трех часов ночи.

— О боже! — воскликнул он. — Папаша Табаре заждался. Наверно, он заснул.

Но папаша Табаре не спал и, подобно г-ну Дабюруну, не замечал, как бежит время.

Ему хватило десяти минут, чтобы составить в уме

опись всего, что было в кабинете г-на Дабюрона, просторном и обставленном дорогой, но строгой мебелью соответственно состоянию и общественному положению хозяина. Вооружившись канделябром, он подошел к шести картинам кисти первоклассных мастеров, оживлявшим наготу деревянных панелей, и оценил прекрасную живопись. С любопытством осмотрел он и несколько бронзовых статуэток на камине и на столике с гнутыми ножками, с видом знатока исследовал книжный шкаф.

Затем, взяв со стола вечернюю газету, он опустился в глубокое кресло у камина.

Не успел он пробежать и треть передовой статьи, которая, как все тогдашние передовые парижских газет, была посвящена исключительно римскому вопросу¹, как выпустил листы из рук и погрузился в размышления. Навязчивая идея, не контролируемая волей, интересовавшая его куда больше политики, неодолимо влекла его в Ла-Жоншер, к трупам вдовы Леруж. Подобно человеку, который тысячи раз раскладывает пасьянс и вновь перемешивает карты, он выстраивал и вновь разрушал цепь своих рассуждений.

Да, в этом печальном деле для него все ясно. Он полагал, что ему известно все, с начала до конца. Он уже знал, как действовать, и был уверен, что г-н Дабюрон разделяет его точку зрения. И все же сколько еще трудностей впереди!

Ведь между судебным следователем и обвиняемым стоит высший суд, замечательное учреждение, которое служит всем нам порукой и призвано умерять суровость власти,— суд присяжных.

А этот суд, слава богу, не довольствуется логическими умозаключениями. Любые, самые убедительные построения, как бы они ни поразили и ни потрясли присяжных, не заставят их вынести вердикт: «Да, виновен». Присяжные находятся на нейтральной полосе между обвинением, которое выдвигает свои аргументы, и защитой, которая гнет свою линию, и они требуют вещественных доказательств, настаивают на таких уликах, которые можно

¹ В 1866 г., когда писался этот роман, французские войска, поддерживавшие папское правительство, принуждены были оставить Рим; в 1867 году Гарибальди пытался освободить город, но был разбит при Ментоне вернувшимися французами, и только в 1870 г., когда французы окончательно покинули Италию, Рим был взят итальянцами и объявлен столицей объединившейся Италии.

было бы потрогать. Там, где юристы с легким сердцем вынесли бы обвинительный приговор, суд присяжных предпочитает оправдать обвиняемого, чтобы не взять греха на душу, поскольку очевидных улик все-таки нет.

Печально известная казнь Лезюрка¹ повлекла за собой наверняка не одно преступление, оставшееся безнаказанным, и следует признаться, в этом есть своя логика.

В сущности, если не считать случаев, когда преступника застали на месте преступления или когда он сам сознался в содеянном, для прокуратуры каждое преступление оказывается более или менее загадочным. Иногда сомнения, которые не удалось рассеять в ходе следствия, так беспокоят прокуратуру, что она сама о них предупреждает. Почти во всех тяжких преступлениях для правосудия и для полиции остается нечто таинственное, непостижимое. Талант адвоката в том и состоит, чтобы нащупать это «нечто» и сосредоточить на нем свои усилия. Пользуясь этой неясностью, он разжигает сомнения. Какой-нибудь спорный эпизод, умело поданный на судебном заседании, может в последний момент изменить весь ход процесса. Этой неуверенностью в исходе дела и объясняется ожесточенный характер, какой принимают подчас судебные прения.

И чем выше уровень развития общества, тем нерешительнее и боязливее ведут себя присяжные, особенно в сложных случаях. Они несут бремя ответственности со все возрастающей тревогой. Многие из них уже вообще не хотят выносить смертные приговоры. А если все же приходится, то они пытаются так или иначе снять со своей совести этот груз. Недавно присяжные подписали ходатайство о помиловании, а о ком они хлопотали? Об отцеубийце. Любой присяжный, удаляясь на совещание, думает не столько о том, что он сейчас услышал, сколько о том, что ему самому грозит всю жизнь терзаться угрызениями совести. И многие из них предпочтут отпустить на свободу три десятка злодеев, лишь бы не осудить одного невиновного.

Поэтому обвинение должно располагать полным набором улик и выступать перед присяжными, так сказать, во всеоружии. А выковать оружие, добыть улики — задача судебного следователя. Дело это тонкое, подчас весьма долгое и трудное.

Если обвиняемый сохраняет хладнокровие и уверен,

¹ Лезюрк Жан (1763—1796) был осужден и казнен по обвинению в убийстве почтальона. Впоследствии была доказана его невиновность.

что не оставил следов на месте преступления, то, сидя в тюрьме, в одиночной камере, он бросает вызов всем ухищрениям следствия. Это жестокая борьба, которая тем ужаснее, что человек, запертый в камере, лишенный поддержки и защиты, может ведь оказаться и невиновным. Сумеет ли судебный следователь остаться глух к доводам внутреннего голоса?

Нередко правосудию приходится признать себя побежденным. Оно уверено, что нашло преступника: на него указывает логика, здравый смысл, но от судебного преследования приходится отказаться за неимением улик.

К сожалению, многие тяжкие преступления остаются безнаказанными. Некий бывший товарищ прокурора однажды признался, что он лично знал трех убийц — богатых, счастливых, уважаемых людей, которые, за отсутствием неопровержимых улик, скончались в своей постели, окруженные родными, и были преданы земле со всеми почестями, а могилы их украшены высокопарными эпитафиями.

При мысли о том, что убийца может уйти от наказания, у папаша Табаре кровь вскипала в жилах, словно при воспоминании о тяжком оскорблении. Такое безобразие, по его мнению, возможно лишь из-за глупости должностных лиц, причастных к расследованию, бестолковости полицейских и бездарности или попустительства судебного следователя.

— Уж я-то не упущу добычу, — самодовольно бормотал он. — Нет такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть, разве что преступник — сумасшедший, чьи поступки не поддаются логическому анализу. Я готов искать виновного всю жизнь, я готов свернуть себе на этом шею, но никогда не признаю себя побежденным, как это столько раз бывало с Жевролем.

Благодаря счастливому случаю на сей раз папаша Табаре вновь преуспел. Но какие доказательства представить следствию и проклятому суду присяжных, этим дотошным и трусливым крючкотворам? Что придумать, чтобы заставить раскрыться этого энергичного человека, который держится начеку и надежно защищен как своим высоким положением, так и мерами предосторожности, которые он наверняка принял? Какую западню ему приготовить, к какой новой и надежной военной хитрости прибегнуть?

Добровольный сыщик ломал себе голову, изобретая хитроумные, но неосуществимые уловки, и всякий раз его останавливали соображения этой чертовой законности, чи-

нящей такие препоны доблестным рыцарям с Иерусалимской улицы.

Он так углубился в свои построения, то весьма изобретательные, то несколько неуклюжие, что не слышал, как отворилась дверь в кабинет, и совершенно не заметил появления судебного следователя.

Из задумчивости его вывел голос г-на Дабюрона, который взволнованно произнес:

— Простите меня, господин Табаре, что я так долго заставил вас ждать.

Папаша Табаре вскочил и согнулся в почтительном поклоне не меньше чем на сорок пять градусов.

— Право, сударь,— отвечал он,— я и не заметил, что жду.

Г-н Дабюрон пересек комнату и уселся напротив полицейского, перед круглым столиком, на котором лежали бумаги и документы, имевшие отношение к убийству. Он выглядел крайне утомленным.

— Я много размышлял над этим делом...— начал он.

— Я тоже,— перебил папаша Табаре.— Когда вы вошли, сударь, я с тревогой думал, как поведет себя при аресте виконт де Коммарен. На мой взгляд, это главное. Вспылит? Попытается нагнать страху на полицейских, пригрозит вышвырнуть их за дверь? Такова обычная тактика преступников из хорошего общества. Но мне кажется, он будет держаться холодно и невозмутимо. Преступление всегда вытекает из характера преступника. Вот увидите, этот человек продемонстрирует нам изумительное самообладание. Скажет, что явно стал жертвой недоразумения. Будет настаивать на скорейшем свидании с судебным следователем — тогда, мол, все сразу разъяснится.

Папаша Табаре высказывал свои предположения с такой незыблемой уверенностью, таким непререкаемым тоном, что г-н Дабюрон не удержался от улыбки.

— До этого еще дело не дошло,— заметил он.

— Не дошло, так дойдет через несколько часов,— живо возразил сыщик.— Полагаю, что, как только рассветет, господин судебный следователь выдаст ордер на арест виконта де Коммарена.

Следователь содрогнулся, словно больной, который видит, как хирург, войдя к нему в комнату, раскладывает на столике свои инструменты.

Настало время действовать. Ему открылось неизмеримое расстояние, отделяющее мысль от поступка, решение от его исполнения.

— Вы слишком спешите, господин Табаре,— произнес он.— Вы не представляете себе, какие препятствия стоят перед нами.

— Но ведь он убил! Скажите, господин следователь, кто, как не он, мог совершить это убийство? Кому было выгодно уничтожить вдову Леруж, ее свидетельства, бумаги, письма? Ему, только ему. Мой Нозль, такой же глупец, как все порядочные люди, предупредил его, вот он и принял меры. Если его вина не будет доказана, он так и останется Коммареном, а моему адвокату до гроба придется носить имя Жерди.

— Да, но...

Папаша Табаре изумленно уставился на следователя.

— Господин следователь усматривает какие-то трудности? — спросил он.

— Еще бы! — отвечал г-н Дабюрон.— Это дело из тех, которые требуют предельной осмотрительности. В случаях, подобных нашему, удары следует наносить только наверняка, а мы располагаем лишь предположениями... Да, разумеется, весьма убедительными, но все же предположениями. А вдруг мы заблуждаемся? К сожалению, правосудие никогда не может полностью исправить свою ошибку. Длань его, несправедливо опустившись на невинного, оставляет на нем несмываемое клеймо. И пускай правосудие признает, что оно заблуждалось, пускай оно объявит об этом во всеулышание — тщетно. Бессмысленное, тупое общественное мнение не простит человека, который подозревался в убийстве.

Папаша Табаре выслушивал эти рассуждения, выпуская тяжкие вздохи. Его-то не остановили бы столь ничтожные доводы.

— Наши подозрения имеют под собой почву,— продолжал следователь,— я в этом убежден. Но что, если они несправедливы? Тогда наша поспешность обернется для этого молодого человека ужасным несчастьем. Вдобавок огласка, скандал! Подумали вы об этом? Вы не представляете себе, какой урон подобный промах может нанести правосудию, а ведь его сила зиждется на всеобщем к нему уважении. Ошибка вызовет разговоры, привлечет всеобщее пристальное внимание и возбудит недоверие к нам, и это в наши-то времена, когда все умы и так слишком предубеждены против законной власти.

И, облокотясь на столик, г-н Дабюрон, казалось, ушел в размышления.

«Вот не везет,— думал папаша Табаре.— Я нарвался

на труса. Надо действовать, а он болтает. Надо подписать постановление, а он теории разводит. Мое открытие его оглушило, и он испугался. Я-то думал, когда бежал к нему, что он будет в восторге. Ничуть не бывало. Он с удовольствием выложил бы луидор из собственного кармана, лишь бы сделать так, чтобы меня не привлекали к этому делу: тогда бы он ничего не знал и спокойно спал в неведении. И так всегда: всем им хочется, чтобы к ним в сети угодила косяк мелкой рыбешки, а крупной рыбы им и даром не надо. Крупные рыбы опасны, их лучше выпустить на волю».

— Быть может,— вслух произнес г-н Дабюрон,— быть может, довольно будет постановления на обыск и вызова в суд?

— Тогда все пропало! — вскричал папаша Табаре.

— Почему же?

— Ах, господин следователь, вы, наверно, понимаете это лучше, чем я, жалкий старик. Мы имеем дело с самым что ни на есть хитроумным и тонким предумышленным убийством. Счастливая случайность навела нас на след преступника. Если мы дадим ему время опомниться, он от нас ускользнет.

Вместо ответа следователь кивнул головой, что можно было истолковать как согласие.

— Каждому ясно,— продолжал папаша Табаре,— что наш противник человек незаурядной силы, поразительного хладнокровия, изумительной ловкости. Этот негодяй несомненно все предусмотрел, абсолютно все, вплоть до совершенно невероятной возможности, что на него падет подозрение. Уж он-то обо всем позаботился. Если вы, господин следователь, ограничитесь повесткой в суд, негодяй спасен. Он предстанет перед судом, как ни в чем не бывало, невозмутимый, словно речь пойдет о дуэли. Он запасется таким надежным алиби, что не подкопаешься. Докажет, что провел вечер и ночь с вторника на среду в обществе самых высокопоставленных лиц. Выяснится, что обедал он с графом таким-то, играл в карты с маркизом имярек, ужинал с герцогом как-бишь-его; причем баронесса такая и виконтесса всякая глаз с него не сводили... И все будет сыграно как по нотам и рассчитано с такой точностью, что нам придется распахнуть перед ним двери, да еще с извинениями провожать его по лестнице. Победить его можно только одним способом: застигнуть врасплох, чтобы он не успел опомниться и приготовиться. Надо упасть как снег на голову, застать его спящим, увести прежде, чем он опомнится, и сразу же допросить, еще тепленького. Это единственный способ пролить

свет на преступление. Эх, стать бы мне на один денек судебным следователем!

Папаша Табаре осекся, опасаясь, не проявил ли он неуважения к следователю. Но г-н Дабюрон, казалось, несколько не обиделся.

— Продолжайте,— поощрительно произнес он,— продолжайте.

— Допустим,— подхватил старый сыщик,— я стал судебным следователем. Я посылаю арестовать этого типа, и через двадцать минут он уже у меня в кабинете. Я не стану терять время, предлагая ему всякие вопросы с подвохом. Нет, я пойду напролом. Прежде всего, обрушу на него всю тяжесть своей уверенности. Изрядный груз! Я докажу ему, что знаю все, докажу с такой ясностью, очевидностью, так непреложно, что он сдастся — ему просто ничего больше не останется. И допрашивать я его не стану. Не дам ему и рта раскрыть, а заговорю первый. И вот что я ему скажу. Вы, любезнейший, представляете мне алиби? Превосходно! Но мы это средство знаем, имели с ним дело. Испытанный прием! Время смотрят по часам, которые спешат или отстают. Ладно, согласен, сотня человек не спускала с вас глаз. А вы между тем действовали вот как: в восемь часов двадцать минут вы ловко исчезли. В восемь тридцать пять сели в поезд на вокзале Сен-Лазар. В девять вышли из вагона на вокзале в Рюэйле и пошли по дороге, ведущей в Ла-Жоншер. В девять пятнадцать постучались в окошко вдовы Леруж, она вам отворила, и вы попросили у нее поесть и, главное, выпить. В девять двадцать пять вы вонзили ей между лопаток остро заточенный кусок клинка, перевернули весь дом вверх дном и сожгли некие бумаги, сами знаете какие. Затем, завернув все ценности в салфетку и прихватив ее с собой, чтобы создать видимость ограбления, вы вышли и заперли дверь на два оборота.

Дойдя до Сены, вы бросили узелок в воду, пешком вернулись на станцию и в одиннадцать часов преспокойно уехали. Все прошло как по маслу. Вы не учли только двух противников: хитреца сыщика по прозвищу Загоню-в-угол и другого, еще более опасного, имя которому — случай. Эти-то двое вас и погубили. Вдобавок вы совершили промах, оставшись в чересчур изящных ботинках, в жемчужно-серых перчатках и не избавившись от шелкового цилиндра и зонтика. А теперь сознавайтесь, так будет быстрее, а я разрешу вам дымить в тюрьме вашими любимыми превосходными сигарами, которые вы всегда курите с янтарным мундштуком».

Папашей Табаре овладело такое вдохновение, что, ка-

залось, он вырос дюйма на два. Он взглянул на следователя, словно ожидая увидеть у него на лице одобрительную улыбку.

— Вот так я ему и сказал бы,— продолжал он, переводя дыхание.— И если только этот человек не окажется в тысячу раз сильнее, чем я думаю, если только он не из бронзы, не из мрамора, не из стали, я повергну его во прах и добьюсь признания.

— А если он окажется из бронзы? Если не повергнется во прах? Что вы будете делать?

Этот вопрос явно озадачил полицейского.

— Проклятие! — пробормотал он.— Ну, не знаю... Посмотрю, подумаю... Да нет, он признается!

После изрядно затянувшегося молчания г-н Дабюрон взял перо и поспешно черкнул несколько строк.

— Сдаюсь,— произнес он.— Решено, господин Альбер де Коммарен будет арестован. Но понадобится время на всякие формальности, на обыск, да и мне тоже необходимо кое-что сделать. Я хотел бы прежде допросить его отца, графа де Коммарена, и этого молодого адвоката, вашего друга, господина Ноэля Жерди. Мне нужны письма, которыми он располагает.

При имени Жерди лицо папаши Табаре омрачилось и на нем обозначилось выражение комичнейшего беспокойства.

— Черт бы меня побрал! — воскликнул он.— Этого-то я и боялся.

— Чего же? — удивился г-н Дабюрон.

— Что вам понадобятся письма Ноэля. Естественно, он узнает, кто навел полицию на след преступника. Хорошо же я буду выглядеть! Разумеется, его права будут признаны благодаря мне, не правда ли? Как по-вашему, будет он мне благодарен? Да ничуть не бывало! Он проникнется ко мне презрением! Он станет меня избегать, едва узнает, что господин Табаре, раитье, и сыщик Загоню-в-угол — одно и то же лицо. Слаб человек! Через неделю мои ближайшие друзья перестанут подавать мне руку. Как будто это не великая честь — служить правосудию!.. Придется мне переехать в другой квартал, сменить имя...

Огорчение его было так велико, что он чуть не плакал. Г-н Дабюрон был тронут.

— Успокойтесь, дорогой господин Табаре,— произнес он.— Лгать я не стану, но поведу дело так, чтобы ваш любимец, ваш приемный сын ничего не узнал. Я дам ему

понять, что на его след меня навели бумаги, найденные в доме вдовы Леруж.

Окрыленный папаша Табаре схватил руку следователя и поднес ее к губам.

— Ах, благодарю вас, сударь,— вскричал он,— тысячу раз благодарю! Вы так великодушны, вы... А я-то недавно еще... Но довольно! Если позволите, я буду присутствовать при аресте; хотелось бы принять участие в обыске.

— Я и сам думал вас об этом просить, господин Табаре,— отвечал следователь.

Лампы чадили, свет их потускнел, крыши домов побелели. Занимался день. Вдали уже слышался шум утренних повозок. Париж просыпался.

— Раз мы решили действовать,— заметил г-н Дабюрон,— нельзя терять ни минуты. Сейчас я должен повидаться с императорским прокурором, даже если ради этого мне придется поднять его с постели. От него поеду прямо во Дворец правосудия. Я буду там к восьми часам. Приезжайте туда к этому же времени, господин Табаре, и ждите моих распоряжений.

Сыщик поблагодарил и стал прощаться. Но тут вошел слуга г-на Дабюрона.

— Этот пакет, сударь,— сказал он хозяину,— доставил только что буживальский жандарм. Он ждет ответа в прихожей.

— Превосходно,— отвечал следователь.— Узнайте у него, не нужно ли ему чего, да угостите стаканом вина.— С этими словами он вскрыл пакет и воскликнул:

— Глядите-ка, письмо от Жевроля!

Письмо гласило:

«Господин судебный следователь!

Имею честь уведомить вас, что напал на след человека с серьгами. Узнал я о нем у хозяина винной лавки, где zasiживают местные пьянчуги. В воскресенье утром, выйдя от вдовы Леруж, в эту лавку заглянул человек, которого мы ищем. Сначала он взял две литровые бутылки вина и расплатился. Потом хлопнул себя по лбу и сказал: «Ну и болван! Совсем забыл, что завтра именины корабля». И тут же купил еще три бутылки. Я справился в календаре, корабль называется «Сен-Марен». Еще я выяснил, что он гружен зерном. Одновременно с этим письмом пишу в префектуру, чтобы в Париже и Руане были предприняты поиски. Они наверняка принесут плоды.

Примите, милостивый государь...»

— Бедняга Жевроль! — воскликнул папаша Табаре, разразившись хохотом. — Он точит саблю, а сражение уже выиграно. Не хотите ли, господин следователь, положить конец его поискам?

— Ни в коем случае! — отвечал г-н Дабюрон. — Пренебрежение к мелочам нередко оборачивается непоправимой ошибкой. Кто может знать, какие новые сведения сообщит нам этот человек?

VI

В тот же самый день, когда было обнаружено преступление в Ла-Жоншер, в тот самый час, когда папаша Табаре проводил осмотр комнаты убитой, виконт Альбер де Коммарен сажился в экипаж — он ехал на Северный вокзал встречать отца.

Виконт был страшно бледен. Обострившиеся черты лица, мрачный взгляд, бескровные губы свидетельствовали либо о невыносимой усталости, либо о чрезмерных излишествах в наслаждениях, либо о безумной тревоге.

Впрочем, в особняке вся прислуга обратила внимание, что вот уже пять дней, как молодой хозяин совершенно переменялся. Разговаривал он через силу, почти ничего не ел и настрого запретил входить к нему.

Камердинер виконта заметил, что эта перемена, слишком стремительная, чтобы не бросаться в глаза, произошла утром в воскресенье после визита некоего сьера Жерди, адвоката, проводшего в библиотеке почти три часа.

Виконт, до прихода этого человека веселый, как скворец, после его ухода стал бледнее смерти, и эта чудовищная бледность больше не сходила с его лица.

Отправляясь на вокзал, он, казалось, и передвигался-то с трудом, по каковой причине Любен, камердинер, упорно уговаривал его не выходить из дому. Выйти на холод — это же страшная неосторожность. Гораздо разумнее лечь в постель и выпить чашечку липового отвара.

Но граф де Коммарен крайне ревностно относился к внешним проявлениям сыновнего долга. Этот человек скорей простил бы сыну самые невероятные безрассудства, самую гнусную распущенность, нежели то, что он именовал непочтительностью. О своем прибытии он оповестил за сутки телеграммой, которая должна была поднять по тревоге всех обитателей особняка, и отсутствие Альбера на вокзале

возмутило бы его сильнее, чем самое непристойное оскорбление.

Минут пять виконт прохаживался по залу ожидания, наконец колокол возвестил о прибытии поезда. Двери, выходящие на перрон, распахнулись, и через них потоком пошли пассажиры.

Как только суতোлка чуть уменьшилась, появился граф в сопровождении слуги, который нес огромную дорожную шубу из дорогого меха.

Граф де Коммарен выглядел лет на десять моложе своего возраста. В бороде и все еще густых волосах лишь кое-где поблескивала седина. Был он высок и сух, ходил, ни капли не горбясь, высоко неся голову, но в нем не было ничего от той неприятной британской чопорности, которой так завистливо восхищаются наши юные «джентльмены». У него была благородная осанка и легкая поступь. Такие сильные и очень красивые руки бывают только у человека, чьи предки в течение веков привыкли орудовать шпагой. Тот, кто стал бы изучать правильное лицо графа, обнаружил бы в нем странный контраст: черты его дышали добродушием, на устах играла улыбка, но светлые глаза пылали яростной гордыней.

Этот контраст объяснял тайну его натуры.

Столь же нетерпимый, как маркиза д'Арланж, граф шел в ногу с веком или по крайней мере делал вид, будто идет в ногу.

Так же как маркиза, он презирал всех, кто не был дворянского рода, только презрение свое выражал по-другому. Маркиза демонстрировала пренебрежение надменно и грубо, граф прикрывал его утонченной, прямо-таки чрезмерной и унижающей вежливостью. Маркиза с радостью бы «тыкала» своим поставщикам. А вот в доме графа его архитектор как-то уронил зонтик, и граф поспешно кинулся его поднимать.

Старая маркиза прожила жизнь с завязанными глазами, с заткнутыми ушами, у графа же в этом смысле было отличное зрение, и видел он очень хорошо, притом обладал не менее тонким слухом. Она была глупа и совершенно лишена здравого смысла; он был умен, имел, можно сказать, широкие взгляды и определенные идеи. Она мечтала о возврате своих несуразных прав, о реставрации монархических нелепостей, полагая, что время можно прокрутить назад, как стрелки часов; он стремился к практическим целям, например, к власти, и был искренне убежден, что его партия еще сможет вновь захватить и сохранить

ее, а затем медленно, незаметно, но окончательно восстановить все утраченные привилегии.

Но, в общем-то, они поладили бы друг с другом.

Иначе говоря, граф являл собой приукрашенный портрет определенной части общества, маркиза была карикатурой на нее.

Следует добавить, что при общении с равными себе г-н де Коммарен избавлялся от своей уничижительной вежливости. Именно тогда проявлялся его подлинный характер — надменный, упрямый, неуступчивый; на любое противоречие граф реагировал, как племенной жеребец на укус слепня.

Дома он был суший деспот.

Увидев отца, Альбер поспешил к нему. Они обменялись рукопожатиями, поцеловались с видом столь же благородным, сколь и церемонным, а потом с минуту еще обменивались приветствиями и банальными фразами касательно поездки и возвращения.

И похоже, только после этого г-н де Коммарен заметил, какая разительная перемена произошла в облике его сына.

— Виконт, вы больны? — поинтересовался он.

— Нет, — лаконично ответил Альбер.

Граф произнес: «А!» — и дернул головой; это движение, ставшее у него чем-то вроде тика, выражало крайнюю степень недоверия. После этого он повернулся к своему слуге и отдал несколько коротких распоряжений.

— А теперь, — вновь обратился он к сыну, — едем скорей в особняк. Мне не терпится почувствовать себя дома, да и поел бы я с удовольствием. У меня сегодня во рту ни крошки не было, если не считать чашки отвратительного бульона в каком-то буфете.

Граф де Коммарен приехал в Париж в убийственном настроении. Поездка в Австрию не принесла тех результатов, на какие он надеялся.

Ко всему прочему он навел по дороге одного из своих старинных друзей и имел с ним такой жаркий спор, что они расстались, не подав друг другу руки.

Отец и сын уселись в карету, лошади взяли в галоп, и граф тут же обратился к теме, не дававшей ему покоя.

— Я порвал с герцогом де Сермезом, — сообщил он Альберу.

— Мне кажется, — отвечал Альбер без малейшего намека на насмешку, — это происходит всякий раз, стоит вам побыть вместе больше часа.

— Верно, но на сей раз это окончательно. Я прожил у него четыре дня в состоянии крайнего раздражения. Отныне я перестал его уважать. Вы представляете, виконт, Сермез продает Гондрези, едва ли не лучшие свои земли на севере Франции. Он сводит лес, выставляет на продажу с торгов замок, в котором живет. Обитель принцев станет сахарным заводом! Он все превращает в деньги, чтобы увеличить, как он заявляет, свой доход, чтобы купить ренту, акции, облигации.

— И это причина вашего разрыва? — спросил не слишком удивленный Альбер.

— Разумеется. По-вашему, она неосновательна?

— Но вы же знаете, у герцога большая семья, и он далеко не богат.

— Ну и что из того? — прервал его граф. — Какое это имеет значение? Другие во всем ограничивают себя, живут на своей земле тем, что она приносит, ходят всю зиму в сабо, дают образование только старшему сыну, но землю не продают. Друзья должны говорить друг другу правду, даже если она горькая. Я высказал Сермезу все, что думаю. Дворянин, продающий родовые земли, совершает гнусность, он предает свою партию.

Альбер попытался возразить.

— Я сказал «предает», — с горячностью продолжал граф, — и стою на этом слове. Запомните навсегда, виконт: власть принадлежала, принадлежит и всегда будет принадлежать тем, кто владеет собственностью, в первую очередь, землей. Люди девяносто третьего года прекрасно понимали это. Разорив дворянство, они разрушили его престиж гораздо надежнее, нежели отменой титулов. Принц, который ходит пешком и не имеет лакеев, такой же человек, как все. Министр Июльской монархии, сказавший буржуа: «Обогащайтесь!»¹ — был не дурак. Он дал им магическую формулу власти. Буржуа не поняли его, им захотелось скорого богатства, и они ударились в спекуляции. Сейчас они богаты. Но в чем оно, их богатство? В биржевых ценностях, в содержимом бумажников, в акциях, одним словом, в бумажках.

В своих несгораемых шкафах они хранят дым, видимость. Они предпочитают движимость, так как она приносит почти восемь процентов, виноградникам и лесам,

¹ Лозунг Франсуа Гизо (1787—1874), который он выдвинул в речи в 1843 г.

которые не дают даже трех. А вот крестьянин не так глуп. Чуть только у него появляется клочок земли величиной с носовой платок, как ему уже хочется со скатерть, а потом с простыню. Крестьянин медлителен, как вол, которого он запрягает в телегу, но у крестьянина есть цепкость, неторопливая энергия, упорство. Он идет напрямик к цели, стойко влачит ярмо, и ничто его не остановит, не своротит с пути. Ради того, чтобы стать собственником, он ту же затягивает пояс, а дураки хохочут. А когда он устроит свой восемьдесят девятый год, кто больше всех изумится? Буржуа и банковские бароны, финансовые феодалы.

— Ну, и...— начал виконт.

— Вы не понимаете? Дворянство обязано действовать так же, как крестьянин. Если дворянин разорился, его долг восстановить свое состояние. Коммерция для него исключается. Пусть. Зато ему остается сельское хозяйство. Вместо того чтобы полвека по-дурацки негодовать и влезать в долги, пытаюсь поддержать жалкий и скудный уровень жизни, дворянство обязано было засесть по своим замкам в провинции и там трудиться, во всем ограничивать себя, экономить, покупать землю, увеличивать свои владения, потихоньку прибирать все к своим рукам. Если бы оно приняло такое решение, ему уже принадлежала бы вся Франция. Оно обладало бы огромными богатствами, потому что цены на землю растут с каждым днем. За тридцать лет я без всяких усилий удвоил свое состояние. Бланвиль, который в тысяча восемьсот семнадцатом году обошелся моему отцу в сто тысяч экю, теперь стоит больше миллиона. И потому я пожимаю плечами, когда слышу, как дворянство жалуется, плачется, кого-то обвиняет. У всех доходы растут, говорит оно, а у него остаются неизменными. А кто в этом виноват? С каждым годом дворянство становится беднее и беднее. То ли еще ждет его. Скоро оно пойдет по миру, и те несколько аристократических фамилий, что у нас еще остались, в конце концов окажутся не более чем вывеской. И это будет конец. Меня утешает одно: крестьянин, став хозяином наших владений, будет всемогущ и запряжет в свою телегу всех этих буржуа, которых ненавидит так же, как я презираю.

В этот миг экипаж остановился во дворе, описав перед домом полукруг совершенной формы, гордость кучера, хранителя старых добрых традиций.

Граф вышел первым и, поддерживаемый под локоть сыном, поднялся по ступеням парадного крыльца.

В обширном вестибюле выстроилась в ряд почти вся прислуга в парадных livreeх.

Граф на ходу обвел их взглядом, точь-в-точь как офицер, осматривающий солдат перед смотром. Судя по выражению лица, он остался доволен их видом и проследовал в свои апартаменты, находившиеся на втором этаже над парадными комнатами.

Ни в одном доме, нигде и никогда, не было такого великолепного порядка, как в огромном особняке графа де Коммарена, которому состояние позволяло содержать его с таким великолепием, какое не снилось иному германскому князьку.

Граф обладал совершенным талантом, можно даже сказать, искусством, в наше время гораздо более редким, чем представляется многим, управлять целой армией слуг. По мнению Ривароля¹, существует манера сказать лакею: «Ступайте!», которая свидетельствует о породе куда лучше, чем сто фунтов дворянских грамот.

Многочисленные слуги не доставляли графу ни неудобств, ни забот, ни затруднений. Они были ему необходимы и служили, как хотелось ему, а не как хотелось бы им. Он был неизменно взыскателен, всегда готов сказать: «Я, кажется, ясно приказал», — и тем не менее ему очень редко приходилось прибегать к выговорам.

Все у него было заранее предусмотрено, даже — и главным образом — непредвиденное, все отрегулировано, установлено загодя и навсегда, так что ему ни о чем не приходилось беспокоиться. Внутренний механизм был так совершенно отлажен, что действовал без скрипа, усилий и остановок на ремонт. Ежели недоставало одного колесика, его заменяли, почти даже не замечая этого. Новичок втягивался в общее движение, и через неделю он либо притирался, либо его увольняли.

Итак, хозяин возвратился из путешествия, и сонный особняк пробудился, словно по мановению волшебной палочки. Каждый стоял на своем посту и был готов снова приняться за труды, прервавшиеся полтора месяца назад. Все знали, что граф весь день провел в вагоне, но он мог оказаться голоден, и приготовление обеда было ускорено. Все слуги, вплоть до последнего поваренка, твердо помнили первую статью основного закона этого дома: «Прислуга существует не для того, чтобы исполнять при-

¹ Ривароль Антуан де (1703—1801) — французский литератор, автор афоризмов.

казания, а для того, чтобы не возникала нужда их отдавать».

Г-н де Коммарен привел себя в порядок после дороги, переоделся, и тотчас же появился дворецкий в шелковых чулках с сообщением, что «кушать подано».

Объявив об этом, он тут же спустился вниз, а через несколько минут отец и сын встретились у дверей столовой.

То был большой зал с очень высоким, как на всем первом этаже, потолком, меблированный с восхитительной простотой. Каждый из четырех буфетов, украшающих его, заполнил бы собой любую из тех просторных квартир, какие миллионеры последнего разлива снимают на бульваре Мальзерб за пятнадцать тысяч франков. Коллекционер остолбенел бы, доведись ему бросить взгляд на эти буфеты, битком набитые драгоценной эмалевой посудой, великолепным фаянсом и фарфором, при виде которого саксонский король¹ позеленел бы от зависти.

Сервировка стола, который был накрыт в центре зала и за который сели граф и Альбер, вполне соответствовала этой безумной роскоши. Он ломился от серебра и хрусталя.

Граф был великий чревоугодник. Порой он даже хвастался своим огромным аппетитом, который какой-нибудь бедняк воспринимал бы как величайший физический недостаток. Он любил вспоминать великих людей, отличавшихся к тому же и чудовищным обжорством. Карл V поглощал горы мяса. Людовик XIV за каждой трапезой запихивал в себя столько, сколько съедало шестеро обычных людей. За столом граф с удовольствием развивал мысль, что о человеке вполне можно судить по объему его желудка, и приводил сравнение с лампами, сила света которых зависит от количества потребляемого масла.

Первые полчаса обеда прошли в молчании. Г-н де Коммарен с чувством насыщался, не замечая или не желая замечать, что Альбер держит вилку и нож в руках скорей для вида и не притронулся ни к одному из кушаний, которые ему клали на тарелку. Но за десертом настроение старого аристократа, подогретое бургундским определенной марки, которое он уже много лет предпочитал остальным винам, исправилось.

К тому же он был не прочь излить после обеда чуть-чуть желчи, полагая, что не слишком жаркий спор способ-

¹ В Саксонии в начале XVIII века был изобретен твердый фарфор, там возникла знаменитая Майсенская мануфактура, ее изделия славились по всей Европе.

ствует пищеварению. Письмо, которое он получил по приезде и успел уже пробежать, послужило ему отправным пунктом.

— Я приехал всего час назад, но уже получил от Бруафрене целую проповедь,— сообщил он сыну.

— Да, он много пишет,— заметил Альбер.

— Чересчур много. Он разорится на чернилах. И опять планы, прожекты, надежды — сущее ребячество. Честное слово, они все утратили разум. Желают перевернуть мир, да только им не хватает рычага и точки опоры. Хоть я их и люблю, но, право, глядя на них, можно умереть от смеха.

И в течение минут десяти граф осыпал своих лучших друзей самой язвительной бранью и самыми колкими насмешками, похоже даже не подозревая, что добрая половина их смешных черт свойственна и ему.

— Если бы еще,— уже более серьезно продолжал он,— они хотя бы верили в себя, проявили хотя бы чуточку отваги! Так нет же! Именно веры-то им и недостает. Они вечно рассчитывают на других, на кого угодно, только не на себя. Любой их шаг свидетельствует о бессилии, любая декларация остается жалким недоноском. Я все время вижу, как они мечутся в поисках кого-нибудь, кто сидит на коне и согласится, чтобы они пристроились у него за спиной. И, никого не найдя, несмотря на все свои старания, они возвращаются, словно к первой своей любви, к духовенству.

В нем, думают они, спасение и будущее. Да уж, прошлое тому блистательное доказательство. Как же, они такие ловкачи! В сущности, духовенству мы и обязаны крахом Реставрации. И теперь во Франции аристократия и ханжество — синонимы. Для семи миллионов избирателей дальний потомок Людовика XIV может шествовать лишь во главе армии черноризцев, с эскортом проповедников, монахов, миссионеров и штабом, состоящим из аббатов, несущих горящие свечи. А надо сказать, что француз отнюдь не святоша и ненавидит иезуитов. Вы согласны со мной, виконт?

Альберу ничего не оставалось, как кивнуть в знак согласия. Но г-н де Коммарен уже продолжал:

— Бог мой! Торжественно объявляю: мне надоело плестись у них в хвосте. Я начинаю беситься, когда вижу, как они ведут себя с нами, когда слышу, какую цену требуют за союз с ними. Они и раньше-то не были такими уж большими вельможами: при дворе епископ был совершенно незначительной фигурой. А сегодня они чувствуют, что ста-

ли необходимы. Морально мы только ими и держимся. Какую же роль мы играем ради их выгод? Мы — ширма, за которой они разыгрывают свою комедию. Потрясающее надувательство! Получается, что наши интересы — это их интересы.

Да они заботятся о нас, как о прошлогоднем снеге. Их столица — Рим, именно там восседает на троне их единственный монарх. Сколько лет — я уже со счета сбился — они кричат о преследованиях, но поистине никогда еще не были так могущественны. Судите сами. У нас нет ни гроша, они безмерно богаты. Законы, ударившие по состояниям частных лиц, их не затронули. У них нет наследников, которые поделят их богатства, а потом будут делить до бесконечности. Они обладают терпением и временем, которые по песчинке возносят горы. Все, что попадает к духовенству, духовенству же и остается.

— Тогда порвите с ними,— произнес Альбер.

— Возможно, виконт, так и нужно бы поступить. Но какая нам будет польза от разрыва? А главное, кто в это поверит?

Принесли кофе. Граф знаком велел слугам удалиться и продолжал:

— Никто не поверит. К тому же это означало бы войну и измену в наших же собственных домах. Наши жены и дочери являются заложницами этого союза, и духовенство благодаря им держит нас в руках. Для французской аристократии я вижу одну только спасительную соломинку: крохотный закон, вводящий майорат¹.

— Вы его никогда не добьетесь.

— Вы так полагаете? — поинтересовался граф де Коммарен.— Может, вы тоже против него?

Альбер знал по опыту, в какой ожесточенный спор пытается втянуть его отец, и промолчал.

— Ладно, пускай я мечтаю о несбыточном,— согласился граф.— В таком случае дворянство обязано исполнить свой долг. Пусть все дочери и младшие сыновья в знатных родах принесут себя в жертву. Пусть они согласятся в течение пяти поколений оставлять целиком родовые поместья старшему в семье и удовлетворятся ста луидорами ренты. Таким способом удастся еще восстановить крупные состояния. Семьи уже не будут раздирать противоположные интересы и

¹ Характерная для феодализма форма наследования земельной и другой собственности, при которой она переходит старшему из наследников.

эгоизм, они будут объединены общей целью. У каждого рода будет свой государственный интерес, так сказать, собственное политическое завещание, которое будут передавать друг другу старшие сыновья.

— К сожалению,— заметил виконт,— нынешние времена не способствуют самопожертвованию.

— Знаю,— отпарировал граф.— Очень хорошо знаю, и даже в своем доме имею тому доказательство. Я, ваш отец, просил, заклинал вас отказаться от женитьбы на внучке этой старой дуры маркизы д'Арланж. Чего же я добился? Да ничего! И после трех лет борьбы я вынужден был уступить...

— Но, отец...— пробормотал Альбер.

— Все, все,— прервал его граф.— Вы получили мое слово, и кончим на этом. Но запомните мое предсказание. Вы наносите смертельный удар нашему роду. Вы будете одним из богатейших людей во Франции, у вас родится четверо детей, и они станут, дай бог, просто богатыми. Если же у каждого из них будет такое же потомство, ваши внуки, вот увидите, окажутся в весьма стесненных обстоятельствах.

— Отец, вы все видите в черном свете.

— Естественно, и это мой долг. Это способ избежать разочарований. Вы толковали мне о счастье всей вашей жизни. Да что за глупости! Человек, поистине благородный, прежде всего думает о своей фамилии. Мадемуазель д'Арланж хороша собой, обворожительна, можете присоединить еще кучу эпитетов, но у нее нет ни гроша. А я выбрал для вас богатую наследницу...

— Которую я не смогу полюбить.

— Хорошенькое дело! Она принесла бы вам в переднике четыре миллиона. Да нынче ни один король не дает такого приданого своим дочерям! Я уж не говорю о надежде на...

Разговор на эту тему мог затянуться до бесконечности, но виконт вопреки явным усилиям отца мыслями был далек от начавшегося спора. Лишь иногда, и то, чтобы не играть роль безмолвного наперсника, он выдавливал из себя несколько слов.

Это отсутствие сопротивления бесило графа куда сильнее, чем упрямое несогласие. И он прилагал все силы, чтобы побольней уколоть сына. Это была его обычная тактика.

Однако тщетно он расточал язвительные замечания и злобные намеки. Вскоре он до того разгневался на Альбера, что после какого-то лаконичного ответа совершенно вышел из себя.

— Да черт побери! — вскричал он.— Сын моего управ-

ляющего и тот рассуждал бы не так, как вы. Чья кровь течет в ваших жилах? Я нахожу, что вы ведете себя как плебей, а не виконт де Коммарен!

Бывают состояния души, когда любой разговор оказывается бесконечно тягостным. Уже почти целый час, выслушивая отца и отвечая ему, Альбер испытывал невыносимые муки. Наконец терпение, которым он вооружился, лопнуло.

— Ну что ж,— ответил он,— если я плебей, то, вероятно, тому есть основательные причины.

Взгляд, которым виконт сопровождал эти слова, был настолько красноречив и недвусмыслен, что граф даже вздрогнул. У него совершенно пропала охота продолжать спор, и он нерешительно поинтересовался:

— Что вы хотите этим сказать, виконт?

Альбер уже успел пожалеть, что не удержался. Но отступить было поздно.

— Мне нужно поговорить с вами,— произнес он с некоторым смущением,— о весьма серьезных вещах. На карту поставлена моя и ваша честь, честь нашего рода. Я хотел объяснить с вами и думал отложить это до завтра, не желая волновать вас в день приезда. Но если вы настаиваете...

Граф слушал сына с плохо скрываемым беспокойством.

— Можете мне поверить,— продолжал Альбер, с трудом подыскивая слова,— я никогда, что бы вы ни сделали, не позволю себе обвинять вас. Ваша неизменная доброта ко мне...

Этого г-н де Коммарен вынести не смог.

— Обойдемся без предисловий,— прервал он сына.— Хватит слов, говорите о фактах.

Альбер молчал несколько секунд. Он думал, как и с чего начать. Наконец он произнес:

— Покуда вас не было, я ознакомился со всей перепиской между вами и госпожой Валери Жерди. Да, со всей,— повторил он, делая упор на этом слове, и без того весьма многозначительном.

Граф не дал Альберу продолжать. Словно ужаленный ядовитой змеей, он так резко вскочил, что стул его отлетел на несколько шагов.

— Ни слова больше! — грозно крикнул он.— Ни звука! Я запрещаю вам!

Но, очевидно, граф устыдился первой своей реакции, потому что тут же обрел обычное хладнокровие. С неестественно спокойным видом он поднял стул и уселся за стол.

— Пусть-ка теперь кто-нибудь попробует утверждать,

что предчувствий не существует! — промолвил он, пытаясь придать голосу легкую насмешливую интонацию. — Два часа назад на вокзале, заметив вашу бледность, я заподозрил, что произошло что-то скверное. Я догадался, что вам стала известна вся или хотя бы малая часть этой истории. Я это чувствовал, был уверен в этом.

Затем настало долгое молчание, крайне тягостное для обоих собеседников, верней, противников: каждый собирался с мыслями, прежде чем приступить к опасному объяснению.

По молчаливому соглашению отец и сын опустили глаза, стараясь не смотреть друг на друга, не встретиться взглядами, которые могли оказаться весьма красноречивы.

Услышав за дверью какой-то шорох, граф подошел к Альберу.

— Вы сказали: главное — честь. Нам следует определить линию поведения и немедленно. Благоволите следовать за мной.

Граф позвонил, в тот же миг появился лакей.

— Предупредите, — приказал граф, — что ни меня, ни виконта ни для кого нет.

VII

Разоблачение не столько изумило графа де Коммарена, сколько разгневало.

Стоит ли говорить, что вот уже двадцать лет он боялся, что истина когда-нибудь откроется. Он знал: как ни охраняй тайну, она может выплыть наружу, тем паче из четырех человек, знающих ее, трое еще живы.

Он не забывал, что совершил величайшую глупость, доверив ее бумаге, как будто ему не было известно: существуют вещи, о которых не пишут.

Как мог писать о таких вещах он, осмотрительный дипломат, политик, привычный к предосторожностям? И как, написав, спокойно позволил существовать этим разоблачительным письмам? Почему не уничтожил чудовищные улики, которые в любой момент могли быть обращены против него? Это можно объяснить лишь безумной страстью, слепой, глухой и не думающей о последствиях.

Сущность страсти в том, что она верит, будто никогда не кончится, и даже перспектива вечности для нее коротка. Полностью погруженная в настоящее, она нисколько не заботится о будущем.

Какой мужчина думает о том, что следует остерегаться

женщины, которую он любит? Влюбленный Самсон вечно подставляет без всякого сопротивления свои волосы ножницам Далилы.

Графу, когда он был любовником Валери, и в голову не приходила мысль потребовать свои письма у обожаемой сообщницы. Если бы такая мысль и пришла, он тут же отверг бы ее как оскорбительную для его ангела.

Что за причины могли заставить его усомниться в сдержанности любовницы? Не было их. Скорее уж он мог полагать, что она больше его заинтересована в исчезновении малейшего свидетельства о том, что произошло. В сущности, разве не она извлекла пользу из этого гнусного обмана? Кто получил чужое имя и состояние? Не ее ли сын?

И только восемь лет спустя, когда граф, сочтя себя обманутым, порвал связь, которая составляла счастье его жизни, он подумал, что надо бы забрать эти опасные письма.

Но он не представлял, каким образом это осуществить. Тысячи причин мешали ему действовать.

А главная была та, что он ни за что не хотел вновь встретиться с этой женщиной, которую когда-то любил. Он не слишком был уверен ни в своем гневе, ни в своей решимости не поддаваться ее слезам, без которых встреча явно не обойдется. Сумеет ли он устоять перед умоляющим взглядом прекрасных глаз, что так долго были владыками его души?

Встретиться с возлюбленной юных лет означало подвергнуться опасности простить ее, а его гордость и чувства были ранены настолько жестоко, что даже сама мысль о возвращении к ней стала для него неприемлема.

С другой стороны, довериться женщине из третьегословия тоже было совершенно невозможно. Граф не принимал никаких шагов, в нерешительности откладывая их на потом.

«Я повидаюсь с ней,— говорил он себе,— но только когда вырву ее из сердца, когда она станет мне совершенно безразлична. Я не доставлю ей радости увидеть мое горе».

Проходили месяцы, годы, и наконец граф убедил себя, что уже слишком поздно.

И впрямь, пробуждать иные воспоминания — неосторожно. Несправедливое недоверие подчас может подтолкнуть на непоправимый шаг.

Потребовать от вооруженного, чтобы он бросил оружие, не значит ли подать ему мысль воспользоваться им? А спустя столько лет с требованием возвратить письма — это же почти объявление войны. К тому же сохранились ли они? Кто это может сказать? Кто поручится, что г-жа

Жерди не сожгла их, поняв, какую они представляют опасность, и сознавая, что лишь их уничтожение обеспечит ее сыну узурпированные им права?

Граф де Коммарен ничуть не заблуждался, просто он был в тупике, решил, что высшей мудростью будет предоставить все на волю случая, и оставил на старость отворенную дверь для неизбежно приходящего гостя, имя которому — несчастье.

В продолжение более чем двадцати лет не было ни одного дня, когда бы он не проклинал непростительное безумие своей страсти.

Он не мог заставить себя забыть, что у него над головой на тоненьком волоске, который может порвать любая случайность, висит опасность пострашнее дамоклова меча.

Сегодня этот волосок порвался.

Много раз, размышляя о возможной катастрофе, он задавал себе вопрос, как отразить этот смертоносный удар. Часто спрашивал себя: «Что можно будет сделать, если все раскроется?»

Множество планов задумывал он и тут же отбрасывал, убаюкивая себя, подобно людям с мечтательным воображением, самыми несбыточными прожектами. Случившееся застало его врасплох.

Альбер почтительно остался стоять, а граф сел в массивное украшенное гербом кресло, установленное под монументальной рамой, в которой раскинуло свои многочисленные ветви генеалогическое древо прославленного рода Рето де Коммаренов.

Старый аристократ постарался не показать, какой жестокий страх он испытывает. Лишь во взгляде его было чуть больше пренебрежительного высокомерия, презрительной уверенности и невозмутимости, чем обычно.

— Объясните же, виконт, — недрогнувшим голосом обратился он к Альберу. — Я не стану говорить вам о чувствах отца, вынужденного краснеть перед сыном, вы сами должны понять их и исполниться сочувствием. Будем же щадить друг друга, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие. Расскажите, каким образом вы ознакомились с моими письмами.

У Альбера тоже было время собраться с мыслями и подготовиться к поединку; этого разговора он ждал со смертельной тревогой уже четыре дня.

При первых словах волнение покинуло его, он держался достойно и благородно. Изъяснялся он четко и внятно, не вдаваясь в подробности, бесполезные, когда дело касается

серьезных вещей: в таких случаях подробности лишь бессмысленно удаляют от цели.

— Утром в воскресенье,— начал он,— сюда явился молодой человек, объявивший, что у него ко мне дело чрезвычайной важности, которое должно остаться в тайне. Я принял его. Он-то мне и открыл, что я, увы, всего лишь побочный ребенок, которым вы из любви подменили законного сына, рожденного вам графиней де Коммарен.

— И вы не приказали вышвырнуть его за двери! — возмутился граф.

— Нет. Разумеется, я собирался ответить и весьма резко, но он протянул мне пачку писем и попросил, прежде чем что-то сказать, прочесть их.

— Надо было бросить их в огонь! — воскликнул де Коммарен.— Полагаю, камин у вас горел? Как же так! Они были у вас в руках и остались целы? О, если бы на вашем месте был я!

— Граф! — с упреком произнес Альбер, припомнив, как Ноэль встал перед камином, как зорко следил за ним, пока он усаживался за стол.— Эта мысль пришла мне, когда ее уже нельзя было осуществить. К тому же я с первого взгляда узнал ваш почерк. Я взял письма и прочел их.

— А потом?

— Потом я вернул их этому молодому человеку и попросил неделю отсрочки. Нет, не затем, чтобы все обдумать, в этом не было нужды, а потому что решил: я должен поговорить с вами. И вот я умоляю вас сказать: в самом ли деле произошла подмена?

— Да! — с яростью выкрикнул граф.— Да, к несчастью, произошла! И вам это отлично известно, потому что вы прочли письма, которые я писал госпоже Жерди, вашей матери.

Альбер заранее знал, что ответ будет именно таким, ждал его и тем не менее был сражен.

— Прошу меня простить,— промолвил он,— у меня была улика, но не формальное подтверждение. В письмах, которые я прочел, ясно говорилось о вашем замысле, там был подробно разработан весь план, но ни в одном я не нашел доказательства, что план этот был исполнен.

Граф с глубочайшим изумлением взглянул на сына. Он до сих пор хранил все письма в памяти и припомнил, что по крайней мере в двух десятках из них ликовал по поводу успешного осуществления их замысла и благодарил Валери за то, что она исполнила его волю.

— Виконт, это значит, что вы не дошли до конца,— ответил он.— Вы их все прочли?

— Все и, как вы понимаете, весьма внимательно. Могу сказать, что в последнем, какое я прочел, госпоже Жерди сообщалось о приезде Клодины Леруж, кормилицы, которой поручалось совершить подмену. Больше ничего не было.

— Фактически никаких доказательств,— пробормотал граф.— Задумали план, долго его лелеяли, а в последний момент отказались. Такое случается достаточно часто.

Он уже корил себя, что был так скор на ответ. У Альбера были всего лишь подозрения, а он, его отец, только что обратил их в уверенность. Какая оплошность!

«Ну разумеется,— думал граф.— Валери уничтожила письма, которые я писал потом и которые могли стать доказательством и представлять опасность. Но почему она оставила остальные, тоже весьма компрометирующие, и как, сохранив, выпустила их из рук?»

Альбер все так же стоял, не двигаясь, ожидая, что скажет граф. Что будет с ним? Ведь сейчас в мозгу старика графа решалась его судьба.

— Вероятно, она умерла! — громко произнес г-н де Коммарен.

И при мысли, что Валери мертва, а он так и не повидался с нею, у графа что-то дрогнуло в душе. Даже после двадцати лет разлуки сердце его сжалось: он так и не смог вырвать из него первую юношескую любовь. Когда-то он проклинал свою возлюбленную, но теперь простил. Да, она обманула его, но ведь она же и подарила ему годы счастья, единственные в его жизни. Разве знал он после разлуки с нею хоть миг радости, упоения, забвения? В том состоянии духа, в каком он сейчас находился, его сердце было полно только счастливыми воспоминаниями, словно ваза, которую однажды наполнили драгоценными благовониями и которая будет хранить их аромат, пока не разобьется.

— Бедняжка,— прошептал он и глубоко вздохнул.

Он несколько раз сморгнул, словно сгоняя слезу. Альбер смотрел на него с тревожным любопытством. Впервые в жизни виконт увидел на лице отца отражение человеческого чувства вместо привычной властности или оскорбленной либо торжествующей гордыни. Но г-н де Коммарен был не из тех, кто позволяет себе долго предаваться сантиментам.

— Виконт, вы не сказали, кто прислал этого вестника несчастья.

— Он пришел от своего имени, не желая, как он мне

сказал, никого вмешивать в это печальное дело. Этот молодой человек, чье место я занял, ваш законный сын Ноэль Жерди.

— Да, да,— вполголоса произнес граф,— его имя Ноэль. Помню, помню,— и с явной нерешительностью спросил: — А о своей, то есть вашей, матери он что-нибудь говорил?

— Почти ничего. Единственно он сказал, что она о его приходе сюда ничего не знает и что тайну, которую он мне открыл, узнал совершенно случайно.

Г-н де Коммарен ничего не ответил. Все, что можно, он уже знал и сейчас размышлял. Наступал решительный момент, и граф видел только один способ отодвинуть его.

— Почему вы стоите, виконт? — произнес он ласковым голосом, чем совершенно поразил Альбера.— Сядьте рядом со мной и поговорим. Объединим наши усилия, чтобы избежать, если это возможно, большого несчастья. Говорите со мной совершенно откровенно, как сын с отцом. Вы уже думали о том, как поступить? Приняли уже какое-нибудь решение?

— Мне кажется, сомнений тут быть не может.

— Как вас понять?

— Отец, как мне кажется, то, что я должен сделать, предопределено. Я обязан уступить место вашему законному сыну — уступить без сетований, хоть и не без сожаления. Пусть он придет, я готов отдать ему все, что, сам того не зная, так давно у него отнял,— отцовскую любовь, состояние, имя.

Услышав столь благородный ответ, старый аристократ не сумел сохранить спокойствие, хотя в самом начале разговора просил об этом сына. Лицо его налилось кровью, и он яростно, изо всей силы стукнул кулаком по столу. Всегда такой уравновешенный, в любых обстоятельствах соблюдающий приличия, он в бешенстве выкрикнул ругательство, какого постеснялся бы даже старый кавалерийский вахмистр.

— А я, сударь, объявляю вам: того, что вы задумали, не будет! Не будет никогда, даю вам слово! Что сделано, то сделано. Запомните, что бы ни произошло, все останется, как было. Такова моя воля. Вы — виконт де Коммарен и останетесь им, хотите того или нет. Останетесь им до вашей смерти или по крайней мере до моей: пока я жив, исполнению вашего дурацкого плана не бывать.

— Но...— робко промолвил Альбер.

— Вы никак посмели прервать меня? — возмущился

граф.— Я заранее знаю ваши возражения. Вы ведь скажете мне, что это чудовищная несправедливость, гнусный грабеж, не так ли? Я согласен с вами и страдаю от этого не меньше вашего. Уж не думаете ли вы, что лишь сегодня я вспомнил о роковой ошибке юности? Знайте же, уже двадцать лет я сожалею о своем законном сыне, двадцать лет проклиная несправедливость, жертвой которой он стал. Тем не менее я умел скрывать горечь и укоры совести, не дававшие мне спать по ночам. А вы с вашим идиотским смирением одним махом хотите обесмыслить мои многолетние муки! Нет. Это вам не удастся.

Граф увидел, что Альбер собирается что-то сказать, и грозным взглядом остановил его.

— Уж не думаете ли вы,— продолжал он,— что я не плакал, вспоминая, что обрек своего законного сына всю жизнь бороться с бедностью? Не испытывал жгучего желания все исправить? Бывали дни, когда я готов был отдать половину своего богатства лишь за то, чтобы поцеловать ребенка, рожденного женщиной, которую я слишком долго переоценивал. Меня удерживал только страх бросить тень подозрения на обстоятельства вашего рождения. Я обрек себя в жертву чести фамилии де Коммарен, которую ношу. Я получил ее от своих родителей незапятнанной, и такой же вы передадите ее своему сыну. Первое ваше душевное движение было прекрасно, благородно, рыцарственно, и все-таки о нем нужно забыть. Подумайте, какой поднимется скандал, если наша тайна станет известна. Неужто вам не пришло в голову, какая радость охватит наших врагов, эту шайку выскочек, вьющихся вокруг нас? Я дрожу при мысли, сколько злобы, сколько насмешек обрушится на нашу фамилию. Гербы многих родов уже запятнаны грязью, и я не хочу, чтобы такое случилось с нашим.

Г-н де Коммарен умолк на несколько минут, но Альбер не осмелился заговорить: он с детства привык чтить любые прихоти своего грозного отца.

— Мы ничего не придумаем,— сказал наконец граф,— никакое соглашение невозможно. Могу ли я завтра отречься от вас и представить Ноэля как своего сына, заявив: «Извините, на самом деле виконт не тот, а вот этот»? Ведь потребуется прибегнуть к услугам суда. Для того, кто зовется Бенуа, Дюран или Бернар, это не имеет значения. Но если ты хотя бы день носил фамилию де Коммарен, это накладывает обязательства на всю жизнь. Законы нравственности не для всех одинаковы, потому что у всех разные обязанности. При положении, которое занимаем мы, ошибку испра-

вить нельзя. Вооружитесь же мужеством и покажите, что вы достойны фамилии, которую носите. Надвигается буря, так поспорим с нею.

Раздражение г-на де Коммарена еще усилилось от безучастности Альбера. Приняв неизбежное решение, виконт слушал, словно исполняя долг, и на лице его не отражалось никаких чувств. Граф понял, что не поколебал его.

— И что же вы мне ответите? — спросил он.

— Мне кажется, вы даже не подозреваете обо всех опасностях, какие предвижу я. Трудно укротить возмущенную совесть.

— Действительно, — насмешливо прервал его граф, — ваша совесть возмущена. Только выбрала она для этого неподходящий момент. Угрызения пришли к вам слишком поздно. Пока вы считали, что унаследуете от меня блистательный титул и двенадцать миллионов, вы не думали отказываться от наследства. Но сегодня вы узнали, что оно обременено тяжелым проступком, если угодно, преступлением, и соглашаетесь принять его лишь при условии, что вам не придется уплачивать мои моральные долги. Отбросьте эту безумную мысль. Дети несут ответственность за родителей, и так оно и останется, покуда будут чтить сыновей великих людей. Волей-неволей вы станете моим сообщником и понесете бремя, которое я взвалил вам на плечи. Но как бы вы ни страдали, поверьте, это и в малой мере не сравнится с тем, что вытерпел за эти годы я.

— Но послушайте! — воскликнул Альбер. — Ведь это же не я, грабитель, намерен подать в суд, но ограбленный! И надо уговаривать не меня, а Ноэля Жерди.

— Ноэля? — переспросил граф.

— Да, вашего законного сына. Вы рассуждаете так, словно исход дела зависит только от моего желания. Не воображаете ли вы, что г-н Жерди так легко согласится молчать? А если он заговорит, неужто вы надеетесь тронуть его соображениями, которые высказали мне?

— Я не боюсь его.

— И совершенно напрасно, позвольте вас заверить. Я понимаю, вы наделяете этого молодого человека столь возвышенной душой, что уверились, будто он не претендует на ваше имя и состояние, и все-таки представьте, сколько горечи скопилось у него в сердце. Он просто не может не испытывать злобного ожесточения из-за чудовищной несправедливости, жертвой которой стал. Должно быть, он страстно жаждет мести, то есть признания своих прав.

— Никаких доказательств нет.

— Есть ваши письма.

— Они ничего не доказывают, вы же мне сами сказали.

— Да, правда, и все-таки они убедили меня, в чьих интересах не верить им. К тому же, если ему потребуются свидетели, он их отыщет.

— Кого же, виконт? Разумеется, вас?

— Нет, граф, вас. Стоит ему пожелать, и вы нас выдадите. Что вы ответите, когда он вызовет вас в суд и там вас попросят, нет, потребуют сказать правду под присягой?

При этом вполне естественном предположении лицо графа омрачилось еще сильнее. Казалось, он обращается за советом к столь сильному в нем чувству чести.

— Я буду спасать имя своих предков,— наконец выдал он.

Альбер с недоверием покачал головой.

— Ценою лжи под присягой? Нет, отец, этому я никогда не поверю. Давайте рассуждать дальше. Он обращается к господе Жерди.

— За нее я могу ручаться! — воскликнул граф.— В ее интересах оставаться нашей союзницей. Если нужно будет, я повिдаюсь с ней. Да,— решительно объявил он,— я пойду к ней, поговорю и заверяю вас: она нас не предаст.

— А Клодина,— продолжал молодой человек,— тоже будет молчать?

— Если заплатить, она будет молчать, а я дам ей, сколько она пожелает.

— И вы, отец, доверитесь купленному молчанию? Можно ли верить продажной совести? Кого купили вы, того может перекупить другой. Крупная сумма заткнет ей рот, еще более крупная откроет.

— Но я сумею припугнуть...

— Отец, вы забываете, что Клодина Леруж была кормилицей господина Жерди, она его любит, хочет, чтобы он был счастлив. А вдруг он уверен в ее содействии? Она живет в Буживале. Помню, я ездил туда с вами. Несомненно, он часто видится с нею, и, возможно, это она навела его на ваши письма. Господин Жерди говорил о ней так, словно был уверен, что она станет свидетельствовать в его пользу. Он почти предложил мне съездить поговорить с нею.

— Увы,— вздохнул граф,— почему умер мой верный Жермен, а не Клодина!

— Как видите, одной Клодины Леруж вполне достаточно, чтобы все ваши планы рассыпались прахом,— заметил Альбер.

— Нет, я все равно найду выход.

В своем ослеплении старый аристократ упорно не желал замечать очевидное. Да, он заблуждался, но заблуждался совершенно искренне. Гордость, бывшая у него в крови, парализовала обыкновенно свойственное ему здравомыслие, помрачила его ясный и трезвый ум. Граф считал унижительным, позорным и недостойным признать свое поражение перед жизненными обстоятельствами. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в своей долгой жизни встретился с необоримым сопротивлением, с непреодолимым препятствием.

Он был подобен всем тем геркулесам, которые, не имея случая испытать свои силы, уверены, что могут горы своротить, ежели им взбредет такая фантазия.

Кроме того, ему не чужд был недостаток всех людей, наделенных слишком богатым воображением, который заключается в слепой вере в собственные фантазии и в их осуществимость, как будто достаточно лишь очень сильно захотеть, и мечтания претворятся в реальность.

Угрожающее затянуться молчание прервал на сей раз Альбер:

— Я понимаю, вы опасаетесь огласки этой прискорбной истории. Вас приводит в отчаяние возможность скандала. Знайте же, если мы станем упорствовать и бороться, поднимется чудовищный шум. Стоит только довести дело до суда, и дня через четыре о нашем процессе будет гудеть вся Европа. О нем будут писать газеты, и один бог знает, какими комментариями они его сопровождают. Если мы решимся бороться, то, как бы дело ни пошло, нашу фамилию станут склонять все газеты мира. И если б у нас еще была надежда победить! Но мы обречены на поражение, отец, мы проиграем. И представьте, какой тогда поднимется вой! Подумайте, как заклеят нас общественное мнение!

— Я думаю об одном,— отозвался граф.— О том, что говорить, как вы, значит не питать ни капли любви и уважения ко мне.

— Нет, отец, мой долг показать вам все беды, каких я опасаюсь, показать, пока еще есть время избежать их. Господин Ноэль Жерди — ваш законный сын. Так признайте его, удовлетворите его справедливые претензии. Пусть он придет. Мы можем без особого шума внести исправления в записи гражданского состояния. Можно будет заявить, к примеру, что виной всему — ошибка кормилицы Клодины Леруж. Если все стороны придут к согла-

шению, не возникнет ни малейших трудностей. А потом, кто помешает новому виконту де Коммарену оставить Париж, уехать с глаз долой? Он может лет пять путешествовать по Европе, а к концу этого срока все обо всем забудут, и никто уже не вспомнит обо мне.

Однако граф де Коммарен не слушал сына, он размышлял.

— Но, виконт, можно же обойтись без процесса, можно любовно договориться, — сказал он наконец. — Письма можно откупить. Чего хочет этот молодой человек? Положения и денег? Я обеспечу ему и то и другое. Я дам ему, сколько он пожелает. Дам миллион, а если надо, два, три, половину того, что у меня есть. Поверьте, когда предлагают деньги, много денег...

— Пощадите его, он ваш сын.

— К несчастью. Но я, черт побери, так решил! Я потолкую с ним, и он пойдет на соглашение. Если он не дурак, то поймет, что ему не тягаться со мной.

Граф потирал руки. Его захватила мысль о соглашении. Это воистину спасительный выход, и в мозгу графа уже сложилось множество аргументов в пользу нового плана. Да, он заплатит и вернет себе нарушенный покой.

Однако Альбер, похоже, не разделял уверенности отца.

— Вы рассердитесь на меня, — печально произнес он, — но я вынужден разрушить ваши иллюзии. Не убаюкивайте себя мечтой о любовном соглашении — пробуждение будет слишком жестоким. Отец, я видел господина Жерди, и он не тот человек, которого можно запугать. Если есть на свете решительные люди, то он один из них. Господин Жерди поистине ваш сын, и в его взгляде, как и в вашем, чувствуется железная воля, которую можно сломить, но нельзя согнуть. Я до сих пор слышу его голос, дрожащий от ожесточения, вижу его глаза, горящие мрачным огнем. Нет, с ним не договориться. Ему нужно либо все, либо ничего, и я не стану его винить. Если вы окажете сопротивление, он нападет на вас, и его не удержат никакие соображения. Уверенный в своих правах, он с ожесточением вцепится в вас, затаскает по судам и отстанет лишь после окончательного поражения или после полной победы.

Граф, привыкший к совершенному, чуть ли не слепому повиновению сына, был поражен его неожиданным упорством.

— Ну и к чему же вы клоните? — поинтересовался он.

— К тому, что я презирал бы себя, если бы не уберег вашу старость от величайшего бедствия. Ваше имя больше

не принадлежит мне, я возьму свое. Я ваш побочный сын и уступлю место законному. Позвольте же мне удалиться с чувством честно и свободно исполненного долга, позвольте не дожидаться вызова в суд, который с позором вышвырнет меня отсюда.

— Как! — изумился граф. — Вы меня бросаете, отказываетесь поддержать, идете против меня, признаете вопреки моей воле его права?

Альбер кивнул.

— Мое решение окончательно. Я ни за что не соглашусь ограбить вашего сына.

— Неблагодарный! — воскликнул г-н де Коммарен.

Гнев его был так велик, что его уже невозможно было излить в проклятиях, и потому граф перешел на насмешки.

— Ну что ж, — промолвил он, — вы великолепны, благородны, великодушны. Ваш поступок крайне рыцарствен, виконт, то есть я хотел сказать, любезный господин Жерди, и вполне в духе героев Плутарха¹. Итак, вы отказываетесь от моего имени, моего состояния и покидаете меня. Отряхнете прах со своих башмаков на пороге моего дома и уйдете в раскрывшийся перед вами мир. У меня всего один вопрос: на что, господин стоик, вы намерены жить? Может быть, вы знаете какое-нибудь ремесло, как Эмиль, описанный сьером Жан-Жаком²? Или вы, благороднейший господин Жерди, делали сбережения из тех четырех тысяч, что я давал вам на карманные расходы? Может быть, играли на бирже? Ах, вот что! Вам показалось слишком тягостным носить мое имя, и вы с облегчением сбрасываете его! Видно, грязь имеет для вас большую притягательность, коль вы так спешно выскакиваете из кареты. А может быть, общество равных мне стесняет вас, и вы торопитесь скатиться вниз, чтобы оказаться среди себе подобных?

— Я и без того несчастен, а вы еще больше повергаете меня в горе, — ответил Альбер на град издевательств.

— Ах, вы несчастны! А кто в этом виноват? И все же я возвращаюсь к своему вопросу: как и на что вы намерены жить?

— Я вовсе не столь романтичен, как вы пытаетесь представить меня. Должен признаться, я рассчитываю на вашу

¹ Древнегреческий писатель и историк (ок. 45—ок. 127), оставивший «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян.

² Имеется в виду герой философского романа Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).

доброту. Вы так богаты, что пятьсот тысяч франков существенно не повлияют на ваше состояние, а я на эти деньги смогу прожить спокойно, если не счастливо.

— А если я откажу?

— Вы не сделаете этого — я достаточно вас знаю. Вы слишком справедливы, чтобы заставить меня, одного меня, искупать ошибки, которых я не совершал. Будь я предоставлен самому себе, у меня в этом возрасте было бы какое-то положение. Сейчас мне уже поздно его добиваться. Тем не менее я попробую.

— Великолепно! Просто великолепно! — прервал его граф. — Вы прямо герой из романа, мне о таких и слышать не доводилось. Римлянин чистой воды, стойкий спартанец. Нет, право, это прекрасно, как всякая античность. И однако, скажите, чего вы ждете за столь потрясающее бескорыстие?

— Ничего.

— Да, скромная компенсация! — бросил граф. — И вы хотите, чтобы я вам поверил? Нет, сударь, столь благородные поступки не совершаются ради собственного удовольствия. Чтобы поступать так высоконравственно, у вас должна быть какая-то скрытая причина, но я не могу найти ее.

— Нет никакой другой причины, кроме тех, что я вам изложил.

— Значит, надо понимать так, что вы от всего отказываетесь? Даже от надежд на брак с мадемуазель Клер д'Арланж, от которого я в течение двух лет тщетно пытался вас отговорить?

— Нет. Я виделся с мадемуазель Клер и рассказал ей об ужасной беде, которая на меня обрушилась. Она мне поклялась, что будет моей женой, что бы ни произошло.

— И вы полагаете, что маркиза д'Арланж отдаст свою внучку сыеру Жерди?

— Мы надеемся. Маркиза так помешана на знатном происхождении, что предпочтет отдать внучку побочному сыну аристократа, нежели сыну почтенного промышленника. Но если она откажет, что ж, мы подождем ее смерти, хоть и не станем желать, чтобы она пришла поскорей.

Спокойный тон Альбера окончательно вывел из себя графа де Коммарена.

— И это мой сын? — воскликнул он. — Не может быть! Сударь, чья кровь течет в ваших жилах? На это могла бы ответить лишь ваша достойная матушка, если бы она только знала...

— Граф,— прервал его угрожающим голосом Альбер,— думайте, что говорите! Она моя мать, и этого достаточно. Я ее сын, а не судья. Никому, даже вам, я не позволю непочтительно отзываться о ней при мне. А от вас тем более не потерплю неуважения к ней.

Граф делал поистине героические усилия, сдерживая свой гнев и не давая ему вырваться за определенные пределы. Но поведение Альбера довело его до крайней степени ярости. Как! Этот мальчишка взбунтовался, посмел бросить ему вызов, посмел угрожать? Старик вскочил с кресла и кинулся к сыну, словно намереваясь влить ему пощечину.

— Вон! — возмущенно взревел он. — Вон отсюда! Немедля уходите в свои комнаты и не смейте выходить из них без моего позволения. Завтра я сообщу вам свою волю.

Альбер почтительно поклонился, но глаз не опустил и медленно пошел к дверям. Он уже отворял их, но тут в настроении графа де Коммарена произошла перемена, как это часто случается у вспыльчивых людей.

— Альбер,— позвал он. — Вернитесь, послушайте меня. Молодой человек подошел к отцу, явно тронутый новой интонацией, прозвучавшей в его голосе.

— Подождите,— продолжал граф,— я хочу сказать все, что думаю. Сударь, вы достойны быть наследником великого рода. Я могу негодовать на вас, но не могу не уважать. Вы — честный человек. Альбер, дайте мне руку.

То был сладостный миг для них обоих, миг, какого, пожалуй, еще не бывало в их жизни, подчиненной унылому этикету. Граф испытывал гордость за сына и мысленно говорил себе, что и он был таким в его годы. А до Альбера только сейчас стал доходить смысл того, что произошло между ними. Они долго стояли, не разжимая рук, словно у них не было на это сил, и оба молчали.

Наконец г-н де Коммарен вновь уселся под генеалогическим древом и тихо сказал:

— Альбер, я прошу вас оставить меня. Мне нужно побыть одному, чтобы все обдумать и немного привыкнуть к чудовищному удару,— а когда молодой человек затворил дверь, граф тихо проговорил, как бы отвечая своим тайным мыслям: — Господи, что будет со мною, если он, на которого я возлагал все свои надежды, покинет меня? И каким окажется тот, другой?

Когда Альбер вышел от графа, на его лице еще отражались следы бурных переживаний нынешнего вечера. Слуги, мимо которых он проходил, внимательно пригля-

дывались к нему, тем паче что до них донеслись отзвуки особенно бурных эпизодов ссоры.

— Ну вот,— произнес старый ливрейный лакей, три десятка лет прослуживший в доме,— господин граф опять устроил сыну достойный сожаления скандал. Старик прямо как бешеный.

— Я почуял недоброе уже за обедом,— сообщил графский камердинер,— господин граф сдерживался, чтобы не начинать при мне, но глаза у него так и сверкали.

— А с чего это они?

— Кто их знает? Ни с чего, из-за дури какой-нибудь. Господин Дени, перед которым они не сдерживаются, говорил мне, что они, бывает, часами, точно псы, грызутся из-за вещей, которые он даже в толк взять не может.

— Ха! — воскликнул юный шалопай, которого на-таскивали, чтобы в будущем он мог служить в комнатах.— Будь я на месте виконта, я своему папаше так бы ответил...

— Жозеф, друг мой,— наставительно произнес ливрейный лакей,— вы просто дурак. Натурально, вы можете послать своего папашу к черту, но ведь вы не надеетесь получить от него даже пяти су и к тому же легко умеете добыть себе пропитание. А вот господин виконт... Вы можете мне сказать, на что он годен и что умеет делать? Бросьте-ка его в Париже с условием, что единственным его капиталом будет пара холеных рук, и тогда посмотрим!

— Ну и что? У него же есть поместья, оставленные матерью,— возразил, как истый нормандец, Жозеф.

— И потом я не понимаю,— удивился камердинер,— чем господин граф недоволен. У него примерный сын. Будь у меня такой, мне просто не на что было бы сердиться. Вот когда я служил у маркиза де Куртивуа, там совсем другое дело. У маркиза были все основания каждое утро быть недовольным. Его старший сын — он приятель виконта и несколько раз приезжал сюда — чистая прорва в смысле денег. Свернуть шею тысячефранковому билету ему проще, чем Жозефу выкурить трубку.

— Так ведь маркиз не больно-то богат,— вступил низенький старичок, принятый на место недели две назад.— Сколько у него может быть? Тысяч шестьдесят ренты, не больше.

— Потому-то он и бесится. Каждый день его старший что-нибудь выкидывает. В городе у него квартира, он то там, то здесь, ночи напролет пьет и играет, а уж с актрисками такое устраивал, что приходилось вмешиваться полиции. Не говоря уж о том, что официанты сотни раз

привозили его в фиакре из ресторанов мертвецки пьяного, и мне приходилось тащить его на себе в спальню и укладывать в постель.

— Черт! — с восторгом произнес Жозеф. — Быть в услужении у него, наверно, не так уж плохо!

— Это как посмотреть. Выиграв в карты, он спокойно отвалит тебе целый луидор, да только он все время проигрывает, а когда напивается, распускает руки. Правда, надо отдать ему справедливость, сигары у него превосходные. Одним словом, сущий разбойник. В сравнении с ним господин виконт просто скромная барышня. Да, за упущения он спрашивает строго, но никогда не разозлится и не изругает человека. И потом он щедр, тут ничего не скажешь. Нет, по мне, он куда лучше многих, и господин граф не прав.

Таково было мнение слуг. А вот мнение общества было, надо полагать, не столь благосклонным.

Виконт де Коммарен не относился к тем заурядным людям, что обладают незavidным и не слишком лестным преимуществом нравиться всем. Мудрый отнесется с недоверием к тем, кого в один голос превозносит молва. Стоит к ним присмотреться поближе, и частенько обнаруживается, что человек, пользующийся известностью и успехом, — самый обычный глупец и единственным его достоинством является совершеннейшая заурядность. Никого не задевающая благопристойная глупость, благовоспитанная посредственность, не способная потревожить ничье тщеславие, — вот он, бесценный дар нравиться и преуспевать.

Бывает, встретишь человека и начинаешь мучиться: «Знакомое лицо. Где я его видел?» А дело в том, что это просто рядовая, ординарная физиономия. То же самое можно сказать и о нравственном облике многих людей. Только они заговорят, и тебе уже известен их образ мыслей, ты словно уже слышал их, наизусть знаешь все, что они скажут. Таких всюду принимают с радостью, так как в них нет ничего своеобразного, а своеобычность, особенно в высших классах, возмущает и раздражает. Непохожесть ненавистна.

Альбер был своеобразен, и потому суждения о нем были крайне спорны и противоречивы. Его упрекали за совершенно противоположные черты, приписывали недостатки настолько полярные, что, казалось, они исключают друг друга. К примеру, находили, что идеи у него слишком либеральные для человека его круга, и в то же время сетовали

на его спесь. Обвиняли в том, что он с оскорбительным легкомыслием относится к наиважнейшим проблемам, и корили за чрезмерную серьезность. Существовало мнение, что в обществе его не любят, а между тем ему завидовали и боялись его.

В салонах у него бывал крайне хмурый вид, и в этом усматривали дурной вкус. Вынужденный по причине своих и отцовских связей много выезжать, он отнюдь не развлекался в свете и совершал непростительную ошибку, позволяя догадываться об этом. Возможно, ему были противны знаки внимания и несколько назойливая предупредительность, с какой относились к благородному наследнику одного из богатейших землевладельцев Франции. Имея все необходимое, чтобы блистать в обществе, он пренебрегал своими возможностями и даже не пытался никого обворожить. И — величайший недостаток! — он не злоупотреблял ни одним из своих преимуществ. За ним не числилось никаких любовных походов.

Говорят, некогда он чем-то очень задел г-жу де Прони, самую, пожалуй, уродливую и — уж совершенно точно — самую злую даму предместья¹, и это предрешило все. Было время, матери, имеющие дочерей на выданье, вступались за него, но вот уже два года, с тех пор как его любовь к мадемуазель д'Арланж стала общеизвестным фактом, они превратились в его ненавистниц.

В клубе посмеивались над благоразумием Альбера. Нет, он тоже прошел через пору сумасбродств, но очень скоро охладел к тому, что принято называть наслаждениями. Благородное ремесло прожигателя жизни показалось ему крайне ничтожным и обременительным. Он не мог понять, что за удовольствие проводить ночи за картами, и ничуть не ценил общества нескольких доступных дам, которые в Париже делают имя своим любовникам. Он имел смелость утверждать, будто для дворянина ничуть не зазорно не выставлять себя на всеобщее обозрение в одной ложе с распутными женщинами. И наконец, друзья так и не смогли привить ему страсть к скаковым лошадям.

Поскольку праздная жизнь тяготила Альбера, он попробовал, словно какой-нибудь выскочка, придать ей смысл ни больше, ни меньше как трудом. Альбер собирался впоследствии принять участие в общественной деятельности, а так как его поражало крайнее невежество иных

¹ Имеется в виду предместье Сен-Жермен, аристократический квартал Парижа в XIX веке.

людей, достигших власти, он не хотел уподобиться им. Он занимался политикой, и это было причиной всех его ссор с отцом. Любое либеральное слово вызывало у графа корчи, а после одной статьи, опубликованной виконтом в «Ревю де Де Монд», он заподозрил сына в либерализме.

Но взгляды ничуть не препятствовали Альберу жить соответственно своему положению. Он с величайшим достоинством тратил содержание, назначенное ему отцом, и даже чуть больше того. Его жилье, которое было отделено от комнат графа, было поставлено на широкую ногу, как и подобает апартаментам молодого и очень богатого дворянина. Ливреи его слуг не оставляли желать лучшего, а лошади и экипажи были предметом завистливых толков. В свете соперничали из-за приглашений на большие охоты, которые он ежегодно устраивал в конце октября в Коммарене, великолепном поместье, окруженном необъятными лесами.

Любовь Альбера к мадемуазель д'Арланж, любовь глубокая и прочувствованная, немало способствовала тому, что он отдалился от образа жизни, который вели его элегантные и симпатичные друзья-бездельники. Высокое чувство — наилучшее лекарство от порока. Борясь с намерениями сына, г-н де Коммарен сделал все, чтобы эта запретная страсть стала еще глубже и постоянной. Для виконта она оказалась источником живейших и острейших переживаний. Благодаря ей из жизни его была изгнана скука.

Мысли его обрели четкое направление, действия — ясную цель. Стоит ли останавливаться и глазеть направо-налево, коль в конце пути видишь желанную награду? Виконт поклялся, что не женится ни на ком, кроме Клер; отец решительно противился их браку; перипетии этой захватывающей борьбы придавали смысл каждому дню жизни Альбера. В конце концов после трех лет стойкого сопротивления он победил: граф сдался. И вот теперь, когда он переполнен счастьем одержанной победы, является, словно неумолимый рок, Ноэль с проклятыми письмами.

И сейчас, пока Альбер поднимался по лестнице в свои покои, мысли его были обращены к Клер. Чем она занята? Наверное, думает о нем. Ей известно, что сегодня вечером или, самое позднее, завтра состоится решающий разговор. Вероятней всего, она молится.

Альбер чувствовал себя совершенно разбитым, ему было плохо. Он находился в полуобморочном состоянии, голова словно раскалывалась. Он позвонил и попросил принести чаю.

— Господин виконт совершенно напрасно отказались послать за врачом,— заметил ему камердинер.— Мне не надо было слушаться господина виконта.

— Это бесполезно, врач мне не поможет,— грустно ответил Альбер и добавил, когда камердинер уже стоял в дверях: — Любен, не говорите никому, что я болен. Я позвоню, если почувствую себя хуже.

В этот миг ему казалось невыносимым видеть кого-нибудь, слышать чужой голос, отвечать на вопросы. Ему нужна была тишина, чтобы разобраться в себе.

После тягостных волнений, вызванных объяснением с отцом, Альбер даже думать не мог о сне. Он распахнул окно в библиотеке и облокотился на подоконник.

Погода наладилась, все было залито лунным светом. В этом мягком, трепетном ночном полусвете сад казался бескрайним. Верхушки высоких деревьев сливались, закрывая соседние дома. Клумбы, окруженные зелеными кустами, выглядели огромными черными пятнами, а на аллеях, посыпанных песком, поблескивали обломки раковин, крохотные осколки стекла и отполированные камешки. Справа, в людской, еще горел свет, слышно было, как там ходят слуги; по асфальту двора простучали сабо конюха. В конюшне с ноги на ногу переступали лошади, и, напярив слух, можно было различить, как цепочка недоуздки одной из них трется о перекладину стойла. В дверях каретного сарая вырисовывался силуэт экипажа, который весь вечер держали наготове на случай, если графу вздумается куда-нибудь поехать.

Взору Альбера открывалась картина его блистательного существования. Он глубоко вздохнул.

— Неужели все это придется оставить? — пробормотал он.— Если бы речь шла только обо мне, я не стал бы сожалеть обо всей этой роскоши, но меня приводит в отчаяние мысль о Клер. Я так мечтал создать для нее счастливую, безмятежную жизнь, но без огромного состояния это невозможно.

На колокольне церкви Св. Клотильды пробило полночь, и Альбер, если бы захотел, мог бы, чуть высунувшись, увидеть сошедшиеся стрелки на часах. Он вздрогнул: стало прохладно.

Молодой человек захлопнул окно и сел у камина, где горел огонь. Надеясь отвлечься от мыслей, он взял вечернюю газету — ту, в которой сообщалось об убийстве в Ла-Жоншер, но не смог читать: строчки прыгали перед глазами. Тогда он решил написать Клер. Он сел за стол и вывел:

«Клер, любимая...» Но дальше не двинулся: возбужденный мозг не подсказал ему ни одной фразы.

На рассвете усталость все-таки одолела его. Он прилег на диван, и тут его сморил сон, тяжелый, полный кошмаров.

В половине десятого утра Альбер внезапно проснулся от стука резко распахнутой двери. Ворвался перепуганный слуга; он мчался по лестнице через две ступеньки, запыхался и едва смог выговорить:

— Господин виконт, скорей бегите, прячьтесь, спасайтесь, здесь...

В этот миг в дверях библиотеки появился комиссар полиции, перепоясанный трехцветным шарфом. Его сопровождало множество людей; среди них был и папаша Табаре, старавшийся выглядеть как можно незаметней.

Комиссар приблизился к Альберу.

— Вы — Ги Луи Мари Альбер де Рето де Коммарен? — спросил он.

— Да, я.

И тогда комиссар, протянув к нему руку, произнес сакраментальную фразу:

— Господин де Коммарен, именем закона вы арестованы.

— Я? Арестован?

Грубо вырванный из тяжелого сна, Альбер, казалось, не понимал, что происходит. У него был такой вид, будто он спрашивает себя: «Проснулся я или все еще сплю? Может быть, это продолжается кошмар?»

Он переводил недоумевающий, исполненный удивления взгляд с комиссара на полицейских, с полицейских на папашу Табаре, стоявшего как раз напротив него.

— Вот постановление на арест, — сообщил комиссар, разворачивая бумагу.

Альбер машинально пробежал глазами несколько строк.

— Клодина убита! — воскликнул он и уже тише, но не настолько, чтобы не смогли услышать комиссар, один из полицейских и папаша Табаре, произнес: — Я погиб.

Пока комиссар заполнял протокол предварительного допроса, который положено производить незамедлительно после ареста, его спутники разошлись по комнатам и занялись тщательным обыском. Они получили приказ исполнять распоряжения папашы Табаре, и он-то и руководил ими, веля шарить в ящиках и шкафах, перетряхивать вещи. Было изъято большое число предметов, принадлежащих

виконту, документов, бумаг, толстая связка писем. Папаше Табаре повезло обнаружить некоторые важные улики, каковые и были занесены в протокол обыска:

«1. В первой комнате, служащей прихожей и украшенной всевозможным оружием, за диваном найдена сломанная рапира. Эта рапира имеет особый эфес, не встречающийся в оружейных магазинах. На нем изображена графская корона и инициалы А. К. Рапира сломана пополам, и конец ее не обнаружен. На вопрос, куда делся отломанный конец рапиры, г-н де Коммарен ответил, что не знает.

2. В чулане, служащем гардеробной, обнаружены брюки из черного сукна, еще влажные, со следами грязи или, верней, земли. На наружной стороне одной из штанин пятна, оставленные зеленым мхом, какой растет на стенах. На штанинах следы потертостей и в области колена прореха длиной десять сантиметров. Вышепоименованные брюки не висели на вешалке, а были засунуты, словно с целью спрятать их, между двумя большими сундуками, где хранятся предметы одежды.

3. В кармане вышепоименованных брюк найдена пара перчаток жемчужно-серого цвета. На ладони правой перчатки имеется большое зеленое пятно, оставленное травой либо мхом. Концы пальцев перчатки истрепаны от трения. На тыльной стороне обеих перчаток следы, возможно оставленные ногтями.

4. Две пары ботинок, одна из которых, хоть и вычищена, еще достаточно влажная. Зонтик, недавно еще бывший совершенно мокрым, на конце которого имеются пятна грязи беловатого цвета.

5. В большой комнате, именуемой «библиотека», обнаружена коробка сигар, называемых «трабукос», а на камине несколько мундштуков из янтаря и морской пенки...»

Как только в протокол был занесен последний пункт, папаша Табаре подошел к комиссару и шепнул ему:

— У меня есть все, что необходимо.

— Я тоже закончил,— отозвался комиссар.— Этот парень не умеет держаться. Слышали? Он же просто выдал себя. Вы, конечно, скажете: нет привычки.

— Днем он был бы куда тверже,— все так же шепотом ответил папаша Табаре.— Но утром, спросонок... Людей надо брать тепленькими, пока они еще не встали с постели.

— Я тут велел потолковать с некоторыми слугами. Их показания крайне интересны.

— Отлично! Ладно, я помчался к господину следователю, который, наверно, сгорает от нетерпения.

Альбер постепенно начал приходить в себя от потрясения, в какое поверг его приход комиссара полиции.

— Сударь,— попросил он,— вы позволите мне сказать в вашем присутствии несколько слов господину графу де Коммарену? Я стал жертвой ошибки, которая вскоре разъяснится.

— Как всегда, ошибка...— буркнул папаша Табаре.

— Я не имею права выполнить вашу просьбу,— возразил комиссар.— У меня относительно вас имеются особые, самые строгие распоряжения. Отныне вам не дозволяется общаться ни с одной живой душой. Внизу вас ждет карета, так что благоволите спуститься во двор.

Проходя через вестибюль, Альбер обратил внимание на смятение, охватившее слуг. Казалось, они совсем потеряли голову. Г-н Дени повелительным голосом отдавал короткие распоряжения. Уже в дверях Альберу послышалось, как кто-то сказал, будто у графа де Коммарена только что случился апоплексический удар.

Альбера почти внесли на руках в полицейскую карету, и две клячи, впряженные в нее, потрусили ленивой рысцой. Папаша Табаре, севший на наемный фиакр, который везла лошадка порезвей, обогнал их.

VIII

Тот, кто попытается найти дорогу в лабиринте переходов и лестниц Дворца правосудия, поднявшись на четвертый этаж левого крыла, попадет в длинную галерею с очень низкими потолками, тускло освещаемую узкими оконцами и через равные промежутки прорезаемую небольшими дверьми; все вместе весьма напоминает коридор какого-нибудь министерства или недорогой гостиницы.

Здесь трудно сохранять хладнокровие; воображение окрашивает эти своды в самые мрачные и унылые тона.

Понадобился бы новый Данте, чтобы составить подобающую надпись над ступенями, ведущими сюда. С утра до вечера по плитам грохочут тяжелые сапоги жандармов, сопровождающих арестованных. Здесь можно увидеть только угрюмые лица. Это родные или друзья обвиняемых, свидетели, полицейские. В этой галерее, вдали от людских взглядов, находится судейская кухня. Это своего рода кулисы Дворца правосудия, зловещего театра, где разыгры-

ваются самые реальные драмы, замешенные на настоящей крови.

Каждая из низких дверей, на которых черной краской проставлены номера, ведет в кабинет судебного следователя. Кабинеты похожи один на другой: кто видел один из них, имеет представление об остальных. В них нет ничего мрачного, ничего зловещего, а все-таки у того, кто туда входит, сжимается сердце. Здесь почему-то делается зябко. Кажется, в этих стенах было пролито столько слез, что сами стены отсырели. Мороз продирает по коже при мысли о признаниях, которые были здесь исторгнуты, об исповедях, прерываемых рыданиями.

В кабинете судебного следователя правосудие отнюдь не использует тот арсенал, к которому прибегнет позже, чтобы поразить воображение толпы. Здесь оно держится запросто и даже не без добродушия. Оно говорит подозреваемому:

— У меня есть веские основания считать тебя виновным, но докажи мне свою невиновность, и я тебя отпущу.

В этом можно убедиться в первом же кабинете. Обстановка самая примитивная, как и должно быть в таком месте, где никто надолго не задерживается и где бушуют слишком сильные страсти. Какое значение имеют столы и стулья для того, кто преследует преступника, или для того, кто совершил преступление?

Заваленный папками письменный стол следователя, столик для протоколиста, кресло да несколько стульев — вот и вся мебель в этом преддверии уголовного суда. Стены оклеены зелеными обоями, шторы зеленые, на полу скверный ковер того же цвета. На кабинете г-на Дабюрона красовался номер пятнадцать.

Хозяин кабинета пришел сюда к девяти и теперь ждал. Приняв решение, он не терял ни минуты, поскольку не хуже папаши Табаре понимал необходимость незамедлительных действий. Он встретился с императорским прокурором и побеседовал со служащими уголовной полиции.

Покончив с постановлением на арест Альбера, он отправил повестки о немедленном вызове к следователю графу де Коммарену, госпоже Жерди, Нозлю и нескольким слугам Альбера.

Он полагал крайне важным допросить всех этих людей до того, как будет доставлен подозреваемый.

По его приказу в дело ринулись десять полицейских, а сам он засел в кабинете, похожий на полководца, который только что разослал своих адъютантов с приказом начать

сражение и теперь надеется, что его план принесет победу.

Ему частенько доводилось вот так с утра ждать у себя в кабинете при подобных же обстоятельствах. Совершенно преступление, он полагает, что обнаружил преступника, отдал приказ о его аресте. Это его ремесло, не правда ли? Но никогда прежде он не испытывал такого трепета. А ведь ему нередко приходилось выписывать постановления на арест, не имея и половины тех улик, какие собраны на этот раз. Он твердил себе это снова и снова, но никак не мог сладить с тревожной озабоченностью, заставлявшей его метаться по кабинету.

Господину Дабюрону казалось, что подчиненные слишком долго не возвращаются. Он ходил взад и вперед, считал минуты, три раза за пятнадцать минут вынул из кармана часы, чтобы сверить их со стенными. Когда в галерее, в это время безлюдной, раздавались шаги, он невольно подходил к двери и прислушивался.

В кабинет постучали. Пришел протоколист, за которым он посылал.

Во внешности протолиста не было ничего примечательного, он был не столько высокий, сколько долговязый, и тощий как щепка. У него были степенные манеры, размеренные жесты и лицо бесстрастное, словно вырезанное из желтого дерева.

Ему минуло тридцать четыре года, и тринадцать из них он писал протоколы допросов, которые проводили четыре судебных следователя, сменившие друг друга на этом посту. А это означает, что он ко всему привык и умел, не поморщившись, выслушивать самые чудовищные признания. Один остроумный правовед дал такое определение протолисту: «Перо судебного следователя. Человек, который нем, но говорит, слеп, но пишет, глух, но слышит». Протоколист г-на Дабюрона соответствовал всем этим условиям, да вдобавок еще и звался Констан, что значит «постоянный».

Он поклонился и попросил извинения за опоздание. Он, дескать, был в торговом доме, где по утрам прирабатывал счетоводством, и жене пришлось за ним посылать.

— Вы подоспели вовремя,— сказал ему г-н Дабюрон.— Приготовьте пока бумагу: у нас будет много работы.

Пять минут спустя судебный пристав ввел г-на Нозля Жерди.

Адвокат вошел с непринужденным видом человека, который чувствует себя во Дворце правосудия как дома. Нынче утром он ничем не походил на друга папаши Табаре.

Еще меньше угадывался в нем возлюбленный мадам Жюльетты. Он совершенно преобразился, вернее, вошел в свою обычную роль.

Теперь это было официальное лицо, почтенный юрист, каким его знали коллеги, пользующийся уважением и любовью в кругу друзей и знакомых.

Глядя на его безукоризненный наряд и спокойное лицо, невозможно было догадаться, что после вечера, полного тревог и волнений, он нанес мимолетный визит любовнице, а затем провел ночь у изголовья умирающей. Не говоря уж о том, что умирающая эта была его матерью или по крайней мере той, что заменила ему мать.

Какая разница между ним и следователем!

Г-н Дабюрон тоже не спал — но это сразу было видно по его вялости, по печати заботы на лице, по темным кругам под глазами. Сорочка на груди была как жеваная, манжеты несвежие. Душу его так захватил поток событий, что он совсем позабыл о брэнном теле. А гладко выбритый подбородок Ноэля упирался в девственной белизны галстук, на воротничке не было ни морщинки, волосы и бакенбарды были тщательнейшим образом расчесаны. Он отдал следователю поклон и протянул повестку.

— Вы меня вызвали, сударь, — произнес он, — я в вашем распоряжении.

Судебный следователь прежде встречался с молодым адвокатом в коридорах суда, лицо его было ему знакомо. К тому же он вспомнил, что слышал о метре Жерди как об одаренном юристе, который подает надежды и уже успел заслужить прекрасную репутацию. Поэтому он приветствовал его, как человека своего круга — ведь от прокуратуры до адвокатуры рукой подать, — и предложил сесть.

Покончив с формальностями, предшествующими опросу свидетеля, записав имя, фамилию, возраст, место рождения и т. д., следователь, отвернувшись от протоколиста, которому диктовал, обратился к Ноэлю:

— Метр Жерди, вам рассказали о деле, по поводу которого мы побеспокоили вас вызовом в суд?

— Да, сударь, речь идет об убийстве этой несчастной старухи в Ла-Жоншер.

— Совершенно верно, — подтвердил г-н Дабюрон.

И, чрезвычайно кстати вспомнив об обещании, данном папаше Табаре, добавил:

— Мы поспешили обратиться к вам потому, что ваше имя часто упоминается в бумагах вдовы Леруж.

— Это меня не удивляет,— отвечал адвокат.— Мы принимали участие в этой славной женщине: она была моей кормилицей, и я знаю, что госпожа Жерди нередко ей писала.

— Прекрасно! Значит, вы можете дать нам кое-какие сведения.

— Боюсь, сударь, что они будут весьма скудны. Я, в сущности, ничего не знаю о бедной мамаше Леруж. Меня увезли от нее, когда я был совсем мал, а с тех пор, как стал взрослым, я не имел с ней никаких дел, только посылал время от времени скромное вспомоществование.

— Вы никогда ее не навещали?

— Отчего же. Навещал, и не раз, но оставался у нее несколько минут, не дольше. А вот госпожа Жерди частенько с ней виделась, вдова делилась с ней всеми своими новостями, поэтому она могла бы вам рассказать о ней лучше, чем я.

— Надеюсь,— заметил следователь,— увидеть госпожу Жерди. Она, должно быть, получила мою повестку.

— Знаю, сударь, но она не в состоянии вам ничего рассказать: она больна и не встает с постели.

— Тяжело больна?

— Настолько тяжело, что благоразумнее будет, как мне кажется, не рассчитывать на ее свидетельство. По мнению моего друга доктора Эрве, недуг, поразивший ее, никогда не щадит своих жертв. Это нечто вроде воспаления мозга, энцефалит, если не ошибаюсь. Если она и выживет, рассудок к ней уже не вернется.

Эти слова привели г-на Дабюрона в явное замешательство.

— Как это некстати! — пробормотал он.— И вы полагаете, уважаемый метр Жерди, что она ничего не сумеет нам сообщить?

— Об этом нечего и мечтать. Умственные способности ее совершенно расстроены. Когда я уходил, она была в таком тяжелом состоянии, что не знаю уж, переживет ли она нынешний день.

— Когда она заболела?

— Вчера вечером.

— Внезапно?

— Да, сударь, во всяком случае, обнаружилось это вчера. Правда, я по некоторым признакам предполагаю, что ей нездоровилось уже по меньшей мере три недели. А вчера, вставая из-за стола, за которым почти не притронулась к пище, она взяла газету и, как на грех, взгляд ее

упал на заметку, в которой сообщалось об этом убийстве. Она издала душераздирающий вопль, без сил откинулась на спинку кресла и соскользнула с него, упав на ковер и шепча: «О несчастный! Несчастный!»

— Вы хотите сказать «несчастливая»?

— Нет, сударь, именно так, как я сказал. Это определение несомненно не могло относиться к моей бедной кормиллице.

При этих словах, имеющих столь грозный смысл и произнесенных самым невинным тоном, г-н Дабюрон внимательно посмотрел на свидетеля. Адвокат опустил голову.

— А затем? — спросил следователь после минутной паузы, во время которой делал кое-какие записи.

— Это были последние слова, сударь, произнесенные госпожой Жерди. С помощью служанки я перенес ее в постель, вызвал врача, и с тех пор она не приходит в сознание. Да и врач...

— Хорошо, — перебил г-н Дабюрон. — Вернемся к этому позже. А что знаете вы сами, метр Жерди? Были у вдовы Леруж враги?

— Мне об этом неизвестно.

— Значит, не было? Ладно. А скажите, ее смерть может быть кому-нибудь выгодна?

Задавая этот вопрос, судебный следователь смотрел прямо в глаза Ноэлю, не давая ему отвести или опустить взгляд.

Адвокат вздрогнул; было видно, что вопрос не на шутку его взволновал.

Он был растерян, он колебался, в душе его явно происходила борьба.

Наконец дрогнувшим голосом он произнес:

— Нет, никому.

— В самом деле? — настаивал следователь, сверля его пристальным взглядом. — Вы не знаете никого, кому эта смерть выгодна или могла бы быть выгодна, совершенно никого?

— Я знаю одно, сударь, — отвечал Ноэль, — эта смерть причинила мне самому непоправимый вред.

«Наконец-то, — подумал г-н Дабюрон, — вот мы и добрались до писем, ничем не скомпрометировав папашу Табаре. Мне было бы жаль причинить даже малейшую неприятность этому славному и хитроумному человеку».

— Непоправимый вред? — переспросил он. — Я надеюсь, уважаемый метр Жерди, вы объясните, что это значит.

Ноэль явно чувствовал себя все неудобнее.

— Я знаю, сударь,— отвечал он,— что не только не должен вводить правосудие в заблуждение, но обязан сообщить ему всю правду. Тем не менее в жизни существуют обстоятельства столь деликатные, что совесть порядочного человека не может не считаться с ними. И потом, как это тягостно — против своей воли приподымать завесу над мучительными тайнами, разоблачение которых может подчас...

Г-н Дабюрон остановил его движением руки. Следователя тронула печаль в голосе Ноэля. Заранее зная то, что ему предстояло услышать, он страдал за молодого адвоката. Он повернулся к протоколисту.

— Констан! — произнес он со значением.

Эта интонация служила условным знаком: долговязый протоколист неторопливо поднялся, заложил перо за ухо и степенно удалился.

Ноэль оценил деликатность судебного следователя. На лице его выразилась живейшая признательность, он бросил на г-на Дабюрона благодарный взгляд.

— Я бесконечно обязан вам, сударь,— борясь с волнением, проговорил он,— за ваше великодушное внимание. То, что мне придется рассказать вам, крайне для меня тягостно, но вы облегчаете мне задачу.

— Ни о чем не беспокойтесь,— отозвался следователь,— я запомню из ваших показаний только то, что покажется мне совершенно необходимым.

— Я чувствую, сударь, что плохо владею собой,— начал Ноэль,— будьте же снисходительны к моему замешательству. Если у меня вырвутся слова, на ваш взгляд, слишком горькие, не обессудьте, это получится невольно. До недавних пор я полагал, что я незаконнорожденный. Я не постыдился бы признаться в этом, если бы так оно и было. История моя проста. Я не лишен честолюбия, трудолюбив. Кто не имеет имени, должен уметь его себе сделать. Я жил в неизвестности, замкнуто, во всем себе отказывая, как и следует человеку из низов, желающему подняться наверх. Я обожал ту, которую почитал своей матерью, и был убежден, что она меня любит. Пятно моего рождения было причиной некоторых унижений для меня, но я их презирал. Сравнивая свой удел с участью многих и многих, я полагал, что и в моей судьбе есть кое-какие преимущества, но тут волею providения в руки мне попали письма, которые мой отец, граф де Коммарен, писал госпоже Жерди, которая была в то время его любовницей. Прочитав эти

письма, я убедился, что я не тот, кем себя считал, и госпожа Жерди мне не мать.

И, не давая г-ну Дабюрону вставить слово, он повторил все то, что двенадцать часов назад рассказывал папаше Табаре.

Это была та же история, содержащая описание тех же событий, изобилующая теми же точными и убедительными подробностями, но тон рассказа изменился. Насколько накануне, сидя у себя дома, молодой адвокат был выпретен и необуздан, настолько сейчас, в кабинете судебного следователя, он оставался сдержан и скуп на громкие слова.

Казалось, он точно рассчитал, как преподнести свой рассказ каждому из слушателей, чтобы сильнее поразить обоих.

Папаше Табаре с его обывательскими представлениями о жизни предназначалось показное неистовство, г-ну Дабюрону, человеку утонченного ума,— показное смирение.

И если накануне он возмущался против несправедливой судьбы, то теперь смиренно склонял голову перед слепым роком.

С истинным красноречием, в самых уместных и ярких выражениях описал он все, что пережил наутро после своего открытия,— горе, растерянность, сомнения.

Чтобы увериться окончательно, он нуждался в несомненном подтверждении. Мог ли он надеяться получить его от графа или г-жи Жерди, сообщников, заинтересованных в сокрытии истины? Нет. Но он рассчитывал на свидетельство кормилицы, бедной старухи, которая его любила и на склоне дней была бы рада избавиться от мучительного бремени, тяготившего ее совесть. После ее смерти письма обратились в бесполезный хлам.

Потом он перешел к объяснению, которое имел с г-жой Жерди. Тут он был щедрее на подробности, чем в разговоре со стариком соседом.

Из его рассказа следовало, что сперва она все отрицала, но под градом вопросов, перед лицом непреложных фактов дрогнула и созналась, хотя и объявила, что ни за что не повторит этого признания и будет ото всего отпираться, потому что страстно желает сохранить за родным сыном богатство и высокое положение.

После этого объяснения, как полагал адвокат, у бывшей любовницы его отца и начались первые приступы болезни.

Кроме того, Ноэль поведал о своем свидании с виконтом де Коммареном.

В его повествовании проскользнули, пожалуй, легкие неточности, впрочем, столь незначительные, что едва ли можно было поставить их ему в вину. К тому же в них не было ничего порочащего Альбера.

Напротив, адвокат настаивал на том, что этот молодой человек произвел на него наилучшее впечатление.

Разоблачения Ноэля он, правда, выслушал с некоторым недоверием, но в то же время с благородной твердостью и мужественно, как человек, готовый склониться перед законом.

Ноэль с воодушевлением описал своего соперника, которого не испортила беспечная жизнь и который расстался с ним без единого злобного взгляда; он сказал, что чувствует сердечное расположение к Альберу, ведь, в сущности, они — братья.

Г-н Дабюрон выслушал Ноэля с напряженным вниманием, ни единым словом, ни жестом, ни движением бровей не выдавая своих чувств. Когда рассказ был окончен, следовательно заметил:

— Но как же вы можете утверждать, сударь, что смерть вдовы Леруж, по вашему мнению, никому не была выгодна?

Адвокат не ответил.

— Мне кажется, что теперь позиция господина виконта де Коммарена становится почти неуязвима. Госпожа Жерди лишилась рассудка, граф будет все отрицать, письма, которые есть у вас, ничего не доказывают. Надо признать, что убийство пришлось этому молодому человеку как нельзя кстати и совершилось чрезвычайно вовремя.

— Что вы, сударь,— воскликнул Ноэль, протестуя от всей души,— это подозрение чудовищно!

Следователь испытующим взглядом впился в лицо адвоката. Что это — искреннее великодушие или притворство? В самом ли деле Ноэль ничего не заподозрил? Но молодой адвокат, ничуть не смутившись, тут же продолжал:

— Какие опасения, какие причины могли быть у этого человека бояться за свое положение? Я не угрожал ему даже намеком. Разве я появился перед ним как разъяренный ограбленный наследник, который желает, чтобы ему сразу же, немедленно вернули все, чего он был лишен? Нет, я просто изложил Альберу все факты и сказал: «Что вы об этом думаете? Как мы с вами рассудим? Решайте!»

— И он попросил у вас время на размышления?

— Да. Я ему, можно сказать, предложил съездить вместе к мамаше Леруж, чтобы ее свидетельство рассеяло все сомнения, но он как будто меня не понял. А ведь он прекрасно ее знал, он ездил к ней вместе с графом, который, как я выяснил уже потом, давал ей немалые суммы денег.

— Вам эта щедрость не показалась странной?

— Нет.

— У вас есть какое-либо объяснение тому, что виконту явно не захотелось съездить к ней с вами вместе?

— Разумеется. Он сам мне сказал, что предпочитает прежде поговорить с отцом, который сейчас в отъезде, но через несколько дней должен вернуться.

Правду всегда узнаешь: лгуна выдает фальшь в голосе; все на свете это знают и не устают повторять. У г-на Дабюрона не оставалось ни малейшего сомнения в чистосердечии свидетеля. Ноэль продолжал с простодушной искренностью честного человека, чьего сердца никогда не задевало своим совиным крылом подозрение:

— Я тоже склонялся к тому, что сначала следует поговорить с отцом. Я не желал никакой огласки, больше всего мне хотелось бы прийти к полюбовному соглашению. Будь у меня сколько угодно доказательств, я и то не стал бы затевать судебный процесс.

— Вы не подали бы в суд?

— Никогда, сударь, ни за какие соколовища! Неужели,— прибавил он гордо,— желая вернуть себе имя, которое мне принадлежит, я начал бы с того, что обесчестил его?

На сей раз г-ну Дабюруну не удалось скрыть самое искреннее восхищение.

— Поразительное бескорыстие, сударь! — произнес он.

— Мне кажется,— отвечал Ноэль,— что это просто самое разумное решение. Допустим, на худой конец я решил бы уступить Альберу принадлежащий мне титул. Спору нет, Коммарен — громкое имя, но я надеюсь, что лет через десять мое имя тоже станет известным. Я лишь потребовал бы денежного возмещения. У меня ничего нет, и нужда частенько мешала моей карьере. Почти все, чем госпожа Жерди была обязана щедрости моего отца, уже прожито. Большую часть средств поглотило мое образование, а заработок мой лишь недавно начал превосходить расходы. Мы с госпожой Жерди живем весьма скромно. К сожалению, хоть вкусы у нее самые умеренные, но она не умеет экономить, деньги текут у нее сквозь пальцы, и трудно даже представить себе, сколько средств поглощает наше хо-

зьяйство. В конце концов, будь что будет: мне не в чем себя упрекнуть. Поначалу я не в силах был обуздать свой гнев, но теперь избавился от недобрых чувств. А узнав о смерти кормилицы, я мысленно попрощался со своими надеждами.

— И напрасно, дорогой метр Жерди,— возразил следователь.— Теперь уже я вам скажу: надейтесь. Быть может, еще сегодня вы вступите в свои законные права. Не стану скрывать от вас: правосудие полагает, что ему известно, кто убил вдову Леруж. К этому времени виконт Альбер должен уже быть арестован.

— Как! — вскричал Ноэль вне себя от изумления.— Неужели? Не ослышался ли я, господин следователь? Боюсь, что я неправильно вас понял.

— Нет, вы поняли правильно, метр Жерди,— перебил г-н Дабюрон.— Благодарю вас за ваши правдивые, чистосердечные ответы, они значительно упрощают мою задачу. Завтра, поскольку нынче у меня до минуты занят весь день, мы оформим ваши показания. Займемся этим вместе, если не возражаете. А теперь мне остается лишь попросить у вас письма, которые находятся в вашем распоряжении; они мне необходимы.

— Часу не пройдет, как они будут у вас, сударь,— отвечал Ноэль.

И он вышел, высказав господину судебному следователю самую живейшую признательность.

Не будь он так поглощен своими мыслями, он заметил бы в конце галереи папашу Табаре, который радостно неся во весь опор, спеша поскорей выложить новости.

Не успел фиакр остановиться перед решеткой Дворца правосудия, как папаша Табаре выскочил, миновал двор и ринулся в здание. Видя, как он проворнее любого юного помощника письмоводителя взлетает по крутой лестнице, ведущей на галерею судебных следователей, невозможно было поверить, что ему уже давно перевалило за пятый десяток. Он и сам сейчас усомнился бы в этом. Он не помнил, как провел ночь; никогда еще он не чувствовал себя столь бодрым, крепким, веселым. Казалось, ноги сами несли его.

В два прыжка он пронесся по галерее и, как пушечное ядро, влетел в кабинет судебного следователя, толкнув по дороге степенного протоколиста, который проделывал уже сотый круг в зале ожидания. Вопреки своей обычной вежливости папаша Табаре даже не извинился.

— Доставлен! — закричал он с порога.— Взят, схвачен, изловлен, сцапан, заточен, заперт, упрятан! Он у нас в руках! Сейчас папаша Табаре как никогда соответствовал свое-

му прозвищу Загоню-в-угол: его пылкая жестикуляция, его необычные ужимки были так забавны, что длинный протоколист ухмыльнулся, за что, впрочем, выбрал себя вечером, укладываясь спать.

Но г-на Дабюрона, который был еще под впечатлением от признаний Нозля, покорило от этого неуместного ликования, которое, правда, добавляло ему уверенности. Он сурово глянул на папашу Табаре и произнес:

— Тише, сударь, тише, ведите себя благопристойнее, умерьте свои восторги.

В другое время сыщик пришел бы в отчаяние от того, что навлек на себя выговор, но радость делала его неуязвимым для огорчений.

— Хвала богу,— отвечал он,— я не в состоянии сдерживаться и не стыжусь этого. В жизни не видывал ничего подобного! Мы нашли все, о чем я вам говорил. И сломанная рапира, и жемчужно-серые перчатки, и мундштук — все отыскалось. Все это будет вам доставлено, сударь, и еще многое сверх того. Что ни говори, у моей скромной системы есть свои достоинства. Это победа моего индуктивного метода, над которым зубоскалит Жевроль. Я дал бы сто франков, чтобы он сейчас был здесь. Но увы, наш Жевроль охотится за человеком с серьгами. Право слово, с него станет изловить этого незнакомца. Бравый парень наш Жевроль, великий ловкач и молодец! Интересно, сколько ему платят в год за его ловкость?

— Будет вам, дорогой господин Табаре,— вмешался г-н Дабюрон, как только ему удалось вставить слово,— давайте, по возможности, оставаться серьезными и действовать по заведенному порядку.

— Чего уж там,— возразил сыщик,— теперь-то с этим делом все ясно. Когда к вам приведут арестованного, покажите ему только кусочки кожи, изъятые из-под ногтей убитой, и его собственные перчатки, и с ним покончено. Бьюсь об заклад, что он немедля признается. Ставлю свою голову против его, хотя над его головой и нависла изрядная опасность. Впрочем, жизни его ничто не грозит. Эти мокрые курицы, присяжные, способны признать, что у него были смягчающие обстоятельства. У меня бы он не отделался так дешево! Ах, все эти проволоочки пагубны для правосудия! Если бы все думали, как я, наказание мерзавцев не затягивалось бы так надолго. Схватили, повесили, и все тут.

Г-н Дабюрон смирился и ждал конца словоизвержения. Он приступил к расспросам не раньше, чем возбуждение

сыщика немного улеглось. И все-таки ему не без труда удалось добиться точных подробностей ареста, которые должен был подтвердить протокол комиссара полиции.

Следователя поразило, что, увидев постановление на арест, Альбер произнес: «Я погиб!»

— Это страшная улика,— заметил он.

— Разумеется! — подхватил папаша Табаре.— Будь он в спокойном расположении духа, у него ни за что не вырвались бы эти слова, которые в самом деле выдают его с головой. Хорошо, что мы застигли его, когда он еще по-настоящему не проснулся. Он был не в постели. Когда мы приехали, он спал беспокойным сном на канаве. Я постарался проскользнуть вперед и вошел к нему сразу за лакеем, который был в таком ужасе, что, глядя на него, и хозяин перепугался. Я все рассчитал. Но не беспокойтесь, он подыщет благовидное объяснение своему злополучному восклицанию. Должен добавить, что возле него, на полу, мы обнаружили скомканную вчерашнюю «Газетт де Франс», там было напечатано сообщение об убийстве. Впервые газетная заметка помогла схватить виновного.

— Да,— задумчиво пробормотал следователь,— да, господин Табаре, вы суший клад.— И добавил уже громче: — Я имел случай в этом убедиться: только что от меня ушел господин Жерди.

— Вы виделись с Ноэлем! — воскликнул сыщик.

Всю его тщеславную радость как рукой сняло. По его румяной веселой физиономии скользнула тень беспокойства.

— Ноэль был здесь! — повторил он. И робко спросил: — Он не знает?

— Ничего не знает,— отвечал г-н Дабюрон.— У меня не было никакой надобности вас упоминать. И потом, разве я не обещал вам, что ничем вас не скомпрометирую?

— Тогда все хорошо! — воскликнул папаша Табаре.— А что вы, господин следователь, думаете о Ноэле?

— Убежден в его благородстве и порядочности,— сказал следователь.— Человек он сильный и в то же время добрый. Он обнаружил, и вне всякого сомнения искренне, такой образ мыслей, который изобличает в нем возвышенную душу, какие в наше время являются, к прискорбию, редчайшим исключением. В жизни я нечасто встречал людей со столь располагающими манерами. Понимаю, что его дружбой можно гордиться.

— Я же говорил вам, господин следователь! И такое впечатление он производит на всех. Я люблю его как сына,

и, как бы там ни было, он унаследует мое состояние. Да, я оставляю ему все, так и записано у меня в завещании, которое хранится у моего нотариуса, метра Барона. Есть там запись насчет госпожи Жерди, но я ее вычеркну, и не откладывая.

— Сударь, госпоже Жерди скоро ничего не будет нужно.

— Почему? Что такое? Неужели граф...

— Она умирает и едва ли переживет нынешний день.

Так сказал господин Жерди.

— О боже! — воскликнул старик. — Да что вы говорите! Умирает... Ноэль будет в отчаянии. Да нет, она ему не мать, так не все ли ему равно. Умирает! Раньше я глубоко уважал ее, но потом это чувство уступило место презрению. Слаб человек! Нынче роковой день для всех виновных в этом преступлении; я забыл сообщить вам, что, уходя из особняка Коммаренов, слышал, как один слуга рассказывал другому, что у графа, когда он узнал об аресте сына, случился удар.

— Для господина Жерди это будет ужасным несчастьем.

— Для Ноэля?

— Я рассчитывал на свидетельство господина де Коммарена, чтобы возратить господину Жерди все причитающееся ему по праву. Но если ни графа, ни вдовы Леруж нет в живых, а госпожа Жерди лишилась рассудка и умирает, кто же подтвердит, что в письмах содержится правда?

— В самом деле! — пролепетал папаша Табаре. — В самом деле! А я-то и не подумал об этом. Какая неудача! Нет, я не ошибся, я ясно слышал...

Он не договорил. Дверь в кабинет г-на Дабюрона отворилась, и на пороге возник граф де Коммарен собственной персоной, чопорный, словно фигура на старинных портретах, застывшая в ледяной неподвижности в своей золоченой раме.

Старый аристократ сделал знак, и двое слуг, которые провожали его, поддерживая под руки, до самого кабинета, удалились.

IX

Да, это был граф де Коммарен, вернее, его тень. Его гордая голова склонилась на грудь, он сгорбился, глаза его потухли, красивые руки дрожали. Разительный беспорядок его платья делал происшедшие с ним перемены еще заметнее. За ночь он постарел лет на двадцать.

Крепкие старики, подобные ему, похожи на огромные деревья, сердцевина которых искрошилась, так что ствол держится только благодаря коре. Они кажутся несокрушимыми, они словно бросают вызов времени, но ураган валит их наземь. Этот человек, вчера еще гордившийся своей нестигаемостью, был разбит. Он дорожил своим именем, в этом и заключалась вся его сила, и теперь, униженный, он был уничтожен. Все в нем как-то сразу надломилось, все подпорки рухнули. В его бизжизненном тусклом взгляде застыли тоска и смятение. Он являл собой столь полное воплощение отчаяния, что при виде его судебный следователь содрогнулся. Папаша Табаре не в силах был скрыть свой ужас, и даже сам протоколист был тронут.

— Констан,— поспешно сказал г-н Дабюрон,— сходите-ка вместе с господином Табаре в префектуру, узнайте новости.

Протоколист вышел вместе с сыщиком, покидавшим кабинет с явным сожалением.

Граф не обратил внимание на их присутствие, не заметил он и того, что они ушли.

Г-н Дабюрон придвинул ему стул, и он сел.

— Я чувствую такую слабость,— произнес он,— что ноги меня не держат.

Граф извинялся перед ничтожным судебским!

Да, миновали достойные сожаления времена, когда знать чувствовала себя, да, в сущности, и была выше закона. Ушло в небытие царствование Людовика XIV, когда герцогиня Бульонская смеялась над господами из парламента и великосветские отравительницы обливали презрением членов «Огненной палаты»¹. Нынче правосудие всем внушает уважение и отчасти страх, даже если представлено оно добросовестным и скромным судебным следователем.

— Вам, по-видимому, нездоровится, господин граф,— сказал следователь,— и едва ли я вправе просить у вас разъяснений, в надежде на которые вас пригласил.

— Мне уже лучше,— отвечал г-н де Коммарен,— благодарю вас. Для человека, получившего такой жестокий удар, я чувствую себя вполне сносно. Когда я узнал об

¹ «Огненная палата» — суды, первоначально разбиравшие дела по обвинению в ереси, а затем и в отравлении; назывались они так потому, что заседания их проходили при свете факелов даже днем, а осужденные обыкновенно приговаривались к сожжению. В 1676 г. «Огненной палатой» была осуждена к обезглавливанию и сожжению на костре знаменитая отравительница маркиза де Бренвилье; в 1680 г. герцогине Мари-Анн Бульонской (1646—1714), младшей племяннице кардинала Мазарини, было предъявлено обвинение в соучастии с нею, однако она была оправдана.

аресте сына и услышал, в чем он обвиняется, меня как гром поразило. Я, полагавший себя сильным человеком, был повержен во прах. Слугам показалось, что я умер. Мне и в самом деле лучше бы умереть! Врач говорит, что меня спас мой крепкий организм, но я полагаю, что бог судил мне остаться в живых, чтобы до конца испытать чашу унижения.

Он замолчал, ему сдавило горло. Следовательно, не смея шевельнуться, замер возле своего стола.

Через несколько мгновений графу, по-видимому, стало легче; он продолжал:

— Разве не следовало мне, злосчастному, быть готовым к тому, что произошло? Рано или поздно все тайное становится явным! Я наказан за гордыню, толкнувшую меня на грех. Я возомнил себя выше молний и навлек грозу на свой дом. Альбер — убийца! Виконт де Коммарен на скамье подсудимых! Ах, сударь, карайте меня тоже — это я много лет назад совершил злодеяние. Пятнадцать веков незапятнанной славы угаснут вместе со мной в бесчестии.

Г-н Дабюрон полагал, что грех графа де Коммарена непростителен и отнюдь не намерен был щадить надменного аристократа.

Он ожидал появления высокомерного и неприступного старика и дал себе слово, что собьет с него спесь.

Возможно, он, плебей, которого так свысока третировала в свое время маркиза д'Арланж, затаил, сам того не ведая, недоброе чувство против аристократии.

В уме он подготовил краткое и весьма суровое назида-ние, которое должно было открыть глаза старому вельможе и образумить его.

Однако при виде столь безмерного раскаяния его возмущение перешло в глубокую жалость, и теперь он мучительно искал способа умерить эту скорбь.

— Запишите, сударь,— продолжал граф с горячностью, которой трудно было от него ожидать десять минут назад,— запишите мои признания, ничего не опуская. Я не нуждаюсь более ни в милости, ни в снисхождении. Чего теперь бояться? Разве не ожидает меня публичный позор? Разве не придется через несколько дней мне, графу де Рето де Коммарену, предстать перед судом, чтобы возвестить о бесчестье, постигшем наш дом! Ах, теперь все потеряно, даже честь! Пишите, сударь, я желаю, чтобы все знали: я виноват более всех. Но пускай узнают и то, что я уже страшно наказан и это последнее, смертельное испытание было чрезмерным.

Граф остановился, напрягая память. Затем он продолжал уже более твердым голосом, постепенно приобретающим прежнюю звучность:

— Когда мне было столько лет, сколько сейчас Альберу, родители, пренебрегая моими мольбами, заставили меня жениться на благородной и чистой девушке. Я сделал ее несчастнейшей из жен. Я не мог ее любить. В то время я питал самую пылкую страсть к женщине, которая была добродетельна, пока не отдалась мне, и наша любовь длилась несколько лет. Мне представлялось, что она прелестна, чистосердечна, умна. Ее звали Валери. Все умерло во мне, сударь, но, когда я произношу это имя, оно волнует меня по-прежнему. Я не мог смириться и порвать с ней даже после женитьбы. Должен сказать, она хотела этого. Мысль, что приходится делить меня с другой, была ей невыносима. Не сомневаюсь, что тогда она меня любила. Наша связь продолжалась. Жена моя и любовница почти одновременно почувствовали наступление беременности. Это совпадение заронило во мне пагубную мысль принести законного сына в жертву незаконнорожденному. Я поделился этим замыслом с Валери. К моему величайшему удивлению, она об этом и слышать не хотела. В ней уже пробудился материнский инстинкт, она не желала расставаться со своим ребенком. Как памятник собственному безумию я сохранил письма, которые она писала мне в ту пору; нынче ночью я их перечел. Как я устоял перед ее доводами и мольбами? Должно быть, у меня помутился разум. Она словно предчувствовала несчастье, которое обрушилось на меня сегодня. Но я приехал в Париж, а власть моя над ней была безгранична; я грозил, что брошу ее, что она никогда меня не увидит, и она покорилась. Произвести преступную подмену было поручено Клодине Леруж и моему слуге. И вот теперь титул виконта де Коммарена носит сын моей любовницы, который час назад был арестован.

Г-н Дабюрон и не надеялся получить столь определенное признание, да притом так скоро. В душе он порадовался за молодого адвоката, чей благородный образ мыслей произвел на него большое впечатление.

— Итак, господин граф,— задал он вопрос,— вы признаете, что господин Ноэль Жерди рожден в законном браке и что он единственный, кто имеет право носить ваше имя?

— Да, сударь. Увы, когда-то я радовался исполнению своего замысла, словно одержал великую победу! Дитя моей Валери было здесь, рядом со мной, и радость до того

опьяняла меня, что я обо всем забыл. Я перенес на него любовь, которую питал к его матери, а вернее, если такое возможно, я любил его еще больше. Мысль о том, что он будет носить мое имя, унаследует все мое состояние в ущерб другому ребенку, приводила меня в восторг. А другого я ненавидел, я не желал его видеть. Я не помню, чтобы когда-нибудь поцеловал его. Доходило до того, что сама Валери, добрая душа, упрекала меня в черствости. И только одно омрачало мое счастье. Графиня де Коммарен обожала ребенка, которого считала своим сыном, и буквально не спускала его с колен. Не могу передать, как я страдал, видя, что жена покрывает поцелуями дитя моей возлюбленной. Я старался, когда только можно было, удалять от нее мальчика, а она не понимала, в чем дело, и воображала, будто я не хочу, чтобы сын любил ее. Она скончалась с этой мыслью, сударь, отравившей ее последние дни. Она умерла от горя, но умерла, как святая,— не жалуясь, не ропща, произнеся слова прощения и простив меня в душе.

Невзирая на спешку, г-н Дабюрон не смел прервать графа и перейти к короткому допросу относительно фактов, имеющих прямое отношение к делу.

Он думал о том, что неестественное возбуждение графа вызвано только лихорадкой и вот-вот может смениться полным изнеможением; опасался, что, если перебьет старика, у того уже не хватит сил возобновить рассказ.

— Я не пролил по ней ни единой слезы,— продолжал граф.— Что она внесла в мою жизнь? Горе и угрызения совести. Но божье правосудие покарало меня прежде людского. Однажды мне сообщили, что Валери уже давно обманывает меня, что она неверна мне. Сперва я не хотел верить; это казалось мне дико, противоестественно. Я скорей усомнился бы в себе самом, чем в ней. Я взял ее из мансарды, где она за тридцать су гнула спину по шестнадцать часов. Она была всем обязана мне. Я так давно привык считать ее своей собственностью, что рассудок мой отвергал самое мысль о ее измене. Я не мог позволить себе ревновать. Тем не менее я навел справки, приставил людей наблюдать за ней, унизился до слезки. Да, мне сказали правду. У этой несчастной был любовник, причем давно уже, лет десять. Кавалерийский офицер. Он навещал ее, соблюдая величайшую осторожность. Как правило, уходил он около полуночи, но время от времени оставался на ночь и уходил на рассвете. Когда его посылали в гарнизоны, расположенные далеко от Парижа, он брал отпуск, чтобы ее повидать, и во время отпуска безвылазно оставался у нее

дома. Однажды вечером мои соглядатаи донесли, что он у нее. Я бросился туда. Мой приход ее не смутил. Она приняла меня, как обычно, бросилась мне на шею. Я уже думал, что меня обманули, и готов был все ей рассказать, как вдруг на рояле заметил замшевые перчатки, какие носят военные. Я сдержал себя, потому что не знал, как далеко может увлечь меня ярость, и удалился, не проронив ни слова. Больше я ее не видел. Она писала мне, но я не распечатывал писем. Она пыталась ко мне пробраться, попасться мне на пути, но напрасно: слугам были даны указания, которые они не смели нарушить.

Трудно было поверить, неужели и впрямь сам граф де Коммарен, всегда отличавшийся ледяным высокомерием, презрительной сдержанностью, произносит эти слова, без утайки рассказывает всю свою жизнь, и кому? Человеку, совсем ему незнакомому.

Для графа настал час отчаяния, близкого к безумию, когда отказывает всякая осторожность, потому что чрезмерно сильному чувству нужен выход.

Какой теперь смысл хранить тайну, которую он так бдительно сберегал долгие годы? И вот он избавился от нее, подобно несчастному, который изнемог под бременем непомерно тяжелой ноши, и бросает ее на землю, не думая ни о том, где ее оставляет, ни о том, что она возбудит алчность прохожих.

— Ничто,— продолжал он,— ничто не сравнится с тогдашними моими страданиями. Я любил эту женщину всем своим существом. Она была частью меня самого. Расставшись с ней, я словно с кровью оторвал ее от себя. Не могу передать, какой гнев вскипал во мне, стоило мне ее вспомнить. Я с равным неистовством и презирал и желал ее, и проклинал и любил. Ее ненавистный облик неотступно следовал за мной. Никакими силами я не мог заставить себя забыть ее. Я так и не утешился в этой потере. Но это не все. Меня одолевали чудовищные сомнения при мысли об Альбере. В самом ли деле я его отец? Вы понимаете, как мучительно мне было думать: «Быть может, я принес своего сына в жертву чужому!» Этот незаконнорожденный, носивший имя Коммаренов, внушал мне ужас. На смену нежной дружбе пришло непобедимое отвращение. Сколько раз в ту пору я боролся с безумным желанием убить его! Позже я сумел обуздать свое отвращение, но окончательно преодолеть его мне так и не удалось. Альбер был примерным сыном, сударь, и все же между нами всегда стояла невидимая стена, а он не понимал, в чем дело. Часто

я порывался обратиться в суд, во всем признаться, объявить, кто мой законный наследник; меня удерживала мысль о репутации нашего столь чтимого рода. Я не решался пойти на скандал. Я боялся покрыть наше имя позором, навлечь на него насмешки, ведь спасти его от бесчестия было бы не в моих силах.

На этих словах голос старика аристократа пресекся. Он в отчаянии закрыл лицо руками. По его морщинистым щекам скатились две крупные слезы и тут же высохли.

Тем временем дверь кабинета приотворилась и в щели возникло лицо протоколиста.

Г-н Дабюрон подал ему знак сесть на место.

— Сударь,— обратился он к г-ну де Коммарену голосом, смягчившимся от сочувствия,— вы совершили огромную ошибку, нарушив законы божеские и человеческие, и сами видите, сколь пагубны ее последствия. Ваш долг, так же как наш, состоит в том, чтобы исправить ее.

— Таково и мое намерение, сударь. Да что я говорю! Мое пламенное желание!

— Я могу быть уверен, что вы поняли меня?— настаивал г-н Дабюрон.

— Да, сударь,— отвечал старик,— да, я вас понял.

— Для вас послужит утешением,— добавилследователь,— узнать, что господин Нозль Жерди во всех отношениях достоин высокого положения, которое вы ему возвратите. Быть может, вы признаете, что его характер закалился куда сильнее, чем если бы он воспитывался при вас. Нужда — самый искусный учитель. Это человек весьма одаренный, притом один из самых порядочных и благородных. У вас будет сын, достойный своих предков. И в конце концов, виконт Альбер — не Коммарен, так что никто из членов вашей семьи не покрыл себя бесчестием.

— Не правда ли? — оживился граф и добавил: — Настоящий Коммарен не остался бы в живых ни часу: бесчестие смысается кровью.

Услышав рассуждение старого аристократа, следовательно погрузился в глубокое раздумье.

— Значит, вы, сударь, не сомневаетесь,— спросил он,— в том, что виконт виновен?

Г-н де Коммарен устремил на следователя взгляд, в котором читалось удивление.

— Я только вчера вечером вернулся в Париж,— отвечал он,— и не знаю, что произошло. Знаю только, что человеку, занимающему столь высокое положение, как Альбер, не предъявляют необоснованных обвинений. Уж

если вы его арестовали, значит, вы располагаете не только подозрениями, но и неопровержимыми уликами.

Г-н Дабюрон прикусил язык, не в силах скрыть досаду. Осторожность изменила ему, он чересчур поспешил. Упавая на то, что мысли графа находятся в полном смятении, он чуть было не пробудил в нем недоверие. Подобного промаха подчас не исправить при всей хитрости и осторожности. Под конец допроса, в решающую минуту, он может свести на нет все усилия.

Свидетель, который все время начеку,— не тот свидетель, на которого можно положиться: он боится себя скомпрометировать, оценивает важность вопросов и взвешивает каждое свое слово.

С другой стороны, правосудие, равно как и полиция, имеет склонность во всем сомневаться, всех подозревать и строить любые предположения.

В самом ли деле граф не имел никакого отношения к убийству в Ла-Жоншер? Еще несколько дней назад он наверняка сделал бы все возможное, чтобы выручить Альбера, хотя и не был уверен, что тот — его сын. Как явствовало из его рассказа, он почитал это необходимым для спасения своей чести.

Не из тех ли он людей, которые любой ценой устраняют нежелательных свидетелей? Об этом и размышлял г-н Дабюрон.

Наконец, он не вполне понимал, каковы в этом деле истинные интересы графа, и эта неясность тоже его беспокоила. Все это вместе не на шутку удручало следователя, и оттого г-н Дабюрон испытывал недовольство собой.

— Сударь,— спокойнее заговорил он,— когда вам стало известно, что ваша тайна раскрыта?

— Вчера вечером мне сообщил об этом сам Альбер. Он поведал мне всю эту прискорбную историю с каким-то странным видом: я не понял, что у него на уме. Разве только...

Граф осекся, словно ошеломленный неправдоподобностью предположения, которое готово было сорваться у него с языка.

— Что разве только? — жадно переспросил следователь.

— Сударь,— отозвался граф, уклоняясь от прямого ответа.— Не будь Альбер преступник, он был бы герой.

— Значит, господин граф,— живо подхватил следователь,— у вас есть основания верить в его невиновность?

В голосе г-на Дабюрона столь явственно слышалась

досада, что г-н де Коммарен не мог не воспринять это как оскорбление. Он выпрямился, явно уязвленный, и произнес:

— Я не являюсь свидетелем защиты, точно так же как не являюсь свидетелем обвинения. Я вижу свой долг в том, чтобы помочь восстановить истину, вот и все.

«Ну вот,— подумал г-н Дабюрон,— теперь я еще и оби-дел его. Сколько же еще ошибок я наделаю!»

— Факты таковы,— продолжал граф.— Вчера ве-чером Альбер рассказал мне об этих проклятых письмах; начал он с того, что расставил мне ловушку, потому что у него еще были сомнения: к господину Жерди попали не все мои письма. Между мной и Альбером вспыхнул весь-ма жаркий спор. Он заявил мне, что решился уступить все права Нозлю. Я, напротив, стоял на том, что необходимо во что бы то ни стало заключить любовное соглашение. Альбер посмел мне перечить. Как ни старался я склонить его на свою точку зрения, все было бесполезно. Напрасно я пытался играть на самых, как мне казалось, чувствитель-ных струнах его сердца. Он твердо объявил, что откажется даже вопреки моей воле и удовлетворится теми скромными средствами существования, которые я соглашусь ему обеспечить. Я предпринял еще одну попытку переубедить его, говоря, что этот шаг сделает невозможной женить-бу, которой он пылко желает вот уже два года, но он отве-чал, что уверен в чувствах своей невесты мадемуазель д'Арланж.

Для следователя это имя прозвучало, как пушечный выстрел.

Он так и подскочил в кресле.

Чувствуя, что краснеет, он схватил со стола первую попавшуюся папку и, чтобы скрыть смущение, поднес ее к самому лицу, словно пытаясь прочесть неразборчиво написанное слово.

Теперь он начинал понимать, за какую задачу взялся. Он чувствовал, что волнуется, как ребенок, что обычное спокойствие и проницательность изменили ему. Он со-знавал, что способен совершить какой угодно промах. И зачем он ввязался в это расследование? Он хотел сохра-нить беспристрастие, но разве это зависит от его желания, разве это в его власти?

Он был бы рад отложить беседу с графом, но это уже было невозможно. Опыт следователя подсказывал ему, что это обернется новой ошибкой. Поэтому он продолжил тягостный разговор и задал вопрос:

— Итак, господин виконт обнаружил, вне всякого сомнения, весьма благородные чувства, и все же не упоминал ли он в разговоре с вами о вдове Леруж?

— Упоминал,— отозвался граф, который, казалось, внезапно вспомнил некую подробность, прежде представлявшуюся ему незначительной,— определенно упоминал.

— Должно быть, он утверждал, что свидетельство этой женщины сделает всякую борьбу с господином Жерди бесполезной.

— Именно, сударь. Не говоря уже о его собственном желании, он отказывался исполнить мою волю, ссылаясь как раз на Клодину.

— Прошу вас, господин граф, со всей возможной точностью передать мне ваш разговор с виконтом. Будьте добры, напрягите память и постарайтесь пересказать как можно точнее, что он сказал.

Г-н де Коммарен без особых затруднений последовал этой просьбе. К нему уже начало возвращаться спасительное спокойствие. Пульс, участвовавший из-за перипетий допроса, стал ровным, как прежде. Мысли графа прояснились, и сцена, разыгравшаяся накануне вечером, припомнилась ему до мельчайших подробностей. У него в ушах еще звучали интонации Альбера, он еще видел выражение его лица.

Во время рассказа, необычайно живого, точного и ясного, убеждение г-на Дабюрона все крепло.

Следователя восстанавливало против Альбера именно то, что накануне вызвало восхищение графа.

«Поразительная комедия! — думал он.— Решительно, папаша Табаре видит людей насквозь. Этот молодой человек обладает не только немислимой дерзостью, но и дьявольской изворотливостью. Поистине его вдохновлял гений злодейства. Это чудо, что мы сумели его разоблачить. Как он все предвидел и подготовил! Как искусно провел разговор с отцом, чтобы ввести графа в заблуждение на случай, если произойдет непредвиденное! Каждая его фраза, тщательно обдуманная, должна отвести от него подозрение. И как тонко он осуществил свой замысел! Как позаботился о деталях! Не упустил ничего, даже изысканного дуэта с любимой женщиной. Неужели он в самом деле предупредил Клер? Возможно.

Я мог бы это узнать, но придется встречаться, разговаривать с ней... Бедняжка! Полюбить подобного человека! Но теперь его замысел просто очевиден. Спор с графом —

это его спасительная соломинка. Он и ни к чему не обязывает, и позволяет выиграть время.

Вероятно, Альбер еще немного поупрямился бы, а потом сдался на уговоры отца. Еще и поставил бы себе в заслугу свою уступчивость, потребовал бы вознаграждения за то, что снизошел к просьбам графа. А когда Ноэль явился бы со своими обличениями, он столкнулся бы с господином де Коммареном-старшим, который бы все дерзко отрицал и вежливо спровадил его, а если бы понадобилось, то и велел бы выгнать взашей, как самозванца и обманщика».

Поразительно, хотя и объяснимо, то, что г-н де Коммарен, рассказывая, пришел к тому же, что и следовательно, к таким же или весьма близким выводам.

В самом деле, почему Альбер так настойчиво поминал Клодину? Граф прекрасно помнил, что в запальчивости бросил ему: «Кто же решится на такой великодушный шаг ради собственного удовольствия?» Теперь это благородное бескорыстие разъяснилось.

Когда граф завершил рассказ, г-н Дабюрон заключил:

— Благодарю вас, сударь. Не могу пока сообщить ничего определенного, но у правосудия есть весьма основательные причины предполагать, что во время описанной вами сцены виконт Альбер, как искусный комедиант, сыграл заранее заученную роль.

— И прекрасно сыграл,— прошептал граф.— Ему удалось меня обмануть...

Его прервало появление Ноэля, который вошел, держа в руках черный шагреновый портфель с монограммой.

Адвокат поклонился старому аристократу, а тот встал и отошел в другой конец комнаты, чтобы не мешать разговору.

— Сударь,— вполголоса обратился Ноэль к следователю,— все письма вы найдете в этом портфеле. Прошу вашего позволения удалиться как можно скорее, потому что госпоже Жерди час от часу делается все хуже.

Последние слова Ноэль произнес несколько громче, и граф их услышал. Он вздрогнул; ему стоило невероятных усилий удержаться от вопроса, рвущегося у него из самого сердца.

— И все же, господа, вам придется уделить мне минуту,— отвечал следователь.

Г-н Дабюрон поднялся с кресла и, взяв адвоката за руку, подвел его к графу.

— Господин де Коммарен,— произнес он,— имею

честь представить вам господина Ноэля Жерди.

Вероятно, г-н де Коммарен готов был к подобному повороту событий, потому что ни один мускул у него на лице не дрогнул, он остался невозмутим. Что до Ноэля, то у него был такой вид, словно на него обрушился потолок: он пошатнулся и ему пришлось опереться на спинку стула.

Отец и сын застыли друг перед другом; со стороны могло показаться, что каждый думает о своем, но в действительности оба хмуро и недоверчиво приглядывались друг к другу, и каждый пытался проникнуть в мысли другого.

Г-н Дабюрон ждал большего от театрального эффекта, замысленного им, когда граф вошел в его кабинет. Он льстил себе надеждой, что это внезапное знакомство повлечет за собой бурную патетическую сцену, которая не оставит его клиентам времени на размышления. Граф распахнет объятия, Ноэль бросится ему на грудь, и для полного признания отцовства останется лишь дожидаться официального решения суда.

Его надежды были развеяны чопорностью графа и смятением Ноэля. Поэтому он счел своим долгом вмешаться.

— Господин граф,— с упреком произнес он,— вы сами только что признали, что господин Жерди — ваш законный сын.

Г-н де Коммарен не отвечал; казалось, он не слышал. Ноэль, собравшись с духом, осмелился заговорить первым.

— Сударь,— пролепетал он,— я не в обиде на вас...

— Вы можете обращаться ко мне «отец»,— перебил надменный старик голосом, в котором не звучало ни намек на волнение или нежность.

Затем, обратившись к следователю, он спросил:

— Я еще нужен вам, сударь?

— Вам остается выслушать ваши показания,— отвечал г-н Дабюрон,— и подписать, если вы сочтете их записанными точно. Читайте, Констан.

Долговязый протоколист совершил полуоборот на стуле и начал читать. У него была совершенно неповторимая манера бубнить то, что запечатлели его каракули. Читал он страшно быстро, частил, не обращая внимания ни на точки, ни на запятые, ни на вопросы, ни на ответы. Он просто тараторил, пока хватало дыхания, затем набирал в грудь побольше воздуха и опять принимался за свое. При его чтении все невольно представляли себе ныряльщика, который время от времени высовывает голову из воды,

вдыхает воздух и снова погружается. Никто, кроме Ноэля, не вслушивался в это чтение, словно бы нарочито неразборчивое. Ноэль же извлек из него много важных для себя сведений.

Наконец Констан произнес сакраментальные слова «в удостоверение чего и т. д.», завершающие все протоколы во Франции. Он поднес графу перо, и тот без колебаний, молча поставил свою подпись.

Затем старый аристократ обернулся к Ноэлю.

— Я не вполне здоров,— сказал он.— Посему придется вам, сын мой,— на этих словах он сделал ударение,— проводить вашего отца до кареты.

Молодой адвокат торопливо приблизился и, просияв, подставил руку отцу, на которую тот оперся.

Когда они вышли, г-н Дабюрон не удержался и дал волю любопытству. Он подбежал к двери, приотворил ее и выглянул в галерею.

Граф и Ноэль еще не дошли до конца галереи. Шагали они медленно.

Граф тяжело, с трудом передвигал ноги; адвокат шел рядом маленькими шажками, слегка склонившись к старику, и в каждом его движении сквозила забота.

Следователь не покидал своего наблюдательного пункта, пока они не исчезли из виду за поворотом галереи. После этого с глубоким вздохом вернулся за стол.

«Как бы то ни было,— подумал он,— я содействовал счастьем одного человека. Не так уж безнадежно плох этот день».

Но предаваться раздумьям было некогда, часы летели. Ему хотелось как можно скорее допросить Альбера, а кроме того, следовало выслушать показания нескольких слуг из особняка Коммаренов и доклад комиссара полиции, производившего арест.

Слуги, уже давно ждавшие своей очереди, были без промедления введены, один за другим, в кабинет. Им было почти нечего сказать, однако каждое свидетельство добавляло новые улики. Нетрудно было понять, что все верили в виновность хозяина.

Поведение Альбера с начала этой роковой недели, малейшее его слово, самый незначительный жест — все было отмечено, растолковано и истолковано.

Человек, живущий в окружении тридцати слуг,— это все равно что насекомое в стеклянной банке под лупой натуралиста.

Ни один его шаг не ускользнет от наблюдения, ему

едва ли удастся сохранить что-либо в секрете, а если и удастся, то все равно окружающие будут знать, что у него есть какой-то секрет. С утра до вечера он остается мишенью для тридцати пар глаз, жадно следящих за мельчайшими движениями его лица.

Итак, следовательно в изобилии получил те мелкие подробности, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но самая пустячная из которых в судебном заседании может вдруг обернуться вопросом жизни и смерти.

Комбинируя, сравнивая и сопоставляя показания, г-н Дабюрон проследил жизнь подозреваемого час за часом, начиная с воскресного утра.

Итак, утром, едва Ноэль ушел, виконт позвонил и отдал распоряжение отвечать всем без различия посетителям, что он отбыл в деревню.

С этой минуты весь дом заметил, что хозяину, как говорится, не по себе: не то он не в духе, не то захворал.

Днем он не выходил из библиотеки и приказал подать обед туда. За обедом съел только овощной суп да кусочек камбалы в белом вине.

За едой сказал дворецкому: «Велите повару в другой раз положить побольше пряностей в этот соус». Потом бросил как бы в сторону: «Впрочем, к чему это?» Вечером отпустил всех собственных слуг, сказав им: «Сходите куда-нибудь, развлекитесь!» Категорически запретил входить к нему в покои, если только он не позвонит.

На другой день, в понедельник, он встал лишь в полдень, хотя обыкновенно поднимался очень рано. Жаловался на сильнейшую головную боль и тошноту. Все же выпил чашку чая. Велел подать карету, но тут же отменил свое распоряжение. Любен, его камердинер, слышал, как хозяин сказал: «Сколько можно колебаться!» — а несколько мгновений спустя: «Пора с этим покончить». Затем виконт сел писать.

Любену было поручено отнести письмо мадемуазель Клер д'Арланж и отдать либо ей в собственные руки, либо ее наставнице мадемуазель Шмидт.

Второе письмо вместе с двумя тысячефранковыми купюрами было передано Жозефу для доставки в клуб. Имени получателя Жозеф не запомнил, никакими титулами оно не сопровождалось.

Вечером Альбер ел только суп и закрылся у себя.

Во вторник рано утром он был уже на ногах. Бродил по особняку как неприкаянный, словно с нетерпением чего-то ожидая.

Затем вышел в сад, и садовник спросил, как разбивать газон. Виконт ответил: «Спрóсите у господина графа, когда он вернется». Позавтракал он так же, как накануне.

Около часу дня он спустился в конюшни и с удрученным видом приласкал свою любимую кобылу Норму. Глядя ее, произнес: «Бедное животное! Бедная моя старушка!» В три часа явился посыльный с номерной бляхой, принес письмо.

Виконт схватил это письмо, торопливо развернул. Он стоял около цветника. Два лакея явственно слышали, как он произнес: «Она не откажет мне». Затем он вернулся в дом и сжег письмо в большом камине в вестибюле.

В шесть часов, когда он садился обедать, двое его друзей, г-н де Куртивиуа и маркиз де Шузе, прорвались к нему вопреки запрету принимать кого бы то ни было. Судя по всему, это его крайне раздосадовало.

Друзья хотели во что бы то ни стало увезти его поразвлечься, но он отказался, сославшись на то, что у него назначено свидание по весьма важному делу.

Пообедал он несколько плотнее, чем в предыдущие дни. Даже потребовал бутылку шато-лафита и всю выпил.

За кофе он выкурил в столовой сигару, что было вопиющим нарушением правил, заведенных в особняке.

В половине восьмого, если верить Жозефу и двум лакеям, или в восемь, как утверждали швейцар и Любен, виконт вышел из дому пешком, прихватив с собой зонтик.

Вернулся он в два часа ночи и отослал камердинера, который в соответствии со своими обязанностями дожидался хозяина.

Войдя в среду в комнаты виконта, лакей был поражен состоянием хозяйской одежды. Она была мокрая и перепачкана в земле, брюки разорваны. Он позволил себе что-то заметить по этому поводу, и Альбер отрезал: «Бросьте это тряпье в угол, возьмете, когда вам скажут». В этот день, казалось, он чувствовал себя лучше. Завтракал с аппетитом, и дворецкий нашел, что он повеселел. Днем виконт не выходил из библиотеки, жег там какие-то бумаги.

В четверг ему, похоже, опять сильно нездоровилось. Он с трудом поехал встречать графа. Вечером, после объяснения с отцом, Альбер вернулся к себе в самом плачевном состоянии. Любен хотел сбегать за врачом, но хозяин запретил ему не только звать врача, но и говорить кому бы то ни было о его недомогании.

Таково было краткое содержание двадцати страниц, которые исписал долговязый протоколист, ни разу не

подняв головы, чтобы взглянуть на сменявших друг друга ливрейных свидетелей.

Г-ну Дабюрону удалось собрать все эти показания менее чем за два часа.

Все слуги, хотя и отдавали себе отчет в важности своих показаний, тем не менее были крайне болтливы и многословны. Остановить их было нелегким делом. И все-таки из того, что они наговорили, бесспорно следовало, что Альбер был очень хорошим хозяином, в меру требовательным и добрым. Но странное дело, из всех опрошенных от силы трое, судя по всему, не обрадовались страшному несчастью, постигшему хозяев. По-настоящему опечалились двое. Г-н Любен, пользовавшийся особым благоволением виконта, к числу их явно не относился.

Настал черед комиссара полиции. В нескольких словах он дал отчет об аресте, о котором уже рассказал папаша Табаре. Не забыл комиссар отметить и восклицание «Я погиб!», вырвавшееся у Альбера; с его точки зрения, оно было равносильно признанию. Затем он перечислил все вещественные доказательства, изъятые у виконта де Коммарена.

Судебный следователь внимательно осмотрел эти предметы, тщательно сравнивая с уликами, привезенными из Ла-Жоншер.

По-видимому, результаты осмотра обрадовали его больше всего.

Он своими руками разложил их на письменном столе и прикрыл сверху несколькими большими листами бумаги, какой оклеивают папки для судебных дел.

Время бежало, но до темноты г-н Дабюрон еще успевал допросить обвиняемого. Да и с какой стати откладывать? В руках у него более чем достаточно доказательств, чтобы отправить под суд, а оттуда напрямую на площадь Рокетт¹ десяток человек. В предстоящей борьбе он будет располагать столь сокрушительным оружием, что Альберу, если только он не сошел с ума, нечего и думать о защите. И все же в этот час своего торжества следователь чувствовал, что силы его иссякли. Быть может, ослабела воля? Или изменила обычная решительность?

Совершенно случайно он вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня, и срочно послал за бутылкой вина и бисквитами. По правде сказать, ему нужно было не столь-

¹ Площадь в Париже, на которой была расположена тюрьма Рокетт, предназначенная для отправляемых на каторгу и приговоренных к смертной казни; построена в 1830 г., уничтожена в 1900 г.

ко подкрепиться, сколько собраться с духом. И пока он отхлебывал из бокала, в мозгу у него сложилась странная фраза: «Сейчас я предстану перед виконтом де Коммареном».

В другое время он посмеялся бы над подобным вывертом мысли, но сейчас в этих словах увидел волю провидения.

— Что ж,— решил он,— это будет мне карой.

И, не оставляя себе времени на раздумья, распорядился, чтобы к нему привели Альбера.

Х

Альбер, можно сказать, без перехода перенесся из особняка Коммаренов в одиночную камеру тюрьмы.

Грубый голос комиссара, возгласившего: «Именем закона вы арестованы»,— вырвал его из тягостных сновидений, и теперь потрясенному рассудку Альбера требовалось время, чтобы обрести равновесие.

Все события, следовавшие за арестом, представлялись ему неясными, подернутыми густым туманом, словно сцены сновидений, которые в театре играют за занавесом из четырех слоев газа.

Ему задавали вопросы, он отвечал, не слыша собственных слов. Потом двое полицейских свели его, поддерживая под руки, вниз по лестнице. Сам бы он не смог сойти: ноги у него стали как ватные и подгибались. Голос слуги, оповестившего об апоплексическом ударе, случившемся с графом,— вот единственное, что поразило его тогда. Но и об этом Альбер тоже забыл.

Его буквально втащили в полицейскую карету, стоявшую во дворе у самого крыльца, и посадили на заднюю скамейку. Двое полицейских сели на переднюю, третий — на козлы рядом с кучером. По пути Альбер так и не осознал происходящего. Он трясся на грязном, засаленном сиденье кареты, как куль. Старые скверные рессоры почти не смягчали толчков, и на каждом ухабе Альбера швыряло из стороны в сторону, а голова моталась так, словно у него порвались шейные мышцы. Альбер вспоминал вдову Леруж. Мысленным взором он видел ее такой, какой она была, когда он с отцом приезжал в Ла-Жоншер. Дело было весной, цвел боярышник. Пожилая женщина в белом чепце стояла у садовой калитки и с искательным выражением что-то говорила. Граф хмуро слушал, потом вынул из кошелька несколько золотых и протянул ей.

Из кареты Альбера вынесли чуть ли не на руках.

Пока в мрачной и смрадной гюремной канцелярии исполнялись формальности, связанные с записью в книгу арестованных, Альбер механически отвечал на вопросы, а сам с нежностью думал о Клер. Он вспоминал время, когда только-только влюбился и еще не знал, суждено ли ему счастье разделенного чувства. Встречались они у м-ль де Гозлло. У этой старой девы был известный всему левому берегу желтый салон, производящий самое несуразное впечатление. На мебели и даже на камине возлежала там в разнообразных позах дюжина, если не полтора десятка собак всевозможных пород, вместе либо поочередно скрашивавших своей хозяйке путь через пустыню безбрачия. Она любила рассказывать об этих своих верных друзьях, об их неизменной преданности. Альберу все они казались нелепыми и даже уродливыми. Особенно один пес, кудлатый и безобразно толстый, который, казалось, вот-вот лопнет. Сколько раз, глядя на него, они с Клер смеялись чуть не до слез.

В этот миг его стали обыскивать.

Подвергшись этому последнему унижению, чувствуя, как по его телу шарят чужие, грубые руки, Альбер стал приходить в себя, в нем шевельнулся гнев.

Однако с формальностями уже было покончено, и его повели по темным коридорам с грязными и скользкими каменными полами. Открылась какая-то дверь, его втолкнули в камеру. Он услышал за спиной лязг засова и скрежет замка.

Теперь он был арестант, притом содержащийся на основании особого распоряжения в одиночной камере.

Первым его чувством было облегчение. Он остался один. Больше он не услышит шушуканья, злых голосов, назойливых вопросов. Его объяла тишина, подобная безмолвию небытия. Казалось, что отныне и навсегда он отделен от людей, и это было приятно. Тело его испытывало ту же невыносимую усталость, что и мозг. Альбер искал взглядом, куда бы сесть, и справа, напротив зарешеченного окошка с нависающим над ним козырьком, обнаружил узкую койку. Он обрадовался ей, наверно, так же, как утопающий радуется спасительной доске. Альбер с наслаждением растянулся на ней. Укрывшись грубым шерстяным одеялом, он уснул тяжелым, свинцовым сном.

В коридоре два полицейских, один совсем еще молодой, а второй уже с сединою, попеременно приносили то глазом, то ухом к глазку в двери. Они подслушивали и под-

глядывали за арестантом, следили за каждым его движением.

— Господи, экая тряпка этот новенький! — пробормотал молодой. — Коль у тебя нервы слабые, оставайся лучше честным человеком. Уж этот-то, небось, не станет изображать гордеца, когда его утром поведут брить голову. Верно я говорю, господин Балан?

— Как знать, — задумчиво отвечал старый полицейский. — Поглядим. Лекок мне сказал, что это крепкий малый.

— Гляди-ка! Никак укладывается! Он что, спать собрался? В первый раз такое вижу.

— Это потому, что до сих пор вы имели дело с мелкими жуликами, друг мой. Все знатные прохвосты — а у меня в руках, слава богу, побывало их много — ведут себя точно так же. Сразу после ареста — спокойной ночи, никого нет, и сердце у них успокаивается. Вот они и спят до следующего дня.

— А ведь и вправду заснул! Да он и впрямь злодей!

— Нет, дружище, это вполне естественно, — наставительно заметил старик. — Я убежден, что, совершив преступление, этот парень потерял покой, его все время точил страх. Теперь он знает, что его игра сыграна, и потому спокоен.

— Ну, вы шутник, господин Балан! Ничего себе спокойствие!

— А как же! Самая страшная казнь — это мучиться беспокойством, хуже этого ничего нет. Будь у вас хотя бы тысяч десять ренты, я указал бы вам способ проверить правоту моих слов. Я сказал бы вам: «Езжайте в Хомбург и поставьте разом все свое состояние на красное или черное». А потом вы рассказали бы мне, что испытывали, пока катился шарик. Это, знаете, все равно как если тебе раскаленными щипцами вытащили спинной мозг, а вместо него в позвоночник льют расплавленный свинец. Такая мука, что, даже когда все проигрываешь, чувствуешь облегчение и радостно вздыхаешь. Говоришь себе: «Фу, слава богу, кончилось!» Ты разорен, проигрался, остался без гроша, но зато все уже позади.

— Можно подумать, господин Балан, что вы прошли через это.

— Увы! — вздохнул старый надзиратель. — Тому, что я составляю вам компанию у этого глазка, вы обязаны моей любви к даме пик, несчастной любви. Однако наш подо-

печный проспит часа два. Не спускайте с него глаз, а я пойду во двор покурю.

Альбер проспал четыре часа. Когда же проснулся, голова у него прояснилась — такой она не была ни разу после встречи с Ноэлем. Это были ужасные минуты: он впервые смог трезво представить себе свое положение.

— Сейчас главное, — прошептал он, — не падать духом.

Ему страшно захотелось увидеть кого-нибудь, поговорить. Пускай его допросят, он все объяснит. Он даже решил постучать в дверь, но потом подумал: «Не стоит. Когда надо будет, за мной придут».

Альбер хотел посмотреть, который час, но обнаружил, что у него отобрали часы. Эта мелочь особенно его задела. Значит, к нему относятся, как к последнему преступнику. Он полез в карманы, но они были пусты. Тут он представил себе, в каком он виде, и, сев на койку, привел в порядок одежду. Почистил ее от пыли, поправил пристежной воротничок, с грехом пополам перевязал галстук. Потом смочил водой уголок носового платка, протер лицо и промокнул глаза: к векам было больно прикасаться. Попытался пригладить волосы и придать бороде обычную форму. Альбер и не подозревал, что находится под неусыпным надзором.

— Ну вот, наш петушок проснулся и чистит перышки, — пробормотал молодой надзиратель.

— Я же говорил, — заметил г-н Балан, — что он был просто пришиблен. Тс-с! Кажется, что-то говорит...

Однако они не заметили отчаянных жестов, не услышали бессвязных слов, что невольно вырываются у людей слабых, охваченных страхом, или у неосторожных, полагающихся на уединенность одиночной камеры. Только однажды до слуха обоих шпионов долетело произнесенное Альбером слово «честь».

— Поначалу у всех прохвостов из высшего общества это слово не сходит с языка, — шепотом пояснил г-н Балан. — Больше всего их беспокоит мнение десятка знакомых и сотен тысяч тех, кто читает «Судебную газету». О своей голове они начинают думать после.

Когда пришли жандармы, чтобы препроводить Альбера к следователю, он сидел на краешке койки, опершись ногами на решетку, а локтями на колени и спрятав лицо в ладони.

Чуть только открылась дверь, он встал и двинулся им навстречу. Однако горло у него пересохло, и он понял, что не сможет произнести ни слова.

Он попросил повременить секунду, подошел к столику и выпил подряд две кружки воды.

— Я готов! — заявил он, поставив кружку на стол, и твердым шагом пошел в сопровождении жандармов по длинному переходу, ведущему во Дворец правосудия.

У г-на Дабюрона на душе было скверно. Ожидая подследственного, он метался по кабинету. В который раз за утро он сожалеет, что позволил втянуть себя в это дело.

«Будь проклято нелепое тщеславие, которому я поддался! — думал он. — Какую же я сделал глупость, когда сам себя убедил софизмами и даже не попробовал их опровергнуть! Ничто на свете не может изменить моего отношения к этому человеку. Я ненавижу его. Я — его следовательно, но ведь это его я хотел убить. Я почти держал его на мушке — почему же не нажал на спуск? Не знаю. Какая сила удержала мой палец, когда достаточно было едва осязательного усилия, чтобы раздался выстрел? Не могу сказать. Что было нужно для того, чтобы он оказался следователем, а я убийцей? Если бы намерение каралось так же, как исполнение, мне должны были бы отрубить голову. И я еще смею его допрашивать!»

Подойдя к двери, г-н Дабюрон услышал на галерее тяжелую поступь жандармов.

— Ну вот! — громко произнес он и, поспешно усевшись в кресло за стол, склонился над папками, словно пытаясь спрятаться.

Если бы долговязый протоколист был наблюдательней, он мог бы насладиться необычайным зрелищем: следователь волнуется больше, чем обвиняемый. Но он был слеп и в ту минуту думал только о погрешности в пятнадцать сантимов, которая вкралась в его счета и которую он никак не мог обнаружить.

В кабинет следователя Альбер вошел с высоко поднятой головой. Лицо его носило следы сильной усталости и долгой бессонницы, оно побледнело, но глаза были ясны и чисты.

Формальные вопросы, с которых начинается любой допрос, дали г-ну Дабюрону возможность собраться с духом. К счастью, утром он выкроил часок, чтобы обдумать план допроса, и теперь оставалось только следовать этому плану.

— Вам известно, сударь, — с отменной учтивостью спросил он, — что вы не имеете права на фамилию, которую носите?

— Да, я знаю, что я побочный сын господина де Комарена, — отвечал Альбер. — Более того, мне известно, что мой отец не мог бы признать меня, даже если бы захотел, так как я родился, когда он состоял в браке.

— Каковы же были ваши чувства, когда вы об этом узнали?

— Я солгал бы вам, сударь, если бы заявил, что не испытал безмерного огорчения. Когда стоишь так высоко, падение ужасно и очень болезненно. Но ни на единый миг у меня не возникло мысли оспаривать права господина Ноэля Жерди. Я принял решение уступить ему и так и заявил господину де Коммарену.

Г-н Дабюрон ждал такого ответа, и он ничуть не поколебал его подозрений. Уж не является ли он частью подготовленной системы защиты? Теперь нужно найти способ разрушить эту защиту, а не то обвиняемый замкнется в ней, как в раковине.

— Вы и не могли ничего сделать, не могли помешать признанию господина Жерди,— заметил следователь.— На вашей стороне были бы граф и ваша мать, но у господина Жерди была свидетельница вдова Леруж, против которой вы были бессильны.

— Я ничуть в этом не сомневался, сударь.

— Ну что ж,— протянул следователь, пытаясь стереть с лица выражение настороженного внимания.— У правосудия есть причины предполагать, что вы с целью уничтожения единственного существующего доказательства убили вдову Леруж.

Страшное обвинение, да еще так грозно произнесенное, ничуть не смутило Альбера. Он держался с той же уверенностью, и ни одной складки не прибавилось у него на лбу.

— Господом и всем самым святым на свете клянусь вам, сударь, что я невиновен! — промолвил он.— Я теперь арестант, сижу в одиночке и лишен возможности общаться с людьми, то есть совершенно беспомощен, и надеюсь лишь на то, что ваша беспристрастность поможет мне очиститься от подозрений.

«Экий актер! — подумал г-н Дабюрон.— До чего упорно стоит на своем!»

Он стал просматривать дело, перечитывая отдельные предыдущие показания и загибая уголки листов, на которых содержались нужные ему сведения. Внезапно он задал вопрос:

— Когда вас арестовывали, вы воскликнули: «Я погиб!» Что вы имели в виду?

— Помнится, сударь, я действительно произнес эти слова,— отвечал Альбер.— Услышав, в каком преступлении меня обвиняют, я был потрясен и, словно при вспышке молнии, увидел, что меня ждет. За долю секунды я постиг,

какая опасность надо мной нависла, понял, насколько серьезно и правдоподобно обвинение и как трудно мне будет защищаться. В ушах у меня прозвучало: «Кто же еще заинтересован в смерти Клодины?» И это восклицание вырвалось у меня, оттого что я осознал, сколь неотвратима угроза.

Объяснение было вполне вероятное, возможное и даже правдоподобное. У него было еще то преимущество, что, отталкиваясь от него, можно было перейти к вопросу настолько естественному, что он давно сформулирован в форме правила: «Ищи, кому выгодно преступление». Табаре предвидел, что обвиняемого не так-то просто будет захватить врасплох.

Г-н Дабюрон восхитился присутствием духа и изобретательностью испорченного ума Альбера.

— Да, действительно,— заметил г-н Дабюрон,— по всей видимости, вы более, чем кто-либо, заинтересованы в смерти этой женщины. К тому же мы уверены, понимаете, совершенно уверены, что убийство было совершено отнюдь не с целью грабежа. Найдены все вещи, брошенные в Сену. Нам известно также, что в доме были сожжены все бумаги. Компрометируют ли они кого-нибудь, кроме вас? Если вам известно такое лицо, назовите его.

— Сударь, я никого не могу вам назвать.

— Вы часто бывали у этой женщины?

— Раза три-четыре вместе с отцом.

— А один из ваших кучеров утверждает, что возил вас туда по меньшей мере раз десять.

— Он ошибается. Впрочем, какое имеет значение число поездок?

— Вам было известно расположение комнат? Вы помните его?

— Прекрасно. В доме две комнаты, Клодина спала во второй.

— Само собой разумеется, вдова Леруж вас знала. Если бы вы вечером постучались к ней в окно, как думаете, она открыла бы вам?

— Разумеется, сударь, и без промедления.

— Последние дни вы были больны?

— Во всяком случае, чувствовал себя очень нехорошо. Под бременем испытаний, слишком тяжелых для меня, телесные мои силы ослабли. Но не душевные.

— Почему вы запретили своему камердинеру Любену сходить за врачом?

— Сударь, а чем бы врач помог моей беде? Разве вся

его ученость в силах превратить меня в законного сына господина де Коммарена?

— Люди слышали, как вы вели какие-то странные речи. Создавалось впечатление, будто в доме вас больше ничто не интересует. Вы уничтожали бумаги, письма.

— Сударь, я решил покинуть этот дом, и мое решение должно вам все объяснить.

На вопросы следователя Альбер отвечал быстро, уверенно, без малейшего замешательства. Его приятный голос ни разу не дрогнул, в нем не было и тени волнения.

Г-н Дабюрон решил, что разумней будет изменить тактику допроса. Имея столь сильного противника, он выбрал явно неверный путь. Неразумно заниматься мелкими частностями: этого обвиняемого не запугаешь и не запутаешь с их помощью. Надо нанести сильный удар.

— Сударь, расскажите, пожалуйста, как можно точнее и подробнее,— неожиданно попросил следователь,— что вы делали во вторник с шести вечера до полуночи.

Альбер, похоже, впервые смешался. До сих пор он смотрел на следователя, но сейчас отвел взгляд.

— Как я провел вторник?..— повторил он, словно пытаясь выиграть время.

«Попался!» — вздрогнув от радости, подумал г-н Дабюрон и подтвердил:

— Да, с шести вечера до полуночи.

— Должен признаться, сударь, мне трудно ответить на ваш вопрос,— проговорил Альбер.— Я не уверен, что помню...

— Быть не может! — запротестовал следователь.— Я понял бы вашу неуверенность, если бы попросил вас сказать, что вы делали в такой-то вечер и такой-то час три месяца назад. Но речь-то идет о вторнике, а сегодня у нас пятница. Тем более это был последний день карнавала. Может быть, это обстоятельство поможет вашей памяти?

— Я выходил в тот вечер,— пробормотал Альбер.

— Давайте уточним. Где вы обедали?

— Дома, как обычно.

— Ну, не совсем как обычно. Под конец обеда вы попросили принести бутылку шато-лафита и всю ее выпили. Очевидно, для исполнения ваших планов вам необходимо было придать себе решимости.

— У меня не было никаких планов,— явно неуверенно ответил обвиняемый.

— Ошибаетесь. К вам перед самым обедом зашли двое

ваших друзей, и вы им сказали, что у вас неотложное свидание.

— То была всего лишь вежливая отговорка, позволившая мне не пойти с ними.

— Почему?

— Неужели вы не понимаете, сударь? Я смирился, но не утешился. Я пытался свыкнуться с этим жестоким ударом. Разве при сильных потрясениях человеку не свойственно искать одиночества?

— Следствие подозревает, что вы хотели остаться один, чтобы поехать в Ла-Жоншер. Днем вы произнесли: «Она не сможет отказать». О ком вы говорили?

— Об особе, которой я накануне писал и которая прислала мне ответ. Очевидно, я произнес это, держа письмо, которое мне только что вручили.

— Письмо было от женщины?

— Да.

— И что вы с ним сделали?

— Сжег.

— Эта предосторожность вынуждает предположить, что письмо было компрометирующим.

— Ни в коей мере, сударь. Оно было личным.

Г-н Дабюрон был уверен, что письмо это пришло от м-ль д'Арланж.

Так что же делать: уцепиться за него и заставить обвиняемого признать имя Клер?

Г-н Дабюрон решился и, наклонясь к столу, чтобы Альберу не видно было его лица, задал вопрос:

— От кого было письмо?

— От особы, имя которой я не назову.

— Сударь,— строго сказал следователь,— не стану скрывать, что положение ваше крайне скверное. Не ухудшайте же его преступным умолчанием. Вы здесь для того, чтобы отвечать на все вопросы.

— О делах моих, но не о касающихся других лиц,— сухо ответил Альбер.

Он был оглушен, ошеломлен, обессилен стремительным и все усиливающимся темпом допроса, не дававшим ему возможности перевести дыхание. Вопросы следователя падали один за другим, словно удары молота на раскаленное железо, которому кузнец торопится придать форму.

Возмущение, проскользнувшее в голосе обвиняемого, серьезно обеспокоило г-на Дабюрона. К тому же он был крайне изумлен тем, что не подтверждается предсказание папаши Табаре, которому он верил, как оракулу.

Табаре предсказал, что будет предъявлено неопровержимое алиби, а обвиняемый все не выкладывает его. Почему? Неужели у него есть что-то получше? Что он прячет за пазухой? Надо полагать, у него в запасе какой-то непредсказуемый ход, возможно даже неотразимый.

«Спокойней, я его еще не прижал по-настоящему», — подумал следователь и сказал:

— Ладно, продолжим. Что вы делали после обеда?

— Вышел.

— Ну, не сразу. Выпив бутылку вина, вы сидели в столовой и курили, и, поскольку это было необычно, на это обратили внимание. Какой сорт сигар вы обычно курите?

— «Трабукос».

— И при курении пользуетесь мундштуком?

— Да, — отвечал Альбер, удивленный этой серией вопросов.

— В котором часу вы вышли?

— Около восьми.

— Зонтик с собой взяли?

— Да.

— И куда направились?

— Я гулял.

— Один, без всякой цели, весь вечер?

— Да.

— Тогда опишите мне ваш точный маршрут.

— К сожалению, сударь, это будет весьма затруднительно. Я вышел, чтобы выйти, чтобы пройти, чтобы вырваться из оцепенения, в котором пребывал последние три дня. Не знаю, вполне ли вы представляете мое состояние, но я потерял голову. Я шел, куда несут ноги, — бродил по набережным, по каким-то улицам...

— Все это крайне неправдоподобно, — прервал его следователь.

Однако г-ну Дабюрону полагалось бы помнить, что это правдоподобно и даже очень. Разве он сам не пробродил, как безумный, целую ночь по Парижу? Что бы он ответил, если бы утром его спросили: «Где вы ходили?» «Не знаю», — потому что и вправду не знал. Но он забыл, а страхи, мучавшие его в самом начале, испарились. Начался допрос, и его охватила лихорадка поисков, увлекло волнение борьбы, обуял профессиональный азарт.

Г-н Дабюрон вновь превратился в судебного следователя. Вот так фехтмейстер, взявшийся поупражняться с лучшим другом, упивается звоном стали, распаляется, забывает обо всем и убивает его.

— Значит, вы не встретили никого, кто мог бы прийти сюда и подтвердить, что видел вас? Ни с кем не разговаривали? Никуда не заходили — ни в кафе, ни в театр, ни даже в табачную лавку, чтобы закурить сигару?

— Нет, я никуда не заходил.

— Что ж, сударь, это крайне прискорбно для вас, я сказал бы, безмерно прискорбно, потому что вынужден вам сообщить: именно во вторник между восемью вечера и полночью была убита вдова Леруж. Поэтому, сударь, я еще раз, в ваших же интересах, прошу вас подумать, не прячь память.

Услышав про день и время убийства, Альбер, казалось, был потрясен. Жестом отчаяния он поднес руку ко лбу и тем не менее недрогнувшим голосом произнес:

— Мне очень жаль, сударь, но я ничего не могу вспомнить.

Следователь был безмерно удивлен. Как! Неужели у него нет алиби? Нет, никакая это не уловка и даже не система защиты. Да впрямь ли уж так силен этот человек? Нет, разумеется. Просто-напросто его захватили врасплох. Он даже не думал, что до него доберутся. Правда, для этого понадобилось едва ли не чудо.

Г-н Дабюрон неторопливо снял большие листы бумаги, прикрывавшие изъятые у Альбера вещественные доказательства.

— А теперь перейдем к рассмотрению обвинений, выдвинутых против вас. Подойдите, пожалуйста, сюда. Вы узнаете принадлежащие вам вещи?

— Да, сударь, это все мои вещи.

— Прекрасно. Начнем с рапиры. Кто ее сломал?

— Я, когда фехтовал с господином Куртивуа. Он может это засвидетельствовать.

— Его допросят. А куда делся отломанный конец?

— Не знаю. Об этом следовало бы спросить моего камердинера Любена.

— Совершенно верно. Он заявил, что искал его, но не нашел. Хочу вам заметить, что жертва была заколота заточенным обломком рапиры, с которой сняли предохранительный наконечник. Доказательством тому вот этот кусок ткани, которым убийца вытер оружие.

— Я прошу вас, сударь, распорядиться, чтобы как следует поискали. Не может быть, чтобы обломок рапиры не нашли.

— Хорошо, я дам распоряжение. На этом листе точный отпечаток следа убийцы. Я накладываю на него один из

ваших ботинок, и, как сами видите, его подошва точно совпадает с отпечатком. Этот гипс — отливка следа, оставленного каблуком убийцы. Прошу заметить, он в точности похож на каблук вашего ботинка. Более того, и тут и тут в одном и том же месте выступает сапожный гвоздь.

Альбер внимательнейшим образом наблюдал за всеми действиями следователя. Было заметно, что он пытается превозмочь растущий страх. Может быть, он подавлен ужасом, охватывающим преступников, когда они видят, что изобличены? На все замечания следователя он хрипло отвечал:

— Верно, совершенно верно.

— Именно так, и все же потерпите еще немного, — продолжал г-н Дабюрон. — У преступника был зонтик. Конец зонтика отпечатался на влажной глинистой почве. Деревянное кольцо, которым закреплена ткань, снаружи полое. Перед вами кусок глины, с величайшими предосторожностями взятый на месте преступления, а вот ваш зонтик. Сравните форму колец. Похожи они или нет?

— Сударь, — попытался возразить Альбер, — но ведь эти вещи производятся в огромных количествах.

— Хорошо, оставим эту улику. Взгляните на окурок сигары, обнаруженный на месте преступления, и ответьте, какой это сорт и как ее курили.

— «Трабукос», и курили ее с мундштуком.

— Как эти, не так ли? — заметил следователь, указывая на сигары и мундштуки из янтаря и морской пенки, которые были обнаружены в библиотеке на камине.

— Да, — пробормотал Альбер. — Странное, ужасное совпадение!

— Подождите, это еще не все. На убийце вдовы Леруж были перчатки. В агонии жертва цеплялась за руки преступника, и под ногтями у нее остались кусочки кожи. Их оттуда извлекли, и можете удостовериться: они жемчужно-серого цвета. А это вот перчатки, которые вы надевали вечером во вторник. Они тоже серые и поцарапаны. Сравните эти лоскутки кожи со своими перчатками. Тот же цвет, та же кожа, не так ли?

Да, тут невозможно было ни отрицать, ни изворачиваться, ни придумывать отговорки. Это был факт, и очевидность его бросалась в глаза. Г-н Дабюрон, делая вид, будто занят исключительно лежащими на столе уликами, не выпускал из поля зрения обвиняемого. Альбер был в ужасе. Пот выступил у него на лбу и медленно стекал по щекам. А руки

так дрожали, что не слушались. Сдавленным голосом он повторял:

— Чудовищно! Чудовищно!

— И наконец,— не останавливался неумолимый следователь,— вот брюки, которые были на вас в вечер убийства. По ним видно, что они промокли, и на них есть не только пятна грязи, но и следы земли. Вот, видите. Более того, на колене они разодраны. В крайнем случае я могу на минуту поверить вам, что вы не помните, где гуляли. Но как прикажете понимать ваше утверждение, будто вы не знаете, где порвали брюки и поцарапали перчатки?

Такому натиску невозможно было противиться. Твердость и стойкость обвиняемого были почти исчерпаны. Силы оставили его. Он рухнул на стул, шепча:

— Я схожу с ума!

— Вы признаете, что вдова Леруж не могла быть убита никем иным, кроме вас? — задал вопрос следователь, впившись взглядом в Альбера.

— Я признаю,— отвечал тот,— что стал жертвой одного из тех страшных совпадений, которые заставляют усомниться в собственном рассудке. Но я невиновен.

— Тогда ответьте, где вы провели вечер вторника?

— Но для этого, сударь, придется...— воскликнул обвиняемый, однако, спохватившись, упавшим голосом закончил: — Все, что мог, я уже сказал.

Г-н Дабюрон встал. Настала пора для решительного удара.

— В таком случае я позволю себе освежить вашу память,— начал он с едва заметной иронией.— Напомню вам, что вы делали. Во вторник в восемь вечера, после того как выпитое вино придало вам решимости, вы вышли из особняка. В восемь тридцать пять на вокзале Сен-Лазар сели в поезд, а в десять вышли на вокзале в Рюэйле...

И г-н Дабюрон, без зазрения совести присвоив мысли папаши Табаре, почти слово в слово повторил все то, что прошлой ночью наговорил в порыве вдохновения старик сыщик.

Да, он имел все основания восхищаться пронизательностью папаши Табаре. Еще ни разу в жизни красноречие г-на Дабюрона не производило такого потрясающего воздействия. Каждое слово, каждая фраза били в цель. И без того уже поколебленная уверенность обвиняемого рушилась, подобно стене, которую непрестанно бомбардируют ядрами.

Альбер был похож — и г-н Дабюрон это видел — на

человека, который, скатываясь в пропасть, понимает: ничто — ни ветки, ни камни — не способно замедлить его падение, и все препятствия и неровности, с которыми он сталкивается, лишь причиняют ему лишнюю боль.

— А теперь,— заключил следовательно,— позвольте дать вам разумный совет. Не упорствуйте и не пытайтесь отрицать то, что отрицать невозможно. Поймите: все, что необходимо знать правосудию, оно знает. Так что поставьтесь признанием заслужить снисхождение у суда.

Г-ну Дабюрону и в голову не приходило, что обвиняемый решится упорствовать. Он уже мысленно видел, как тот, раздавленный, уничтоженный, валяется у него в ногах, умоляя о милосердии. Однако г-н Дабюрон ошибся.

Сколько ни безмерно, казалось, был подавлен Альбер, он собрал всю свою волю и нашел в себе достаточно силы, чтобы выпрямиться и решительно ответить печальным и в то же время твердым голосом:

— Вы правы, сударь. Все доказывает мою виновность. На вашем месте я говорил бы то же, что вы. И тем не менее клянусь вам: я невиновен.

— Но послушайте...— начал было следовательно.

— Я невиновен,— перебил Альбер.— Повторяю это без всякой надежды хоть в чем-то поколебать вашу уверенность. Да, все свидетельствует против меня, все, вплоть до моего поведения здесь. Да, перед такими невероятными, странными, страшными совпадениями я дрогнул духом. Я подавлен, потому что не в силах доказать свою невиновность. Но я не отчаиваюсь. Мои жизнь и честь в руке божией. И хоть сейчас вы убеждены, что я погиб, все равно, сударь, я верю и не отвергаю возможности оправдания. Более того, я жду и надеюсь.

— Что вы хотите этим сказать? — поинтересовался следовательно.

— Только то, что сказал.

— Итак, вы упорно все отрицаете?

— Я невиновен.

— Но это же безумие!

— Я невиновен.

— Ну, хорошо,— сказал г-н Дабюрон,— на сегодня достаточно. Сейчас вам прочтут протокол, а затем отведут в камеру. Предлагаю вам подумать. Может быть, ночью вы все-таки решитесь раскаяться. Если у вас появится желание побеседовать со мной, в котором бы часу это ни было, скажите, чтобы меня позвали, и я приду. Я распоряжусь на этот счет. Читайте, Констан.

Когда жандармы увели Альбера, г-н Дабюрон пробормотал вполголоса:

— Ну и упрямый негодяй!

Само собой разумеется, у него не было и тени сомнения. Он верил, что Альбер — убийца, как если бы получил его признание. Даже если обвиняемый до конца следствия будет упорствовать и отрицать свою вину, на прекращение уголовного дела при имеющихся уликах нет ни малейшего шанса. Г-н Дабюрон был уверен, что доведет его до суда, и готов был поставить сто против одного, что присяжные на все вопросы ответят утвердительно.

Тем не менее, оставшись один, г-н Дабюрон не испытывал того внутреннего и, надо признать, тщеславного удовлетворения, какое у него бывало всякий раз после хорошо проведенного допроса, в результате которого он, как сегодня Альбера, прижимал «своего обвиняемого» к стенке. Внутри что-то грызло его и раздражало. В глубине души он ощущал непонятное беспокойство. Да, он победил, но победа принесла ему лишь чувство неловкости, уныния и недовольства собой.

А еще больше испортила ему настроение мысль, настолько элементарная, что он просто не понимал, как она сразу не пришла ему в голову, и даже злился на себя за это.

«Что-то ведь подсказывало мне,— думал г-н Дабюрон,— что, если я соглашусь участвовать в этом деле, к добру это не приведет. И теперь я наказан за то, что не послушался внутреннего голоса. Нужно было уклониться. Виконт де Коммарен все равно был бы арестован, заключен в тюрьму, допрошен, уличен, предан суду и, вероятней всего, казнен. Но тогда я, непричастный к следствию, мог бы вновь оказаться возле Клер. Она будет в безмерном отчаянии. Оставшись ее другом, я мог бы сочувствовать ее горю, смешивать с ее слезами свои, смягчать ее скорбь. Со временем она утешилась бы, возможно, даже забыла. И уж конечно, испытывала бы ко мне признательность и даже... Кто знает!.. А теперь, что бы ни случилось, я буду внушать ей только ужас. Мой вид станет ей ненавистен. Я навсегда останусь для нее убийцей ее возлюбленного. Я собственными руками вырыл между ней и собой пропасть, которую не заполнить и за тысячелетие. Я потерял ее во второй раз по собственной неисправимой глупости».

Несчастный следователь клял себя, как только мог. Он был в отчаянии. И никогда еще он не испытывал такой ненависти к Альберу, этому негодяю, преступнику, закрывшему ему дорогу к счастью. И еще г-н Дабюрон на все

лады проклинал папашу Табаре. Без настояний сыщика он бы не согласился так скоро. Он бы подождал, все обдумал и, несомненно, сумел предвидеть все те минусы, которые открылись ему сейчас. А этот старик, охваченный, как плохо выдрессированная ищейка, своей дурацкой страстью, увлек его, ошалевшего, обманутого, разгорячившегося, прямо в омут.

Именно этот не самый удачный момент папаша Табаре выбрал, чтобы появиться у следователя.

Ему как раз сообщили, что допрос закончился, и вот он примчался, сгорая от нетерпения узнать, как все прошло, задыхаясь от любопытства и напряженного ожидания и в то же время лелея сладостную надежду на исполнение своих предсказаний.

— Ну, что он? — выпалил Табаре, не успев затворить дверь.

— Разумеется, виновен, — ответил следователь с несвойственной ему резкостью.

Папаша Табаре был озадачен тоном г-на Дабюрона. Он-то спешил сюда за похвалами! Поэтому он довольно робко и нерешительно предложил свои услуги:

— Я пришел узнать, нет ли у господина судебного следователя необходимости в каком-либо дополнительном расследовании, чтобы опровергнуть алиби, предъявленное обвиняемым?

— Нет у него алиби, — сухо отрезал г-н Дабюрон.

— Как! — воскликнул сыщик. — Нет алиби? — И тут же добавил: — Господи, какой я недогадливый! Вы сделали ему мат в три хода, и он во всем признался.

— Да нет же, ни в чем он не признался, — отвечал раздосадованный следователь. — Он согласился, что доказательства неопровержимы, не смог сказать, как провел тот вечер, но заявил, что невиновен.

Папаша Табаре, застывший с разинутым ртом и вытаращенными глазами посреди кабинета, являл собой настолько комичное зрелище, что это не могло не вызвать удивления.

У бедняги буквально опустились руки.

Г-н Дабюрон, несмотря на раздражение, не удержался от улыбки, и даже Констан скорчил гримасу, которая у него соответствовала приступу безудержного хохота.

— Чтобы у эдакого прохвоста и ни алиби, ни оправданий... — бормотал папаша Табаре. — Непостижимо! Не может быть! Нету алиби! Значит, мы ошиблись, значит, он не совершал преступления. Значит, это не он...

Судебный следователь подумал, что, должно быть, его добровольный помощник либо дожидался завершения допроса в кабачке на углу, либо у него что-то с головой.

— К сожалению,— сообщил он,— мы отнюдь не ошибаемся. Более чем определенно доказано, что господин де Коммарен — убийца. Впрочем, если вам это может доставить удовольствие, попросите у Констана протокол допроса и ознакомьтесь с ним, а я пока наведу хоть какой-то порядок в своих бумагах.

— Ну-ну, поглядим,— с какой-то лихорадочной поспешностью бросил папаша Табаре.

Он сел на место Констана и, опершись локтями на стол и запустив пальцы в волосы, буквально проглотил протокол. Закончив чтение, папаша Табаре поднялся растерянный, бледный, расстроенный.

— Сударь,— сдавленным голосом обратился он к судебному следователю,— я явился невольной причиной чудовищного несчастья. Этот человек невиновен.

— Ну, перестаньте,— бросил г-н Дабюрон, продолжая наводить на столе порядок перед уходом.— Вы просто сошли с ума, дорогой господин Табаре. Как после всего того, что вы прочитали, можно...

— Да, сударь, именно после того, что я прочитал, умоляю вас: остановитесь, иначе к горестному списку судебных ошибок мы прибавим еще одну. Перечитайте спокойно, с ясной головой этот протокол: в нем нет ни одного ответа, который не оправдывал бы беднягу, ни одного слова, которое не являлось бы лучом света. Он в тюрьме, в одиночке?

— И останется там,— отвечал следователь.— Как вы можете так говорить после всего, что рассказали мне прошлой ночью, когда я сомневался?

— Но, сударь, я же вам говорил то же самое! — вскричал сыщик.— Ах, несчастный Табаре! Все пропало, тебя не поняли! Простите, господин следователь, но, невзирая на все уважение, которое я обязан испытывать к вам как к чиновнику судебного ведомства, я заявляю: вы не постигли моего метода. А ведь он так прост! Имея преступление со всеми его обстоятельствами и деталями, я по кусочкам строю план обвинения и передаю его вам лишь тогда, когда он готов целиком и полностью. Если к некоему человеку этот план приложим в точности и во всех подробностях, преступник найден. Если нет, значит, арестован невинный. Недостаточно совпадения каких-то отдельных эпизодов. Нет — либо все, либо ничего. Это непреложное условие. Как я здесь добирался до преступника?

Методом индукции — от известного к неизвестному. Я анализировал преступление и представил себе того, кто его совершил. Кто получился у нас в ходе логического рассуждения? Решительный, дерзкий и осторожный негодяй, хитрый, как каторжник. И вы полагаете, что такой человек забыл о предосторожностях, которыми не пренебрег бы даже мелкий воришка? Это неправдоподобно. Вы хотите, чтобы ловкач, оставивший настолько незаметные следы, что они укользнули даже от наметанного глаза Жевроля, запросто обрек себя на провал, исчезнув на целую ночь! Нет, такого быть не может. Я верю в свою систему, как в таблицу умножения, потому что она подтверждается. У убийцы из Ла-Жоншер есть алиби. Альбер не представляет его, значит, он невиновен.

Г-н Дабюрон смотрел на старого сыщика с тем насмешливым любопытством, с каким созерцают проявление нелепой навязчивой идеи. Когда же тот умолк, он возразил:

— Вы, дражайший господин Табаре, допускаете лишь одну ошибку. Вас подводит чрезмерное хитроумие. Вы слишком щедро наделяете этого человека свойственной вам незаурядной сметливостью. Он же пренебрег осторожностью, так как считал себя вне подозрений.

— Нет, сударь, тысячу раз нет! Мой преступник, то есть истинный преступник, которого мы не поймали, всего боялся. Да посмотрите сами: разве Альбер защищался? Нет. Он подавлен, так как понял: эти чудовищные совпадения бесповоротно губят его. Пытается ли он оправдываться? Нет. Он просто говорит: «Это ужасно». И тем не менее, прочитав протокол от начала до конца, я чувствую: он о чем-то умалчивает, но не могу этого объяснить.

— А я могу и потому совершенно спокоен, как если бы он признался. У меня вполне достаточно доказательств.

— Ах, сударь, что такое доказательства? Против арестованного всегда есть доказательства. Они были против всех невинно осужденных. Да я сам представил, и еще какие, против бедняги портного Кайзера...

— В таком случае,— нетерпеливо прервал его следователь,— кто же убил как не он, лицо заинтересованное? Может быть, граф де Коммарен, его отец?

— Нет, убийца был молод.

Г-н Дабюрон покончил с бумагами, взял шляпу и вышел из-за стола.

— Да полно вам, господин Табаре,— промолвил он.— Позвольте мне откланяться и постарайтесь избавиться от химер, которые вас преследуют. Завтра мы переговорим

обо всем, а сегодня я валюсь с ног от усталости. Констан,— обратился он к протоколисту,— оставьте в канцелярии распоряжения на случай, если арестованный Коммарен захочет поговорить со мной.

Г-н Дабюрон направился к двери, но папаша Табаре встал у него на пути.

— Сударь, богом заклинаю вас, выслушайте меня,— умоляюще произнес он.— Альбер невиновен, клянусь вам! Помогите мне найти преступника. Подумайте, какие угрызения будут терзать вас, если из-за нас ему отрубят голову...

Но следовательно, не желая больше ничего слушать, проскользнул мимо папаша Табаре и пошел по галерее. Старик сыщик повернулся к Констану, намереваясь убедить его, доказать. Тщетные старания! Долговязый протокилист торопливо собирался домой, мечтая о супе, который наверно уже остывает.

Выдворенный из кабинета, папаша Табаре очутился в полном одиночестве на галерее, где в этот час уже царил полумрак. Во всем Дворце не слышалось ни звука: можно было подумать, что находишься в каком-то гигантском некрополе. Старик сыщик в отчаянии рвал на себе волосы.

— Горе мне! — приговаривал он.— Альбер невиновен, а подставил его под удар я! Я, старый дурак, вбил в тупую голову следователя мысль, которую теперь не вырвешь оттуда и клещами. Альбер невиновен и терзается самыми чудовищными страхами. А вдруг он покончит с собой? Сколько несчастных, несправедливо обвиненных, в отчаянии накладывали на себя руки в тюрьме. Слаб человек! Но я его не брошу. Я его погубил, я его и спасу. Мне нужен преступник, и я найду его. И он дорого заплатит за мою ошибку!

XI

Выйдя от судебного следователя, Ноэль Жерди посадил графа де Коммарена в экипаж, стоявший на бульваре напротив ограды Дворца правосудия, и сделал вид, будто собирается уходить. Придерживая дверцу кареты приоткрытой, он низко поклонился и спросил:

— Господин граф, когда я смогу иметь честь засвидетельствовать вам свое почтение?

— Садитесь,— бросил г-н де Коммарен.

Изогнувшийся в поклоне адвокат забормотал извинения. Оправдываясь в необходимости уйти, он приводил

весьма веские причины: ему нужно срочно быть дома.

— Садитесь,— тоном, не терпящим возражений, повторил граф.

Ноэль подчинился.

— Вы нашли отца, но предупреждаю, одновременно вы теряете свободу,— вполголоса произнес г-н де Коммарен.

Экипаж тронулся, и только тогда граф заметил, что Ноэль скромно присел на переднее сиденье. Его приниженность очень не понравилась г-ну де Коммарену.

Сядьте же рядом со мной! — приказал он.— Вы что, с ума сошли? Разве вы не мой сын?

Адвокат, ни слова не говоря, уселся рядом с грозным стариком, стараясь занимать как можно меньше места.

Он претерпел жестокое потрясение в кабинете г-на Дабюрона, и обычная самоуверенность и то несколько чопорное хладнокровие, под которым он скрывал чувства, покинули его. К счастью, по дороге у него было время перевести дух и несколько прийти в себя.

На всем пути от Дворца правосудия до особняка отец и сын не обменялись ни словом.

Когда карета остановилась у крыльца и граф, поддерживаемый под руку Ноэлем, вышел из нее, на прислугу это произвело впечатление взрыва.

Правда, слуг было не слишком много, едва ли полтора десятка, так как почти всех лакеев вызвали во Дворец правосудия. Но едва граф и адвокат поднялись наверх, все они, как по мановению волшебной палочки, собрались в вестибюле. Они сбежались из сада и конюшни, из подвала и кухни. Каждый был в своей рабочей одежде, а один молодой конюх притопал в сабо, выстеленных соломой, и, надо сказать, выглядел он на мраморных плитах пола точь-в-точь как кудлатая дворняга на персидском ковре. Кто-то признал в Ноэле воскресного визитера, и этого оказалось достаточно, чтобы еще сильнее разжечь любопытство этих любителей скандалов.

Впрочем, уже с самого утра происшествие в особняке Коммаренов возбуждало безмерное волнение на всем левом берегу. Появились тысячи версий, одни совершенно несуразные, другие попросту дурацкие; их дополняли, исправляли и раздували злоба и зависть. Десятка два соседей, безмерно благородных и столь же спесивых, сочли возможным послать своих наиболее сметливых слуг навестить людей графа с единственной целью хоть что-то выведать. Короче, никто ничего не знал, и тем не менее все все знали.

Пусть, кто пожелает, попытается объяснить часто встречающийся феномен: совершенно преступление, приезжают представители правосудия, окружив себя ореолом тайны; полиция еще почти ничего не знает, однако по городу уже кружат совершенно точные сведения.

— Выходит, этот длинный брюнет с бакенбардами — настоящий сын графа, — задумчиво произнес кухонный слуга.

— Истинная правда, — ответил ему лакей, сопровождавший г-на де Коммарена. — А тот, другой — такой же его сын, как Жан, который толчется здесь в своих рубленых топором башмаках и которого вышвырнут за дверь, ежели увидят.

— Вот так история! — воскликнул Жан, ничуть не напуганный грозящей ему опасностью.

— Как это получилось?

— Да очень просто! Говорят, однажды покойная госпожа графиня пошла погулять с шестимесячным сыном, а ребенка возьми и укради цыгане. Бедная женщина, которая и без того боялась мужа, как огня, совсем перепугалась. И что же она делает? Да просто-напросто покупает младенца у проходившей мимо уличной торговли. Все шито-крыто, и господин граф ничего не знает.

— А убийство-то с чего?

— Так это же проще простого. Торговка увидела, что сынок ее хорошо устроен, стала его шантажировать и доигралась, что он ее кокнул. У господина виконта ни гроша на себя не оставалось. Вот он и решил с нею покончить.

— А этот длинный брюнет кто такой?

Рассказчик собирался было дать самые достоверные сведения на этот счет, но ему помешал Любен, возвратившийся вместе с юным Жозефом из Дворца правосудия. Общее внимание обратилось к Любену — вот так заурядный певец добивается аплодисментов лишь до тех пор, пока на сцену не выйдет прославленный тенор. Собравшиеся повернулись к камердинеру Альбера и умоляюще уставились на него. Вот кто все знает! Поняв, что он — хозяин положения, Любен не стал злоупотреблять своим преимуществом и томить жаждущих новостей.

— Нет, каков негодяй! Ну и гнусный же злодей этот Альбер! — воскликнул он, решительно отбросив и «господин», и «виконт», надо признать, при общем одобрении. — Впрочем, я всегда относился к нему настороженно. Не очень-то он мне был по нраву. Вот с чем связана наша профессия, и это весьма огорчительно. Следовательно не скры-

вал этого от меня. «Господин Любен,— сказал он,— я прекрасно понимаю, каково было такому человеку, как вы, в услужении у этакого мерзавца». Ведь вы же знаете, кроме ста-рухи восьмидесяти четырех лет, он убил еще и двенадцати-летнюю девочку. И эту девочку, сказал мне следовательно, он разрубил на мелкие куски.

— Тут уж надо быть полным дураком,— вмешался Жо-зеф.— Зачем, ежели ты богач, самому делать такие дела, когда есть столько парней, которые рады подзаработать?

— Вот увидите, он выйдет сухим из воды! — уверен-но заявил Любен.— Все богачи стоят друг за друга.

— А я вот,— вступил в разговор повар,— отдал бы свое месячное жалованье за то, чтобы превратиться в мышь и прокрасться послушать, о чем говорят наверху господин граф и этот длинный брюнет. Может, вправду постоять под дверью?

Но предложение не получило поддержки. Тем, кто слу-жил во внутренних покоях, по опыту было известно, что, когда дело касается важных вещей, подслушивать беспо-лезно.

Г-н де Коммарен слишком хорошо знал прислугу, так как имел с нею дело с детства. Его кабинет был полностью защищен от всяческого любопытства.

Самое чуткое ухо, приникшее к замочной скважине наружной двери, не смогло бы ничего услышать, даже если бы графа обуял гнев и голос его гремел подобно грому. Один лишь Дени, или, как его называли, «господин стар-ший слуга», имел возможность кое-что увидеть и услышать, но ему платили за то, чтобы он не болтал, и он держал язык за зубами.

А в это время г-н де Коммарен сидел в том самом крес-ле, по которому вчера, слушая Альбера, в ярости колотил кулаком.

Едва старый аристократ ступил на подножку своей каре-ты, как к нему тут же вернулась вся его надменность.

Он чувствовал себя пристыженным из-за своего поведе-ния у судебного следователя, безмерно корил себя за непро-ститительную, как он считал, слабость и оттого держался еще чопорней и неприступней.

Он поражался, как он смог опуститься до такой податли-вости, как позволил себе так по-плебейски бурно и откро-венно выражать свое отчаяние.

Вспоминая о признаниях, вырвавшихся у него в минуту помрачения рассудка, он краснел и мысленно осыпал себя самыми страшными ругательствами.

Ноэль, как вчера Альбер, полностью владел собой и спокойно стоял в почтительной, но ничуть не униженной позе.

Отец и сын обменивались взглядами, отнюдь не выражавшими ни симпатии, ни приязни.

Они обменивались испытующими взглядами, чуть ли не примеривались друг к другу, словно фехтовальщики, которые оценивают силу противника, прежде чем скрестить оружие.

— Сударь, — произнес наконец граф, — отныне этот дом ваш. С этой минуты вы — виконт де Коммарен и полностью вступаете в права, которых были лишены. Нет, погодите меня благодарить. Я с самого начала хочу избавить вас от любых изъявлений признательности. Запомните, не будь этих прискорбных событий, я никогда не признал бы вас своим сыном. Альбер остался бы тем, кем я его сделал.

— Я вас понимаю, сударь, — отвечал Ноэль. — Убежден, сам я никогда не решился бы на то, на что пошли вы, лишив меня всего принадлежащего мне по праву. Тем не менее заявляю: если бы я имел несчастье совершить подобное, то вел бы себя точно так же, как вы. Вы занимаете слишком видное положение, чтобы позволить себе произвольно менять решение. Стократ лучше страдать от скрытой несправедливости, нежели дать злым языкам трепать свое имя.

Этот ответ удивил графа, но, надо сказать, и обрадовал. Адвокат высказывал его собственные мысли. Однако г-н де Коммарен не позволил себе обнаружить удовлетворение и еще более суровым голосом, чем прежде, заметил:

— Сударь, я не имею ни малейшего права на ваши чувства, ничуть не претендую на них, однако требую неизменного и самого глубокого почтения. В нашем семействе существует традиция: если отец говорит, сын не смеет его прерывать. А вы сейчас прервали меня. Сыновья не высказывают суждений о родителях, как вы сейчас. Когда мне было сорок лет, мой отец впал в детство, но я не помню, чтобы я хоть раз поднял на него голос. Итак, продолжаю. Я покрывал весьма значительные расходы по содержанию жилища Альбера, полностью отделенного от моего, так как у него были свои слуги, выезды, лошади. Сверх того, я давал ему четыре тысячи франков в месяц. Чтобы избежать дурацких толков, я решил поставить ваш дом, насколько это от меня зависит, на более широкую ногу. Но это уже моя забота. Кроме того, я увеличиваю ежемесячную сумму на ваши карманные расходы до шести тысяч франков и прошу вас тратить эти деньги как можно достойнее, стараясь не быть

посмешищем. И еще призываю вас к величайшей осмотрительности. Следите за собой, взвешивайте каждое слово, обдумывайте любой, самый незначительный шаг. За вами будут следить тысячи наглых бездельников, из которых слывается свет: любой ваш промах будет доставлять им радость. Вы когда-нибудь держали в руках шпагу?

— Я неплохо фехтую.

— Отлично. Верхом ездите?

— Нет. Но за полгода я либо стану хорошим наездником, либо сломаю себе шею.

— Постарайтесь научиться, не сломав шеи. Но продолжим. Разумеется, жить вы будете не в комнатах Альбера. Я велю их замуровать, как только избавлюсь от полицейских. Слава богу, места в особняке достаточно. Вы будете жить в другом крыле, и вход к вам будет с другой лестницы. Слуги, лошади, экипажи, мебель, короче, все, что принадлежало или чем пользовался виконт, будет заменено в течение сорока восьми часов. Нужно, чтобы в тот день, когда вас увидят здесь, все выглядело так, будто вы всегда жили в этом особняке. Скандал, конечно, разразится чудовищный, но я не вижу способа избежать его. Благоразумный отец отослал бы вас провести несколько месяцев при австрийском или русском дворе, но в наших обстоятельствах благоразумие было бы безумием. Лучше уж большой шум, который скоро кончится, чем вечный тихий шепоток. Так что не будем пугаться общественного мнения; через неделю все комментарии будут исчерпаны, и разговоры об этой истории станут выглядеть провинциальными толками. Итак, за дело! Сегодня вечером здесь будут рабочие. А для начала я представляю вас людям.

Граф потянулся уже к сонетке, но Ноэль остановил его.

С самого начала этого разговора адвокат чувствовал себя так, словно перенесся в страну Тысячи и одной ночи да еще с волшебной лампой в руках. Самые блистательные его мечты меркли в сравнении с чудесной действительностью. Слушая графа, он ощущал нечто вроде помрачения рассудка и изо всех сил старался справиться с головокружением от сыплющихся на него богатств. Он чувствовал, как в нем, словно по мановению волшебной палочки, рождаются тысячи новых, неведомых ощущений. Мысленно Ноэль уже облачался в пурпур и купался в золоте.

Однако адвокат умел хранить невозмутимость. Он научился владеть своим лицом, и на нем не отражались страсти, бушевавшие у него в душе. Все его чувства были напряжены до предела, но внешне он слушал графа со сдер-

жанной грустью и даже чуть ли не безучастно.

— Сударь,— обратился Ноэль к графу,— позвольте мне при всем глубочайшем почтении к вам высказать некоторые соображения. Я безмерно тронут вашей добротой и все-таки прошу повременить. Возможно, мои доводы покажутся вам справедливыми. Мне думается, теперь от меня требуется величайшая скромность. Презирать общественное мнение — это прекрасно, но не следует бросать ему вызов. Можете быть уверены, что судить меня будут крайне сурово. И что же скажут все, если я чуть ли не с налету поселюсь у вас? Я буду выглядеть как победитель, который по пути к цели ступает на труп поверженного противника. Меня станут упрекать, что я сплю в постели, еще не остывшей после другого вашего сына. Будут ядовито насмехаться над тем, с каким нетерпением я рвусь к радостям жизни. Наверняка меня станут сравнивать с Альбером, и сравнение окажется не в мою пользу: ведь я буду выглядеть торжествующим в то самое время, когда наш род постигло величайшее несчастье.

Граф слушал без всякого видимого недовольства, пораженный, вероятно, справедливостью суждений сына.

Ноэль догадывался, что суровость графа скорее напускная, чем действительная, и эта догадка придавала ему отваги.

— И еще, сударь, я умоляю вас,— продолжал он,— потерпеть немного с переменой моего образа жизни. Если я не стану показываться в свете, все злые слова канут в пустоту. Тем самым я позволю людям свыкнуться с мыслью о грядущей перемене. Очень важно не возмутить свет поспешностью. Немного выдержки, и, когда вы меня представите, я не буду выглядеть узурпатором, наглым самозванцем. Не выставляясь напоказ, я получу преимущество, какое с простецким временем обретает всякий новый человек, сумею снискать одобрение всех, кто завидовал Альберу, превращу в своих защитников людей, которые завтра напали бы на меня, если бы мое возвышение возмутило их своей внезапностью. Наконец, благодаря отсрочке я сумею свыкнуться с новой судьбой. В вашем мире, который теперь станет моим, мне нельзя прослыть выскочкой. Нельзя, чтобы моя фамилия стесняла меня, как новый фрак, сшитый не по моей мерке. И наконец, это даст возможность без шума и, в сущности, конфиденциально внести исправления в записи актов гражданского состояния.

— Да, пожалуй, так будет разумней,— пробормотал г-н де Коммарен.

Столь легко добытое согласие удивило Ноэля. Ему-то казалось, что граф хотел испытать, проверить его. Но как бы там ни было, одержал ли он победу благодаря красноречию или просто избежал ловушки, Ноэль торжествовал. Его уверенность возросла, и он уже полностью владел собой.

— Должен добавить, сударь,— продолжал он,— мне и самому нужно некоторое время. Прежде чем заняться теми, с кем я встречу наверху, я обязан позаботиться о тех, кого оставляю внизу. У меня есть друзья и клиенты. Все произошло, когда я начал пожинать плоды десятилетних упорных трудов. До сих пор я только сеял, лишь собираясь приступить к жатве. Я выбился из неизвестности, завоевал пусть небольшое, но влияние. Без всякого смущения признаюсь, что до сих пор я исповедовал взгляды и идеи, которые покажутся неуместными в особняке де Коммаренов, но в один день невозможно...

— А, так вы либерал? — насмешливо прервал его граф.— Это модная болезнь. Альбер тоже был большим либералом.

— Сударь, я исповедовал идеи, которые присущи любому умному человеку, стремящемуся прожить в жизни. К тому же разве все партии не преследуют единственную и одинаковую цель — власть? А различаются они лишь средствами, какими добиваются ее. Больше на эту тему я не стану распространяться. Но можете быть уверены, сударь, что я сумею носить свою фамилию, сумею думать и поступать соответственно своему положению.

— Я тоже так думаю и надеюсь, что никогда не буду иметь поводов сожалеть об Альбере,— сказал г-н де Коммарен.

— Во всяком случае, если такое случится, то не по моей вине. Но раз уж вы произнесли имя этого несчастного, смиритесь с тем, что нам придется заняться его судьбой.

Граф с величайшим недоверием глянул на Ноэля и заинтересовался:

— Но что мы сможем сделать для Альбера?

— Сударь! — пылко воскликнул Ноэль.— Неужели вы хотите отступить от него сейчас, когда у него не осталось ни единого друга на целом свете? Ведь он ваш сын, мой брат и тридцать лет носил фамилию де Коммарен. Члены одной семьи должны стоять друг за друга. Виновный или невиновный, он имеет право рассчитывать на нас, и мы обязаны ему помочь.

Вот и еще одно свое соображение граф услышал из уст сына, и ему это было приятно.

— И на что же вы надеетесь, сударь? — поинтересовался он.

— Спасти его, если он невиновен, а я предпочитаю верить, что так оно и есть. Я как-никак адвокат и хочу стать его защитником. Мне не раз говорили, что у меня есть способности, и в этом деле я проявлю их сполна. Как бы тяжки ни были обвинения против него, я отведу их, я рассею сомнения, голос мой прольет свет, я найду новые интонации, чтобы внушить свою убежденность судьям. Я спасу его, и это будет моей последней защитительной речью в суде.

— Но если он признается, если он уже признался? — настаивал граф.

— Тогда, сударь,— с опечаленным видом отвечал Ноэль,— я окажу ему последнюю услугу, какую сам потребовал бы у брата, попади я в такое же положение: дам ему средство не дожидаться процесса.

— Прекрасно сказано, сударь! Прекрасно, сын мой! — произнес граф и протянул руку Ноэлю, которую тот, согнувшись в поклоне, пожал с почтительной благодарностью.

Адвокат вздохнул с облегчением. Наконец-то он нашел путь к сердцу надменного аристократа, завоевал его, угодил ему.

— Вернемся же, сударь, к нашим делам,— сказал граф.— Доводы, которые вы только что высказали, вполне убедили меня. Так и будем поступать. Однако воспринимайте мою уступчивость как исключение. Я никогда не возвращаюсь к однажды принятому решению, даже если мне докажут, что оно неверно и противоречит моим интересам. Вы не можете немедленно поселиться у меня, однако ничто не мешает вам обедать вместе со мною. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, где вы будете располагаться, когда официально займете комнаты, которые приготовят для вас.

Ноэль вновь осмелился прервать г-на де Коммарена:

— Сударь, когда вы велели мне поехать с вами, я подчинился, поскольку это был мой долг. А сейчас иной священный долг призывает меня. Госпожа Жерди при смерти. Могу ли я отсутствовать у смертного ложа той, которая воспитала меня как мать?

— Валери... — прошептал граф.

Он спрятал лицо в ладони, и перед его мысленным взором поплыли картины далекого прошлого.

— Она причинила мне много зла,— промолвил он, отвечая собственным мыслям,— погубила мою жизнь, но я не могу быть беспощаден. Она умирает, оттого что на Аль-

бера, нашего сына, обрушилось тяжкое обвинение. Я желал ей смерти, но теперь, в ее последний час, одно мое слово может дать ей безмерное утешение. Я еду с вами!

Услышав это, Ноэль вздрогнул.

— Сударь, умоляю вас, избавьте себя от горестного зрелища! К тому же это будет бесполезно. Госпожа Жерди, вероятно, еще не умерла, но разум ее угас. Она не сумела перенести столь жестокого удара. Она не способна ни узнать вас, ни ответить.

— Ну что ж, поезжайте один,— вздохнул граф.— Ступайте, сын мой.

Слова «сын мой», выделенные к тому же интонацией, прозвучали для Ноэля как победная труба, хотя и не ослабили ни его сдержанности, ни осторожности.

Он поклонился, прощаясь, но граф сделал ему знак не уходить и сообщил:

— Тем не менее ваш прибор ежедневно будут ставить на стол. Я обедаю ровно в половине седьмого и буду рад вас видеть.

После этого граф позвонил и приказал явившемуся «господину главному слуге»:

— Дени, приказ никого не принимать не относится к этому господину. Предупредите людей. Он здесь у себя дома.

Адвокат вышел. Оставшись один, г-н де Коммарен испытал безмерное облегчение.

С самого утра события разворачивались так стремительно, что он с трудом мог уследить за ними. Теперь, наконец, появился случай обдумать происходящее.

«Итак, это мой законный сын,— размышлял он.— В том, что он мой сын, я совершенно убежден. Я совершил бы ошибку, не признав его: в нем я узнаю себя — таким, каким был в тридцать лет. Да, Ноэль хорош во всех отношениях. Лицо его свидетельствует в его пользу. Он умен и тонок. Умеет держаться скромно, но без приниженности, непреклонно, но без вызова. Нежданное состояние не вскружило ему голову. Предвижу, что он не ошалеет от богатства. У него разумный образ мыслей, и он будет с гордостью носить нашу фамилию. Однако я не питаю к нему ни малейшей симпатии и, похоже, сожалею о бедняге Альбере. Увы, я не оценил его. Бедный мальчик! Совершить столь гнусное преступление... Явно, он сошел с ума. Не нравится мне взгляд у этого, слишком уж ясный. Меня уверяют, что этот молодой человек — совершенство. Так или иначе, он выражает самые возвышенные и благопристойные чувства. Он добр и тверд характером, великодушен,

благороден, стоек. В нем нет злопамятства, и он готов посвятить себя мне в благодарность за то, что я для него сделал. Он прощает госпожу Жерди, он любит Альбера. Вот это-то и возбуждает недоверие. Впрочем, нынешние молодые люди все таковы. О, мы живем в счастливое время! Наши сыновья рождаются свободными от заблуждений отцов. Они лишены их пороков, страстей, порывов. Эти скороспелые философы, образцы благоразумия и добродетели, не способны ни на какое безумство. Увы, Альбер тоже был совершенством и все-таки убил Клодину! А что выкинет этот?»

Завершая раздумья, граф бросил вполголоса:

— И все же следовало поехать с ним...

И хотя адвокат уже добрых десять минут как ушел, г-н де Коммарен подошел к окну в надежде увидеть во дворе Ноэля и окликнуть его.

Однако Ноэль был уже далеко. Выйдя из особняка, он взял на Бургундской улице фиакр и велел везти его на улицу Сен-Лазар.

Подъехав к дому, он бросил вознице пять франков и чуть ли не бегом поднялся к себе на пятый этаж.

— Меня кто-нибудь спрашивал? — первым делом поинтересовался он у служанки.

— Никто, сударь, — ответила та.

Похоже, ответ обуздал его тревогу, и Ноэль уже спокойнее задал вопрос:

— А доктор?

— Он приходил утром, когда вас не было, и, кажется, состояние хозяйки ему очень не понравилось. Сейчас он опять здесь.

— Прекрасно. Я переговорю с ним. Если кто-нибудь спросит меня, проводите его в кабинет и дайте мне знать. Вот вам ключ.

Войдя в спальню госпожи Жерди, Ноэль с первого же взгляда понял, что, пока он отсутствовал, никакого улучшения не наступило.

Больная лежала на спине, глаза у нее были закрыты, лицо искажено. Ее можно было бы принять за мертвую, если бы время от времени тело ее не сотрясала конвульсивная дрожь.

Над головой г-жи Жерди висел небольшой сосуд с охлажденной водой, которая по каплям падала на мраморно-бледный лоб больной, испещренный синеватыми пятнами.

Стол и каминная доска были заставлены баночками,

обвязанными розовыми шнурками, пузырьками с микстурами и полупустыми стаканами.

У изножья кровати валялась белая холстина, пропитанная кровью и свидетельствующая о том, что больной только что ставили пиявки.

У горящего камина стояла монахиня ордена, основанного св. Венсаном де Полем¹, ожидая, когда закипит чайник.

То была молодая еще женщина с полным лицом блее, чем ее нагрудник. Спокойная застылость черт и тусклый взгляд свидетельствовали, что она отринула все мирское и отреклась от способности мыслить. Юбки из грубого серого полотна топорщились на ней тяжелыми, безобразными складками. При каждом ее движении длиннющие четки из крашеного самшита с подвешенными к ним крестиком и медными медалями вздрагивали и стукались об пол, звякая, словно цепи.

В кресле у постели больной сидел доктор Эрве и, казалось, внимательно следил за приготовлениями сестры. Завидев вошедшего Ноэля, он стремительно вскочил и, тряся ему руку, воскликнул:

— Ну, наконец-то!

— Знаешь, задержали во Дворце правосудия,— сообщил адвокат, словно чувствуя себя обязанным объяснить свое отсутствие.— Можешь представить, я там сидел как на углях.

Он наклонился к доктору и тревожным голосом тихо спросил:

— Ну, как она?

— Еще хуже,— огорченно опустив голову, сказал доктор.— Приступы следуют один за другим почти без промежутков.

Вдруг адвокат схватил его руку и крепко сжал. Г-жа Жерди чуть пошевелинулась и слабо застонала.

— Она услышала тебя,— шепнул Ноэль.

— Если бы...— отвечал врач.— Я был бы безмерно счастлив. Но ты ошибаешься. Впрочем, взгляни сам.

Он приблизился к г-же Жерди и, нащупав пульс, стал его считать. После этого кончиком пальца поднял ей веко.

Глаз был тусклый, безжизненный, погасший.

¹ Св. Венсан де Поль (1576—1660) — французский священник, занимавшийся благотворительностью. Основал монашеские конгрегации: женскую — «Сестер милосердия» и мужскую — орден лазаристов, основу деятельности которых составлял уход за больными.

— Подойди, убедись. Возьми ее за руку, скажи что-нибудь.

Ноэль, весь дрожа, подошел к кровати, наклонился, так что почти коснулся губами уха больной, и пробормотал:

— Матушка, это я, Ноэль, твой Ноэль. Скажи мне хоть слово, сделай знак, что ты меня слышишь.

Но она не шелохнулась, не подала знака, даже лицо у нее не дрогнуло.

— Ну, видишь? Я же говорил,— заметил врач.

— Бедная,— вздохнул Ноэль.— Она страдает?

— Сейчас нет.

К постели подошла монашка и сообщила:

— Господин доктор, все готово.

— Кликните служанку, сестра, пусть она поможет: мы поставим больной горчичники.

Пришла служанка. Когда обе женщины поднимали г-жу Жерди, казалось, будто они обряжают покойницу. Ее неподвижность была сродни неподвижности трупa.

Видно было, что бедная страдальца болела уже давно: она до такой степени исхудала, что на нее было страшно смотреть. Сестра и та была тронута, хотя и привыкла к виду чужих немощей. Сколько больных испустили последний вздох у нее на руках за те пятнадцать лет, что она провела у изголовья чужих постелей!

Ноэль в это время стоял у окна, прижавшись пылающим лбом к стеклу.

О чем думал он в двух шагах от умирающей, от той, что дала ему столько доказательств материнской любви и чистосердечной преданности? Жалел ли он ее? Или, может быть, мечтал о великолепной, роскошной жизни, которая ждет его на другом берегу, в Сен-Жерменском предместье? Он резко повернулся, услышав слова доктора:

— Ну вот и все. Подождем действия горчичников. Если она почувствует их, это хороший признак. Ну, а если они не помогут, попробуем банки.

— А если и банки не помогут?

Врач ответил пожатием плеч, что должно было обозначать полную беспомощность.

— Ясно, Эрве,— пробормотал Ноэль.— Ты же сказал мне: она безнадежна.

— С точки зрения науки, да. Но знаешь, с год назад тесть одного моего приятеля выкарабкался, а случай был сходный. Да нет, что я говорю,— у него было гораздо хуже, началось уже гноеотделение.

— Главное, мне больно, что она все время без созна-

ния, — вздохнул Ноэль. — Неужели она так и умрет, не очнувшись? Не узнает меня, не промолвит ни слова?

— Ничего не могу ответить. Эта болезнь, старина, создана, чтобы опровергать все предсказания. В любой момент симптомы могут измениться, смотря какую часть мозга затронет воспаление. Сейчас у нее период утраты сознания, утраты всех умственных способностей, забытья, паралича, но вполне возможно, что завтра начнутся конвульсии, сопровождаемые невероятным возбуждением всех функций мозга, безумным бредом.

— И тогда она заговорит?

— Несомненно, но это не изменит ни природы, ни тяжести болезни.

— А... рассудок она обретет?

— Возможно, — отвечал доктор, пристально глядя на друга. — Но почему ты об этом спрашиваешь?

— Ах, дорогой Эрве, мне так необходимо услышать от госпожи Жерди одно слово, всего одно слово!

— А, это из-за твоего дела, да? Знаешь, тут я ничего не могу тебе сказать, ничего не обещаю. У тебя столько же шансов за, сколько и против. Лучше всего никуда не уходи. Если рассудок и вернется к ней, это будет всего лишь проблеск, так что попытайся воспользоваться им. Ну, а я лечу дальше. Мне нужно сделать еще три визита.

Ноэль проводил друга и уже на площадке спросил:

— Сегодня еще заглянешь?

— В девять вечера. Раньше мне делать нечего. Все зависит от сиделки. По счастью, я выбрал тебе настоящее сокровище. Я ее знаю.

— Так это ты прислал эту монашку?

— Да, не спросясь тебя. Ты недоволен?

— Да нет, что ты. Хотя, признаюсь...

— Как! Ты еще капризничаешь? Неужели политические взгляды запрещают тебе доверить уход за твоей матерью, извини, госпожой Жерди, сестре милосердия, монашке?

— Видишь ли, Эрве...

— Ясно, ясно. Сейчас я услышу от тебя извечную песню: они коварны, они втируши, они опасны — я уже столько раз это слышал. Да, если бы дело касалось старого дядюшки, собирающегося оставить мне наследство, я поостерегся бы приводить их к нему. Порой этих монашек обвиняют в довольно странных поступках. Но тебе-то чего ее бояться? Оставь эту болтовню глупцам. Если не иметь в виду наследства, монашки — лучшие в мире сиделки, и я желаю тебе,

чтобы у твоего смертного ложа сидела одна из них. А на сем привет, я тороплюсь.

Ничуть не заботясь о солидности, доктор ринулся вниз по лестнице, а Ноэль в задумчивости, с лицом, на котором читалось беспокойство, возвратился в квартиру.

На пороге спальни г-жи Жерди его поджидала монашка.

— Судары! — окликнула она его. — Судары!

— Что вам угодно, сестра?

— Сударь, служанка велела мне обратиться к вам за деньгами. У нее кончились, и лекарства у аптекаря она взяла в долг.

— Извините, сестра, что я не подумал об этом: у меня голова кругом идет, — с явно раздосадованным видом ответил Ноэль и, вынув из бумажника стофранковый билет, положил его на камин.

— Спасибо, сударь, — поблагодарила монашка. — Все траты я буду записывать. Мы так всегда делаем, чтобы не причинять лишних хлопот родственникам. Когда кто-то в семье болен, близкие так горюют! Вот и вы, например, не подумали, наверно, о том, чтобы дать несчастной даме сладость утешения нашей святой веры? На вашем месте, сударь, я, не мешкая, послала бы за священником.

— Сейчас? Но, сестра, вы же видите, в каком она состоянии! Жизнь в ней, можно сказать, еле теплится. Она даже меня не услышала.

— Это неважно, сударь, — возразила монахиня, — вы просто исполните свой долг. Вам она не ответила, но откуда вы знаете, не ответит ли она священнику? Ах, вы даже не представляете себе, какой властью обладает последнее причастие! Сколько умирающих обретали сознание и силы, чтобы исповедаться и причаститься святым телом Господа нашего Иисуса Христа. Родственники часто говорят, что, дескать, не хотят пугать больного, что вид служителя божьего может внушить ему страх и ускорить конец. Это глубокое заблуждение. Священник вовсе не пугает, он ободряет, укрепляет душу перед переходом в иной мир. От имени Господа он произносит слова утешения, чтобы спасти, а не погубить. Я могла бы рассказать вам множество случаев, когда больные исцелялись от одного лишь помазания святым миром.

Голос у монашки был такой же тусклый, как и взгляд. Похоже, она произносила слова, совершенно не вкладывая в них душу. Она как бы повторяла затверженный урок. А затвердила она его, надо думать, давно — как только

постриглась. В ту пору она еще выражала в какой-то мере то, что чувствовала, делилась своими мыслями. Но с тех пор она столько раз повторяла одно и то же родственникам больных, что в конце концов перестала вслушиваться в то, что говорит. Она просто произносила привычные слова, как будто перебирала зерна четок. Слова превратились в часть ее обязанностей сиделки наряду с приготовлением отваров и компрессов.

Ноэль не слушал ее, мысли его витали далеко.

— Ваша матушка,— продолжала сестра,— эта почтенная дама, которую вы так любите, очевидно, верующая. Неужели вы хотите погубить ее душу? Если бы она, несмотря на ужасные страдания, могла говорить...

Адвокат собирался ей ответить, но тут служанка доложила, что какой-то господин, не пожелавший назвать свою фамилию, просит принять его по делу.

— Иду,— живо ответил Ноэль.

— Сударь, так что вы решили? — не отставала монахиня.

— Даю вам полную свободу, сестра. Поступайте, как сочтете необходимым.

Монахиня забубнила заученные слова благодарности, но Ноэль уже исчез, и почти в ту же секунду она услышала из прихожей его голос:

— Наконец-то, господин Клержо! Я уже отчаялся увидеть вас.

Посетитель, которого ждал адвокат, был личностью, широкоизвестной на улице Сен-Лазар, в окрестностях Провансальской улицы и церкви Лоретской Богоматери, а также на внешних бульварах от улицы Св. Мучеников до круглой площади бывшей заставы Клиши.

Ростовщиком г-н Клержо является ничуть не в большей степени, чем отец г-на Журдена¹ купцом. Просто у него имеются лишние деньги, и он предлагает их своим друзьям, поскольку он крайне любезен, а в качестве награды за подобную услугу удовлетворяется получением процентов, которые могут меняться в пределах от пятидесяти до пятисот.

Превосходный человек, он любит свое занятие, и порядочность его не подлежит сомнению. Он никогда не требует описать имущество должника, а предпочитает годами неустанно преследовать его и по крохам выдирать то, что жертва ему задолжала.

Проживает он где-то в начале улицы Победы. Не имея

¹ Имеется в виду герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».

ни магазина, ни лавки, он тем не менее торгует всем, что можно продать, и даже кое-чем, что закон товаром не признает. И все это только ради того, чтобы услужить ближнему. Иногда он заявляет, что не очень богат. Это вполне правдоподобно. Господин Клержо — человек своеобразный; его причуды иной раз берут верх над жадностью, притом он никого и ничего не боится. Когда его просят, он легко лезет в карман, однако, ежели человек не имел чести понравиться ему, может не дать и пяти франков под какой угодно заклад. Впрочем, деньги свои он ставит на самые рискованные карты.

Клиентура его по преимуществу слагается из особ легкого поведения, актрис, художников и храбрецов, избравших профессию, которая представляет ценность только для тех, кто ею занимается, вроде адвокатов и врачей.

Он ссужает женщин под их красоту, мужчин под их талант. Какое зыбкое обеспечение! Однако следует признать, что его чутье пользуется прекрасной репутацией. Оно редко его подводит. Если Клержо обставил квартиру хорошенькой девице, можно быть уверенным, она далеко пойдет. Для актера ходить в должниках у Клержо — рекомендация куда предпочтительней, чем самая пылкая хвалебная статья.

Ноэль свел полезное и почетное знакомство с г-ном Клержо благодаря своей возлюбленной мадам Жюльетте.

Зная, насколько этот достойный человек чувствителен к изъявлениям вежливости и как обижается, когда не получает их, Ноэль прежде всего пригласил его сесть и поинтересовался здоровьем. Клержо с готовностью откликнулся. Зубы пока еще в порядке, а вот зрение слабеет. Ноги тоже сдают, и слух уже не тот. Покончив с жалобами, он перешел к делу:

— Вы знаете, почему я пришел. Сегодня срок вашим векселям, а мне чертовски нужны деньги. Я имею в виду один на десять, второй на семь и третий на пять тысяч. Итого двадцать две тысячи франков.

— Послушайте, господин Клержо, нельзя ли без дурных шуток? — заметил Ноэль.

— Простите, — удивился ростовщик, — я не собираюсь шутить.

— Хочется верить этому. Ровно неделю назад я написал вам и предупредил, что не буду в состоянии заплатить, и попросил переписать векселя.

— Да, я получил ваше письмо.

— И что же вы мне скажете?

— Я не ответил вам, полагая, что вы поймете, что я не

могу удовлетворить вашу просьбу. Надеюсь, что вы побеспокоитесь найти необходимую сумму.

Ноэль сдержал раздражение и ответил:

— Мне не удалось. Так что примите к сведению: у меня нет ни гроша.

— Черт!.. А вы не забыли, что я уже четырежды переписывал эти векселя?

— Полагаю, я предложил вам такие проценты, что у вас не было причин сожалеть о помещении капитала.

Клержо очень не любил, когда ему напоминали о процентах, которые он берет.

Он считал, что тем самым его унижают.

Поэтому он весьма сухо ответил:

— Я и не жалуюсь. Хочу лишь заметить, что вы не больно-то церемонитесь со мной. А вот пусть я ваши векселя в обращение, я свои деньги получил бы точно в срок.

— Но не больше.

— Ну и пусть. Для человека вашего сословия суд — это не шутка, и вы мигом отыскали бы способ избежать неприятных последствий. Но вы думаете: папаша Клержо — добряк и простофиля. Да, так оно и есть. Но только если это не приносит мне слишком больших убытков. Короче, сегодня мне абсолютно необходимы деньги. Аб-со-лют-но,— повторил он, выделяя каждый слог.

Решительный вид ростовщика, похоже, несколько встревожил Ноэля.

— Вынужден еще раз повторить,— заявил он,— я совершенно без денег. Со-вер-шен-но.

— Что ж, тем хуже для вас,— заметил ростовщик.— Вижу, мне придется передать векселя судебному исполнителю.

— А что это вам даст? Слушайте, сударь, давайте играть с открытыми картами. Вам что, хочется дать заработать судебным исполнителям? Надеюсь, нет? Вы вынудите меня заплатить большие судебные издержки, но вам-то это даст хоть сантим? Вы добьетесь судебного решения против меня. Прекрасно! А дальше что? Опишете имущество? Но тут нет ничего моего, все записано на имя мадам Жерди.

— Это всем известно. Кроме того, распродажа не покрыла бы долга.

— Ах, так вы собираетесь засадить меня в Клиши¹?

¹ Имеется в виду долговая тюрьма, находившаяся в прошлом веке на улице Клиши.

Предупреждаю, вы скверно рассчитали. Я теряю звание, а не будет звания, не будет и денег.

— Что за глупости вы несете! — возмутился почтенный заимодавец. — И это вы называете быть откровенным? Не смешите меня! Да верь вы, что я способен хотя бы на половину гнусностей, какие вы мне тут приписываете, мои денежки уже лежали бы у вас в ящике стола.

— Заблуждаетесь. Мне негде было бы их взять, разве что попросить у госпожи Жерди, а этого я как раз не хочу делать...

Папаша Клержо прервал Ноэля характерным сардоническим смешком.

— Ну, в эту дверь стучаться нет смысла, — заметил он, — кошелек вашей мамы давно уже пуст, и, ежели она отдаст богу душу — а мне сказали, что она тяжело больна, — все наследство не перевалит за две сотни луидоров.

Адвокат побагровел от ярости, глаза его сверкнули, однако он сдержался и довольно бурно запротестовал.

— Я знаю, что говорю, — спокойно продолжал ростовщик. — Прежде чем рисковать своими денежками, люди обычно собирают сведения, и это разумно. Последние сбережения своей матушки вы спустили в октябре. Что ж, Провансальская улица требует расходов. Я тут сделал расчеты, он при мне. Согласен, Жюльетта, вне всяких сомнений, прелестная женщина, равной ей нет, но стоит она дорого. Чертовски дорого!

Ноэль бесился, слушая, как эта достойнейшая личность рассуждает о его Жюльетте. Но что он мог возразить? Впрочем, в мире не бывает совершенства, у г-на Клержо тоже есть недостаток: он не уважает женщин, очевидно, потому, что по роду своей коммерческой деятельности ему приходится сталкиваться с дамами, не внушающими уважения. Общаясь с прекрасным полом, он мил, услужлив и даже галантен, но даже самые гнусные ругательства кажутся не так оскорбительны, как его презрительная фамильярность.

— Вы слишком торопились, — развивал свою мысль Клержо, как бы не замечая возмущения клиента, — и я в свое время говорил вам об этом. Но вы потеряли голову. Вы никогда не могли ей ни в чем отказать. Она еще и захотеть-то не успеет как следует, а вы уже тут как тут. Это неразумно! Если красивой женщине чего-то захотелось, нужно подольше потомить ее, а не исполнять ее желание сразу. Тогда голова у нее занята, и она не думает о всяких глупостях. Четыре желания в год — вот самая мера. Вы же не забо-

тились о собственном счастье. Понимаю, у нее такие глаза, что и статую святого в нише проймают, но надо же и голову на плечах иметь, черт побери! В Париже не наберется и десятка женщин, которых содержат на такую широкую ногу. Вы думаете, она за это сильнее вас любит? Держите шире карман. Как только разорит, она вам даст от ворот поворот.

Ноэль смирился с красноречием своего благодетеля-банкира так же, как человек, не имеющий зонтика, мирится с ливнем.

— К чему же вы клоните? — поинтересовался он.

— Да к тому, что я не намерен переписывать ваши векселя. Вам понятно? Сейчас, как следует постаравшись, вы еще можете раздобыть необходимые двадцать две тысячи. Не хмурьтесь, не хмурьтесь, вы их найдете, хотя бы для того, чтобы не сесть в тюрьму. Найдете, разумеется, не здесь — предполагать подобное было бы глупо, — а у вашей красотишки. Само собой, она не обрадуется и не станет от вас этого скрывать.

— Но ее деньги — это ее деньги, и вы не имеете права...

— И что же? Понимаю, она взвьется и станет настаивать, чтобы вы искали денег в другом месте. Послушайтесь меня и не поддавайтесь ей. Я желаю, чтобы мне немедленно было заплачено. Я не собираюсь давать вам отсрочку, потому что три месяца назад вы израсходовали последнее, что у вас было. Ну, не спорьте, не спорьте! Вы сейчас в таком положении, когда всеми силами стараешься оттянуть развязку. Вы же с радостью подожжете кровать вашей умирающей матушки, чтобы эта особа могла согреть ноги. Где вы достали десять тысяч, которые вчера дали ей? И кто знает, на что вы вскоре решитесь, чтобы раздобыть денег? Желание удержать ее еще две недели, еще три дня, еще денек может завести вас очень далеко. Откройте же глаза! Я все эти штуки знаю. Если вы не бросите Жюльетту, вы погибнете. Послушайте добрый совет, причем бесплатный. Рано или поздно вам все равно придется с нею расстаться. Так сделайте это сегодня.

Вот таков он, достойнейший Клержо, — никогда не скрывает правды от клиентов, ежели у него накопится. Ну, а если они недовольны, тем хуже, зато его совесть чиста. Он не из тех, кто попустительствует безрассудству.

Ноэль не выдержал и дал выход раздражению.

— Ну, хватит! — решительно заявил он. — Можете поступать, как вам угодно, только избавьте меня от своих советов. Я предпочитаю иметь дело с судебным исполнителем.

Если я иду на такой рискованный шаг, то, значит, могу исправить все его последствия, да так, что вы только рот разинете. Да, господин Клержо, я могу завтра утром получить двадцать две тысячи франков, а могу и сто тысяч, стоит мне только попросить. Но делать этого не стану. Не прогневайтесь, но мои траты останутся тайной, как это было и до сих пор. Я не хочу, чтобы люди заподозрили, будто я нахожусь в стесненных обстоятельствах. Даже из уважения к вам я не откажусь от достижения своей цели, тем паче в тот день, когда я уже близок к ней.

«Артачится,— думал ростовщик.— Значит, у него не такое безнадежное положение, как я думал».

— Итак, можете тащить векселя к судебному исполнителю,— продолжал адвокат.— Пусть он приходит. Об этом будет знать только наш привратник. Через неделю меня вызовут в торговую палату, и я попрошу отсрочки на двадцать пять дней, которую суд предоставляет всем несостоятельным должникам. Семь и двадцать пять во всем мире равняется тридцати двум. Как раз столько мне и нужно для устройства своих дел. Короче, вывод таков: либо вы принимаете вексель на двадцать четыре тысячи франков сроком на полтора месяца, либо — слуга покорный, мне недосуг, и можете отправляться к судебному исполнителю.

— Ну, через полтора месяца с деньгами у вас будет так же, как сегодня. А сорок пять дней с Жюльеттой, во сколько же это встанет луидоров?

— Господин Клержо,— отвечал Ноэль,— задолго до этого срока мое положение совершенно переменится. Но я вам уже все сказал,— поднимаясь, заявил он,— у меня совершенно нет времени...

— Минутку, минутку! Экий вы порошок! — всполошился добряк банкир.— Так, говорите, двадцать четыре тысячи франков на полтора месяца?

— Да. То есть приблизительно семьдесят пять процентов. По-моему, это неплохо.

— Да я-то не больно гоняюсь за барышом,— сообщил г-н Клержо,— только...— Он впился в Ноэля взглядом и ожесточенно скреб подбородок; этот его жест свидетельствовал о напряженной работе мысли.— Только я хотел бы знать, на что вы рассчитываете.

— Все, что я мог вам сообщить, я сообщил. Скоро вы все узнаете, как и остальные.

— Ясно! — воскликнул г-н Клержо.— Дошло наконец! Вы женитесь, да? Черт возьми, вы нашли богатую невесту? Ваша крошка Жюльетта что-то такое говорила мне сегодня

утром. Так значит, вы женитесь! А она хороша собой? Да какое это имеет значение. У нее есть денешки, так ведь? Разумеется, без них вы не стали бы жениться. А с родителями вы уже познакомились?

— Я этого не говорил.

— Ладно, ладно, скрытничайте — все и так понятно. Один совет: будьте осторожней, ваша красавица что-то подзревает. Да, вы правы, не стоит добывать деньги. Любой ваш шаг может привести к тому, что будущий тесть узнает про ваше финансовое положение и тогда уж не отдаст за вас доченьку. Словом, женитесь и будьте благоразумны. Главное, бросьте Жюльетту, иначе я гроша не дам за приданое. Хорошо, договорились: приготовьте вексель на двадцать четыре тысячи, а я в понедельник принесу ваши старые векселя.

— А они у вас не с собой?

— Нет. Откровенно признаться, я знал, что иду к вам впустую, и еще вчера передал их вместе с другими судебному исполнителю. Тем не менее можете спать спокойно: я дал вам слово.

Г-н Клержо сделал вид, будто уходит, но тут же повернулся к Ноэлю и сказал:

— Да, совсем забыл! Уж коль будете писать вексель, поставьте там двадцать шесть тысяч. Ваша красавица просила у меня кое-какие тряпки, и я обещал завтра их ей доставить. Таким образом вы оплатите их.

Адвокат попытался протестовать. Разумеется, он не отказывается платить, но считает, что насчет покупок с ним необходимо советоваться. Он не может допустить, чтобы так распоряжались его деньгами.

— Шутник вы! — пожимая плечами, бросил ростовщик. — Неужели из-за такого пустяка вы будете спорить с нею? Ой, задаст она вам! Считайте, что она схватила отступного. И запомните, если вам нужны деньги для свадьбы, дайте мне какое-никакое обеспечение — на эту тему можно побеседовать у нотариуса, — и я к вашим услугам. Ну все, убегаю. До понедельника, не так ли?

Ноэль приник ухом к двери, желая увериться, что ростовщик действительно ушел. Услышав его шаги вниз по лестнице, он разразился проклятьями:

— Скотина! Негодяй! Грабитель! Старый живоглот! Он еще заставил себя упрашивать! Ишь ты, собрался преследовать меня по суду! Хорошо бы я выглядел в глазах графа, если бы до него дошло. Гнусный лихоимец! Я уж думал, придется ему все рассказать. — Продолжая клясть

и поносить ростовщика, Ноэль вытащил часы.— Уже половина шестого...— пробормотал он.

Адвокат был в нерешительности. Пойти на обед к отцу? Но можно ли оставить г-жу Жерди? Обед в особняке Коммаренов был куда соблазнительней, но, с другой стороны, покинуть умирающую...

«Нет, уходить нельзя!» — решил он.

Ноэль сел за бюро и быстро написал отцу письмо с извинениями. Г-жа Жерди, сообщал он, может скончаться с минуты на минуту, и он считает себя обязанным быть дома, чтобы принять ее последний вздох.

Давая служанке поручение отнести письмо посыльному, чтобы тот доставил его графу, Ноэль вдруг спохватился:

— А брату госпожи Жерди известно, что она опасно больна?

— Не знаю, сударь,— ответила служанка.— Во всяком случае, я ему не сообщала.

— Да как же так! Меня не было, и никому не пришло в голову оповестить его! Немедленно бегите к нему и, если его нет, скажите, чтобы его разыскали. Пусть он придет.

Немного успокоившись, Ноэль уселся в комнате больной. Там горела лампа, и монахиня, совершенно уже освоившись, хлопотливо вытирала пыль и наводила порядок. Лицо у нее было довольное, и это не ускользнуло от Ноэля.

— Сестра, есть хоть какая-нибудь надежда? — спросил он.

— Хочу в это верить,— отвечала та.— У нее был господин кюре, но ваша матушка так и не очнулась. Он еще раз придет. Но это не все. Как только господин кюре явился, подействовали горчичники: вся кожа покраснела, и я уверена, что она их чувствует.

— Да услышит вас бог, сестра!

— О, я так молюсь за нее! Главное, ни на минуту не оставлять ее одну. Я договорилась со служанкой. Когда придет доктор, я пойду посплю, а она подежурит до часу. Потом я ее сменю.

— Можете отдыхать, сестра,— со скорбным видом произнес Ноэль.— Ночью подежурю я, мне все равно не удастся сомкнуть глаз.

XII

Получив отпор у судебного следователя, смертельно уставшего после целого дня допросов, папаша Табаре вовсе не чувствовал себя побежденным. Недостаток или, если

угодно, достоинство старого сыщика состояли в том, что он был упрям как мул.

От взрыва отчаяния, нахлынувшего на него в галерее, он вскоре перешел к той непреодолимой решимости, которую можно бы назвать воодушевлением, возникающим в момент опасности. Чувство долга вновь одержало верх. Разве можно предаваться постыдному разочарованию теперь, когда от одной-единственной минуты зависит, быть может, жизнь человеческая? Бездействие непростительно! Он толкнул невинного в пропасть, он и вытащит его оттуда, и, если никто не захочет ему помочь, он справится сам.

Как и следователь, папаша Табаре падал с ног от усталости. Выйдя на воздух, он почувствовал к тому же, что умирает от голода и жажды. Волнения минувшего дня заставили его забыть о самом необходимом, и со вчерашнего вечера во рту в него не было даже глотка воды. На бульваре он зашел в ресторан и заказал обед.

Пока он подкреплялся, к нему потихоньку возвращалось мужество, а вместе с ним и надежда. Теперь ему самое время было бы воскликнуть: «Слаб человек!» Кто не знает по себе, как может перемениться настроение за время самой скромной трапезы! Какой-то философ даже утверждал, что героизм зависит от наполненности желудка.

Теперь нашему сыщику дело представлялось уже не в таком мрачном свете. Разве у него нет в запасе времени? Месяц — большой срок для энергичного человека. Неужели его обычная проницательность изменит ему на этот раз? Разумеется, нет. Он только сожалел, что не может предупредить Альбера о своих трудах ради его освобождения.

Из-за стола он встал другим человеком и бодрым шагом преодолел расстояние, отделявшее его от улицы Сен-Лазар. Когда привратник отворил ему дверь, часы пробили девять.

Начал он с того, что взобрался на пятый этаж, чтобы справиться о своей старинной приятельнице, которую еще не так давно называл милейшей, достойнейшей госпожой Жерди.

Дверь ему отворил Ноэль, которого, судя по всему, растрогали воспоминания о минувшем: он был погружен в такую печаль, словно умирающая и впрямь доводилась ему матерью.

Из-за этого неожиданного обстоятельства папаше Табаре пришлось войти хотя бы на несколько минут, несмотря на то, что чувствовал он себя при этом крайне неловко.

Он предвидел, что, оказавшись с глазу на глаз с адвокатом, ему придется разговаривать о деле вдовы Леруж. Легко ли, зная то, чего не знает и его молодой друг, рассуждать на эту тему и не выдать себя? Одно неосторожное слово может пролить свет на роль, которую играл в этих трагических обстоятельствах папаша Табаре. А ему хотелось остаться чистым и незапятнанным отношениями с полицией, особенно в глазах его дорогого Нозля, ныне виконта де Коммарена.

С другой стороны, он жаждал разузнать, что произошло между адвокатом и графом. Незнание возбуждало его любопытство. Короче говоря, отступать было некуда, и он дал себе слово держать язык за зубами и быть начеку.

Адвокат проводил сыщика в спальню госпожи Жерди. Самочувствие ее к вечеру несколько изменилось, хотя еще нельзя было понять, к лучшему или к худшему. Очевидно было одно: забвение ее стало уже не столь глубоко. Глаза ее по-прежнему были закрыты, но можно было заметить легкое подергивание век; она металась на подушках и тихонько стонала.

— Что сказал врач? — спросил папаша Табаре, понижая голос до шепота, как невольно делают все в комнате больного.

— Он только что ушел, — отвечал Нозль. — Скоро все будет кончено.

Папаша Табаре на цыпочках подошел ближе и с нескрываемым волнением взглянул на умирающую.

— Бедная женщина! — прошептал он. — Смерть для нее милость господня. Наверно, она жестоко страдает, но что такое эта боль по сравнению с той, какую довелось бы ей пережить, знай она, что ее сын, родной ее сын, сидит в тюрьме по обвинению в убийстве!

— Вот и я пытаюсь этим утешиться, видя ее в постели, без сознания, — подхватил Нозль. — Ведь я все еще люблю ее, старый мой друг, для меня она не перестала быть матерью. Вы слышали, как я проклинал ее? Я обошелся с нею жестоко, думал, что ненавижу ее, но сейчас, теряя ее, я все забыл и помню только, как она ласкала меня. Да, лучше бы ей умереть. И все-таки, нет, не верю, не могу поверить, что ее сын убийца.

— Правда? Вы тоже не верите?

Папаша Табаре вложил в это восклицание столько пыла, столько горячности, что Нозль взглянул на него с некоторым изумлением. Старик почувствовал, что краснеет, и поспешил объясниться:

— Я произнес «вы тоже», потому что сам, быть может, по недостатку опыта убежден в невинности этого молодого человека. Не представляю себе, чтобы человек в его положении задумал и осуществил подобное злодейство. Я со многими говорил об этом деле, оно произвело невообразимый шум, так вот, все разделяют мое мнение. Всеобщие симпатии на его стороне, а это кое-что значит.

Монахиня сидела у постели, она выбрала место подальше от лампы, чтобы оставаться в тени, и яростно вязала чулок, предназначенный какому-нибудь бедняку. Это была чисто механическая работа, во время которой она обычно молилась. Но как только вошел папаша Табаре, она, судя по всему, позабыла о своих нескончаемых молитвах и навострила уши. Она слушала, но ничего не понимала. Умишко ее выбивался из сил. Что означает этот разговор? Кто эта женщина, кто этот молодой человек, который ей не сын, но называет ее матерью и упоминает настоящего сына, обвиненного в убийстве? Уже в разговоре Ноэля с доктором кое-что показалось ей загадочным. В какой странный дом она угодила! Ей было немного страшно, и на душе беспокойно. Не совершает ли она грех? Она пообещала себе, что обо всем расскажет господину кюре, как только увидит его.

— Нет,— говорил тем временем Ноэль,— нет, господин Табаре, нельзя сказать, что всеобщие симпатии на стороне Альбера. Сами знаете, мы, французы, любим крайности. Когда арестовывают какого-нибудь беднягу, быть может, вовсе и не совершившего преступления, которое ему ставят в вину, мы готовы побить его камнями. Всю нашу жалость мы приберегаем для того, кто уже предстал перед судом, пускай вина его и очевидна. Пока правосудие колеблется, мы вместе с ним настроены против обвиняемого, но как только доказано, что человек совершил злодеяние, наши симпатии ему обеспечены. Вот вам наше общественное мнение. Сами понимаете, оно меня не волнует. Я настолько его презираю, что, если Альбера не отпустят, на что я до сих пор надеюсь, я сам, слышите, сам буду его защитником. Я только что говорил это моему отцу, графу де Коммарену. Я стану адвокатом Альбера и спасу его.

Старик готов был броситься Ноэлю на шею. Ему до смерти хотелось сказать: «Мы вдвоем спасем его», но он сдержался. Что, если после такого признания адвокат станет его презирать? Однако он дал себе слово сбросить маску, если это будет необходимо и дела Альбера примут сов-

сем уж угрожающий оборот. А покуда он ограничился тем, что пылко одобрил своего молодого друга.

— Браво, дитя мое! — воскликнул он. — У вас благородное сердце. Я опасался, что богатство и титул испортят вас, что вы возжаждете мести за все пережитое. Но вижу, вы останетесь таким же, каким я знал вас в прежние, более скудные времена. Однако скажите, виделись ли вы с господином графом, вашим отцом?

Только теперь Ноэль, казалось, заметил устремленные на него из-под накидки глаза монахини, горевшие от любопытства, как два карбункула. Он взглядом указал на нее сыщику и ответил:

— Я его видел, и все устроилось так, как я желал. Потом, при случае, расскажу вам о нашей встрече подробнее. Здесь, у этой постели, я почти краснею за свое счастье...

Папаше Табаре пришлось удовольствоваться этим ответом и обещанием.

Понимая, что нынче вечером он ничего не узнает, старик признался, что выбился из сил, бегая по делам, и что ему пора спать. Ноэль его не удерживал. Он сказал, что ждет брата г-жи Жерди, за которым уже несколько раз посылали, но безуспешно. И еще добавил, что встреча с ним изрядно его смущает, поскольку он не знает, как себя вести. Следует ли все ему рассказать? Но это лишь усугубит его горе. С другой стороны, не сказать — значит принудить себя к тягостному притворству. Сыщик нашел, что лучше пока ничего не говорить, а позже объяснить-ся.

— Какой прекрасный молодой человек мой Ноэлы! — бормотал папаша Табаре, как можно тише пробираясь к себе в квартиру.

Вот уже сутки он не был дома и теперь ждал жестокого выговора от домоправительницы.

Манетта и впрямь рвала и метала и тут же объявила хозяину, что твердо решила подыскать себе другое место, если он не образумится.

Всю ночь она не сомкнула глаз, в чудовищной тревоге прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице, с минуты на минуту ожидая, что на носилках внесут зарезанного хозяина. И в доме, как назло, не спали. Она видела, как, вскоре после хозяина, вышел г-н Жерди и через два часа вернулся. Потом приходили какие-то люди, посылали за врачом. Такие переживания убивают ее, не говоря уж о том, что для нее непереносимо ожидание — такая у нее натура. При этом Манетта забывала, что ожидала

она не хозяйина и не Ноэля, а видного муниципального гвардейца, своего земляка, который обещал жениться на ней, а вчера, этакий изменник, взял и не пришел.

Готовя папаше Табаре постель, она сыпала упреками и причитала, что она, мол, женщина откровенная — что у нее на уме, то и на языке, и она не станет молчать, когда речь идет об интересах хозяйина, о его здоровье и добром имени. Хозяин помалкивал, не пытаясь возражать; он склонил голову перед бурей, согнулся под градом. Но стоило Манетте управиться с постелью, он без лишних слов выставил ее и запер дверь на два оборота.

Прежде всего, Табаре хотел составить новый план кампании и наметить быстрые и решительные меры. Он наскоро проанализировал положение. Ошибся ли он в ходе расследования? Нет. Допустил ли погрешности, выстраивая гипотезу? Тоже нет. Он исходил из установленного факта убийства, учитывал все обстоятельства и неизбежно должен был выйти на того самого убийцу, какого предсказал. Но подследственный г-на Дабюрона ни в коем случае не может быть убийцей. Вера в непреложность собственных выводов подвела папашу Табаре, когда он указал на Альбера.

«Вот куда заводят предвзятые мнения и бессмысленные общие слова, которые для глупцов — словно путевые столбы. Будь я послушен своему вдохновению, я исследовал бы это дело глубже, не положился бы на волю случая. Формула «Ищи, кому выгодно преступление» может оказаться столь же справедливой, сколь и бессмысленной. В самом деле, наследники убитого получают все выгоды от его смерти, а убийце достается всего-навсего кошелек и часы жертвы. В смерти вдовы Леруж были заинтересованы трое: Альбер, г-жа Жерди и граф де Коммарен. Мне ясно, что Альбер не может быть убийцей; не может быть ею и г-жа Жерди, которую неожиданное известие об убийстве в Ла-Жоншер вот-вот сведет в могилу; остается граф. Значит, это он? Но он не мог действовать собственноручно. Он нанял какого-то негодяя, причем, так сказать, негодяя из хорошего общества: убийца был обут в изящные лаковые сапоги от лучшего мастера и курил первосортные сигары с янтарным мундштуком. Обычно таким элегантным мерзавцам не хватает духу на тяжкие преступления. Они жульничают, совершают подлоги, но не убивают. Но допустим даже, что граф нашел молодца, готового на все. В таком случае он просто-напросто сменит сообщницу на сообщника, еще более опасного. Это было бы глупо, а граф умен.

Значит, он здесь ни при чем. Впрочем, для очистки совести проверю и эту возможность.

Вот еще что: вдова Леруж, так ловко подменившая младенцев, могла с тем же успехом братья и за другие не менее рискованные поручения. Кто докажет, что она не оказала какой-то услуги другим людям, которым теперь понадобилось от нее избавиться? Здесь какая-то тайна, которую я пока при всем желании не в силах разгадать. В одном я уверен: вдову Леруж убили не для того, чтобы помешать Ноэлю вступить в его права. Ее устранили по какой-то схожей причине, и устранил ее некий энергичный и ловкий негодяй, имевший побуждения, которые я предполагал у Альбера. В этом направлении и нужно искать. Прежде всего, следует изучить биографию этой услужливой вдовы, и я ее раздобуду: завтра, видимо, в прокуратуру доставят сведения, собранные в ее родных местах».

Вернувшись к Альберу, папаша Табаре принялся взвешивать улики против молодого человека и оценивать шансы, которые у него еще остаются.

— Что до шансов,— бурчал сыщик,— то на его стороне только случай да я, то есть пока шансы ничтожны. Что до улики, то им нет числа. Однако не будем отчаиваться. Эти улики собрал я сам, и мне известно, чего они стоят. Казалось бы, многого, а выходит — ничего. Что в этом деле, в котором даже собственным глазам и ушам не следует доверять, доказывают самые, на первый взгляд, очевидные следы? Альбер — жертва необъяснимых совпадений, но все они могут разъясниться в один миг. Да что я, впервые с таким сталкиваюсь? В деле того бедняги портного было еще хуже. В пять часов он покупает нож, показывает его десятку друзей, говоря: «Это для моей жены, она, мерзавка, обманывает меня с подмастерьями». Вечером соседи слышат шумную ссору между супругами, крики, угрозы, топот, удары, потом внезапно все смолкает. Наутро портного и след простыл, а жену находят мертвой, и между лопаток у нее торчит тот самый нож, вонзенный по самую рукоятку. И что же? Убил ее не муж, а ревнивый любовник. Чему верить после этого? Правда, Альбер не желает рассказать, как он провел вечер. Но это меня не касается. Моя задача не выяснять, где он был, а доказать, что в Ла-Жоншер его не было. Может быть, Жевроль напал на след? Желаю ему этого от всего сердца. Дай-то бог, чтобы Жевроль преуспел! Правда, потом он замучает меня язвительными шуточками, однако за тщеславие и дурацкое упрямство я вполне заслуживаю этого не слишком страш-

ного наказания. Чего бы я не дал, чтобы Альбер поскорей вышел на свободу! Да за это и половину состояния не жалко отдать. А вдруг меня постигнет неудача? Вдруг, причинив ему столько зла, я не сумею принести ему избавление?

Содрогнувшись от такой мысли, папаша Табаре лег в постель. Он уснул, и ему приснился кошмарный сон.

Ему снилось, что он затерялся среди сброда, заполняющего площадь Рокетт в те дни, когда вершится месть общества, и глазеющего на последние конвульсии осужденного, и присутствует при казни Альбера. Он видит, как несчастный, со связанными за спиной руками, в сорочке с оторванным воротом, поддерживаемый священником, всходит по крутым ступеням на эшафот. Видит, как тот стоит на роковом помосте, гордым взором обводя ужаснувшуюся толпу. Вскоре осужденный встречается взглядом с папашей Табаре и, разорвав веревки, указывает на него, громогласно восклицая: «Вот мой погубитель!» Поднимается громкий ропот: все проклиняют папашу Табаре. Он хочет убежать, но ноги словно налиты свинцом; он пытается хотя бы закрыть глаза, но не может: неведомая, неодолимая сила заставляет его смотреть, и тут Альбер кричит: «Я невиновен, а истинный убийца...» — и называет имя убийцы; толпа подхватывает это имя, но папаша Табаре его не расслышал, не может запомнить. Наконец, голова казненного скатывается с плеч...

Старик вскрикнул и проснулся в холодном поту. Ему не сразу удалось убедить себя, что все, виденное и слышанное им, было сном, что на самом деле он дома, у себя в постели. Да, все это ему приснилось. Но говорят, сны подчас оказываются предупреждением свыше. Воображение папашы Табаре было до такой степени поражено, что он тщетно изо всех сил пытался вспомнить имя преступника, произнесенное Альбером. Так и не преуспев в этом, он встал и зажег свечу: темнота нагоняла на него страх, ночь кишела призраками. Нечего было и думать о том, чтобы уснуть. Снедаемый тревогой, он осыпал себя самыми немыслимыми проклятиями и горько упрекал за то удовольствие, которое до сих пор дарило ему его увлечение. Слаб человек!

Бог лишил его разума, когда он надумал идти на Иерусалимскую улицу предлагать свои услуги. Ничего не скажешь, подходящее занятие для человека его возраста, почтенного парижского буржуа, богатого и уважаемого! Подумать только, ведь он гордился своими подвигами, бахвалился своей проникательностью, тщеславно радовал-

ся своему изощренному нюху, кичился даже дурацким прозвищем Загоню-в-угол! Старый олух! Чего он добился, приобретя ремесло ищейки? Самых страшных неприятностей, какие только есть на свете, да презрения друзей, не говоря уж об опасности соучастия в осуждении невинного человека! Даже дело портного не открыло ему глаза.

Перебирая в памяти минуты торжества, испытанные в прошлом, и сравнивая их с нынешними мучениями, он давал себе зарок никогда больше не возвращаться к этому занятию. Когда Альбер будет спасен, он поищет менее рискованных и более почтенных развлечений. Прервет связи, за которые приходится краснеть; право же, полиция и правосудие как-нибудь обойдутся без него.

Наконец наступил рассвет, которого папаша Табаре ждал с лихорадочным нетерпением.

Чтобы протянуть время, одевался он медленно, с большим тщанием, старался занять мысли всякими мелочами, не думать о том, сколько минут прошло,— и все-таки раз двадцать глянул, не остановились ли стенные часы.

Несмотря на все проволочки, не было еще восьми, когда он явился домой к судебному следователю, прося извинить, что ввиду весьма серьезных причин столь бесцеремонно потревожил его ранним утром.

Его извинения оказались излишни. Восемь утра — не то время, когда можно было потревожить г-на Дабюрона. Он уже принялся за работу. С присущей ему благожелательностью он принял сыщика и даже пошутил над его вчерашним волнением. Кто бы мог подумать, что у г-на Табаре столь чувствительная душа! Ну, да утро вечера мудренее. Надо надеяться, г-н Табаре сегодня мыслит несколько более здраво, а может, он поймал истинного преступника?

Сыщика огорчил легкомысленный тон следователя, слывшего человеком не только сдержанным, но даже мрачноватым. Не крылась ли за этим зубоскальством твердая решимость пренебречь любыми доводами папаша Табаре? Сыщик это так и понял и свою защитительную речь начал, не питая ни малейших иллюзий.

Говорил он на сей раз спокойнее, но с той энергией и решимостью, которые обрел ценой серьезных размышлений. Он взывал к сердцу и рассудку. Увы, хотя, говорят, сомнение заразительно, ему не удалось ни переубедить следователя, ни сколько-нибудь поколебать. Самые сильные его аргументы разбивались о железную убежденность

г-на Дабюрона, как стекло о гранит. И в этом не было ничего удивительного.

Папаша Табаре опирался лишь на зыбкую теорию, на слова. Г-н Дабюрон располагал осязаемыми свидетельствами, фактами. А случай сам по себе был таков, что, какие бы доводы ни приводил сыщик в оправдание Альбера, все они могли обернуться против молодого человека и подтвердить его виновность.

Папаша Табаре настолько был уверен, что у следователя его постигнет неудача, что, похоже, ничуть не обеспокоился и не огорчился.

Он объявил, что покуда не будет настаивать; он, дескать, вполне верит в познания и беспристрастность г-на судебного следователя, так что с него довольно и того, что он предостерег г-на Дабюрона против тех предположений, которые сам же имел несчастье ему сообщить.

А теперь, добавил он, ему предстоит собрать новые улики. Расследование только начинается, и многое еще неизвестно, например, прошлое вдовы Леруж. Сколько новых фактов может обнаружиться! Кто знает, какие показания даст человек с серьгами, по следу которого идет Жевроль? В глубине души пылая возмущением и более всего желая осыпать проклятиями и колотушками этого «болвана судебного», внешне папаша Табаре по-прежнему держался смиренно и скромно.

Дело в том, что он хотел и впредь оставаться в курсе всех действий и распоряжений следователя, а также знать, какие результаты дадут новые допросы. Напоследок он попросил оказать ему любезность и позволить встретиться с Альбером; ему казалось, что за свои услуги он достоин столь пустячного вознаграждения. Ему бы только потолковать с Альбером две минуты без свидетелей.

Однако г-н Дабюрон отклонил эту просьбу. Он объявил, что пока подозреваемый будет содержаться в строжайшем одиночном заключении. В качестве же утешения добавил, что дня через три-четыре к этому вопросу, пожалуй, можно будет вернуться, поскольку отпадут причины для столь строгой изоляции.

— Ваш отказ весьма огорчителен для меня, сударь,— сказал папаша Табаре,— но я вас понимаю и слушаюсь.

Это была единственная произнесенная им жалоба; затем он поспешно удалился, боясь, что не сдержится и даст волю раздражению.

Он почувствовал, что, помимо огромного счастья от спасения невинного, которого чуть не погубила его, Та-

баре, неосторожность, он испытает невыразимое наслаждение, отомстив упрямому судейскому крючку.

— Да для несчастного,— бормотал он,— три дня в тюрьме все равно что три столетия. А наш любезный следователь говорит об этом, как будто это пустяк. Я должен как можно скорее обнаружить истину.

Да, г-н Дабюрон полагал, что ему не понадобится больше нескольких дней, чтобы вырвать у Альбера признание или, по крайней мере, заставить его отказаться от своей системы защиты.

Вся беда предварительного следствия состояла в том, что невозможно оказалось найти свидетеля, который видел бы подозреваемого во вторник вечером, накануне поста.

А между тем одно-единственное свидетельство имело бы столь огромное значение, что г-н Дабюрон, как только папаша Табаре оставил его наконец в покое, направил все усилия на поиски такого свидетельства.

У него оставались немалые надежды: еще только суббота, убийство совершено совсем недавно, и люди наверняка еще что-то помнят, а полиция до сих пор не успела произвести расследование по всем правилам.

Пятеро самых опытных сыщиков Уголовной полиции были направлены в Буживаль; их снабдили фотографическими снимками Альбера. Они получили приказ прочесать местность между Рюэйлем и Ла-Жоншер, разнюхивать, расспрашивать, производить тщательнейшие и подробнейшие розыски. Фотографии намного облегчали им задачу. Сыщикам было велено предъявлять их всем и каждому и даже раздать десяток местным жителям, благо снимков хватало. Не может же быть, чтобы в такой вечер, когда столько народу находилось вне дома, никто не встретил изображенного на фотографии человека ни на рюэйльском вокзале, ни на какой-нибудь из дорог, ведущих в Ла-Жоншер,— на большаке или тропинке, вьющейся вдоль реки.

Отдав эти распоряжения, судебный следователь направился в суд и послал за подозреваемым.

С утра он уже успел получить рапорт, где час за часом перечислялись все поступки, жесты, слова узника, за которым втайне велось наблюдение. Из рапорта следовало, что ничто не изобличало в Альбере преступника. Выглядел он печальным, но не угнетенным. Ни крика, ни угроз, ни проклятий правосудия, ни даже единого слова о роковой ошибке не вырвалось из его уст. Слегка подкрепившись, он подошел к окну камеры и, прислонясь к нему, надолго, на час

с лишним, замер в неподвижности. Затем лег и спокойно уснул.

«Железный человек!» — подумал г-н Дабюрон, когда подозреваемый вошел в кабинет.

Альбер ничем более не напоминал того несчастного, который накануне, ошеломленный множеством улик, оглушенный градом разящих вопросов, пытался защищаться и, казалось, слабел под взглядом следователя. Совершил он преступление или не совершил, но решимость к нему, судя по всему, вернулась. Выражение его лица не оставляло на этот счет ни малейших сомнений. В глазах его читались хладнокровная готовность добровольно принести себя в жертву, а также известная надменность, которую можно было принять за презрение, хотя на самом деле она объяснялась благородным негодованием оскорбленного человека. Чувствовалось, что он уверен в себе и несчастье способно поколебать его, но не сломить.

Судебный следователь понял, что пора изменить тактику. Он распознал в виконте одну из тех натур, которые, когда на них нападают, оказывают сопротивление, а под влиянием угроз становятся еще тверже. Отказавшись от мысли запугать, г-н Дабюрон попытался его смягчить. Расхожий, зато беспроегрышный прием, подобный некоторым театральным эффектам, выжимающим у зрителей слезу. Преступник, собравший всю волю в кулак, чтобы противостоять запугиванию, чувствует себя безоружным, столкнувшись с вкрадчивой снисходительностью, которая чем притворнее, тем убедительнее. Такое улещение было коронным номером г-на Дабюрона. Сколько признаний он вырвал, умастив им путь слезами! Никто лучше него не умел задеть те извечные струны, которые отзываются даже в самых развращенных сердцах; струны эти — честь, любовь, семья.

Он с такой добротой и лаской обратился к Альберу, так сочувствовал ему! Еще бы! Ему, чья жизнь доньше была волшебной сказкой, выпали такие муки! Все, что у него было, внезапно обратилось в развалины! Кто бы мог это предвидеть в те дни, когда он был единственной надеждой богатейшей и знатнейшей семьи? Обратившись к минувшему, следователь остановился на трогательных воспоминаниях ранней юности, поворошил прах всех угасших радостей. Умело используя все, что он знал о жизни подозреваемого, г-н Дабюрон терзал его мучительными намеками на Клер д'Арланж. Зачем Альбер упорствует в желании в одиночку нести бремя своего горя? Неужели в мире нет ни одной души, которая рада была бы облегчить его ношу?

К чему это непримиримое молчание? Не следует ли ему подать весточку той, чья жизнь переплелась с его жизнью? Что для этого нужно? Одно слово. И вот он если уж не свободен, то хотя бы не отторгнут от мира! Тюрьма станет для него вполне сносным пристанищем. Тогда конец одиночному заключению, к нему станут приходить друзья, он сможет звать к себе кого захочет.

Казалось, это говорит не следователь, а отец, в груди которого всегда остаются неисчерпаемые запасы снисходительности и любви к сыну.

Г-н Дабюрон этим не ограничился. Он предположил, что сам очутился на месте Альбера. Как бы он поступил после чудовищного разоблачения? Он насилу осмеливается подумать об этом. Но он понимает, что подвигло Альбера на убийство вдовы Леруж; с его точки зрения, убийство это вполне объяснимо и едва ли не извинительно. И тут он поставил новый капкан. Разумеется, это тяжкое преступление, но в нем нет ничего возмущающего совесть или разум. Это одно из тех преступлений, которое общество может если не забыть, то до известных пределов извинить, потому что в причинах, толкнувших преступника на это злодеяние, нет ничего постыдного. Какой суд не найдет смягчающих обстоятельств для столь понятной вспышки безумия? И потом, разве первым и самым главным виновником преступления не оказывается граф де Коммарен? Разве не его бредовая затея привела к столь ужасной развязке? Его сын — жертва обстоятельств и достоин, главным образом, жалости.

В таком духе г-н Дабюрон распространялся довольно долго, прибегая к доводам, которые, на его взгляд, более всего были способны смягчить закоснелое сердце убийцы. Из его речей вытекало, что разумней всего будет сознаться. Но его риторические упражнения достигли не большего успеха, чем слова папаши Табаре, обращенные к нему. Альбер, казалось, нисколько не растрогался, его ответы были донельзя лаконичны. Как и в первый раз, он с начала и до конца настаивал на своей невинности.

Оставалось прибегнуть к испытанию, которое часто приводило к желанным результатам.

В тот же день, в субботу, Альбера привели туда, где лежал труп вдовы Леруж. Казалось, это мрачное зрелище произвело на него впечатление, но не большее, чем на любого человека, которому показали жертву убийства спустя четыре дня после преступления. Кто-то из присутствующих произнес:

— Эх, если бы она могла заговорить!

— Для меня это было бы счастьем,— отозвался Альбер.

С самого утра г-ну Дабюрону не удалось продвинуться ни на шаг. Ему пришлось признать, что разыгранная им комедия провалилась, а теперь потерпела неудачу и эта последняя попытка. К тому же самоуверенного следователя бесило невозмутимое смирение подозреваемого. Его досада стала явной для всех, когда, внезапно отринув притворную доброту, он сурово распорядился отвести Альбера в тюрьму.

— Я заставлю его признаться! — сквозь зубы процедил он.

Быть может, в эту минуту г-н Дабюрон с сожалением подумал о тех милых инструментах, что применялись следствием в средние века и легко развязывали языки подозреваемым. Такого упорного преступника еще свет не видывал, думал он. На что он только рассчитывает, так дерзко все отрицая? Такое упорство, бессмысленное при столь неопровержимых уликах, приводило следователя в негодование. Сознайся Альбер в преступлении, он мог бы рассчитывать на сочувствие г-на Дабюрона, но, запираясь, он нажил в его лице беспощадного врага.

По природе добрый и великодушный, следователь очутился в ложном положении, и это его ослепляло и сбивало с толку. Сперва он желал, чтобы Альбер оказался невиновен, но теперь жаждал поскорей доказать его вину. На это существовало множество причин, в которых сам он был бессилен разобраться. Г-ну Дабюрону слишком памятливы были те времена, когда виконт де Коммарен оказался его соперником и он готов был его убить. Быть может, он раскаивался, что подписал постановление на арест и не отказался вести следствие? А тут еще этот сюрприз — необъяснимая перемена с папашей Табаре.

Все это вместе приводило г-на Дабюрона в состояние лихорадочного возбуждения и толкало дальше по пути, на который он вступил. Отныне он не столько стремился доказать вину Альбера, сколько оправдать собственное поведение. Это дело так задевало его, словно касалось лично.

И впрямь, окажись подозреваемый невиновным, г-ну Дабюрону не оправдаться в собственных глазах. И чем сильнее корил он себя, чем острее чувствовал, как нарастает в нем сознание вины, тем упорнее старался изобличить бывшего соперника, даже несколько злоупотребляя своей властью. Его влекла логика событий. Ему казалось, что на карту поставлено его счастье, и он развивал су-

дорожную деятельность, с какой не производил еще ни одного расследования.

Все воскресенье г-н Дабюрон выслушивал доклады сыщиков, вернувшихся из Буживаля.

Все они утверждали, что вконец выбились из сил, однако никаких новых сведений не добыли.

Правда, они слышали разговоры о какой-то женщине, которая якобы видела убийцу, вышедшего от вдовы Леруж, но никто не сумел указать им эту женщину или хотя бы назвать ее имя.

Однако все почитали своим долгом сообщить следовательно, что одновременно с расследованием, которое предпринял он, происходит еще одно, которое ведет папаша Табаре. Он изъездил все окрестности в кабриолете, запряженном резвой лошадкой. Действовал он, по-видимому, весьма стремительно, потому что уже успел побывать повсюду, куда бы ни явились сыщики. Судя по всему, под началом у него состоит человек двенадцать, из которых по меньшей мере четверо служат на Иерусалимской улице. Все сыщики сталкивались с папашей Табаре, со всеми он говорил. Одному из них он заметил:

— За каким дьяволом вы показываете эту фотографию каждому встречному и поперечному? Не пройдет и четырех дней, как у вас будет толпа свидетелей, которые за три франка наперегонки ринутся расписывать вам вашу же фотографию.

Другого полицейского он окликнул на дороге и высмеял его.

— Ну и простак же вы! — крикнул он. — Стоит ли человека, который прятался, искать на дороге, где ходят все; поищите лучше на обочинах и найдете.

Наконец, он окликнул двух сыщиков в буживальском кафе и отозвал их в сторону.

— Я его нашел, — сказал он им. — Парень хитер, он пришел через Шату. Его видели трое, два железнодорожных носильщика и еще одно лицо, чьи показания будут решающими, поскольку он с ним разговаривал. Преступник курил.

Г-н Дабюрон так разъярился на папашу Табаре, что, недолго думая, ринулся в Буживаль с твердым намерением привезти не в меру ретивого сыщика в Париж, а после заставить кого следует дать ему хорошую нахлобучку. Но съездил он зря. Папаша Табаре, кабриолет, резвая лошадка и двенадцать помощников исчезли; во всяком случае, найти их не удалось.

Вернувшись домой, вне себя от усталости и крайне рас-

строенный, следовательно обнаружил телеграмму от начальника отдела Уголовной полиции, краткую, но весьма выразительную:

«Руан воскресенье тчк Нашел его тчк Вечером выезжаем Париж тчк Бесценный свидетель тчк

Жевроль»

ХІІІ

В понедельник с утра, часов в девять, г-н Дабюрон собрался в суд, где надеялся встретить Жевроля и найденного им свидетеля, а может быть, и папашу Табаре.

Сборы были уже почти закончены, как вдруг слуга доложил, что его желает видеть молодая дама, пришедшая в сопровождении особы постарше.

Назваться посетительница не захотела, говоря, что откроеет свое имя только в том случае, если без этого ее категорически откажутся принять.

— Просите, — отвечал следователь.

Он подумал, что это родственница кого-нибудь из тех, кто находится в предварительном заключении и чьи дела он расследовал, когда произошло убийство в Ла-Жоншер, и решил, что спровадит непрошеную гостью как можно скорее.

Стоя у камина, он искал в дорогой вазе, полной визитных карточек, какой-то адрес. Заслышав скрип отворяемой двери, а потом шелест шелкового платья, задевшего дверной косяк, он не удосужился даже оглянуться. Вместо этого он бросил равнодушный взгляд в зеркало.

И тут г-н Дабюрон вздрогнул, словно увидел призрак. В смятении он выпустил из рук вазу, которая с грохотом упала на мраморную каминную полку и разбилась вдребезги.

— Клер! — пролепетал он. — Клер!

Равно боясь и стать жертвой обмана зрения, и увидеть ту, чье имя произнес, он медленно обернулся.

В самом деле, перед ним была мадемуазель д'Арланж.

Эта девушка, такая гордая и в то же время такая застенчивая, осмелилась прийти к нему домой, одна или почти одна — ведь гувернантка осталась в прихожей! Воистину, ею руководило сильное чувство, если она позабыла свою обычную робость.

Никогда, даже в те времена, когда видеть ее было для него счастьем, не казалась она ему такой возвышен-

но-прекрасной. Ее красота, обычно окутанная облачком грусти, блистала и ослепляла. Лицо поражало невиданным донныне оживлением. В глазах, сверкавших от недавно пролитых и непросохших слез, читалась благородная решимость. Чувствовалось, что она почитает необходимым исполнить некий долг и исполнит его пусть без радости, зато с простотой, которая и составляет самую суть героизма.

Спокойно и с чувством собственного достоинства она подошла и на английский манер протянула следователю руку с грацией, какая дается немногим женщинам.

— Мы по-прежнему друзья, не правда ли? — произнесла она с печальной улыбкой.

Следователь не дерзнул пожать эту протянутую руку, освобожденную от перчатки. Он едва коснулся ее кончиками пальцев, словно боясь чрезмерного потрясения.

— Да,— еле слышно выговорил он,— я вам по-прежнему предан.

Мадемуазель д'Арланж опустилась в глубокое кресло, то самое, сидя в котором папаша Табаре две ночи назад составлял план ареста Альбера. Г-н Дабюрон остался стоять и прислонился к высокому бюро.

— Вы знаете, зачем я пришла? — спросила девушка. Он кивнул.

Да, он знал это слишком хорошо и сомневался, сумеет ли устоять перед просьбой, которую произнесут уста Клер. Чего она захочет от него? В чем он сумеет ей отказать? Ах, если бы знать заранее! Он не мог опомниться от изумления.

— Я узнала чудовищную новость только вчера,— продолжала Клер.— Было решено, что разумнее скрыть ее от меня, и, если бы не моя добрая Шмидт, я и сейчас ни о чем понятия бы не имела. Какую ночь я провела! Сперва я была в ужасе, но потом, как только услышала, что все зависит от вас, мои страхи рассеялись. Вы взялись за это дело ради меня, не так ли? Я знаю, как вы добры. Не могу даже передать, как я вам благодарна.

Каким унижением были для почтенного следователя эти искренние слова признательности! Да, вначале он подумал о мадемуазель д'Арланж, но потом... Он опустил голову, чтобы уклониться от бесстрашного и бесхитростного взгляда Клер.

— Не благодарите меня, мадемуазель,— пролепетал он,— вы заблуждаетесь, я не имею права на вашу благодарность.

Сначала Клер была слишком взволнована, чтобы заме-

тять смятение г-на Дабюрона. Она лишь обратила внимание, что у него дрожит голос, но не догадывалась о причинах. Она подумала, что ее появление оживило в нем болезненные воспоминания, что он, должен быть, до сих пор любит ее и страдает. Это ее опечалило, ей было стыдно.

— А я готова благословлять ваше имя, сударь,— продолжала она.— Кто знает, осмелилась бы я пойти к другому следователю, обратиться с просьбой к незнакомому человеку! Да и потом, что подумал бы этот человек, не зная меня? А вы так великодушны, вы успокоите меня, вы расскажете, по какому ужасному недоразумению Альбер был арестован, словно разбойник, и брошен в тюрьму.

— Увы! — тихо вздохнул следователь.

Клер едва расслышала этот вздох и не поняла его ужасного смысла.

— С вами я не боюсь,— продолжала она.— Вы сами сказали, что вы мой друг. Вы не отвергнете моей просьбы. Поскорее верните ему свободу. Я не знаю толком, в чем его обвиняют, но клянусь вам, он невиновен.

Клер говорила убежденно, не представляя, что может помешать исполнению ее просьбы, такой простой и естественной. Ей казалось, что ее заверений вполне достаточно. Г-н Дабюрон исправит все одним словом. Но следователь молчал. Он был восхищен этим святым неведением, наивным и простодушным доверием, не допускающим сомнений. Правда, поначалу она невольно причинила ему боль, но он уже не помнил об этом.

Он и в самом деле был честнейший, порядочнейший человек; недаром же он трепетал, собираясь открыть ей жестокую правду. Он не решался произнести слова, которые, подобно смерчу, разрушат хрупкое счастье девушки. Его унизили, им пренебрегли, теперь он мог сквитаться за все, однако в нем не было и тени постыдной, но такой объяснимой радости.

— А если бы я сказал вам, мадемуазель,— начал он,— что не уверен в невинности господина Альбера?

Она привстала и, словно отвергая его слова, простерла, руки. Он продолжал:

— Если бы сказал, что он виновен?

— Нет, сударь,— перебила Клер,— вы так не думаете!

— Я так думаю, мадемуазель,— возразил он печальным голосом,— и добавлю, что у меня есть уверенность на этот счет.

Клер смотрела на следователя в глубоком изумлении.

Как он может? Не ослышалась ли она? Правильно ли поняла? Она не верила своим ушам. Неужели он говорит всерьез? Или это жестокая и недостойная шутка? В растерянности она задавала себе вопрос, потому что, с ее точки зрения, то, что он сказал, было невозможно, немыслимо.

Не смея поднять глаз, г-н Дабюрон продолжал, и голос его дрожал от нескрываемой жалости:

— Поверьте, мадемуазель, я искренне сострадаю вам, и все же, к прискорбию своему, я вынужден сказать вам горькую правду, а вы имейте мужество ее выслушать. Лучше, если вы услышите ее из уст друга. Поэтому соберитесь с силами, укрепите ваше благородное сердце, дабы оно вынесло неслыханное несчастье. Нет, здесь нет никакого недоразумения, правосудие не заблуждается. Господин виконт де Коммарен обвиняется в убийстве, и все, слышите, все подтверждает его вину.

Подобно врачу, по капле отмеряющему опасное снадобье, г-н Дабюрон произнес последние слова медленно, с паузами. Он зорко следил за собеседницей, готовый замолчать, если впечатление окажется слишком сильным. Он не подозревал, что эта девушка с ее чрезмерной робостью, с чуть ли не болезненной чувствительностью способна твердо выслушать подобное известие. Он ждал взрыва отчаяния, слез, душераздирающих стонов. Могло дойти и до обморока — он приготовился кликнуть верную м-ль Шмидт.

Но он ошибся. Исполненная силы и мужества, Клер вскочила, словно подброшенная пружиной. Краска негодования залила ее лицо, слезы мгновенно высохли.

— Неправда! — воскликнула она. — Тот, кто это сказал, лжет. Альбер не может, понимаете, не может быть убийцей. Будь он сейчас здесь и скажи мне сам: «Это правда», — я и то не поверила бы, я закричала бы: «Это ложь».

— Он еще не сознался, — продолжал следовательно, — но он сознается. А если даже нет, у нас более чем достаточно улики, чтобы его осудить. Обвинения, выдвинутые против него, невозможно опровергнуть, они очевидны!

— Ну что ж, — перебила мадемуазель д'Арланж, вкладывая в свои слова всю душу, — а я повторяю вам: правосудие заблуждается. Да-да, — продолжала она, заметив протестующее движение следователя, — он невиновен. Я твердила бы это, не испытывая сомнений, даже если бы все на свете обвиняли его вместе с вами. Разве вы не видите, что я знаю его лучше, чем сам он себя знает, и вера моя в него безраздельна, как вера в бога. Я скорее заподозрю себя, чем его.

Следователь робко пытался возразить, но Клер не дала ему и слова сказать.

— Я вижу, сударь, для того, чтобы вас убедить, придется мне забыть, что я девушка и беседую с мужчиной, а не с матерью. Ради Альбера я пойду и на это. Вот уже четыре года, сударь, как мы любим друг друга. С тех пор я не скрываю от него ни одной своей мысли, а он не таит от меня своих. Вот уже четыре года у нас нет друг от друга тайн, он живет для меня, я для него. Я одна могу сказать, насколько он достоин любви. Я одна знаю, какое величие души, какое благородство мыслей, какие возвышенные чувства даны тому, кого вы с такой легкостью объявили убийцей. Все вокруг завидовали ему, и лишь я знала, что он страдает. Так же, как я, он одинок на свете; отец никогда не любил его. Мы пережили немало печальных дней, ища опоры друг в друге. Неужели теперь, когда наши испытания близятся к концу, он вдруг совершит преступление? С какой стати, скажите на милость?

— Ни имя, ни состояние графа де Коммарена ему не принадлежат, мадемуазель, и он внезапно узнал об этом. А подтвердить это могла только одна старуха. Он убил ее, чтобы не утратить своего положения.

— Какая гнусность! — вскричала девушка. — Какая бесстыдная, нелепая клевета! Слыхала я, сударь, эту сказочку о рухнувшем благополучии, он сам поспешил мне ее рассказать. Это несчастье в самом деле угнетало его последние три дня. Но печалился он не за себя, а только за меня. Его приводила в отчаяние мысль, что я огорчусь, когда узнаю, что он не сможет дать мне всего того, о чем мечтал. Это я-то огорчусь! Да на что мне громкое имя, несметное состояние! Им я обязана единственным горем, какое было у меня в жизни. И разве я люблю его за знатность, за богатство? Так я ему и ответила. Он пришел ко мне опечаленный, но мгновенно повеселел, поблагодарил меня и сказал: «Вы любите меня, и все остальное не важно». Тогда я выбрала его за то, что он сомневался во мне. И после этого, по-вашему, он пошел и убил старуху! Да вы не посмеете повторить эту нелепость.

И, победоносно улыбнувшись, мадемуазель д'Арланж умолкла. Ее улыбка означала: «Ну, вот я вас и одолела, вы побеждены, что вы можете мне возразить?»

Следователь недолго дал бедному созданию упиваться мнимой победой. Он не думал о том, как жестоко и пагубно его упорство. Им владела все та же навязчивая идея. Убедить Клер значило оправдать свое поведение.

— Вы не знаете, мадемуазель,— снова заговорил он,— что и порядочнейший человек может поддаться своего рода безумию. Когда мы чего-то лишаемся, мы начинаем постигать всю огромность утраты. Боже меня сохрани сомневаться во всем том, что вы мне рассказали. Но вообразите себе всю безмерность катастрофы, постигшей господина де Коммарена. Откуда вам знать, какое отчаяние могло охватить его, когда он расстался с вами, на какую крайность могло оно его толкнуть! Что, если на него нашло временное помрачение, что, если он не отдавал себе отчета в том, что творит? Быть может, этим и следует объяснить его преступление.

Лицо мадемуазель д'Арланж покрылось смертельной бледностью, на нем читался непреодолимый ужас. Следовательно показалось, что ее благородная и чистая вера наконец поколеблена.

— Для этого он должен был бы сойти с ума! — прошептала она.

— Возможно,— согласился следовательно,— хотя обстоятельства преступления свидетельствуют о весьма тщательном предумышлении. Право, мадемуазель, не будьте слишком доверчивы. Молитесь и ждите исхода этого ужасного дела. Прислушайтесь к моим советам, это советы друга. Когда-то вы питали ко мне доверие, какое дочь питает к отцу, вы сами так говорили, поверьте же мне и теперь. Храните молчание и ждите. Скройте от всех ваше вполне понятное горе — как бы не пришлось вам после раскаиваться в том, что вы дали ему волю. Вы молоды, неопытны, у вас нет ни руководителя, ни матери... Увы, предмет вашей первой привязанности оказался недостоин вас.

— Нет, сударь, нет,— пролепетала Клер.— Ах! — воскликнула она.— Вы говорите то же, что свет, осторожный, эгоистичный свет, который я презираю, который мне ненавистен.

— Бедное дитя! — продолжал г-н Дабюрон, безжалостный даже в сочувствии.— Это ваше первое разочарование. Оно ужасно, немногие женщины смогли бы примириться с ним. Но вы молоды, вы мужественны, это несчастье не разобьет вашу жизнь. Когда-нибудь вам будет страшно даже вспоминать о нем. По опыту знаю, время врачует любые раны.

Клер пыталась внимательно слушать, что говорит ей следовательно, но слова его достигали ее слуха лишь как смутный шум, а смысл их от нее ускользал.

— Я не понимаю вас, сударь,— перебила она.— Что же вы мне советуете?

— Могу подать вам, мадемуазель, единственный совет, диктуемый здравым смыслом и моей к вам привязанностью. Я говорю с вами, как нежный и преданный брат. И прошу вас: будьте мужественны, Клер, примиритесь с величайшей жертвой, какую может потребовать от девушки голос чести. Оплачьте, да, оплачьте вашу униженную любовь, но откажитесь от нее. Молите бога, чтобы он ниспослал вам забвение. Тот, кого вы любили, недостоин вас.

Следователь умолк в некотором испуге. Лицо мадемуазель д'Арланж приобрело землистый оттенок.

Но душа ее была выносливей, чем плоть.

— Вы сами только что сказали,— прошептала она,— что он мог совершить это злодейство только в минуту заблуждения, поддавшись вспышке безумия.

— Да, это вполне вероятно.

— В таком случае, сударь, если он не ведал, что творит, значит, он не виноват.

Следователь забыл, как когда-то утром, лежа в постели, поправляясь после болезни, бился над неким мучительным вопросом.

— Ни правосудие, ни общество,— отвечал он,— не в состоянии определить это, мадемуазель. Один бог на небе, читающий в глубине наших сердец, может судить об этом, может решать вопросы, превосходящие человеческое разумение. Для нас господин де Коммарен преступник. Возможно, в силу некоторых обстоятельств приговор будет смягчен, но преступление есть преступление. Возможно даже, убийцу оправдают, чего я желал бы от всей души, хотя надеяться на это нельзя — его вины это не смягчит. На нем навсегда останется клеймо, несмываемое пятно невинно пролитой крови. А потому смиритесь.

Мадемуазель д'Арланж остановила следователя взглядом, в котором сверкало возмущение.

— Значит, вы советуете мне покинуть его в беде! — воскликнула она. — Все отшатнутся от него, и вы благо-разумно советуете мне поступить, как все! Говорят, друг может отступить от друга, попавшего в беду, но женщина на такое не способна. Оглянитесь вокруг: как бы ни был унижен, несчастен, сломлен мужчина, рядом с ним вы всегда увидите женщину, которая поддерживает его и утешает. Когда последний из друзей рассудит за благо исчезнуть, когда отвернется последний из родственников, останется женщина.

Следователь испугался, что зашел, быть может, слишком далеко: его встревожило возбуждение Клер. Он попытался

ее перебить, но безуспешно.

— Быть может, я робка, — продолжала она с возрастающим воодушевлением, — но на низость не способна. Я выбрала Альбера по доброй воле; что бы ни случилось, я от него не откажусь. Никогда я не скажу: «Я не знаю этого человека». Он собирался отдать мне половину своих богатств и блеска, значит, я возьму на себя, хочет он того или нет, половину его позора и несчастья. Вдвоем легче нести такое бремя. Наносите удары: я прижмусь к нему так крепко, что любой из ваших ударов не минует и меня. Вы советовали мне забвение — так научите, где его найти! Мне — забыть его? Да разве бы я смогла, даже если бы хотела? Но я и не хочу этого. Я люблю его, и разлюбить в моей власти не более, чем приказать своему сердцу не биться. Он в тюрьме, его обвиняют в убийстве, все равно я люблю его. Даже если он виновен, что с того? Я люблю его. Вы его осудите, заклейте — я буду любить его осужденным и заклеенным. Пошлете его на каторгу, я последую за ним, и на каторге, в одежде каторжника он будет мне так же дорог. Да скатись он на дно пропасти, я и там буду с ним. Жизнь моя принадлежит ему — он может ею располагать. Ничто не разлучит меня с ним, ничто, кроме смерти, и, если ему придется взойти на эшафот, я знаю, что умру от удара, который убьет его.

Г-н Дабюрон закрыл лицо руками, он не хотел, чтобы Клер видела, какие чувства нахлынули на него.

«Как она его любит! — твердил он про себя. — Как она его любит!»

Мыслями он унесся далеко. На душе у него было мрачно. Его невыносимо терзала ревность.

Как счастлив был бы он, оказался он предметом столь непобедимой страсти! Чем бы он не пожертвовал ради этого! В его груди тоже билось молодое пылкое сердце, ему тоже была введома исступленная жажда любви. Но кого это волновало? Его уважали, почитали, быть может, боялись, но не любили и не полюбят никогда. А разве он этого не достоин? Почему столько людей проживают свой век, так и не удостоившись любви, в то время как другие, подчас куда менее достойные, словно наделены магической силой привлекать, обольщать, очаровывать, возбуждать слепое и неистовое чувство, которое готово на жертвы, чтобы добиться признания и взаимности? Неужели у женщин нет ни разума, ни здравого смысла?

Молчание мадемуазель д'Арланж вернуло его к действительности.

Он поднял на нее взгляд. После недавнего бурного возбуждения она обессилела и, упав в кресло, еле дышала, так что г-н Дабюрон встревожился, не стало ли ей дурно. Он поспешно протянул руку к звонку на письменном столе, желая позвать на помощь. Но Клер заметила и предупредила его жест.

— Что вы хотите делать? — спросила она.

— Мне показалось, вам дурно, — пробормотал он, — и я хотел...

— Нет, пустяки, сударь, — отвечала она. — На вид я слабая, но на самом деле это неправда: я сильная, так и знайте, я очень сильная. Да, я страдаю, я и не подозревала, что на свете бывает такое страдание. Для девушки слишком мучительно переступить через свою стыдливость. Радуйтесь, сударь, я разодрала все покровы, и вы могли читать в самой глубине моего сердца. Но я об этом не жалею, я пошла на это ради него. Раскаиваюсь я лишь в том, что унизилась до того, чтобы его защищать. Меня толкнули на это ваши заверения. Альбер простит мне эту оскорбительную для него защиту. Такие, как он, не нуждаются в оправданиях, они нуждаются лишь в доказательствах своей невиновности. И с божьей помощью я сумею ее доказать.

Мадемуазель д'Арланж приподнялась, словно собираясь уходить, но г-н Дабюрон жестом остановил ее.

Упорствуя в своем заблуждении, он полагал, что с его стороны нехорошо было бы оставить несчастной девушке хоть тень иллюзии. Начав свои разоблачения, он воображал, что долг велит ему довести их до конца. Он совершенно искренне был убежден, что тем самым спасет Клер от нее самой и избавит от грядущих жгучих сожалений. Хирург, который приступил к мучительной операции, не бросает ее незавершенной потому только, что больной отбивается и кричит от боли.

— Как это ни тягостно, мадемуазель... — начал он. Но Клер не дала ему продолжить.

— Довольно, сударь, — произнесла она, — все, что бы вы ни сказали, бесполезно. Я уважаю ваше злополучное убеждение, но взамен прошу вас считаться и с моим. Если вы в самом деле мне друг, я скажу вам только: помогите мне спасти его. Но вы, конечно, не захотите...

Надо признать, Клер сделала все, чтобы разозлить незадачливого следователя. Доказательства, порожденные ее любовью, были сходны с теми, что были порождены логикой папаши Табаре. Женщины не рассуждают и не анализируют, они чувствуют и верят. Вместо того чтобы

спорить, они утверждают. В этом и кроется, быть может, их превосходство. С точки зрения Клер, г-н Дабюрон, думающий иначе, чем она, становился ее врагом, и она обращалась с ним, как с врагом.

Следователь почувствовал себя оскорбленным. Терзаемый, с одной стороны, угрызениями не вполне спокойной совести, с другой, убеждениями, колеблясь между страстью и долгом, опутанный правилами своего ремесла, он был не способен рассуждать здраво. Уже три дня он вел себя, словно упрямый ребенок. Зачем он с таким упорством не желал признавать, что Альбер может оказаться невиновным? Ведь на расследование это не повлияло бы. А он, всегда такой благосклонный к обвиняемым, на сей раз не допускал мысли о возможной ошибке.

— Если бы вам, мадемуазель, были известны доказательства, которыми я располагаю,— произнес он холодным тоном, в котором чувствовалось старание не поддаваться гневу,— если бы я познакомил вас с ними, у вас не осталось бы надежды.

— Изложите их,— повелительно сказала Клер.

— Вы этого желаете, мадемуазель? Извольте. Я представлю вам, раз вы настаиваете, все доказательства, собранные правосудием, я всецело в вашем распоряжении, можете не сомневаться. Но стоит ли перечислять улики? Среди них есть одна, решающая, которой вполне достаточно. Убийство произошло во вторник вечером, накануне поста, а обвиняемый не в состоянии рассказать, где он был в этот вечер. Между тем он уходил из дому и вернулся только в два часа ночи, в грязной разорванной одежде, в изодранных перчатках.

— Довольно, сударь, довольно! — перебила Клер, глаза у которой радостно заблестели.— Вы сказали, это было вечером в канун поста?

— Да, мадемуазель.

— Я ни минуты не сомневалась! — торжествующе воскликнула она.— Я же вам говорила: он не может оказаться преступником.

Она сложила руки, и по губам ее было видно, что она молится.

И пока она в порыве благодарности возносила богу молитву, ее просветленное лицо выражало истовую веру — такие лица мы видим на картинах итальянских мастеров.

Следователь так растерялся, что не в силах был даже восхититься этим зрелищем. Он ждал объяснений и, не выдержав, спросил:

— Так в чем же дело?

— Сударь,— отвечала Клер,— вашей главной улики, если она состоит именно в этом, больше не существует. Весь тот вечер, о котором вы говорили, Альбер провел со мной.

— С вами? — ахнул следователь.

— Да, у меня дома.

Г-н Дабюрон был оглушен. Уж не грезит ли он? У него опустились руки.

— Как! — переспросил он.— Виконт был у вас, ваша бабушка, ваша гувернантка, ваши слуги его видели, с ним говорили?

— Нет, сударь. Он пришел и ушел втайне. Он хотел остаться незамеченным, ему надо было повидаться со мной наедине.

— А-а! — протянул следователь со вздохом облегчения.

Этот вздох означал: «Все объяснилось. Но это уж чересчур. Она хочет его спасти, рискуя запятнать свое доброе имя. Бедная девушка! Она выдумала это свидание только что».

Однако мадемуазель д'Арланж истолковала его восклицание совершенно иначе. Она вообразила, что г-н Дабюрон удивляется, почему она согласилась принять Альбера.

— Ваше удивление оскорбительно для меня, сударь,— сказала она.

— Мадемуазель!

— Девушка, принадлежащая к такому роду, как мой, может безбоязненно принимать своего жениха, зная, что ей не придется краснеть.

При этом она залилась румянцем стыда, горя и ярости. Г-н Дабюрон становился ей ненавистен.

— Я не имел в виду ничего оскорбительного, мадемуазель,— отвечал следователь.— Не понимаю только, с какой стати было господину де Коммарену приходить к вам украдкой, если вам вскоре предстоит вступить в брак, и это дает ему право открыто посещать вас в любое время. Не понимаю также, каким образом, будучи у вас, он мог привести свою одежду в тот вид, в каком мы ее обнаружили.

— Значит, сударь,— с горечью заметила Клер,— вы сомневаетесь в моих словах?

— Мадемуазель, бывают такие обстоятельства...

— Вы подозреваете меня во лжи, сударь. Знайте же, что, будь мы виновны, мы не опустились бы до оправданий. От нас не слышали бы ни просьб, ни мольбы о пощаде.

Ее высокомерный, враждебный тон не мог не возмутить следователя. Что она себе позволяет! А все лишь потому, что он не дал себя провести.

— Прежде всего, мадемуазель,— сурово отвечал он,— я судебный следователь и обязан исполнять свой долг. Совершенно преступление, все указывает на то, что виновен в этом господин Альбер де Коммарен, и я его арестовываю. Допрашиваю, обнаруживаю тяжкие улики. Вы уверяете, что они ложны, этого недостаточно. Пока вы обращались ко мне, как к другу, я слушал вас с добротой и мягкостью. Но теперь вы говорите со следователем, и я как следователь отвечаю вам: докажите!

— Даю слово, судары!

— Докажите!

Мадемуазель д'Арланж медленно поднялась, не сводя с него изумленного, недоверчивого взгляда.

— Неужели вы были бы рады, сударь,— спросила она,— если бы Альбер оказался преступником? Вам было бы приятно, если бы его осудили? Может быть, господин следователь, вы ненавидите обвиняемого, чья жизнь находится в ваших руках? Можно подумать, что так оно и есть. Готовы ли вы поручиться за свою беспристрастность? Не перевешивают ли одну из чаш ваших весов кое-какие воспоминания? Не пытаетесь ли вы во всеоружии закона преследовать соперника?

— Это уже слишком! — возмутился следователь.— Да, слишком!

— Сознаете ли вы,— холодно продолжала Клер,— что мы оказались в необычном и смертельно опасном положении? В свое время, помнится, вы признались мне в любви. Ваше чувство показалось мне искренним и глубоким, оно меня тронуло. Мне пришлось его отвергнуть, потому что я любила другого, но я вас пожалела. И вот теперь этот другой обвиняется в убийстве, а вы расследуете преступление. Я очутилась между вами двумя, я прошу вас за него. Если вы согласились быть следователем, значит, вы готовы сделать для него все, что в ваших силах, а вы все делаете против!

Каждое слово Клер действовало на г-на Дабюрона, как пощечина.

Она ли это говорит? Откуда эта внезапная отвага, подсказавшая ей речь, которая проникала ему в самое сердце?

— Мадемуазель,— сказал он,— горе ввело вас в заблуждение. Я не простил бы того, что вы говорите, никому,

кроме вас одной. Неосведомленность делает вас несправедливой. Вам кажется, что судьба Альбера зависит от меня, но вы ошибаетесь. Уговорить меня — пустяки, важно убедить других. Я вас знаю, и я вам верю, это естественно. Но поверят ли вам другие, когда вы придете к ним с правдивым, для меня бесспорно правдивым свидетельством, которое им покажется неправдоподобным?

На глазах у Клер выступили слезы.

— Если я несправедливо оскорбила вас, сударь, — сказала она, — простите меня: горе ожесточает.

— Вы не можете меня оскорбить, мадемуазель, — возразил следователь. — Я вам уже сказал, что всецело вам предан.

— Тогда, сударь, помогите мне доказать, что мое утверждение правдиво. Я вам все расскажу.

Г-н Дабюрон был твердо убежден, что Клер хочет сыграть на его доверчивости. Однако ее уверенность его удивляла. Он терялся в догадках, какую басню она изобретет.

— Сударь, — начала Клер, — вам известно, какие препятствия встали перед нами с Альбером, когда мы захотели пожениться. Господин де Коммарен не желал признать меня дочерью, потому что я бедна, у меня ничего нет. Альберу пришлось бороться несколько лет, чтобы сломить сопротивление отца. Граф дважды уступал и дважды брал слово назад, говоря, что оно было вырвано у него силой. Наконец месяц назад он внезапно дал согласие. Но его колебания, отсрочки, оскорбительные отказы успели глубоко обидеть мою бабушку. Вы знаете, как она обидчива, но я должна признать, что в этом случае она права. И хотя день свадьбы был уже назначен, маркиза объявила, что не желает меня компрометировать и выставять нас обеих в невыгодном свете и не допустит, чтобы о нас говорили, будто мы торопим этот брак, в общественном мнении столь блестящий, что может навлечь на нас упреки в суетности или корыстолюбии. Вот она и решила, что до оглашения мы будем видеться с Альбером не чаще чем через день, два часа после обеда, причем только в ее присутствии. Переубедить ее нам не удалось.

И вот в воскресенье утром мне принесли записку от Альбера. Он сообщал, что важные дела помешают ему прийти, хотя в этот день мы его ждали. Что могло его задержать? Я предчувствовала беду. На другой день я ждала его с нетерпением и тревогой, но явился его лакей и принес мадемуазель Шмидт письмо для меня. В этом письме Альбер умолял меня о свидании. Он писал, что ему безотла-

гательно нужно поговорить со мной спокойно, наедине. От этого свидания, добавил он, зависит наше будущее. День и час он оставлял на мое усмотрение и особенно настаивал на том, чтобы я никому не говорила о нашей встрече. Я не колебалась. Ответила, чтобы вечером во вторник он пришел к садовой калитке, выходящей на безлюдную улицу. Когда на Доме Инвалидов пробьет десять, я просила его постучаться, чтобы сообщить, что он уже здесь. Я знала, что бабушка пригласила на этот вечер нескольких приятельниц, и решила притвориться больной, надеясь, что она меня отпустит. Я рассчитывала, что госпожа д'Арланж велит мадемуазель Шмидт остаться...

— Простите, мадемуазель,— перебил г-н Дабюрон,— когда вы написали господину Альберу?

— Во вторник днем.

— Вы можете уточнить время?

— Кажется, я отправила письмо между двумя и тремя часами.

— Благодарю, мадемуазель, прошу вас, продолжайте.

— Все произошло, как я предполагала,— продолжила Клер.— Вечером я спустилась в сад незадолго до назначенного часа. Мне удалось раздобыть ключ от садовой калитки, и я поспешила его опробовать. Увы, замок так заржавел, что ключ не поворачивался, все мои старания оставались безуспешны. Я уже отчаялась, и тут пробило десять часов. На третьем ударе постучался Альбер. Я рассказала ему о злополучной неожиданности и перекинула через ограду ключ, чтобы он попробовал открыть с другой стороны. Ему это тоже не удалось. Мне оставалось только предложить ему перенести нашу встречу на завтра. Он возразил, что это невозможно, разговор не терпит отлагательств. Вот уже три дня, как он терзается сомнениями, посвящать ли меня в это дело; новой отсрочки ему не вынести. Мы переговаривались, как вы понимаете, через калитку. Наконец он сказал, что попробует перелезть через стену. Я умоляла его не делать этого, боясь, как бы он не сорвался. Стена довольно высока, вы ведь помните, и поверху утыкана битым стеклом, вдобавок ветки акации образуют нечто вроде колючей живой изгороди. Но он посмеялся над моими страхами и объявил, что попытается взять стену приступом, если, конечно, я не запрещаю ему этого самым решительным образом. Я не смела возражать, и он рискнул. Мне было очень страшно, я дрожала как осиновый лист. К счастью, Альбер очень ловок и благополучно перелез через ограду. Он собирался поведать мне о катастрофе, кото-

рая нас постигла. Мы присели сперва на небольшую скамью — знаете, ту, что около деревьев, а потом пошел дождь, и мы перебрались в беседку. Около полуночи Альбер расстался со мной, успокоенный и почти веселый. Ушел он тем же путем, разве что с меньшей опасностью: я заставила его воспользоваться садовой лестницей, а потом, когда он уже был на улице, положила ее у стены.

Этот рассказ, звучавший очень просто и естественно, привел г-на Дабюрона в замешательство. Чему верить?

— Мадемуазель,— спросил он,— когда господин Альбер перелезал через стену, дождь уже начался?

— Еще нет, сударь. Первые капли упали, когда мы сидели на скамье, я это прекрасно помню, потому что Альбер раскрыл зонт и я подумала про Поля и Виргинию¹.

— Будьте добры подождать минуту,— попросил следователь.

Он присел к столу и торопливо написал два письма. В первом содержался приказ немедленно доставить Альбера во Дворец правосудия, к нему в кабинет. Во втором г-н Дабюрон распорядился, чтобы один из агентов уголовной полиции немедля отправился в Сен-Жерменское предместье, в особняк д'Арланжей, произвел осмотр стены со стороны сада и обнаружил следы перелезавшего через нее человека, если таковые существуют. Он пояснял, что через стену перелезали дважды — до и во время дождя. Соответственно, следы в обоих случаях должны отличаться.

Он предписывал полицейскому действовать крайне осторожно и найти какое-либо правдоподобное объяснение осмотру.

Дописав письма, он позвонил, вошел слуга.

— Эти два послания,— сказал г-н Дабюрон,— доставьте моему протоколисту Констану. Попросите, чтобы он сразу же их прочел и передал распоряжения, которые в них содержатся, сразу, слышите, сразу же. Поторопитесь, возьмите фиакр, дело весьма срочное. Да, вот еще что, если Констан нет в кабинете, велите служителю его отыскать: он меня ждет и не мог отлучиться далеко.

Потом г-н Дабюрон обратился к девушке:

— Сохранилось ли у вас, мадемуазель, письмо, в котором господин Альбер просит вас о свидании?

¹ Герои одноименного сентиментального романа французского писателя Жака Бернардена де Сен-Пьера (1737—1814), впервые опубликованного в 1787 г. и пользовавшегося большим успехом.

— Да, сударь, по-моему, оно у меня с собой.

Она встала, порылась в кармане и извлекла измятый листок.

— Вот оно!

Судебный следователь взял листок. В нем проснулось подозрение. Слишком уж кстати очутилось это компрометирующее письмо в кармане у Клер. Обычно девушки не носят с собой записок, в которых им назначают свидания. Одним взглядом он пробежал эти несколько строчек.

— Даты нет,— прошептал он,— почтового штемпеля нет... М-да!

Клер не слышала его, она лихорадочно искала доказательств свидания.

— Сударь,— сказала она внезапно,— часто бывает так: мы хотим остаться одни и думаем, что мы одни, а кто-то в это время наблюдает за нами. Прошу вас, допросите всю бабушкину прислугу, быть может, кто-нибудь и видел Альбера.

— Допрашивать ваших слуг? Да что вы, мадемуазель!

— Ах, сударь, вы полагаете, это меня скомпрометирует? Да какое мне дело? Лишь бы его освободили!

Г-н Дабюрон не мог скрыть восхищения. Сколько великодушной преданности в этой девушке, и неважно, правду она говорит или нет! Он-то хорошо ее знал и мог оценить, какое усилие над собой она совершила.

— Это не все,— добавила она,— есть еще ключ от калитки, который я перебрала Альберу. Я хорошо помню, что он мне его не вернул: мы об этом забыли. Наверно, он сунул его в карман. Если ключ у него найдут, это будет подтверждением, что Альбер приходил в сад.

— Я распоряжусь, мадемуазель.

— Есть еще одна возможность: пока я здесь, пошлите осмотреть стену...

Она обо всем подумала.

— Уже послал, мадемуазель,— отвечал г-н Дабюрон.— Не скрою от вас, одно из писем, которые я только что отправил, содержит приказ провести тщательный осмотр у нас дома, разумеется, незаметно.

Клер просияла и, поднявшись, снова протянула руку следователю.

— О, благодарю вас,— сказала она,— тысячу раз благодарю! Теперь я вижу, что вы на нашей стороне. И знаете еще что? У Альбера, может быть, сохранилось письмо, которое я написала ему в среду.

— Нет, мадемуазель, он его сжег.

Лицо Клер омрачилось, она с недоверием взглянула на г-на Дабюрона. В ответе следователя ей почудилась ирония. Но девушка заблуждалась. Следователь вспомнил, что во вторник днем Альбер бросил в камин какое-то письмо. Это могло быть только письмо Клер. И значит, к ней относились слова: «Она не сможет мне отказать». Следователю были теперь понятны и его волнение, и эта фраза.

— Но почему же, мадемуазель,— спросил он,— господин де Коммарен ввел правосудие в заблуждение, не избавил меня от пагубной ошибки? Ведь было бы куда проще сказать мне все.

— Мне кажется, сударь, порядочный человек не может признаться в том, что женщина назначила ему свидание, если не получил на то ее особого разрешения. Он скорее пожертвует своей жизнью, чем честью той, которая ему доверилась. Но поверьте, Альбер надеялся на меня.

Возразить на это было нечего, и причина, о которой сказала мадемуазель д'Арланж, позволяла по-иному взглянуть на ответы подозреваемого во время допроса.

— Это еще не все, мадемуазель,— продолжал следователь.— Вам придется явиться во Дворец правосудия и повторить все, что вы мне рассказали, у меня в кабинете. Протоколист запишет ваши показания, и вы их подпишете. К сожалению, эта тягостная формальность необходима.

— Что вы, сударь, я с радостью дам показания, только бы вызволить Альбера из тюрьмы. Я готова на все. Если его отдадут под суд, я предстану перед судом. Да, я выступлю перед судом и публично, во всеуслышание расскажу всю правду. Конечно,— печально прибавила она,— я стану мишенью всеобщего любопытства, на меня будут глазеть, как на героиню романа, но какое мне дело до людской молвы, до одобрения или осуждения света, если я уверена в его любви?

Она встала, оправила накидку и ленты шляпки.

— Следует ли мне дожидаться,— спросила она,— пока вернутся люди, которые отправились осматривать стену?

— В этом нет необходимости, мадемуазель.

— Тогда,— продолжала она кротко,— мне остается только умолять вас,— и она сложила руки, как при молитве,— заклиная вас выпустить Альбера из тюрьмы.

— Он будет отпущен на свободу, как только это станет возможно, даю вам слово.

— Нет, сегодня, дорогой господин Дабюрон, прошу вас,

сегодня, немедленно! Ведь он ни в чем не виноват, право, имейте сострадание: вы же наш друг... Хотите, я стану перед вами на колени?

Следователь едва успел ее удержать. Он задышался от волнения. О, как он завидовал арестованному!

— То, о чем вы меня просите, невозможно, мадемуазель,— глухим голосом отвечал он,— честью клянусь, это неосуществимо. Ах, если бы это зависело только от меня! Видя ваши слезы, я не в силах был бы вам отказать, даже будь он виновен.

Мадемуазель д'Арланж, до сих пор такая стойкая, не сумела сдержать рыдание.

— О я несчастная! — воскликнула она.— Он страдает, он в тюрьме, а я на свободе и бессильна помочь ему! Боже милостивый, наставь меня, как тронуть сердца людей! Кому мне броситься в ноги, чтобы добиться милосердия? — Она умолкла, пораженная словом, которое вырвалось из ее уст.— Я сказала «милосердие», но Альбер в милосердии не нуждается,— гордо поправились она.— Зачем я всего лишь женщина? Неужели мне не найти мужчины, который бы мне помог? Нет,— продолжала она после секундного размышления,— есть мужчина, который обязан помочь Альберу, потому что по его вине на Альбера обрушилось несчастье: это граф де Коммарен. Он отец Альбера, и он его покинул. Что ж, пойду к нему и напому ему, что у него есть сын.

Следователь поднялся ее проводить, но она уже выскользнула из комнаты, увлекая за собой преданную м-ль Шмидт.

Чуть живой, г-н Дабюрон рухнул в кресло. В глазах у него стояли слезы.

— Какая девушка! — прошептал он.— Не напрасно мой выбор пал на нее. Мне удалось угадать и понять все ее благородство.

Он чувствовал, что любит ее еще сильнее, чем прежде, и никогда не утешится. Он погрузился в раздумья, и вдруг его мозг пронзила одна мысль.

Правду ли сказала Клер? Не играла ли она разученную загодя комедию? Нет, конечно, нет.

Но ее саму могли обмануть, она могла оказаться жертвой чьего-то искусного обмана. Тогда, значит, исполняется предсказание папаши Табаре, который говорил: «Готовьтесь к безупречному алиби».

Как разоблачить лживость этого алиби, подготовленного заранее и представленного одураченной девушкой? Как разрушить план, настолько хитроумный, что обви-

няемый мог, сложа руки, ничего не боясь, ждать избавления, которое сам заранее подготовил?

Но что, если рассказ Клер все-таки правдив, что, если Альбер невиновен?

Следователь чувствовал, что положение у него безвыходное: он понятия не имел, как справиться со столькими трудностями.

Он поднялся и произнес вслух, словно желая придать себе храбрости:

— Ну что ж, все прояснится во Дворце правосудия.

XIV

Г-н Дабюрон был потрясен визитом Клер.

Еще большее потрясение испытал г-н де Коммарен, когда камердинер склонился к его уху и доложил, что м-ль д'Арланж просит уделить ей несколько минут для разговора.

Г-н Дабюрон уронил великолепную вазу, г-н де Коммарен, сидевший за столом, выпустил из рук нож, и тот упал на тарелку. И так же, как следователь, он прошептал: — Клер...

Он сомневался, принимать ее или нет, опасаясь тягостной и неприятной сцены.

Граф понимал, что вряд ли она питает особо пылкие чувства к человеку, который так долго и упорно противился браку своего сына с нею. Чего она хочет? Вероятней всего, узнать про Альбера. Но что он может ей сказать?

Наверно, она устроит истерику, и это скверно повлияет на его пищеварение.

Однако он представил себе, какое огромное горе, должно быть, она испытывает, и пожалел ее. И еще он подумал, что было бы неблагородно и недостойно его прятаться от той, которая могла бы стать ему дочерью, виконтессой де Коммарен.

Граф велел попросить ее подождать в одной из малых гостиных на первом этаже.

Он спустился туда очень скоро, поскольку само известие об этом визите испортило ему аппетит. Он был готов к самой неприятной сцене.

Чуть только он вошел, Клер присела перед ним в изящном и исполненном достоинства реверансе, какому ее обучила маркиза д'Арланж.

— Господин граф... — начала она.

— Бедное дитя, вы, верно, пришли узнать, нет ли каких

известий об этом несчастном? — спросил г-н де Коммарен.

Он прервал Клер и сам повел разговор в надежде закончить его как можно скорей.

— Нет, господин граф, — отвечала девушка, — напротив, я пришла, чтобы сообщить вам известия о нем. Вы знаете, что он невиновен?

Граф внимательно глянул на нее, решив, что от горя она тронулась рассудком. Но в таком случае помешательство ее было достаточно тихим.

— У меня никогда не было в этом сомнений, — продолжала Клер, — но теперь я получила самое достоверное доказательство.

— Дитя мое, понимаете ли вы, что говорите? — осведомился г-н де Коммарен, глядя на нее с явным недоверием.

М-ль д'Арланж поняла, что подумал старый аристократ. Беседа с г-ном Дабюроном придала ей опыта.

— Я говорю лишь то, что соответствует действительности и что легко проверить, — отвечала она. — Только что я была у судебного следователя господина Дабюрона, одного из друзей моей бабушки, и после того, что я ему рассказала, он убедился в невинности Альбера.

— Он вам так сказал, Клер? — поразился граф. — Дитя мое, вы уверены, что не заблуждаетесь?

— Нет, сударь. Я сообщила ему то, чего никто не знает и что Альбер как благородный человек не мог сказать сам. Я сообщила, что в тот самый вечер, когда было совершено преступление, Альбер был со мною в саду моей бабушки. Он попросил у меня свидания...

— Но одного вашего слова недостаточно.

— Доказательства есть, и правосудие теперь ими располагает.

— Господи, да возможно ли это? — вскричал граф.

— Ах, господин граф, — с горечью промолвила м-ль д'Арланж. — Вы в точности как следователь. Вы поверили в то, чего не могло быть. Вы, отец, заподозрили его! Да вы же совершенно его не знаете. Вы отступились от него, даже не попытавшись защитить. А я ни на минуту не усомнилась в нем.

Человека легко убедить, если он жаждет этого всей душой. Привлечь г-на де Коммарена на свою сторону не составляло для Клер большого труда. Без возражений, без спора он поверил ее доводам. Он проникся ее уверенностью, не раздумывая, насколько это благоразумно и осмыслительно.

Да, убежденность следователя подкосила его, он принял за правду неправдоподобное и смирился. И вот теперь, слушая Клер, вновь воспрял духом. Альбер невиновен! Для него эти слова звучали небесной музыкой.

Клер казалась ему вестницей надежды и счастья.

Всего за три дня он постиг всю глубину своих чувств к Альберу. Г-н де Коммарен нежно любил его и потому, несмотря на мучительные подозрения в своем отцовстве, никогда не соглашался отпустить его от себя.

Все три дня мысль о преступлении, вменяемом несчастному, о каре, которая ждет его, убивала графа. Но Альбер невиновен!

Не будет позора, не будет скандального процесса, их герб останется незапятнан, имя де Коммарена не будут трепать в суде.

— Значит, его вот-вот освободят? — спросил граф.

— Увы, сударь, я просила, чтобы его тут же выпустили на свободу. Ведь так и должно быть, раз он невиновен, правда? Но следователь ответил, что это невозможно, он этим не распоряжается, судьба Альбера зависит от многих лиц. Тогда я и решилась пойти к вам и просить помощи.

— Я могу что-то сделать?

— Надеюсь. Я всего-навсего слабая девушка, ничего и никого не знаю. Не знаю, что можно сделать, чтобы его выпустили из тюрьмы. Но должен же быть какой-то способ добиться справедливости. Господин граф, вы его отец. Может быть, вы попытаетесь как-то помочь ему?

— Да, да! — горячо воскликнул граф. — И не теряя ни минуты!

После ареста Альбера граф впал в мрачное оцепенение. В отчаянии, видя, что все рушится, он не делал ничего, чтобы побороть вялость мыслей. Обычно такой деятельный, теперь он словно застыл. Ему даже нравился этот умственный паралич, не дающий ощущать всю остроту несчастья. Голос Клер прозвучал для него как труба, возвещающая воскрешение. Кончилась чудовищная ночь, он увидел на горизонте проблеск света и обрел юношескую энергию.

— Идемте! — сказал он, но внезапно на сияющее лицо набежала тень печали, смешанной с яростью. — Но куда? В прежние времена я обратился бы к королю. А сейчас... Ваш император не сможет встать над законом. Он посоветует мне подождать решения господ судейских, скажет, что ничего не может сделать. Подождать! А Альбер в смертельном страхе считает минуты. Да, справедливости добиваются

ся, но вот добиться ее быстро — это искусство, которое изучают в школах, куда я не хаживал.

— И все же попытаемся, судары! — настаивала Клер. — Обратимся к судьям, к генералам, к министрам, к кому угодно. Вы только проведите меня — говорить буду я, и вы увидите, мы добьемся успеха.

Граф прямо-таки с отеческой нежностью сжал маленькие руки Клер.

— Вы славная и отважная девушка, Клер! — воскликнул он. — Вот что значит благородная кровь! Я не знал вас. Да, вы будете моей дочерью и будете счастливы с Альбером... Однако же мы не можем метаться по городу от двери к двери. Нужен советчик, который подсказал бы, к кому мне обратиться, какой-нибудь адвокат... О! — обрадовался граф. — Все прекрасно! Ноэль!

Клер с удивлением подняла глаза на графа.

— Это мой сын, — несколько смущенно объяснил г-н де Коммарен. — Мой второй сын, брат Альбера. Превосходнейший, достойнейший человек, — произнес он, очень кстати вспомнив отзыв г-на Дабюрона. — Он адвокат и знает Дворец правосудия как свои пять пальцев. Он-то нам и поможет советом.

Сердце Клер сжалось, едва преисполненный надежды г-н де Коммарен произнес имя Ноэля.

Граф заметил ее испуг.

— О, не тревожьтесь, дорогое дитя, — успокоил он ее. — Ноэль очень добрый, скажу вам больше: он любит Альбера. Ну, не качайте головой. Экая вы недоверчивая! Ноэль мне сам говорил, что не верит в виновность Альбера. Он заверял, что сделает все, чтобы исправить эту чудовищную ошибку, и собирается быть его адвокатом.

Эти уверения, похоже, не переубедили девушку. Она подумала: «Разве мало этот Ноэль уже принес горя Альберу?» — однако не стала спорить.

— Мы пошлем за ним, — продолжал г-н де Коммарен. — Сейчас он возле матери Альбера, воспитавшей его. Она при смерти.

— Матери Альбера?

— Да, дитя мое. Альбер растолкует все, что вам может показаться загадочным. Сейчас у нас нет времени. Хотя я полагаю...

Граф неожиданно умолк. Вместо того чтобы посылать за Ноэлем к г-же Жерди, подумалось ему, он сам мог бы заехать туда. Заодно он повидает Валери, а ему так давно хочется увидеть ее!

Есть такие шаги, к которым подталкивает сердце, однако человек не смеет рискнуть: его удерживают тысячи ничтожных или веских причин. Он мечтает об этом, рвется всей душой, жаждет и все-таки медлит, сопротивляется, борется с собой. Но вот подворачивается повод, и он рад воспользоваться случаем. У него есть оправдание перед собой. Поддавшись порыву страсти, он может сказать: «Это не я — так хочет судьба».

— Проще будет самому поехать к Ноэлю,— заключил граф.

— Так едемте, сударь.

— Понимаете, дорогое дитя,— нерешительно промолвил старый аристократ,— я не знаю, могу ли, имею ли право взять вас с собой. Приличия...

— При чем здесь приличия, сударь? — запротестовала Клер.— Ради Альбера и с вами я могу поехать куда угодно. Разве я обязана давать кому-то объяснения? Пошлите только м-ль Шмидт предупредить бабушку, и пусть она вернется сюда и ждет нашего возвращения. Я готова, сударь.

— Что ж, едем,— ответил граф и, дернув изо всех сил за сонетку, крикнул: — Экипаж!

Когда они спускались с крыльца, граф настоял, чтобы Клер оперлась на его руку. В нем ожил галантный и изящный приближенный графа д'Артуа¹.

— Благодаря вам я сбросил два десятка лет,— сказал он,— и будет справедливо, если я окажу вам знак уважения, принятый в пору моей молодости, которую вы мне возвратили.

Чуть только Клер уселась в карету, он приказал кучеру: — На улицу Сен-Лазар и побыстрей!

Когда граф приказывал «и побыстрей!», проходим следовало убираться с дороги. К счастью, кучер был опытный, и обошлось без несчастных случаев.

Привратник объяснил, как найти квартиру г-жи Жерди.

Граф поднимался медленно, держась за перила, на каждой площадке останавливался, чтобы отдышаться. Он шел на свиданье к ней! Сердце у него сжимало, как тисками.

— Могу я повидать господина Ноэля Жерди? — осведомился он у служанки.

— Адвокат только что вышел. Он не сказал, куда идет, но обещал вернуться не позже, чем через полчаса.

¹ Граф д'Артуа (1757—1836) — брат Людовика XVI, один из вождей эмиграции, с 1824 г. король под именем Карл X, свергнут Июльской революцией 1830 г.

— Мы подождем его,— бросил граф.

Он шагнул через порог, и служанке пришлось посторониться, чтобы пропустить его и м-ль д'Арланж.

Ноэль строго запретил принимать кого бы то ни было, но у графа де Коммарена был такой внушительный вид, что служанка тут же забыла обо всех запретах.

В гостиной, куда она проводила графа и м-ль д'Арланж, находились три человека. То были приходский кюре, врач и высокий мужчина, офицер ордена Почетного легиона, чья выправка и манера держаться выдавали в нем старого солдата.

Они беседовали, стоя у камина, и появление незнакомцев, похоже, удивило их.

Поклонившись в ответ на приветствие г-на де Коммарена и Клер, они обменялись вопросительными взглядами, словно советуясь, как поступить. Однако их колебания длились недолго.

Военный взял стул и придвинул его м-ль д'Арланж.

Граф понял, что он здесь лишний. Придется, видимо, представиться и объяснить причину визита.

— Господа, прошу извинить меня за вторжение. Я не думал, что помешаю вам, когда просил разрешения подождать Ноэля, с которым мне крайне необходимо увидеться. Я — граф де Коммарен.

Услыхав эту фамилию, отставной военный отпустил стул, за спинку которого еще держался, и выпрямился. Глаза его гневно сверкнули, и он сжал кулаки. Он уже намеревался что-то сказать, но удержался и, наклонив голову, отступил к окну.

Ни граф, ни двое остальных мужчин не заметили этой вспышки, но она не ускользнула от внимания Клер.

И пока Клер, изрядно озадаченная, усаживалась, граф, тоже весьма смущенный своим вторжением, подошел к священнику и тихо спросил:

— Простите, господин аббат, каково состояние госпожи Жерди?

Доктор, обладавший чутким слухом, услышал вопрос и тут же подошел к ним. Ему было лестно поговорить с таким, можно сказать, знаменитым человеком, как граф де Коммарен, и вообще познакомиться с ним.

— Надо полагать, господин граф, до утра она не доживет,— сообщил он.

Граф сжал руками виски, словно ощутив боль. Он не решался продолжать расспросы. И все же после секунды молчания негромко произнес:

— Она в сознании?

— Нет, сударь. По сравнению со вчерашним вечером в ее состоянии произошли большие перемены. Всю ночь она была сильно возбуждена, временами начинала бредить. С час назад появилась надежда, что она придет в себя, и мы послали за господином кюре.

— К несчастью, напрасно,— заметил священник.— Она все так же без сознания. Бедная женщина! Я уже лет десять знаю ее и почти каждую неделю заходил к ней. Благороднейшее сердце!

— Она должна ужасно страдать,— сказал доктор.

И почти тотчас же, как бы в подтверждение его слов, из соседней комнаты, дверь в которую была приотворена, донеслись приглушенные крики.

— Слышите? — весь дрожа, спросил граф.

Клер ничего не поняла в этой странной сцене. Ее угнетали мрачные предчувствия, ей казалось, будто она окунулась в атмосферу несчастья. Она испытывала страх. Девушка встала и подошла к графу.

— Она там? — спросил г-н де Коммарен.

— Да, сударь,— резко ответил старик военный, который тоже присоединился к беседующим.

В другое время граф несомненно обратил бы внимание на тон офицера и почувствовал бы себя задетым. Но сейчас он даже не взглянул на него. Он ничего не замечал. Ведь совсем рядом была она. Мыслями г-н де Коммарен витал в прошлом. Ему казалось, что только вчера он навсегда ушел от нее.

— Мне хотелось бы взглянуть на нее,— с какой-то робостью попросил он.

— Это невозможно,— отрезал военный.

— Почему? — растерянно спросил граф.

— Господин де Коммарен, позвольте ей хотя бы умереть спокойно,— отвечал тот.

Граф отшатнулся, словно на него замахнулись. Он встретился взглядом со старым солдатом и опустил глаза, будто подсудимый перед судьей.

— Отчего же, я думаю, что господин граф может войти к госпоже Жерди,— вмешался врач, который предпочитал ничего не замечать.— Вероятней всего, она и не увидит его, но даже если...

— Да, она ничего не увидит,— подтвердил священник.— Я только что обращался к ней, брал ее за руку, но она даже не почувствовала.

Старик военный задумался и наконец сказал графу:

— Что ж, войдите. Может быть, такова воля божья. Граф покачулся. Доктор хотел его поддержать, но граф мягко отвел его руку.

Врач и священник вошли следом за ним, а Клер и отставной военный остались в дверях, которые находились как раз напротив кровати.

Граф сделал несколько шагов, но вынужден был остановиться. Он хотел, но не мог подойти к постели.

Неужели эта умирающая — Валери?

Увядшее, искаженное лицо ничем не напоминало прекрасную, обожаемую Валери его юности. Он не узнавал ее.

Зато она узнала, верней, угадала, почувствовала его. Словно гальванизированная какой-то сверхъестественной силой, она приподнялась, и граф увидел ее исхудавшие руки и плечи. Яростным движением она смахнула с головы компресс из колотого льда, откинула назад все еще густые волосы, влажные от воды и пота, которые разметались по подушке.

— Это ты, Ги! — вскричала она. — Это ты!

Граф внутренне содрогнулся.

Он был недвижим, как бывают, по народному поверью, недвижимы те, кого поразит молния, но стоит только прикоснуться к ним, и они рассыпаются в прах.

Он не мог увидеть то, что заметили остальные: как преобразилась больная. Искривленные черты вдруг смягчились, лицо озарилось счастьем, ввалившиеся глаза просияли нежностью.

— Наконец-то ты пришел, Ги, — облегченно вздохнула она. — Господи, как давно я тебя жду! Ты даже не можешь представить, сколько я выстрадала из-за нашей разлуки. Я давно умерла бы от горя, если бы меня не поддерживала надежда снова увидеться с тобой. Тебя не пускали ко мне? Кто? Твои родители? Бессердечные люди! И ты не мог им сказать, что никто в мире не любит тебя так, как я? Нет, не поэтому, я вспомнила... Я же помню, какое у тебя было бешеное лицо, когда ты уходил от меня. Твои друзья решили разлучить нас, они сказали, что я обманываю тебя с другим. Что плохого я им сделала? Почему они так враждебны ко мне? Они позавидовали нашему счастью. Мы были так счастливы! Но ты не поверил этой нелепой лжи, ты презрел ее и пришел ко мне.

Монахиня, видя такое нашествие в комнату больной, оторопело поднялась.

— Надо быть безумцем, чтобы поверить, будто я изменяла тебе, — продолжала умирающая. — Разве я не принад-

лежу тебе? Чего я могла ждать от другого, если ты уже все мне дал? Разве я не вверилась тебе душой и телом с первого же дня? Я без борьбы предалась тебе, я чувствовала, что родилась, чтобы стать твоей. Ги, неужели ты забыл? Я плела кружева и едва зарабатывала на жизнь, а ты мне сказал, что изучаешь право и еще что ты небогат. Я думала, что ты во всем себе отказываешь, чтобы немножко меня порадовать. Ты захотел, чтобы мы привели в порядок нашу мансарду на набережной Сен-Мишель. Какая она стала красивая, когда мы с тобой оклеили ее обоями в цветочек!

А как там было хорошо! Из окна мы любовались деревьями в саду Тюильри, а если высунуться, можно было увидеть отблеск заката под арками моста. Какое прекрасное это было время! Когда мы впервые в воскресенье вместе поехали за город, ты принес мне красивое платье, о каком я даже мечтать не смела, и такие изящные туфельки, что мне было странно подумать, будто в них можно идти по улице. Но ты обманул меня!

Ты вовсе не был бедным студентом. Однажды я относила работу и увидела тебя в великолепной карете, на запятках которой стояли лакеи в ливреях с золотыми галунами. Я глазам своим не поверила. Но вечером ты мне признался, что ты дворянин и страшно богат. Ах, любимый, зачем ты сказал мне это?

Было непонятно, то ли она пришла в сознание, то ли бредит.

Лицо графа де Коммарена сморщилось, по нему струились слезы. Врач и священник беспомощно стояли, тронутые видом старика, плачущего, как ребенок.

Еще вчера граф думал, будто сердце его мертво, но достаточно было прозвучать этому проникновенному голосу, чтобы в нем ожили воспоминания юности. Сколько же лет прошло с тех пор!

— И тогда мне пришлось переехать с набережной Сен-Мишель,— говорила г-жа Жерди.— Ты потребовал этого, и я, хоть у меня были недобрые предчувствия, покорила. Ты сказал, что я, чтобы нравиться тебе, должна выглядеть знатной дамой. Ты нанял мне учителей: ведь я была почти неграмотной, едва могла нацарапать свою подпись. Помнишь, какие смешные ошибки были в моем первом письме? Ах, Ги, лучше бы ты и вправду оказался бедным студентом! Я утратила всю свою доверчивость, беззаботность и веселость, после того как узнала, что ты богат. А вдруг ты решишь, что я корыстна? А вдруг вообразишь, будто меня интересует только твое богатство?

Люди, имеющие, как ты, миллионы, должно быть, очень несчастны. Я понимаю, им приходится быть недоверчивыми и ко всем относиться с подозрением. Они же никогда не знают, любят их самих или их деньги. Их вечно грызут сомнения, и они делаются мнительными, ревнивыми, жестокими. О мой единственный друг, зачем мы покинули нашу мансарду? Мы были там счастливы. Зачем ты не позволил мне остаться там, где встретил меня? Разве ты не знаешь, что чужое счастье раздражает и озлобляет людей? Будь мы благоразумны, мы скрывали бы его, как преступление. Ты думал, что возносишь меня, а на самом деле низринул. Ты гордился нашей любовью, выставял ее на показ. И я напрасно молила тебя позволить мне жить незаметно, в тени.

Вскоре весь город знал, что я твоя любовница. В свете только и говорили о твоих безумных тратах на меня. Как я краснела из-за роскоши, в которой ты вынуждал меня жить! Ты был доволен: моя красота стала известна всем, а я плакала, потому что всем стал известен и мой позор. Обо мне говорили, как о тех женщинах, чья профессия — толкать мужчин на самые чудовищные безумства. Сколько раз я встречала свою фамилию в газете! И о том, что ты женишься, я узнала тоже из газеты. Я должна была бежать от тебя, но у меня не хватало решимости.

Я трусливо смирилась с постыднейшей участью. Ты женился, а я осталась твоей любовницей. О, какое это было мучение, какой это был страшный день! Я сидела одна в комнате, где все дышало тобой, а ты венчался с другою. Я говорила себе: «Вот сейчас невинная, благородная девушка вручает ему руку и сердце. Какие обеты сейчас произносят его уста, которые так часто сливались с моими?» После этого страшного несчастья я, бывало, спрашивала бога, какое преступление я совершила, что он так безжалостно карает меня. Вот оно, мое преступление: ты женился, и я осталась твоей любовницей, а твоя жена умерла. Я видела ее всего один раз, всего несколько минут, но по тому, как она смотрела на тебя, я поняла: она тебя любит так же, как я. Ги, это наша любовь убила ее!

Утомленная г-жа Жерди умолкла, но никто из присутствующих не шелохнулся. Все благоговейно, с волнением слушали и ждали, что будет дальше.

М-ль д'Арланж была не в силах стоять, она опустилась на колени и прижимала ко рту платок, пытаясь заглушить рыдания. Ведь эта женщина — мать Альбера!

И только монахиню не тронул этот рассказ: она уже столько раз слышала, как бредят больные. Нет, она ничего, совершенно ничего не поняла в происходящем.

«Эти люди сошли с ума,— думала она.— Придавать такое значение горячечному бреду...»

Она решила, что она одна из всех сохранила здравый смысл. Подойдя к кровати, она хотела накрыть больную одеялом.

— Сударыня, давайте укроемся,— сказала она.— Вы простынете.

— Сестра...— произнесли одновременно врач и священник.

— Черт возьми, дайте ей говорить! — крикнул старый солдат.

— Но кто мог тебе сказать, будто я тебе изменяю? — вдруг произнесла больная, не видевшая и не слышавшая ничего вокруг.— О, низкие люди! За мной, видно, следили и обнаружили, что ко мне ходит офицер. Так знай же: то был мой брат Луи. Когда ему исполнилось восемнадцать, он завербовался в армию, сказав нашей матушке: «Все-таки одним ртом в семье будет меньше». Он оказался хорошим солдатом, и начальство сразу заметило его. Он старался, учился и очень быстро стал продвигаться в чинах. Его произвели в лейтенанты, потом в капитаны, назначили командовать эскадроном. Луи всегда любил меня, и, если бы остался в Париже, я не пала бы так низко. Но матушка умерла, и я оказалась одна в этом огромном городе. Он был унтер-офицером, когда узнал, что у меня есть любовник. Я думала, он больше никогда не захочет меня видеть. И все-таки он простил меня, сказав, что, хоть я и оступилась, единственным моим оправданием является постоянство. Ах, друг мой, к моей чести он относился еще ревнивей тебя. Луи приходил ко мне, но тайком. Это я была виновата, что ему приходилось стыдиться меня. Я вынуждена была молчать о нем, никогда не упоминать его имени. Доблестный солдат, мог ли он признаться, что его сестра находится на содержании у графа? Я принимала строжайшие предосторожности, чтобы его не видели. И вот к чему это привело! Ты усомнился во мне! Когда брат узнал, какие толки ходят обо мне, он в слепой ярости хотел вызвать тебя на дуэль. Мне едва удалось убедить его, что он не имеет права меня защищать. Как я была наказана! Какой дорогой ценой заплатила за краденое счастье! Но ты вернулся, и все забыто. Ведь ты веришь мне, Ги, веришь? Я напишу Луи, он придет, он подтвердит, что я не

лгу. Ты же не усомнишься в слове солдата?

— Клянусь честью,— подтвердил старый солдат,— все, что говорит сестра, правда.

Но умирающая не слышала его, она продолжала прерывающимся голосом:

— Какое счастье, что ты здесь! Я чувствую, как оживаю. Я ведь чуть не заболела. Наверное, я сейчас не очень красива, но все равно, поцелуй меня...— И она протянула руки и подставила губы, словно для поцелуя.— Но только одно условие, Ги: ты оставишь мне моего сына. Умоляю, заклинаю тебя, не забирай, оставь его мне! Что станется с матерью, если она лишится своего ребенка? Ты требуешь его у меня, чтобы дать ему прославленное имя и огромное богатство... Нет! Говоришь, что эта жертва нужна ради его счастья... Нет! Мой ребенок принадлежит мне, и я не отдам его. Никакие богатства на земле, никакие почести не заменят ему матери, склоняющейся над его колыбелью. Ты хочешь отдать мне взамен ее ребенка... Нет, ни за что! Чтобы эта женщина целовала моего сына! Это невозможно! Заберите от меня чужого ребенка, он внушает мне ужас, отдайте мне моего. Ги, не настаивай, не угрожай, что рассердишься, что бросишь меня,— я же уступлю, а потом умру. Откажись от своего губительного плана, ведь даже подумать такое — и то грех. Увы, ни мольбы, ни слезы не трогают тебя. Ну что ж, бог нас покарает. Трепещи при мысли о нашей старости. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Когда-нибудь дети придут к нам и предъявят жестокий счет. Они проклянут нас. Ги, мне ясно наше будущее. Я вижу, как мой сын в ярости бросается ко мне. Великий боже, что он говорит? О, эти письма, письма, драгоценная память нашей любви... Но он мне грозит, он ударил меня! Помогите! Сын поднял руку на мать... Только никому не рассказывай об этом! Господи, как я страдаю! Он же прекрасно знает, что я его мать, и притворяется, будто не верит. Боже, за что же эта мука? Ги, друг мой единственный, прости, у меня не было сил противиться и не хватило духу подчиниться.

В этот миг вторая дверь комнаты, выходящая на площадку, отворилась, и вошел Ноэль, как всегда бледный, но невозмутимый и спокойный.

Его появление подействовало на умирающую, как удар электрическим током.

Она задрожала всем телом, глаза ее расширились, и, поднявшись с подушек, простирая руки к Ноэлю, она громко закричала:

— Убийца!

Конвульсивно дернувшись, она рухнула на постель. К ней подбежали, но она была мертва.

Воцарилось глубокое молчание.

Величие смерти и ужас, который она внушает, таковы, что перед нею склоняют головы даже самые сильные духом, даже скептики. На миг умолкают страсти и корысть. Мы невольно сосредоточиваемся, когда в нашем присутствии испускает последний вздох один из наших ближних.

Впрочем, все присутствующие были до глубины души взволнованы сценой предсмертной исповеди, горячечной и горестной.

Но слово «убийца», последнее слово, произнесенное г-жой Жерди, никого не удивило.

Все, кроме сестры, знали о страшном обвинении, тяготеющем на Альбере. Несчастливая мать бросила свое проклятие ему.

Ноэль выглядел глубоко опечаленным. Встав на колени у кровати той, что заменила ему мать, он схватил ее руки, приник к ним губами и простонал:

— Она мертва! Мертва!

Преклонив рядом с ним колени, монахиня и священник читали заупокойные молитвы. Они молили бога быть милостивым к душе усопшей и упокоить ее в мире. Просили дать немножко счастья на небесах той, что столько выстрадала в земной юдоли.

Граф де Коммарен сидел, откинувшись на спинку кресла, голова его бессильно поникла, а лицо осунулось и было бледней, чем у покойной, которая когда-то была его возлюбленной, красавицей Валери.

Около графа хлопотали Клер и доктор. Им пришлось распустить ему галстук и расстегнуть воротничок сорочки: он задыхался.

С помощью старого солдата, чьи покрасневшие глаза говорили о сдерживаемом горе, кресло графа перенесли к приоткрытому окну, чтобы он мог вдохнуть свежего воздуха. Три дня назад эта сцена убила бы его. Но теперь его сердце затвердело от горя, как твердеют от работы ладони.

— Слезы спасут его,— шепнул на ухо Клер доктор.

И вправду, г-н де Коммарен понемножку пришел в себя, и вместе с ясностью рассудка к нему вернулась способность страдать.

Следом за подавленностью приходит сильнейшее духовное потрясение; кажется, будто природа накапливает

силы, чтобы можно было вынести несчастье; поначалу его не ощущаешь со всей остротой и только позже начинаешь осознавать всю его огромность и глубину.

Взгляд графа остановился на кровати, где лежало тело Валери. Это все, что осталось от нее. Душа ее, нежная и преданная душа отлетела.

О, чего бы он не отдал, чтобы бог даровал этой несчастной женщине всего день, нет, час жизни! С каким раскаянием он бросился бы к ее ногам, чтобы вымолить прощение, чтобы сказать, как ненавистна ему теперь его бывшая жестокость. Сказать, что не понял ее безграничной любви. Зачем по одним лишь сплетням и домыслам, даже не подумав поговорить, объясниться, он с холодным презрением отступился от нее? Зачем не повидался с нею? А ведь тогда ему не пришлось бы двадцать лет кряду терзаться мыслью, что Альбер, быть может, не сын ему. И жил бы он не в угрюмом одиночестве, а спокойно и счастливо.

И тут ему припомнилась смерть графини. Она тоже любила его и потому умерла.

Он не понимал их обеих и этим убил.

Пришел час искупления, и он не мог сказать: «Господи, слишком огромна кара твоя!»

И какая кара! Столько несчастий за пять дней!

— Да,— прошептал граф,— она это предсказывала. Почему я ее не послушался?

Брат г-жи Жерди пожалел старика, на которого свалилось столько горя. Он протянул ему руку и сказал:

— Господин де Коммарен, моя сестра давно уже простила вас, если она вообще когда-нибудь на вас сердилась. Сегодня вас прощаю и я.

— Благодарю вас, сударь, благодарю,— пробормотал граф и вздохнул: — Великий боже, какая смерть!

— Да,— тихо промолвила Клер,— она умерла с мыслью, что ее сын — убийца. И мы не успели ее разубедить.

— Но нужно хотя бы, чтобы ее сын получил свободу и смог отдать ей последний долг,— решительно произнес граф.— Ноэлы!

Адвокат стоял рядом и все слышал.

— Отец, я обещал вам спасти его,— сказал он.

М-ль д'Арланж в первый раз взглянула в лицо Ноэлю, их взгляды встретились, и девушка не смогла сдержать гримасу отвращения, которая не ускользнула от адвоката.

— Альбер уже спасен,— надменно сообщила она.— Мы требуем только одного: чтобы правосудие действова-

ло побыстрее и немедленно вернуло Альберу свободу. Судебный следователь уже знает правду.

— Правду? — переспросил адвокат.

— Да. В ночь убийства Альбер был у меня, со мной.

Ноэль изумленно воззрился на нее: столь необычное признание, услышанное без всяких объяснений из девичьих уст, могло поразить кого угодно.

— Сударь, я — мадемуазель Клер д'Арланж.

Г-н де Коммарен коротко пересказал все, что узнал от Клер. Когда он закончил, Ноэль сказал:

— Вы видите, сударь, в каком я положении. Завтра...

— Завтра! — с негодованием прервал его граф. — Вы хотите, как я понял, ждать до завтра! Долг чести велит действовать сейчас же, немедленно. Для вас лучшее средство почтить эту несчастную женщину — не молиться за нее, а освободить ее сына.

Ноэль склонился в поклоне.

— Вы приказали, сударь, я подчиняюсь. Сегодня вечером у вас в особняке я буду иметь честь дать вам отчет о предпринятых мною шагах. Возможно, мне удастся привести к вам Альбера.

Сказав это, он в последний раз поцеловал покойную и вышел.

Вскоре после него ушли граф и м-ль д'Арланж.

Брат г-жи Жерди отправился в мэрию сделать заявление о смерти и выполнить необходимые формальности.

Монахиня осталась одна поджидать священника, которого пообещал прислать кюре для ночного бдения над трупом. Она не испытывала ни страха, ни волнения: ей уже столько раз приходилось встречаться со смертью.

Помолившись, она встала с колен и принялась хлопотать в комнате, убирая ее так, как положено, когда больной испустит последний вздох.

Она уничтожила все следы болезни, спрятала пузырьки и баночки, пожгла сахару, накрыла белой салфеткой стол у изголовья кровати и поставила на него зажженные свечи, распятие, чашу со святой водой и веточкой освященного букса.

XV

Взволнованный и озабоченный признаниями м-ль д'Арланж, г-н Дабюрон поднимался по лестнице, ведущей на галерею следователей, и вдруг столкнулся с папашей Табаре. Обрадовавшись, он окликнул его:

— Господин Табаре!

Но сыщик, весь вид которого свидетельствовал о крайнем волнении, отнюдь не был расположен останавливаться и терять время.

— Извините, сударь,— с поклоном отвечал он,— меня ждут.

— Но я все-таки надеюсь...

— Он невиновен,— перебил папаша Табаре.— У меня уже есть кое-какие доказательства, и не пройдет трех дней... А вы пока допросите человека с серьгами, которого разыскал Жевроль. Он очень смышлен, этот Жевроль, я его недооценивал.

И, не слушая больше ни слова, папаша Табаре стремительно понесся через три ступеньки вниз по лестнице, рискуя сломать себе шею.

Г-н Дабюрон, обманутый в своих ожиданиях, ускори́л шаг.

На галерее у дверей его кабинета на грубой деревянной скамье сидел под охраной жандарма Альбер.

— Через минуту вас вызовут,— сообщил ему следователь, открывая дверь.

В кабинете беседовали Констан и невысокий человек с невыразительным лицом, которого можно было бы принять за какого-нибудь мелкого рантье из Батиньоля, если бы огромная булавка с фальшивым камнем, сверкавшая в галстукѣ, не выдавала в нем агента полиции.

— Получили мои записки? — спросил г-н Дабюрон своего протоколиста.

— Сударь, все ваши распоряжения выполнены, обвиняемый уже здесь, а это господин Мартен, который только что прибыл из квартала Инвалидов.

— Все идет отлично,— удовлетворенно заметил следователь и поинтересовался у агента: — Ну, и что же вы обнаружили, господин Мартен?

— В сад залезали, сударь.

— Давно?

— Дней пять-шесть назад.

— Вы уверены в этом?

— Так же, как в том, что господин Констан чинит сейчас перо.

— И следы заметны?

— Так же, как нос на лице, если мне будет позволено сделать такое сравнение. Вор, а я полагаю, что это был вор,— пояснил словоохотливый г-н Мартен,— проник в сад до дождя, а убрался после, в точности как вы предпола-

гали, господин судебный следователь. Это обстоятельство легко установить, ежели сравнивать следы на садовой стене со стороны улицы, которые он оставил, когда поднимался и когда спускался. Следы представляют собой царапины, сделанные носками его сапог. Одни из них чистые, а другие грязные. Молодчик — должен сказать, он ловок — забирался, подтягиваясь на руках, а вот когда вылезал, то позволил себе роскошь воспользоваться лестницей, которую, забравшись на стену, отбросил наземь. Очень хорошо видно, где он ее поставил: на земле заметны углубления, оставленные стойками, а на верху стены повреждена штукатурка.

— Это все?

— Нет, сударь, не все. На гребне стены сорваны три бутылочных осколка. Ветки акаций, нависающие над стеной, согнуты или сломаны. А на колючке одной из веток я обнаружил клочок серой кожи, на мой взгляд, от перчатки. Вот он.

Следователь жадно схватил этот клочок. Да, действительно, он вырван из серой перчатки.

— Господин Мартен, надеюсь, вы действовали так, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения в доме, где проводили расследование? — спросил г-н Дабюрон.

— Само собой, сударь. Сперва я без всяких помех обследовал стену со стороны улицы. Потом оставил в ближнем кабачке шляпу и представился маркизе д'Арланж управляющим одной из герцогинь, живущих по соседству, которая находится в полном отчаянии, оттого что у нее улетел любимый говорящий попугай. Мне милостиво позволили поискать его в саду, ничуть не усомнившись, что я слуга этой самой герцогини, поскольку я весьма красноречиво расписывал ее горе...

— Господин Мартен,— прервал его следователь,— вы показали себя ловким и предприимчивым человеком, я весьма доволен вами и сообщу об этом кому следует.

И пока агент, гордый услышанной похвалой, пятился, согнувшись в дугу, к двери, г-н Дабюрон позвонил.

Ввели Альбера.

— Ну как, сударь, решились вы рассказать, где провели вечер вторника? — без всяких околечностей задал вопрос следователь.

— Я уже все вам рассказал.

— Нет, сударь, нет, и я с сожалением вынужден уличить вас в том, что вы мне солгали.

От такого оскорбления Альбер покраснел, глаза его сверкнули.

— Мне известно, что вы делали в тот вечер,— объявил следователь.— Я же предупреждал вас, что правосудие узнает все, что ему необходимо знать.— Г-н Дабюрон перехватил взгляд Альбера и медленно произнес: — Я виделся с мадемуазель Клер д'Арланж.

При звуках этого имени замкнутое, напряженное лицо обвиняемого смягчилось.

Казалось, он испытывает безграничное блаженство, словно человек, чудом избежавший неминуемой опасности, которую он не в силах был отвести. И все-таки он промолчал.

— Мадемуазель д'Арланж сказала мне, где вы были вечером во вторник,— не отступал судебный следователь. Альбер все не мог решиться.

— Поверьте честному слову, я не подстраиваю вам ловушку. Она мне все сказала. Понимаете, все.

И тогда Альбер заговорил. Его показания полностью, до мельчайших подробностей совпадали с показаниями Клер. Отныне никаким сомнениям не оставалось места.

Чистосердечие м-ль д'Арланж не могло вызывать никаких подозрений. Либо Альбер невиновен, либо она его сообщница.

Но могла ли она сознательно стать сообщницей столь гнусного преступления? Нет, даже заподозрить ее в этом было невозможно.

Но где же тогда искать убийцу?

Ведь правосудию, когда оно обнаруживает преступление, нужен преступник.

— Сударь, вы обманывали меня,— строго сказал следователь Альберу.— Вы рисковали головой, но, что куда серьезней, ваше поведение могло ввести правосудие в непростительное заблуждение. Почему вы мне сразу не сказали правду?

— Сударь,— отвечал Альбер,— мадемуазель д'Арланж, согласившись на свидание со мной, вверила мне свою честь.

— И вы бы скорей погибли, чем обмолвились об этом свидании? — иронически спросил г-н Дабюрон.— Что ж, это прекрасно и достойно давних рыцарских времен.

— Я вовсе не такой герой, как вы полагаете,— спокойно отвечал обвиняемый.— Я солгал бы, если бы сказал, что не надеялся на Клер. Я ждал ее. Знал, что, услышав о моем аресте, она сделает все, чтобы спасти меня. Но

мой арест от нее могли скрыть, и этого я опасался. В таком случае я решил — в той мере, в какой могу быть уверен в себе,— не упоминать ее имя.

В этом не было ни капли бравады. Альбер говорил то, что думал и чувствовал. Г-н Дабюрон пожалел о своем ироническом тоне.

— Сударь,— благожелательно сказал он,— сейчас вас отведут в тюрьму. Пока я еще ничего не могу сказать, кроме одного: больше вас не будут содержать в строгом заключении. К вам будут относиться, как к арестанту, который, по всей видимости, невиновен.

Альбер поклонился и поблагодарил. Вошел жандарм и увел его.

— А теперь пригласите Жевроля,— велел г-н Дабюрон протоколисту.

Однако начальника сыскной полиции не оказалось, его только что вызвали в префектуру, но найденный им свидетель, мужчина с серьгами, дождался в галерее.

Его пригласили в кабинет.

Это был невысокий, коренастый, прочно скроенный и крепкий как дуб человек, на чью широкую спину свободно можно взвалить три мешка зерна.

Светлые волосы и бакенбарды, казалось, делали еще темней его загорелое лицо, прокаленное солнцем тропиков, продубленное непогодами и морскими ветрами.

У него были широкие, жесткие, мозолистые руки с узловатыми пальцами, и пожатие их, надо думать, было подобно тискам. В ушах висели большие серьги с вырезами в форме якоря.

Одет он был, как обычно одеваются нормандские рыбаки, когда едут в город или на рынок.

Протоколисту пришлось чуть ли не заталкивать его в кабинет.

Этот морской волк робел и смущался.

Вошел он походкой вразвалку, как ходят моряки, привычные к бортовой и килевой качке, когда с удивлением обнаруживают под ногами твердую землю, или, как они полупрезрительно говорят, коровью палубу.

Он в нерешительности мял в руках мягкую войлочную шляпу, украшенную маленькими свинцовыми медальками, прямо-таки точную копию августейшей шапки блаженной памяти короля Людовика XI, уснащенную вдобавок шерстяным шнурком из тех, какие плетут деревенские девушки с помощью простейшего устройства, состоящего из нескольких воткнутых в пробку булавок.

Г-ну Дабюрону достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что за человек стоит перед ним.

Да, никаких сомнений, это был тот самый мужчина с лицом кирпичного цвета, о котором говорил мальчишка из Ла-Жоншер.

А уж усомниться в том, что это честный человек, было совершенно невозможно. У него было доброе, открытое лицо.

— Ваша фамилия? — задал вопрос судебный следователь.

— Мари Пьер Леруж.

— Вы что же, родственник Клодины Леруж?

— Я ее муж, сударь.

Как! Муж убитой жив, а полиция и не подозревает о его существовании?

Именно так и подумал г-н Дабюрон.

Чего же тогда стоит весь поразительный прогресс техники?

Сейчас, как и двадцать лет назад, если у правосудия возникли сомнения, приходится тратить уйму времени и денег, чтобы получить ничтожную справку. В большинстве случаев проверить общественное положение свидетеля или обвиняемого стоит огромных трудов.

В пятницу днем отправили запрос на сведения о Клодине, сегодня уже понедельник, а ответа нет как нет.

И хотя существует фотография, электрический телеграф, имеются тысячи возможностей, неизвестных раньше, они не используются.

— Но ведь все считали ее вдовой, — заметил следователь, — и она сама выдавала себя за вдову.

— Так это она чтоб как-то оправдать свое поведение. Да мы так и условились между собой. Я ведь ей сказал, что для нее я умер.

— Вот как... А вы знаете, что она пала жертвой чудовищного преступления?

— Господин из полиции, который нашел меня, сказал мне об этом, — помрачнев, отвечал моряк и глухо пробурчал: — Дрянная она была женщина.

— Как! Вы, муж, и так отзываетесь о ней?

— Эх, сударь, уж я-то имею на это право. Покойный мой отец, который знал ее в молодости, предупреждал меня. А я смеялся, когда он мне говорил: «Ой, смотри, она нас всех опозорит». И он оказался прав. Из-за нее меня разыскивала полиция, точно я злодей какой и прячусь и меня надо искать. Небось всюду, где обо мне спрашивались, показывая

судебную повестку, люди про себя думали: «Это неспроста. Видать, он что-то натворил». За что мне такое, сударь? Леружи от века были честными людьми. Спросите в наших местах, и вам скажут: «Слово Леружа надежней подписи». Да, она дрянная женщина, и я говорил ей, что она скверно кончит.

— Вы ей это говорили?

— Сотни раз, сударь.

— Но почему? Поверьте, друг мой, никто в вашей честности не сомневается и ни в чем вас не подозревает. Когда вы ее предупреждали?

— В первый раз, сударь, давно, лет тридцать назад. Тщеславна она была, слов нет как, и пришла ей охота лезть в дела больших людей. Это ее и сгубило. Она говорила, что, храня их тайны, можно хорошо заработать, а я ей ответил, что она только навлечет на себя позор. Помогать большим людям скрывать их пакости и рассчитывать, что это принесет счастье, все равно что набить тюфяк колючками и надеяться сладко выспаться. Да разве она послушает!

— Но вы же, ее муж, могли ей запретить,— заметил г-н Дабюрон.

Моряк с глубоким вздохом опустил голову.

— Эх, сударь, она вертела мной, как хотела.

Вести допрос свидетеля, задавая ему короткие вопросы, когда не имеешь ни малейшего представления о том, что он сообщит, значит терять время впустую. Вам кажется, что вы приближаетесь к самому важному, а на самом деле отдаляетесь от истины. Лучше уж позволить свидетелю говорить, а самому спокойно слушать и только слегка направлять его, когда он станет слишком уклоняться. Это куда надежней и короче. На том и порешил г-н Дабюрон, проклиная в душе отсутствие Жевроля, который мог бы вполовину сократить этот допрос, обо всей важности которого следователь даже не подозревал.

— А в какие же дела лезла ваша жена? — поинтересовался г-н Дабюрон. — Расскажите, друг мой, только честно. Имейте в виду: здесь полагается говорить не просто правду — всю правду.

Леруж положил шляпу на стул. Говоря, он то ломал себе пальцы, так что они похрустывали в суставах, то всей пятерней чесал в затылке. Это помогало ему думать.

— В день святого Жана тому будет уже тридцать пять лет. Я влюбился в Клодину. Она была такая красивая, ладная, пригожая, а голос — слаще меда. В наших местах не было девушки красивей ее. Стройная, как мачта, гибкая,

как лозинка, точеная и ловкая, как гоночная шлюпка. Черные волосы, сахарные зубы, глаза искрятся, как старый сидр, а дыхание свежее, чем морской бриз. Одна беда — у нее ни гроша, а мы жили в достатке. Мать ее, тридцатилетняя вдова, была, прошу прощения, совсем негодная баба, а папаша мой — ходячая добродетель. Когда я сказал ему, что хочу жениться на Клодине, он только выругался, а через неделю отправил меня на шхуне нашего соседа в Порто, чтоб из меня выдуло дурь. Я вернулся через полгода худой как щепка, но такой же влюбленный. Мечтая о Клодине, я высох, как будто меня держали на медленном огне. Я до того рехнулся, что уже есть и пить не мог, а тут мне еще передали, что и она ко мне равнодушна, потому как я парень дюжий и на других девушек не пялюсь. Короче, видя, что меня не переупрямить, что я чахну на глазах и того гляди лягу на кладбище по соседству с покойной матушкой, отец сдался. Однажды вечером, когда мы вернулись с рыбной ловли и я за ужином не съел ни куска, он сказал: «Ладно, женись на своей потаскухе, только чтоб этому конец настал!» Я это хорошо запомнил, потому что, когда он назвал мою любимую таким словом, у меня в глазах потемнело. Я готов был убить его. Нет, ежели женишься против воли родителей, счастья не жди.

Старый моряк погрузился в воспоминания. Он уже не рассказывал, а рассуждал. Следовательно попытался направить его на нужный путь:

— Давайте поближе к делу.

— Сударь, я к этому и веду, но, чтобы понять, надо начать с начала. Значит, женился я. Вечером после свадьбы родственники и гости ушли, мы остались с женой, и тут вдруг я вижу, что отец сидит один в уголке и плачет. Сердце у меня сжалось, и появилось какое-то недоброе предчувствие. Но оно быстро прошло. Если любишь жену, первые полгода пролетают как в сказке. Все видишь как бы сквозь туман, который скалы превращает в дворцы либо в церкви, так что неопытному недолго и заблудиться. Два года прожили мы мирно, если не считать нескольких размолвок. Клодина прямо-таки вила из меня веревки. А уж хитра она была! Могла бы взять меня, связать, отвести на рынок и продать, а я бы только млея. Главный ее недостаток — была она страшная кокетка. Все, что я зарабатывал, а дела у меня шли неплохо, она спускала на наряды. Каждое воскресенье у нее обнова — платье, бусы, чепец, короче, всякие чертовы штучки, которые придумали торговцы на погибель женщинам. Соседи, конечно, осуждали ее, но я считал, что все

так и должно быть. Она родила мне сына, которого мы называли по имени моего отца Жаком, и на его крещение я, чтоб ей угодить, одним махом потратил триста с лишком пистолей из своих холостяцких сбережений, на которые собирался прикупить лужок; я на него давно уже зубы точил, потому как он вклинивался между двумя нашими участками.

Г-н Дабюрон был вне себя от нетерпения, но что он мог поделывать?

— Ну, ну,— подгонял он всякий раз, когда видел, что Леруж собирается остановиться.

— Одним словом,— продолжал тот,— все было хорошо, но как-то утром я заметил, что около нашего дома крутится слуга графа де Коммарена, чей замок находился в четверти лье от нас, на том конце деревни. Этот проходимец по имени Жермен не нравился мне. Ходили слухи, будто он замешан в исчезновении Томасины, красивой девушки из нашей деревни, которая нравилась молодому графу. Я спросил у жены, чего нужно этому шалопаю, и она мне сказала, что он приходил звать ее в кормилицы. Сперва я и слышать об этом не хотел. Мы не настолько были бедны, чтобы Клодина отнимала у нашего сына молоко. Ну, тут она начала меня уговаривать. Дескать, она раскаивается в своем кокетстве и что так швыряла деньгами. Ей тоже хочется заработать, потому как стыдно ей бездельничать, когда я спины не разгибаю. Она хотела подкопить денег, чтобы нашему малышу, когда он вырастет, не пришлось ходить в море. Ей обещали очень хорошо заплатить, и эти деньги мы смогли бы отложить, чтобы поскорее восполнить те триста пистолей. Ну, а когда она упомянула про этот чертов лужок, я сдался.

— А она не сказала вам,— спросил следовательно,— какое поручение хотят ей дать?

Леруж был потрясен. Он подумал, что не зря говорят, будто правосудие все видит и все знает.

— Не сразу,— отвечал он.— Через неделю почтарь принес Клодине письмо, в котором ей велели приехать в Париж за ребенком. Дело было вечером. «Ну вот,— сказала она,— завтра я еду на службу». Я молчал, но, когда она утром одевалась для поездки в дилижансе, объявил, что еду с ней. Она не спорила, даже наоборот, расцеловала меня, и я растаял. В Париже жена должна была взять младенца у некой госпожи Жерди, которая жила на бульваре. Мы с Клодиной договорились, что она пойдет одна, а я буду ждать ее в нашей гостинице. Но когда она ушла, я весь извелся. Через час я не выдержал и пошел бродить около дома этой

дамы. Я расспрашивал слуг, людей, которые выходили отсюда, и узнал, что она любовница графа де Коммарена. Мне это так не понравилось, что, будь я по-настоящему хозяином, жена возвратилась бы домой без этого ублюдка. Я всего лишь простой моряк и знаю, что мужчина может и забыться. Особенно если выпьет. Случается, приятели затащат. Но когда у мужчины есть жена и дети, а он путается с другой и отдает ей то, что принадлежит его семье, я считаю, это скверно, очень скверно. Вы согласны со мной, сударь?

Судебный следователь от ярости и нетерпения уже ерзал в кресле и думал: «Нет, этак он никогда не кончит!»

— Да, да, вы правы, тысячу раз правы, — ответил он, — но не будем отвлекаться. Рассказывайте дальше.

— Клодина, сударь, была упряма, как мул. Три дня мы с нею препирались, и наконец между двумя поцелуями она вырвала у меня согласие. И тут она мне сообщила, что возвращаться мы будем не в дилижансе. Эта дама боится, что ее малыш утомится в пути, и потому распорядилась, чтобы нас везли с остановками в ее экипаже и на ее лошадях. Вот как ее содержали! Я по глупости обрадовался: дескать, смогу посмотреть в свое удовольствие места, по которым будем проезжать. И вот мы с детьми, моим и тем, другим, сели в роскошную карету, запряженную великолепными лошадьми, а вез нас кучер в ливрее. Жена была вне себя от радости. Она все целовала меня и позванивала пригоршнями золотых монет. А я сидел с дурацким видом, как всякий муж, обнаруживший дома деньги, которые он не приносил. Видя, какое у меня лицо, и надеясь меня развеселить, Клодина решила открыть мне правду. «Послушай», — говорит она мне... — тут Леруж прервался и пояснил: — Понимаете, это жена мне говорит.

— Да, да... Продолжайте.

— Так вот, значит, говорит она мне, потрянув карманом: «Послушай, муженек, теперь-то денег у нас будет сколько угодно, а все почему? Господин граф, у которого родился законный сын одновременно с этим, желает, чтобы его имя досталось незаконнорожденному. А устрою это я. На постоялом дворе, где мы будем ночевать, мы встретимся с господином Жерменом и кормилицей, которые везут законного сына. Нас поселят в одной комнате, и ночью я должна буду поменять младенцев, которые нарочно одинаково запеленуты. Господин граф дает мне за это восемь тысяч франков сразу и пожизненную ренту в тысячу франков».

— Как! — вскричал следователь. — Вы называете себя

честным человеком, а сами допустили такое преступление, хотя достаточно было одного слова, чтобы предотвратить его!

— Помилуйте, сударь,— взмолился Леруж,— позвольте мне закончить.

— Хорошо, давайте дальше.

— Сперва от ярости я слова не мог вымолвить. Вид у меня, наверно, был грозный. Она всегда побаивалась, когда я выходил из себя, и тут же сбила меня, расхохоталась. «Экий ты глупый,— сказала она.— Прежде чем на стенку лезть, дослушай. Понимаешь, граф во что бы то ни стало хочет, чтобы его незаконный сын был при нем, и платит за это. А его любовница, мать этого малыша, против. Она сделала вид, будто согласна, но только для того, чтобы не ссориться с любовником, а на самом деле кое-что придумала. Она увела меня в комнату и, заставив поклясться на распятии, что я не выдам ее, призналась, что не может свыкнуться с мыслью о разлуке со своим ребенком и принять чужого. А потом сказала, что, ежели я соглашусь не подменивать новорожденных, не ставя о том в известность графа, она обещает мне десять тысяч и такую же ренту, как граф. И еще предупредила, что узнает, сдержала ли я слово, потому как пометила своего младенца несмываемым знаком, по которому узнает его. Знак этот она мне не показала, а я его искала, но не нашла. Теперь понял? Я просто оставлю все, как есть, графу же скажу, что подменила, мы получим с обоих, и наш Жак станет богачом. Ну, поцелуй свою женушку, у которой ума куда больше, чем у тебя». Вот, сударь, слово в слово, что мне сказала Клодина.

Суровый моряк вытащил из кармана большущий платок в синюю клетку и трубно высморкался, так что стекла зазвенели. Это означало, что он расчувствовался.

Г-н Дабюрон был в совершенном замешательстве.

С самого начала это злополучное дело поражало его и ставило в тупик. Едва он успевал привести в порядок мысли по одному вопросу, как тут же его внимание требовал другой.

Он был сбит с толку. Что означает этот неожиданный и, без сомнения, важный эпизод? Как его понимать?

Г-н Дабюрон просто изнывал от желания ускорить допрос, но видел, что Леружу трудно, он с трудом распутывает воспоминания, следуя тоненькой ниточке, и любое вмешательство может ее оборвать и запутать клубок.

— Само собой, Клодина предложила подлость, а я — честный человек. Но эта женщина делала со мной, что хо-

тела. Она мне всю душу переворачивала. Стоило ей пожелать, и я видел белое черным, а черное белым. Да что говорить, я любил ее! Она убедила меня, что мы никому ничего худого не делаем, а зато Жаку сколотим состояние, и я замолчал. Вечером мы приехали в какую-то деревню, и кучер, остановившись у постоялого двора, сказал, что тут мы заночуем. Мы вошли, и кого я там увидел? Этого негодяя Жермена с женщиной, на руках у которой был ребенок, завернутый точь-в-точь как наш. Как и мы, они ехали в графском экипаже. И тут у меня закралось подозрение. А что, если Клодина придумала про сговор с этой дамой, чтобы успокоить меня? С нее стало бы. Голова у меня шла кругом. Ладно, я согласился на скверное дело, но только на это. И тогда я решил не спускать глаз с незаконнорожденного младенца, поклявшись в душе, что не дам себя облапошить. Весь вечер я держал его на коленях и для верности, чтоб не перепутать, повязал на него свой носовой платок. Но дело-то было очень здорово подготовлено. После ужина нам велели идти спать, и тут выяснилось, что на этом постоялом дворе всего две комнаты с двумя кроватями каждая. Все было заранее рассчитано. Хозяин сказал, что обе кормилицы лягут в одной комнате, а я и Жермен в другой. Понимаете, господин следователь? А ко всему прочему я заметил, что моя жена и этот негодяй слуга весь вечер тайком обменивались знаками. Я был вне себя. Во мне заговорила совесть, которую прежде я заставлял молчать. Я понял, что поступал бесчестно, и на все корки ругал себя. Скажите, ну как это мошенникам удастся, что разум честного человека поворачивается, словно флюгер, куда велит ветер их мошеннических замыслов?

В ответ г-н Дабюрон так стукнул кулаком по столу, что чуть не развалил его.

Леруж заторопился:

— Я отказался наотрез, прикинувшись, будто из ревности боюсь даже на минуту оставить жену. Пришлось им уступить. Та кормилица пошла укладываться первая, а мы с Клодиной чуть позже. Жена разделась и легла в постель с нашим сыном и с воскормленником, а я не стал раздеваться. Под предлогом, будто боюсь придавить малыша, ежели лягу, я устроился на стуле у кровати, решив не смыкать глаз и всю ночь нести вахту. Я задул свечку, чтобы женщины могли заснуть, у меня же сна не было ни в одном глазу: мысли не давали спать. Я сидел и думал, что сказал бы отец, если бы узнал, во что я впутался. Около полуночи я услышал, что Клодина зашевелилась. Я затаил дыхание.

Может, она хочет поменять младенцев? Теперь-то я знаю, что нет, но тогда же я не знал. Я освирепел, схватил ее за руку, стал колотить, притом не на шутку, и высказал все, что у меня накипело на сердце. Кричал я во весь голос, точно у себя на корабле в бурю, ругался, как каторжник, одним словом, поднял страшный шум. Вторая кормилица вопила, словно ее режут. Услышав этот переполох, прибежал Жермен со свечой. Я увидел его, и это меня доконало. Не сообщая, что делаю, я выхватил из кармана складной нож, который всегда ношу с собой, схватил проклятого ублюдка и резанул его по руке, сказав: «Теперь уж, коли его подменят, я буду точно знать. У него теперь отметина на всю жизнь».

Леруж замолчал не в силах больше говорить.

Капли пота блестели у него на лбу, сползали по щекам и замирали в глубоких бороздах морщин.

Он прерывисто дышал, но настойчивый взгляд следователя подгонял его, не давал покоя, словно бич, который на плантациях хлещет по спинам изнемогающих от усталости негров.

— У малыша была страшная рана, из нее хлестала кровь, он мог умереть от нее. Но на этом я не остановился. Меня беспокоило будущее, то, что может случиться потом. Я объявил о намерении записать, что у нас тут произошло, и сказал, чтобы все под этим подписались. Так мы и сделали. Вчетвером и составили бумагу. Жермен не посмел противиться: я говорил, держа в руке нож. Он даже подписался первым и только умолял ничего не говорить графу, поклявшись, что сам будет молчать, как могила, и заставил вторую кормилицу пообещать держать тайну.

— Вы сохранили документ? — поинтересовался г-н Дабюрон.

— Да, сударь. Человек из полиции, которому я все рассказал, велел мне взять его с собой, и я забрал его оттуда, где хранил. Он при мне.

— Дайте его сюда.

Леруж извлек из кармана куртки старый кожаный бумажник, перевязанный кожаным же ремешком, и вынул запечатанный, пожелтевший от времени конверт.

— Вот он. С той проклятой ночи я не открывал его.

Действительно, когда следователь распечатал конверт, оттуда высыпалась зола, которой посыпали бумагу, чтобы поскорей высохли чернила.

Там было кратко описано то, о чем сейчас рассказал Леруж, и стояли четыре подписи.

— Интересно, что случилось со свидетелями, подписавшими это заявление? — пробормотал в раздумье следователь.

Леруж решил, что это вопрос к нему.

— Жермен погиб,— ответил он,— утонул во время купания. Клодину недавно убили, но вторая кормилица еще жива. Мне даже известно, что она рассказала про эту историю своему мужу, потому как он намекнул мне на нее. Зовут его Бросет, а живет он в самой деревне Коммарен.

— А что дальше? — спросил следователь, записав фамилию и адрес.

— На другой день Клодине удалось меня успокоить и вырвать клятву хранить молчание. Малышу стало лучше, но на руке у него остался глубокий шрам.

— Госпожу Жерди уведомили о том, что произошло?

— Не думаю, сударь. Так что лучше будет ответить: не знаю.

— Как это не знаете?

— Клянусь вам, господин следователь, вправду не знаю. А все оттого, что случилось после.

— Что же случилось?

Моряк нерешительно проямлил:

— Да знаете, сударь, это все касается меня и...

— Друг мой,— прервал его г-н Дабюрон,— вы — честный человек, я совершенно убежден в этом и верю вам. Единственный раз в жизни вы под влиянием скверной женщины оступились, стали соучастником преступного деяния. Искупите же свою ошибку и расскажите все, ничего не скрывая. Все, что говорится здесь и напрямую не относится к преступлению, остается в тайне, я тотчас же забываю это. Так что не бойтесь ничего, а если вам станет стыдно, скажите себе, что это наказание за прошлое.

— Эх, господин следователь,— вздохнул Леруж,— я уже наказан и давно. Нечестно добытые деньги не идут впрок. Возвратясь домой, я купил этот чертов лужок, заплатив дороже, чем он стоит. И тот день, когда я бродил по нему, говоря себе: «Теперь он мой»,— был последним моим спокойным днем. Клодина была кокеткой, но у нее и других пороков хватало. Когда у нас оказалось столько денег, все ее пороки вспыхнули в ней, как вспыхивает тлеющий в трюме огонь, стоит открыть люк. Она и прежде любила вкусно поесть и выпить, а тут на нее просто удержу не стало. У нас пошел сплошной пир. Я отплывал в море, а она тут же садилась за стол с самыми дрянными местными бабами, и не было ничего, что показалось бы им не по карману. Начала

попивать на сон грядущий. Дальше больше. Однажды она думала, что я в Руане, и не ждала меня, а я явился ночью и нашел у нее мужчину. И какого, сударь! Самого ничтожного заморыша, которого презирала вся округа, уродливого, грязного, подлого, короче, писца у нашего судебного исполнителя. Мне бы убить подонка, и никто бы меня не осудил, но я пожалел его. Я схватил его за горло и вышвырнул через закрытое окно на улицу. От этого он не помер. А потом я набросился на жену, и, когда кончил ее бить, она уже не шевелилась.

Голос у Леружа был хриплый, время от времени он вытирал кулаком глаза.

— Прошу прощения, но, ежели мужчина поколотил жену, а потом простил, он — пропащий человек. Она становится осторожней, хитрей притворяется, только и всего. Тем временем госпожа Жерди забрала своего малыша, и Клодину уже ничто не сдерживало. У нас поселилась ее мать, чтобы присматривать за нашим Жаком, она подзуживала и покрывала Клодину, и та еще больше года обманывала меня. Я-то думал, она образумилась, а оказывается, нет: она продолжала вести ту же самую жизнь. Мой дом превратился в злачное место. Подвыпив, там собирались бездельники со всей округи. Но и тут они пьянствовали: моя жена заказывала корзинами вино и водку, и, пока я был в море, они все это пили вперемешку. Когда у нее кончались деньги, она писала графу или его любовнице, и разгул продолжался. Порой у меня возникали подозрения, так, без всяких оснований, и тогда я от души колотил ее, а потом снова прощал, как трус, как последний дурак. Это был ад, а не жизнь. Не знаю, что мне доставляло большее наслаждение — целовать ее или осыпать ударами. Все селение презирало меня, люди думали, что я заодно с женой или добровольно закрываю глаза. Потом уже я узнал, что они верили, будто я извлекаю доход из загулов Клодины, хотя на самом деле это она платила своим любовникам. Во всяком случае, видя наши траты, люди недоумевали, откуда у нас столько денег. Чтобы различать меня и одного моего кузена, тоже Леружа, говоря обо мне, к фамилии прибавляли срамное слово. Какой позор, сударь! А ведь я ни сном ни духом не знал про весь этот стыд! Но я был ее мужем. Какое счастье, что мой отец не дожид до этого!

Г-н Дабюрон сжалился:

— Друг мой, отдохните и успокойтесь.

— Нет, — не согласился Леруж, — лучше побыстрее покончить. Один лишь человек пожалел меня и рассказал

все — наш кюре. Я до смерти буду ему благодарен... Я сразу же, ни минуты не теряя, нашел законника и спросил, как должен действовать честный моряк, имевший несчастье жениться на потаскухе. Он ответил, что сделать ничего не удастся. Подать в суд — значит раструбить о своем позоре на весь свет, да и раздел ничего не решит. Ежели ты дал женщине свою фамилию, сказал он мне, то отнять ее назад уже невозможно: она будет носить ее до конца жизни. Она может замарать ее, втоптать в грязь, позорить по кабакам, муж ничего не может поделать. Ну, тогда я принял решение. В тот же день продал проклятый лужок и велел отдать плату за него Клодине, потому как не хотел этих позорных денег. Затем пошел и составил акт, по которому она могла распоряжаться нашим имуществом без права продать или заложить его. После этого я написал ей письмо, где сообщил, что отныне она больше не услышит обо мне, я больше для нее не существую и она может считать себя вдовой. А ночью взял сына и уехал.

— Что же произошло с вашей женой после того, как вы уехали?

— Не могу сказать, сударь. Знаю только, что через год она тоже уехала оттуда.

— И вы никогда больше с нею не виделись?

— Никогда.

— Однако за три дня до убийства вы были у нее.

— Да, сударь, был, но к этому меня вынудила крайняя необходимость. Я с трудом разыскал ее, никто не знал, куда она подевалась. По счастью, мой нотариус сумел раздобыть адрес госпожи Жерди, написал ей, и вот так я узнал, что Клодина живет в Ла-Жоншер. Я был тогда в Руане, и мой друг Жерве, владелец речного судна, предложил мне плыть с ним в Париж. Я согласился. Вы даже не представляете, сударь, что было, когда я вошел к ней! Моя жена не узнала меня. Она слишком долго уверяла всех, что я умер, и, видать, в конце концов сама поверила в это. Когда я назвал себя, она тут же хлопнулась в обморок. Надо сказать, она ничуть не изменилась: у нее на столе стояла бутылка водки и рюмка...

— Но все это нисколько не объясняет мне, зачем вы пришли к ней.

— Да все из-за Жака, сударь. Малыш стал мужчиной и хочет жениться. А для этого нужно согласие матери. Я привез Клодине акт, составленный нотариусом, который она и подписала. Вот он.

Г-н Дабюрон взял акт и, похоже, внимательно прочел

его. Через несколько секунд он спросил у Леружа:

— А вы не задавали себе вопрос, кто мог убить вашу жену?

Леруж молчал.

— Вы подозреваете кого-нибудь? — не отступал следователь.

— Господи, сударь, какого ответа вы от меня ждете? — отвечал моряк. — Думаю, Клодина довела до ручки людей, из которых качала деньги, как из бездонного колодца, а может, пьяная наболтала лишнего.

Сведения были столь же всеобъемлющи, сколь и правдоподобны. Г-н Дабюрон отпустил Леружа, порекомендовав ему дожидаться Жевроля, который отведет его в гостиницу, где моряку предстоит ожидать следующего вызова к следователю.

— Все расходы вам возместят, — добавил г-н Дабюрон.

Едва Леруж успел выйти, как в кабинете следователя произошло важное, чудесное, небывалое и беспрецедентное событие.

Сосредоточенный, невозмутимый, недвижимый, глухонемой Констан восстал и заговорил.

Впервые за пятнадцать лет он забылся до такой степени, что позволил себе высказаться.

— Ну и поразительное же дело, сударь! — изрек он.

Да уж куда поразительней, думал г-н Дабюрон, и словно нарочно созданное, чтобы обмануть любые предвидения и опрокинуть все предвзятые мнения.

Почему же он, следователь, действовал со столь непостижимой поспешностью? Почему, прежде чем очертя голову рисковать, он не подождал, когда у него соберутся все элементы этого труднейшего дела, когда в его руках будут все нити этого запутаннейшего тканья?

Правосудие обвиняют в медлительности, но именно эта медлительность составляет его силу, его гарантию и делает его практически неотвратимым.

Никогда до конца не бывает известно, какие могут появиться свидетели.

Неизвестно, что могут дать факты, полученные в ходе расследования, внешне, казалось бы, совершенно бесполезные.

Трагедии, разыгрывающиеся в суде присяжных, не подчиняются правилу «трех единств»¹ и не вписываются в него.

¹ Нормативное правило классицистической трагедии, требующее соблюдения трех «единств» — времени, места, действия.

Когда страсти и побуждения запутываются так, что, кажется, их уже и не распутать, вдруг неведомо откуда приходит какой-нибудь неизвестный человек и приносит разрешение всех загадок.

Г-н Дабюрон, благоразумнейший из людей, счел простым сложнейшее дело. Расследуя загадочное преступление, требующее величайшей осмотрительности, он действовал так, будто в нем все ясно и очевидно. Почему? Да потому что воспоминания не дали ему возможности все взвесить, обдумать и решить. Он в равной мере боялся и выглядеть слабым, и оказаться безжалостным. Он считал, что действует правильно, но двигала им враждебность. А ведь он столько раз задавал себе вопрос: «Как я должен поступить?» Но либо ты заставляешь себя четко определить свой долг, либо сворачиваешь на ложный путь.

Самым примечательным во всем было то, что источником ошибок судебного следователя стала его безукоризненная честность. И в заблуждение ввела его слишком чуткая совесть. Постоянные сомнения населили его разум призраками, и на какое-то время им овладело сильнейшее раздражение против себя.

Однако, чуть успокоившись, г-н Дабюрон более трезво взглянул на вещи. Слава богу, ничего непоправимого не произошло. Тем не менее он крайне жестоко судил себя. Только случайность удержала его от ошибки. И в этот миг г-н Дабюрон дал себе клятву, что это расследование станет для него последним. Теперь он испытывал непреодолимый ужас перед своей профессией. Тем более что после свидания с Клер раны его сердца вскрылись и кровоточили еще мучительней, чем прежде. Исполненный уныния, он пришел к выводу, что жизнь его кончена, разбита. Такие мысли навешают мужчине, когда для него перестают существовать все женщины, кроме одной-единственной, обладать которой у него нет никакой надежды.

Г-н Дабюрон был глубоко верующим человеком и потому даже мысли не допускал о самоубийстве; он только со страхом думал, что станет с ним, когда он сбросит с себя судейскую мантию.

И тут его мысли вновь вернулись к делу. Виновен Альбер или нет, в любом случае он является виконтом де Коммареном, законным сыном графа. Но убийца ли он? Теперь совершенно ясно, что нет.

— Я тут предаюсь размышлениям, а ведь нужно переговорить с графом де Коммареном,— вдруг спохватился

г-н Дабюрон.— Констан, пошлите кого-нибудь к нему в особняк, а если его нет дома, скажите, пусть обязательно разыщут.

Г-ну Дабюруну предстояла трудная задача. Нужно будет сказать старому аристократу: «Ваш законный сын не тот, о ком я вам говорил, а другой». Да, положение не просто затруднительное, но, можно сказать, нелепое. И вдобавок этот другой, то есть Альбер, невиновен.

Надо сообщить истину и Ноэлю, сбросить его с облаков на землю. Какое разочарование! Но надо полагать, граф найдет способ утешить его, во всяком случае, обязан это сделать.

— Но кто же тогда преступник? — пробормотал следователь.

И вдруг у г-на Дабюрона мелькнула мысль, но она показалась ему совершенно невероятной. Он отверг ее, потом снова к ней вернулся. Вертел ее так и этак, рассматривал со всех сторон и уже почти принял, но тут вошел г-н де Коммарен.

Посланец судебного следователя застал его в тот самый миг, когда он, возвратясь вместе с Клер от г-жи Жерди, высаживался из кареты.

XVI

Папаша Табаре не только рассуждал, но и действовал. Лишившись помощи следователя, он принялся за дело, не теряя ни минуты и не давая себе ни малейшей передышки.

История с кабриолетом, запряженным резвой лошадкой, была чистой правдой.

Не жалея денег, сыщик нанял с дюжину полицейских из тех, кто оказался не у дел, и безработных прохвостов и во главе этих славных помощников отбыл в Буживаль, сопровождаемый своим верным сеидом¹ Лекоком.

Он буквально прочесал округу, дом за домом, с тщанием и терпением маньяка, решившего отыскать иголку в стогу сена.

Труды его оказались не напрасны. Через три дня розысков кое-что начало проясняться.

¹ Сеид — раб Магомета в трагедии Вольтера «Магомет»; в переносном смысле слепо преданный приверженец.

Оказалось, что убийца сошел с поезда не в Рюэйле, как делают все, кто направляется в Буживаль, Ла-Жоншер или Марли. Он доехал до Шату.

Портрет его, сложившийся у папаши Табаре по описаниям железнодорожных служащих этой станции, был таков: молодой человек, черноволосый, с густыми черными бакенбардами, имеющий при себе пальто и зонт.

Этот пассажир приехал в восемь часов тридцать пять минут, поездом, прибывающим из Парижа и следующим в Сен-Жермен, и, похоже, очень спешил.

Выйдя из вокзала, он скорым шагом устремился по дороге, ведущей в Буживаль. По пути его видели двое мужчин из Марли и женщина из Ла-Мальмезон, обратившие внимание на то, что он торопится. Шел он быстро и курил на ходу.

Еще большее внимание он привлек к себе на мосту через Сену.

Мост там платный, а предполагаемый преступник, разумеется, об этом забыл.

Он миновал мост, не заплатив, и пошел дальше гимнастическим шагом, прижимая локти к телу и размеренно дыша, так что сборщику платы пришлось бежать за ним вдогонку и кричать, чтобы требовать деньги.

Путешественника, судя по всему, это обстоятельство очень раздосадовало; он бросил сборщику монету в десять су и понесся дальше, не дожидаясь причитавшихся ему сорока пяти сантимов сдачи.

Это еще не все.

Кассир в Рюэйле вспомнил, что за две минуты до прибытия поезда десять пятнадцать появился крайне взволнованный и запыхавшийся пассажир, который, еле ворочая языком, попросил билет второго класса до Парижа.

Описание незнакомца в точности соответствовало приметам, сообщенным служащими в Шату и сборщиком платы у моста.

И наконец, сыщик, судя по всему, напал на след человека, который ехал в одном купе с запыхавшимся пассажиром.

Папаше Табаре сказали, что это был булочник из Аньера, и он написал ему, прося о встрече.

Таковы были его успехи к утру понедельника, когда он явился во Дворец правосудия, чтобы узнать, не получены ли сведения о вдове Леруж.

Сведений он не обнаружил, зато в галерее встретил Жевроля и человека, которого тот разыскал.

Начальник сыскной полиции торжествовал, бесстыдно

торжествовал. Завидев папашу Табаре, он его окликнул.

— Ну, что новенького, старая ищейка? Много злоумышленников послали на гильотину за последние дни? Ах, старый хитрец, сдается мне, что вы метите на мое место!

Увы, старина Табаре разительно изменился. Сознание ошибки сделало его смиренным и кротким. Шуточки, когда-то выводившие его из себя, теперь оставляли равнодушным. И не думая огрызаться, он сокрушенно повесил голову, чем безмерно поразил Жевроля.

— Потешайтесь надо мной, любезный господин Жевроль,— промолвил бедняга,— издевайтесь без всякой жалости. Вы правы, я этого заслужил.

— Вот как? — переспросил полицейский.— Опять вы отличились, старый чудака?

Папаша Табаре печально кивнул.

— Я уговорил арестовать невиновного,— отвечал он,— а теперь правосудие не выпускает его из своих лап.

Жевроль пришел в восторг; он так потирал руки, что, казалось, сотрет ладони в кровь.

— Недурно,— промурлыкал он,— совсем даже недурно. Сажать преступников на скамью подсудимых — как это пошло! То ли дело отправлять на укорот ни в чем не повинных людей; это, черт возьми, высшее искусство. Папаша Загоню-в-угол, вы великий человек, и я преклоняюсь перед вами.

И он насмешливо приподнял шляпу.

— Не добивайте меня,— взмолился старик.— Что поделаешь, я ведь новичок в вашем деле, хоть голова у меня и седая. Разок-другой мне пособил случай, вот я и возгордился. Слишком поздно я понял, что не такой уж я мастер, как мне казалось; я — подмастерье, которому первый успех вскружил голову, а вот вы, господин Жевроль,— наш общий учитель. Вместо того чтобы надо мной насмеяться, умоляю, спасите меня, помогите советом и опытом. Одному мне не справиться, но уж с вами!..

Жевроль был беспредельно тщеславен.

Смирение папашы Табаре, которого в глубине души он весьма ценил, чувствительнейшим образом польстило его самолюбию полицейского. Он смягчился.

— Полагаю,— осведомился он покровительственным тоном,— что речь идет о лажоншерском деле?

— Увы, именно о нем, дорогой господин Жевроль; я вообразил, что обойдусь без вас, и теперь раскаиваюсь.

Старый хитрец скроил сокрушенную мину, словно

пономарь, уличенный в том, что ест скромное в пятницу, но в душе он веселился, он торжествовал.

«Тщеславный олух,— думал он,— я до того задурю тебе голову лестью, что ты и сам не заметишь, как сделаешь все, что я захочу».

Г-н Жевроль почесал себе нос, выпятил нижнюю губу и что-то промышал. Он притворялся, будто раздумывает, дабы продлить изощренное наслаждение, которое доставлял ему конфуз старого сыщика.

— Успокойтесь, папаша Загоню-в-угол,— изрек он наконец.— Я человек добрый: чем смогу, помогу. Ну как, довольны? Но сегодня мне недосуг, меня ждут наверху. Приходите завтра утром, и мы потолкуем. Однако, прежде чем распрощаться, я дам вам в руки путеводную нить. Знаете, кто тот свидетель, которого я доставил?

— Скажите, любезнейший господин Жевроль!

— Извольте! Этот детина, что сидит на скамье и ждет господина судебного следователя,— муж убитой.

— Быть не может! — изумился папаша Табаре и, поразмыслив, добавил: — Вы надо мной смеетесь!

— Да нет же, клянусь вам. Спросите сами, как его имя, и он ответит, что его зовут Пьер Леруж.

— Так она не вдова?

— Выходит, что так,— ехидно отвечал Жевроль,— поскольку вот он, ее счастливый супруг.

— Ну и ну,— прошептал сыщик.— А он что-нибудь знает?

Начальник сыскной полиции вкратце пересказал своему добровольному сотруднику то, что сообщил следователю Леруж.

— Что вы на это скажете? — закончил он.

— Что тут скажешь? — пробормотал папаша Табаре, на физиономии которого изобразилось изумление, граничащее с полным оупением.— Ничего не скажешь. Думаю, что... Впрочем, нет, ничего не думаю.

— Недурной сюрпризец? — сияя, спросил Жевроль.

— Скажите лучше, недурной удар дубиной,— откликнулся Табаре.

Но тут он выпрямился и стукнул себя кулаком по лбу.

— А мой булочник! — вскричал он.— До завтра, господин Жевроль.

«Совсем свихнулся»,— решил начальник полиции.

Но старик сыщик вовсе не сошел с ума, просто он внезапно вспомнил, что пригласил к себе домой аньерского булочника. А вдруг посетитель не дожидается его?

На лестнице папаша Табаре повстречал г-на Дабюрона, но говорил с ним наспех и скоро удрал.

Он выбежал из Дворца правосудия и, высунув язык, понесся по набережной.

«Ну-ка, разберемся,— рассуждал он на бегу.— Выходит, мой Ноэль остался ни с чем. Теперь ему не до смеха, а ведь как он радовался, что получил титул! Эх, стоит ему пожелать, я его усыновлю. Табаре — имя не такое звучное, как Коммарен, но и не самое плохое. Впрочем, история, рассказанная Жевролем, ничуть не меняет положения Альбера и не опровергает моих выводов. Он законный сын, тем лучше для него. Но это ничуть не послужило бы для меня доказательством его невиновности, если бы я в ней сомневался. Разумеется, он, как и его отец, понятия не имел об этих поразительных обстоятельствах. По-видимому, он так же, как граф, поверил в подмену. Госпожа Жерди тоже не знала про эти события; вероятно, ей рассказали какую-нибудь историю, чтобы объяснить шрам. Да, но госпожа Жерди ничуть не сомневалась, что Ноэль — ее родной сын. Получив его обратно, она, безусловно, проверила приметы. Когда Ноэль нашел письма графа, она попыталась ему объяснить...»

Папаша Табаре неожиданно замер на месте, словно увидел под ногами омерзительное пресмыкающееся. Он был потрясен выводом, к которому пришел, и этот вывод был таков:

«Получается, Ноэль убил мамашу Леруж, чтобы она не рассказала о том, что подмены не было, и сжег письма и документы, которые это подтверждали!»

Но тут же он с негодованием отбросил свое предположение, как отгоняет порядочный человек гнусную мысль, случайно пришедшую ему на ум.

— Ах ты старый болван! — приговаривал он, продолжая путь. — Вот последствия мерзкого ремесла, которым ты занялся, да еще и гордился им! Заподозрил Ноэля, единственного своего наследника, воплощение чести и порядочности! Ноэля, с которым десять лет прожил бок о бок, в неизменной дружбе и который внушает тебе такое уважение, такое восхищение, что ты поручился бы за него, как за себя самого! Для того чтобы порядочный человек пролил чужую кровь, его должны обуревать безумные страсти, а за Ноэлем я не замечал никаких страстей, кроме двух — это его работа и его матушка. И я позволил себе замарать тенью подозрения такую благородную натуру! Да я готов сам себя отдубасить! Старый осел! Тебе не по-

шел на пользу урок, который ты только что получил! Когда же ты станешь осмотрительней?

Так он рассуждал, пытаясь подавить беспокойство, не позволяя себе рассмотреть вопрос со всех сторон, но в глубине его души издевательский голос нашептывал: «А что, если это Ноэль?» Тем временем папаша Табаре дошел до улицы Сен-Лазар.

Перед его домом стояла элегантная голубая карета, запряженная бесподобной лошастью. Старик невольно остановился.

— Отличная лошадка,— пробормотал он.— Моих жильцов навещают люди из хорошего общества.

Впрочем, их навещали и представители весьма дурного общества, потому что в этот самый миг из дверей вышел г-н Клержо, почтенный г-н Клержо, чье появление в доме так же верно свидетельствует о разорении, как присутствие гробовщика о покойнике.

Старик сыщик, знакомый чуть не со всем городом, прекрасно знал почтенного банкира. Он даже поддерживал с ним деловые отношения в те времена, когда коллекционировал книги.

— Это вы, старый крокодил! — обратился он к г-ну Клержо.— Значит, у вас появились клиенты в моем доме?

— Похоже на то,— сухо отозвался Клержо, не любивший фамильярности.

— Вот так так! — протянул папаша Табаре. И, движимый любопытством, вполне простительным для домовладельца, которому полагается пуще огня бояться несостоятельных квартирантов, поинтересовался:

— Кому же, черт возьми, из моих жильцов вы помогаете разориться?

— Я никого не разоряю,— возразил г-н Клержо тоном, в котором звучало уязвленное достоинство.— Разве я давал вам повод жаловаться, когда мы с вами вели дела? Не думаю. Прошу вас, спросите обо мне у молодого адвоката, который пользуется моими услугами, и он вам скажет, жалеет ли он о знакомстве со мной.

Табаре был неприятнейшим образом поражен. Неужели Ноэль, разумный Ноэль, прибегает к услугам Клержо? Что это значит? Возможно, и ничего страшного. Однако ему припомнились пятнадцать тысяч франков, которые он дал Ноэлю в четверг.

— Да, я знаю,— сказал он, желая выведать как можно больше,— у господина Жерди денежки не залеживаются.

Клержо, с присущей ему щепетильностью, всегда давал отпор нападкам на своих клиентов.

— Ну, сам-то он не транжир,— заметил он.— Но у его малютки возлюбленной луидоры так и летят. Ростом с ноготок, а черта с рогами, когтями и хвостом проглотит.

Вот как! Ноэль содержит женщину, да еще такую, которую сам Клержо, друг легкомысленных особ, почитает мотовкой! Это откровение поразило беднягу сыщика в самое сердце. Однако он скрыл свои чувства. Малейший жест или взгляд могли пробудить в ростовщике подозрения и заставить его прикусить язык.

— Ну, ничего,— заметил он как мог непринужденнее.— Известное дело, в молодости нужно перебеситься. Как по-вашему, сколько он тратит в год на эту плутовку?

— Право, не знаю. Он совершил промах, не определив ей твердое содержание. По моим подсчетам, за четыре года, что он ее содержит, она вытянула у него тысяч пятьсот.

Четыре года! Пятьсот тысяч франков!

Эти слова, эти цифры разорвались в мозгу папаши Табаре наподобие бомб.

Полмиллиона!

Если это так, Ноэль вконец разорен. Но тогда...

— Много,— произнес он вслух, делая героические усилия, чтобы скрыть свое отчаяние.— Пожалуй, чересчур много. Однако надо сказать, что господин Жерди располагает средствами.

— Это он-то? Да у него и столечко не осталось,— перебил ростовщик, пожимая плечами, и отмерил большим пальцем на указательном нечто невообразимо крошечное.— Он разорен подчистую. Но если он вам задолжал, не тревожьтесь. Он большой пройдоха. Он женится. Вы меня знаете, так вот, я только что ссудил его двадцатью шестью тысячами франков. До свидания, господин Табаре.

И ростовщик поспешно удалился, между тем как бедняга Табаре столбом застыл посреди тротуара.

Чувства его были сродни непомерному горю, разбивающему сердце отца, которому внезапно открылось, что его любимый сын — негодяй.

Но несмотря ни на что, старик так верил в Ноэля, что разум его все еще отвергал мучительные подозрения. Ведь ростовщик мог и оклеветать молодого человека.

Люди, дающие деньги в рост из десяти процентов, способны на все. Очевидно, Клержо сильно преувеличил безумные траты своего клиента.

А хоть бы и так! Сколько мужчин совершало ради жен-

щин величайшие безумства, не переставая быть честными людьми!

Папаша Табаре уже хотел войти в дом, но путь ему преградил вихрь кружев, шелка и бархата.

Из дверей вышла молодая черноволосая дама.

Легче птички она впорхнула в голубую карету.

Папаша Табаре был ценитель красоты, дама очаровательна, но он даже не взглянул на нее.

Он вошел и в парадном наткнулся на привратника, который стоял, держа шапку в руке, и умильно поглядывал на монету в двадцать франков.

— Ах, сударь,— сказал ему привратник,— какая красивая дама, да какая изысканная! Что бы вам прийти на пять минут раньше!

— Что за дама? Откуда взялась?

— Эта элегантная дама, что вышла сию минуту, приезжала справиться о господине Жерди. Она дала мне двадцать франков за то, что я ответил на ее вопросы. Похоже, господин Жерди женится. Вид у нее был вконец разъяренный. Какая красotka! Думается мне, она его любовница. Теперь я понимаю, почему он уходил ночами.

— Кто? Господин Жерди?

— Ну, да, сударь, я вам об этом не говорил, потому что уходил-то он украдкой. Никогда, бывало, не попросит, чтобы я ему отворил. Какое там: удирает через маленькую дверцу каретного сарая. Я про себя думал: «Он просто не хочет меня беспокоить, очень деликатно с его стороны!» А мне ведь не жалко...

Выкладывая все это, привратник по-прежнему не сводил глаз с монеты.

Когда же он поднял глаза, чтобы взглянуть на своего господина и повелителя, тот уже исчез.

«Еще один ветреник! — подумал привратник.— Ставлю сто су, что хозяин понесся вдогонку за той красавицей. Беги, беги, старый шут, может, и урвешь свой кусочек, да только он дорого тебе обойдется».

Привратник не ошибся. Папаша Табаре помчался вдогонку за голубым экипажем.

«Эта дамочка все мне расскажет!» — подумал он и выскочил на улицу. И вовремя: он успел заметить, как голубой экипаж заворачивает за угол.

— О господи! — пробормотал сыщик.— Сейчас я потеряю ее из виду, а между тем правду я узнаю только от нее.

Он пришел в то состояние нервного возбуждения, когда люди способны творить чудеса.

До угла улицы Сен-Лазар он домчался с такой скоростью, словно ему было лет двадцать.

О счастье! На Гаврской улице, в полусотне шагов, он увидел голубой экипаж, который застрял в уличном за-
то-ре.

«Она у меня в руках!» — сказал себе папаша Табаре.

Он устремил взор к Западному вокзалу, где на улице всегда полно незарегистрированных извозчиков. Как назло, ни одного экипажа!

Сейчас он готов был воскликнуть наподобие Ричарда III: «Полцарства за фиакр!»

Голубой экипаж тронулся и преспокойно покатил к улице Тронше. Сыщик побежал следом. Расстояние между ними, слава богу, почти не увеличивалось.

Пробегая по середине мостовой и озираясь в поисках свободной кареты, папаша Табаре подбадривал себя:

— В погоню, дружище, в погоню! Кому бог не дал головы, у того вся надежда на ноги! Гоп, гоп! Почему ты не догадался узнать у Клержо адрес этой женщины? Живей, старина, еще живей! Решил быть шпиком — изволь соответствовать избранному ремеслу, а то какой же ты шпики, если не умеешь бегать, как заяц.

Он думал только о том, как бы настигнуть любовницу Ноэля, и ни о чем больше. Но все яснее было, что он отстает.

Не добежав и до середины улицы Тронше, бедный сыщик выбился из сил; он чувствовал, что ноги отказываются нести его, а проклятый экипаж уже подъезжал к площади Мадлен.

О радость! В этот миг старика нагнала открытая коляска, катившаяся в том же направлении.

Папаша Табаре отчаянно, словно утопающий, замахал руками. Сигналы его были замечены. Он собрал последние силы и одним прыжком вскочил в коляску, не воспользовавшись подножкой.

— Вперед, — приказал он, — за голубым экипажем, плачу двадцать франков!

— Ясно! — подмигнув, отозвался кучер.

И он вдохновил свою тощую клячу энергичным ударом кнута, бормоча под нос:

— Ревнивец выслеживает жену! Известное дело. Эй, разлюбезная моя!

Папаше Табаре самое время было перевести дух, силы его иссякали. Добрую минуту он не мог отдышаться. Они ехали по бульвару. Сыщик встал, держась за козлы.

— Я больше не вижу голубой кареты! — сказал он.

— А я отлично вижу, хозяин, да только лошадь там больно резва.

— Твоя, надеюсь, будет резвей. Я сказал — двадцать франков? Получишь все сорок.

Кучер принялся нахлестывать лошадь, бурча под нос:

— Ничего не попишешь, придется догнать. За двадцать франков я бы ее упустил: я женщин люблю и всегда держу их сторону. Но черт побери, два луидора! Вот поди ж ты, такая образина и так ревнует!

Папаша Табаре изо всех сил пытался думать о посторонних вещах. Он не желал делать выводы прежде, чем увидит эту женщину, поговорит с ней, искусно выспросит обо всем. Он был уверен, что всего одним словом она может спасти или погубить своего любовника.

Погубить Ноэля? Увы, да.

Мысль о том, что Ноэль может оказаться преступником, терзала его, доводила до дурноты, зудела у него в мозгу, как докучная муха, которая в тысячный раз улетает и прилетает и снова бьется в стекло.

Они миновали Шоссе-д'Антен, и голубой экипаж был теперь всего шагах в тридцати. Кучер обернулся:

— Хозяин, карета останавливается.

— Остановись тоже и не спускай с нее глаз: тронешься с места одновременно с ней.

И папаша Табаре так высунулся, что едва не выпал из коляски.

Молодая женщина вышла из кареты и скрылась в дверях лавки, торговавшей кашемировыми шальями и кружевом.

«Вот куда летят тысячефранковые билеты, — размышлял папаша Табаре. — Полмиллиона за четыре года! И что только делают эти создания с деньгами, которые щедро швыряют им их содержатели? Едят, что ли? На огне каких прихотей сгорают состояния? Наверно, у этих дамочек есть какие-то дьявольские приворотные зелья, которыми они опаивают глупцов, а те и рады разоряться ради них. Должно быть, они владеют каким-то особым искусством подсластить и приперчить наслаждение, потому что стоит им уловить в свои сети какого-нибудь беднягу, и он расстается с ними не раньше, чем принесет им в жертву все, что у него было».

Коляска снова тронулась, но вскоре встала.

Голубая карета остановилась перед лавкой, торгующей всякими диковинками.

— Это создание, судя по всему, затеяло скупить весь Париж! — в ярости пробормотал сыщик. — Да, если Ноэль

совершил преступление, то по ее вине. А сейчас она проматывает мои пятнадцать тысяч франков. На сколько дней ей этого хватит? Если Ноэль убил мамашу Леруж, то, конечно, из-за денег. Но тогда он — бесчестнейший негодяй на свете. Какое чудовищное притворство и лицемерие! И подумать только, если я сейчас умру от негодования, он окажется моим наследником! Ведь в завещании написано черным по белому: «Завещаю сыну моему Ноэлю Жерди...» Если Ноэль убил, ему любой казни мало... Но эта женщина, кажется, никогда не вернется!

Эта женщина и впрямь не торопилась: погода стояла прекрасная, туалет на красотке был восхитительный, и она пользовалась случаем показать себя. Посетила еще несколько магазинов, а под конец заглянула в кондитерскую, где пробыла более четверти часа.

Бедный сыщик, терзаемый беспокойством, вертелся и сучил ногами в своей коляске.

Какая мука знать, что всего одно слово отделяет тебя от разгадки ужасной тайны, и из-за прихоти какой-то распутницы не иметь возможности его услышать! Папаше Табаре смертельно хотелось броситься следом за ней, схватить ее за руку и крикнуть:

— Возвращайся домой, негодяйка, возвращайся скорее! Что тебе тут делать? Неужели ты не знаешь, что твоего любовника, человека, которого ты разорила, подозревают в убийстве? Возвращайся же, и я добьюсь от тебя правды, узнаю, виновен он или нет. А уж это-то ты мне скажешь, и сама не заметишь. Я расставил тебе силки, в которые ты угодишь. Только возвращайся, неведение меня убивает!

Наконец она собралась домой.

Голубая карета покатила дальше, проехала по Монмартру, свернула на Провансальскую улицу, высадила очаровательную пассажирку и была такова.

— Она живет здесь, — со вздохом облегчения пробормотал папаша Табаре.

Он вылез из коляски, вручил кучеру два луидора и, приказав ему обождать, устремился за молодой женщиной.

— Хозяину терпения не занимать, — подумал кучер, — но и дамочку голыми руками не возьмешь.

Папаша Табаре отворил дверь привратничкой.

— Как зовут даму, что сейчас приехала? — спросил он.

Привратник, судя по всему, отнюдь не расположен был отвечать.

— Так как же ее зовут? — настаивал старый полицейский.

Голос его звучал так резко и повелительно, что привратник дрогнул.

— Мадам Жюльетта Шаффур,— отвечал он.

— Какой этаж?

— Третий, дверь прямо.

Минуту спустя сыщик был в гостиной мадам Жюльетты. Горничная сказала ему, что мадам переодевается и сейчас к нему выйдет.

Папашу Табаре поразила роскошь гостиной. Однако в этой роскоши не было ничего вызывающего, бьющего в глаза, ничего, что свидетельствовало бы о дурном вкусе. Трудно было поверить, что эта квартира содержанки. Но наш сыщик, во многом понимавший толк, заметил, что обстановка комнаты весьма недешева. Безделушки на каминной полке — и те стоят никак не меньше двадцати тысяч франков.

«Клержо не преувеличил»,— подумал он.

Его размышления прервало появление Жюльетты.

Она сняла платье и накинула просторный черный пеньюар с отделкой из вишневого атласа. Ее роскошные волосы, слегка растрепавшиеся по вине шляпки, прядями ниспадали на шею и завивались кольцами за очаровательными ушками. Папаша Табаре был ослеплен. Безумства Ноэля стали ему понятны.

— Вы желаете побеседовать со мной, сударь? — спросила она, грациозно изогнув стан.

— Сударыня,— отвечал папаша Табаре,— я друг Ноэля, лучший его друг, смею сказать, и...

— Потрудитесь присесть, сударь,— перебила его молодая женщина.

Сама она расположилась на канапе, и ножка ее принялась поигрывать туфелькой тех же цветов, что пеньюар. Сыщик уселся в кресло.

— Я пришел, сударыня,— начал он,— по важному делу. Ваш визит к господину Жерди...

— Как! — удивилась Жюльетта.— Он уже знает, что я к нему приезжала? Ловко! У него отменная полиция.

— Дорогое дитя...— отеческим тоном начал Табаре.

— А, знаю, сударь, сейчас вы начнете меня бранить. Вас об этом попросил Ноэль. Он запретил мне его навещать, но я не удержалась. Это же тоска иметь такого любовника: не человек, а ребус, ничего о нем не известно, какая-то головоломка в черном фраке и белом галстуке, мрачное, загадочное создание.

— Вы поступили опрометчиво.

— Почему? Потому, что он женится? Зачем же он не скажет об этом прямо?

— А если это не так?

— Это так. Так он сказал старому мерзавцу Клержо, а тот передал мне. В любом случае он что-то затеял: вот уже месяц, как он сам не свой,— я его просто не узнаю.

Прежде всего папаше Табаре хотелось выяснить, не обеспечил ли себе Ноэль алиби на тот вторник, когда произошло преступление. По его мнению, это был главный вопрос. Если да — Ноэль, несомненно, преступник. Если нет — вполне возможно, он ни в чем не замешан. На этот счет мадам Жюльетта могла, как ему казалось, дать исчерпывающий ответ.

Поэтому он заранее приготовился и расставил свои немудреные силки.

Развязность молодой женщины несколько сбивала его с толку, однако он продолжал, надеясь на счастливый поворот беседы:

— А вы бы стали мешать женитьбе Ноэля?

— Его женитьбе! — воскликнула Жюльетта, прыснув со смеху.— Ах, он бедняжка! Если я единственное препятствие, то дело его в шляпе. Пускай себе женится, я больше слышать о нем не хочу.

— Так вы его не любите? — спросил сыщик, несколько удивленный ее дружелюбной откровенностью.

— Послушайте, сударь, я очень его любила, но всему на свете приходит конец. Последние четыре года я веду невыносимую жизнь. Это я-то, любительница повеселиться! Если Ноэль меня не оставит, я сама дам ему отставку. У меня уже сил нет, поверьте, сознавать, что мой любовник стыдится меня и презирает.

— Непохоже, красавица моя, чтобы он вас презирал,— возразил папаша Табаре, обводя гостиную многозначительным взглядом.

— Вы хотите сказать,— отвечала она, поднявшись с кушетки,— что он много на меня тратит. Это правда. Он утверждает, что разорился ради меня; возможно, так оно и есть. Но какое мне дело? Я не вымогательница, так и знайте. По мне, лучше бы он меньше тратил на меня, но больше со мной считался. Все мои сумасбродства — от злости да от безделья. Господин Жерди обращается со мной, как с девкой, я и веду себя, как девка. Мы квиты.

— Вы сами знаете, он вас обожает.

— Он-то? Говорю вам, он меня стыдится. Вы первый из его друзей, с которым я разговариваю. Спросите у него,

выезжал ли он куда-нибудь со мной! Можно подумать, мое общество для него унизительно. Да вот хотя бы в прошлый вторник мы с ним отправились в театр. Он взял целую ложу. Вы полагаете, он сидел там со мной? Как бы не так. Голубок изволил упорхнуть, и больше я его в тот вечер не видела.

— Как! И вам пришлось возвращаться домой в одиночестве?

— Нет. Около полуночи, к концу спектакля, голубок пожаловал обратно. Мы собирались поехать на маскарад в Оперу и там поужинать. Да, это было забавно! На балу голубок не решился ни откинуть капюшон, ни снять маску. А за ужином мне пришлось делать вид, что мы едва знакомы: там, видите ли, были его друзья.

Вот вам и алиби, заготовленное на всякий случай.

Запальчивость мешала Жюльетте заметить состояние папаши Табаре, иначе она бы наверняка прикусила язык. Сыщик побледнел, он дрожал как лист.

— Подумаешь,— с нечеловеческим усилием проговорил он,— неужели такая малость испортила вам веселье за ужином?

— Веселье! — передернув плечами, повторила молодая женщина.— Плохо вы знаете своего друга! Если когда-нибудь пригласите его на обед, не позволяйте ему пить. От вина он становится весел, как похороны по третьему разряду. После второй бутылки он был пьян в стельку, так пьян, что потерял все свои вещи: пальто, зонт, портмоне, мундштук...

Дальше папаша Табаре не в силах был слушать; он вскочил и замахал руками как сумасшедший.

— Негодяй! — возопил он.— Подлец! Мерзавец! Это он! Но теперь он попался!

И сыщик бросился прочь, оставив Жюльетту в таком смятении, что ей пришлось позвать служанку.

— Ах, милая,— сказала она,— я только что сделала большую глупость. Боюсь, как бы не вышло беды. Я просто уверена, что накликала несчастье, я это чувствую, знаю. Этот старый шут никакой не друг Нозлю, он приходил что-то разнюхать, вытянуть из меня какие-то сведения, и это ему удалось. Сама того не заметив, я навредила Нозлю. Что я могла такого сказать? Ума не приложу. Но как бы то ни было, надо его предупредить. Черкну ему записку, а ты найди посыльного.

А папаша Табаре, вскочив в коляску, во весь дух помчал в префектуру. Убийца — Нозлы! Ярость его не знала границ, как некогда дружба и доверие.

Итак, подлый и бесчестный негодяй жестоко посмеялся над ним, обвел его вокруг пальца! Сыщик жаждал мести, любое наказание за такое злодейство казалось ему слишком легким.

«Мало того, что он убил Клодину Леруж,— рассуждал сыщик,— он еще и подстроил все так, чтобы обвинили и осудили невинного. А кто, как не он, убил свою бедную мать?»

Папаша Табаре сожалел, что отменены пытки, что в наши дни нет средневековых палачей, упразднены четвертование, дыба, колесо.

Гильотина срабатывает так быстро, что осужденный едва успевает почувствовать холодок железа, перерезающего мышцы шеи; щелк — и голова слетает с плеч.

Желая облегчить смертную казнь, ее превратили в насмешку, попросту обесмыслили.

Папашу Табаре поддерживала лишь уверенность, что он сумеет спутать Ноэлю все карты, предать его в руки правосудия и отомстить.

— Ясно,— бормотал он,— что негодяй забыл свои вещи в поезде, спеша к любовнице, которая осталась в театре. Нельзя ли их отыскать? Если он оказался столь предусмотрителен, что, отринув осторожность, под вымышленным именем обратился на железную дорогу и забрал их, мне не удастся найти улику. Мадам Шаффур не станет свидетельствовать против него. Когда эта негодница поймет, что ее любовнику грозит опасность, она заявит, что Ноэль расстался с ней много позже десяти. Но только едва ли он посмел вернуться за вещами.

На половине улицы Ришелье папаше Табаре стало дурно.

«Сейчас меня хватит удар,— подумал он,— а если я умру, Ноэль увильнет от наказания, да еще окажется моим наследником. Если составляешь завещание, надо всегда иметь его при себе, чтобы уничтожить в случае необходимости».

Заметив шагах в двадцати вывеску врача, он велел кучеру остановиться и бросился в дом.

Он был так бледен и возбужден, в глазах у него застыло такое смятение, что доктор почти испугался, когда странный посетитель хриплым голосом потребовал:

— Пустите мне кровь!

Врач пытался что-то возразить, но старик уже сбросил скюртук и засучил рукав сорочки.

— Скорее, пустите мне кровь! — повторил он.— Вы что, убить меня хотите?

Видя такую настойчивость, врач решился, и вскоре папаша Табаре вышел от него, чувствуя себя куда лучше и несколько успокоившись.

Часом позже, облеченный соответствующими полномочиями, он вдвоем с полицейским чиновником явился в бюро находок при железной дороге и приступил к поиску.

Поиски увенчались именно тем результатом, на какой он рассчитывал.

Вскоре папаша Табаре выяснил, что вечером во вторник, в последний день карнавала, в одном из купе второго класса поезда № 45 были найдены пальто и зонт. Ему предъявили эти вещи, и он их узнал: они принадлежали Нозлю.

В кармане пальто обнаружилась пара рваных и исцарапанных перчаток жемчужно-серого цвета, а также неиспользованный обратный билет из Шату.

Устремляясь на поиски истины, папаша Табаре слишком хорошо знал, какова будет эта истина.

Предположение, возникшее у него внезапно, едва Клержо открыл ему глаза на безрассудства Нозля, непрерывно подтверждалось все новыми доводами; когда он побывал у Жюльетты, оно превратилось в уверенность, но теперь, когда малейшие сомнения рассеялись, когда истина сделалась очевидной, он все-таки был сражен.

— Едем же! — воскликнул он, опомнившись. — Надо его задержать!

И он велел взять себя во Дворец правосудия, где надеялся застать судебного следователя.

В самом деле, несмотря на позднее время, г-н Дабюрон был еще у себя в кабинете.

Он беседовал с графом де Коммареном, пересказывая ему разоблачения, сделанные Пьером Леружем, которого граф полагал давно умершим.

Папаша Табаре ворвался, как вихрь, очертя голову и не замечая, что в кабинете находится постороннее лицо.

— Сударь! — вскричал он, заикаясь от возбуждения, — Сударь, нашелся истинный убийца! Это он, это мой приемный сын, мой наследник, это Нозль!

— Нозль... — повторил г-н Дабюрон, вставая. И добавил, понизив голос: — Я подозревал...

— Скорее, постановление на арест! — продолжал сыщик. — Если мы промешкаем лишнюю минуту, он от нас ускользнет! Любовница, наверно, предупредила его о моем визите, и он знает, что мы напали на след. Скорей, господин следователь, скорей!

Г-н Дабюрон намеревался попросить объяснений, но старик сыщик продолжал:

— Это еще не все: в тюрьме находится невинный человек, Альбер...

— И часа не пройдет, как его выпустят,— возразил следователь.— Перед самым вашим приходом я распорядился, чтобы ему вернули свободу. Займемся другими делами.

Ни папаша Табаре, ни г-н Дабюрон не обратили внимания на исчезновение графа де Коммарена.

При имени Ноэля он тихонько направился к двери и поспешно удалился.

XVII

Ноэль обещал горы своротить, вылезти из кожи вон, но добиться освобождения Альбера.

В самом деле, он посетил нескольких чиновников прокуратуры и повсюду сумел добиться отказа.

В четыре он явился в особняк Коммаренов, чтобы сообщить графу, что его старания были безуспешны.

— Господина графа нет дома,— доложил Дени,— но если сударь благоволит подождать...

— Я подожду,— отвечал адвокат.

— В таком случае,— продолжал лакей,— извольте, сударь, следовать за мной: господин граф приказал мне проводить вас в его кабинет.

Такое доверие живо дало почувствовать Ноэлю, какого могущества он достиг. Отныне он здесь дома, он хозяин, наследник этого великолепия. Дотошно осматривая обстановку кабинета, он обратил внимание на генеалогическое древо, висящее возле камина. Он подошел ближе и стал изучать его.

О, оно было как бы воплощением одной из прекраснейших страниц золотой книги французского дворянства! На нем можно было найти почти все имена, которым в истории нашей страны уделена глава или хотя бы абзац. Кровь Коммаренов текла в жилах представителей всех знатных родов. Двое были женаты на особах из королевского дома.

Жаркая волна гордости захлестнула сердце адвоката, пульс его забился чаще, он надменно поднял голову и прошептал:

— Виконт де Коммарен!

В этот миг отворилась дверь, он обернулся — в кабинет вошел граф.

Нозль склонился было в почтительном поклоне, но полный ненависти, ярости и презрения взгляд отца остановил его.

По коже у него пробежал озноб, он понял, что погиб.

— Негодяй! — воскликнул граф и, боясь дать волю гневу, швырнул в угол трость.

Он не желал ударить сына, считая его недостойным даже этого.

Оба погрузились в угрюмое молчание, длившееся, как им показалось, целую вечность.

У обоих в уме пронеслось столько мыслей, что не хватило бы целой книги, чтобы записать их.

Нозль первый дерзнул заговорить.

— Сударь... — начал он.

— Молчите по крайней мере, — глухим голосом перебил граф, — молчите! Боже правый, неужто вы мой сын? Увы, теперь я не могу больше в этом сомневаться. Негодяй, вы прекрасно знали, что ваша мать — госпожа Жерди. Подлец! Вы не только совершили убийство, но еще и постарались, чтобы подозрение пало на невинного. Матереубийца! Вы убили свою мать!

Адвокат в замешательстве пытался возразить.

— Вы ее убили, — продолжал граф окрепшим голосом, — свели в могилу если не ядом, то своим преступлением. Теперь я все понимаю. Сегодня утром она не бредила, и вы это знаете не хуже меня. Вы подслушивали и решили войти в тот миг, когда одно ее лишнее слово могло вас погубить. О, вы рассчитали впечатление, которое произведет ваш приход. Это к вам она обратила свое последнее слово: «Убийца!»

Нозль мало-помалу отступал в глубь комнаты и в конце концов прислонился к стене; волосы у него разметались, взгляд блуждал. Его сотрясала дрожь. На лице у него застыл невыразимый ужас, ужас изобличенного преступника.

— Как видите, мне все известно, — продолжал граф, — и не мне одному. Постановление на ваш арест уже подписано.

Крик ярости, похожий на глухое рычание, вырвался из груди адвоката. Губы его искривились. Поверженный в самый миг торжества, он взял себя в руки и совладал со страхом. Глядя на графа с вызовом, он гордо выпрямился.

Г-н де Коммарен, не обращая более внимания на Нозля, подошел к столу и выдвинул ящик.

— Следуя долгу,— сказал он,— мне надо было бы предать вас в руки палача. Но я стараюсь не забыть, что прихожусь вам отцом. Сядьте. Напишите признание в совершенном вами преступлении и подпишите его. Затем вы найдете в этом ящике револьвер и да простит вас бог!

И старый аристократ направился к двери, но Ноэль жестом остановил его и вытащил из кармана четырехзарядный револьвер.

— Ваше оружие не потребуется, сударь,— отчеканил он.— Как видите, я принял меры. Живым я не дамся. Но...

— Что вы хотите сказать? — сурово спросил граф.

— Должен вам сообщить, сударь,— хладнокровно продолжал адвокат,— что я не желаю кончать самоубийством. По крайней мере сейчас.

— Вот как! — с отвращением воскликнул г-н де Коммарен.— Он еще и трус!

— Нет, сударь, нет. Но я покончу с собой не раньше, чем уверюсь в том, что иного выхода у меня нет, что спастись не удастся.

— Негодяй! — вскричал граф с угрозой.— Неужели мне собственными руками...

Он бросился к столу, но Ноэль ударом ноги задвинул ящик.

— Послушайте, сударь,— отрывисто прохрипел он,— не будем тратить на пустую болтовню то небольшое время, которое мне еще осталось. Я совершил преступление — это так — и не пытаюсь оправдываться. Но кто толкнул меня на него, как не вы? Теперь вы оказываете мне честь, предлагая револьвер. Благодарю, я отказываюсь от него. Увольте меня от вашего великодушия. Вам главное — избежать скандального процесса, который навлечет позор на ваше имя.

Граф хотел возразить.

— Не прерывайте меня! — властным тоном продолжал Ноэль.— Я не хочу кончать с собой. Я хочу спастись, если удастся. Помогите мне бежать, и обещаю вам, что живым я не дамся. Я прошу: помогите мне, потому что у меня нет при себе и двадцати франков. Последний мой тысячный билет истаял в тот день, когда... Словом, вы понимаете. Дома нет денег даже на похороны матери. Итак, денег!

— Ни за что.

— Тогда я сдамся властям, и вы увидите, что это будет означать для имени, которым вы так дорожите.

Граф, не помня себя от ярости, рванулся к столу за револьвером. Ноэль заступил ему дорогу.

— Не доводите до рукопашной,— холодно произнес он,— я сильнее.

Г-н де Коммарен отступил.

Упомянув о суде, о скандале, о позоре, адвокат задел болезненное место.

С минуту старый аристократ колебался между стремлением уберечь свое имя от бесчестия и жгучим желанием покарать убийцу. Но родовая гордость Коммаренов пересилила.

— Хорошо,— произнес он дрогнувшим голосом, в котором слышалось жгучее презрение,— покончим с недостойным спором... Чего вы хотите?

— Я уже сказал — денег. Давайте все, что у вас тут есть. Решайтесь, да поскорей.

Не далее как в субботу граф получил у банкира сумму, предназначавшуюся на обстановку дома для человека, которого он считал своим законным сыном.

— У меня здесь восемьдесят тысяч франков,— сказал он.

— Мало,— отвечал адвокат,— но что поделать, давайте. Признаюсь, я рассчитывал тысяч на пятьсот. Если мне удастся уйти, вы должны будете передать мне еще четырехста двадцать тысяч франков. Ручаетесь, что дадите их мне по первому требованию? Я найду способ их получить, не подвергаясь опасности. За это обещаю, что вы никогда больше обо мне не услышите.

Вместо ответа граф отпер маленький сейф в стене, извлек из него пачку банковских билетов и бросил их к ногам Ноэля.

В глазах адвоката сверкнула ярость, он шагнул к отцу.

— Не доводите меня до крайности,— угрожающе проговорил он.— Люди, которым, подобно мне, нечего терять, становятся опасны. Я еще могу сдаться властям.

Тем не менее он нагнулся и поднял деньги.

— Даете ли вы слово, что выдадите мне остальные? — осведомился он.

— Да.

— В таком случае я ухожу. Не бойтесь, я не отступлю от нашего уговора. Живой я не дамся. Прощайте, отец! Вы истинный виновник всего, что случилось, но вам наказание не грозит. Небо не знает справедливости. Я проклиная вас!

Через час, войдя в кабинет г-на де Коммарена, слуги обнаружили графа на полу: он лежал, уткнувшись лицом в ковер, и почти не подавал признаков жизни.

Тем временем Ноэль вышел из особняка Коммаренов и,

пошатываясь от головокружения, миновал Университетскую улицу.

Ему казалось, что мостовая ходит ходуном у него под ногами, что дома кружатся. Во рту у него было сухо, глаза щипало, желудок то и дело сжимали спазмы.

Но странное дело, в то же время он испытывал какое-то облегчение, пожалуй, даже подъем.

Теория почтенного г-на Балана подтверждалась.

Все было кончено, все пропало, все рухнуло. Отныне больше не будет тревог, бессмысленных страхов, невыносимых кошмаров, не будет ни притворства, ни борьбы. Теперь ему нечего, решительно нечего опасаться. Доиграв свою чудовищную роль, он может сбросить маску и свободно вздохнуть.

На смену неистовому возбуждению, которое помогло ему с таким цинизмом угрожать графу, пришла непреодолимая усталость. Чудовищное напряжение, в котором он находился всю последнюю неделю, внезапно исчезло. Лихорадка, обуревавшая его все эти дни, прошла, на смену ей явилась вялость, и он чувствовал настоятельную потребность в отдыхе. Он был безмерно опустошен, все на свете стало ему безразлично.

Это ощущение апатии сродни морской болезни, при которой человека ничто не трогает, у него не хватает ни сил, ни смелости о чем-либо подумать, и даже неминуемая опасность не способна вывести его из этого состояния вялого безразличия.

Если бы в это время полиция пришла его задержать, он и не подумал бы сопротивляться или защищаться. Он пальцем бы не шевельнул, чтобы спрятаться, бежать, спасти свою жизнь.

Более того, на мгновение он задумался, не сдаться ли ему, чтобы обрести покой, чтобы покончить с тревогами, которые несло с собой спасение.

Но его энергическая натура восстала против такого осуждения. Душевная и телесная слабость сменилась новым приливом сил. К Ноэлю вернулось сознание опасности: объятый ужасом, он увидел впереди эшафот, как путник при свете молнии видит бездонную пропасть.

«Нужно спастись, — думал он. — Но как?»

Он дрожал от смертельного страха, который отнимает у преступников остатки здравого смысла.

Ноэль огляделся, и ему показалось, что несколько прохожих пристально смотрят на него. Ему стало еще страшнее.

Он бросился бежать к Латинскому кварталу, без плана,

без цели, просто чтобы не стоять на месте,— он был похож на запечатленное живописцем Преступление, которое преследуют фурии с бичами.

Но вскоре он остановился: ему пришло в голову, что, если он будет бежать очертя голову, это привлечет к нему внимание.

Ему казалось, что все в нем выдает преступника; он словно читал в лицах прохожих презрение и ужас, и в каждом взгляде ему чудилось подозрение.

Он шел, машинально твердя: «Нужно на что-то решиться».

Но его так лихорадило, что он не способен был смотреть по сторонам, размышлять, замечать окружающее, принимать решения.

Еще раньше, вынашивая свои замыслы, он говорил себе: «Я могу попасться». В предвидении этого он выстроил целый план, как спастись от преследования. Делать то-то и то-то, пускаться на такие-то хитрости, принимать такие-то меры предосторожности. Но теперь вся его предусмотрительность казалась тщетной! Все, что он замышлял, представлялось ему невыполнимым. Его разыскивают, и в целом мире нет такого уголка, где он мог бы почувствовать себя в безопасности.

Он был неподалеку от Одеона, когда мысль, мгновенная, как вспышка молнии, пронзила его погруженный в сумерки ум.

Он сообразил, что его, вне всякого сомнения, уже ищут, что описание его наружности разослано повсюду, и теперь его белый галстук и ухоженные бакенбарды изобличают его, подобно клейму.

Завидев парикмахерскую, он устремился туда, но, уже взявшись за ручку двери, внезапно испугался.

А вдруг парикмахеру покажется странным, что он хочет сбрить бакенбарды? Что, если он станет его расспрашивать?

Нозль прошел дальше.

Ему попалась еще одна парикмахерская, но те же сомнения вновь удержали его.

Настал вечер, и с сумерками к Нозлю возвращались мужество и самообладание.

После кораблекрушения в самом порту надежда вновь вынырнула на поверхность. Быть может, он еще спасется?

Мало ли есть способов! Можно уехать за границу, сменить фамилию, вновь добиться положения в обществе, выдать себя за другого. Деньги у него есть, а это главное.

В Париже, да еще с восьмьюдесятью тысячами франков

в кармане, нужно быть последним дураком, чтобы дать себя сцапать.

А когда эти восемьдесят тысяч подойдут к концу, он наверняка по первому же требованию получит впятеро больше. Ноэль уже раздумывал, какое обличье принять и к какой из границ пробираться, как вдруг его сердце, подобно раскаленному железу, пронзило воспоминание о Жюльетте.

Бежать без нее? Зная, что они никогда больше не увидятся?

Неужели он ударится в бега, преследуемый всеми полициями цивилизованного мира, затравленный, точно дикий зверь, а она останется и будет мирно жить в Париже? Нет! Ради кого он совершил преступление? Ради нее! Кто воспользовался бы его плодами? Она! Так справедливо ли будет, если она не понесет свою часть наказания?

«Она меня не любит,— с горечью думал адвокат.— Она никогда меня не любила и будет только рада, что наконец-то от меня избавилась. Она обо мне ни разу не пожалеет, я ей не нужен; пустой сейф — вещь бесполезная. А Жюльетта благоразумна, она составила себе на черный день кое-какое состояние. Ни в чем не нуждаясь, она заведет другого любовника, забудет обо мне и заживет, не зная горя, а я... Бежать без нее?»

Голос рассудка твердил ему: «Глупец! Тащить за собой женщину, да еще такую красавицу,— значит привлекать к себе все взгляды, обречь бегство на неудачу, по собственной воле угодить в руки погони».

«Какая разница! — отвечала страсть.— Мы спасемся или погибнем вместе. Пускай она меня не любит, зато я ее люблю. Она мне нужна! И она поедет со мной, а если нет...»

Но как повидаться с Жюльеттой, как поговорить с ней, как ее убедить?

Идти к ней — чудовищный риск. Быть может, у нее уже засела полиция.

«Нет,— рассуждал Ноэль,— никто же не знает, что она моя любовница. Об этом станет известно дня через два-три, не раньше. К тому же писать еще опаснее».

Он подошел к фиакру, стоявшему недалеко от Обсерватории, и негромко назвал кучеру номер дома на Провансальской улице, значившего для него так много.

Откинувшись на подушках фиакра, укачиваемый мерной тряской, Ноэль не ломал себе голову над тем, что ждет его в будущем, и даже не раздумывал, что именно скажет Жюльетте. Нет, он бессознательно перебирал в уме события, которые привели его к катастрофе: так умирающий оки-

дывает взглядом всю драму или комедию своей жизни.

Все началось ровно месяц назад.

Разоренный, очутившись в безвыходном положении, без средств, он готов был на все, чтобы добыть денег, чтобы удержать мадам Жюльетту, как вдруг случай подсунул ему переписку графа де Коммарена — не только те письма, которые читал папаша Табаре и которые были показаны Альберу, но и те, которые были написаны графом, когда он думал, что подмена свершилась, и удостоверяли факт этой подмены со всей очевидностью.

Прочтя их, он возликовал.

Он поверил, что он законный сын графа. Вскоре мать развеяла его надежды, открыв ему правду. Ее правоту подтвердили два десятка писем мамыши Леруж, то же удостоверяла сама Клодина, о том же свидетельствовал знак у него на теле.

Но утопающий хватается за соломинку, и Ноэль решил, несмотря ни на что, пустить письма в ход.

Он попытался, используя свое влияние на мать, заставить ее подтвердить графу, что подмена имела место, намереваясь добиться от него внушительной компенсации. Г-жа Жерди с негодованием отказалась.

Тогда адвокат признался ей во всех своих безрассудствах, открыл матери глаза на их финансовое положение, не утаил, что он запутался в долгах, словом, обо всем рассказал и стал умолять г-жу Жерди, чтобы она попросила г-на де Коммарена о помощи.

В этом она тоже отказала. О ее решимость разбивались все его мольбы и угрозы. Две недели длилась тягостная борьба между сыном и матерью, и сын вышел из нее побежденным.

Тогда и пришла ему мысль убить Клодину.

Эта дрянь была с г-жой Жерди не откровеннее, чем с другими, но Ноэль ей верил и думал, что она вдова. Если она не сможет свидетельствовать против него, какие препятствия останутся на его пути?

Г-жа Жерди, а возможно, и граф.

Их он не слишком опасался.

Что касается г-жи Жерди, ей он всегда может возразить: «Вы отдали мое имя вашему сыну, а теперь готовы на все, чтобы он остался виконтом де Коммареном». Но как без лишнего риска избавиться от Клодины?

После долгих размышлений адвокат придумал дьявольскую хитрость.

Он сжег письма графа, удостоверявшие подмену, а оста-

вил только те, которые позволяли ее заподозрить.

Эти-то письма он показал Альберу, рассудив, что, если правосудию и удастся выяснить что-либо о причинах убийства Клодины, оно, естественно, заподозрит того, кто получал от этого убийства бесспорную выгоду.

Нет, нельзя сказать, что он собирался свалить преступление на Альбера. С его стороны это была простая мера предосторожности. Он надеялся подстроить все таким образом, чтобы полиция понапрасну растратила силы в поисках предполагаемого убийцы.

Занять место виконта де Коммарена он тоже не собирался.

План его был прост: он убьет мамашу Леруж и станет выжидать; дело будет тянуться, он вступит в переговоры и заключит любовную сделку, выговорив себе состояние.

Ноэль надеялся, что, если мать и узнает об убийстве, ее молчание будет ему обеспечено.

Приняв эти меры предосторожности, он решил нанести удар во вторник, в канун поста.

Для пущей уверенности в тот вечер он повез Жюльетту в Оперу и таким образом запаса на всякий случай неопровержимым алиби.

Потеря пальто встревожила его лишь в первую минуту. Поразмыслив, он успокоился, убежденный, что никто ничего не узнает.

Ему удалось совершить все, как он задумал, и теперь оставалось только ждать.

Когда сообщение об убийстве попало на глаза г-же Жерди, несчастная женщина догадалась, что это дело рук ее сына, и в первом порыве горя объявила, что пойдет и донесет на него.

Ноэль испугался. Мать была в страшном возбуждении, а ведь одно ее слово могло погубить его. Он решился дерзко опередить события и сыграть ва-банк.

Пустить полицию по следам Альбера значило обеспечить себе безнаказанность, а в случае вполне вероятного успеха стать наследником имени и состояния графа де Коммарена.

Стечение обстоятельств и страх подстегивали Ноэля, удваивали его хитрость и отвагу.

Папаша Табаре пришел как нельзя более кстати. Ноэль знал о его отношениях с полицией и понял, что лучшего наперсника ему не сыскать.

Пока была жива г-жа Жерди, Ноэль трепетал. Горячка не способствует сохранению тайн и развязывает язык. Как только больная испустила дух, Ноэль решил, что теперь он

спасен. Не видя более препятствий, он торжествовал.

И вот когда он почти добился цели, все раскрылось. Как? Кто виноват? С какой стати воскресла тайна, которую он считал погребенной вместе с г-жой Жерди?

Но не все ли равно человеку, упавшему в пропасть, о какой камень он споткнулся, по какому склону скатился?

Фиакр остановился на Провансальской улице.

Ноэль приоткрыл дверцу, выглянул, проверяя, все ли спокойно вокруг, нет ли кого в парадном.

Не заметив ничего подозрительного, он, не выходя из кареты, сунул кучеру деньги в переднее окошечко, а затем, одним прыжком преодолев всю ширину тротура, устремился вверх по лестнице.

Завидя его, Шарлотта радостно воскликнула:

— Это вы, судары! Мадам с таким нетерпением ждет вас! Она места себе не находит от беспокойства!

Жюльетта ждет? Беспокоится?

Однако адвокат и не подумал расспрашивать горничную. Едва он переступил порог дома, к нему, казалось, вернулось обычное хладнокровие. Он понимал, какую неосторожность совершил, приехав сюда, и чувствовал, что дорога каждая минута.

— Если позвонят,— сказал он Шарлотте,— не отворяйте. Что бы ни говорили, что бы ни делали, не отворяйте.

На голос Ноэля выбежала мадам Жюльетта. Он поспешно втолкнул ее в гостиную, вошел следом и запер дверь.

Только теперь молодая женщина как следует рассмотрела любовника.

Он так переменился, лицо у него было такое искаженное, что она не удержалась от вопроса:

— Что случилось?

Ноэль не отвечал, он подошел к ней и взял за руку.

— Жюльетта,— спросил он хриплым голосом, не сводя с нее горящих глаз,— Жюльетта, скажи мне как на духу: ты меня любишь?

Она догадывалась, чувствовала: происходит нечто необычное; она ощущала атмосферу несчастья, но не могла отказать себе в удовольствии пожеманиться.

— Противный,— надув соблазнительные губки, отвечала она,— вы не заслуживаете...

— Перестань! — прервал ее Ноэль, с бешеной яростью топнув ногой.— Отвечай,— продолжал он, сжимая что есть силы ее красивые руки,— да или нет, любишь ты меня или нет?

Сотни раз она дразнила любовника, забавляясь его

яростью, смеха ради доводя до иступления, чтобы потом усмирить одним словом, но никогда еще не видела его таким. Ей было больно, очень больно, но впервые она не смела пожаловаться на его грубость.

— Да, люблю,— пролепетала она.— Разве ты не знаешь? Почему ты спрашиваешь?

— Почему? — отвечал адвокат, отпуская ее руки.— Почему? Потому что, если ты меня любишь, тебе придется это доказать. Если ты меня любишь, ты уедешь вместе со мной, все бросишь и бежишь со мной, причем немедленно: время не терпит.

Молодой женщине стало страшно.

— Боже правый, да что случилось?

— Ничего. Видишь ли, Жюльетта, я слишком тебя любил. И когда у меня кончились деньги, которые были нужны для тебя же, на твои прихоти, на твои капризы, я потерял голову. Чтобы добыть денег, я... Я совершил преступление, понимаешь? Меня преследуют, я должен бежать. Хочешь уехать со мной вместе?

Глаза Жюльетты расширились от изумления, она еще сомневалась.

— Ты совершил преступление?..— начала она.

— Да! Хочешь знать, что именно я сделал? Я совершил убийство, я убил! И все это ради тебя.

Адвокат был убежден, что, услышав это, Жюльетта с ужасом отшатнется от него. Он заранее смирился с тем, что вызовет у нее страх, какой внушают убийцы. Он полагал, что она отпрянет от него, как от зачумленного. Может быть, закатит истерику. Да мало ли что? Пойдут слезы, крики, вопли о помощи, о спасении. Но он заблуждался.

Жюльетта бросилась ему на шею, повисла на нем, целуя с такой страстью, с какой не целовала никогда раньше.

— Да, я люблю тебя,— приговаривала она.— Люблю! Ты пошел ради меня на преступление. Значит, ты меня любишь, у тебя есть сердце. А я не распознала тебя.

Да, дорогую цену пришлось заплатить Ноэлю, чтобы возбудить страсть мадам Жюльетты, но он и не думал об этом.

На миг его охватила безмерная радость, почудилось, что еще не все потеряно.

И все же он нашел в себе силы разорвать объятия любовницы.

— Нужно идти,— сказал он.— Хуже всего, что я не знаю, откуда грозит опасность. Для меня загадка, как они докопались до истины...

Жюльетте припомнился странный сегодняшний гость, и она все поняла.

— Это же я, я выдала тебя! — вскричала она, ломая в отчаянии руки. — Ты это сделал во вторник, да?

— Во вторник.

— А я, ничего не подозревая, рассказала про это твоему другу, ну, старику, как его, Табаре. Я решила, что это ты его послал сюда.

— Сюда приходил Табаре?

— Да, совсем недавно.

— Тогда бежим! — воскликнул Ноэль. — Немедленно бежим! Чудо, что до сих пор за мной еще не пришли.

Он схватил ее за руку и потянул за собой, но Жюльетта вырвалась.

— погоди, — сказала она. — У меня тут золото, драгоценности, я хочу взять их с собой.

— Не надо, оставь. У меня есть деньги, много денег. Бежим...

Но она уже открыла шифоньерку и бросала без разбору в маленький саквояж все, что представляло ценность.

— Ты погубишь меня, погубишь, — повторял Ноэль. Он говорил, а сердце его наполнила радость.

«Какая беззаветная верность! — думал он. — Она по-настоящему любит меня. Ради меня она без колебаний готова отказаться от спокойной, безмятежной жизни, готова пожертвовать собой».

Жюльетта уже застегнула саквояж и торопливо надевала шляпку, как вдруг раздался звонок.

— Это они! — вскричал Ноэль, побледнев еще сильнее, если только такое возможно.

Жюльетта и ее любовник напряженно прислушивались, словно окаменев; глаза у них испуганно расширились, на лбу выступил пот.

Снова прозвенел звонок, потом еще раз.

Вошла на цыпочках Шарлотта и шепотом сообщила:

— Их там много. Я слышала, как они переговариваются.

В дверь уже не звонили, а стучали.

С площадки до гостиной долетел мужской голос, и можно было явственно разобрать слово «...закона».

— Все, конец, — пробормотал Ноэль.

— А по черной лестнице? — спросила Жюльетта.

— Будь спокойна, они про нее не забыли.

Жюльетта пошла проверить и вернулась мрачная и удрученная. На площадке она услышала чьи-то осторожные шаги.

— Но должен же быть какой-то выход? — в ярости воскликнула она.

— Да,— отвечал Ноэль.— Нужно только решиться. Я дал слово. Они открывают замок отмычкой. Заприте все двери на засов, и пусть их взламывают, это даст мне время.

Жюльетта и Шарлотта выбежали из гостиной. Ноэль же, прислонясь к камину, вытащил револьвер и приставил к груди.

Но в этот момент вернулась Жюльетта; увидев у любовника револьвер, она стремглав бросилась к нему и успела ударить его по руке. Прозвучал выстрел, пуля вошла Ноэлю в живот. Он испустил душераздирающий крик.

Он пошатнулся, но ухватился за каминную полку и остался на ногах. Из раны потоком хлынула кровь.

Жюльетта вцепилась в него, пытаясь вырвать револьвер.

— Не убивай себя! — умоляла она.— Я не позволю, ты мой, я люблю тебя! Пускай они войдут. Что тебе с этого? Если они тебя посадят в тюрьму, ты убежишь. Я помогу тебе, подкуплю стражу. Мы с тобой будем жить вдвоем где-нибудь далеко, в Америке, нас никто не узнает...

Входная дверь поддалась, теперь ломали дверь прихожей.

— Пусти,— прохрипел Ноэль.— Нельзя, чтобы меня взяли живым.

Сверхъестественным усилием преодолев мучительную боль, он высвободился и оттолкнул Жюльетту, так что она упала на кушетку. Затем, взведя курок, приставил револьвер к груди, туда, где стучало сердце, нажал на спусковой крючок и рухнул на пол.

И тут в комнату ворвались полицейские.

Поначалу они решили, что Ноэль, прежде чем покончить с собой, убил любовницу. Известно ведь, есть люди, которые предпочитают покидать эту брэнную юдоль в компании. К тому же они слышали два выстрела.

Но Жюльетта уже вскочила на ноги, крича:

— Доктора! Доктора! Он еще жив!

Один из полицейских побежал за врачом, а остальные под руководством папаши Табаре перенесли тело адвоката на кровать мадам Жюльетты.

— Попробовал бы он не покончить с собой! — пробурчал старый сыщик, чей гнев не утих даже от такого зрелища.— Я любил его, как сына, да и до сих пор он помянут в моем завещании.

Но тут папаша Табаре умолк: Ноэль застонал и открыл глаза.

— Видите! — закричала Жюльетта. — Он будет жить!

Адвокат чуть заметно кивнул, с трудом пошевелившись и полез правой рукой сперва во внутренний карман сюртука, а потом под подушку.

Ему даже удалось повернуться на бок лицом к стене, а потом снова лечь на спину.

Он сделал знак, его поняли и подсунули под голову подушку.

И тогда прерывающимся, сиплым голосом он произнес:

— Это я убил... Напишите, я подпишу... Альбер будет рад... Я обязан ему...

Пока записывали его признание, он притянул Жюльетту к себе и шепнул ей на ухо:

— Деньги под подушкой, дарю их тебе.

Изо рта у него хлынула кровь, и все решили, что он уже отходит. Однако у него хватило сил подписать свои показания и даже поддеть папашу Табаре.

— А папенька, оказывается, путается с полицией, — прохрипел он. — Что, приятно охотиться на друзей? Эх, затеял я хорошую игру, но, когда в ней участвуют три женщины, проигрыш обеспечен.

Началась агония, и, когда прибыл врач, ему осталось лишь констатировать смерть сьера Нозля Жерди, адвоката.

XVIII

Как-то вечером спустя несколько месяцев помолодевшая лет на десять маркиза д'Арланж рассказывала у м-ль де Гозлло небольшому кружку приятельниц про свадьбу своей внучки Клер, которая только что вышла за виконта Альбера де Коммарена:

— Бракосочетание, очень скромное, состоялось в наших владениях в Нормандии. Так захотел зять, хотя я была решительно против. Шум вокруг ошибки, жертвой которой он стал, следовало бы заглушить блистательной свадьбой. Таково мое мнение, и я его не скрывала. Но что поделать, этот юноша упрям, как его отец, а что это такое, вы знаете. Он уперся. А моя бесстыдница внучка, глядевшая будущему мужу в рот, тоже пошла против меня. Впрочем, какое это имеет значение. Хотелось бы мне встретить человека, который сейчас набрался бы храбрости признаться, что он хоть на миг да усомнился в невинности Альбера. Я оставила новобрачных, которые воркуют, словно голубки, предаваться радостям медового месяца. Надо признать, они дорогой ценой заплатили за свое блаженство. Ну, дай им бог счастья

и кучу детишек — у них есть на что их вырастить и обеспечить приданым; господин де Коммарен в первый и, вне всяких сомнений, последний раз в жизни вел себя как ангел. Поверите ли, он передал свое состояние, все целиком, сыну. А сам намерен уединенно жить в одном из своих поместий. Думаю, бедняга недолго протянет. Не стану даже ручаться, все ли у него в порядке с головой после удара... Ладно, внучка моя пристроена и неплохо. Одна я знаю, чего это стоило, и теперь мне придется жить очень экономно. Но я всегда презирала родителей, которые не желают идти на денежные жертвы, когда от этого зависит счастье их ребенка.

Маркиза умолчала лишь об одном — о том, что за неделю до свадьбы Альбер выручил ее в крайне затруднительных обстоятельствах, уплатив крупный долг.

Правда, после свадьбы она позаимствовала у него всего лишь девять тысяч франков, но зато в ближайшие дни собирается признаться, как ей докучают обойщик, портниха, три хозяина модных лавок и еще с пяток поставщиков.

Ну да бог с ней, она достойная женщина и не говорит худо про зятя.

Г-н Дабюрон, получив отставку, уехал в Пуату и там обрел спокойствие, а забвение придет в свой черед. Местные маменьки и папеньки не отчаиваются и надеются, что он не минует брачных уз.

Мадам Жюльетта совершенно утешилась. Восемьдесят тысяч франков, спрятанных Ноэлем под подушку, не пропали. Остались от них, правда, жалкие крохи. Со дня на день будет объявлено о распродаже богатой обстановки.

Один лишь папаша Табаре ничего не забыл.

Он долго верил в непогрешимость правосудия, зато теперь повсюду видит одни судебные ошибки.

Бывший сыщик-любитель усомнился даже в самом существовании преступления и, кроме того, утверждает, что свидетельство органов чувств ничего не доказывает. Он собирает подписи под петицией об отмене смертной казни и организует общество помощи невинно обвиняемым.

Гастон Леру

Души Дамы в черном



Gaston Leroux
*Le parfum de la dame
en noir*

Paris
1909

Перевод И. РУСЕЦКОГО

Венчание г-на Робера Дарзака и м-ль Матильды Стейнджерсон состоялось 6 апреля 1895 года в Париже, в церкви Сен-Никола дю Шардонне, куда был приглашен лишь весьма узкий круг друзей. Прошло уже чуть более двух лет со времени событий, описанных мною в предыдущей книге, событий столь сенсационных, что не будет преувеличением сказать: за такой короткий срок даже парижане не забыли о знаменитой «Тайне Желтой комнаты». Она еще занимала многие умы, и, конечно, небольшая церковь оказалась бы переполнена желающими поглазеть на героев нашумевшей драмы, если бы церемония бракосочетания не проводилась тайно, что, впрочем, было несложно устроить в этом удаленном от густонаселенных кварталов приходе. Приглашены были лишь несколько друзей г-на Дарзака и профессора Стейнджерсона, на молчание которых можно было рассчитывать. Я принадлежал к их числу и приехал в церковь пораньше, поскольку хотел отыскать Жозефа Рультабийля. Не найдя его, я был несколько разочарован, хотя и не сомневался, что он придет; чтобы скоротать время, я подошел к гг. Анри-Роберу и Андре Гессу, которые, стоя в тихом приделе Святого Карла, вполголоса вспоминали наиболее занятные эпизоды версальского процесса, пришедшие им на ум в связи с предстоящей церемонией. Я рассеянно слушал их и следил за происходящим вокруг.

Боже мой, до чего же убога эта церковь Сен-Никола дю Шардонне! Дряхлая, вся в трещинах, грязная, но это не благородная патина времени, которая лишь украшает камень, а крайняя нечистоплотность, свойственная кварталам Сен-Виктор и Бернардинцев, на границе которых она располагается; стоящая в столь неподобающем для нее окружении, эта церковь мрачна снаружи и уныла внутри. Небо, которое кажется в этом священном месте более далеким, чем где-либо, цедит скупой свет, изо всех сил старающийся пробиться к верующим сквозь вековую грязь на стеклах.

Вы, разумеется, читали «Воспоминания детства и молодости» Ренана¹? Тогда толкните дверь церкви Сен-Никола дю Шардонне, и вы поймете, почему хотелось умереть будущему автору «Жизни Иисуса», который жил взаперти совсем рядом, в маленькой семинарии, смежной с домом аббата Дюпанлу, и выходил сюда лишь помолиться. Вот в этом-то погребальном мраке, в этом окружении, созданном, казалось, лишь для отпевания усопших, и должно было проходить венчание Робера Дарзака и Матильды Стейнджерсон! Я усмотрел в этом недоброе предзнаменование и расстроился.

Гг. Анри-Робер и Андре Гесс продолжали беседу: первый признался, что перестал тревожиться за Робера Дарзака и Матильду Стейнджерсон не после благополучного исхода версальского процесса, а лишь когда узнал из официальных источников о смерти их непримиримого недруга — Фредерика Ларсана. Многие, должно быть, помнят, что через несколько месяцев после того, как профессору Сорбонны вынесли оправдательный приговор, произошла ужасная катастрофа с трансатлантическим пакетботом «Дордонь», плававшим на линии Гавр—Нью-Йорк. Ночью, в тумане, неподалеку от Ньюфаундленда в «Дордонь» врезался трехмачтовый парусник и пропорол лайнеру борт в районе машинного отделения. Парусник остался на плаву, а «Дордонь» через десять минут затонула. Сесть в шлюпки успело лишь человек тридцать пассажиров, каюты которых находились на верхней палубе. На следующий день их подобрало рыболовное судно, возвращавшееся в Сен-Жан. В течение следующих дней океан выбросил сотни трупов, и среди них был Ларсан. Найденные в одежде трупа документы свидетельствовали, на этот раз неопровержимо, что Ларсан мертв. Наконец-то Матильда Стейнджерсон избавилась от своего фантастического супруга, с которым, благодаря мягкости американских законов, тайно связала свою судьбу в дни, когда была юна, безрассудна и доверчива. Этот опасный преступник, Балмейер, навсегда вписавший свое имя в анналы правосудия и женившийся когда-то на ней под именем Жана Русселя, никогда больше не встанет между нею и тем, кого она на протяжении стольких лет любила молчаливо и героически. В «Тайне Желтой комнаты» я подробно рассказал об этом деле, одном из самых необычных в летописях суда; оно могло окончиться весьма трагически, если бы

¹ Ренан Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель и философ.

не вмешательство талантливого восемнадцатилетнего репортера Жозефа Рультабийля: он единственный распознал в знаменитом полицейском Фредерике Ларсане самого Балмейера. Случайная и, можно сказать, ниспосланная провидением смерть этого негодяя, похоже, положила конец цепочке драматических событий и была — следует это признать — не последней причиной быстрого выздоровления Матильды Стейнджерсон, чей рассудок помутился после таинственных ужасов в замке Гландье.

— Видите ли, друг мой,— втолковывал г-н Анри-Робер г-ну Андре Гессу, беспокойно осматривавшемуся по сторонам,— в жизни всегда нужно быть оптимистом. Все как-то устраивается, даже невзгоды мадемуазель Стейнджерсон... Но что вы все время оглядываетесь? Кого вы ищете? Ждете кого-нибудь?

— Да... Я жду Фредерика Ларсана! — ответил Андре Гесс.

Г-н Анри-Робер рассмеялся — негромко, насколько позволяли приличия, однако мне было не до смеха: я думал почти то же, что и г-н Гесс. Конечно, я был далек от того, чтобы предвидеть надвигающиеся на нас невероятные события, но теперь, когда я возвращаюсь мыслями к тем минутам и оставляю в стороне все, что узнал впоследствии,— об этом я, собственно, и постараюсь рассказать честно, постепенно открывая правду, как она открывалась и нам,— теперь мне вспоминается странная тревога, охватившая меня при мысли о Ларсане.

— Полноте, Сенклер! Вы же видите, что Гесс шутит,— заметив мое необычное состояние, воскликнул г-н Анри-Робер.

— Не знаю, не знаю,— отозвался я и по примеру Андре Гесса внимательно огляделся по сторонам. В самом деле: Ларсана, когда он еще звался Балмейером, столько раз считали погибшим, что в образе Ларсана он вполне мог воскреснуть еще раз.

— Смотрите-ка! А вот и Рультабийль! — продолжал г-н Анри-Робер.— Готов спорить, он чувствует себя поспокойнее, чем вы.

— А он бледен! — заметил г-н Андре Гесс.

Юный репортер подошел и довольно рассеянно пожал нам руки.

— Добрый день, Сенклер, добрый день, господа. Я не опоздал?

Мне показалось, что голос у него дрожит. Он тут же отошел в сторонку и, словно ребенок, преклонил колени на

скамеечку для молитвы. Закрыв руками свое и в самом деле бледное лицо, он стал молиться.

Я понятия не имел, что Рультабийль набожен, поэтому его горячая молитва меня озадачила. Когда он поднял голову, глаза его были полны слез. Он их не прятал, его совершенно не занимало происходящее вокруг: он весь был погружен в молитву и, похоже, в печаль. Но почему печаль? Неужели его не радовал союз, которого все так желали? Разве счастье Робера Дарзака и Матильды Стейнджерсон не было делом его рук? Как знать, быть может, он плакал от счастья? Наконец он встал и скрылся в темноте за колонной. Я не осмелился последовать за ним, так как мне было ясно, что он хочет побыть один.

И тут в церковь под руку с отцом вошла Матильда Стейнджерсон. За ними шагал Робер Дарзак. Как они все изменились! Да, драма в Гландье оставила на всех троих свой отпечаток. Но — удивительное дело! — Матильда Стейнджерсон стала еще прекрасней! Разумеется, она не была уже той блестящей женщиной, той ожившей мраморной статуей, той античной богиней, той холодной языческой красавицей, которая обычно сопровождала отца на официальных церемониях Третьей республики, — напротив, создавалось впечатление, что рок, заставивший ее столь тяжело расплатиться за ошибки молодости, вверг ее в отчаяние и временное помешательство лишь для того, чтобы она сбросила каменную маску, за которой скрывалась чрезвычайно нежная и тонкая душа. И теперь мне казалось, что овал ее лица, глаза, полные счастья и грусти, лоб, словно выточенный из слоновой кости, — все в ней излучает пленительное сияние души и говорит о любви к доброму и прекрасному.

Что же касается ее наряда, то тут я вынужден сознаться в собственной бестолковости: я не помню даже цвета платья. Однако я хорошо помню внезапно появившееся у нее странное выражение лица, когда она не увидела среди нас того, кого искала. И лишь заметив стоявшего за колонной Рультабийля, новобрачная успокоилась и полностью овладела собой. Она улыбнулась ему, и мы последовали ее примеру.

— А глаза-то у нее еще безумные!

Я резко обернулся, чтобы посмотреть, кто произнес эти недобрые слова. Позади меня стоял некий горемыка, которого Робер Дарзак взял из жалости в Сорбонну лаборантом. Звали его Бриньоль; он приходился Дарзаку какой-то дальней родней. Других его родственников мы не знали; приехал он откуда-то с юга. Отца и мать г-н Дарзак потерял уже давно, у него не было ни брата, ни сестры, и он, казалось,

порвал все связи с родным краем, откуда привез горячее желание добиться успеха, необычайную работоспособность, большой ум и вполне естественную потребность отдать кому-то свою преданность и любовь, которые и подарил профессору Стейнджерсону и его дочери. Привез он со своей родины, из Прованса, и мягкий выговор; сначала питомцы Сорбонны над ним посмеивались, но вскоре полюбили, словно приятную тихую музыку, немного скрашивающую неизбежную сухость лекций их молодого, но уже знаменитого учителя.

И вот прошлой весной, то есть около года назад, Робер Дарзак представил им Бриньоля. Тот приехал прямо из Экса, где работал лаборантом-физиком и совершил какой-то проступок, за что был вышвырнут на улицу, однако, вспомнив о своем родственнике, г-не Дарзаке, сел в парижский поезд и до такой степени разжалобил жениха Матильды Стейнджерсон, что тот взял его к себе в лабораторию. В то время здоровье Робера Дарзака оставляло желать лучшего. На нем сказались сильнейшие переживания, испытанные в Гландье и на суде, однако можно было надеяться, что выздоровление Матильды, которое уже не ставилось под сомнение, и перспектива скорого брака с нею окажут благотворное влияние на душевное, а значит, и физическое состояние профессора. Однако мы заметили обратное: с того дня, как Дарзак взял к себе этого Бриньоля, чья помощь, по его словам, должна была заметно облегчить ему работу, слабость профессора лишь увеличивалась. К тому же Бриньоля оказался растяпой: один за другим в лаборатории произошли два несчастных случая, причем при проведении совершенно безопасных опытов. В первый раз неожиданно взорвалась гейслерова трубка, осколки которой могли серьезно ранить г-на Дарзака, но угодили в самого Бриньоля — у него на руках до сих пор осталось несколько шрамов. Во второй раз дело могло закончиться гораздо хуже: взорвалась маленькая бензиновая горелка, над которой как раз наклонился г-н Дарзак. Ему чуть не обожгло все лицо, но по счастью обгорели только ресницы, да на какое-то время ухудшилось зрение, так что он с трудом мог выносить яркий солнечный свет.

После таинственных происшествий в Гландье я находился в таком состоянии, что склонен был считать необыкновенными самые заурядные события. Когда произошло последнее несчастье, я как раз зашел к г-ну Дарзаку в Сорбонну. Я сам отвел нашего друга к аптекарю, а оттуда к врачу и довольно сухо попросил Бриньоля оставаться на месте, хотя

тот порывался идти с нами. По дороге г-н Дарзак поинтересовался, почему я был так резок с беднягой Бриньолем; я ответил, что мне вообще не нравятся его манеры и к тому же я считаю его виновным в этом несчастном случае. Г-н Дарзак спросил, почему я так думаю, но я не нашелся что ответить, и он рассмеялся. Однако когда врач сказал ему, что он мог потерять зрение и только чудом отделался так легко, смеяться он перестал.

Конечно, недоверие, которое внушал мне Бриньоля, выглядело смешно, да и несчастные случаи больше не повторялись. И тем не менее я был настроен против него и в глубине души винил его в том, что здоровье г-на Дарзака не улучшалось. В начале зимы профессор начал кашлять, и мы все стали уговаривать его взять отпуск и отправиться отдохнуть на юг. Врачи советовали Сан-Ремо. Он внял совету, а уже через неделю написал нам, что чувствует себя гораздо лучше и ему кажется, будто с груди у него сняли тяжесть. «Я дышу, дышу! — писал он. — А уезжая из Парижа, задыхался!» Это письмо г-на Дарзака навело меня на размышления, и я не замедлил поделиться своими выводами с Рультабийлем. Его тоже весьма удивило то обстоятельство, что г-н Дарзак чувствует себя плохо, находясь рядом с Бриньолем, и хорошо вдали от него. Это впечатление было у меня настолько сильным, что я готов был последовать за Бриньолем, если бы тот захотел куда-нибудь уехать. Этому не бывать! Пусть только он покинет Париж — я найду возможность за ним проследить! Но он никуда не уехал, напротив: если до этого он бывал у Стейнджерсонов не часто, то теперь, якобы желая узнать, нет ли чего от г-на Дарзака, он все время околавивался у г-на Стейнджерсона. Однажды он даже ухитрился навестить м-ль Стейнджерсон, однако мне удалось нарисовать невесте г-на Дарзака достаточно неприглядный портрет лаборанта, и она навсегда прониклась к нему неприязнью, с чем я внутренне себя поздравлял.

Г-н Дарзак пробыл в Сан-Ремо четыре месяца и вернулся практически здоровым. Но зрение у него еще не наладилось, и ему приходилось очень его беречь. Мы с Рультабийлем решили понаблюдать за Бриньолем, но вскоре с радостью узнали: свадьба состоится почти немедленно и г-н Дарзак собирается увезти жену в долгое путешествие — подальше от Парижа... и от Бриньоля.

По возвращении из Сан-Ремо г-н Дарзак поинтересовался:

— Ну, как вы там насчет бедняги Бриньоля? Изменили о нем свое мнение?

— Никоим образом,— отрезал я.

Дарзак принялся подсмеиваться надо мной, отпуская в мой адрес свои провансальские шуточки, которые очень любил, когда обстоятельства позволяли ему веселиться, и которые теперь приобрели у него новый привкус — вернувшись с юга, он вернул своему выговору первоначальную прелесть.

Он был счастлив! После его возвращения мы с ним почти не виделись и настоящую причину его счастья поняли, лишь встретив его на пороге церкви: он преобразился, его чуть сутуловатая фигура гордо выпрямилась. Счастье сделало его выше ростом и даже красивее!

— Вот уж действительно, как говорится, у шефа все зажило до свадьбы! — сострил Бриньоль.

Отойдя от этого неприятного типа, я подошел сзади к бедному г-ну Стейнджерсону, который на протяжении всей церемонии стоял, скрестив руки на груди, ничего не видя и не слыша. Когда все закончилось, пришлось похлопать его по плечу, чтобы он очнулся от своего сна наяву.

Когда все направились в ризницу, г-н Андре Гесс глубоко вздохнул:

— Наконец-то! Теперь можно перевести дух.

— А почему вы не могли сделать этого раньше, друг мой? — спросил г-н Анри-Робер.

Г-н Андре Гесс сознался, что до последней секунды ждал появления мертвеца.

— Ну, что поделаты! — возразил он на насмешки своего товарища.— Я никак не могу привыкнуть к мысли, что Фредерик Ларсан согласился умереть окончательно и бесповоротно.

И вот все мы — человек двенадцать — оказались в ризнице. Свидетели расписались в приходской книге, и мы от всего сердца поздравили новобрачных. В этой ризнице было еще более мрачно, чем в самой церкви, и, не будь она такой маленькой, я подумал бы, что просто не заметил Рультабийля в темноте. Но его и в самом деле там не было. Что это могло означать? Матильда уже дважды о нем справлялась, и в конце концов г-н Дарзак попросил меня пойти его поискать. В ризницу я вернулся один, так и не найдя Рультабийля.

— Вот странно,— проговорил г-н Дарзак.— Ничего не понимаю. Вы хорошо его искали? Может, он забился в какой-нибудь уголок и о чем-то мечтает?

— Я все обыскал и даже звал его,— ответил я.

Однако мой ответ не удовлетворил г-на Дарзака, и он решил сам обойти церковь. Ему повезло больше: нищий, стоявший с кружкой на паперти, сообщил, что некий молодой человек, которым не мог быть никто иной, кроме Рультабийля, несколько минут назад вышел из церкви и уехал на извозчике. Когда г-н Дарзак сообщил об этом своей жене, та расстроилась сверх всякой меры. Подозвав меня, она попросила:

— Дорогой господин Сенклер, вы знаете, что через два часа мы уезжаем с Лионского вокзала. Найдите нашего юного друга, приведите его ко мне и передайте, что его необъяснимое поведение меня очень встревожило.

— Можете на меня положиться,— ответил я.

Не мешкая, я отправился на поиски Рультабийля, и все же на вокзал явился не солоно хлебавши. Ни дома, ни в редакции, ни в кафе адвокатуры, куда он часто заходил в это время дня по долгу службы, я его не застал. Никто из его приятелей не смог посоветовать, где его искать. Сами понимаете, в каком расстройстве пришел я на вокзальный перрон. Г-н Дарзак весьма огорчился и попросил меня сообщить эту неприятную новость его жене, поскольку сам был занят дорожными хлопотами: профессор Стейнджерсон, отправлявшийся к семейству Рансов в Ментону, ехал вместе с новобрачными до Дижона, откуда они должны были продолжить путь на Кюлоз и Монсени. Я выполнил это грустное поручение и добавил, что Рультабийль, несомненно, еще придет до отхода поезда. Не успел я договорить, как Матильда тихо заплакала, покачала головой и поднялась в вагон со словами:

— Нет! Нет! Все кончено! Он больше не придет!

Тем временем этот несносный Бриньоль, заметив волнение новобрачной, не смог удержаться и сказал г-ну Гессу:

— Смотрите, я же говорил, что глаза у нее еще безумны! Робер не прав: ему следовало подождать.

Г-н Гесс довольно неучтиво, но вполне заслуженно осадил наглеца.

Я хорошо помню, какой ужас внушил мне Бриньоль этими словами. Мне уже давно стало ясно: Бриньоль — человек злобный и к тому же завистливый; он никак не мог простить своему родственнику, что тот назначил его на второстепенную должность. Лицо его всегда было желтое и вытянутое. Казалось, он насквозь пропитан горечью, все у него было длинное: он сам, руки, ноги и даже голова. Исключение из этого правила составляли лишь

кисти и ступни — маленькие, почти изящные. После того как молодой адвокат столь резко его осадил за бестактное замечание, Бриньоль разозлился и, попрощавшись с новобрачными, ушел. Во всяком случае, на вокзале я его больше не видел.

До отхода поезда оставалось три минуты. Мы все еще надеялись, что Рультабийль придет, и разглядывали опаздывающих пассажиров в надежде увидеть среди них симпатичное лицо нашего юного друга. Почему же он не идет, по своему обыкновению расталкивая всех локтями и не обращая внимания на протесты и крики, которые сопровождают его всегда, когда он протискивается сквозь толпу? Что с ним случилось? Вот уже хлопают дверцы, слышны выкрики проводников: «По вагонам, господа! По вагонам!», бегут несколько опоздавших, раздается резкий свисток к отправлению, хриплый гудок паровоза, и состав трогается. Но Рультабийля нет! Мы были настолько огорчены и озадачены, что стояли на перроне и смотрели на г-жу Дарзак, совершенно позабыв пожелать ей доброго пути. Когда поезд уже начал набирать ход, дочь профессора Стейнджерсона бросила долгий взгляд на перрон, поняла, что не увидит своего юного друга, и протянула мне конверт: — Это ему!

Затем ее лицо вдруг исказилось от ужаса, и странным тоном, который заставил меня вспомнить злосчастные слова Бриньоля, она добавила:

— До свидания, друзья мои! А может, прощайте!

Глава 2, повествующая об изменчивых настроениях Рультэбийля

Возвращаясь в одиночестве с вокзала, я с удивлением почувствовал, что меня охватила необычайная грусть, причины которой были мне не ясны. Во время версальского процесса со всеми его перипетиями я подружился с профессором Стейнджерсоном, его дочерью и Робером Дарзаком. Поэтому состоявшаяся ко всеобщему удовлетворению свадьба должна была бы меня только радовать. Я подумал, что необъяснимое отсутствие молодого репортера должно объясняться чем-то вроде упадка сил. Стейнджерсоны и г-н Дарзак относились к Рультэбийлю как к спасителю. А когда Матильда вышла из лечебницы для душевнобольных, где за несколько месяцев усиленного лечения ей вернули рассудок, когда она смогла оце-

нить, какую роль сыграл в ее драме этот юнец, без помощи которого она погибла бы вместе с любимыми ею людьми, когда она, находясь уже в здравом уме, прочитала стенографический отчет о судебном процессе, где Рультабийль выступил, словно сказочный герой,— после всего этого она принялась окружать моего друга поистине материнской заботой. Ее интересовало все, что его касалось, она вызывала его на откровенность, ей хотелось знать о Рультабийле больше, чем знал я и, быть может, он сам. Она указывала неназойливое, но постоянное любопытство относительно его происхождения, однако мы ничего не знали, а молодой человек упорно и гордо его скрывал. Весьма чувствительный к нежной дружбе этой несчастной женщины, Рультабийль тем не менее был чрезвычайно сдержан и в отношениях с нею сохранял трогательную учтивость, которая меня удивляла: я ведь знал, насколько он непосредствен, порывист и честен в своих симпатиях и антипатиях. Я неоднократно спрашивал его об этом, но он уходил от прямого ответа и много говорил о своей привязанности к особе, которую ставил выше всех на свете и ради которой готов был пожертвовать всем, если бы судьба предоставила ему такой случай. Порою же он вел себя просто необъяснимо. Однажды, к примеру, Стейнджерсоны пригласили нас провести денек в загородном доме, который они сняли на лето в Шенвьере, на берегу Марны, так как не хотели больше жить в Гландье. И вот, сначала по-детски обрадовавшись предстоящему отдыху, он вдруг без каких-либо видимых причин отказался меня сопровождать. Мне пришлось ехать одному, оставив его в маленькой комнатке на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Месье-ле-Пренс. Я очень рассердился на него за то, что он так огорчил добрую м-ль Стейнджерсон. В воскресенье она, раздосадованная таким поведением моего друга, решила поехать вместе со мной и захватить его врасплох в его убежище в Латинском квартале.

Когда мы пришли, я постучал, и Рультабийль ответил энергичным: «Войдите!» Он работал за своим маленьким столом и завидя нас, вскочил и так побледнел, что мы испугались, как бы он не упал в обморок.

— Боже мой! — вскричала Матильда и подбежала к нему. Но Рультабийль оказался проворнее: прежде чем она добежала до стола, о который он опирался, он успел накинуть на разбросанные на нем бумаги салфетку.

Матильда, разумеется, это заметила и в удивлении остановилась.

— Мы вам мешаем? — спросила она с мягким упреком в голосе.

— Нет,— ответил Рультабийль,— я кончил работать. Потом я вам это покажу. Это — шедевр, пятиактная пьеса, но я еще не придумал развязку.

И молодой человек улыбнулся. Вскоре он вполне овладел собой, принялся шутить и благодарить нас за то, что мы нарушили его уединение. Затем он решил непременно пригласить нас отобедать, и мы пошли втроем в ресторанчик Фуайо в Латинском квартале. Что это был за чудный вечер! Рультабийль позвонил по телефону Роберу Дарзаку, и тот подоспел к десерту. В то время г-н Дарзак чувствовал себя неплохо, а пресловутый Бриньоль в Париже еще не появился. Все веселились, словно дети. Летний вечер в пустынном Люксембургском саду был так красив и тих!

Прежде чем проститься с м-ль Стейнджерсон, Рультабийль попросил у нее извинения за свои странные выходки и признался, что вообще-то у него довольно мерзкий характер. Матильда его поцеловала, Робер Дарзак сделал то же. Молодой человек выглядел весьма взволнованным и, пока я провожал его до дверей, не проронил ни слова, а на прощание пожал руку так, как до этого еще никогда не делал. Забавный чудак! Ах, если б я знал!.. Как же теперь я упрекаю себя за то, что в те времена судил его порою слишком категорично.

Печальный, полный неясных предчувствий, возвращался я с Лионского вокзала, припоминая бесчисленные фантазии, причуды, а иногда и несколько странные выходки Рультабийля за последние два года, однако ни одна из них не предвещала и тем более не объясняла происшедшее. Где Рультабийль? Я отправился к нему домой, на бульвар Сен-Мишель, решив, что если его не застану, то хоть оставлю письмо г-жи Дарзак. Каково же было мое удивление, когда, войдя в дом, я наткнулся на своего слугу с моим чемоданом в руках! На мой вопрос он ответил, что ничего не знает: его попросил об этом г-н Рультабийль.

Оказывается, пока я искал репортера где угодно, но только не у себя дома, он пришел ко мне на улицу Риволи, попросил слугу провести его в спальню и принести чемодан, после чего аккуратно уложил в него белье, которое должен взять с собой приличный человек, уезжая на несколько дней. Затем он приказал моему простофиле отнести через час этот чемодан к нему, на бульвар Сен-Мишель. Я буквально ворвался в спальню к другу: он старательно складывал

в саквояж туалетные принадлежности, белье и ночную рубашку. Пока он не покончил с этим делом, вытянуть из него я ничего не смог, поскольку к мелочам быта он относился прямо-таки с маниакальной тщательностью и, несмотря на свои скромные средства, старался жить как можно приличнее, приходя в ужас от малейшего беспорядка. Наконец он соблаговолил сообщить мне следующее: поскольку в его газете «Эпок» ему дали трехдневный отпуск, а я — человек свободный, мы проведем наши пасхальные каникулы на берегу моря. Я ему даже не ответил, так как, во-первых, был очень сердит на него за его поведение, а во-вторых, потому что находил глупым любоваться океаном или Ла-Маншем как раз в самую мерзкую весеннюю погоду, которая длится каждый год две-три недели и заставляет нас сожалеть о зиме. Однако мое молчание его никоим образом не смутило: он взял в одну руку мой чемодан, в другую — свой саквояж, подтолкнул меня к лестнице и усадил в поджидавший у дверей экипаж. Через полчаса мы уже сидели в купе первого класса; наш поезд отправлялся на север — через Амьен на Трепор. Когда мы въезжали на станцию Крейль, Рультабийль спросил:

— Почему вы не отдаете переданное для меня письмо?

Я взглянул на него. Он догадался, что г-жа Дарзак была огорчена, не повидавшись с ним на прощанье, и написала ему. Особой хитрости в этом не было. Я ответил:

— Потому что вы этого не заслужили.

И я осыпал Рультабийля горькими упреками, на которые он не обратил внимания и даже не попытался оправдаться, что взбесило меня больше всего. Наконец, я протянул ему письмо. Он взял конверт, осмотрел его и вдохнул нежный запах. Поскольку я с любопытством за ним наблюдал, юноша нахмурился, пытаясь под внешней суровостью скрыть глубокое волнение, охватившее его. Чтобы окончательно сбить меня с толку, он прислонился лбом к окну и углубился в изучение пейзажа.

— Так что же, вы не собираетесь читать письмо? — поинтересовался я.

— Собираюсь, но не здесь, — отозвался он. — Там!

После долгого шестичасового пути мы среди ночи прибыли в Трепор; погода стояла отвратительная. Ледяной ветер с моря дул нам в лицо и подметал пустынный перрон. Нам встретился лишь таможенник, закутанный в плащ с капюшоном и прохаживавшийся по мосту через канал. Как и следовало ожидать, ни одного извозчика. Пламя

нескольких газовых фонарей, дрожа в своих стеклянных клетках, тускло отражалось в лужах, по которым мы шлепали, сгибаясь под порывами ветра. Вдали слышался звонкий стук деревянных сабо какой-то запоздалой прохожей. Мы не свалились в черный провал внешней гавани лишь потому, что по свежему соленому запаху, поднимавшемуся снизу, да шуму прилива догадались о приближающейся опасности. Я ругался в спину Рультабийлю, который с трудом выбирал путь во влажной тьме. Эти места, однако, были ему знакомы, так как, исхлестанные мокрым ветром, мы с грехом пополам все же добрались до единственной открытой в это время года прибрежной гостиницы. Рультабийль немедленно потребовал ужин и огня, поскольку мы очень проголодались и замерзли.

— Не скажете ли вы мне,— поинтересовался я,— что мы тут позабыли, кроме грозящих нам ревматизма и плеврита?

Рультабийль все время кашлял и никак не мог согреться.

— Сейчас я вам все объясню,— отозвался он.— Мы приехали на поиски духов Дамы в черном!

Эта фраза заставила меня крепко задуматься, и я почти всю ночь не спал. За окном непрерывно завывал ветер, то с жалобным стоном проносясь над песчаным пляжем, то вдруг врываясь в узкие улочки города. Мне показалось, что в соседней комнате, которую занимал мой друг, кто-то ходит; я встал и отворил дверь. Несмотря на холод и ветер, он стоял у открытого окна и посылал во тьму воздушные поцелуи. Он целовал ночь!

Я тихонько прикрыл дверь и лег в постель. Наутро меня разбудил потрясенный Рультабийль. С выражением ужаса на лице он протянул мне телеграмму, посланную в Париж из Бура и, согласно оставленному им распоряжению, переадресованную сюда. Телеграмма гласила: «Приезжайте немедленно не теряя ни минуты тчк мы отказались от путешествия на восток собираемся встретиться господином Стейнджерсоном Ментоне и ехать с ним Рансам Красные Скалы тчк пусть эта телеграмма останется между нами тчк не нужно никого пугать тчк объясните свое появление как угодно только приезжайте тчк телеграфируйте мое имя Ментону до востребования тчк скорее я вас жду тчк отчаянии ваш Дарзак».

— А ведь это меня не удивляет! — воскликнул я, выскакивая из постели.

— Вы что, в самом деле не поверили, что он умер? — спросил Рультабийль с волнением, которого я не мог объяснить, даже если г-н Дарзак и вправду не преувеличивал и ситуация действительно была ужасна.

— Не очень-то, — ответил я. — Ему было нужно, чтобы его считали погибшим, и во время катастрофы «Дордони» он мог пожертвовать несколькими документами. Но что с вами, друг мой? По-моему, вам дурно! Вы не заболели?

Рультабийль упал на стул. Дрожащим голосом он рассказал, что поверил на самом деле в смерть Ларсана только после венчания. Репортер считал: если Ларсан жив, он ни за что не позволит совершиться акту, который отдавал Матильду Стейнджерсон г-ну Дарзаку. Ларсану достаточно было только показаться, чтобы помешать браку, и, как бы опасно для него это ни было, он обязательно так и сделал бы, зная, что весьма набожная дочь профессора Стейнджерсона не согласилась бы связать свою судьбу с другим человеком при живом муже, пусть даже с житейской точки зрения ее с ним ничто не связывало. Ей могли доказывать, что по французским законам этот брак недействителен, — напрасно: она тем не менее считала бы, что священник сделал ее несчастной на всю жизнь.

Утирая струившийся со лба пот, Рультабийль добавил:

— Увы, друг мой, вспомните-ка, по мнению Ларсана, «дом священника все так же очарователен, а сад все так же свеж»!

Я прикоснулся ладонью к руке Рультабийля. Его лихорадило. Я хотел его успокоить, но он меня не слушал.

— Значит, он дождался, когда брак будет заключен, и появился несколько часов спустя! — воскликнул он. — Ведь для меня — да и для вас, не так ли? — телеграмма господина Дарзака ничего не означает, если в ней не имеется в виду, что Ларсан возвратился.

— Очевидно так! Но ведь господин Дарзак мог ошибиться?

— Что вы! Господин Дарзак — не пугливый ребенок. И все же, будем надеяться — не правда ли, Сенклер? — что он ошибся. Нет, нет, это невозможно, это слишком ужасно! Друг мой Сенклер, это было бы слишком ужасно!

Даже во время самых страшных событий в Гландье

Рультабийль не был так возбужден. Он встал, прошелся по комнате, машинально переставляя предметы, потом взглянул на меня и повторил:

— Слишком ужасно!

Я заметил, что нет смысла доводить себя до такого состояния из-за телеграммы, которая еще ни о чем не говорит и может быть плодом какой-нибудь галлюцинации. Затем я добавил, что в то время, когда нам обязательно потребуется все наше хладнокровие, нельзя поддаваться подобным страхам, непростительным для человека его закалки.

— Непростительным! В самом деле, Сенклер, это непростительно!

— Но послушайте, дорогой мой, вы меня пугаете! Что происходит?

— Сейчас узнаете. Положение ужасно... Почему он не умер?

— А кто, в конце концов, сказал вам, что он и взаправду жив?

— Понимаете, Сенклер... Тс-с! Молчите! Молчите, Сенклер! Понимаете, если он жив, то я хотел бы умереть!

— Сумасшедший! Ей-богу, сумасшедший! Вот именно, если он жив, то и вы должны жить, чтобы защитить ее!

— А ведь верно, Сенклер! Совершенно верно! Спасибо, друг мой! Вы произнесли единственное слово, которое может заставить меня жить,— «она». А я, представьте, думал лишь о себе! О себе!

Рультабийль принялся над собой подшучивать, и теперь пришла очередь испугаться мне: обняв его за плечи, я принялся его упрасивать рассказать, почему он так испугался, заговорил о своей смерти и столь неудачно шутил.

— Как другу, как своему лучшему другу, Рультабийль! Говори же! Облегчи душу! Поведай мне свою тайну — она же гнетет тебя. Я всем сердцем с тобой.

Рультабийль положил руку мне на плечо, заглянул в самую глубину моих глаз, в самую глубину моего сердца и ответил:

— Вы все узнаете, Сенклер, вы будете знать не меньше моего и ужаснетесь так же, как я, потому что я знаю: вы добры и любите меня!

Наконец Рультабийль немного успокоился и попросил железнодорожное расписание.

— Мы выедем в час,— проговорил он.— Зимой прямого поезда из Э в Париж нет, поэтому мы будем дома

часов в семь. Но мы вполне успеем уложить чемоданы, добраться до Лионского вокзала и сесть на девятичасовой на Марсель и Ментону.

Он даже не спросил моего мнения, он тащил меня за собою в Ментону, как притащил в Трепор: ему прекрасно было известно, что при существующем положении дел я ни в чем не смогу ему отказать. К тому же он находился в таком состоянии, что мне и в голову не пришло бы оставить его одного. А у меня начинались каникулы и во Дворце правосудия дел больше не было.

— Стало быть, мы едем в Э? — спросил я.

— Да, и там сядем в поезд. В экипаже мы доберемся из Трепора до Э за какие-нибудь полчаса.

— Немного же мы побыли здесь, — заключил я.

— Вполне достаточно... Надеюсь, вполне достаточно, чтобы найти то, за чем я сюда, увь, приехал.

Я вспомнил о духах Дамы в черном и промолчал. Разве он не пообещал мне, что скоро я все узнаю? Тем временем Рультабийль повел меня на мол. Ветер дул с прежней неистовой силой, и нам пришлось укрыться за маяком. Рультабийль остановился и в задумчивости закрыл глаза.

— Здесь я видел ее в последний раз, — наконец проговорил он и взглянул на каменную скамью. — Мы сидели, и она прижимала меня к сердцу. Мне было тогда всего девять... Она велела мне оставаться на этой скамье и ушла; больше я ее не видел. Был вечер, тихий летний вечер, вечер, когда нам вручали награды. Участия во вручении она не принимала, но я знал, что она придет вечером... Вечер был ясный и звездный, и я на секунду подумал, что увижу ее лицо. Но она вздохнула и закрылась вуалью. А потом ушла. Больше я ее никогда не видел...

— А вы, друг мой?

— Я?

— Да, что сделали вы? Вы долго просидели на этой скамье?

— Мне очень хотелось, но за мною пришел кучер, и я вернулся.

— Куда же?

— Ну... в коллеж.

— Так в Трепоре есть коллеж?

— Нет, коллеж в Э... Я вернулся в коллеж в Э. — Он сделал мне знак следовать за ним. — Или вам хотелось бы остаться здесь? Но тут слишком уж дует!

Через полчаса мы были в Э. Проехав Каштановую улицу, наш экипаж загрохотал по тугим плитам пустынной и хо-

лодной площади; кучер возвестил о нашем прибытии, принявшись щелкать кнутом; этот оглушительный звук пронесся по улочкам маленького, словно вымершего, городка.

Вскоре над крышами раздался бой часов — они были на здании коллежа, как пояснил Рультабийль, — и все стихло. Лошадь и экипаж застыли. Кучер скрылся в кабачке. Мы вошли в холодную тень готической церкви, стоявшей у края площади. Рультабийль бросил взгляд на замок из розового кирпича, увенчанный широкой крышей в стиле Людовика XIII, с унылым фасадом, словно оплакивавшим своих принцев в изгнании, затем с грустью посмотрел на квадратное здание мэрии, враждебно выставившее в нашу сторону древко с грязным флагом, на молчаливые дома, на кафе «Париж» для господ офицеров, на парикмахерскую, на книжную лавочку... Не здесь ли он покупал на деньги Дамы в черном свои первые книги?

— Ничего не изменилось!

На пороге книжной лавки, лениво уткнувшись мордой в замерзшие лапы, лежала старая облезлая собака.

— Да это же Шам! Я узнал его — это Шам! Мой добрый Шам! — воскликнул Рультабийль и позвал: — Шам! Шам!

Собака поднялась и повернулась к нам, прислушиваясь к голосу Рультабийля. С трудом сделав несколько шагов, она подошла к нам вплотную, потом безразлично вернулась на свой порог.

— Это он! Но он меня не узнал, — проговорил Рультабийль.

Репортер увлек меня в круто спускавшийся вниз проулок, посыпанный острой щебенкой; я чувствовал, что друга лихорадит. Вскоре мы остановились перед церковью иезуитов; ее паперть украшали каменные полукружия, что-то вроде перевернутых консолей, принадлежащих к архитектурному стилю, который не прибавил славы XVII столетию. Толкнув низкую дверцу, Рультабийль провел меня под красивый свод, где в глубине, на камнях пустых склепов, стояли великолепные коленопреклоненные мраморные статуи Екатерины Клевской и герцога де Гиза Меченого.

— Это часовня коллежа, — вполголоса сообщил молодой человек.

В часовне никого не было. Мы быстро прошли через нее, и Рультабийль осторожно открыл слева еще одну дверь, ведущую под навес.

— Пошли, — тихонько сказал он. — Пока все идет

хорошо. Мы вошли в коллеж, и привратник меня не заметил. Он непременно бы меня узнал.

— Ну и что в этом дурного?

В этот миг мимо навеса прошел лысый человек со связкой ключей в руке, и Рультабийль отодвинулся в тень.

— Это папаша Симон. Как он постарел! И волос совсем не осталось. Осторожно! Сейчас как раз должны подметать в младшем классе. Все на занятиях. Опасаться нам некого — в привратницкой осталась лишь мамаша Симон, если только она еще жива. Но в любом случае она нас не увидит. Пойдите-ка! Папаша Симон возвращается.

Почему Рультабийль хотел остаться незамеченным? Почему? В самом деле, я ничего не знал об этом парнишке, а думал, что знаю все. Он удивлял меня буквально каждый час. В ожидании, пока папаша Симон освободит нам путь, мы с Рультабийлем незаметно выскользнули из-под навеса и, пробравшись за кустами, росшими во дворе, оказались у низенькой кирпичной стены, откуда открывался вид вниз, на просторные дворы и здания коллежа. Словно боясь свалиться, Рультабийль схватил меня за руку.

— Боже, тут все переменялось! — хрипло прошептал он. — Старый класс, где я когда-то нашел ножик, разрушен, дворик, где мы прятали деньги, перенесен дальше. Зато стены часовни на месте! Наклонитесь ниже, Сенклер: видите дверь в нижней части часовни? Она ведет в младший класс. Сколько раз я входил в нее, когда был маленьким! Но никогда, никогда я не выходил из нее таким счастливым, даже на самые веселые перемены, как в тот раз, когда папаша Симон пришел за мной и повел в гостиную, где ждала Дама в черном! Боже, только бы там ничего не изменилось!

Рультабийль высунул голову и взглянул назад.

— Нет! Смотрите, вон гостиная, рядом с часовней. Первая дверь справа. Туда она приходила... Когда папаша Симон спустится вниз, мы пойдем в гостиную. Это безумие, мне кажется, я схожу с ума, — сказал он, и я услышал, как у него стучат зубы. — Но что поделать, это сильнее меня. Одна мысль о том, что я увижу гостиную, где она меня ждала... Я жил лишь надеждой ее увидеть, и, когда она уезжала, я всякий раз впадал в такое отчаяние, что воспитатели опасались за мое здоровье. Я приходил в себя, лишь когда мне заявляли, что если я заболел, то больше ее не увижу. До следующего визита я жил лишь памятью о ней да ароматом ее духов. Я никогда отчетливо не видел ее лица и, надышавшись чуть ли не до обморока запахом ее духов, помнил не столько ее облик, сколько

аромат. После очередного визита я иногда в перемену проскальзывал в пустую гостиную и вдыхал, благоговейно вдыхал воздух, которым она дышала, впитывал атмосферу, в которой она недавно была, и выходил с благоухающим сердцем... Это был самый тонкий, нежный и, безусловно, самый естественный и приятный аромат в мире, и мне казалось, что никогда больше я его не встречу — до того дня, когда я сказал вам, Сенклер,— помните? — во время приема в Елисейском дворце...

— В тот день, друг мой, вы встретили Матильду Стейнджерсон.

— Да,— дрогнувшим голосом ответил Рультабийль.

Ах, если бы я знал, что у дочери профессора Стейнджерсона от первого брака, заключенного ею в Америке, был сын, ровесник Рультабийля! А ведь мой друг ездил в Америку и там, должно быть, понял все! Если бы это знал и я, тогда мне стали бы наконец ясны причины волнения, страдания и странной тревоги, с которыми он произнес имя Матильды Стейнджерсон здесь, в коллеже, куда приезжала когда-то Дама в черном.

Через несколько минут я осмелился нарушить молчание:

— Вы так и не узнали, почему не вернулась Дама в черном?

— Да нет, я уверен, что она вернулась. Но я-то уже уехал.

— А кто вас забрал?

— Никто — я сбежал.

— Зачем? Чтобы отыскать ее?

— Нет, нет, чтобы скрыться от нее, Сенклер! Но она-то вернулась! Уверен, что вернулась!

— Должно быть, она очень огорчилась, не застав вас больше здесь.

Рультабийль воздел руки к небу и покачал головой.

— Откуда мне знать? Кто может это знать? Ах, как я несчастен... Тс-с, папаша Симон! Он уходит! Наконец-то! Скорее в гостиную.

В три прыжка мы оказались на месте. Гостиная представляла собой обыкновенную, довольно большую комнату с дешевенькими белыми занавесками на голых окнах. У стен стояли шесть соломенных стульев, над камином висели зеркало и часы. Комната производила довольно унылое впечатление.

Войдя в гостиную, Рультабийль с выражением почтения и сосредоточенности обнажил голову, словно оказавшись в каком-то священном месте. Покрасневший, смущен-

ный, он двигался мелкими шагами и вертел в руках свое кепи. Затем повернулся ко мне и заговорил — тихо, даже тише, чем в часовне:

— Ах, Сенклер, вот она — гостиная. Потрогайте мои руки — я весь горю, я покраснел, верно? Я всегда краснел, когда входил сюда, зная, что увижу ее. Конечно, сейчас я бежал, запыхался, но я не мог больше ждать, понимаете? Сердце стучит, как когда-то... Послушайте, я подходил вот сюда, к двери, и в смущении останавливался. Но в углу я замечал ее тень; она молча протягивала ко мне руки, и я бросался к ней в объятия, мы целовались и плакали. Это было прекрасно! Это была моя мать, Сенклер! Но она мне в этом не признавалась, напротив: она говорила, что моя мать умерла, а она — ее подруга. Но она велела называть ее мамой, она плакала, когда я ее целовал, и я понял, что она — моя мать. Знаете, она всякий раз садилась в этом темном уголке и приезжала всегда на закате, когда света еще не зажигали... Вот тут, на подоконнике, она оставляла большой пакет в белой бумаге, перевязанный розовой ленточкой. Это были сдобные булочки. Я обожаю булочки, Сенклер!

Больше сдерживаться Рультабийль не мог: облокотившись о каминную доску, он разрыдался. Немного успокоившись, он поднял голову, взглянул на меня и печально улыбнулся. Затем, совершенно без сил, опустился на стул. Я не осмеливался заговорить с ним. Я прекрасно понимал, что разговаривал он не со мною, а со своими воспоминаниями.

Он достал из нагрудного кармана письмо, которое я ему дал, и дрожащими руками распечатал. Читал он долго. Внезапно его рука упала, и он жалобно вздохнул. Еще недавно раскрасневшийся, он побледнел так сильно, словно лишился вдруг всей крови. Я хотел было помочь, но он жестом остановил меня и закрыл глаза.

Казалось, он спит. Тихонько, на цыпочках, словно в комнате находился больной, я отошел к окну, выходящему на маленький дворик, где рос раскидистый каштан. Сколько времени я созерцал этот каштан? Откуда мне знать? Откуда мне знать, что мы ответили бы, если бы в эту минуту кто-нибудь вошел в гостиную? В моей голове проносились неясные мысли о странной и таинственной судьбе моего друга, об этой женщине, которая то ли была его матерью, то ли нет. Рультабийль был тогда так юн, так нуждался в матери, что вполне мог в своем воображении... Рультабийль! Под каким еще именем мы его знали? Жозеф

Жозефен — под этим именем он делал здесь свои первые шаги как школьник. Жозеф Жозефен — в свое время главный редактор «Эпок» сказал: «Это не имя!» А зачем он пришел сюда сейчас? Найти следы аромата? Оживить воспоминания? Иллюзию?

Легкий шум заставил меня обернуться. Рультабийль стоял; он казался вполне спокойным, лицо его прояснилось, как бывает после трудной победы над самим собой.

— Сенклер, нам пора. Пойдемте отсюда, друг мой! Пойдемте!

Он вышел из гостиной, даже не оглянувшись. Я пошел за ним. Нам удалось выйти незамеченными, и на пустынной улице я с тревогой спросил его:

— Итак, друг мой, вам удалось найти аромат Дамы в черном?

Разумеется, он прекрасно видел, что я задал этот вопрос от всего сердца, горячо желая, чтобы посещение места, где прошло его детство, хоть немного успокоило его душу.

— Да,— чрезвычайно серьезно ответил он.— Да, Сенклер, удалось.

С этими словами он протянул мне письмо дочери профессора Стейнджерсона. Ничего не понимая, я оторопело смотрел на него — ведь я же тогда ничего еще не знал. Он взял меня за руки и глядя прямо в глаза, заговорил:

— Я хочу доверить вам большую тайну, Сенклер, тайну моей жизни и, быть может, в будущем моей смерти. Чтобы ни случилось, эта тайна должна умереть вместе с нами. У Матильды Стейнджерсон был ребенок, сын, он мертв для всех, кроме вас и меня.

Я попятился, потрясенный и ошеломленный этим открытием. Рультабийль — сын Матильды Стейнджерсон! И тут новая мысль поразила меня еще сильнее: ведь тогда, тогда... Рультабийль — сын Ларсана!

Да, теперь я понял все сомнения Рультабийля. Я понял, почему недавно, узнав о том, что Ларсан жив, мой друг сказал: «Почему он не умер? Если он жив, я хотел бы умереть!»

Рультабийль, как видно, прочел эту мысль у меня на лице и сделал жест, который, по всей вероятности, должен был означать: «Вот так, Сенклер, теперь вы знаете». Мысль свою он закончил вслух:

— Но никому ни слова!

Прибыв в Париж, мы расстались, чтобы вскоре снова встретиться на вокзале. Там Рультабийль протянул мне еще одну телеграмму, пришедшую из Валанса от профессора Стейнджерсона. Текст ее гласил: «Господин Дарзак сказал у вас есть несколько дней отпуска так будем счастливы если сможете провести их нами тчк ждем вас Красных Скалах Артура Ранса который будет рад познакомить вас своей женой тчк дочь также будет рада вас видеть тчк она присоединяется моей просьбе тчк дружески ваш».

Когда же мы сели в поезд, к вагону подбежал привратник дома, где жил Рультабийль, и протянул нам третью телеграмму. Она пришла из Ментоны от Матильды. В ней было лишь два слова: «На помощи!»

Глава 4. В пути

Теперь я знаю все. Рультабийль только что рассказал мне о своем необыкновенном, полном приключений детстве, и мне стало понятно, почему он так боится, что г-жа Дарзак узнает разделяющую их тайну. Я не в силах что-либо сказать, что-либо посоветовать моему другу. Бедняга! Получив телеграмму с призывом о помощи, он поднес ее к губам и, крепко сжав мою руку, сказал: «Если я опоздаю, то отомщу за нас». Какая холодная и неистовая сила звучала в этих словах! Порой какой-нибудь слишком резкий жест выдает возбуждение моего друга, но в целом он спокоен. Это спокойствие ужасает. Какое же решение принял он в тихой гостиной, неподвижно глядя в угол, где всегда садилась Дама в черном?

...Пока поезд катится к Лиону и Рультабийль, одетый, дремлет на своем диванчике, я расскажу вам, как и почему он ребенком сбежал из коллежа в Э и что с ним произошло потом.

Рультабийль оставил коллеж как вор. Другого выражения он и подыскивать не стал, потому что был обвинен в краже. Вот как это случилось. В девять лет он обладал необычайно зрелым умом и уже умел решать самые трудные и замысловатые задачи. Учитель математики поражался его удивительной логике, цельности его умозаключений — короче, чисто философскому подходу к работе. Таблицу умножения мальчик так и не выучил и считал на пальцах. Обычно он заставлял делать вычисления своих товарищей, словно прислугу, которой поручают грубую домашнюю работу. Но до этого он указывал им ход решения задачи. Не зная даже основ классической алгебры, он придумал

собственную алгебру и с помощью странных значков, наминавших клинопись, записывал ход своих рассуждений и добирался даже до общих формул, которые понимал он один. Учитель с гордостью сравнивал его с Паскалем, который сам вывел основные геометрические теоремы Евклида. Свою способность к умозаключениям он использовал и в повседневной жизни, причем самым обычным образом: если, к примеру, кто-то из десяти его одноклассников напроказничал или наябедничал, он почти наверняка находил провинившегося, пользуясь лишь тем, что знал сам или что ему рассказали. Кроме того, он с легкостью отыскивал спрятанные или украденные предметы. Тут он обнаруживал просто невероятную изобретательность; казалось, природа, стремящаяся во всем соблюдать равновесие, вслед за его отцом — злым гением воровства создала сына — доброго гения обворованных.

Эти необычайные способности, позволившие юному Рультабийлю не раз с блеском отыскивать похищенные вещи и составившие ему высокую репутацию в коллеже, однажды оказались для него роковыми. У инспектора была украдена небольшая сумма денег, и мальчик отыскал ее настолько необъяснимым образом, что никто не поверил, что он сделал это только благодаря своему уму и проницательности. Все сочли это невозможным, и из-за несчастливого стечения обстоятельств, времени и места начали подозревать в краже самого Рультабийля. Его попытались заставить признаться в проступке, но он с таким достоинством и энергией все отрицал, что его сурово наказали; директор коллежа провел расследование, и юные приятели Жозефа Жозефена подвели своего товарища. Некоторые из них стали жаловаться, что он уже давно якобы таскает у них книги и учебные принадлежности, чем усугубили положение того, кто уже подпал под подозрение. Этот маленький мирок ставил ему в вину и то, что никто не знал, кто его родители и откуда он родом. Говоря о нем, все стали называть его не иначе как вором. Он сражался и проиграл, потому что ему не хватило сил. Он пришел в отчаяние. Хотел умереть. Директор, человек, в сущности, неплохой, был убежден, что имеет дело с порочной натурой, на которую можно подействовать, лишь объяснив всю тяжесть проступка, и не нашел ничего лучшего, как заявить мальчику, что, если тот не признается, он не сможет держать его в коллеже и тотчас же напишет женщине, которая заботится о нем, г-же Дарбель — она представилась под этим именем, — чтобы она его забрала. Мальчик ничего

не ответил и дал отвести себя в комнатуху, где его заперли. Назавтра найти его не смогли. Его и след простыл. Рультабийль рассудил так: директору он всегда доверялся, и тот был добр к нему — кстати, впоследствии из всех людей, встречавшихся ему в детстве, он отчетливо помнил лишь его, — но раз директор отнесся к нему таким образом, значит, поверил в его виновность. Стало быть, и Дама в черном поверит в то, что он вор. Но тогда уж лучше смерть! И он сбежал, перепрыгнув ночью через садовую стену. Рыдая, он понесся к каналу, последний раз подумал о Даме в черном и бросился в воду. По счастью, в приступе отчаяния бедный ребенок забыл, что умеет плавать.

Я так подробно рассказал об этом эпизоде из жизни Рультабийля только потому, что, по-моему, он помогает понять всю сложность положения, в котором теперь оказался молодой журналист. Даже еще не зная, что он — сын Ларсана, Рультабийль не мог вспоминать этот печальный эпизод, не терзая себя мыслью, что Дама в черном могла поверить в его виновность; но теперь, когда ему показалось, что он уверен — и не без оснований! — в существовании кровных уз, связывающих его с Ларсаном, какую боль он должен был испытывать! Ведь его мать, узнав о происшествии в коллеже, могла подумать, что преступные склонности отца передались сыну и, быть может... — мысль, более жестокая, чем сама смерть! — радовалась его гибели!

А его и в самом деле считали умершим. Были найдены его следы, ведущие к каналу, из воды вытащили его берет. Но как же он все-таки выжил? Самым необычным образом. Выйдя из своей купели и полный решимости покинуть страну, этот мальчишка, которого искали везде — и в канале, и в окрестностях, — придумал своеобразный способ пересечь всю Францию, не возбуждая никаких подозрений. А ведь он не читал «Украденного письма» Эдгара По, ему помог его талант. Рассуждал юный Рультабийль как обычно. Он часто слышал рассказы о мальчишках — чертенятах и сорвиголовах, которые убегали из дома в поисках приключений, прячась днем в полях и лесах и пускаясь в путь ночью; их, однако, быстро находили жандармы и отправляли назад, потому что взятые из дому припасы у них вскоре кончались и они не осмеливались просить по пути милостыню, боясь, что на них обратят внимание. Рультабийль же спал, как все, ночью, а днем шел, ни от кого не прячась. Вот только с одеждой ему пришлось слегка повозиться: он ее высушил — погода, к счастью, установилась теплая, и холод ему не докучал, — а потом сделал из нее

лохмотья. Затем, одевшись в эти отрепья, он принялся самым настоящим образом попрошайничать: грязный и оборванный, он протягивал руку и говорил прохожим, что, если он не принесет домой хоть немного денег, родители его поколотят. И его принимали за ребенка из цыганского табора, который часто кочевал где-нибудь неподалеку. К тому же в лесах как раз появилась земляника. Он собирал ее и продавал в маленьких корзиночках из листьев. Рультабийль признался мне: не терзай его мысль о том, что Дама в черном может счесть его вором, воспоминания об этом периоде жизни у него остались бы самые светлые. Находчивость и врожденная смелость помогли ему выдержать это путешествие, длившееся несколько месяцев. Куда он направлялся? В Марсель. Марсель был его целью.

В учебнике географии ему неоднократно встречались южные пейзажи, и, рассматривая их, он всякий раз вздыхал, думая, что никогда, наверное, не побывать ему в этих чудных краях. И вот, ведя кочевую жизнь, он встретил небольшой караван цыган, направлявшийся в ту же сторону, что и он: они шли в Кро, к Деве Марии, покровительнице морей, чтобы выбрать там своего нового короля. Мальчик оказал им несколько услуг, пришелся им по душе, и они, не привыкшие спрашивать у прохожих документы, больше ничем интересоваться не стали. Возможно, цыгане решили, что он, устав от плохого обращения, сбежал от каких-нибудь бродячих циркачей, и взяли его с собой. Так он достиг юга. В окрестностях Арля он расстался с цыганами и добрался наконец до Марселя. Там он нашел рай: вечное лето и... порт! Порт был источником пропитания для всех тамошних юных бездельников. Для Рультабийля он оказался просто сокровищницей. Он черпал из нее, когда ему этого хотелось и в меру своих потребностей, которые не были чрезмерны. К примеру, он сделался «ловцом апельсинов». Занимаясь этим прибыльным делом, он познакомился однажды на набережной с парижским журналистом, г-ном Гастоном Леру; это знакомство так сильно повлияло впоследствии на судьбу Рультабийля, что я считаю нелишним привести здесь статью редактора «Матен», рассказывающую об этой памятной встрече.

Маленький ловец апельсинов

Когда косые лучи солнца, пронзив грозовые тучи, осветили одежды Богоматери Спасительницы на водах, я спустился к набережной. В ее влажных еще плитах можно

было увидеть свое отражение. Матросы и грузчики сновали у привезенных с Севера деревянных брусьев, тащили перекинутые через блоки тросы. Резкий ветер, проскальзывая между башней Сен-Жан и фортом Сен-Никола, грубо ласкал дрожащие воды Старого порта. Стоя бок о бок, борт к борту, лодки словно протягивали друг другу свои гики со свернутыми латинскими парусами и танцевали в такт волнам. Рядом с ними, устав дни и ночи качаться на неведомых морях, отдыхали большие грузные суда, вздымая к небу свои длинные застывшие мачты. Мой взгляд сквозь лес стенок и рей скользнул к башне, которая двадцать пять веков назад видела, как дети античной Фокеи, приплывшие по водным путям из Ионии, бросили здесь якорь. Переведя взгляд на плиты набережной, я увидел маленького ловца апельсинов.

Он гордо стоял, одетый в обрывки куртки, доходившей ему до пят, босой, без шапки, светловолосый и черноглазый; на вид я дал бы ему лет девять. На перекинутой через плечо веревке у него висел полотняный мешок. Правую руку он упер в бок, в левой держал палку, которая была длиннее его самого раза в три и заканчивалась небольшим пробковым кольцом. Ребенок стоял неподвижно и задумчиво. Я спросил, что он тут делает. Он ответил, что ловит апельсины.

Мальчик, казалось, весьма гордился своей профессией и даже не попросил у меня монетку, как это обычно делают маленькие портовые оборванцы. Я снова заговорил с ним, но на этот раз он не ответил, внимательно вглядываясь в воду. Мы стояли между кормой судна «Фидес», пришедшего из Кастелламаре, и бушпритом трехмачтовой шхуны, вернувшейся из Генуи. Чуть дальше стояли две тартаны, прибывшие в это утро с Балеарских островов и доверху нагруженные апельсинами, которые то и дело падали в воду. Апельсины плавали повсюду; легкая зыбь относила их в нашу сторону. Мой ловец прыгнул в шлюпку, встал на носу и, взяв наизготовку свой шест, замер. Когда апельсины приблизились, начался лов. Он подцепил один апельсин, другой, третий, четвертый, и все они исчезли у него в мешке. Поймав пятый, он выскочил на набережную и принялся чистить от кожуры золотистый шар. Затем жадно вонзил зубы в мякоть.

— Приятного аппетита,— пожелал я.

— Сударь,— ответил перепачканный желтым соком мальчик,— я очень люблю фрукты.

— Ладно, сейчас тебе повезло. А что ты делаешь, когда

нет апельсинов? — поинтересовался я.

— Тогда я подбираю уголь, — сказал он и, запустив в мешок ручонку, достал огромный кусок угля.

Сок апельсина попал на его потрепанную куртку. Уморительный малыш вытащил из кармана носовой платок и тщательно вытер свои лохмотья. Затем с гордостью засунул платок обратно в карман.

— Чем занимается твой отец? — спросил я.

— Он бедняк.

— Да, но чем он занимается?

Ловец апельсинов пожал плечами.

— Ничем, потому что бедняк.

Мои расспросы о родственниках пришлись ему явно не по душе.

Он направился вдоль набережной, я пошел следом; через некоторое время мы оказались у маленькой заводи, где стояли небольшие прогулочные яхты, сверкавшие полированным красным деревом, — суденышки с безупречной наружностью. Мой парнишка рассматривал их взглядом знатока и получал от этого явное удовольствие. К берегу причалила прелестная яхточка. Надутый треугольный парус светился белизной в лучах солнца.

— Тряпка ничего себе! — одобрил мальчишка.

Поднимаясь на набережную, он нечаянно ступил в лужу и забрызгал всю куртку, которая, похоже, заботила его более всего. Что за несчастье! Он чуть не расплакался. В мгновение ока достав свой платок, он начал тереть, потом умоляюще взглянул на меня и спросил:

— Сударь, я сзади не грязный?

Пришлось дать честное слово, что нет. Тогда он опять спрятал платок в карман.

В нескольких шагах от этого места, на тротуаре, тянущемся вдоль желтых, красных и голубых старых домов, окна которых пестры от сохнувшей в них одежды, стоят столики торговки мидиями. На каждом столике лежат моллюски, ржавый нож и стоит бутылочка с уксусом.

Подойдя к столикам и соблазнившись свежими мидиями, я предложил ловцу апельсинов:

— Хоть ты и любишь только фрукты, могу предложить тебе дюжину мидий.

Его черные глазки загорелись, и мы принялись за моллюсков. Торговка открывала их нам, а мы пробовали. Она хотела было предложить нам уксусу, но мой спутник остановил ее повелительным жестом. Открыв свой мешок, он пошарил в нем и с торжественным видом извлек лимон,

который, полежав в соседстве с куском угля, стал несколько черноват. Уже в который раз мальчик достал свой платок и вытер лимон, после чего протянул мне половину, однако я, поблагодарив, отказался, так как люблю есть мидии без ничего.

После завтрака мы вернулись на набережную. Ловец апельсинов попросил у меня сигарету и прикурил от спички, выуженной из другого кармана.

И вот, с сигаретой в зубах, попыхивая ею, точно взрослый, малыш устроился прямо на плитах набережной и, устремив взгляд на храм Богоматери Спасительницы на водах, принял позу уличного мальчишки, которым так славен Брюссель¹. При этом он остался, как прежде, невозмутимым, гордым и как бы заполнял собой весь порт.

Гастон Леру

Через день Жозеф Жозефен снова встретил в порту г-на Гастона Леру, который принес ему газету. Мальчишка прочел статью, и журналист дал ему монету в сто су. Рультабийль взял ее без всякого смущения, даже нашел этот подарок вполне естественным. «Я беру у вас деньги как ваш сотрудник», — объяснил он Гастону Леру. На эти сто су он купил прекрасный ящик чистильщика обуви со всеми принадлежностями и выбрал себе постоянное место перед Брегайоном. В течение двух лет он чистил обувь у всех, кто приходил сюда отведать традиционного буйабеса. В перерывах он усаживался на ящик и читал. Вместе с чувством собственника, которое появилось у него, когда он купил ящик, к нему пришло и честолюбие. Он получил слишком хорошее начальное образование, чтобы не понимать, что, если он сам не закончит того, что начато другими, он лишит себя возможности достичь положения в обществе.

Клиенты в конце концов заинтересовались маленьким чистильщиком, у которого на рабочем ящике всегда лежало несколько книг по истории или математике, и некий судовладелец так его полюбил, что взял прислуживать к себе в контору.

Вскоре Рультабийля повысили до клерка, и ему удалось скопить немного денег. В шестнадцать лет с небольшой суммой в кармане он сел в парижский поезд. Что он намеревался делать в столице? Искать Даму в черном. Каждый день он вспоминал о таинственной посетительнице из

¹ Имеется в виду знаменитая брюссельская статуя писающего мальчика.

гостиной и, хотя она никогда не говорила, что живет в столице, был убежден, что ни один другой город не достоин дамы с такими дивными духами. И потом, его соученики, завидев изящный силуэт, когда она проскальзывала в гостиную, всегда говорили: «Смотри-ка! Парижанка приехала!» Зачем она была ему нужна, Рультабийль и сам толком не знал. Быть может, он хотел лишь увидеть Даму в черном, издали посмотреть на нее, как смотрит богомolec на проносимое мимо него изображение святого? Подошел бы он к ней или нет? Неужели же ужасная история с кражей, важность которой в воображении Рультабийля все время росла, навсегда стала между ними непреодолимой преградой? Возможно, однако он все равно мечтал увидеть незнакомку — в этом-то он был уверен.

Оказавшись в столице, он сразу же отыскал г-на Гастона Леру, напомнил о себе, а потом заявил, что, не имея склонности к какой-либо определенной профессии — а это при его трудолюбивой натуре весьма досадно, — он решил стать журналистом, и с места в карьер попросил места репортера. Гастон Леру попытался отговорить его от столь рискованной затеи, но тщетно. Наконец, утомившись, он предложил: — Мой юный друг, раз вам нечего делать, попробуйте отыскать «левую ступню с улицы Оберкампф».

С этими странными словами он ушел, а бедняга Рультабийль решил, что пройдоха-журналист подшутил над ним. Однако, купив газеты, он прочел, что «Эпок» обещает хорошее вознаграждение тому, кто принесет в редакцию конечность, отсутствовавшую у расчлененного трупа женщины с улицы Оберкампф. Остальное нам известно.

В «Тайне Желтой комнаты» я рассказал о роли Рультабийля в этом деле, о том, как проявилась его необыкновенная способность, которой ему, вероятно, суждено пользоваться всю жизнь, — способность начинать рассуждать тогда, когда остальные рассуждать уже закончили.

Я рассказал, как волею случая он попал на вечер в Елисейском дворце, как вдруг почувствовал запах духов Дамы в черном. Этот аромат исходил от м-ль Стейнджерсон. Что тут еще добавить? О захлестнувших Рультабийля чувствах, связанных с этими духами, — во время событий в Гландье и в особенности после его путешествия в Америку? Их нетрудно угадать. Как после этого не понять и все его колебания, и внезапные перемены настроения? Привезенная им из Цинциннати весть о существовании ребенка у той, что была женой Жана Руссея, достаточно говорила сама за себя, и ему в голову пришла мысль о том, что ребенок этот — он,

однако полной уверенности у него не было. Но его так тянуло к дочери профессора, что порой ему стоило огромных усилий не броситься ей на шею, не обнять ее, воскликнув: «Ты — моя мать!» И Рультабийль убежал — как убежал и на этот раз из ризницы, чтобы в минуту печали не выдать этот секрет, сжигавший его на протяжении многих лет. Да он и в самом деле боялся: а вдруг она его отвергнет? В ужасе убежит от него — воришки из коллежа в Э, сына Русселя — Балмейера, продолжателя преступлений Ларсана? Вдруг он никогда более ее не увидит, не будет жить с нею рядом, не сможет вдыхать ее дивные духи — духи Дама в черном? Эта страшная картина всякий раз заставляла его подавить первый порыв — спросить при встрече: «Это ты? Дама в черном — это ты?» Что же до нее, то она сразу его полюбила, но, скорее всего, за то, что он сделал в Гландье. Если это и в самом деле она, то должна считать, что он мертв! А если нет, если какое-то роковое стечение обстоятельств обмануло его инстинкт и рассудок, если это не она... Разве мог он решиться на опрометчивый шаг и рассказать ей, что сбежал из коллежа в Э из-за подозрения в краже? Нет, только не это. Она часто у него спрашивала: «Где вы воспитывались, мой друг? Где вы начинали ученье?» И он отвечал: «В Бордо», хотя с таким же успехом мог назвать и Пекин.

И все же он не мог долее выносить эту муку. Если это она — что ж, он найдет, что сказать, и заставит дрогнуть ее сердце.

Однако лучше все же обойтись без ее объятий, порой рассуждал он. Но ему нужно было знать точно, пусть даже вопреки рассудку, что перед ним — Дама в черном; так собака по запаху точно определяет своего хозяина. Эта скверная риторическая фигура, вполне естественно родившаяся в мозгу у Рультабийля, привела его к мысли «снова взять след». Так мы очутились в Трепоре и в Э. Должен сказать, что эта поездка не принесла бы решающих результатов, тем более с точки зрения человека постороннего, вроде меня, который не находился под влиянием воспоминаний об аромате духов Дама в черном, если бы переданное мною в поезде письмо Матильды не подарило Рультабийлю уверенность, которую мы так искали. Я этого письма не читал. В глазах моего друга оно настолько свято, что его не увидит никто и никогда, однако я знаю, что дочь профессора упрекала его в письме за дикость и отсутствие доверия, упрекала мягко, но с такой болью, что ошибиться Рультабийль не мог, даже если бы в письме не было последней фразы, выдававшей все ее материнское отчаяние. Смысл

этой фразы сводился к тому, что интерес Матильды к Рультабийлю вызван не столько оказанными им услугами, сколько воспоминаниями о мальчике, сыне одной из ее подруг, которого она очень любила и который в девятилетнем возрасте покончил с собой, показав себя маленьким мужчиной. Рультабийль сильно напоминал ей этого мальчика.

Глава 5. Смятение

Дижон, Макон, Лион... Конечно, он не спит на своей верхней полке. Я тихонько позвал его, он не ответил, но могу дать голову на отсечение, что не спит! О чем он думает? И как спокоен! Что же его так успокоило? Я еще не забыл, как в гостиной он вдруг встал и сказал: «Пошли!» — да так решительно и уверенно... Пошли — к кому? Куда он решил идти? Очевидно, к ней — ведь она в опасности, и никто, кроме него, спасти ее не может, к ней — ведь она его мать, хоть и сама об этом не знает!

«Эта тайна должна остаться между нами, ребенок мертв для всех, кроме вас и меня!»

Он внезапно решил ничего ей не говорить. А ведь бедняга хотел убедиться в своей правоте, чтобы иметь право все ей рассказать. Узнав, он тут же заставил себя забыть, обрек себя на молчание. Юная душа — большая и героическая: он понял, что Дама в черном, нуждающаяся в его защите, не захочет, чтобы ее спасение было куплено ценою борьбы сына против отца. К чему могла привести эта борьба? К какой кровавой развязке? Нужно все предусмотреть и заранее развязать себе руки, чтобы защищать Даму в черном — не так ли, Рультабийль?

Он лежит так тихо, что я даже не слышу его дыхания. Встаю, смотрю на него — лежит с открытыми глазами.

— Знаете, о чем я думаю? — спрашивает он. — О телеграммах — той, что пришла из Бура и подписана Дарзаком, и той, что пришла из Валанса и подписана Стейнджерсоном. Так вот, все это мне кажется весьма странным. В Буре с четою Дарзак господина Стейнджерсона быть не должно — он ведь расстался с ними в Дижоне. К тому же в телеграмме ясно сказано: «Собираемся встретиться с господином Стейнджерсоном». А из телеграммы господина Стейнджерсона явствует, что он, хотя должен был ехать до Марселя, снова оказался вместе с Дарзаками. Значит, они встретились с ним где-то по пути в Марсель, но тогда следует предположить, что профессор задержался в дороге. Почему? Делать этого он не собирался. На вокзале он сказал:

«Я буду в Ментоне завтра в десять утра». Посмотрите-ка, в котором часу отправлена телеграмма из Валанса, а потом глянем по расписанию, когда господин Стейнджерсон должен был проезжать Валанс — если, конечно, ничто не задержало его в пути.

Мы справились по расписанию. Г-н Стейнджерсон должен был прибыть в Валанс в 0.44, а на телеграмме стояло 0.47, то есть послал ее он, проезжая Валанс. В это время с ним уже должны были ехать г-н и г-жа Дарзак. С помощью расписания нам удалось объяснить загадку их встречи. Г-н Стейнджерсон расстался с ними в Дижоне, куда все они прибыли в 6.23 вечера. Затем профессор сел в поезд, который отправлялся из Дижона в 7.08, проходил Лион в 10.04 и прибывал в Валанс в 0.44. Тем временем Дарзаки, выехав из Дижона в 7.00, продолжали путь на Модан и, проехав Сент-Амур, прибыли в Бур в 9.03 вечера. Этот поезд выходит из Бура в 9.08. Г-н Дарзак отправил телеграмму из Бура в 9.28, стало быть, супруги остались в Буре, а их поезд ушел. Правда, их поезд мог и опоздать. В любом случае нам нужно было выяснить причину, из-за которой г-н Дарзак послал телеграмму, находясь где-то между Дижоном и Буром, уже после отъезда г-на Стейнджерсона. Точнее, это произошло между Луаном и Буром: этот поезд останавливается в Луане, и, если происшествие случилось до Луана, куда они прибыли в 8.00, вполне возможно, что г-н Дарзак телеграфировал именно оттуда.

Посмотрев далее поезда Бур—Лион, мы установили, что г-н Дарзак отправил телеграмму из Бура за минуту до отхода на Лион поезда 9.29. Этот поезд прибывает в Лион в 10.33, а поезд г-на Стейнджерсона — в 10.34. Таким образом, пробыв какое-то время в Буре, г-н и г-жа Дарзак могли, даже должны были встретиться с г-ном Стейнджерсоном в Лионе, куда приехали за минуту до него. Но что заставило их так отклониться от намеченного маршрута? Все наши предположения были невеселыми и основывались, увы, на том, что Ларсан появился вновь. Ясно было только одно: ни один из наших друзей не хотел никого пугать; г-н Дарзак со своей стороны, а г-жа Дарзак со своей сделали все возможное, чтобы положение не выглядело напряженным. Что же до г-на Стейнджерсона, то мы не были уверены, что он вообще в курсе происходящего.

Приблизительно разобравшись в положении дел, Рультабийль предложил мне воспользоваться удобствами, которые Международная компания спальных вагонов предоставила в распоряжение путешественников, любящих комфорт

больше, чем путешествия, и сам первый подал пример, занявшись своим ночным туалетом столь тщательно, словно находился в номере гостиницы. Через четверть часа он уже храпел, но я в его храп не поверил ни на йоту. Во всяком случае, сам я не спал. В Авиньоне Рультабийль выскочил из постели, надел брюки и куртку и бросился на перрон выпить чашку горячего шоколада. Я не был голоден. Дорога от Авиньона до Марселя прошла в напряженном молчании; когда же показался город, в котором Рультабийль вел в свое время столь романтическое существование, он, чтобы хоть как-то приглушить растущую в нас обоих тревогу — ведь час, когда мы должны были все узнать, приближался, — припомнил несколько древних анекдотов, которые рассказывал, даже не пытаясь изображать удовольствие. Я не слышал ничего из того, что он рассказывал. И вот наконец мы прибыли в Тулон.

Что за путешествие! Каким приятным оно бы могло быть! Приезжая сюда, я всякий раз с новым восторгом смотрю на этот чудный город, на это лазурное побережье, возникающее на заре, словно райский уголок, — особенно после отъезда из ужасного Парижа с его снегом, дождем, грязью, сыростью, тьмой, мерзостью! С какой радостью я ступил вечером на перрон — ведь я знал, что наутро у конца этих рельсов меня встретит мой блистательный друг — солнце!

Когда мы выехали из Тулона, наше нетерпение стало невыносимым. Мы ничуть не удивились, увидев на платформе в Кане разыскивавшего нас г-на Дарзака. По всей вероятности, он получил телеграмму, посланную Рультабийлем из Дижона, где мы сообщали, что направляемся в Ментону. Он, должно быть, прибыл накануне в десять утра в Ментону вместе с женой и тестем и в то же утро выехал назад, в Кан, поскольку, по нашему мнению, у него были для нас конфиденциальные сведения. Выглядел он мрачным и расстроенным. Увидев его, мы испугались.

— Несчастье? — спросил Рультабийль.

— Пока нет, — ответил Дарзак.

— Хвала господу! — воскликнул Рультабийль. — Мы успели вовремя.

— Спасибо, что приехали, — просто проговорил г-н Дарзак.

Он молча пожал нам руки и, приведя в свое купе, запер дверь и задернул занавески. Когда мы пришли в себя и поезд тронулся, г-н Дарзак наконец заговорил. Волновался он так, что голос его дрожал.

— Так вот, он жив! — были его первые слова.

— Так мы и предполагали, — прервал Рультабийль. — Но вы уверены?

— Я видел его, как сейчас вижу вас.

— А госпожа Дарзак тоже его видела?

— Увы! Но нужно попытаться сделать так, чтобы она поверила, что заблуждается. Я совсем не хочу сказать, что у бедняжки вновь помутился рассудок. Ах, друзья мои, нас преследует рок! Зачем вернулся этот человек? Что еще ему от нас надо?

Я взглянул на Рультабийля. Он выглядел даже мрачнее г-на Дарзака. Удар, которого он опасался, нанесен. Журналист неподвижно сидел в своем углу. Мы все помолчали, затем г-н Дарзак продолжил:

— Послушайте, необходимо, чтобы этот человек исчез. Обязательно! Надо с ним встретиться, спросить, чего он хочет, и дать ему столько денег, сколько он попросит. Иначе я его убью. Это же просто! Думаю, это-то и есть самое простое. Вы так не считаете?

Мы ничего не ответили. Положение у Дарзака было незавидное. С заметным усилием овладев собой, Рультабийль попросил его постараться взять себя в руки и рассказать по порядку все, что произошло после отъезда из Парижа.

Г-н Дарзак сообщил, что все, как мы и предполагали, произошло в Буре. Нужно вам сказать, что в поезде они с женой занимали два купе, между которыми находилась туалетная комната. В одно купе положили саквояж и дорожный несессер г-жи Дарзак, в другое — мелкие вещи. В этом втором купе супруги и профессор Стейнджерсон ехали до Дижона. Там все трое вышли из вагона и пообедали в вокзальном буфете. Время у них было: прибыли они в 6.26, г-н Стейнджерсон уезжал в 8.08, а чета Дарзаков — в семь ровно.

После обеда профессор распрощался с дочерью и зятем на перроне. Супруги вошли в купе (с мелкими вещами) и, сидя у окна, беседовали с профессором до отхода поезда. Поезд тронулся, и профессор остался стоять на перроне, маша на прощание рукой. В пути от Дижона до Бурга ни г-н, ни г-жа Дарзак не входили в соседнее купе, где лежал саквояж молодой женщины. Выходящая в коридор дверь этого купе была притворена еще в Париже, после того как туда внесли вещи. Но ее не заперли ни проводник — на ключ, снаружи, ни молодые супруги — изнутри на задвижку. Г-жа Дарзак лишь аккуратно задернула занавеску на двери купе, так что из коридора не было видно, что происходит внутри.

Занавеска же на двери купе, где сидели Дарзаки, задернута не была. Рультабийль установил все это, подробно расспросив г-на Дарзака; я в расспросах участия не принимал и рассказываю о том, что выяснилось в процессе беседы, чтобы дать точное представление, где и как путешествовала молодая чета до Бура, а г-н Стейнджерсон — до Дижона.

Прибыв в Бур, путешественники узнали, что их поезд простоит полтора часа из-за аварии, случившейся на Кюлозском направлении. Поэтому они вышли из вагона немного прогуляться. Во время разговора с женой г-н Дарзак вспомнил, что перед отъездом не успел написать несколько срочных писем. Супруги зашли в буфет, и г-н Дарзак попросил письменные принадлежности. Матильда сначала сидела подле мужа, а потом сказала, что, пока он пишет, она пройдет по привокзальной площади. «Ладно,— ответил г-н Дарзак.— Я закончу и приду к вам».

Теперь передаю слово г-ну Дарзаку:

— Только я закончил писать и встал, собираясь идти к Матильде, как она в страшном возбуждении влетела в буфет. Увидев меня, она бросилась мне на грудь, повторяя: «О господи! О господи!» Больше она ничего не могла сказать и только вся дрожала. Я принялся ее успокаивать, повторяя, что я с ней, а затем осторожно, мягко спросил, что ее так страшно напугало. Усадив ее, потому что она едва держалась на ногах, я предложил ей чего-нибудь выпить, но Матильда, стуча зубами, ответила, что не сможет выпить и глотка воды. Наконец она обрела речь и начала рассказывать, запинаясь чуть ли не на каждой фразе и со страхом оглядываясь вокруг. Она, как и собиралась, вышла прогуляться у вокзала, но далеко уходить побоялась, полагая, что я скоро кончу свои письма. Затем вернулась на вокзал и пошла вдоль перрона. Подходя к буфету, она взглянула в освещенные окна соседнего вагона и увидела, что проводники застилают там постели. Тут ей пришло на ум, что сумочка, в которую она положила свои драгоценности, открыта, и решила тотчас пойти и закрыть ее — не потому, что она ставила под сомнение честность этих почтенных служащих, а просто из осторожности, вполне объяснимой в дороге. Поднявшись в вагон и войдя в коридор, Матильда остановилась у двери того из наших купе, в которое после отъезда мы не заглядывали. Открыв дверь, она громко вскрикнула. Этого крика никто не слышал, потому что из вагона все вышли и к тому же в этот миг мимо проходил поезд, наполнивший шумом весь вокзал. Что же произошло? Нечто неслыханное, жуткое, чудовищное! Дверь, ведущая из купе в туалетную комнату,

была приоткрыта, и входящий в купе человек мог видеть висящее на ней зеркало. Так вот, в этом зеркале Матильда увидела лицо Ларсана! С криком о помощи она бросилась вон из вагона и, в спешке выпрыгнув на перрон, упала на оба колена. А поднявшись, добежала до буфета — я уже говорил, в каком состоянии. Когда она все это мне рассказала, первой моею заботой было не поверить: во-первых, потому что я не хотел верить в этот ужас, во-вторых, потому что я обязан не дать Матильде снова сойти с ума и, значит, должен был притворяться, что не поверил. Разве Ларсан не умер, да еще при таких обстоятельствах? Я и в самом деле в это верил и считал все происшествие лишь игрой отражения и воображения. Конечно, я хотел убедиться во всем этом сам и предложил немедленно пойти с нею в ее купе и доказать, что она стала жертвой чего-то вроде галлюцинации. Матильда запротестовала, крича, что ни она, ни я больше в это купе не вернемся и вообще этой ночью она ехать отказывается. Она говорила отрывистыми фразами, задыхалась — мне было очень за нее больно. Чем больше я настаивал, что Ларсан не мог появиться снова, тем упорнее она утверждала, что все это правда. Потом я стал ее убеждать: во время событий в Гландье она видела Ларсана так мало, что не могла запомнить его лицо настолько хорошо, чтобы быть уверенной, что это не было отражение лица какого-то человека, лишь похожего на него. Она отвечала, что прекрасно помнит лицо Ларсана: она видела его дважды при таких обстоятельствах, что не забудет его и через сто лет! В первый раз в таинственном коридоре, а во второй — у себя в комнате, как раз когда меня пришли арестовывать. И кроме того, теперь, когда она знает, кто такой Ларсан, в отражении в зеркале она увидела не только черты знакомого ей полицейского, но и опасного человека, преследовавшего ее столько лет. Матильда клялась своей и моей жизнью, что видела Балмейера, что Балмейер жив, что это было его отражение — очень гладко выбритое лицо Ларсана, высокий лоб с залысинами. Это он! Она вцепилась в меня, словно опасалась разлуки более страшной, чем прежние. Потом она потащила меня на перрон и вдруг, закрыв глаза рукой, бросилась к помещению начальника вокзала. Тот, увидев, в каком состоянии бедняжка, испугался не меньше моего. «Так она снова потеряет рассудок», — сказал я себе. Начальнику вокзала я объяснил: моя жена испугалась, находясь одна в своем купе, и я прошу его за ней присмотреть, пока я схожу туда и попытаюсь выяснить, что же ее так напугало. И вот, друзья мои, я вышел из кабинета начальника и тут же отпря-

нул назад, поспешно закрыв за собою дверь. Выражение лица у меня было такое, что начальник вокзала посмотрел на меня с любопытством. Но ведь только что я сам увидел Ларсана! Нет, нет, моей жене ничего не почудилось — Ларсан был тут, на вокзале, на перроне, перед этой самой дверью.

Тут Робер Дарзак умолк, словно воспоминание об увиденном лишило его сил говорить. Потом, проведя рукою по лбу, вздохнул и продолжал:

— Перед дверью начальника вокзала светил газовый фонарь, и вот под этим фонарем я и увидел Ларсана. Очевидно, он ждал нас, подстерегал... И — удивительное дело! — не прятался! Напротив, казалось, он стоит там, чтобы его заметили. Совершенно машинально я захлопнул дверь. Когда я открыл ее снова, полный решимости подойти к нему, он уже исчез. Начальник вокзала, видимо, подумал, что имеет дело с двумя душевнобольными. Матильда молча смотрела на меня, ее глаза были широко раскрыты, словно у сомнамбулы. Через несколько секунд она пришла в себя и осведомилась, далеко ли от Бура до Лиона и когда отходит следующий поезд в этом направлении. Затем она попросила меня распорядиться насчет нашего багажа и стала умолять как можно скорее догнать ее отца. Я не видел другого средства ее успокоить и без возражений сразу же уступил. К тому же теперь, когда я увидел Ларсана своими, да, да, своими глазами, мне стало ясно, что наше путешествие невозможно, и признаюсь, мой друг, — добавил Дарзак, повернувшись к Рультабийлю, — я подумал, что теперь нам действительно угрожает опасность, опасность таинственная и небывалая, от которой вы один можете нас спасти, если, конечно, еще не поздно. Матильда была мне благодарна за то, что я так безропотно принял все меры, чтобы поскорее нагнать ее отца, и начала горячо меня благодарить, узнав, что через несколько минут — а все эти события заняли не более четверти часа — мы можем сесть в поезд 9.29, прибывающий в Лион около десяти. Справившись по расписанию, мы выяснили, что таким образом нагоним господина Стейнджерсона в Лионе. Матильда благодарила меня так, будто я и в самом деле был виновником столь счастливого стечения обстоятельств. Когда к перрону подали наш поезд, она немного успокоилась; мы поспешили к своему вагону, однако, проходя мимо фонаря, под которым я видел Ларсана, я почувствовал, что она снова теряет силы, и оглянулся, однако ничего подозрительного не заметил. Я спросил, не увидела ли она чего-нибудь, но Матильда не ответила. Тем временем ее беспокойство росло, и она принялась

меня умолять, чтобы мы не занимали отдельное купе, а сели туда, где уже были другие пассажиры. Я сделал вид, что хочу присмотреть за багажом, и, ненадолго оставив ее среди этих людей, побежал отправить вам телеграмму, которую вы и получили. Ей я не стал об этом говорить, потому что продолжал делать вид, что она стала жертвой обмана зрения, и ни за что на свете не хотел, чтобы она поверила в воскрешение Ларсана. К тому же, открыв сумочку жены, я убедился, что ее драгоценности на месте. Несколько слов, которыми мы обменялись с нею в дороге, сводились к тому, что мы не должны посвящать в нашу тайну господина Стейнджерсона — такое горе может его убить. Не стану говорить о его изумлении, когда он увидел нас на перроне Лионского вокзала. Матильда объяснила ему, что из-за серьезной аварии на Кюлозской линии мы, не сумев найти иного пути, решили его нагнать, с тем чтобы провести несколько дней у Артура Ранса с женой, которые настойчиво нас приглашали.

Тут, видимо, нужно прервать повествование г-на Дарзака и сообщить читателю, что г-н Артур Ранс, как я рассказал в «Тайне Желтой комнаты», давно и безнадежно любил м-ль Стейнджерсон. Получив окончательный отказ, он в конце концов вступил в законный брак с некой молодой американкой, ничем не напоминавшей окруженную тайной дочь прославленного профессора.

После драмы в Гландье, когда м-ль Стейнджерсон еще находилась в психиатрической клинике неподалеку от Парижа, в один прекрасный день мы узнали, что г-н Уильям Артур Ранс собирается жениться на племяннице одного старого геолога из Филадельфийской академии наук. Те, кто знал о его роковой страсти к Матильде и понимал, до какого тяжелого состояния она его довела — одно время он, человек трезвый и уравновешенный, чуть было не стал алкоголиком, — те полагали, что Ранс женится от отчаяния, и не ждали ничего хорошего от столь опрометчивого союза. Рассказывали, что это выгодное для него решение, поскольку мисс Эдит Прескотт была богата, Артур Ранс принял довольно странным манером. Об этом, однако, я расскажу в другой раз, когда у меня будет время. Тогда вы узнаете также, в результате какого стечения обстоятельств Рансы обосновались в Красных Скалах, купив прошлой осенью старинный замок-крепость на полуострове Геркулеса.

Сейчас же я вновь отдаю слово г-ну Дарзаку, рассказывающему о своем необычном путешествии.

— Объяснив все, таким образом, господину Стейнджерсону, мы с женой увидели, что профессор не понял ни слова и вместо того, чтобы радоваться встрече, выглядит весьма опечаленным. Напрасно Матильда старалась казаться веселой. Ее отец прекрасно видел: после того как мы с ним расстались, произошло что-то, что мы скрываем. Матильда сделала вид, что ничего не замечает, перевела разговор на состоявшуюся утром церемонию. Когда она упомянула о вас, мой друг, — продолжал г-н Дарзак, обращаясь к Рультабийлю, — я воспользовался возможностью и дал понять господину Стейнджерсону, что, поскольку все мы проведем какое-то время в Ментоне, а вы не знаете, как распорядиться своим отпуском, вы будете весьма довольны, если мы пригласим вас провести это время с нами. Места в Красных Скалах сколько угодно, а господин Артур Ранс и его молодая жена будут только рады сделать вам приятное. Матильда бросила на меня одобрительный взгляд и нежно пожала мне руку, и я с радостью понял, что мое предложение ее устраивает. Поэтому, приехав в Валанс, господин Стейнджерсон послал по моей просьбе телеграмму, которую вы, без сомнения, получили. Вам, разумеется, понятно, что мы не спали всю ночь. Пока ее отец отдыхал в соседнем купе, Матильда открыла мой саквояж и достала оттуда револьвер. Зарядив оружие, она сунула его в карман моего пальто и сказала: «Если на нас нападут, вы сможете нас защитить». Ах, друзья мои, какую ночь мы провели! Мы оба молчали, обманывая друг друга; закрыв глаза, мы притворялись спящими, однако свет погасить не решались. Дверь купе мы заперли на защелку — боялись, что он появится снова. При каждом шорохе в коридоре наши сердца начинали громко стучать, нам казалось, мы узнаем его шаги. Зеркало в купе Матильда завесила, страхась вновь увидеть там его лицо. Следовал ли он за нами? Удалось ли нам сбить его со следа? Сел ли он в кюлозский поезд? Могли ли мы на это надеяться? Лично я так не думал. А она, она! Ах, Матильда тихонько сидела в своем углу словно мертвая, но я чувствовал, в каком страшном отчаянии она пребывает, чувствовал, что она несчастнее меня — из-за этой беды, которая преследует ее как рок. Мне хотелось ее утешить, ободрить, но я не мог найти слов, а когда я попытался заговорить, она полным отчаяния жестом остановила меня, и я понял, что милосерднее будет молчать. И следом за нею закрыл глаза...

Так говорил г-н Дарзак, причем это вовсе не приблизительный пересказ его слов. Мы с Рультабийлем решили, что

рассказ этот настолько важен, что, приехав в Ментону, решили записать его как можно точнее. Когда текст был у нас почти готов, мы показали его г-ну Дарзаку, который сделал несколько незначительных исправлений, и вот этот рассказ перед вами.

Ночь, проведенная в поезде, ничего нового не принесла. На вокзале г-на Стейнджерсона и чету Дарзаков ждал г-н Артур Ранс, который весьма удивился, увидев новобрачных, однако узнав, что они решили провести у него вместе с г-ном Стейнджерсоном несколько дней, приняв, таким образом, его приглашение, которое до этого г-н Дарзак под разными предлогами отклонял, он обрадовался и заявил, что жена будет просто счастлива. Обрадовался он и предстоящему приезду Рультабийля. Нельзя сказать, что г-ну Рансу была безразлична та холодность, с какою даже после его женитьбы на мисс Эдит Прескотт относился к нему Робер Дарзак. Во время своей поездки в Сан-Ремо молодой профессор Сорбонны ограничился лишь кратким церемонным визитом в его замок. Когда же он возвращался во Францию, супруги Ранс, встретив его на вокзале в Ментоне — первой станции после границы, были с ним весьма милы (о возвращении Дарзака им сообщили отец и дочь Стейнджерсоны, и Артур Ранс с женой поспешили с ним повидаться). И вообще, улучшение отношений с Дарзаком от самого Артура Ранса не зависело.

Мы знаем, как появление Ларсана на вокзале в Буре расстроило все планы четы Дарзак. Это событие так их потрясло, что они отбросили свою сдержанность и осмотрительность по отношению к Рансу и решили вместе с г-ном Стейнджерсоном, который уже начал что-то подозревать, обратиться к людям, быть может, и не слишком им симпатичным, однако честным, преданным и способным их защитить. В то же время они призвали на помощь Рультабийля. Это было полное смятение. Оно охватило г-на Дарзака еще сильнее, когда в Ницце нас встретил Артур Ранс. Но перед этим произошел небольшой инцидент, о котором я должен рассказать. Как только поезд остановился в Ницце, я выскочил на перрон и побежал на почту узнать, нет ли на мое имя телеграммы. Мне выдали сложенный голубой листок, и я, не раскрывая его, бегом вернулся к Рультабийлю и г-ну Дарзаку.

— Читайте,— предложил я молодому человеку.

Рультабийль вскрыл телеграмму и прочел:

— «Бриньоль точно не покидал Парижа с шестого апреля».

Журналист взглянул на меня и фыркнул:

— Вот оно что! Это вы интересовались Бриньолем? Что вам взбрело в голову?

— В Дижоне мне пришло на ум, что в несчастье, о котором говорили полученные вами телеграммы, может быть как-то замешан Бриньоль, — ответил я, несколько задетый словами Рультабийля. — Вот я и попросил одного своего приятеля сообщить мне о действиях этого типа. Мне было любопытно знать, не уехал ли он из Парижа.

— Ну хорошо, — отозвался Рультабийль, — теперь вы знаете, что хотели узнать. Но не думаете ли вы, что за бледными чертами Бриньоля скрывается воскресший Ларсан?

— Вот еще! — неискренне вскричал я, подозревая, что Рультабийль подсмеивается надо мной. На самом же деле именно так я и думал.

— Значит, вам все никак не выбросить Бриньоля из головы? — печально осведомился г-н Дарзак. — Он человек бедный, но порядочный.

— Что-то не верится, — возразил я и забился в свой угол.

Вообще-то мне не очень везет, когда я выкладываю Рультабийлю свои соображения — он часто над ними подтрунивает. Однако на этот раз уже через несколько дней нам суждено было убедиться, что если Бриньоль и не воплощал новую ипостась Ларсана, то мерзавцем все же был. По этому поводу Рультабийль и г-н Дарзак, отдав должное моему дару предвидения, принесли мне потом свои извинения. Но не будем предвосхищать события. Об этом случае я рассказал лишь для того, чтобы показать, насколько меня преследовала мысль, что Ларсан скрывается под личиной какого-нибудь малознамого человека из нашего окружения. Черт побери! Балмейер так часто демонстрировал свой талант, я сказал бы, даже гений перевоплощения, что я был вполне прав, подозревая все и вся. Вскоре я понял — и неожиданное появление г-на Артура Ранса весьма этому способствовало, — что на этот раз Ларсан изменил тактику. Он и не думал скрываться — напротив: негодяй нагло показывался на глаза, по крайней мере некоторым из нас. Чего ему было опасаться в этой стране? Ни г-н Дарзак, ни его жена, ни, соответственно, их друзья его бы не выдали. Его настойчивость, казалось, имела своею целью разрушить счастье супругов, которые считали, что избавились от него навсегда. Однако в таком случае возникает некоторое сомнение. Что за странная месть? Ведь он отомстил бы гораздо лучше, если б появился

до свадьбы. Помешал бы ей! Да, но для этого ему нужно было появиться в Париже. А можем ли мы полагать, что опасность появления в Париже могла остановить Ларсана? Кто возьмется это утверждать?

Но давайте послушаем Артура Ранса, сидящего в нашем купе. Ничего не зная о происшествии в Буре и появлении Ларсана в поезде, он сообщил нам ужасную новость. Если мы до сих пор надеялись, что сбили Ларсана со следа на Кюлозской линии, теперь эти надежды рухнули. Артур Ранс тоже встретил Ларсана. Поэтому он и явился предупредить нас, чтобы мы могли наметить, как вести себя дальше.

— Как вам известно, мы поехали на вокзал вместе с вами,— повернувшись к Дарзаку, начал Ранс.— Проводив вас, ваша жена, господин Стейнджерсон и я, гуляя, дошли до мола в Ментоне. Господин Стейнджерсон шел под руку с госпожой Дарзак; они беседовали. Я шел справа от господина Стейнджерсона, который таким образом оказался между нами. Внезапно, когда, выходя из сада, мы остановились, чтобы пропустить трамвай, какой-то тип толкнул меня и извинился. Услышав знакомый голос, я вздрогнул и поднял голову: это был Ларсан. Этот голос я слышал в суде. Он стоял и спокойно смотрел на нас. Не знаю, как мне удалось сдержать восклицание, готовое сорваться с моих губ, как я не вскрикнул: «Ларсан!» Я тут же постарался увести поскорее господина Стейнджерсона с дочерью, которые ничего не заметили; обогнув музыкальный павильон, мы направились к стоянке экипажей. Подойдя, я снова увидел Ларсана. Никак не могу, просто не могу понять, каким образом его не заметили господин Стейнджерсон и его дочь!

— Вы в этом уверены? — с тревогой спросил Робер Дарзак.

— Совершенно! Я изобразил легкое недомогание, мы сели в экипаж, и я приказал кучеру трогать. Мы поехали, а Ларсан все стоял на тротуаре и сверлил нас своим ледяным взглядом.

— Но вы уверены, что моя жена его не заметила? — еще тревожнее повторил свой вопрос Дарзак.

— Да говорю же вам, уверен.

— Боже мой! — вмешался Рультабийль.— Если вы, господин Дарзак, думаете, что сможете долго вводить жену в заблуждение относительно появления Ларсана, то вы глубоко ошибаетесь.

— И все же к концу нашей поездки она почти при-

мирилась с мыслью, что это была галлюцинация, и на вокзале в Гараване выглядела вполне спокойной,— ответил Дарзак.

— В Гараване? — переспросил Рультабийль.— Взгляните-ка, мой дорогой господин Дарзак, какую телеграмму она мне оттуда послала.

С этими словами репортер протянул телеграмму из двух слов: «На помощь!»

Прочитав ее, Дарзак ужаснулся и, горестно покачав головой, проговорил:

— Она снова сойдет с ума.

Этого опасались мы все, и — странное дело! — этой фразой, прозвучавшей как отголосок нашего ужаса, встретила Рультабийля на перроне в Ментоне г-жа Дарзак, хотя она вместе с отцом обещала г-ну Рансу не покидать Красные Скалы до его возвращения. Причин, вынудивших его просить об этом, г-н Ранс им не объяснил (так как не успел ничего придумать), но обещал сделать это позже. Увидев на перроне Рультабийля, г-жа Дарзак бросилась к нему и, как нам показалось, лишь ценой немалого усилия над собой не заключила его в объятия. Я видел, как она вцепилась в него, словно потерпевший кораблекрушение, который вцепляется в руку, способную спасти его от гибели в пучине. Я слышал, как она шепнула: «Я чувствую, что схожу с ума!» Что же касается Рультабийля, я несколько раз видел его таким же бледным, но таким холодным — никогда.

Глава 6. Форт Геркулес

Выйдя из поезда в Гараване, путешественник в любое время года словно оказывается в саду Гесперид, чьи яблоки разожгли вождение победителя Немейского чудовища¹. Но несмотря даже на бесчисленные лимонные и апельсиновые деревья, которые, стоя вдоль дорожек, возносят в ароматный воздух над оградами свои солнечные плоды, мне не пришла бы на ум древняя легенда о сыне Юпитера и Алкмены, если бы все здесь не напоминало о его славе и путешествии на этот чудесный берег. Рассказывают, что финикийцы, привезя своих пенатов под сень этих скал, где впоследствии обосновалось семейство Гримальди², называли

¹ Имеется в виду один из подвигов Геракла.

² Генуэзские патриции.

здешнюю маленькую гавань, а также гору, мыс и полуостров на этом побережье именем Геркулеса, своего божества. Мне же, однако, кажется, что так они назывались и раньше: древние боги, уставшие от белой пыли дорог Эллады, не могли найти места для отдыха, более прекрасного, теплого и благоуханного, чем это. Они-то и были первыми туристами на Ривьере. Сад Гесперид находился именно здесь, и Геркулес приготовил это место для своих товарищей с Олимпа, убив злого стоголавого дракона, который желал один владеть всем Лазурным берегом. Поэтому мне сдается, что найденные несколько лет назад в Красных Скалах кости *Elephas antiquus*¹ принадлежали на самом деле этому дракону.

Выйдя из здания вокзала, мы молча дошли до берега, и тут нашим глазам открылся величественный силуэт укрепленного феодального замка, стоящего на полуострове Геркулеса, который из-за произведенных на итальянской границе работ уже десять лет как перестал — увы! — быть собственно полуостровом. Косые лучи солнца падали на стены древней Квадратной башни, и ее отражение в море сверкало, словно броня. Башня напоминала старого часового, который, помолодев в солнечном блеске, сторожит Гараванскую бухту, похожую на лазурный серп. По мере нашего приближения яркие отблески постепенно гасли. Светило за нашей спиной опускалось к горным хребтам; на западе с приближением вечера отроги уже закутались в свою пурпурную шаль, и, когда мы вошли в замок, он казался только зловещей, грозной тенью.

На первых ступеньках узкой лестницы, ведущей в одну из башен, мы увидели женщину с прелестным бледным лицом. Это была жена Артура Ранса — очаровательная и ослепительная Эдит. Я уверен, что Ламмермурская невеста² не была бледнее в тот день, когда молодой черноглазый иностранец спас ее от свирепого быка, однако Люси была голубоглаза и златоволоса. О Эдит! Ах, если вы хотите выглядеть романтической героиней в средневековом окружении, принцессой, далекой и туманной, страдающей и печальной, нельзя иметь такие глаза, миледи! А ваши локоны — чернее воронова крыла? Цвет этот — вовсе не ангельский. Разве вы ангел, Эдит? Разве вы и в самом деле так томны? Правда ли кротость ваших черт? Простите меня, Эдит, за все эти вопросы, однако когда я увидел вас

¹ Древнего слона (лат.).

² Роман В. Скотта, а также опера Доницетти.

впервые и был обманут нежной гармонией вашей легкой фигурки, застывшей на каменной ступени, я проследил за взглядом, брошенным вами на дочь профессора Стейнджерсона, и заметил в нем такую жесткость, которая являла странный контраст с вашими приветливыми речами и беззаботной улыбкой.

Голос этой молодой женщины безусловно очарователен, ее грация неподражаема, ее жесты гармоничны. Когда Артур Ранс нас знакомил, она отвечала весьма просто, приветливо и радушно. Мы с Рультабийлем — из вежливости, а также желая сохранить свободу передвижений — заявили, что можем жить в другом месте. С прелестной гримаской пожав плечами, она сказала, что комнаты для нас приготовлены, и заговорила о другом.

— Идемте же. Идемте. Вы еще не видели замка. Сейчас я вам все покажу. Нет, «Волчицу» покажу в другой раз — здесь это единственное печальное место. Как там мрачно, темно, холодно! Оно внушает страх — я обожаю, когда мне страшно. Ах, господин Рультабийль, вы мне станете рассказывать страшные истории, не правда ли?

С этими словами очаровательная хозяйка в белом платье проскользнула мимо нас. Двигалась она как актриса. В этом восточном саду, на фоне старой грозной башни и увитых цветами хрупких арок разрушенной часовни она была чудо как хороша. Мы пересекли просторный двор, столь обильно украшенный повсюду травами и цветами, кактусами и алоэ, кустами лавровишни, дикими розами и маргаритками, что, казалось, вечная весна нашла себе пристанище в этом замковом дворе, где когда-то собирались воины, отправляющиеся в поход. Двор, отчасти оттого, что был открыт всем ветрам, отчасти из-за человеческого небрежения превратился в прекрасный дикий сад, за которым хозяйка почти не ухаживала и даже не пыталась придать ему былой вид. Среди всей этой благоухающей зелени виднелся изящнейший образчик старинной архитектуры. Представьте себе безукоризненную арку в стиле пламенеющей готики, воздвигнутую на фундаменте романской часовни; увитые плющом и вербеной столбы устремляются из своего благоухающего укрытия вверх и завершаются на фоне лазурного неба стрельчатой аркой, которая, кажется, ни на что не опирается. Крыши у часовни уже нет, стен тоже, остался лишь этот кусочек каменного кружева, держащийся в вечернем небе чудесной прихотью равновесия...

Слева от нас возвышалась громадная и мощная башня

XII века, которую, как сказала м-с Эдит, местные крестьяне называют «Волчицей» и которую не пошатнули ни время, ни люди, ни мир, ни война, ни пушки, ни бури. Она все такая же, какой увидели ее в 1107 году грабители-сарацины, завладевшие островами Лерен, но бессильные против замка Геркулес. Такой же ее видел и Саладжери со своими генуэзскими пиратами: они захватили тогда форт и даже Квадратную башню и Старый замок, но защитники крепости взорвали куртины, связывавшие «Волчицу» с другими укреплениями, и она продержалась, пока не пришли на выручку провансальские сеньоры. Ее-то и выбрала м-с Эдит для жилья.

Но оставим осмотр замка и перейдем к людям: Артур Ранс, к примеру, смотрел в эти секунды на г-жу Дарзак. Они же с Рультабийлем, казалось, были где-то далеко. Г-н Дарзак обменивался с г-ном Стейнджерсоном ничего не значащими замечаниями. На самом деле всеми этими людьми владела одна мысль, но они молчали, а если и говорили, то обманывали самих себя. Мы подошли к потерне¹.

— А это место мы называем Садовой башней! Отсюда открывается вид на весь форт, на замок, на южный и северный берег. Смотрите! — с детской непосредственностью воскликнула Эдит и вытянула вперед руку, на которой висел шарф.— Тут у каждого камня своя история. Если будете вести себя хорошо, я расскажу.

— Как весела Эдит,— пробормотал Артур Ранс.— А вот я ничего веселого тут не вижу.

Пройдя через потерну, мы оказались в другом дворе. Перед нами высился старинный донжон². Выглядел он и в самом деле внушительно. Донжон был высокий и квадратный, поэтому его называли еще и Квадратной башней. А поскольку башня эта находилась в самой важной стратегической точке, она носила еще одно название — Угловая башня. Стены этого самого мощного из всех оборонительных сооружений замка выше и толще, чем в остальных местах. Их начинали складывать еще колонны³ Цезаря...

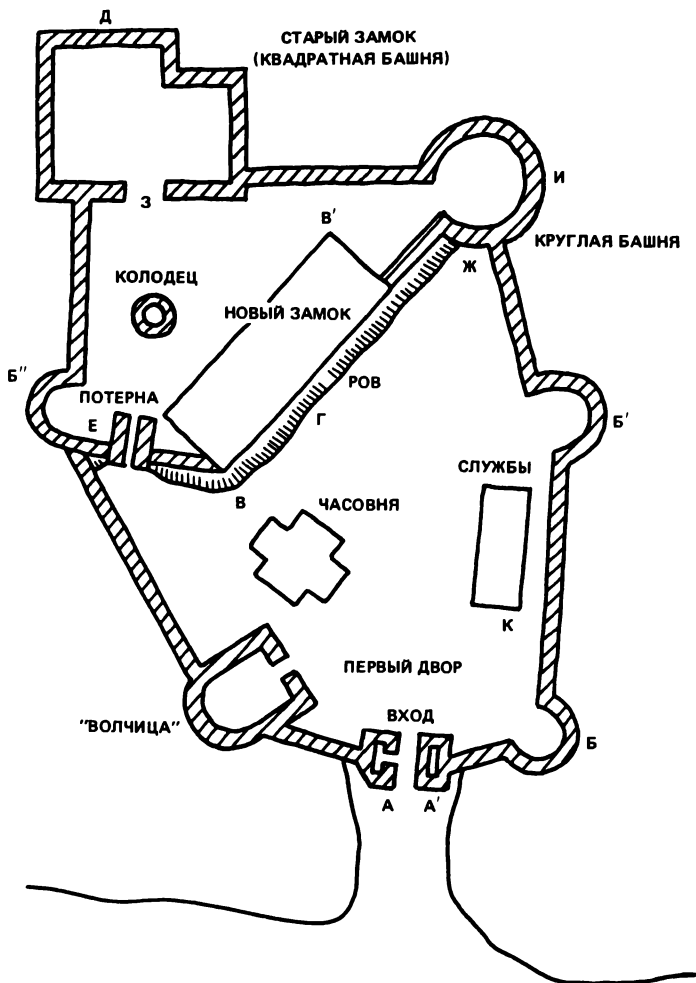
— Внизу,— продолжала Эдит,— в противоположном углу стоит башня Карла Смелого⁴; ее называют так потому,

¹ Потайной выход из укрепленного замка.

² Главная башня замка.

³ Мелкие земельные арендаторы.

⁴ Карл Смелый (1433—1477) — герцог Бургундии. Возглавил коалицию знати, поднявшую мятеж против короля Людовика XI.



что именно он приказал ее воздвигнуть, когда потребовалось укрепить замок против артиллерии. О, я ведь очень ученая!.. Старый Боб устроил в ней кабинет. Жаль — мы бы там сделали прекрасную столовую. Но Старому Бобу я ни в чем не могу отказать. Старый Боб — это мой дядюшка. Еще когда я была маленькая, он требовал, чтобы я его так называла. Сейчас его здесь нет. Дней пять назад он уехал в Париж и вернется только завтра. Поехал сравнивать древние кости, найденные им в Красных Скалах, с экспона-

тами парижского Музея естественной истории. А вот и каменный мешок!

Эдит указала на обычный колодец посреди двора, который она называла «каменным мешком» только по романтичности своей натуры. Над колодцем, словно женщина над фонтаном, стоял эвкалипт с гладким стволом и безлистыми ветвями.

Пройдя во второй двор, мы — во всяком случае я, потому что Рультабийль становился все более безразличным и ничего не видел и не слышал, — мы лучше поняли расположение форта Геркулес. Поскольку оно играло весьма важную роль в событиях, которые разыгрались почти сразу после нашего приезда в Красные Скалы, я помещаю здесь для читателей общий план форта, начерченный позднее самим Рультабийлем.

Замок был построен в 1140 году владельцами Мортолы. Чтобы совершенно изолировать его от суши, они сделали из полуострова остров, перерезав тоненький перешеек, связывавший его с берегом. На самом берегу они построили барбакан — полукруглую башню, предназначенную для защиты подступов к подъемному мосту и двух входных башен. Сейчас от барбакана не осталось и следа. Шли века, и перешеек снова появился на своем месте, подъемный мост сняли, а ров засыпали. Стены форта повторяли очертания полуострова, имевшего форму неправильного шестиугольника. Они стояли прямо на скалах, которые кое-где нависали над волнами, беспрестанно их подтачивавшими, так что в образовавшихся гротах могла укрыться небольшая лодка, если ее владелец не боялся, что прибой разобьет ее о каменный свод. Такое расположение было весьма удобным, и защитники крепости могли не опасаться штурма ни с какой стороны.

В форт можно было войти через северные ворота, которые охранялись башнями А и А', соединенными сводом. Эти башни сильно пострадали во время последних осад генуэзцев, потом были частично восстановлены и приведены в жилой вид тщанием миссис Ранс, которая поселила там прислугу. На первом этаже башни А жили привратники. Из башни А под арку выходила маленькая дверца, позволявшая наблюдать за всеми, кто входит и выходит. Обе створки массивных, окованных железом дубовых ворот давным-давно были распахнуты настежь — ими не пользовались, так как двигать их было довольно трудно, и вход в замок преграждала лишь легкая решетка, которую мог открыть каждый — будь то хозяин или поставщик

провизии. Это был единственный вход в замок, который вел в первый двор, образованный крепостными стенами, а также отчасти целыми, отчасти полуразвалившимися башнями. Крепостные стены были далеко не так высоки, как раньше. Древние куртины, когда-то соединявшие башни друг с другом, были снесены и заменены чем-то вроде вала, шедшего по периметру двора; со двора на вал вели довольно пологие пандусы. Вдоль всего вала еще сохранился парапет с бойницами для легких орудий. Эта переделка была выполнена в XV веке, когда владельцам замков уже приходилось серьезно считаться с артиллерией. Башни Б, Б' и Б'' долгое время сохранялись в первоначальном виде, но потом их островерхие крыши заменили плоскими платформами, на которые поставили пушки; позже их сравнивали по высоте с парапетом вала, в результате чего из них получилось нечто вроде демиллюнов¹. В XVII веке башни сделали ниже, чтобы они не заслоняли вид из окон другого построенного тогда же замка, называемого Новым, хотя он теперь и заброшен. Новый замок помечен на плане буквами В-В'.

На земляных площадках старых башен, также обнесенных парапетом, были посажены пальмы, которые, впрочем, росли плохо, обжигаемые ветрами и солеными морскими брызгами. Если перегнуться через полукруглый парапет, благодаря которому каждая башня как бы нависает над скалой, в свою очередь нависающей над морем, становится понятно, что замок так же неприступен, как и в те времена, когда куртины были на треть ниже старых башен. Как я уже говорил, время пощадило лишь «Волчицу», до сих пор несколько не изменившую своего вида, если не считать сторожевой башенки наверху, причудливый и старинный силуэт которой уже не вырисовывается на фоне средиземноморской лазури. О развалинах часовни я уже говорил. Бывшие службы К, примыкающие к парапету между Б и Б', теперь переделаны в конюшню и кухню.

Я описал переднюю часть форта Геркулес. Во второй двор замка можно было проникнуть только через потерну Е — миссис Ранс называла ее Садовой башней; она представляла собой, в сущности, флигель с толстыми стенами, который защищали когда-то башня Б'' и еще одна башня, расположенная в точке В и снесенная при постройке Нового замка. Между башнями Садовой и Карла Смелого тянулись

¹ То же, что рavelины, но стоящие не перед куртиной, а перед бастионом.

когда-то ров и стена, выходявшая контрфорсом в первый двор. Широкий и глубокий ров все еще существовал, стену же снесли, и ее заменила стена самого Нового замка. Посередине ее находились ворота, теперь заколоченные, и мост, ведущие во второй двор. Подъемный мост разобрали, а может, он обрушился сам, и, поскольку высокие окна замка закрывались толстыми железными решетками, можно было с уверенностью заключить, что второй двор остался таким же неприступным, каким и был в те времена, когда Нового замка еще не существовало.

Уровень земли во втором дворе — дворе Карла Смелого, как еще называли его местные старожилы, — был несколько выше, чем в первом. Скала образовывала там естественный приподнятый пьедестал для громадной черной колонны Старого замка — квадратного, прямого и монолитного, отбрасывавшего свою колоссальную тень на светлые воды моря. В Старый замок можно было войти только через маленькую дверь 3. Старожилы называли Старый замок Квадратной башней, чтобы отличать ее от Круглой или башни Карла Смелого. Между тремя башнями второго двора тянулся такой же, как в первом дворе, парапет, замыкавший таким образом второй двор.

Мы уже говорили, что когда-то Круглую башню сделали вдвое ниже и перестроили; осуществил это владелец Мортолы по плану самого Карла Смелого, которому он оказал помощь в швейцарской войне. Эта башня имела в диаметре пятнадцать туазов¹, в ее основании находился оружейный каземат, пол которого был на туаз ниже уровня скального основания. Пандус вел в восьмиугольный зал этого каземата, своды которого поддерживались четырьмя цилиндрическими колоннами. В стенах каземата были прорезаны широкие амбразуры для трех больших пушек. Именно здесь м-с Эдит хотела устроить просторную столовую, поскольку благодаря толстым стенам там всегда было прохладно, а через квадратные амбразуры с внушительными железными решетками в помещение попадало много света, отраженного от скал и сверкающей воды. У этой башни, которую занял дядюшка м-с Эдит для работы и хранения своих коллекций, была наверху прекрасная оружейная площадка; хозяйка замка приказала нанести туда хорошей земли и устроила висячий сад, прекраснее которого и вообразить нельзя. В саду стояла уединенная беседка, покрытая сухими пальмовыми листьями. На плане замка

¹ 1 туаз равняется 1,949 м.

я показал серой штриховкой все здания или части зданий, которые заботами м-с Эдит были отремонтированы, приведены в порядок и сделаны пригодными для жилья.

В Новом замке это были лишь две спальни да небольшая гостиная на втором этаже, предназначенные для гостей. Там поместили нас с Рультабийлем, а чету Дарзак поселили в Квадратной башне, о чем мы позже поговорим подробнее.

На первом этаже этой башни две комнаты занимал Старый Боб — он там ночевал. Г-н Стейнджерсон поселился на втором этаже «Волчицы», под ним помещались супруги Ранс.

М-с Эдит пожелала сама показать нам наши комнаты. Она провела нас по залам с обвалившимися потолками, вспученным паркетом и покрытыми плесенью стенами, однако то сохранившиеся куски лепнины, то трюмо, то облупившаяся картина, то потрепанный ковер говорили о былом великолепии Нового замка, рожденного в великий век фантазией владетеля Мортолы. В наших же комнатах от прежней роскоши не осталось и следа, но все дышало трогательной заботливостью. Опрятные и чистенькие, без ковров, с побеленным потолком и светлым лакированным полом, обставленные в основном современной мебелью они нам сразу понравились. Между нашими спальнями находилась небольшая гостиная.

Завязав галстук, я окликнул Рультабийля и спросил, готов ли он. Ответа не последовало. Пройдя к нему в спальню, я с удивлением обнаружил, что он уже ушел. Тогда я подошел к окну, которое, так же как у меня, выходило на двор Карла Смелого. В этом просторном дворе росли лишь высоченные эвкалипты, и до меня донесся их сильный аромат. За парапетом вала раскинулись молчаливые воды. Вечерело, море стало темно-голубым, на горизонте у итальянского берега ночные тени подползали к мысу Оспедалетти. На земле и в воздухе ни звука, ни ветерка. Такую тишину и неподвижность я встречал в природе только перед яростной бурей и грозой. Однако ничто не предвещало подобных катаклизмов, ночь явно обещала быть тихой...

Но что за тень там показалась? Откуда взялся этот скользящий по воде призрак? Какой-то рыбак медленно греб, сидя в небольшой лодке, а на ее носу стоял Ларсан! Ошибиться было невозможно, немыслимо! Узнать его не составляло труда. А чтобы никто не сомневался, что это

он, Ларсан принял вызывающе-грозную позу, которая лучше всяких слов говорила: «Да, это я!»

Да, это был он, Большой Фред! Лодка с неподвижной фигурой медленно двигалась вокруг форта. Пройдя под окнами Квадратной башни, она взяла курс на мыс Гарибальди, к каменоломням в Красных Скалах. Скрестив руки на груди и повернувшись к башне, человек стоял, словно дьявольское наваждение, пока ночь медленно и незаметно не приблизилась к нему сзади и не скрыла его под своим невесомым покровом.

Опустив глаза, я увидел во дворе, у парапета рядом с дверью в Квадратную башню две тени. Более высокая из них, казалось, удерживала другую и о чем-то ее умоляла, а та словно старалась вырваться и броситься по направлению к морю. Послышался голос г-жи Дарзак:

— Берегитесь! Он устроил вам ловушку. Я запрещаю вам покидать меня сегодня вечером.

Голос Рультабийля ответил:

— Он обязательно пристанет к берегу. Пустите меня, я сбегаю на берег.

— Что вы там станете делать?

— То, что следует.

Испуганный голос Матильды воскликнул:

— Я запрещаю вам прикасаться к этому человеку. Больше я ничего не слышал.

Спустившись вниз, я нашел Рультабийля, в одиночестве сидевшего на краю колодца. На мою попытку заговорить с ним он не ответил, как это уже случалось неоднократно. Пройдя в первый двор, я увидел г-на Дарзака, который взволнованно крикнул мне издали:

— Видели его?

— Да, видел,— ответил я.

— А вы не знаете — она его видела?

— Видела: она была вместе с Рультабийлем, когда он проплывал мимо. Какая наглость!

Робер Дарзак все еще дрожал от волнения. Он рассказал мне, что, едва завидев Ларсана, он сломя голову бросился на берег, но опоздал: когда он прибежал на мыс Гарибальди, лодка, словно по волшебству, исчезла. Сообщив все это, Робер Дарзак оставил меня и кинулся к Матильде, беспокоясь за ее состояние, но тут же вернулся, грустный и удрученный. Дверь в комнаты жены оказалась закрытой: ей захотелось побыть немного одной.

— А Рультабийль? — спросил я.

— Его я не видел.

Мы подошли к парапету, вглядываясь в ночь, которая унесла Ларсана. Робер Дарзак выглядел бесконечно опечаленным. Чтобы отвлечь его от невеселых мыслей, я завел разговор о чете Рансов, и понемногу он разговорился.

От него я узнал, что после версальского процесса Артур Ранс вернулся в Филадельфию и однажды вечером, на каком-то семейном обеде, оказался рядом с весьма романтической особой, тут же покорившей его своей любовью к литературе, которая не часто встречается у его хорошеньких соотечественниц. Особа эта совсем не походила на бодрых, развязных, независимых и дерзких, с ветерком в голове девиц, которых так часто встречаешь в наши дни. Слегка высокомерная, мягкая и грустная, с интересной бледностью на лице, она скорее напоминала нежных героинь Вальтера Скотта, кстати сказать, ее любимого писателя. Да, она безусловно отстала от века, но отстала так восхитительно! Как случилось, что это нежное создание произвело сильнейшее впечатление на Артура Ранса, столь сильно любившего величественную Матильду? Это уже относится к тайнам сердца. Несмотря на новую влюбленность, Артур Ранс ухитрился в этот вечер напиться до чертиков. Он вел себя весьма некрасиво и даже брякнул нечто настолько неподобающее, что мисс Эдит во всеуслышание попросила его больше с нею не заговаривать. На следующий день Артур Ранс публично перед ней извинился и поклялся, что ничего, кроме воды, больше в рот не возьмет; клятву свою он сдержал.

Артур Ранс уже давно знал дядю мисс Эдит, почтенного Мандера, Старого Боба, как прозвали его в университете, человека необыкновенного и известного как своими приключениями и путешествиями, так и открытиями в области геологии. Он был кроток как овца, но в то же время не имел себе равных в охоте на ягуаров в пампасах. Половину своего времени он проводил на юге Рио-Негро, в Патагонии, где искал человека третичного периода или хотя бы его скелет — не антропоида, даже не питекантропа, которые ближе к обезьяне, а настоящего человека, более сильного и могучего, чем современные обитатели нашей планеты, человека, жившего в одно время с громадными млекопитающими, появившимися на земле еще до четвертичного периода. Обычно он возвращался из своих экспедиций с несколькими ящиками камней и внушительным количеством берцовых и бедренных костей, над которыми потом жарко спорил весь ученый мир, а также с внушительной коллекцией мехов — «кроличьих шкурок», как он их называл, — которая

свидетельствовала о том, что старый ученый в очках прекрасно умел обращаться с оружием не столь древним, как кремневый топор или скребок троглодитов. Возвратясь в Филадельфию, он опять взбирался на свою кафедру, углублялся в книги и тетради и читал свой курс, буквально просяживая штаны и развлекаясь тем, что кидал в сидящих неподалеку студентов стружки от длинных карандашей, которыми никогда не пользовался, но которые постоянно чинил. Когда он попадал в цель, над кафедрой показывалась убеленная сединами голова с очками в золотой оправе на носу и рот, расплывшийся в беззвучной ликующей улыбке.

Все эти подробности сообщил мне позже сам Артур Ранс, который в свое время учился у Старого Боба, но после этого встретил его лишь через много лет, когда познакомился с мисс Эдит; я так подробно останавливаюсь на этом, поскольку через некоторое время мы, естественно, встретились с ученым в Красных Скалах.

На вечер, когда Артур Ранс был представлен мисс Эдит и повел себя не лучшим образом, девушка, быть может, и не была бы так грустна, не получи она только что неприятных известий от своего дяди. Тот уже четыре года не решался снова поехать в Патагонию. В последнем письме он писал, что очень болен и надеется перед смертью повидать племянницу. Кое-кто подумает, пожалуй, что при таких обстоятельствах любящая племянница могла бы и не пойти на вечер, пусть даже семейный, однако мисс Эдит, будучи в курсе дядюшкиных экспедиций, столько раз получала от него неприятные известия, а он столько раз все равно возвращался бог знает откуда живым и невредимым, что — не стоит судить ее слишком строго! — она и на этот раз не стала предаваться печали в одиночестве. Между тем, получив от него через три месяца новое письмо, она решила сама поехать к дядюшке, находившемуся в дебрях Араукании. За эти три месяца, правда, в ее жизни произошли важные события. Мисс Эдит тронули угрызения совести Артура Ранса, равно как и его решимость не пить больше ничего, кроме воды. Она поняла, что невоздержанность этого джентльмена явилась следствием несчастной любви, и это пришлось ей весьма по душе. Сия романтическая черта, о которой я недавно говорил, оказалась на руку Артуру Рансу, и, когда мисс Эдит уезжала в Арауканию, никто не удивился, что вместе с нею отправился и бывший ученик Старого Боба. Помолвка не была объявлена официально только потому, что влюбленные хотели получить благословение старого геолога. В Сан-Луисе мисс Эдит и Артур

Ранс встретились с великолепным дядюшкой, который был в превосходном настроении и вполне добром здравии. Давным-давно не видевший его Ранс имел дерзость сказать профессору, что тот помолодел — комплимент весьма искусный! Когда же племянница сообщила ему, что помолвлена с этим очаровательным молодым человеком, дядюшкиной радости не было предела. Они втроем вернулись в Филадельфию, где и была сыграна свадьба. Франции мисс Эдит не знала. Артур Ранс решил, что они поедут туда в свадебное путешествие. Вот так им и представилась возможность обосноваться с научной целью в окрестностях Ментоны — правда, не в самой Франции, а в сотне метров за итальянской границей, в Красных Скалах.

С первым ударом гонга перед нами возник Артур Ранс, и мы вместе отправились к «Волчице», в нижнем зале которой в тот вечер был накрыт обед. Когда собрались все, за исключением Старого Боба, отсутствовавшего в форте, м-с Эдит поинтересовалась, не заметил ли кто-нибудь человека на носу лодки, проплывавшей мимо замка. Ее поразила необычная поза этого человека. Поскольку никто не ответил, она продолжала:

— Я узнаю, кто это был,— я ведь знакома с матросом, который сидел на веслах. Это большой друг Старого Боба.

— В самом деле? Вы знаете этого моряка, сударыня? — спросил Рультабийль.

— Он несколько раз приходил в замок продавать рыбу. Местные жители дали ему странное прозвище — я не могу выговорить его на ужасном здешнем диалекте, лучше скажу вам его перевод: «Морской Палач». Милое имечко, а?

Глава 7, повествующая о мерах предосторожности, которые принял Жозеф Рультабийль для защиты форта Геркулес от вражеского нападения

Рультабийль даже из вежливости не попросил объяснить эту удивительную кличку. Он, казалось, погрузился в самые мрачные размышления. Нелепый замок, нелепый обед, нелепые люди! Томной грации м-с Эдит оказалось недостаточно, чтобы нас расшевелить. Среди нас находились две молодые супружеские четы, четверо влюбленных, которые должны были бы веселиться, источать радость жизни.

Однако обед проходил печально. Над сотрапезниками витал призрак Ларсана — даже над теми из них, кто не знал его достаточно близко.

К тому же следует заметить, что профессор Стейнджерсон, узнав жестокую и мучительную правду о дочери, никак не мог избавиться от бремени своего горя. Думаю, не будет преувеличением утверждать, что главной жертвой драмы в Гландье и самым несчастным из всех оказался профессор Стейнджерсон. Он потерял все: веру в науку, любовь к работе и — что самое ужасное — благоговейное преклонение перед дочерью. А он так в нее верил! Как гордился ею! Сколько лет приобщал ее, возвышенную и чистую, к поискам неведомого! Он был совершенно ослеплен решимостью, с какою она отказывалась отдать свою красоту кому бы то ни было, кто мог отдалить ее от отца и науки. И, с восхищением размышляя об этой жертве, он вдруг узнал, что дочь отказывалась выходить замуж, поскольку уже была г-жой Балмейер! В день, когда Матильда решила во всем признаться отцу, открыть ему свое прошлое, узнав о котором профессор, уже насторожившийся после событий в Гландье, увидел настоящее в новом, трагическом освещении, в день, когда она, упав к его ногам и обнимая его колени, поведала ему о трагической любви своей юности, — в этот день профессор Стейнджерсон дрожащими руками обнял свое дорогое дитя, покрыл поцелуями прощения ее любимую головку, рыдая вместе с дочерью, которая безумием искупила свою ошибку, и поклялся ей, что теперь, когда он узнал о ее страданиях, она стала ему еще дороже. И она удалилась, немного успокоившись. Но он стал другим — одиноким, совершенно одиноким человеком. Профессор Стейнджерсон потерял дочь, потерял свой идеал!

К ее свадьбе с Робером Дарзаком он отнесся равнодушно, хотя тот и был его любимым учеником. Напрасно Матильда старалась согреть отца своею нежностью. Она хорошо чувствовала, что он более ей не принадлежит, что он смотрит мимо нее, что его блуждающий взгляд устремлен в прошлое, на образ дочери, какою она когда-то была для него; она чувствовала, что если он и обращает теперь внимание на нее, г-жу Дарзак, то видит рядом с нею не честного человека, а вечно живую и позорную тень другого — того, кто был ее первым мужем, того, кто украл у него дочь. Профессор бросил работать. Великая тайна распада материи, обещанная им человечеству, вернулась в небытие, откуда он на мгновение ее извлек, и людям на протяже-

нии веков придется повторять глупое изречение: "Ex nihilo nihil"¹.

Мрачность обеда усугублялась еще и обстановкой, в которой он проходил: темный зал освещался лишь лампой в готическом стиле да старинными коваными канделябрами, которые висели на крепостных стенах, украшенных восточными коврами; у стен стояли древние шкафы времен первого сарацинского нашествия и осад на манер Дагобера².

Поочередно изучая сидевших за столом, я наконец понял причины всеобщего уныния. Г-н и г-жа Робер Дарзак сидели рядом. По-видимому, хозяйка дома не захотела разлучать молодоженов, лишь накануне вступивших в брак. Из них двоих самым безутешным был, без сомнения, наш друг Робер. За весь обед он не проронил ни слова. Г-жа Дарзак иногда вступала в разговор, обмениваясь ничего не значащими замечаниями с Артуром Рансом. Стоит ли добавлять, что после случайно увиденной мною из окна сцены между Рультабийлем и Матильдой я ожидал увидеть ее потрясенной, чуть ли не уничтоженной грозным зрелищем Ларсана, стоящего над водой. Но нет, напротив: я обратил внимание на разительный контраст между растерянностью, проявленной ею на вокзале, и ее теперешним хладнокровием. Казалось, увидев Ларсана, она испытала облегчение, и, когда вечером я поделился этой мыслью с Рультабийлем, молодой репортер согласился со мной и объяснил все очень просто. Матильда больше всего на свете боялась снова сойти с ума, и жестокая уверенность в том, что она не оказалась жертвой галлюцинаций воспаленного мозга, помогла ей немного успокоиться. Лучше защищаться от живого Ларсана, чем от его призрака! Во время первой встречи с Матильдой в Квадратной башне, которая произошла, пока я завершал свой туалет, моему молодому другу показалось, что ее преследует мысль о сумасшествии. Рассказывая об этой встрече, Рультабийль признался, что сумел немного успокоить Матильду, только опровергнув слова Робера Дарзака — иначе говоря, он не стал скрывать, что она действительно видела Фредерика Ларсана. Узнав, что Робер Дарзак пытался утаить от жены настоящее положение дел только из боязни ее напугать и сам первый обратился к Рультабийлю с просьбой о помощи, она вздохнула так глубоко, что вздох этот был похож на рыдание. Матильда взяла

¹ «Из ничего ничто не происходит» (лат.).

² То есть времен королей из династии Меровингов — конец VII — начало VIII в.

руки Рультабийля и внезапно принялась покрывать их поцелуями, как порою мать в порыве любви жадно целует ручонки маленького сына. Очевидно, таким образом она выразила благодарность молодому человеку, к которому ее тянуло всем своим материнским существом, за то, что он одним словом отогнал от нее безумие, нависшее над ней и порою стучавшееся в двери. В этот миг они и увидели через окно башни стоящего в лодке Ларсана. В первые секунды оба остолбенели и буквально онемели. Затем из груди Рультабийля вырвался яростный крик, молодой человек хотел тут же бежать за негодем. Матильда удерживала Рультабийля, вцепившись в него изо всех сил. Разумеется, физическое воскресение Ларсана было для нее ужасно, но гораздо менее ужасно, чем его постоянное воскресение, происходившее в ее больном мозгу. Теперь она уже не видела Ларсана повсюду — она видела его лишь там, где он был на самом деле.

Раздражительная и мягкая одновременно, терпеливая, но порою теряющая терпение Матильда, не прерывая разговора с Артуром Рансом, трогательно и нежно заботилась о г-не Дарзаке. С милой, но сдержанной улыбкой она заботливо подавала ему кушанья, следя за тем, чтобы глаза мужу не резал слишком яркий свет. Я невольно подумал, что злополучный Ларсан вовремя решил напомнить Матильде, что, прежде чем стать г-жою Дарзак, она — перед господом, а по некоторым заатлантическим законам и перед людьми — была г-жой Жан Руссель—Балмейер—Ларсан.

Если Ларсан появился, чтобы нанести сокрушительный удар счастью, прихода которого только еще ждали, то он преуспел в этом. И быть может, чтобы до конца понять положение, мы должны учесть следующее обстоятельство, делающее Матильде честь: впервые оказавшись наедине с Дарзаком в Квадратной башне, она дала ему понять, что отведенные им помещения достаточно обширны, чтобы они могли горевать в них врозь, причем сделала она это не только из-за смятения ума, вызванного появлением Ларсана, — ею двигало также чувство долга, в результате чего оба супруга пришли к весьма благородному решению. Я уже рассказывал, что Матильда Стейнджерсон получила религиозное воспитание — не от отца, который к религии был безразличен, а от женщин, и в особенности от старой тетки из Цинциннати. Занятия, начатые ею под руководством профессора, отнюдь не поколебали ее веру — в этом смысле он старался никак не влиять на дочь. Даже в самые опасные минуты — когда ее отец разрабатывал свои теории

создания пустоты или распада материи — Матильда, подобно Пастеру и Ньютону, сохраняла свою веру. Она чисто-сердечно заявляла: даже если будет доказано, что все происходит из ничего, то есть из невесомого эфира, и возвращается в это ничто и такой круговорот благодаря системе, чем-то напоминающей атомистику древних, совершается вечно, то все равно остается доказать, что это ничто, из которого происходит все, не было создано богом. И как примерная католичка она считала, что бог этот — единственный, имеющий на земле своего наместника — папу. Я, быть может, обошел бы молчанием религиозные теории Матильды, если бы и они не оказали своего влияния на решение не оставаться наедине со своим мужем — мужем перед людьми — после того, как выяснилось, что ее супруг перед богом еще жив. Когда не было сомнений в том, что Ларсан мертв, она приняла брачное благословение с согласия своего духовника как вдова. И вот оказалось, что перед богом она не вдова, а двоемужница. К тому же катастрофа не была непоправимой, и она сама подала надежду опечаленному Дарзаку: следует как можно скорее подать прошение в папскую курию, и дело будет решено как положено. Короче говоря, г-н и г-жа Дарзак через двое суток после свадьбы поселились в разных комнатах Квадратной башни. Читатель понимает, что этим и более ничем объяснялась глубокая грусть Робера Дарзака и заботливость Матильды.

Еще не зная в тот вечер наверняка, в чем дело, я тем не менее заподозрил самое главное. Когда взгляд мой скользнул с четы Дарзак на их соседа, г-на Артура Уильяма Ранса, мысли мои приняли иное направление, но тут вошел дворецкий и доложил, что привратник Бернье хочет немедленно поговорить с Рультабийлем. Молодой человек тотчас встал, извинился и вышел.

— Вот как! Значит, супруги Бернье живут не в Гландье, — заметил я.

Вы, конечно, помните, что муж и жена Бернье были привратниками у г-на Стейнджерсона в Сент-Женевьев-де-Буа. В «Тайне Желтой комнаты» я рассказывал, как Рультабийль возвратил им свободу, когда их заподозрили как соучастников нападения в павильоне, находившемся в дубовой роще. Они были чрезвычайно признательны за это молодому журналисту, и впоследствии Рультабийль не раз имел возможность убедиться в их преданности. Г-н Стейнджерсон ответил мне, что вся прислуга выехала из Гландье, поскольку он решил навсегда покинуть замок. А так как

Рансам нужны были привратники для форта Геркулес, профессор с радостью уступил им этих преданных слуг, на которых ему никогда не приходилось жаловаться, исключая разве небольшой эпизод с браконьерством, против них же и обернувшийся. Сейчас они жили в одной из башен при входе, где устроили привратницкую и наблюдали за входящими в замок и выходящими из него.

Рультабийль ничуть не удивился, когда дворецкий объявил, что Бернье хотят ему что-то сказать; я подумал, что он, видимо, уже знал об их пребывании в Красных Скалах. И вообще, я понял — впрочем, ничуть не удивившись, — что, пока я занимался туалетом и бесполезной болтовней с г-ном Дарзаком, Рультабийль времени не терял.

После ухода Рультабийля атмосфера в столовой стала напряженнее. Каждый спрашивал себя, нет ли тут связи с неожиданным возвращением Ларсана. Г-жа Робер Дарзак встревожилась. Заметив это, Артур Ранс счел за благо тоже выказать известное волнение. Здесь уместно заметить, что ни мистер Ранс, ни его жена не были в курсе бед, свалившихся на дочь профессора Стейнджерсона. С общего согласия их не стали посвящать в то, что Матильда была связана тайным браком с Жаном Русселем, ставшим впоследствии Ларсаном. Это была семейная тайна. Но они знали лучше, чем кто бы то ни было (Артур Ранс — поскольку сам участвовал в происшедшей в Гландье драме, его жена — потому что он ей рассказал), с каким упорством знаменитый сыщик преследовал будущую г-жу Дарзак. Для Артура Ранса движущей силой преступления Ларсана была его необузданная страсть, и не следует поэтому удивляться, что как человек, давно влюбленный в Матильду, американский френолог¹ и не искал поведению Ларсана других объяснений, кроме пылкой безнадежной любви. Что же касается м-с Эдит, то я вскоре понял, что причины драмы в Гландье вовсе не кажутся ей такими уж простыми, как утверждал ее муж. Если бы она думала, как он, то хотя бы в какой-то мере разделяла бы восторги мужа по отношению к Матильде, а между тем все ее поведение, за которым я незаметно наблюдал, как бы говорило: «Интересно! Что же в этой женщине такого удивительного, что она уже столько лет вселяет либо высокие, либо преступные чувства в сердца мужчин? Почему из-за нее полицейский начинает убивать, трезвенник — пьянствовать, почему из-за нее

¹ Сторонник френологии — теории о связи между формой черепа и способностями и качествами человека.

осуждают невинного? Чем она лучше меня, женившей на себе человека, который никогда в жизни мне не достался бы, не откажись она от него? Чем она лучше? Ведь даже ее молодость — и та прошла! А между тем мой муж, глядя на нее, забывает обо мне!» Вот что я прочитал в глазах у м-с Эдит, пока она наблюдала, как ее муж смотрит на Матильду. Ох уж эти черные глаза нежной и томной м-с Эдит!

Я рад, что сделал необходимые пояснения. Читателю не повредит, если он будет осведомлен о чувствах, скрывающихся в сердце каждого, кто сыграл роль в странной и небывалой драме, назревавшей тогда в форте Геркулес. Я еще ничего не сказал ни о Старом Бобе, ни о князе Галиче, но не сомневайтесь — их черед настанет. Описывая столь серьезные события, я взял себе за правило изображать предметы и людей лишь по мере их появления на сцене. Только так читатель испытает все превратности, которые испытывали мы, переходя от тревоги к спокойствию, от тайного к явному, от непонимания к пониманию. Если же свет забрезжит в мозгу у читателя раньше, чем зажегся в свое время для меня, — тем лучше. Чтобы понять суть происходящего, у читателя будут те же данные, что были у нас, и, если ему удастся сделать это раньше, он тем самым докажет, что мозг его достоин помещаться в черепе у Рультабийля.

Наш первый совместный обед мы закончили без молодого журналиста и встали из-за стола, так и не поделившись друг с другом тревогой, точившей всех нас в глубине души. Выйдя из «Волчицы», Матильда тотчас же осведомилась о Рультабийле, и я проводил ее до входа в форт. Г-н Дарзак и м-с Эдит последовали за нами. Г-н Стейнджерсон откланялся. Артур Ранс, куда-то отошедший на минутку, нагнал нас, когда мы входили под арку. Ночь была светла, на небе сияла полная луна. Под аркой, где уже горели фонари, раздавались тяжелые глухие удары. Мы услышали голос Рультабийля, подбадривавшего тех, кто был с ним: «Ну еще! Еще немного!» Затем послышалось пыхтение: казалось, матросы вытаскивают шлюпки на причал. Вдруг раздался грохот, похожий по звуку на горный обвал. Створки громадных окованных железом ворот соединились впервые за сто лет.

М-с Эдит удивилась этой манипуляции, проделанной в такой поздний час, и поинтересовалась, что стало с решеткой, которая до сих пор выполняла функцию дверей. Одна-

ко Артур Ранс схватил ее за руку, принуждая к молчанию, что, впрочем, не помешало ей пробормотать:

— Можно подумать, мы собираемся подвергнуться осаде.

Рультабийль повел всех нас в первый двор и, смеясь, сообщил, что если кто-нибудь случайно намеревается прогуляться по городу, то сегодня вечером от этой затеи придется отказаться, поскольку он велел никого не впускать и не выпускать. Стоять на страже поручено папаше Жаку, все так же посмеиваясь, продолжал он, а всем известно, что совратить с пути истинного старого слугу невозможно. Так я узнал, что папаша Жак, с которым я познакомился в Гландье, сопровождает профессора Стейнджерсона в качестве камердинера. Накануне он спал в «Волчице», в маленькой комнатке, смежной со спальней своего хозяина, однако Рультабийль все изменил, и теперь папаша Жак занял место привратника в башне А.

— А где же Бернье? — спросила заинтригованная м-с Эдит.

— Они разместились в Квадратной башне, в комнате слева от входа, и будут привратниками в этой башне, — ответил Рультабийль.

— Но в Квадратной башне не нужны привратники! — в крайнем изумлении вскричала м-с Эдит.

— Как знать, сударыня, — возразил репортер, но больше ничего объяснять не стал.

Однако, отведя в сторону Артура Ранса, он дал ему понять, что тому надлежит рассказать жене о появлении Ларсана, поскольку без помощи м-с Эдит им не удастся долго скрывать правду от г-на Стейнджерсона. Нужно, чтобы отныне в форте Геркулес все были готовы ко всему — иными словами, никто не должен позволить застать себя врасплох.

После этого мы вместе пересекли первый двор и оказались в Садовой башне. Я уже говорил, что она стояла при входе во второй двор, однако ров в этом месте давным-давно был засыпан. Когда-то здесь находился подъемный мост. К нашему изумлению, Рультабийль объявил, что завтра же он расчистит ров и восстановит подъемный мост.

После этого он с помощью слуг принялся устанавливать в потерне временную дверь, сколоченную из досок от старых сундуков, которые нашлись в башне. Забаррикадовавшись таким образом, Рультабийль мог теперь смеяться сколько угодно, но м-с Эдит, которой муж тем временем объяснил, в чем дело, от комментариев воздер-

жалась и лишь *in petto*¹ подтрунивала над гостями, превратившими ее старый замок в неприступную крепость из страха перед одним, всего одним, человеком! Но ведь м-с Эдит не знала этого человека и не прошла сквозь ужасы Желтой комнаты! Другие же — и Артур Ранс в их числе — находили вполне естественными и разумными эти меры, принятые Рультабийлем против неизвестности, против чего-то незримого и неведомого, кружившего в ночи вокруг форта Геркулес.

В Садовой башне Рультабийль на эту ночь не поместил никого, оставив этот важный пост за собой. Отсюда он мог наблюдать и за первым и за вторым двором. Это был самый важный стратегический пункт во всем замке. Добраться до Дарзаков снаружи можно было, лишь пройдя сперва мимо папаши Жака в пункте А, потом мимо Рультабийля в пункте Е и, наконец, мимо супругов Бернье, наблюдавших за дверью З в Квадратной башне. Молодой человек решил, что те, кому выпало быть часовыми, спать не будут. Проходя мимо колодца во дворе Карла Смелого, я при свете луны заметил, что закрывавшая его деревянная крышка сдвинута, а на краю стоит ведро с привязанной к нему веревкой. Рультабийль объяснил, что, решив проверить, не сообщается ли колодец с морем, он опустил туда ведро и достал совершенно пресную воду: это свидетельствовало о том, что соленой там нет даже близко. Молодой человек прошелся немного с г-жой Дарзак, но она вскоре попрощалась и ушла в Квадратную башню. Г-н Дарзак и Артур Ранс по просьбе Рультабийля остались с нами. После нескольких ничего не значащих фраз м-с Эдит поняла, что ее вежливо просят отправляться спать, и, бросив Рультабийлю ироническое «Спокойной ночи, командир!», удалилась.

Когда мы остались одни, Рультабийль повел нас в маленькую комнатку в Садовой башне; она была темная, с низким потолком — прекрасное место, откуда можно было вести наблюдение, оставаясь невидимым. И здесь Артур Ранс, Робер Дарзак, Рультабийль и я среди ночи, не зажигая фонаря, стали держать наш первый военный совет. Честное слово, я просто не знаю, как иначе назвать это собрание растерянных мужчин, укрывшихся за стенами старого замка.

— Мы можем здесь спокойно посовещаться, — начал Рультабийль. — Нас никто не услышит и не захватит врас-

¹ Втихомолку (*итал.*).

плох. Если кто-то сумеет незаметно проскользнуть через вход, охраняемый папашей Жаком, нас тут же предупредят с аванпоста, который я устроил посреди первого двора, в развалинах часовни. Да, я поставил туда вашего садовника Маттони, господин Ранс. Судя по тому, что мне о нем сказали, он заслуживает доверия — как по-вашему?

Я слушал Рультабийля с восхищением. М-с Эдит была права. Случайно став нашим командиром, он сразу сделал необходимые распоряжения, чтобы обеспечить безопасность замка. Я уверен: он решил держаться любой ценой и готов был скорее вместе с нами взлететь на воздух, чем капитулировать. Ах этот маленький смелый комендант крепости! В самом деле, нужно обладать большой смелостью, чтобы взяться защищать форт Геркулес от Ларсана, — гораздо большей, чем от тысячи осаждающих, как это когда-то случилось с одним из графов Мортولا, который, чтобы избавиться от осады, сначала пустил в дело тяжелые орудия — кулеврины и бомбарды, — а потом пошел в атаку и рассеял неприятеля, чьи ряды к тому времени уже наполовину поредели благодаря прицельному огню артиллерии, одной из лучших в те времена. Но с чем предстояло сражаться нам сегодня? С тьмою. Где был враг? Везде и нигде. Мы не могли ни бить в цель, так как не знали, где эта цель находится, ни обороняться, так как не знали, откуда будет нанесен удар. Нам оставалось лишь запереться, быть начеку и ждать.

Артур Ранс подтвердил Рультабийлю, что за садовника Маттони он ручается, и молодой человек, успокоившись, что с этой стороны мы в безопасности, решил объяснить нам положение дел. Раскурив трубку, он несколько раз поспешно затянулся и заговорил:

— Итак: можем ли мы надеяться, что Ларсан, столь вызывающе появившись перед нашими стенами, ограничится безобидной демонстрацией? Удовлетворится ли он чисто моральным успехом, внеся растерянность, тревогу и даже страх в ряды гарнизона? Исчезнет ли он? Честно говоря, не думаю. Во-первых, это не в его характере — он никогда не останавливается на полпути; во-вторых, никто не заставляет его исчезать. Поразмыслите хорошенько: он может предпринять против нас какой угодно маневр, а мы не можем ничего — только защищаться да нанести ответный удар, если будем в состоянии, да и то лишь тогда, когда он сам этого захочет. Помощи извне нам ждать не приходится. И ему прекрасно об этом

известно: именно потому он так нагл и спокоен. Кого мы можем призвать на помощь?

— Прокурора,— неуверенно отозвался Артур Ранс: по каким-то непонятным причинам он решил, что Рультабийль не принял в расчет эту возможность.

Рультэбийль посмотрел на нашего хозяина с жалостью и некоторым упреком. Ледяным тоном, явно свидетельствующим о неуместности предложения Артура Ранса, он отчеканил:

— Вам следует понять, сударь, что я не для того спас Ларсана от французского правосудия в Версале, чтобы передать его итальянскому правосудию в Красных Скалах.

Как я уже упоминал, Артур Ранс не знал о первом браке дочери профессора Стейнджерсона и поэтому не был в состоянии оценить всю безвыходность нашего положения: мы не могли никому признаться в том, что Ларсан жив, не вызвав тем самым ужасного скандала и даже катастрофы. Однако некоторые необъясненные эпизоды версальского процесса дали ему достаточную пищу для размышлений, чтобы он понял, что мы никоим образом не хотим вновь вызвать интерес публики к так называемой «тайне мадемуазель Стейнджерсон».

В этот вечер Артур Ранс понял лучше, чем когда-либо: Ларсан, невзирая на все прокуратуры мира, держит нас в руках при помощи одной из тех страшных тайн, которые дают людям возможность выбирать лишь между честью и смертью.

Поэтому он лишь молча поклонился Роберу Дарзаку; этот поклон означал, что он готов сражаться на стороне Матильды, словно благородный рыцарь, не спрашивающий о причинах битвы, когда нужно сложить голову за свою возлюбленную. Я, во всяком случае, понял его жест именно так, поскольку был убежден, что американец, несмотря на недавнюю женитьбу, отнюдь не забыл предмет своего прежнего обожания.

— Нужно, чтобы этот человек исчез, причем тихо — мы должны или умолить его сжалиться, или заключить с ним мирный договор, или убить его,— проговорил Робер Дарзак.— Однако главное условие его исчезновения — это держать в тайне его возвращение. Я выражу волю госпожи Дарзак, если попрошу вас приложить все усилия к тому, чтобы господин Стейнджерсон не знал, что нам опять угрожает этот бандит.

— Желание госпожи Дарзак для нас закон,— отозвал-

ся Рультабийль. — Господин Стейнджерсон ничего не узнает.

Затем мы принялись обсуждать, как объяснить создавшееся положение слугам и чего от них можно ожидать. По счастью, папаша Жак и супруги Бернье уже кое-что знали и ничему не удивлялись. Маттони был достаточно предан м-с Эдит, чтобы повиноваться не размышляя. Остальные в счет не шли. Был, правда, еще Уолтер, слуга Старого Боба, однако сейчас он находился в Париже вместе с хозяином и вернуться раньше него не собирался.

Рультабийль встал, обменялся через окно знаками с Бернье, стоявшим на пороге Квадратной башни, и вернулся к нам.

— Ларсан, по-видимому, где-то поблизости, — сказал он. — Во время обеда я обошел весь форт. За северными воротами у нас есть прекрасное естественное укрепление, которое с лихвой возмещает отсутствие барбакана. В пятнадцати шагах отсюда, на западном берегу, расположены два таможенных поста — французский и итальянский; неуспяная бдительность их служащих может нам очень помочь. У папаши Бернье хорошие отношения с этими славными ребятами; я вместе с ним уже побывал у них. Итальянский таможенник говорит только по-итальянски, однако его французский собрат владеет обоими языками и местным наречием — он-то (кстати, Бернье сообщил, что его зовут Мишель) и поработал у нас за переводчика. Мишель сказал, что и он, и итальянец заинтересовались необычным маневром, который совершила у форта Геркулес лодка Туллио по прозвищу Морской Палач. Старик Туллио — давний знакомец наших таможенников. Он — самый ловкий контрабандист на побережье. В этот вечер у него в лодке был человек, которого таможенники никогда не видели. Лодка с Туллио и незнакомцем скрылась где-то на берегу у мыса Гарибальди. Я сходил туда с папашей Бернье, и так же, как господин Дарзак, побывавший там до нас, мы ничего не обнаружили. Однако Ларсан вышел на берег именно там, я это чувствую, даже уверен, что лодка Туллио причаливала возле мыса Гарибальди.

— Уверены? — удивился г-н Дарзак.

— Откуда такая уверенность? — поинтересовался я.

— А вот откуда: на каменистом берегу остался след носа лодки; кроме того, я нашел там, видимо, упавшую с лодки жаровню, которая топится сосновыми шишками. Таможенники ее узнали — Туллио пользуется ею как фо-

нарем, когда в тихие ночи ловит осьминогов.

— Конечно, Ларсан сошел на берег! — подхватил г-н Дарзак. — Он где-нибудь в Красных Скалах.

— Как бы то ни было, если Туллио высадил его у Красных Скал, то обратно он не возвращался, это точно, — ответил Рультабийль. — Таможенные посты расположены на дороге, идущей от Красных Скал на французскую территорию; по ней нельзя пройти незаметно ни днем, ни ночью. С другой стороны, вам известно, что Красные Скалы образуют тупик — перед ними, метрах в трехстах от границы, тропинка обрывается. Скалы отвесны, высота их — около шестидесяти метров.

— По отвесному склону подняться он не мог, это ясно! — воскликнул до сих пор молчавший, но заинтригованный Артур Ранс.

— Должно быть, он спрятался в одной из пещер, — предположил Дарзак. — Там в скалах их довольно много.

— И я так подумал, — отозвался Рультабийль. — Отправив назад папашу Бернье, я вернулся к Красным Скалам один.

— Это неосмотрительно, — заметил я.

— Как раз осмотрительно, — возразил Рультабийль. — Мне было о чем поговорить с Ларсаном один на один. Короче, я вернулся к скалам и принялся звать Ларсана.

— Вы его звали? — изумленно вскричал Артур Ранс.

— Да, звал и размахивал в сумерках платком, словно парламентар белым флагом. Но, быть может, он меня не услышал? Или не заметил моего флага? В общем, он не отозвался.

— Наверное, его там уже не было, — предположил я.

— Откуда мне знать? Но шум в пещере я слышал.

— И не пошли туда? — живо спросил Артур Ранс.

— Нет, — просто ответил Рультабийль. — Но я надеюсь, вы понимаете, что не из страха?

— Скорее туда! — вскочив на ноги, в один голос вскричали мы. — Покончим с ним раз и навсегда.

— По-моему, у нас еще не было лучшей возможности схватить Ларсана. А в Красных Скалах мы сможем сделать с ним все, что угодно, — добавил Артур Ранс.

Он и Дарзак были уже готовы; я ждал, что скажет Рультабийль. Он жестом призвал нас к спокойствию и предложил снова сесть.

— Не следует упускать из виду, — сказал он, — что Ларсан именно так и вел бы себя, если бы хотел заманить нас в пещеры в Красных Скалах. Он появляется у нас

перед глазами, высаживается у нас на виду на мысе Гарибальди, то есть явно дает нам понять: «Видите? Я у Красных Скал. Я жду вас. Приходите».

— Вы отправились в Красные Скалы,— задумчиво начал Артур Ранс, которого поколебали доводы Рультабийля,— но он не появился. Он прячется там и замышляет на эту ночь какое-то ужасное злодеяние. Нужно выкурить его оттуда.

— Безусловно, моя прогулка в скалы не принесла результата, потому что я был там один,— отпарировал Рультабийль.— Но если мы пойдем туда все вместе, то, вернувшись, увидим результат...

— Вернувшись? — не поняв, переспросил Дарзак.

— Да, вернувшись в замок, где г-жа Дарзак будет тем временем одна. Быть может, мы ее и вовсе здесь не обнаружим. Но это лишь предположение. Сейчас мы имеем право только строить предположения.

Мы переглянулись: такое предположение нам не понравилось. Если бы не Рультабийль, мы бы, похоже, наделали глупостей и вызвали катастрофу.

Рультабийль с задумчивым видом встал.

— В сущности, забаррикадироваться — вот лучшее, что мы можем сделать этой ночью. Конечно, это баррикада временная — завтра я прослежу, чтобы замок был укреплен как следует. Я запер ворота и поставил у них папашу Жака. Маттони я отвел пост в часовне. Здесь, в потерне, единственном уязвимом месте второго двора, я устроил баррикаду и буду охранять ее сам. Папаша Бернье простоят всю ночь на часах у дверей Квадратной башни, а матушка Бернье, которая славится своим зрением и которую я к тому же снабдил морской подзорной трубой, всю ночь будет находиться на площадке башни. Сенклер разместится в беседке из пальмовых листьев на террасе Круглой башни. С этой террасы он вместе со мною будет наблюдать за вторым двором, валом и парапетом. Господа Артур Ранс и Робер Дарзак отправятся на первый двор и будут до зари прогуливаться — первый по западному валу, второй по восточному, которые ограждают двор со стороны моря. Сегодня ночью нам придется трудно, так как пока что мы не организованы. Завтра мы распределим обязанности между нашим маленьким гарнизоном и верными слугами, на которых можем рассчитывать. Если кто-то из слуг ненадежен, таких придется выдворить из замка. Сейчас вы принесете сюда, в Садовую башню, все имеющееся оружие — ружья, револьверы. По-

том мы раздадим их по мере необходимости. Стрелять в каждого, кто не ответит на оклик: «Стой! Кто идет?» — и не даст себя узнать. Пароль нам ни к чему. Чтобы пройти, достаточно назвать себя и показать лицо. К тому же, только мы и можем здесь ходить. Завтра я прикажу установить решетку у внутреннего конца арки — ту самую, которая раньше была снаружи, там, где теперь находятся закрытые ворота. Днем поставщики провизии будут проходить не дальше этой решетки и оставлять товар в маленькой привратничкой, где я посадил папашу Жака. В семь вечера ворота будут запираются. Кроме того, завтра господин Ранс распорядится позвать столяров, каменщиков и плотников. Мы всех их пересчитаем и запретим им под каким бы то ни было предлогом заходить во второй двор, а в семь вечера, когда они закончат работу, мы пересчитаем их опять. За день им придется успеть сделать следующее: сколотить дверь для потерны, заложить пролом в стене, соединяющей Новый замок с башней Карла Смелого, а также еще один небольшой пролом рядом с бывшей угловой башней (помечена на плане буквой «Б»), защищавшей двор с северо-запада. После этого я буду спокоен за безопасность госпожи Дарзак, которой вплоть до новых распоряжений запрещаю покидать замок, и смогу выйти, чтобы серьезно заняться поисками места, где обосновался Ларсан. Вперед, мистер Ранс! Принесите нам все оружие, которое есть у вас в распоряжении. Свой револьвер я отдал папаше Бернье, который стережет дверь в комнаты госпожи Дарзак.

Тот, кто не в курсе событий, происшедших в свое время в Гландье, услышав из уст Рультабийля эти слова, может счесть за сумасшедших и репортера, и тех, кто его слушал. Но повторяю: тот, кто пережил ночь в таинственном коридоре и ночь необъяснимого убийства, тот поступил бы, как я, — зарядил свой револьвер и не умничал.

Глава 8. Несколько исторических страниц, посвященных Русселю—Ларсану—Балмейеру

Через час мы были на своих местах и прогуливались вдоль парапетов, внимательно вглядываясь в землю, небо и воду и напряженно прислушиваясь к ночным шорохам, дыханию моря и шуму ветра, поднявшегося около трех утра. К этому времени м-с Эдит проснулась и присоединилась к притаившемуся под потерной Рультабийлю.

Через несколько минут он окликнул меня и, приказав охранять потерну и м-с Эдит, отправился на обход замка. Настроение у м-с Эдит было преотличнейшее. Сон пошел ей на пользу; ее невероятно забавляло бледное лицо мужа, которому она принесла стаканчик виски.

— Ах, как интересно! — воскликнула она и захлопала своими миниатюрными ладонями. — Как интересно! Вот бы познакомиться с этим вашим Ларсаном!

Услышав такое богохульство, я невольно вздрогнул. Действительно, есть такие романтические натуры, которые никогда ни в чем не сомневаются и в своем неведении бросают вызов року. Ах, несчастная, если бы она знала!..

Я очень мило провел два часа, рассказывая м-с Эдит жуткие истории про Ларсана, причем все — совершенно правдивые. И раз уж мне представился случай, я позволю себе предложить и читателю историческое отступление (если мне будет позволено употребить это выражение, которое в данном случае очень подходит) о Ларсане — Балмейере — ведь из-за невероятной роли, которую он сыграл в «Тайне Желтой комнаты», кое-кто может счесть его лицом вымышленным. Поскольку в «Духах Дамы в черном» он предстанет в роли еще более невероятной, я считаю своим долгом подготовить читателя к тому, чтобы он в конце концов поверил, что я только описываю это неправдоподобное дело и сам ничего не выдумываю. К тому же, если я не удержусь и украшу эту удивительную и в то же время правдивую историю какими-нибудь дурацкими выдумками, то Рультабийль немедленно воспротивится и без обиняков выскажет мне свое мнение. В этом деле задеты достаточно серьезные интересы, и публикация моя может повлечь за собою слишком серьезные последствия, поэтому я обязан удерживать себя в строгих рамках сухого и методичного повествования. Тех же, кто считает, что я написал детективный роман (кошмарное выражение!), я отсылаю к версальскому судебному процессу. Гг. Анри-Робер и Андре Гесс, защищавшие г-на Дарзака, произнесли там прекрасные речи, которые стенографировались, и, стало быть, их можно найти. Кроме того, не следует забывать, что задолго до того, как судьба заставила Рультабийля схватиться с Ларсаном — Балмейером, этот элегантный бандит доставил судебным хроникерам множество хлопот. Достаточно открыть «Судебный вестник» или пробежать раздел судебной хроники любой крупной газеты, вышедшей в день, когда Ларсана приго-

ворили к десяти годам каторжных работ, чтобы составить себе представление об этом субъекте. Вполне понятно, что мне ни к чему выдумки об этом человеке, когда можно просто пересказать любую из публикаций о нем; познакомившись же по первоисточникам с его «почерком», то есть с манерой его действий и неслыханной дерзостью, читатель, пожалуй, воздержится от улыбки, когда осмотрительный Рультабийль разведет подъемный мост между Балмейером—Ларсаном и г-жой Дарзак.

Г-н Альбер Батайль из «Фигаро»¹ в своей прекрасной книге «Уголовные и гражданские дела» посвятил Балмейеру весьма интересные страницы.

Детство у Балмейера было счастливым. Для того чтобы стать мошенником, ему в отличие от многих не понадобилась тяжелая, полная лишений юность. Сын богатого коммерсанта с улицы Моле, он мог бы выбрать иную участь, однако его призванием было присвоение чужих денег. Еще в молодости он посвятил себя мошенничеству, как другие посвящают себя изучению горного дела. Дебют его был гениален. История получилась просто невероятная: Балмейер стянул ценное письмо, пришедшее в контору его отца, сел с украденными деньгами в лионский поезд и написал виновнику своего бытия следующие строки:

«Сударь, я — военный в отставке, имею награды. Мой сын, почтовый служащий, чтобы заплатить карточный долг, похитил адресованное Вам письмо. Я созвал семейный совет; через несколько дней мы сможем собрать нужную сумму и вернуть ее Вам. Вы — сами отец, так сжальтесь над отцом. Не лишайте меня моей былой чести!»

Балмейер-отец благородно согласился подождать. Уплаты долга он ждет и по сей день — или скорее не ждет, потому что через десять лет из судебного процесса узнал, кто был настоящий вор.

Как сообщает г-н Альбер Батайль, природа одарила Балмейера всем, что присуще подлинному мошеннику: необычайной живостью ума, даром убеждать простаков, вниманием к обстановке и мелочам, талантом перевоплощения, бесконечной предусмотрительностью, доходившей до того, что всякий раз, собираясь выступить под чужим именем, он отдавал метить свое белье соответствующим

¹ Популярная парижская газета.

щими инициалами. Но главной его чертой, не считая удивительной способности уходить от преследования, была рисовка — рисовка во всем: в самих аферах, в иронии, в вызывающем отношении к правосудию; он находил неизъяснимое удовольствие в том, чтобы самому сообщить в прокуратуру о мнимых преступниках, поскольку знал, сколько времени потеряет следователь, идя по ложному следу.

Это пристрастие к мистификации судейских проявлялось во всех его поступках.

Будучи на военной службе, Балмейер похитил деньги из ротной кассы и свалил все на казначея.

Он украл сорок тысяч франков у торгового дома некоего Фюре и тут же донес следователю, что кражу совершил сам г-н Фюре.

Дело Фюре долгое время не сходило со страниц различных юридических изданий, где его называли «Телефонный звонок»; с тех пор оно стало классическим. Никогда еще достижения науки не использовались с таким успехом в мошеннических целях.

Балмейеру удалось похитить вексель на тысячу шестьсот фунтов стерлингов из почты братьев Фюре, торговых посредников с улицы Пуассоньер, которые взяли этого мошенника к себе в контору.

С улицы Пуассоньер, из дома г-на Фюре, Балмейер позвонил г-ну Коэну, банкиру, и голосом Эдмона Фюре поинтересовался, может ли тот учесть этот вексель. Получив положительный ответ и перерезав телефонные провода, чтобы предотвратить изменение распоряжения или какие-либо уточняющие вопросы, Балмейер попросил получить в банке деньги своего приятеля по имени Ривар, в свое время стяжавшего печальную известность в африканских войсках, где его переводили из части в часть за всяческие некрасивые истории.

Балмейер забрал себе львиную долю добычи и незамедлительно бросился в прокуратуру, где донес на Ривара и, как я уже говорил, на самого Эдмона Фюре.

В кабинете следователя, г-на Эспьера, занимавшегося этим делом, состоялась весьма примечательная очная ставка.

— Видите ли, мой дорогой Фюре,— заявил Балмейер оторопевшему негоцианту,— я в отчаянии, что мне приходится вас обвинять, но лучше бы вы сами открыли всю правду. В этом деле никаких серьезных для вас последствий не предвидится — так признайтесь же! Вам нужны

были сорок тысяч франков, чтобы заплатить небольшой должок, сделанный на бегах, и вы решили, что заплатит ваша фирма. Ведь по телефону-то звонили вы!

— Я? Я? — забормотал совершенно подавленный Эдмон Фюре.

— Признавайтесь, вам же известно, что ваш голос узнали.

Негодяя все же посадили за решетку, и он проспал целую неделю в Мазасе¹; тем временем полиция собрала о нем такие сведения, что г-н Крюпи, в то время товарищ прокурора, а ныне министр торговли, был вынужден принести г-ну Фюре извинения от имени судебных органов. Что же до Ривара, то ему заочно присудили двадцать лет каторжных работ.

Подобных историй о Балмейере можно порассказать сколько угодно. В те времена он еще не пристрастился к драме и играл комедию, да какую! Послушайте-ка историю одного из его тогдашних побегов. Что-либо более забавное придумать трудно: мошенник написал длиннющее безграмотное послание следователю г-ну Вилле только для того, чтобы иметь возможность положить его на стол магистрату; оказавшись в кабинете, он рассыпал лежавшие на столе бланки и ухитрился бросить взгляд на образец постановления об освобождении заключенного.

Вернувшись в Мазас, жулик от имени г-на Вилле написал письмо, в котором тот по всей форме якобы просил начальника тюрьмы немедленно освободить заключенного Балмейера. Теперь недоставало лишь печати следователя.

Такая малость Балмейера не смутила. На следующий день он, снова потребовав отвести его к следователю, спрятав письмо в ладони и, оказавшись на месте, принялся кричать о своей невиновности и изображать сильный гнев. Затем, как бы в волнении схватив стоявшую на столе печать, он опрокинул чернильницу на голубые брюки сопровождавшего его стража.

Пока несчастный жандарм с помощью весьма сочувствовавших ему следователя и письмоводителя с печальным видом оттирал свои любимые штаны, Балмейер, воспользовавшись общим замешательством, хлопнул печатью по приказу об освобождении и в свою очередь рассыпался в извинениях.

Дело было сделано. Мошенник вышел из кабинета

¹ Во время Третьей республики — тюрьма в Париже.

и, с пренебрежением бросив охранникам бумагу с подписью и печатью, заявил:

— С чего это, интересно, господин Вилле заставляет меня таскать его бумажки? Что я ему, лакей?

Стражи с почтением подобрали документ, и бригадир жандармов отправил бумагу по месту назначения, в Мазас. Это был приказ о немедленном освобождении некоего Балмейера. В тот же вечер негодяй был на свободе.

Так он сбежал во второй раз. А когда за кражу денег у Фюре его арестовали в первый раз, ему удалось дать тягу, подставив ножку и запорошив глаза перцем жандарму, который вел его в тюрьму. В тот же вечер, повязав белый галстук, Балмейер отправился на премьеру в «Комеди Франсез». Когда же трибунал приговорил его к пяти годам общественных работ за кражу денег из ротной кассы, он тоже чуть было не сбежал, попросив товарищей засунуть себя в мешок с ненужной бумагой, отправлявшейся на свалку, однако непредвиденная перекличка расстроила столь хорошо задуманный план.

...Впрочем, о похождениях молодого Балмейера можно рассказывать до бесконечности. Под именами графа де Мопя, виконта Друэ д'Эрлона, графа де Мотвиля, графа де Бонвиля, элегантный, всегда одетый по последнему слову моды, удачливый игрок, он разъезжал по приморским и курортным городам — Биаррицу, Экс-ле-Бену, Люшону, — проигрывая по десять тысяч франков за вечер, окруженный хорошенькими женщинами, ссорившимися из-за его улыбки. Этот искусный шарлатан был к тому же и соблазнителем. Служа в полку, он покорила — по счастью, лишь платонически — сердце дочери своего полковника. Теперь вам ясно, что это был за человек?

И вот с этим-то человеком и собирался вступить в единоборство Жозеф Рультабийль!

Я полагал, что мне вполне удалось познакомить м-с Эдит с прославленным бандитом. Она слушала в глубоком молчании, которое в конце концов меня встревожило; наклонившись над молодой женщиной, я увидел, что она спит. Такое поведение могло дать мне вполне ясное представление об этой особе, но так как у меня появилась возможность вволю предаться ее созерцанию, во мне родились совершенно противоположные чувства, которые позже я тщетно пытался изгнать из своего сердца.

Ночь прошла без неожиданностей. Я приветствовал наступающий день вздохом облегчения. Тем не менее Рультабийль позволил мне отправиться спать лишь в восемь утра, уже вовсю погрузившись в дневные заботы. Он был тогда среди рабочих, напряженно трудившихся над заделкой пролома в башне Б. Работы велись столь толково и быстро, что к вечеру форт Геркулес оказался закупорен так же плотно, как это выходило на чертеже. Сидя на большом обломке известняка, Рультабийль рисовал план замка, который я здесь привел, и говорил со мною, в то время как я после бессонной ночи отчаянно таращил глаза, чтобы не дать им закрыться.

— Видите ли, Сенклер, дурак может подумать, что я укрепляюсь в целях обороны. В этом заключена лишь меньшая часть правды; я укрепляюсь прежде всего, чтобы иметь возможность рассуждать. Я заделываю проломы не столько для того, чтобы через них не проник Ларсан, сколько для того, чтобы не позволить моему разуму сбежать. Я, к примеру, не смог бы рассуждать в лесу. Какие там могут быть рассуждения? В лесу мысли разбегаются в разные стороны. Другое дело — неприступный замок. Тут, мой друг, чувствуешь себя, словно в запертом сейфе: если вы находитесь внутри и к тому же вы не сумасшедший, то и ваш разум находится при вас.

— Да, разумеется,— отвечал я, трясая головой,— обязательно нужно, чтобы ваш разум находился при вас.

— Ладно,— наконец сжалился он,— идите-ка ложитесь, а то вы спите на ходу.

Глава 9. Неожиданный приезд Старого Боба

Услышав в одиннадцать утра стук в дверь и голос матушки Бернье, которая крикнула, что Рультабийль распорядился вставать, я поспешил к окну. Рейд был великолепен; море стало таким прозрачным, что солнечный свет пронизывал его, словно зеркало без амальгамы; вода точно перестала скрывать под своею толщей находившиеся на дне утесы и водоросли. Ментонское побережье своим изящным изгибом заключало эту массу чистой воды в цветную рамку. Белые и розовые гаванские виллы, казалось, появились на свет лишь этой ночью. Полуостров Геркулеса напоминал плавающий на воде букет; даже древние камни замка и те благоухали.

Никогда еще природа не казалась мне более нежной, приветливой, любящей и, главное, достойной любви. Безмятежный воздух, беспечные берега, разомлевшее море, лиловые горы — вся эта непривычная для северного человека картина наводила на мысль о ласке. И тут я увидел человека, который избивал море. Да, избивал море, избивал изо всех сил! Будь я поэтом, я бы наверняка разрыдался. Бедняга, похоже, был в страшной ярости. Я понятия не имел, чем эти спокойные воды вызвали его гнев, но они явно дали ему серьезный повод для неудовольствия: вооруженный внушительной дубиной и стоя в лодчонке, на веслах в которой сидел какой-то испуганный мальчуган, человек наносил по поверхности воды удар за ударом — к молчаливому негодованию собравшихся на берегу зевак. Однако, как всегда бывает в случаях, когда дело не касается кого-нибудь лично, никто не хотел вмешиваться. Что же так рассердило этого буйного субъекта? Быть может, само спокойствие морских вод, которые, на секунду взволновавшись под ударами безумца, вновь затем становились гладкими?

Тут мои размышления прервал голос Рультабийля: он крикнул мне, что завтрак будет в полдень. Молодой человек выглядел словно заправский штукатур, а его одежда свидетельствовала о том, что он прогуливался мимо свежей каменной кладки. Одной рукой он опирался на метр, другою поигрывал отвесом. Я поинтересовался, видел ли он человека, который избивает море. Рультабийль ответил, что это Туллио таким манером загоняет рыбу в сети. Я сразу же понял, почему местные крестьяне называли его Морским Палачом.

Заодно Рультабийль сообщил мне, что утром расспросил Туллио насчет человека, которого тот накануне вечером катал в лодке вокруг форта Геркулес. Рыбак сказал, что человека этого он не знает; просто какой-то чудака сел к нему в Ментоне и заплатил пять франков за то, чтобы его высадили на мысе у Красных Скал.

Я быстро оделся и спустился к Рультабийлю; тот объявил, что за завтраком появится новое лицо — Старый Боб. Мы немного его подождали, но так как он все не шел, сели завтракать без него на цветущей террасе башни Карла Смелого.

Великолепный буйабес — его еще дымящимся принесли из ресторана «Грот», славящегося на побережье лучшими морскими ежами и мелководной рыбой, — сдо-

бранный небольшой толикой “vino del paese”¹ и поданный в разгар веселого, светлого дня, сделал для нашего успокоения не меньше, чем все предосторожности Рультабийля. В самом деле, при ярких лучах солнца мы боялись Ларсана гораздо меньше, чем при тусклом свете луны и звезд. Ах, до чего же забывчив и отходчив человек! стыдно сказать: мы гордо, весьма гордо (я имею в виду себя, Артура Ранса и, естественно, м-с Эдит, которая по натуре романтична и томна, но поверхностна) посмеивались над нашими ночными страхами и бдением с оружием в руках на крепостных валах... И тут появился Старый Боб. Это появление — скажем так — вряд ли могло натолкнуть кого-либо на мрачные мысли. Мне редко приходилось наблюдать что-либо более забавное, чем седой и розовощекий Старый Боб, прогуливающийся под ярким весенним солнцем юга в черном цилиндре, черном сюртуке и черных очках. Да, мы всласть посмеялись, стоя под сводом башни Карла Смелого. И старый Боб смеялся вместе с нами: он был воплощение веселья.

Что делал этот старый ученый в форте Геркулес? Видимо, пришло время рассказать об этом. Как он решился оставить в Америке свои коллекции, работу, чертежи, Филадельфийский музей? А вот как. Мы помним, что мистера Ранса считали на родине френологом с большим будущим, но несчастная любовь к м-ль Стейнджерсон заставила его бросить свои занятия, к которым он почувствовал отвращение. После женитьбы на мисс Эдит, всячески поощрявшей его научную деятельность, он почувствовал, что опять с удовольствием занялся бы наукой Галля и Лафатера. Минувшей осенью, когда супруги появились на Лазурном берегу, многие только и говорили о новых открытиях г-на Аббо, сделанных им в Красных Скалах. Уже долгое время, начиная с 1874 года, геологи и все, кто занимается исследованиями доисторических эпох, проявляли необычайный интерес к человеческим останкам, найденным в пещерах Красных Скал. Здесь работали гг. Жюльен, Ривьер, Жирарден и Дельсо, которым удалось заинтересовать своими находками Французский институт² и министерство просвещения. Находки были и в самом деле сенсационными: если не ошибаюсь, они свидетельство-

¹ «Местного вина» (итал.).

² Основное научное учреждение Франции; объединяет пять академий: Французскую, надписей и изящной словесности, естественных наук, искусств, моральных и политических наук.

вали о том, что первые люди жили в этих местах еще в доледниковый период. Конечно, о существовании человека в четвертичный период было известно давно, однако, поскольку, по некоторым данным, он длился двести тысяч лет, ученым хотелось определить время появления человека точнее. Уже давно они копались в Красных Скалах, даривших им сюрприз за сюрпризом. Но самая красивая пещера, которую здесь называли Барма Гранде, оставалась нетронутой, поскольку являлась частной собственностью г-на Аббо, владельца ресторана «Грот», находившегося неподалеку на берегу. Наконец г-н Аббо решил сам произвести в пещере раскопки. И вот поползли слухи (а весть о раскопках вышла за пределы научных кругов), что в Барме Гранде найдены удивительные человеческие останки — прекрасно сохранившиеся в железистой земле скелеты людей, современников мамонта, живших в четвертичном или даже в конце третичного периода.

Артур Ранс и его жена поспешили в Ментону, и, пока муж целыми днями ворошил, выражаясь научно, «кухонные отбросы» двухсоттысячелетней давности, копался в земле знаменитой пещеры и измерял черепа наших пращуров, его неутомимая молоденькая супруга с наслаждением облакачивалась о средневековые зубцы стен старинного замка, чей громадный силуэт вздымался на небольшом полуострове, связанном с Красными Скалами несколькими камнями, скатившимися когда-то с кручи. С этим напоминанием о генуэзских войнах были связаны самые романтические легенды, и Эдит, стоявшей на фоне красивейшего пейзажа и печально глядевшей с высокой башни, казалось, что она — одна из благородных дев былых времен, романы о чьих невероятных приключениях она так любила. Замок продавался, цена была вполне приемлемой. Артур Ранс купил его к немалой радости жены, которая, тут же наняв каменщиков и обойщиков, в три месяца превратила старое здание в прелестное любовное гнездышко, достойное молодой особы, которая кажется себе похожей на Деву озера или Ламмермурскую невесту.

Когда Артур Ранс узрел последний найденный в Барма Гранде скелет, равно как и бедренные кости *Elephas antiquus*, раскопанные там же, он был вне себя от радости и первым делом дал Старому Бобу телеграмму о том, что в нескольких километрах от Монте-Карло, кажется, найдено наконец то, что ученый ценою тысячи опасностей на протяжении стольких лет искал в глубине Патагонии. Но телеграмма адресата не нашла: Старый Боб, обещавший

через несколько месяцев приехать к новоиспеченным супругам, уже плыл на пароходе в Европу. Очевидно, весть о сокровищах Красных Скал дошла и до него. Через несколько дней он сошел на берег в Марселе и прибыл в Ментону, где, поселившись у Артура Ранса и племянницы, наполнял форт Геркулес взрывами веселья.

Веселость Старого Боба показалась нам несколько театральной, но это следует, по-видимому, приписать нашему подавленному настроению накануне. Душою Старый Боб напоминал дитя и к тому же отличался стариковским кокетством: своим благородным и строгим обликом (черный сюртук, черный жилет, черные брюки, седые волосы и розовые щеки) он постоянно старался создать внушительное и гармоничное впечатление. В этой профессорской униформе Старый Боб охотился на ягуаров в пампасах, а теперь рылся в пещерах Красных Скал в поисках последних останков *Elephas antiquus*.

М-с Эдит представила нас, он учтиво покудахтал и захохотал во весь рот, занимавший все пространство между бакенбардами с проседью, которые он тщательно подстригал в виде треугольника. Старый Боб ликовал, и мы вскоре узнали почему. Из парижского музея он вернулся с уверенностью, что скелет, найденный в Барма Гранде, вовсе не древнее того, что он привез из последней своей экспедиции на Огненную Землю. Весь Французский институт придерживался того же мнения, и вот по какой причине: мозговая кость слона, которую Старый Боб привез в Париж и которую хозяин Барма Гранде дал ему на время, уверив, что она найдена в том же слое почвы, что и знаменитый скелет, — так вот, эта кость принадлежала древнему слону середины четвертичного периода. Надо было слышать, с какой радостью и пренебрежением говорил Старый Боб об этой самой середине четвертичного периода! Вспоминая о кости из середины четвертичного периода, он всякий раз разражался смехом, словно ему рассказали веселую шутку. Разве в наше время ученый — настоящий, достойный этого звания — может интересоваться скелетом середины четвертичного периода! Его-то скелет, то есть тот, что он привез с Огненной Земли, датируется началом этого периода и, следовательно, старше на сто тысяч лет, понимаете, на сто тысяч! И он в этом уверен благодаря лопатке пещерного медведя — лопатке, которую нашли в руках у его скелета. (Старый Боб говорил «мой скелет», в своем воодушевлении не делая различий между собствен-

ным скелетом, всегда облаченным в черный сюртук, черный жилет, черные брюки, седые волосы и розовые щеки, и доисторическим скелетом с Огненной Земли.)

— Мой-то скелет — современник пещерного медведя! А этот, из Красных Скал? Хо-хо, дети мои! Всего-навсего периода мамонтов. Да нет, что я! — периода ископаемых носорогов. Вот так-то! А в этом периоде изучать уже больше нечего, дамы и господа, даю слово Старого Боба. Мой скелет — из шельского периода, как называют его у вас во Франции. Чего вы смеетесь, невежды? Я ведь даже не уверен, что *Elephas antiquus* из Красных Скал датируется мустьерским периодом. А может, это солютрейская культура? Или даже поздний палеолит? Но нет, это уж, пожалуй, слишком. Древний слон в позднем палеолите — это невозможно. Этот слон сведет меня с ума! Я заболел. Умру от радости. Бедные Красные Скалы!

М-с Эдит жестоко прервала ликование Старого Боба, объявив, что князь Галич, купивший пещеру Ромео и Джульетты в Красных Скалах, похоже, отыскал там нечто сенсационное: она встретила его у форта на следующий день после отъезда Старого Боба в Париж; он показал ей небольшой ящик и сказал: «Здесь, миссис Ранс, у меня сокровище, настоящее сокровище!» Когда же она спросила, что это за сокровище, он стал ее поддразнивать, обещая сделать сюрприз Старому Бобу, когда тот вернется. В конце концов князь Галич признался, что нашел «самый древний человеческий череп».

Не успела м-с Эдит договорить, как всю веселость Старого Боба как рукой сняло: черты его исказились от бешенства, и он закричал:

— Неправда! Самый древний человеческий череп — у Старого Боба. Это череп Старого Боба! — И тут же ученый взвизгнул еще громче: — Маттони! Неси сюда мой чемодан. Скорее!

В эту минуту Маттони шел по двору Карла Смелого, неся на спине багаж Старого Боба. Не говоря ни слова, он подошел и поставил перед нами чемодан. Старый Боб, вытащив связку ключей и встав на колени, открыл его. Из чемодана, в котором виднелось аккуратно сложенное белье, он достал шляпную картонку, а из нее извлек череп и поставил его посреди стола, между нашими чашками с кофе.

— Вот самый древний человеческий череп! — заявил он. — Это череп Старого Боба! Взгляните — это он. Старый Боб никогда не выезжает без своего черепа.

Он взял его в руки и принялся гладить; глаза старика засияли, губы сами сложились в улыбку. Если добавить, что Старый Боб по-французски знал неважно и выговаривал слова на англо-испанский манер — а по-испански он говорил в совершенстве, — то вам удастся увидеть и даже услышать эту сцену. Мы с Рультабийлем уже держались за бока от смеха. В довершение всего Старый Боб время от времени прекращал смеяться и спрашивал, почему это мы так веселимся. Его гнев возбуждал в нас еще больший смех, и даже г-жа Дарзак только и делала, что утирала слезы: со своим самым древним человеческим черепом Старый Боб был и в самом деле невероятно смешон. Пока мы пили кофе, я смог убедиться, что череп, которому сто тысяч лет, совсем не страшен, даже если у него сохранились все зубы.

Внезапно Старый Боб стал серьезен. Подняв череп правой рукой и приставив указательный палец левой ко лбу пращура, он заговорил:

— Глядя на череп сверху, можно заметить, что он имеет форму правильного пятиугольника благодаря развитым теменным буграм и выступающей затылочной кости. Сильно выдающиеся скулы делают лицо довольно широким. А что я наблюдаю у черепа пещерного человека из Красных Скал?

Не могу сказать, что усмотрел тогда Старый Боб в черепе пещерного человека: я больше не слушал ученого — я за ним наблюдал. И смеяться мне расхотелось. Старый Боб со своей наигранной веселостью и заумной ученостью показался мне страшным, жестоким и неестественным, как скверный актер. Я не спускал с него глаз. Мысль о Ларсане, не покидавшая меня, стала все больше занимать мое воображение; я, быть может, даже сказал бы что-нибудь по этому поводу, но кто-то взял меня под руку: это Рультабийль отвел меня в сторону.

— Что с вами, Сенклер? — участливо спросил он.

— Друг мой, не стану вам ничего говорить — вы посмеетесь надо мной.

Рультабийль не ответил и повлек меня за собою, на западный вал. Там он оглянулся и, убедившись, что мы одни, проговорил:

— Нет, Сенклер, смеяться над вами я не стану. Вы правы, повсюду видя его. Если его не было там несколько минут назад, сейчас он, вполне возможно, уже там. Ему ведь нипочем любые камни. Ему все нипочем! Боюсь, что он внутри замка, а не снаружи. И буду счастлив, если

эти камни, которые я призвал себе на помощь, помогут преградить ему путь. Сенклер, я чувствую, он здесь!

Я пожал Рультабийлю руку, потому что — странное дело! — у меня тоже появилось такое впечатление: я чувствовал на себе взгляд Ларсана, слышал его дыхание. Откуда взялось это чувство? Не знаю... Но мне показалось, что оно появилось с приездом Старого Боба.

Я с беспокойством спросил у Рультабийля:

— Старый Боб?

Журналист ответил лишь через несколько секунд:

— Каждые пять минут берите себя правой рукой за левую и спрашивайте: «Это ты, Ларсан?» Когда получите ответ, не успокаивайтесь: быть может, он вам солгал и сидит уже в вашей шкуре, а вы об этом и не подозреваете.

С этими словами Рультабийль оставил меня в одиночестве на западном валу. Тут и нашел меня папаша Жак, принесший мне телеграмму. До того как ее прочесть, я сказал старику, что, несмотря на бессонную ночь, он хорошо выглядит. Он объяснил, что так рад видеть свою хозяйку счастливой, что помолодел на десяток лет. Потом он принялся выпрашивать меня, почему его заставили столь странно провести ночь, почему после приезда Рультабийля в замке все стало не так и для чего все эти предосторожности от вторжения посторонних. Он даже добавил, что этот ужасный Ларсан вовсе не умер и что, по его, Жака, мнению, все боятся его возвращения. Я ответил, что сейчас не время рассуждать и он как честный человек должен, подобно другим слугам, по-солдатски выполнять все распоряжения, не требуя объяснений и тем более не возражая. Старик поклонился и, покачивая головой, ушел. Он был явно очень заинтригован, и я порадовался, что, охраняя северный вход, он подумал о Ларсане. Он ведь сам чуть было не стал его жертвой и не забыл об этом — значит, будет внимательнее стоять на часах.

Я не сразу вскрыл принесенную папашей Жаком телеграмму — и зря: с первого же взгляда она оказалась весьма интересной. Мой парижский приятель, по моей просьбе уже сообщивший мне кое-что о Бриньоле, писал, что накануне этот самый Бриньоль уехал на юг, сев на поезд 10.35 вечера. По сведениям приятеля, Бриньоль взял билет до Ниццы.

Что этот Бриньоль собирается делать в Ницце? Я задавал этот вопрос себе, но — о чем потом сильно пожалел — в глупом приступе самолюбия не задал Рультабийлю. Он посмеялся надо мною, когда я показал ему первую теле-

грамму, где говорилось, что Бриньоль не выезжал из Парижа, и я решил не говорить ему о второй. Раз Бриньоль так мало для него значит, я не стану надоедать ему с этим типом и оставлю его себе. Напустив на себя безразличный вид, я подошел к Рультабийлю, работавшему во дворе Карла Смелого. С помощью массивных железных брусьев он укреплял тяжелый дубовый круг, которым закрывался колодец. Рультабийль продемонстрировал мне, что даже если колодец сообщается с морем, то человек, решивший проникнуть таким путем в замок, не сможет поднять крышку и откажется от своих намерений. По лицу журналиста струился пот, рукава были закатаны, воротничок съехал набок; в руке он держал тяжелый молоток. Мне подумалось, что для такой несложной работы он тратит слишком много физических усилий, и я, словно глупец, который не видит дальше своего носа, сказал ему об этом. Разве трудно было догадаться: этот мальчишка изнуряет себя добровольно, тяжелый физический труд служит лишь для того, чтобы он мог забыть печаль, терзавшую его благородную душу? Так нет же! Я понял это лишь полчаса спустя, когда застал его крепко спящим в развалинах часовни; по-видимому, сон свалил его прямо здесь, на жесткой каменной постели, и по простому слову «Матушка!», которое вырвалось у него во сне, я понял, в каком он состоянии. Рультабийль видел во сне Даму в черном. Возможно, ему снилось, что, раскрасневшись от бега, он влетел в гостиную коллежа в Э и Дама в черном обнимает его, как когда-то. Я на несколько секунд замешкался, размышляя, можно ли его так оставить и не выдаст ли он во сне свою тайну? Однако, облегчив свое сердце произнесенным словом, Рультабийль теперь оглашал воздух музыкальным храпом, напоминая гудение волчка. Пожалуй, после нашего отъезда из Парижа Рультабийль впервые спал по-настоящему.

Я воспользовался этим обстоятельством, никого не предупредив, вышел из замка и с телеграммой в кармане сел в поезд на Ниццу. Вскоре я уже читал свежие новости на первой полосе «Пти Нисуа»: «Профессор Стейнджерсон прибыл в Гараван, где собирается провести несколько недель у мистера Артура Ранса, который купил форт Геркулес и вместе с очаровательной м-с Ранс с удовольствием принимает друзей в этом средневековом уголке, изысканном и живописном. В последнюю минуту нам сообщили, что дочь профессора Стейнджерсона, только что сочетавшаяся в Париже браком с г-ном Робером Дарзаком, также прибыла

в форт Геркулес в сопровождении этого молодого и прославленного профессора Сорбонны. Гости приехали к нам с Севера в пору, когда все нас покидают. Как они правы! Самая прекрасная в мире весна — на Лазурном берегу!»

В Ницце, укрывшись за витриной кафе, я стал ждать прихода парижского поезда, в котором мог находиться Бриньоль. И в самом деле, из него вышел Бриньоль. Сердце у меня забилося: эта поездка, о которой он не сообщил г-ну Дарзаку, казалась для меня вполне естественной. К тому же я видел своими глазами: Бриньоль не хотел, чтобы его узнали. Опустив голову, он быстро, словно вор, скользил между прохожими, направляясь к выходу. Но я шел следом. Он прыгнул в закрытый экипаж, я поспешил взять другой, тоже закрытый. На площади Массена он вылез, направился в сторону набережной и там нанял новый экипаж. Я не отставал от него ни на шаг. Эти маневры казались мне все более подозрительными. Наконец экипаж Бриньоля свернул на дорогу, называемую Корниш; я велел своему кучеру сделать то же самое. Большое число крутых поворотов на этой дороге позволило мне наблюдать за преследуемым, оставаясь незамеченным. Я посулил извозчику хорошие чаевые, и он старался изо всех сил. Так мы доехали до станции Болье. Там я с удивлением увидел, что экипаж Бриньоля остановился, Бриньоль вылез, расплатился с кучером и вошел в зал ожидания. Он явно собирался сесть в поезд. Я подумал: «Нужно бы последовать за ним, но ведь станция маленькая, и он заметит меня на безлюдном перроне». Делать было нечего. Если он меня заметит, придется изобразить удивление и следить за ним до тех пор, пока не станет ясно, чем он собирается заняться в этих краях. Однако все сложилось как нельзя лучше, и Бриньоль меня не заметил. Он сел в пассажирский поезд, направлявшийся к итальянской границе. Таким образом, он постепенно приближался к форту Геркулес. Я сел в соседний вагон и стал внимательно наблюдать за входом и выходом пассажиров на станциях.

Бриньоль сошел только в Ментоне. Он определенно хотел приехать туда не на парижском поезде и в такое время, когда было мало шансов встретить на вокзале кого-либо знакомого. Выйдя из вагона, он сразу же поднял воротник пальто и поглубже надвинул фетровую шляпу. Затем оглядел перрон, успокоился и поспешил к выходу. На улице Бриньоль бросился к старому и грязному дилижансу, стоявшему у тротуара. Я наблюдал за Бриньодем, укрыв-

шись в углу зала ожидания. Что он здесь делает? И куда направляется эта пыльная дряхлая колымага? От слушающего я узнал, что это дилижанс на Соспель.

Соспель — живописный городок, затерянный в предгорьях Альп; езды туда от Ментоны часа два с половиной. Железной дороги там нет. Этот укромный, мало известный во Франции уголок внушает страх таможенным чиновникам и даже альпийским стрелкам, стоящим там гарнизоном! Но дорога туда красивейшая: прежде чем откроется Соспель, путник должен обогнуть множество гор, проехать по краю нескольких пропастей и следовать вплоть до Кастийона узкой и глубокой долиной Карей — то дикой и напоминающей древнюю Иудею, то зеленой, цветущей и плодородной, радующей глаз трепещущим серебром оливковых деревьев, которые словно спускаются с небес по гигантской лестнице к прозрачному потоку. Несколько лет назад я вместе с компанией английских туристов ехал в Соспель в огромной повозке, влекомой восьмеркой лошадей, и от этого путешествия у меня осталось ощущение головокружения, которое возвращается ко мне всякий раз, когда я слышу название этого городка. Но что собирается делать в Соспеле Бриньоля? Это следовало выяснить. Дилижанс, в котором свободных мест уже не было, тронулся в путь, лязгая железными частями и дребезжа стеклами. Я прыгнул в ближайший экипаж, и вскоре мы уже карабкались по склону долины Карей. Ах, как я жалел, что не предупредил Рультабийля! Странное поведение Бриньоля натолкнуло бы его на мысли, мысли полезные и разумные, тогда как я, не обладая его способностью рассуждать, мог только идти по следу Бриньоля, словно пес за хозяином или полицейский за своей дичью. И если бы я еще хорошо держал этот след! Бриньоля ускользнул от меня, когда нельзя было его терять ни за что на свете, когда я сделал потрясающее открытие! Мне пришлось пропустить дилижанс немного вперед — предосторожность, на мой взгляд, необходимая, — и в Кастийон я приехал, должно быть, минут через десять после Бриньоля. Кастийон находится в верхней точке дороги между Ментоной и Соспелем. Кучер попросил у меня позволения немного подождать, пока лошадь передохнет и напьется. Я вылез из экипажа, и кого, по-вашему, увидел у въезда в туннель, который соединял оба склона горы? Бриньоля и Фредерика Ларсана!

Я так и остался стоять, словно врос в землю, — молча и неподвижно. Клянусь, я был поражен. Когда я собрался с мыслями, на меня нахлынули два чувства: ужас перед

Бриньодем и гордость за себя. Все-таки я был прав! Один я догадался, что этот чертов Бриньольт представляет для Робера Дарзака страшную опасность. Если бы меня послушали, он давно уже не работал бы у профессора Сорбонны. Бриньольт — креатура Ларсана, сообщник Ларсана! Какое открытие! Я же говорил, что происшествия в лаборатории не случайны. Ну, теперь-то мне поверят? Я же своими глазами видел, как Бриньольт и Ларсан обсуждают что-то у въезда в Кастийонский туннель. Видел... Но где же они? Куда-то скрылись. Очевидно, в туннель. Оставив кучера, я поспешил к туннелю, нащупывая в кармане револьвер. Можете себе представить мое состояние. Что скажет Рультабийль, когда я расскажу ему все это? Я, я выследил Бриньоля с Ларсаном.

Но где же они? Я вошел в черный туннель. Ни Ларсана, ни Бриньоля. Взглянул на дорогу, спускающуюся к Соспелю, — никого. Однако слева, в стороне старого Кастийона, я заметил две торопливо движущиеся тени. Они скрылись из виду, и я побежал. Добежав до развалин, я остановился. А вдруг эти тени подстерегают меня?

В старом Кастийоне больше не живут: он был разрушен до основания страшным землетрясением 1887 года. Теперь там осталось лишь несколько полуразрушенных стен, продолжающих потихоньку обваливаться, кое-где стоят почерневшие от пожара лачуги без крыш да уцелевшие столбы, которые постепенно склоняются к земле, словно горюя, что им нечего больше подпирать. Какая тишина! С необычайной осторожностью я шел по этим развалинам, со страхом всматриваясь в глубокие расселины, образовавшиеся в результате подземных толчков. Одна из них показалась мне просто бездонной, и в тот миг, когда я, придерживаясь за почерневший ствол оливы, заглянул в нее, какая-то птица вдруг вылетела оттуда, чуть не задев меня крылом. Я вскрикнул и попятился. Это был орел, который с быстротою молнии прыгнул из бездны. Он взмыл к солнцу, а потом, спустившись ниже, с грозным клекотом закружил надо мной, словно упрекая, зачем я потревожил его в царстве одиночества и смерти, подаренном ему огнем недр.

Неужели мне почудилось? Обе тени исчезли. Я уже подумал, что нахожусь во власти воображения, как вдруг увидел на земле клочок писчей бумаги. Бумага показалась мне похожей на ту, какой пользовался в Сорбонне Робер Дарзак.

На этом обрывке я разобрал только два слога, нацарапанных вроде бы рукою Бриньоля. Это было похоже на

окончание какого-то слова, начало которого отсутствовало. Я прочитал два эти слога: «...бонне».

Два часа спустя я был уже в форте Геркулес и все рассказал Рультабийлю. Он ограничился тем, что положил найденный мною клочок в бумажник, и попросил меня никому не рассказывать об этом путешествии.

Удивленный тем, что такое, казалось бы, важное открытие произвело столь слабый эффект, я взглянул на Рультабийля. Он отвернулся, но я успел заметить у него на глазах слезы.

— Рультабийль! — воскликнул я.

— Тише, Сенклер! — прикрыл он мне ладонью рот.

Я взял его за руку. Да у него жар! Мне пришло в голову, что такое возбуждение вызвано не только переживаниями, связанными с Ларсаном. Я принялся его упрекать: почему он скрывает от меня то, что произошло между ним и Дамой в черном? Однако он по обыкновению не ответил, а лишь глубоко вздохнул и удалился.

Меня ждали с обедом. Было уже поздно. Обед прошел уныло, несмотря на всплески веселости Старого Боба. Мы уже не пытались разогнать нестерпимую тревогу, сжимавшую наши сердца. Создавалось впечатление, что все знают о нависшей над нами угрозе и что вот-вот разразится драма. Супруги Дарзак к еде не притронулись. М-с Эдит поглядывала на меня как-то странно. В десять часов я с облегчением занял свой пост под потерной. Сидя в нашем маленьком зале военного совета, я видел, как под аркой прошли Дама в черном и Рультабийль. Их освещал свет фонаря. Г-жа Дарзак казалась необычайно возбужденной. Она умоляла Рультабийля о чем-то, но слов я разобрать не мог. Из всей их размолвки я уловил лишь одно произнесенное Рультабийлем слово: «Vor!» Затем оба подошли к башне Карла Смелого. Дама в черном протянула молодому человеку руки, но он этого не видел, так как резко повернулся и убежал к себе. Несколько секунд она постояла, опершись о ствол эвкалипта, ее поза выражала несказанное горе; потом Дама в черном медленно вернулась в Квадратную башню.

Было 10 апреля. В ночь с 11-го на 12-е произошло нападение на Квадратную башню.

Нападение было столь необъяснимым, до такой степени выходило за пределы человеческого разума, что, с позволения читателя, я остановлюсь подробнее на отдельных событиях дня 11 апреля — так фантастичность и трагизм происшедшего будут видны более отчетливо.

А. Утро

Весь этот день стояла изнуряющая жара; особенно тяжело нам пришлось в часы дежурства. Солнце жгло немилосердно; на море, сверкающее, словно раскаленный добела стальной лист, было больно смотреть даже сквозь темные очки, без которых в этих краях всегда, за исключением зимы, трудно обойтись.

В девять утра я спустился вниз и, отправившись под потерну, в комнатку, которую мы прозвали залом военного совета, сменил на часах Рультабийля. Ни одного вопроса я задать ему не успел, потому что вошел г-н Дарзак и объявил, что хочет сообщить нам нечто важное. Мы с тревогою спросили, в чем дело, и он ответил, что собирается вместе с г-жой Дарзак уехать из форта Геркулес. От удивления мы с Рультабийлем потеряли дар речи. Придя в себя, я принялся отговаривать его от столь опрометчивого шага. Рультабийль холодно поинтересовался, какие причины побудили г-на Дарзака принять такое неожиданное решение. В ответ г-н Дарзак поведал нам о сцене, которая разыгралась накануне, и мы поняли, насколько трудно стало жить Дарзакам в замке. Все дело сводилось к одной фразе: «С миссис Эдит случилась истерика». Причину истерики мы с Рультабийлем поняли сразу, так как прекрасно видели, что м-с Эдит с каждым часом ревнует все сильнее и все менее спокойно сносит знаки внимания, оказываемые ее мужем г-же Дарзак. Отзвуки сцены, которую она устроила в прошлую ночь г-ну Рансу, проникли сквозь толстые стены «Волчицы» и донеслись до г-на Дарзака, как раз совершавшего обход двора.

Как и всегда в таких обстоятельствах, Рультабийль попытался прибегнуть к голосу рассудка. Он согласился в принципе с г-ном Дарзаком, что их пребывание в форте Геркулес следует по возможности сократить, однако заметил, что речь идет об их безопасности, поэтому слишком спешить с отъездом не следует. Только что опять завязалась борьба между ними и Ларсаном. Если они уедут, Лар-

сан легко сможет их настичь, причем в самое неожиданное время и в самом неожиданном месте. Здесь же они всегда наготове, начеку. Уехав, они окажутся беззащитны: их уже не будут охранять крепостные стены форта Геркулес. Да, так больше продолжаться не может, однако Рультабийль попросил еще неделю — ни больше ни меньше. Когда-то Колумб сказал: «Дайте мне неделю, и я подарю вам новый мир!» Рультабийль, казалось, готов был переиначить эту фразу: «Дайте мне неделю, и я избавлю вас от Ларсана!» Сказать он этого не сказал, но, определенно, подумал.

Г-н Дарзак пожал плечами и ушел. Мне показалось, что он рассердился. В таком состоянии мы видели его впервые.

— Госпожа Дарзак никуда не поедет, и господин Дарзак останется с нею,— проговорил Рультабийль и тоже ушел.

Через несколько минут явилась м-с Эдит. Ее простой, но очаровательный туалет был весьма ей к лицу. Она тут же принялась со мною кокетничать и с несколько показной веселостью смеяться над службой, которую я нес. Я с живостью ответил, что она немилосердна: ей ведь прекрасно известно, что мы бросили вызов злу и несем эти утомительные дежурства, чтобы спасти прекрасную женщину. М-с Эдит рассмеялась и воскликнула:

— Дама в черном! Да она всех вас просто околдовала.

Боже мой, как мило она смеялась! В другое время я, разумеется, не позволил бы говорить в таком тоне о Даме в черном, однако в то утро у меня не было сил сердиться. Напротив, я рассмеялся вместе с м-с Эдит:

— Быть может, вы в чем-то и правы.

— А мой муж еще и сумасшедший! Никогда не думала, что он так романтичен. Но я тоже романтична,— призналась она и посмотрела на меня своим необыкновенным взглядом, который уже не раз заставлял меня терять спокойствие.

В ответ я лишь вздохнул.

— Во всяком случае,— продолжала она,— мне доставила много радости беседа с князем Галичем, который, уж конечно, романтичнее всех вас вместе взятых.

Я скроил такую мину, что она звонко расхохоталась. Что за непонятная женщина!

Тогда я поинтересовался, что такое этот князь Галич, о котором она столько говорит, но которого нигде не видно.

М-с Эдит ответила, что за завтраком мы его увидим — повинувшись нашему желанию, она пригласила его,— и затем рассказала мне кое-что об этом человеке.

Я узнал, что князь Галич — весьма богатый помещик

из той области России, которая именуется там «черноземьем», области весьма плодородной и расположенной между лесами Севера и степями Юга. Унаследовав в двадцатилетнем возрасте обширные подмосковные имения, он расширил их благодаря экономному и разумному управлению, чего никак не ожидали от молодого человека, главными занятиями которого были до этого охота и книги. О нем говорили, будто он человек рассудительный, скупец и поэт. От своего отца он унаследовал также высокое положение при дворе. Он был камергером; ходили слухи, что за большие заслуги отца царь оказывает сыну особое расположение. При этом князь Галич был нежен, словно девушка, и необычайно силен. В общем, этот русский дворянин взял всем. Я его еще не знал, но он был мне уже неприятен. Что же до его отношений с супругами Ранс, то они были по преимуществу соседскими. Купив два года назад великолепное имение, которое за висячие сады, цветущие террасы и балконы прозвали «садами Семирамиды», князь неоднократно оказывал помощь м-с Эдит, когда та надумала устроить в крепостном дворе экзотический сад. Он подарил ей несколько растений, которые прижились в форте Геркулес и цвели почти так же, как на берегах Тигра и Евфрата. Мистер Ранс приглашал порою князя Галича отобедать, после чего тот вместо цветов присылал то ниневийскую пальму, то кактус, именуемый «Семирамида». Это ему ничего не стоило: у него их было слишком много, они ему мешали, а сам он предпочитал розы. К посещениям молодого русского м-с Эдит проявляла определенный интерес, потому что он читал ей стихи — сначала по-русски, потом переводя на английский, а иногда и сам сочинял для нее английские стихи. Стихи, настоящие стихи, посвященные м-с Эдит! Это до такой степени ей льстило, что она даже попросила князя перевести написанные для нее по-английски стихи на русский. Эти литературные забавы весьма нравились м-с Эдит, но оставляли равнодушным ее мужа. Тот, впрочем, и не скрывал, что в князе Галиче ему нравится лишь одна черта его характера, при этом, как ни странно, как раз та, которая была по душе и м-с Эдит, то есть сторона поэтическая, но, он не любил его за скупость. Мистер Ранс не понимал, как поэт может быть скуп; и в этом я с ним согласен. У князя не было своего выезда. Он пользовался трамваем, а иногда и вовсе ходил пешком в сопровождении своего единственного слуги Ивана, тащившего за ним корзину со съестным. К тому же — вздохнула м-с Эдит, узнавшая об этом от своей кухарки, — к тому же он

торговался из-за каждого морского ежа стоимостью в два су. Но странное дело: эта необычная скупость вовсе не вызывала неудовольствия у м-с Эдит; она даже находила ее оригинальной. Дома у князя никто никогда не был. Он ни разу не пригласил супругов полюбоваться своим садом.

— Князь красив? — поинтересовался я, когда м-с Эдит закончила свой панегирик.

— Даже слишком, — отозвалась она. — Сами увидите.

Не знаю почему, но этот ответ был мне особенно неприятен. После ухода м-с Эдит я размышлял о князе до самого окончания своего дежурства, то есть до половины двенадцатого.

При первом ударе гонга к завтраку я, поспешно вымыв руки и приведя себя в порядок, быстро поднялся по ступеням «Волчицы», так как думал, что накрыто будет там, однако, дойдя до передней, услышал музыку и встал как вкопанный. Кто мог осмелиться в такой момент играть в форте Геркулес на рояле? Да к тому же еще и петь: я услышал тихий звук мягкого мужского голоса. Напев звучал странно: то жалобно, то грозно. Теперь я знаю эту песню наизусть — потом мне ее приходилось слышать много раз. Возможно, вы тоже ее знаете, если вам доводилось когда-нибудь пересечь границу холодной Литвы, если вы побывали в этой громадной северной стране. Это песня полуобнаженных дев, которые увлекают путника в пучину и безжалостно его топят, песня «Озера русалок», которую Сенкевич прочитал однажды Михаилу Верещаку. Вот она.

На Свитезь поедешь ночью порою, —
Увидишь в недвижных водах
Луну под собою, луну над собою
И звезды на двух небосводах...
Здесь жены и дочери Свитезя-града
Избегли резни и плененья.
На зелень вокруг обрати свои взгляды —
То бог превратил их в растенья.
Цветы серебром мотылькового роя
Трепещут над бездною синей,
И листья их яркие, как свежая хвоя,
Когда ее выбелит иней.
Как знак чистоты и в ином воплощенье
Хранят этот цвет белоснежный.
Не может их смертный в нечистом стремленье
Коснуться рукою небрежной.

Пришел сюда царь, что не ведал об этом,—
И воины русского края
Толпой устремились, серебряным цветом
Свои шишаки украшая.
Но стоило воинам жадные руки
К воде протянуть дерзновенно,
Как падали тут же в неслыханной муке,—
Их смерть поражала мгновенно.
С тех пор промелькнули чредою столетья,
Но, в память о том наказанье,
Доныне цветы называются эти
«Царями» в народном сказанье...
И тихо от нас отдаляется дева,
И тонут в пучине безмолвно
И лодки и невод... И, полные гнева,
На берег надвинулись волны.
И, деву встречая, разверзлась пучина
И снова сомкнулась, насытись.
И вновь неподвижно, светло и пустынно
Хрустальное озеро Свитезь¹.

Эти-то слова и пел речитативом мягкий мужской голос под печальный аккомпанемент рояля. Я вошел в зал; навстречу мне встал молодой человек. Тут же позади меня послышались шаги м-с Эдит. Она представила нас друг другу. Это был князь Галич.

Князь оказался, как говорится в романах, «красивым и задумчивым молодым человеком»: правильный, немного жесткий профиль придавал лицу выражение суровости, тогда как светлые глаза, очень мягкие и наивные, выдавали почти детскую душу. Его длинные ресницы не стали бы чернее, даже если б он их подкрашивал тушью; именно эта особенность придавала его лицу необычный вид, особенно в сочетании с весьма розовыми щеками, какие можно встретить лишь у искусно нарумяненных женщин да у чохоточных. Во всяком случае, у меня создалось такое впечатление, однако я был слишком настроен против князя Галича, чтобы придавать этому какое-нибудь значение. Я решил, что он слишком молод, без сомнения, потому что сам я похвастаться этим уже не мог.

Я не нашелся что сказать молодому красавчику, распевавшему экзотические песни; м-с Эдит, увидев мое смущение, взяла меня под руку — что доставило мне большое

¹ Перевод П. Карабана.

удовольствие, — и мы медленно пошли меж благоухающих кустов, ожидая второго удара гонга к завтраку, который решили накрыть в беседке, крытой пальмовыми листьями, на площадке башни Карла Смелого.

*Б. Завтрак и все, что за ним последовало.
Нас всех охватывает ужас*

В полдень мы уселись за стол на террасе башни, откуда открывался вид просто бесподобный. Пальмовые листья отбрасывали живительную тень, однако земля и небо вокруг сияли столь нестерпимо, что наши глаза не выдержали бы, не надень мы все темные очки, о которых я упоминал в начале этой главы.

За столом сидели г-н Стейнджерсон, Матильда, Старый Боб, г-н Дарзак, мистер Артур Ранс, м-с Эдит, Рультабийль, князь Галич и я. Рультабийль, не обращая внимания на сотрапезников, сел спиной к морю, чтобы иметь возможность наблюдать все, что происходит в стенах форта. Слуги находились на своих местах: папаша Жак — у входа, Маттони — у потерны, а чета Бернье — в Квадратной башне, перед дверьми в комнаты г-на и г-жи Дарзак.

Завтрак начался в молчании. Мы были несколько смущены собственным видом: молчаливые фигуры вокруг стола, с посверкивающими друг на друга черными стеклами, за которыми не видно ни глаз, ни мыслей.

Первым прервал молчание князь Галич. Весьма любезно обратившись к Рультабийлю, он попытался сказать ему комплимент относительно его журналистской репутации, однако молодой человек ответил князю довольно резко. Нимало этим не смутившись, князь пояснил, что интересуется делами и поступками Рультабийля как подданный царя, поскольку ему известно, что Рультабийль должен в скором времени ехать в Россию. Однако репортер ответил, что ничего еще не решено и что он ждет распоряжений от своей редакции. Князь удивился и достал из кармана газету. Это была русская газета; он перевел несколько строк, касающихся скорого приезда Рультабийля в Санкт-Петербург. По словам князя, в высоких правительственных кругах произошли события столь невероятные и на первый взгляд настолько противоречивые, что по совету начальника парижской уголовной полиции петербургский полицмейстер решил попросить газету «Эпок» прислать им на время молодого репортера. Князь Галич подал дело так, что Рультабийль,

залившись краской, сухо ответил, что за всю свою короткую жизнь никогда полицейской работой не занимался, а начальник парижской полиции и петербургский полицмейстер — болваны. Князь рассмеялся, показал красивые зубы, и я обратил внимание на его улыбку: она была жестокая и глупая, словно улыбка ребенка, приклеенная к лицу взрослого. Он тотчас же согласился с Рультабийлем и для убедительности добавил:

— Приятно слышать, что вы рассуждаете таким образом. Теперь от журналистов часто требуют вещей, которые вовсе не к лицу подлинным литераторам.

Рультабийль поддерживать разговор не стал. Его подхватила м-с Эдит, которая принялась восхищаться красотами природы.

— На побережье нет ничего прекраснее «садов Семирамиды», — сказала она и лукаво прибавила: — Ими можно любоваться лишь издали, и от этого они кажутся еще красивее.

Я подумал, что на такую атаку в лоб князь ответит приглашением, но тот промолчал. Несколько уязвленная м-с Эдит внезапно объявила:

— Не хочу скрывать, князь, я видела ваш сад.

— Каким образом? — с удивительным хладнокровием поинтересовался Галич.

— Я была там и вот каким образом...

И она рассказала, как ей удалось побывать в «садах Семирамиды»; князь слушал с ледяным видом.

Ей удалось проникнуть туда совершенно случайно, через заднюю калитку, которая вела из сада к склону горы. При этом м-с Эдит испытала восторг, но не изумление. Часть сада, открывавшаяся со стороны моря, уже подготовила ее к чудесам, тайну которых она так дерзко нарушила. Дойдя до маленького пруда с черной водой, она увидела на берегу сморщенную старушонку с длинным и острым подбородком и большой каллой в руке. Завидев ее, старушонка затрусила прочь, опираясь на каллу, словно на палку. М-с Эдит от души рассмеялась и окликнула: «Сударыня! Сударыня!» Но старушка испугалась еще больше и скрылась за фиговым деревом. М-с Эдит продолжала путь уже с некоторой опаской. Внезапно она услышала шелест листьев — подобный шум производят птицы, когда, испуганные охотником, вылетают из кроны дерева. Это оказалась вторая старушонка, еще более сморщенная, чем первая, но не такая легкая на ногу — она опиралась на клюку с загнутым концом. Она тоже исчезла — м-с Эдит потеряла ее из виду за поворотом

тропинки. Тут из недр таинственного сада появилась третья старушонка, опиравшаяся уже на две клюки с загнутыми концами; она скрылась за гигантским эвкалиптом, причем довольно резво, поскольку имела четыре ноги и, что удивительно, в них не путалась. М-с Эдит шла дальше. Наконец она добралась до мраморного крыльца виллы, украшенного розами, однако крыльцо было под охраной: на верхней его ступеньке, словно вороны на ветке, торчали все три старушонки; раскрыв рты, они угрожающе закаркали. Теперь пришла очередь м-с Эдит спастись бегством.

М-с Эдит рассказала о своем приключении так мило и с такою очаровательной наивностью, явно заимствованной из детских сказок, что я с огорчением понял: женщины, у которых самих за душою ничего нет, могут многое почерпнуть в душе у мужчины, а потом совершенно естественно передать это многое другим.

Князя эта история, казалось, отнюдь не смутила. Он совершенно серьезно объяснил:

— Это три моих феи. Они не покидают меня со дня моего рождения. Я не могу без них ни работать, ни жить. Я выхожу из дому только с их разрешения; они невероятно ревниво оберегают мой поэтический труд.

Едва князь закончил это малоправдоподобное объяснение, как Уолтер, камердинер Старого Боба, принес Рультабийлю телеграмму. Молодой человек попросил разрешения распечатать ее и прочел вслух:

— «Возвращайтесь как можно скорее зпт ждем нетерпением тчк великолепный материал Петербурге».

Телеграмма была подписана главным редактором «Эпок».

— Ну что, господин Рультабийль,— заметил князь,— быть может, вы теперь согласитесь, что я хорошо осведомлен?

Из груди у Дамы в черном вырвался вздох.

— Я не еду в Петербург,— отчеканил Рультабийль.

— При дворе об этом будут сожалеть,— проговорил князь.— Позвольте вам заметить, молодой человек, что вы упускаете хороший случай.

Рультабийлю особенно не понравился «молодой человек»; он даже открыл было рот, чтобы ответить князю, но, к моему великому удивлению, промолчал. Князь продолжал:

— Вы нашли бы там дело, достойное вас. Человек, разоблачивший Ларсана, имеет право тешить себя самыми смелыми надеждами.

Произнесенное вслух имя Ларсана произвело среди нас впечатление разорвавшейся бомбы; все как один затаились за темными очками. Наступила гнетущая тишина. Оглушенные ею, мы сидели недвижно словно статуи. Ларсан!

Почему это имя, которое мы так часто произносили за последние двое суток, имя, олицетворявшее опасность, с которой мы уже начали свыкаться,— почему оно произвело в этот миг такой ошеломляющий эффект, какого лично я никогда в жизни не испытывал? У меня было ощущение, что я поражен некой магнетической силой. Во всем теле я почувствовал слабость. Мне захотелось убежать, но, казалось, если я встану, то не удержусь на ногах. Молчание, которое мы продолжали хранить, только усугубляло это невероятное гипнотическое состояние. Почему все молчат? Куда девалась веселость Старого Боба? Его что-то вообще не слышно за завтраком... А другие — почему они молчат, скрывшись за темными очками? Я обернулся и сразу же понял, что стал жертвой вполне объяснимого явления. Кто-то смотрел на меня, на меня были устремлены чьи-то глаза, я ощущал тяжесть чьего-то взгляда. Я не видел этих глаз, не знал, откуда на меня смотрят, но взгляд был... Я его чувствовал... Это был его взгляд. А между тем позади меня никого не было. Ни справа, ни слева, ни спереди — никого, кроме сидящих за столом людей, которые замерли, спрятавшись за темными очками. Но тогда... Тогда мне вдруг стало ясно, что на меня смотрят глаза Ларсана, скрытые за одними из очков. Темные стекла — и за ними Ларсан!

И вдруг это чувство пропало. Я перестал ощущать на себе взгляд и вздохнул с облегчением. Мне ответил чей-то вздох. Рультабийль? Или Дама в черном тоже только что ощутила эту тяжесть — тяжесть взгляда? Раздался голос Старого Боба:

— Князь, я вовсе не думаю, что ваша последняя кость середины четвертичного периода...

Темные очки пришли в движение.

Рультабийль встал и сделал мне знак следовать за ним. Я побежал в наш зал заседаний. Как только я появился, он закрыл дверь и спросил:

— Почувствовали?

Мне было никак не отдышаться, и я пробормотал:

— Он там! Там, или мы сходим с ума.— Немного помолчав, я добавил уже более спокойно: — Знаете, Рультабийль, очень возможно, что мы действительно сходим

с ума. Навязчивая мысль о Ларсане доведет нас до палаты для буйных, мой друг. Сидим в замке всего двое суток, и вы видите, в каком мы уже состоянии...

— Нет, нет,— перебил Рультабийль.— Я чувствую, он здесь. Я почти касаюсь его. Но где? Когда? Попав сюда, я сразу почувствовал, что мне следует все время быть здесь. Нет, я не попадусь в западню. Я никуда не пойду его искать, хотя и видел его за пределами замка, и вы тоже его там видели.

Внезапно Рультабийль успокоился, нахмурил брови, закурил трубку и сказал, как в доброе старое время, когда он не знал об узах, связывающих его с Дамой в черном, и движения сердца не мешали ему рассуждать:

— Поразмыслим.

Рультабийль сразу же припомнил правило, которым пользовался много раз и которое беспрестанно повторял, чтобы не дать видимости себя обмануть: «Ларсана следует искать не там, где он появляется, а там, где он прячется». За этим последовало дополнительное правило: «Он появляется здесь или там для того, чтобы никто не увидел, где он на самом деле».

Затем Рультабийль заговорил:

— Ох уж эта мне видимость! Знаете, Сенклер, бывают минуты, когда мне хочется вырвать у себя глаза, чтобы начать правильно рассуждать. Давайте сделаем это — всего минут на пять,— и тогда, быть может, мы все увидим как надо.

Он сел, положил трубку на стол, обхватил руками голову и сказал:

— Все, глаз у меня уже нет. Скажите, Сенклер: кто находится в этих каменных стенах?

— Кого я вижу в этих стенах? — повторил я.

— Да нет же! У вас тоже нет больше глаз, вы не видите ничего. Перечисляйте не глядя. Перечисляйте всех подряд.

— Во-первых, вы и я,— поняв, к чему он клонит, ответил я.

— Прекрасно.

— Ни вы, ни я не являемся Ларсаном,— продолжал я.

— Почему?

— Почему? Скажете тоже!

— Нет, это вы должны мне сказать — почему. Я согласен: да, я не Ларсан; я в этом уверен, потому что я — Рультабийль. Но вы, тот, кто сидит напротив Рультабийля, скажите: почему вы не Ларсан?

— Но вы же видите!

— Несчастный! — воскликнул Рультабийль, еще сильнее прижимая кулаки к глазам.— У меня же нет больше глаз, я не могу вас увидеть. Если бы Жарри из отдела борьбы с азартными играми не видел своими глазами в Трувиле, как граф де Мопа садится метать банк, он поклялся бы, что карты взял в руки Балмейер. Если бы Нобле из отдела меблированных комнат не столкнулся однажды вечером у Труайона лицом к лицу с человеком, в котором признал виконта Друэ д'Эслона, он поручился бы, что человек, которого он пришел арестовать и не арестовал, потому что увидел его,— это Балмейер. Если бы инспектор Жиро, знавший графа де Мотвиля, как вы меня, не увидел его однажды на скачках в Лоншане за беседой с друзьями, он арестовал бы Балмейера. Понимаете ли, Сенклер, мой отец родился раньше меня, и, чтобы его арестовать, нужно изрядно попотеть.

Последние слова Рультабийль проговорил глухо, с такой дрожью и отчаянием в голосе, что у меня сразу же пропала последняя способность к рассуждению. Я лишь воздел руки к небу, но Рультабийль этого не видел — он не хотел ничего больше видеть.

— Нет, нет, больше никого не нужно видеть,— повторил он,— ни вас, ни господина Стейнджерсона, ни господина Дарзака, ни Артура Ранса, ни Старого Боба, ни князя Галича. Но нужно знать, почему кто-нибудь из них не может быть Ларсаном. Погодите, я только передохну немного за этими стенами...

Я уже почти не дышал. Под сводами потерны послышались четкие шаги Маттони, который заступил на дежурство.

— А слуги? — выдавил я.— А Маттони? А другие?

— Я знаю точно, что они не покидали форта Геркулес, когда госпожа и господин Дарзак видели Ларсана на вокзале в Буре.

— Все-таки признайтесь, Рультабийль: они вас не занимают, потому что несколько минут назад никто из них не прятался за черными очками.

— Замолчите, Сенклер. Вы действуете мне на нервы сильнее, чем моя мать! — топнув ногою, вскричал Рультабийль.

Эта сказанная в гнев фразе странно поразила меня. Только я собрался спросить у него, очень ли взволнована Дама в черном, как он не спеша заговорил:

— Первое: Сенклер не может быть Ларсаном, потому что был со мною в Трепоре, когда Ларсан находился в Буре.

Второе: профессор Стейнджерсон не может быть Ларсаном, потому что был между Дижоном и Лионом, когда Ларсан находился в Буре. Точнее, он приехал в Лион за минуту до Ларсана. Господин и госпожа Дарзак видели, как он выходит из поезда. Но все остальные могли быть в Буре и, значит, могут быть Ларсаном — если, конечно, чтобы быть Ларсаном, достаточно было находиться в тот момент в Буре. Там был Дарзак; затем Артур Ранс перед прибытием профессора и господина Дарзака два дня где-то пропадал. Он приехал прямо в Ментону и сразу встретил их (когда я специально спросил об этом миссис Эдит, она подтвердила, что муж отсутствовал два дня по делам). Старый Боб ездил в Париж. И наконец, князя Галича не видели в эти дни ни в пещерах, ни где-нибудь еще. Возьмем для начала господина Дарзака.

— Рультабийль, но это же кощунство!

— Сам знаю.

— Это глупость!

— И это знаю... А впрочем, почему?

— Потому что,— выйдя из себя, закричал я,— пусть Ларсан гений, пусть он может обмануть полицейского, журналиста, репортера, даже самого Рультабийля; пусть он может обмануть даже дочь, выдав себя за ее отца — я имею в виду господина Стейнджерсона,— но никогда ему не обмануть женщину, выдав себя за ее мужа. Друг мой, Матильда Стейнджерсон знала господина Дарзака задолго до того, как вошла с ним под руку в форт Геркулес.

— Ларсана она тоже знала,— холодно заметил Рультабийль.— Вот что, мой дорогой. Ваши доводы сильны, но поскольку (ох уж эта его ирония!) я не знаю в точности, насколько далеко простирается гений моего отца, то, чтобы удостовериться относительно личности господина Дарзака, которой я, кстати, и не пытаюсь у него отнять, я воспользуюсь доводом посильнее: если Робер Дарзак — это Ларсан, то Ларсан не появлялся бы несколько раз перед Матильдой Стейнджерсон, потому что именно появления Ларсана и отдаляют Матильду от Дарзака.

— Ну к чему столько умствований,— воскликнул я,— когда достаточно просто раскрыть глаза. Раскройте глаза, Рультабийль, и посмотрите.

Молодой человек послушался.

— На кого? — спросил он с бесконечной горечью.— На князя Галича?

— А почему бы и нет? Он что, вам нравится, этот чернотелый князь, поющий литовские песни?

— Нет, но он нравится м-с Эдит,— парировал Рультабийль и ухмыльнулся.

Я сжал кулаки. Он это заметил, но вида не подал.

— Князь Галич — нигилист, который мне ничуть не интересен,— спокойно добавил он.

— Вы в этом уверены? Да и кто вам сказал такое?

— Матушка Бернье знает одну из старушек, о которых рассказывала нам за завтраком миссис Эдит. Я проверил: это мать одного из троих преступников, повешенных в Казани, за то что они собирались бросить бомбу в императора. Две другие старушки — матери двоих других. Ничего интересного,— резко закончил Рультабийль.

Я не смог сдержать жест восхищения.

— А вы времени не теряете!

— Он тоже,— проворчал молодой человек.

Я скрестил руки на груди.

— А Старый Боб?

— Нет, дорогой мой, нет! — чуть ли не с гневом отрезал Рультабийль.— Этот — ни в коем случае. Вы заметили, что он носит парик, не так ли? Так вот, уверяю вас, если мой отец наденет парик, этого никто не заметит.

Он произнес это с такой злостью, что я решил уйти. Рультабийль остановил меня.

— Погодите-ка. Остался еще Артур Ранс.

— Ну, этот не изменился,— отозвался я.

— Опять глаза! Поосторожнее с глазами, Сенклер.

После этого предупреждения Рультабийль пожал мне руку. Я заметил, что у него рука влажная и горячая. Он ушел. Я немного задержался, думая... думая — о чем? О том, что напрасно я сказал, будто Артур Ранс не изменился. Во-первых, он отпустил крошечные усики, что американцам старого закала вовсе не свойственно. Затем, отрастил волосы, и челка стала спускаться ему на лоб. Кроме того, я ведь не видел его целых два года — за этот срок можно измениться. И наконец, Артур Ранс, не пивший ничего, кроме спиртного, теперь не пьет ничего, кроме воды. Но тогда м-с Эдит... Что м-с Эдит? Неужели я тоже схожу с ума? Почему я сказал «тоже»? Как... как Дама в черном? Как Рультабийль? Неужели я считаю, что у Рультабийля тоже не все дома? Ах, эта Дама в черном нас всех околдовала! Она дрожит от собственных воспоминаний, и нас теперь лихорадит вместе с нею. Увы, страх заразен, как холера.

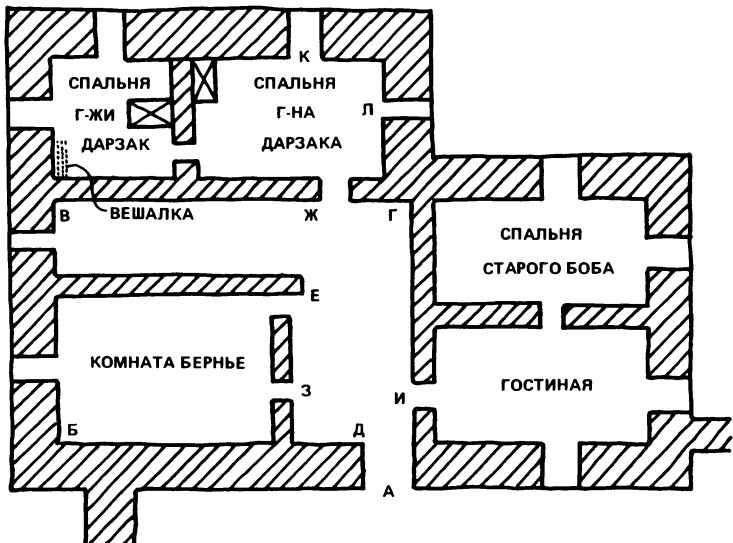
Воспользовавшись тем, что мне не нужно дежурить, я отправился к себе отдохнуть, однако спал плохо: мне сразу же приснилось, что Старый Боб, мистер Ранс и м-с Эдит — шайка ужасных бандитов, поклявшихся погубить нас с Рультабийлем. Проснувшись в мрачном настроении и увидев древние башни и Старый замок, все эти грозные каменные громады, я был близок к тому, чтобы поверить в кошмар, и проговорил вслух: «Занес же нас черт в это логово!» Затем выглянул в окно. По двору шла м-с Эдит, небрежно беседуя с Рультабийлем и держа в своих хорошеньких точеных пальчиках яркую розу. Я побежал вниз, но во дворе ее уже не оказалось. Тогда я присоединился к Рультабийлю, направлявшемуся с проверкой в Квадратную башню.

Журналист был очень спокоен и, казалось, вновь обрел власть над своими мыслями, равно как и глазами, которые больше уже не закрывал. Да, интересно все-таки наблюдать, как Рультабийль что-либо осматривает. Ничто не ускользает от его внимания. А Квадратная башня, где жила Дама в черном, была предметом постоянного его попечения.

Пользуясь случаем — таинственное нападение произойдет еще через несколько часов, — я хочу познакомить вас с расположением помещений в этаже башни, находящемся на одном уровне с двором Карла Смелого.

Войдя в Квадратную башню через единственную дверь А, вы оказываетесь в большом коридоре, который является частью бывшей кордегардии. Когда-то это было помещение Б-В-Г-Д с каменными стенами и дверьми в другие комнаты Старого замка. М-с Ранс приказала воздвигнуть в бывшей кордегардии две деревянные стенки и выгородить таким образом довольно просторное помещение, в котором собиралась устроить ванную комнату.

Теперь же мимо этого помещения проходили два коридора, пересекающиеся под прямым углом, — В-Г и Г-Д. В нем временно расположилась чета Бернье, вела туда дверь Е. Чтобы подойти к двери в комнаты супругов Дарзак (Ж), нужно было обязательно миновать дверь в привратническую, где всегда находился кто-то из супругов Бернье. Заходить в привратническую разрешалось только им. Кроме того, через окошко З из привратнической можно было наблюдать за дверью И, которая вела в комнаты Старого Боба. Когда Дарзаки выходили, единственный ключ



от двери Ж хранился всегда у Бернье; это был новый специальный ключ, заказанный Рультабийлем в одному ему известном месте. Замок юный репортер ставил собственноручно.

Рультабийль хотел, чтобы и ключ от комнат Старого Боба тоже хранился в привратничке, однако американец выразил столь бурный и комичный протест, что репортеру пришлось уступить. Старый Боб не желал, чтобы с ним обращались как с пленником, и настаивал на том, что он должен иметь возможность приходить и уходить когда вздумается, не спрашивая ключи у привратника. Поэтому дверь к нему всегда была открыта, и он мог сколько угодно ходить из своих комнат в кабинет, устроенный в башне Карла Смелого, не причиняя беспокойства ни себе, ни другим. Но в таком случае дверь А следовало держать открытой. Старый Боб так и заявил, а м-с Эдит с немалой долей иронии поддержала дядюшку, сказав, что вряд ли он требует такого же обращения, как дочь профессора Стейнджерсона, и Рультабийль не стал настаивать. Слова, слетевшие с тонких губ м-с Эдит, звучали так: «Но, господин Рультабийль, мой дядя не боится, что его похитят!» Рультабийль понял: ему остается лишь посмеяться вместе со Старым Бобом над нелепым предположением, что человека, единственная привлекательная черта

которого — самый старый в мире череп, могут похитить, словно хорошенькую женщину. И Рультабийль смеялся; он смеялся даже громче Старого Боба, однако поставил условие: в десять вечера дверь А будет запирается на ключ, а супруги Бернье отпрут ее, если возникнет такая необходимость. Это было тоже неудобно для Старого Боба, который иногда засиживался за работой в башне Карла Смелого. Но он не хотел больше спорить с этим славным Рультабийлем, который, должно быть, боится воров. В оправдание Старого Боба нужно сказать, что к мерам защиты нашего молодого друга он относился так лишь потому, что ему ничего не сообщили о появлении Ларсана — Балмейера. Ему, разумеется, рассказывали о прошлых несчастьях м-ль Стейнджерсон, но он понятия не имел, что и после того, как она стала г-жой Дарзак, эти несчастья отнюдь не прекратились. К тому же Старый Боб, как и все ученые, был эгоистом. Весьма довольный тем, что владеет самым старым на свете черепом, он и представить не мог, что мир вращается вовсе не вокруг него.

Рультабийль, мило осведомившись о здоровье матушки Бернье, которая чистила картошку, доставая ее из лежавшего рядом большого мешка, попросил папашу Бернье отпереть дверь в комнаты четы Дарзак.

В спальне г-на Дарзака я был впервые. Выглядела она холодной и мрачной, а ее меблировка не отличалась роскошью: дубовая кровать да туалетный столик, пододвинутый к окну К, сделанному на месте бывшей бойницы. Стена там была так толста, а бойница так широка, что в образовавшейся нише г-н Дарзак устроил нечто вроде туалетной комнаты. Второе окно, окно Л, было меньше. Оба окна были забраны толстыми решетками, через которые едва проходила рука. Кровать на высоких ножках стояла в углу между наружной стеной и каменной перегородкой, отделявшей спальню г-на Дарзака от спальни его жены. Напротив, в углу башни, помещался стенной шкаф. Посередине комнаты стоял небольшой стол с несколькими научными книгами и письменными принадлежностями. Завершали меблировку кресло и три стула. Спрятаться здесь было просто невозможно, разве что в стенном шкафу. Поэтому супругам Бернье было поручено, заходя в комнату для уборки, всякий раз проверять этот шкаф, где г-н Дарзак держал одежду; да и Рультабийль, наведываясь в отсутствие супругов осмотреть комнаты Квадратной башни, всегда в него заглядывал.

Так он сделал и на этот раз. Переходя в спальню г-жи Дарзак, мы были уверены, что в комнате ее мужа никого нет, ибо, как только мы вошли, папаша Бернье, следовавший за нами с неизменно озабоченным видом, запер на задвижку дверь, ведущую из коридора.

Спальня г-жи Дарзак была меньше, чем у ее мужа, но благодаря удачному расположению окон светлая и веселая. Едва ступив на порог, Рультабийль побледнел и, повернув ко мне свое доброе и погрузневшее лицо, проговорил:

— Сенклер, чувствуете? Духи Дамы в черном!

Ей-богу, я ничего не чувствовал. Окно, снабженное решеткой, как и все остальные, выходящие на море, было широко распахнуто, и легкий ветерок развеивал занавеску, висевшую на карнизе над вешалкой, которая была прибита к одной из стен. У другой стены стояла кровать. Вешалка находилась так высоко, что висевшие на ней платья и пеньюары, равно как и закрывающая ее занавеска, не доходили до пола; если за ними кто-нибудь захотел бы спрятаться, то были бы видны ноги. Штанга, по которой двигались вешалки с одеждой, была очень тонкой, и забраться на нее тоже не было никакой возможности. Тем не менее Рультабийль тщательно обследовал этот гардероб. Стенного шкафа в комнате не было. Туалет, бюро, кресло, два стула и четыре стены, между которыми, кроме нас, никого, бог тому свидетель.

Заглянув под кровать, Рультабийль жестом выдворил нас из комнаты. Сам он вышел последним. Бернье тут же запер дверь маленьким ключом и положил его в верхний карман куртки, который вдобавок застегнул на пуговицу. Мы повернули по коридору и зашли в апартаменты Старого Боба, состоявшие из гостиной и спальни; осматривать их было так же легко, как и комнаты Дарзаков. Никого, мебелировка скудная — стенной шкаф и почти пустой книжный шкаф с отворенными дверцами. Когда мы выходили из этих комнат, матушка Бернье как раз поставила стул на пороге у своих дверей, чтобы ей было удобнее наблюдать, не отрываясь от своего занятия — чистки картошки.

Зашли мы и в комнату, занимаемую супругами Бернье. На остальных этажах башни никто не жил; туда вела маленькая лестница, начинавшаяся в углу Б. Попасть на эту лестницу можно было через люк в потолке комнаты Бернье. Рультабийль попросил молоток и гвозди и заколотил люк. Теперь вход на лестницу был закрыт.

Можно смело утверждать, что Рультабийль, поскольку от него ничего не ускользало, не оставил в Квадратной башне никого, кроме супругов Бернье, после того как осмотрел ее и вышел со мною оттуда. Можно также утверждать, что в комнатах Дарзаков не было ни души, пока папаша Бернье несколько минут спустя сам не отпер дверь г-ну Дарзаку. Расскажу, как это произошло.

Примерно без пяти пять мы с Рультабийлем, оставив Бернье у двери в комнаты Дарзаков, вышли во двор. Дойдя до площадки старой башни, возвышавшейся подле потерны, мы сели на парапет и уставились вниз, на кроваво-красные отблески, лежавшие на Красных Скалах. И вот, у края Барма Гранде, таинственно зиявшей на фоне огненных Красных Скал, мы вдруг увидели подвижную и вместе с тем мрачную фигуру Старого Боба. Он представлял собою единственное черное пятно в окружающем пейзаже. Вздыхающиеся из моря отвесные утесы были так багровы, что казались раскаленными от внутреннего жара земли. В своем сюртуке и цилиндре этот факельщик из похоронного бюро, нелепый и жуткий, казался невероятным анахронизмом на фоне пещеры, образовавшейся когда-то в пылающей лаве, пещеры, которая триста тысяч лет назад служила, быть может, первым пристанищем для первой семьи в первые дни Земли. Зачем нужен этот мрачный могильщик среди пламенеющих камней? Он потрясал своим черепом и смеялся, смеялся... Нам было больно слышать этот смех, он раздирал нам уши и сердце.

Затем наше внимание переключилось со Старого Боба на Робера Дарзака, который вышел из-под потерны и пересекал двор Карла Смелого. Нас он не видел. Вот он-то уж не смеялся! Рультабийль жалел его, понимая, что ученый держится на пределе. Молодой человек рассказал мне, что днем Дарзак сказал ему: «Неделя — это много! Не знаю, вынесу ли я еще неделю такой пытки». Рультабийль спросил у него: «А куда вы поедете?» «В Рим», — ответил тот. Очевидно, дочь профессора Стейнджерсона хочет ехать только туда; Рультабийль полагал, что бедняга Дарзак задумал это путешествие, поняв, что только папа римский может решить его дело. Бедный г-н Дарзак! Да, в самом деле: ему не до смеха. Мы не спускали с него глаз до дверей Квадратной башни. Да, он держался из последних сил: сгорбился, засунул руки в карманы. Вид его выражал крайнее отвращение ко всему. Должно быть, ему действительно все опротивело. Он вынул руки из карманов, однако вид его все равно не вызывал улыбки. И все же, признаюсь,

я улыбнулся. Дело в том, что не без помощи гениального Рультабийля г-н Дарзак невольно вызвал во мне дрожь ужаса, дрожь, пронизавшую меня до мозга костей! Ну как мог Рультабийль вообразить такое!

Г-н Дарзак вошел в Квадратную башню, и Бернье отпер ему дверь. Для этого он подошел к двери и достал ключ из кармана; позже мы выяснили, что решетка на окне не была перепилена — все это позволило нам сделать вывод: когда г-н Дарзак вошел к себе в спальню, в занимаемых им и его женой комнатах не было никого. Это несомненно.

Конечно, все это мы уточнили позже; и я рассказываю об этом сейчас только потому, что меня преследует мысль о том необъяснимом, что притаилось в тени и вот-вот выйдет на свет божий.

Наступило пять часов.

*Г. Вечер между пятью часами и минутой,
когда произошло нападение на Квадратную башню*

Мы с Рультабийлем еще с час проговорили или, точнее, промучили себя всяческими предположениями, сидя на земляной площадке башни. Вдруг Рультабийль хлопнул меня по плечу и, вскричав: «А я думаю...», бросился в Квадратную башню. Я последовал за ним, хотя и представить себе не мог, о чем он думает. Оказалось — о мешке с картошкой матушки Бернье, который он тут же высыпал на пол, к немалому изумлению почтенной женщины. Удовлетворенный сделанным и, по-видимому, получив ответ на терзавший его вопрос, он вернулся вместе со мной во двор Карла Смелого, предоставив папаше Бернье собирать рассыпанную картошку.

Г-жа Дарзак появилась на секунду в окне комнаты своего отца, на втором этаже «Волчицы».

Жара сделалась невыносимой. Близилась гроза, и нам хотелось, чтобы она разразилась как можно скорее.

Да, гроза должна была принести облегчение. Море казалось тяжелым, воздух был тяжелым, мы чувствовали тяжесть в груди. Проворнее всех существ земных и небесных, Старый Боб снова в необычайном возбуждении появился у Барма Гранде. Можно было подумать, что он танцует. Но нет, он произносил речь. Однако перед кем? Мы перегнулись через парапет. На берегу явно был кто-то, к кому Старый Боб обращал свои разглагольствования на допотопные темы, но пальмовые листья скрывали от нас слушате-

лей Старого Боба. Наконец они подошли к «Черному профессору», как называл его Рультабийль. Их было двое: во-первых, м-с Эдит... Да, это она: ее легко узнать по томному изяществу, с которым она опирается на руку мужа. Мужа? Но ведь это вовсе не ее муж! Кто же этот молодой человек, на чью руку с таким томным изяществом опирается м-с Эдит?

Рультабийль обернулся, ища вокруг кого-нибудь, кто мог бы на это ответить,— Маттони или Бернье. На пороге Квадратной башни он увидел Бернье и жестом подозвал его. Тот подошел и взглянул туда, куда указывал пальцем Рультабийль.

— Не знаете, кто это там с миссис Эдит? — спросил репортер.

— Князь Галич,— уверенно ответил Бернье.

Мы с Рультабийлем присмотрелись внимательнее. Издали князя Галича мы раньше никогда не видели, я и не думал, что у него такая походка, к тому же он мне казался ниже. Рультабийль понял меня и пожал плечами.

— Ладно, благодарю,— бросил он Бернье.

Мы продолжали наблюдать за м-с Эдит и князем.

— Одно могу сказать,— проговорил Бернье, уходя,— не нравится мне этот князь. Больно уж он нежный. Волосы — слишком светлые, глаза — слишком голубые. Говорят, он русский. Приезжает, уезжает — и никого не предупредит. В позапрошлый раз, когда его пригласили сюда на завтрак, хозяин с хозяйкой ждали его, не решались без него сесть за стол. А потом пришла телеграмма, в которой он извинялся, дескать, опоздал на поезд. Телеграмма пришла из Москвы...

И Бернье, странно ухмыльнувшись, вернулся на порог своей башни.

Наши глаза все еще были устремлены на берег. М-с Эдит и князь прогуливались у пещеры Ромео и Джульетты; Старый Боб, прекратив размахивать руками, спустился вниз, подошел к замку и пересек двор; сверху нам хорошо было видно, что он больше не смеется. Старый Боб вдруг сделался воплощением грусти. Молча зашел он под потерну. Мы его окликнули, но он не услышал. Неся на вытянутой руке свой самый древний череп и неожиданно придя в ярость, он принялся осыпать древний череп отборнейшими проклятиями. Ученый спустился в Круглую башню, и еще некоторое время мы слышали отзвуки его гнева, доносившиеся снизу. Потом раздались глухие удары; казалось, чудак бьется телом о стены.

В этот миг старые часы на Новом замке пробили шесть. И почти одновременно далеко в море раздался первый раскат грома. Горизонт почернел.

Мы увидели, что, выйдя из-под потерны, к нам направляется конюх Уолтер, славный, но грубый парень, не отличавшийся большим умом, однако по-собачьи преданный своему хозяину — Старому Бобу. Он подошел, вручил нам с Рультабийлем по письму и двинулся дальше, в сторону Квадратной башни.

Рультабийль окликнул его и поинтересовался, что он там собирается делать. Тот ответил, что должен отнести Бернье почту для г-на и г-жи Дарзак; весь разговор происходил по-английски, поскольку Уолтер другого языка не знал, а мы объяснялись по-английски вполне сносно. Уолтеру поручили разносить письма после того, как папаша Жак стал постоянно дежурить в привратничкой. Рультабийль взял почту и сказал, что отнесет ее сам.

На землю упали первые капли дождя. Мы подошли к двери г-на Дарзака. Папаша Бернье сидел в коридоре верхом на стуле и курил трубку.

— Господин Дарзак у себя? — спросил Рультабийль.

— Он не выходил, — ответил Бернье.

Мы постучались. Послышался скрежет задвижки (каждый, входя в комнату, по указанию Рультабийля, должен запираться на задвижку).

Г-н Дарзак как раз занимался письмами. Он сидел за столиком посреди комнаты, лицом к двери.

Теперь внимательно следите за тем, что происходило дальше. Рультабийль ворчал; полученное письмо подтверждало сказанное в телеграмме — газета желала непременно послать его в Россию.

Г-н Дарзак с безразличным видом прочел несколько принесенных нами писем и сунул их в карман. Я протянул Рультабийлю полученное мною послание; оно было от моего парижского приятеля, который, рассказав несколько мало-значущих подробностей об отъезде Бриньоля, сообщал, что этот самый Бриньоль велел адресовать свою почту в Соспель, гостиница «Альпы». Это было весьма интересно, и г-н Дарзак с Рультабийлем обрадовались новым сведениям. Мы уговорились отправиться в Соспель, как только сможем, и вышли. Дверь в спальню г-жи Дарзак была открыта, и я успел заметить, что г-жи Дарзак там не было. Как только все мы вышли, папаша Бернье запер дверь на ключ. Да, я видел это собственными глазами: слуга запер дверь и положил ключ в карманчик куртки. Я и сейчас —

клянусь вам! — мысленно вижу, как он кладет ключ в верхний карман куртки и застегивает карман на пуговицу.

Мы вышли втроем из Квадратной башни, оставив папашу Бернье в коридоре, словно верного сторожевого пса, каким он и был до последнего своего дня. Если он и промышлял немного браконьерством, это совсем не означало, что он не мог быть отменным сторожем. Напротив, сторожевые псы как раз и промышляют браконьерством. И я готов заявить во всеуслышание: папаша Бернье всегда честно исполнял свой долг и говорил только правду. Его жена, матушка Бернье, тоже была хорошей привратницей, умной и вместе с тем не болтливой. Теперь она овдовела, и я взял ее на службу к себе. Ей будет приятно прочесть, что я ее ценю и отдаю должное ее мужу. Они оба это заслужили.

Когда Рультабийль, г-н Дарзак и я вышли из Квадратной башни и отправились в Круглую башню навестить Старого Боба, было уже около половины седьмого. Войдя в зал, г-н Дарзак вскрикнул, увидев, в каком состоянии находится акварельный рисунок, который он начал накануне, чтобы хоть немного отвлечься. Рисунок изображал центральную лестницу дворца, какой она, судя по документам, показанным нам Артуром Рансом, была в XV веке. Акварель была безнадежно испорчена, вся краска на ней расплылась. Напрасно Робер Дарзак пытался добиться чего-либо от Старого Боба: тот стоял на коленях перед ящиком со скелетом и был так занят лопаточной костью, что даже не ответил.

Здесь я вынужден сделать маленькое отступление и извиниться перед читателем за ту педантичность, с которой на протяжении нескольких страниц подробно описываю все наши слова и поступки, однако должен сказать, что в те минуты даже самые незначительные детали были важны: ведь драма уже разыгралась, а мы, увы, и не подозревали этого!

Поскольку Старый Боб был зол как собака, мы ушли — во всяком случае, мы с Рультабийлем. Г-н Дарзак остался перед своим испорченным рисунком и думал, конечно, совсем о другом.

Выйдя из Круглой башни, мы взглянули на небо, сплошь покрытое черными тучами. Буря была близка. Шел дождь, но дышать было совершенно нечем.

— Пойду-ка я лягу,— проговорил я.— Сил больше нет. Быть может, хоть наверху посвежее, окна открыты...

Рультабийль пошел вслед за мной в Новый замок. Вдруг на первой площадке широкой расшатанной лестницы он остановил меня:

— Слышите? Она там,— шепотом проговорил он.

— Кто?

— Дама в черном! Разве вы не чувствуете, как благоухает лестница?

С этими словами он скрылся за дверью, попросив меня идти дальше и не обращать на него внимания. Я так и сделал.

Каково же было мое удивление, когда, открыв дверь к себе в комнату, я оказался лицом к лицу с Матильдой!

Она тихонько вскрикнула и выпорхнула в тень, словно испуганная птица. Я выбежал на лестницу и наклонился над перилами. Матильда скользила по лестнице, словно призрак. Она добежала уже до первого этажа, когда площадкой ниже я увидел Рультабийля: он стоял у перил и тоже смотрел на нее. Потом он поднялся ко мне.

— Ну, что я вам говорил? — заметил он.— Несчастливая!

Рультабийль опять казался очень взволнованным.

— Я попросил у господина Дарзака неделю. Но нужно, чтобы все закончилось в двадцать четыре часа, иначе у меня просто не хватит сил.

Внезапно молодой человек опустил на стул.

— Мне душно, душно,— простонал он и ослабил узел на галстуке.— Воды!

Я бросился за графином, но он меня остановил.

— Нет, мне нужна вода с неба,— проговорил он и указал кулаком на небо, которое все никак не могло разразиться ливнем.

Минут десять он сидел на стуле и размышлял. Меня удивило, что он не поинтересовался, зачем Дама в черном приходила ко мне в комнату. Ответить на этот вопрос я затруднялся. Наконец он встал.

— Вы куда?

— На пост, в Садовую башню.

Рультабийль отказался даже прийти пообедать и попросил, чтобы ему принесли еду на пост, словно солдату. Обед был накрыт в половине девятого в «Волчице». Робер Дарзак, только что расставшийся со Старым Бобом, объявил, что тот обедать не желает. М-с Эдит, испугавшись, не стало ли дядюшке плохо, тут же отправилась в Круглую башню. Артур Ранс предложил пойти с нею, но

она отказалась; отношения с мужем у нее, похоже, испортились. Тем временем появилась Дама в черном с профессором Стейнджерсоном. Матильда горестно посмотрела на меня; в ее взгляде читался упрек, который меня весьма встревожил. Она не сводила с меня глаз. К обеду никто так и не притронулся. Артур Ранс, не отрывая взгляда, смотрел на Даму в черном. Все окна были распахнуты, но дышать было нечем. Вскоре раздался удар грома, сверкнула молния, и хлынул ливень. У всех вырвался вздох облегчения. М-с Эдит вернулась как раз вовремя; она успела до ливня, который, казалось, грозил затопить весь полуостров.

Не без живости м-с Эдит рассказала, что, когда она вошла, Старый Боб сидел перед столом, сгорбившись и обхватив руками голову. На ее вопросы он отвечать не стал. Она шутливо тряхнула его, но он лишь дернул плечом. Тогда, поскольку он упрямо зажимал ладонями уши, она легонько ткнула его булавкой с рубином, которой обычно закалывала легкую шаль, что набрасывала на себя по вечерам. Он зарычал, выхватил у нее булавку и в ярости швырнул ее на стол. Затем грубо буркнул, чего раньше за ним не водилось: «Оставьте меня в покое, госпожа племянница!» М-с Эдит так огорчилась, что, не говоря ни слова, вышла, пообещав себе, что в этот вечер ноги ее не будет в Круглой башне. Выходя из башни, м-с Эдит оглянулась и бросила последний взгляд на престарелого дядюшку. То, что она заметила, крайне ее поразило: самый древний в мире череп был перевернут, торчавшая вверх челюсть была вся в крови, а Старый Боб, всегда обращавшийся с любимой древностью корректно, злобно плевал на свой любимый череп. Немного струхнув, м-с Эдит убежала.

Робер Дарзак успокоил м-с Эдит, объяснив, что за кровь она приняла обыкновенную краску — череп Старого Боба был вымазан краской, которой рисовал молодой профессор.

Из-за стола я встал первым, чтобы поскорее отправиться к Рультабийлю, а также уйти от взгляда Матильды. Что Дама в черном делала у меня в комнате? Вскоре мне суждено было это узнать.

Когда я вышел наружу, молнии сверкали непрерывно, дождь лил с удвоенной силой. В несколько прыжков я оказался под потерной. Никаких признаков Рультабийля. Я нашел его на террасе старой башни, возвышавшейся рядом: он наблюдал за входом в Квадратную башню, подставив спину буре. Я потряс его и потащил под потерну.

— Перестань,— воскликнул он,— перестань! Вот так потоп! Как здорово! Как это славно — гнев небесный! Тебе не хочется перекричать гром? А мне хочется — слушай! Я кричу! Кричу! Эй! Эй! Эй! Громче самого грома. Вот его и не слышно.

И в бурной ночи, над ревушими водами раздался его дикий вопль. Я решил, что на этот раз он и в самом деле спятил. Увы! В этих нечленораздельных криках бедный мальчик выплескивал сжигавшую его нестерпимую боль, пламя которой он тщетно старался погасить в своей груди,— боль сына Ларсана!

Внезапно я обернулся. Кто-то схватил меня за руку, и черная фигура прокричала мне сквозь рев ветра:

— Где он? Где он?

Это была г-жа Дарзак, искавшая Рультабийля. Нас ослепила новая вспышка молнии. Охваченный безумием Рультабийль во все горло ревел вместе с громом. Она его услышала. Увидела. Мы были мокры насквозь — на помощь ливню пришло море с его пеной. Юбка г-жи Дарзак развевалась, точно черный флаг, и облепляла мне ноги. Почувствовав, что бедняжка сейчас лишится чувств, я поддержал ее, и тут, среди неистовства стихий, в разгар бури, под проливным дождем, среди бушующего моря, я вдруг почувствовал аромат — нежный, волнующий и грустный аромат духов Дамы в черном. Я понял, каким образом Рультабийль пронес воспоминание о нем сквозь годы. Да, да, это был аромат, полный грусти, аромат глубокой печали... Как будто скромный, одинокий и очень непохожий на другие, аромат цветка, которому суждено одиноко цвести лишь для себя одного. Наконец-то я ощутил аромат, навевший мне все эти мысли. В них я попробую разобраться позже — ведь Рультабийль столько раз повторял мне их. Этот нежный и вместе с тем навязчивый аромат словно бы опьянил меня в разгар битвы воды, ветра и молний, опьянил внезапно, лишь только я его ощутил. Необыкновенный аромат. Да, необыкновенный: ведь я раз двадцать проходил мимо Дамы в черном и не понимал, что в нем такого необыкновенного, а открыл это в миг, когда запах самых стойких духов на свете, даже тех, от которых болит голова, был бы унесен морским ветром, словно нежное дыхание розы. Я понял, что этот аромат нужно не только услышать, но и почувствовать (пусть это сочтут хвастовством, но я убежден: понять запах духов Дамы в черном дано не всякому, для этого нужно обладать глубоким умом, и, вероятно, в тот вечер на меня низошло озарение, хотя

я так и не понял, что творилось вокруг меня). Да, этот грустный, пленительный, упоительно безнадежный аромат нужно почувствовать раз и на всю жизнь, и тогда сердце наполнится благоуханием, если оно принадлежит сыну, такому, как Рультабийль, воспламенится, если оно принадлежит возлюбленному, такому, как Дарзак, или наполнится ядом, если оно принадлежит разбойнику, такому, как Ларсан. Нет, после этого мимо него пройти невозможно, и я разом понял и Рультабийля, и Дарзака, и Ларсана, равно как и все беды дочери профессора Стейнджерсона.

Вцепившись в мою руку, Дама в черном под рев бури звала Рультабийля, но тот с криком: «Духи Дамы в черном!» внезапно большими прыжками скрылся в ночи.

Несчастливая разрыдалась. В отчаянии она принялась стучать кулаком в дверь; Бернье отпер, но плакать она не перестала. Я говорил ей какие-то пустяки, умолял успокоиться, однако отдал бы все, что угодно, чтобы найти слова, которые, никого не выдав, дали бы ей понять, какую роль я играю в драме матери и сына.

Внезапно она свернула направо, в гостиную Старого Боба — по-видимому потому, что дверь туда была отворена. Там мы были одни, как если бы пришли к ней в спальню, — поскольку Старый Боб опять засиделся за работой в башне Карла Смелого.

Боже мой! Этот вечер, эти минуты, что я провел с Дамой в черном, как они были мучительны! Я подвергался испытанию, к которому был совершенно не подготовлен: внезапно, даже не пожаловавшись на буйство стихий (а с меня текло, словно со старого зонта), она спросила:

— Господин Сенклер, вы давно ездили в Трепор?

Я был ослеплен и оглушен сильнее, чем только что громами и молниями. На мгновение буря на дворе утихла, и я понял, что теперь, когда я оказался в укрытии, мне предстоит выдержать гораздо более мощный натиск, чем тот, с каким на протяжении веков волны атакуют форт Геркулес. Должно быть, выглядел я довольно глупо и выдал волнение, в которое повергла меня эта неожиданная фраза. Сначала я ничего не ответил, потом забормотал нечто невнятное, причем выглядел, наверное, весьма забавно. С тех пор прошли годы, однако и теперь эта сцена встает передо мною, словно я смотрю спектакль с собственным участием. Есть люди, которые, вымокнув, совсем не выглядят смешными. Вот и Дама в черном, вся мокрая, только

что, как и я, побывавшая под ливнем, была необычайно хороша: волосы растрепаны, шея открыта, к великолепным плечам прилип тонкий шелк платья, выглядевший в моих восхищенных глазах величественно, словно лоскут, заброшенный каким-то наследником Фидия на камень, только что превратившийся в бессмертную красоту. Я прекрасно понимаю, что мое волнение даже по прошествии стольких лет заставляет меня писать фразы, которым недостает простоты. Больше я ничего по этому поводу не скажу. Но те, кто видел дочь профессора Стейнджерсона вблизи, возможно, меня поймут; здесь, перед лицом Рультабийля, я хочу лишь подчеркнуть те почтительность и растерянность, сжавшие мне сердце, когда я увидел эту божественно прекрасную мать, которая, находясь в смятении, вызванном страшной бурей — и в прямом и в переносном смысле слова, — умоляла меня нарушить данное мною слово. Я ведь поклялся Рультабийлю, что буду молчать, и вот мое молчание было, увы, таким красноречивым, какой никогда не была ни одна из моих речей в защиту обвиняемого.

Она взяла меня за руки и проговорила голосом, который я никогда не забуду:

— Вы его друг. Скажите же ему, что мы оба уже перенесли достаточно горя! — И, готовая разрыдаться, добавила: — Почему он продолжает лгать?

Я молчал. Да и что было отвечать? Эта женщина всегда, как теперь говорят, «держала на расстоянии» — всех вообще и меня в частности. Я никогда для нее не существовал, и вот теперь, когда я вдохнул аромат духов Дамы в черном, она разрыдалась передо мною, как перед старым другом.

Да, как перед старым другом... Она рассказала мне все, я все узнал из нескольких фраз — простых и жалобных, как материнская любовь, я узнал все, что скрывал от меня притворщик Рультабийль. Очевидно, эта игра в прятки долго продолжаться не могла, и они оба поняли это. Толкаемая безошибочным инстинктом, она захотела точно узнать, кто таков этот Рультабийль, который ее спас, которому столько же лет, сколько было бы ее сыну, и который так на него похож. К ней в Ментону пришло письмо, содержавшее доказательство того, что Рультабийль ей солгал: он и близко не подходил ни к какому учебному заведению в Бордо. Она тут же потребовала у молодого человека объяснений, но он упорно уходил от ответа. Тем не менее, когда она заговорила о Трепоре, коллеже в Э,

и о том, что до приезда в Ментону мы с ним там побывали, он забеспокоился.

— Откуда вы узнали? — выдав себя, вскричал я.

Она даже не порадовалась моему невольному признанию, а просто одной фразой объяснила свою хитрость. Когда я застал ее вечером у себя в комнате, это был уже не первый раз, что она к нам заходила. А на моем чемодане была свежая наклейка из Э...

— Я раскрыла ему объятья, так почему же он не идет? — простонала она.— Увы, неужели, отказываясь считать себя отпрыском Ларсана, он не согласится быть моим сыном?

Конечно, Рультабийль вел себя очень жестоко по отношению к женщине, считавшей своего сына мертвым, часто рыдавшей от отчаяния, как я узнал позже, и наконец среди бесчисленных несчастий испытывавшей радость увидеть свое дитя воскресшим из мертвых. Несчастный! Накануне вечером он рассмеялся ей в лицо, когда она из последних сил кричала ему, что у нее был сын и что этот сын — он. Он рассмеялся ей в лицо, а она плакала. Ну что вы тут будете делать! Об этом рассказала мне она сама; я никогда не думал, что Рультабийль настолько жесток, скрытен и дурно воспитан.

В самом деле, он вел себя просто ужасно. Дошел до того, что заявил ей: «Я не уверен, что у меня вообще был отец, пусть даже вор!» Она вернулась тогда в Квадратную башню, и ей захотелось умереть. Но она не для того нашла сына, чтобы тут же вновь его потерять, и потому осталась жить. Я был вне себя. Целовал ей руки. Просил у нее за Рультабийля прощения. Вот к чему привела политика моего друга. Считая, что так ему будет легче защищаться от Ларсана, он убивал собственную мать! Я не мог больше этого слышать. С меня было довольно. Я кликнул Бернье, он отпер мне дверь, и я вышел из Квадратной башни, проклиная Рультабийля. Мне казалось, что он должен быть во дворе Карла Смелого, но там никого не оказалось.

Пробило десять вечера, Маттони только что занял свой пост под потерной. В комнате у моего друга горел свет. Я вскарабкался по расшатанной лестнице Нового замка. Добравшись до двери, я настежь распахнул ее. Рультабийль встал:

— Что вам нужно, Сенклер?

В нескольких торопливых фразах я все ему рассказал; он понял мой гнев.

— Она не все вам поведала, друг мой,— ответил Рультабийль ледяным тоном.— Она не сказала, что запрещает мне прикасаться к этому человеку!

— Правильно,— воскликнул я.— Ее можно понять!

— Что вы тут плетете? — грубо продолжал он.— Знаете, что она мне вчера заявила? Приказала уехать. Она предпочитает умереть, чем видеть, как я сражаюсь с собственным отцом.

В его голосе чувствовалась издевка.

— С собственным отцом! Она, конечно, считает, что он посильней меня.

Говоря эти слова, Рультабийль был страшен. Но внезапно он преобразился и стал даже красив.

— Она боится за меня. Ну а я — за нее. И я не должен помнить, ни кто мой отец, ни кто моя мать!

.

В этот миг ночную тишину разорвал выстрел, за ним раздался крик смертельно раненного человека. Опять этот крик, крик, который я уже слышал когда-то в таинственном коридоре. Волосы у меня встали дыбом; Рультабийль пошатнулся, словно его ударили.

А затем он прыгнул к открытому окну, и весь замок наполнился отчаянным воплем:

— Матушка! Матушка!

Глава 11. Нападение на Квадратную башню

Я бросился к Рультабийлю и обхватил его сзади, опасаясь последствий его безумия. В его криках звучало такое страшное отчаяние, такой неистовый призыв о помощи или, скорее, нечеловеческое желание самому кинуться на помощь, что мне стало страшно: Рультабийль мог забыть, что он всего лишь человек, что он не может вылететь из окна башни и, словно птица или стрела, пронестись сквозь мрак, отделяющий его от места преступления и наполненный его жутким криком. Внезапно он повернулся, оттолкнул меня и помчался, метнулся, полетел кубарем, покатился, ринулся по коридорам, комнатам, лестницам, двору к этой проклятой башне, откуда вырвался в ночь смертельный крик, подобный тому, что звучал в таинственном коридоре.

Я остался у окна, прикованный к месту этим ужасным криком. Я все еще стоял там, когда дверь Квадратной

башни распахнулась и в освещенном проеме появилась фигура Дамы в черном. Она была жива и невредима, но ее бледное, призрачное лицо выражало неопиcуемый ужас. Она протянула руки в темноту, и оттуда вылетел Рультабийль; руки Дамы в черном сомкнулись у него за спиной, и я больше ничего не слышал, кроме вздохов и стонов, да еще трех слогов, непрерывно звучащих во тьме: «Матушка! Матушка!»

Наконец я тоже спустился во двор; в висках у меня стучало, сердце билось с перебоями, вены чуть не лопались. То, что я увидел на пороге Квадратной башни, меня отнюдь не успокоило. Напрасно я пытался себя урезонить: «Ничего, мы ведь считали, что дело плохо, как все вдруг стало на свои места. Разве сын не отыскал свою мать? Разве мать не вернула наконец себе сына?» Но откуда, откуда этот смертный крик, если она жива? Откуда этот ужасный крик, прозвучавший перед тем, как она появилась на пороге башни?

Как ни странно, но, идя по двору, я не встретил ни одной живой души. Неужели никто не слышал выстрела? Неужели никто не слышал крика? Где г-н Дарзак? Где Старый Боб? Неужели он до сих пор работает в нижнем зале Круглой башни? Я готов был в это поверить: там, внизу, еще горел свет. А Маттони? Он что, тоже ничего не слышал? Он же дежурил в Садовой башне. Ничего себе! А Бернье? А матушка Бернье? Их нигде не было видно, а дверь Квадратной башни распахнута настежь! Ах, какой нежный шепот: «Матушка! Матушка!» И ответные слова сквозь плач: «Мальчик мой!» Они даже не закрыли как следует дверь в гостиную Старого Боба. Туда-то она и увела свое дитя.

Так они и сидели одни в этой комнате, сжимая друг друга в объятьях и повторяя: «Матушка!», «Мальчик мой!». А потом они заговорили прерывистыми, незаконченными фразами. Это были какие-то божественные глупости. «Значит, ты не умер?» — «Конечно, нет!» И от этих слов они снова начинали плакать. Ах, как они обнимали друг друга, на-верстывая упущенное время! Как он, должно быть, наслаждался ароматом духов Дамы в черном! Еще я слышал, как Рультабийль сказал: «Знаешь, матушка, украл тогда не я». По звуку голоса можно было подумать, что бедняге Рультабийлю все еще девять лет. «Конечно, мальчик мой, конечно, не ты». Подслушивал я непроизвольно, но у меня вся душа переворачивалась. Оно и понятно: мать вновь обрела свое дитя.

Но где же Бернье? Я вошел в привратническую, желая выяснить, почему кричали и кто стрелял.

В глубине привратнической, освещенной лишь маленьким ночником, матушка Бернье бесформенной массой полулежала в кресле. Когда прозвучал выстрел, она, по-видимому, была уже в постели, а потом в спешке накинула на себя какую-то одежду. Ее черты были искажены от страха.

— Где папаша Бернье? — спросил я.

— Там,— дрожа, ответила она.

— Там? Где — там?

Матушка Бернье не ответила.

Сделав по привратнической несколько шагов, я споткнулся и наклонился, чтобы посмотреть, что попало мне под ноги. Оказалось, я наступил на картофелину. Я опустил ночник: весь пол был усыпан раскатившейся картошкой. Неужто мамаша Бернье не удосужилась собрать ее после того, как Рультабийль опорожнил мешок?

Я выпрямился и повернулся к матушке Бернье:

— Но ведь тут стреляли! Что случилось?

— Не знаю,— ответила та.

Я услышал, как кто-то затворил дверь в башню, и на пороге появился папаша Бернье.

— А, это вы, господин Сенклер!

— Бернье, что случилось?

— Ничего серьезного, господин Сенклер, уверяю вас, ничего серьезного.— Говорил он слишком громко и бодро, и я усомнился, что он и в самом деле так невозмутим, каким старается казаться.— Пустяковое происшествие. Господин Дарзак положил свой револьвер на ночной столик, а револьвер нечаянно выстрелил. Госпожа, понятное дело, испугалась и закричала, а так как окно у них было открыто, она решила, что вы с господином Рультабийлем услышите, и вышла, чтобы вас успокоить.

— Стало быть, господин Дарзак вернулся к себе?

— Он пришел почти сразу же после того, как вы ушли из башни, господин Сенклер. А револьвер выстрелил почти сразу после того, как он вошел в комнату. Не думайте, я ведь тоже испугался, побежал со всех ног. Господин Дарзак мне открыл. К счастью, никого не ранило.

— А госпожа Дарзак вернулась к себе тоже сразу после моего ухода?

— Сразу же. Услышала, как вошел господин Дарзак, и пошла за ним. Они ушли вместе.

— Господин Дарзак у себя в спальне?

— Да вот он!

Я обернулся и увидел Робера; несмотря на плохое освещение, я заметил, что он чудовищно бледен. Знаком он попросил меня подойти. Я повиновался, и он проговорил:

— Послушайте, Сенклер, Бернье, наверное, уже рассказал вам о происшествии. Думаю, о нем не следует говорить никому, если, конечно, вас не спросят. Другие, быть может, не слышали выстрела. Ни к чему пугать людей, верно? Да, кстати, у меня к вам просьба.

— Выкладывайте, друг мой, — ответил я. — Вы же знаете: я весь ваш. Располагайте мною, если я чем-то могу быть полезен.

— Благодарю. Речь идет лишь о том, чтобы уговорить Рультабийля идти спать. Когда он уйдет, жена успокоится и тоже ляжет. В отдыхе нуждаются все. Спокойствие, Сенклер, спокойствие! Всем нам требуются отдых и покой.

— Ладно, мой друг, можете на меня рассчитывать. Чтобы подчеркнуть свою преданность, я крепко пожал ему руку, однако вместе с тем у меня осталось убеждение, что все они скрывают от нас нечто серьезное, очень серьезное.

Он ушел к себе, а я не мешкая отправился в гостиную Старого Боба за Рультабийлем, однако на пороге столкнулся с Дамой в черном и ее сыном, которые как раз выходили оттуда. Оба они были молчаливы и держались как-то непонятно: я ведь только что слышал их восторги и полагал, что увижу сына в материнских объятиях. Я молча застыл от удивления. Поспешность, с какою г-жа Дарзак стремилась в столь исключительных обстоятельствах расстаться с Рультабийлем, невероятно заинтриговала меня, а покорность, с какою Рультабийль подчинился, меня просто изумила. Матильда поцеловала моего друга в лоб и сказала: «До свидания, дитя мое» — столь бесцветным, печальным и в то же время торжественным тоном, словно прощалась, лежа на смертном одре. Рультабийль молча увлек меня вон из башни. Он дрожал как лист.

Дверь в Квадратную башню закрыла сама Дама в черном. Я был уверен, что там произошло нечто неслыханное. История с револьвером меня не удовлетворяла; Рультабийль, без сомнения, думал так же, если, конечно, его рассудок и сердце не помутились окончательно от того, что произошло между ним и Дамой в черном. А потом, с чего я взял, что Рультабийль думает не так же, как и я?

Едва мы вышли из Квадратной башни, как я схватил Рультабийля и подтолкнул его к парапету, соединяющему Квадратную и Круглую башни, под крышу Круглой башни. Репортер, послушный как ребенок, прошептал:

— Сенклер, я поклялся матери, что не буду видеть и слышать ничего, что произойдет этой ночью в Квадратной башне. Это мое первое обещание матери, Сенклер, но свое место в раю я уступаю ей. Я должен все видеть и слышать.

Мы стояли неподалеку от еще горевшего окна гостиной Старого Боба, которое выдавалось над морем. Окно это было открыто, благодаря чему мы и услышали так отчетливо выстрел и смертный крик, невзирая на толстые стены башни. С того места, где мы стояли, заглянуть в окно мы не могли; но как знать, может быть, мы услышим что-нибудь? Буря уже стихла, однако волны еще не улеглись и разбивались о скалы полуострова Геркулеса с яростью, делавшей невозможным приближение лодки к берегу. Мысль о лодке возникла у меня потому, что на какую-то секунду мне почудилось, будто во мраке появилась и исчезла тень лодки. Впрочем, что я! Скорее всего, это была игра моего воображения, которому везде мерещились зловещие тени, воображения, разыгравшегося гораздо сильнее, чем волны.

Мы простояли так минут пять в полной неподвижности, как вдруг из окна донесся вздох — тяжкий, протяжный, похожий на стон, на последний вздох агонии, — тихая жалоба, далекая, как уходящая жизнь, и близкая, как стоящая у порога смерть. На лбу у нас выступил пот. Потом — ничего, только беспрестанный рев моря... А затем окно внезапно погасло. Квадратная башня чернела в ночи. Мы с Рультабийлем, не сговариваясь, взяли за руки, как бы приказывая друг другу молчать и не двигаться. Там, в башне, кто-то умирал. Кто-то, кого от нас прятали. Почему? И кого? Кого же? Это не г-жа Дарзак, не г-н Дарзак, не папаша Бернье и, разумеется, не Старый Боб: это был кто-то, кто не должен находиться в башне.

Рискуя свалиться за парапет, вытянув шеи в сторону окна, через которое донесся этот последний вздох, мы слушали. Прошли четверть часа, показавшиеся нам вечностью. Рультабийль кивнул мне на освещенное окно своей комнаты. Я понял. Мне следовало погасить свет и вернуться. С тысячью предосторожностей я сделал это и через пять минут снова стоял рядом с Рультабийлем. Теперь двор Карла Смелого был темен, если не считать слабого отблеска

у подножия Круглой башни, говорившего о том, что Старый Боб еще трудится в ее нижнем зале, да свечи, горевшей в Садовой башне, где дежурил Маттони. В сущности, если принять во внимание, где они находились, можно было прекрасно объяснить, почему ни Старый Боб, ни Маттони не слышали того, что произошло в Квадратной башне, равно как и криков Рультабийля, которые в стихающем урагане пронесли у них над головами. Стены Садовой башни были толсты, а Старый Боб в буквальном смысле слова зарылся под землю.

Едва я проскользнул в угол между башней и парапетом, где все еще стоял настороже Рультабийль, как мы ясно услышали скрип дверных петель: кто-то осторожно отворял дверь Квадратной башни. Я довольно сильно выдвинулся вперед, однако Рультабийль оттеснил меня, а сам чуть-чуть высунул голову из-за угла. Он стоял согнувшись, и я, вопреки его наказу, выглянул поверх его головы. Вот что я увидел.

Сначала папаша Бернье, которого, несмотря на темноту, нетрудно было узнать, вышел из башни и бесшумно направился в сторону потерны. Посреди двора он остановился, поднял голову и посмотрел в сторону наших окон в Новом замке, затем вернулся к башне и сделал знак, который можно было истолковать как «все спокойно». Кому предназначался этот знак? Рультабийль высунулся еще дальше, но вдруг отпрянул назад и оттолкнул меня.

Когда мы снова осмелились выглянуть во двор, там уже никого не было. Потом папаша Бернье вернулся; сперва мы его не видели, но услышали его тихий разговор с Маттони. Потом из-под арки потерны донесся какой-то звук, и появился папаша Бернье; рядом с ним двигалась какая-то темная масса — мы узнали в ней двуколку, в которую был запряжен Тоби — пони Артура Ранса. По плотно сбитой земле двора Карла Смелого двуколка катилась почти неслышно, словно ехала по ковро. Да и Тоби вел себя тихо и смирно, как будто следовал наставлениям папаши Бернье. Дойдя до колодца, тот еще раз взглянул на наши окна, после чего, держа Тоби под уздцы, благополучно добрался до дверей Квадратной башни. Там он оставил двуколку и вошел внутрь. Следующие несколько минут показались нам, как говорится, вечностью, особенно для моего друга, который снова, непонятно почему, весь задрожал.

Папаша Бернье появился опять. Он в одиночестве пересек двор и скрылся под потерной. Мы высунулись чуть дальше; посмотри сейчас в нашу сторону те, кто находился на пороге Квадратной башни, мы были бы обнаружены, но

им было не до этого. Взошла яркая луна, осветившая двор голубоватым сиянием; на море легла серебристая дорожка. Из башни вышли двое и, приблизившись к двуколке, удивленно попятились. Мы отчетливо слышали, как Дама в черном тихо проговорила: «Смелее, Робер, нужно именно так!» Позже мы с Рультабийлем пытались выяснить, сказала она «именно так» или «именно там», но ни к какому выводу не пришли.

Робер Дарзак ответил ей странно звучащим голосом: «Этого мне только не хватало!» Сгибаясь под тяжестью какого-то громоздкого свертка, он подтащил его к двуколке и с огромным трудом засунул под сиденье. Стуча зубами, Рультабийль сдернул с головы кепи. Насколько мы могли рассмотреть, это был мешок. Когда г-н Дарзак с трудом поднял его, до нас донесся вздох. Прислонившись к стене башни, Дама в черном смотрела на мужа, но даже не пыталась помочь. И вдруг, когда г-н Дарзак затолкал наконец мешок в двуколку, Матильда проговорила, глухо и с ужасом: «Он еще шевелится!» «Это конец!» — ответил г-н Дарзак, утирая со лба пот. Затем, надев пальто, он взял Тоби под уздцы и, махнул Даме в черном рукою, тронулся в путь, а она, не ответив, так и осталась стоять у стены, словно ожидая казни. Г-н Дарзак показался нам спокойным: он выпрямился, шел твердым шагом — шагом честного человека, выполнившего свой долг. По-прежнему соблюдая все предосторожности, он скрылся вместе с двуколкой под потерной; Дама в черном вернулась в Квадратную башню.

Я хотел было выйти из нашего укрытия, но Рультабийль энергично остановил меня и правильно сделал: из-под потерны вышел Бернье и направился по двору к Квадратной башне. Когда он был метрах в двух от двери, Рультабийль медленно вышел из угла и, встав между испуганным Бернье и дверью, схватил его за руку.

— Идите за мной, — приказал он.

Привратник был ошеломлен. Я тоже вышел из укрытия. Бернье стоял в голубом лунном свете и тревожно смотрел на нас; губы его прошептали:

— Какое несчастье!

— Несчастье случится, если вы не расскажете нам правду,— тихо отозвался Рультабийль.— Но если вы не станете ничего скрывать, несчастья не произойдет. Пошли.

С этими словами Рультабийль повел привратника за руку к Новому замку; я последовал за ними. Начиная с этого момента, я снова стал узнавать в молодом человеке прежнего Рультабийля. Теперь, когда он столь счастливо разрешил касавшуюся лично его загадку, когда он вернул себе аромат духов Дамы в черном,— теперь он напруг всю силу своего ума, чтобы проникнуть в тайну. Теперь, до тех пор пока все не будет закончено, до самой последней минуты — самой драматичной, которую я пережил вместе с Рультабийлем,— минуты, когда его устами говорили и были объяснены жизнь и смерть, он будет следовать своим путем без тени сомнения и не произнесет ни единого слова, которое не приближало бы нас к развязке страшной ситуации, сложившейся после нападения на Квадратную башню в ночь с 11 на 12 апреля.

Бернье не сопротивлялся. Случалось, Рультабийлю пытались сопротивляться, но он быстро преодолевал упорство таких людей, и они просили пощады.

Бернье шел перед нами с опущенной головой, словно обвиняемый, которому предстоит держать ответ перед судьями. Придя в комнату Рультабийля, мы предложили привратнику сесть; я зажег лампу.

Набивая трубку, молодой журналист молча смотрел на Бернье, по-видимому, он хотел узнать по лицу старика, насколько тот откровенен. Затем он нахмурился, глаза его засверкали, и, выпустив несколько клубов дыма, он спросил:

— Итак, Бернье, как произошло убийство?

Бернье покачал головой, как у всех пикардийцев, головой.

— Я поклялся ничего не говорить. Я ничего не знаю, сударь. Честное слово, ничего.

— Тогда расскажите то, чего не знаете,— посоветовал Рультабийль.— Если вы, Бернье, не расскажете мне то, что не знаете, я ни за что не отвечаю.

— За что вы, сударь, не отвечаете?

— За вашу безопасность, Бернье...

— За мою безопасность? Но я же ничего не сделал.

— Не отвечаю за нашу общую безопасность, за нашу жизнь! — закончил Рультабийль и, поднявшись, прошелся по комнате; за это время он явно успел произвести в уме

несколько алгебраических операций. — И так, он был в Квадратной башне?

— Да, — кивнул Бернье.

— Где? В спальне Старого Боба?

— Нет, — отрицательно покачал головой Бернье.

— Спрятался у вас в привратницкой?

— Нет, — снова покачал головой Бернье.

— Вот как! Так где же он был? Не в комнатах же господина и госпожи Дарзак?

— Да, — кивнул Бернье.

— Мерзавец! — прошипел Рультабийль и вцепился Бернье в глотку. Я поспешил привратнику на помощь и вырвал его из цепких рук Рультабийля. Немного придя в себя, Бернье прошептал:

— Что с вами, господин Рультабийль? Почему вы хотели меня задушить?

— И вы еще спрашиваете, Бернье? И вы признаете, что он находился в комнатах господина и госпожи Дарзак? А кто же его туда впустил, если не вы? Ведь когда хозяев нет, единственный ключ у вас.

Сильно побледнев, Бернье встал:

— Вы обвиняете меня, господин Рультабийль, в том, что я сообщник Ларсана?

— Я запрещаю вам произносить это имя, — вскричал репортер. — Вам прекрасно известно, что Ларсан мертв, и давно!

— Давно! — с иронией повторил Бернье. — Верно, я и забыл! Если ты предан хозяевам, если ты сражаешься за них, нужно забыть даже, с кем сражаешься. Прошу прощения!

— Послушайте, Бернье, я знаю и ценю вас. Вы добрый малый. Я обвиняю вас не в предательстве, а в небрежности.

— В небрежности! — воскликнул Бернье, и его бледное лицо побагровело. — В небрежности! Да я из привратницкой и коридора ни на шаг. Ключ все время был при мне, и, клянусь вам, после вашего посещения в пять часов в комнаты никто не заходил, кроме господина Робера и госпожи Дарзак. Я, конечно, не считаю тот раз, когда вы с господином Сенклером заходили около шести.

— Вот как! — отозвался Рультабийль. — Не хотите ли вы, чтобы я поверил, что этого типа — мы ведь забыли, как его зовут, не так ли, Бернье? — этого, скажем так, человека убили в комнатах супругов Дарзак, когда его там не было?

— Нет! Могу вас уверить, он там был.

— Да, но как он туда попал? Вот о чем я вас спрашиваю, Бернье. И вы один можете ответить на этот вопрос: ведь когда господина Дарзака не было, ключ находился у вас; когда же ключ был у него, он не выходил из комнаты, а спрятаться там в его присутствии никто не мог.

— Вот в этом-то и загвоздка, сударь. И господина Дарзака это просто поставило в тупик. И я ответил ему так же, как вам: в этом-то и загвоздка.

— Когда мы с господином Сенклером и господином Дарзаком вышли около четверти седьмого из его комнаты, вы сразу же заперли дверь?

— Да, сударь.

— А когда вы отперли ее снова?

— Единственный раз, вечером, когда впускал господина и госпожу Дарзак. Господин Дарзак только что пришел, а госпожа Дарзак некоторое время до этого сидела в гостиной господина Боба, откуда как раз вышел господин Сенклер. Они встретились в коридоре, и я отпер им дверь. Вот и все. Как только они вошли, я услышал, что дверь заперли на задвижку.

— Значит, между четвертью седьмого и этим моментом вы дверь не отпирали?

— Ни разу.

— А где вы были все это время?

— Перед дверью в привратническую, наблюдал за дверью в комнаты. В половине седьмого мы даже там с женой пообедали — прямо в коридоре, за маленьким столиком. Дверь в башню была открыта, и нам показалось, что в коридоре посветлее и повеселее. После обеда я стоял на пороге привратнической, курил и болтал с женой. Мы разместились так, что, даже если бы захотели, не смогли бы не видеть дверь в комнату господина Дарзака. Это какая-то тайна — еще более невероятная, чем тайна Желтой комнаты! Там не было известно, что произошло раньше. Но здесь-то, сударь, здесь-то! Что было раньше — известно, потому что в пять часов вы сами побывали в комнатах и убедились, что там никого нет; известно и все, что было затем, — или ключ был у меня в кармане, или господин Дарзак был в комнате. Он ведь сразу увидел бы, что дверь открывается и входит убийца, да и я постоянно был в коридоре и следил за дверью. Никто незаметно пройти не мог. Что было потом — тоже известно. Да и никакого «потом» не было — просто погиб человек. Но значит, он там был? Вот в чем загвоздка.

— А между пятью часами и минутой, когда случилась драма, вы точно не уходили из коридора?

— Честное слово, не уходил!

— Вы в этом уверены? — продолжал настаивать Рультабийль.

— Ах, извините, сударь! В какой-то момент вы меня позвали.

— Ладно, Бернье. Я просто хотел выяснить, помните ли вы об этом.

— Но это длилось одну-две минуты, а господин Дарзак был тогда у себя и не выходил. Здесь какая-то тайна!

— Откуда вы знаете, что в течение этих двух минут он не выходил?

— Черт побери, да если бы он вышел, моя жена, сидевшая в привратницкой, сразу бы его увидела. И потом, это бы все объясняло, и ни он, ни госпожа Дарзак так не удивлялись бы. Мне ведь пришлось повторить ему несколько раз: вплоть до его возвращения вечером вместе с госпожой Дарзак никто, кроме него в пять часов и вас — в шесть, в комнату не заходил. Он так же, как вы, все не хотел мне верить. Я поклялся ему в этом над телом мертвеца.

— Где был мертвец?

— У него в комнате.

— Человек этот точно был мертв?

— Нет, он еще дышал. Я слышал.

— Значит, это был не мертвец, папаша Бернье.

— Но он был все равно что мертвец! Подумайте только, господин Рультабийль, ему же выстрелили в сердце.

Наконец-то папаша Бернье дошел в своем рассказе до убитого. Видел ли он его? Каков он был? Похоже, все это было для Рультабийля не главным. Репортера более всего занимал вопрос, каким образом мертвец оказался в комнате. Как пришел человек, нашедший там свою смерть?

К сожалению, папаша Бернье мало что знал. Ему показалось, что все произошло молниеносно; в это время он был за дверьми. Едва он потихоньку вошел в привратницкую и приготовился лечь, как из комнат супругов Дарзак раздался страшный шум. Бернье с женой замерли. Загрохотала мебель, послышались удары в стену. «В чем дело?» — проговорила матушка Бернье, и тут же они услышали голос г-жи Дарзак, звавшей на помощь. Мы, сидя в комнате Нового замка, этого крика не слышали. Мамаша Бернье от ужаса лишилась сил, а сам Бернье, подбежав к двери комнаты г-на Дарзака, стал в нее ломиться, требуя, чтобы ему отперли. По ту сторону двери борьба продолжалась уже на полу. Он слышал тяжелое дыхание двух мужчин и узнал голос Ларсана, который выкрикнул: «Теперь ты от меня не

уйдешь!» Потом он услышал, как г-н Дарзак из последних сил, полузадушенным голосом позвал на помощь жену: «Матильда! Матильда!» Очевидно, Ларсан подмял его под себя, но тут раздался спасительный выстрел. Звук выстрела напугал папашу Бернье меньше, чем вопль, которым он сопровождался. Казалось, что г-н Дарзак, издавший крик, смертельно ранен. Бернье не мог взять в толк одного — поведения г-жи Дарзак. Почему она не открыла дверь, когда подроспела помощь? Почему не отперла задвижку? Наконец, почти сразу после выстрела, дверь, в которую не переставая барабанил папаша Бернье, отворилась. Комната была погружена во мрак, но это привратника не удивило: во время борьбы свеча, свет которой виднелся из-под двери, внезапно погасла и послышался шум упавшего подсвечника. Дверь открыла г-жа Дарзак; ее муж неясной тенью нагнулся над хрипящим на полу и, по-видимому, умирающим человеком. Бернье крикнул жене, чтобы та принесла свет, но г-жа Дарзак воскликнула: «Нет! Света не нужно! Главное, чтобы он не узнал!», после чего бросилась ко входной двери с криком: «Он идет! Идет! Я слышу! Откройте двери! Папаша Бернье, откройте двери! Я хочу его встретить!» Папаша Бернье пошел отпирать дверь, а она все повторяла: «Спрячьтесь! Уходите! Только бы он ничего не узнал».

Папаша Бернье продолжал:

— Вы влетели как ураган, господин Рультабийль. И она сразу увела вас в гостиную Старого Боба. Вы ничего не заметили. А я остался с господином Дарзаком. Человек на полу перестал хрипеть. Господин Дарзак, все еще склоняясь над ним, проговорил: «Бернье, несите мешок и камень; выбросим его в море, и никто никогда о нем не услышит».

— Тогда,— рассказывал далее Бернье,— я вспомнил о мешке с картошкой: ведь жена снова собрала картошку в мешок. Я опять высыпал ее и принес мешок. Мы старались как можно меньше шуметь. Тем временем хозяйка, по-видимому, рассказывала вам в гостиной Старого Боба всякие небылицы, а господин Сенклер расспрашивал в привратничкой жену. Господин Дарзак связал труп, и мы потихоньку засунули его в мешок. Тут я сказал господину Дарзаку: «Не советую бросать его в воду. У берега недостаточно глубоко. Иногда море бывает здесь таким прозрачным, что видно дно». «Так что же мне с ним делать?» — шепотом спросил господин Дарзак. «Честное слово, сударь, не знаю,— ответил я.— Все, что можно было сделать для вас, для хозяйки, для всех, чтобы защитить их от такого

разбойника, как Ларсан, я сделал. Не просите у меня ничего больше, и храни вас господа!» Я вышел из комнаты и в привратничкой нашел вас, господин Сенклер. А потом по просьбе господина Дарзака вы пошли к господину Рультабийлю. Что же до моей жены, то она чуть не лишилась чувств, внезапно увидев, что господин Дарзак цел и невредим. И я тоже. Видите, руки у меня в крови? Только бы нам не попасть в беду, но, в конце концов, мы исполнили свой долг. Это был гнусный разбойник! Но знаете, что я вам скажу? Такую историю не скроешь; лучше бы сразу все рассказать полиции. Я обещал молчать и буду молчать сколько смогу, но я рад, что облегчил душу перед вами — вы же друзья с хозяевами и, быть может, заставите их прислушаться к голосу разума. Почему они все скрывают? Разве это не честь — убить самого Ларсана? Простите, что я опять произнес это имя, я знаю, это грязное имя. Разве это нечестно — избавить от него всех и избавиться самими? Да, и еще насчет богатства! Госпожа Дарзак обещала мне богатство, если я буду молчать. А что мне с ним делать? Разве не лучшее богатство — служить этой бедняжке? Нет, богатство мне ни к чему. Но пусть она все расскажет. Чего ей бояться? Я спросил у нее об этом, когда вы якобы отправились спать и мы остались в башне наедине с трупом. Я сказал ей: «Вы должны в голос кричать, что убили его. Все вам только спасибо скажут». А она ответила: «Слишком много уже было скандалов, Бернье. Насколько это зависит от меня и если это вообще возможно, мы постараемся все скрыть. Мой отец этого не перенесет». Я ничего ей не ответил, хотя меня так и подмывало сказать: «А если об этом узнают позже, то решат, что дело тут нечисто, и тогда уж ваш папенька точно умрет». Но она так решила. Хочет, чтобы все молчали. Ладно, будем молчать, и довольно об этом.

Направившись к двери, Бернье показал на свои руки: — Пойду отмывать кровь этой свиньи.

Рультабийль остановил его:

— А что говорил по этому поводу господин Дарзак? Каково его мнение?

— Только повторял: «Как решит госпожа Дарзак, так и будет. Слушайте ее, Бернье». Пиджак у него был порван, горло расцарапано, но он не обращал на это внимания. Его интересовало лишь одно: каким образом этот мерзавец к нему проник. Говорю вам, он никак не мог опомниться, и я объяснял ему снова и снова. Первые его слова по этому поводу были вот какие: «Но ведь когда я вошел в комнату,

там никого не было, и я сразу же заперся на задвижку».

— Где это происходило?

— В привратницкой, рядом сидела моя жена; бедняжка словно одурела.

— А труп? Где был труп?

— В комнате господина Дарзака.

— А как все же решили от него избавиться?

— Я точно не знаю, но что-то они придумали, потому что господин Дарзак сказал мне: «Бернье, прошу вас о последней услуге: ступайте в конюшню и запрягите в двуколку Тоби. По возможности не будите Уолтера. Если он все же проснется и потребует объяснений, тогда и ему, и Маттони, который охраняет потерну, скажите слудующее: «Это для господина Дарзака, ему в четыре утра нужно быть в Каstellаре, он отправляется в Альпы». А госпожа Дарзак добавила: «Если встретите господина Сенклера, ничего ему не говорите, а приведите его ко мне; если же встретите Рультабийля, ничего не говорите и не делайте». Ведь знаете, сударь, хозяйка хотела, чтобы я вышел, только когда окно в вашей комнате будет закрыто, а свет погашен. А потом нам еще труп доставил неприятные минуты: мы-то думали, человек умер, а он возьми и вздохни, да еще как! Остальное, сударь, вы видели и теперь знаете не меньше моего. Помилуй нас бог!

Когда Бернье закончил эту невероятную историю, Рультабийль искренне поблагодарил его за преданность хозяевам, посоветовал обо всем помалкивать, извинился за свою грубость и приказал ничего не говорить г-же Дарзак о только что закончившемся допросе. Уходя, Бернье протянул ему руку, но Рультабийль отдернул свою:

— Нет, Бернье, вы весь в крови.

Наконец привратник отправился к Даме в черном.

— Итак,— начал я, когда мы остались одни,— Ларсан мертв?

— Боюсь, что да,— ответил Рультабийль.

— Бойтесь? Почему?

— Потому что,— ответил он незнакомым мне бесцветным голосом,— такая смерть Ларсана, когда он не входил в башню ни живой ни мертвый, пугает меня больше, чем его жизнь.

Глава 13, в которой испуг Рультабийля приобретает тревожные размеры

Он в самом деле был буквально в ужасе. Да я и сам очень испугался. Никогда еще я не видел, чтобы ум его находился в таком смятении. Молодой журналист неровным шагом ходил по комнате, останавливался порой у зеркала, проводил рукой по лицу и вглядывался в собственное отражение, словно спрашивая у него: «Неужели ты, Рультабийль, и в самом деле так думаешь? Кто осмелится так думать?» Как думать? Казалось, он скорее еще только готовится думать. Но этого ему, похоже, не хотелось. Он ожесточенно покачал головой и, подойдя к окну, стал вглядываться в ночь, прислушиваясь к малейшему шуму на далеком побережье и, быть может, ожидая услышать шум катящейся двуколки и стук копыт Тоби. Рультабийль походил на насторожившегося зверя.

Прибой умолк, море совершенно успокоилось. На востоке, на черной воде внезапно засветилась белая полоска. Поднималась заря. И почти сразу же из темноты появился Новый замок — бледный, тусклый, выглядевший точно так же, как мы, словно и он тоже не спал всю ночь.

— Рультабийль,— начал я, внутренне дрожа от собственной дерзости,— ваш разговор с матерью был очень короток. И расстались вы молча. Я хотел бы знать, мой друг, не рассказала ли она вам сказочку про револьвер на ночном столике?

— Нет,— не оборачиваясь, бросил Рультабийль.

— Она ничего вам об этом не говорила?

— Нет.

— И вы не попросили ее объяснить ни выстрел, ни предсмертный крик, походивший на крик в таинственном коридоре? Она ведь закричала, как тогда.

— Вы любопытны, Сенклер. Даже любопытнее меня. Нет, я ее ни о чем не спрашивал.

— И вы обещали ей ничего не видеть и не слышать, даже не спросив ее о выстреле и крике?

— Поверьте, Сенклер, я уважаю секреты Дамы в черном. Она лишь сказала — а я, разумеется, ни о чем не спрашивал! — она сказала: «Мы можем расстаться, друг мой, потому что теперь нас ничто не разделяет»,— и я сразу ушел.

— Так она вам сказала, что вас теперь ничто не разделяет?

— Да, мой друг, а руки у нее были в крови...

Мы замолчали. Я подошел к окну и встал рядом с журналистом. Внезапно он накрыл ладонью мою руку и указал на маленький фонарь, все еще горевший у входа в нижний зал башни Карла Смелого, где был кабинет Старого Боба.

— Уже светает,— проговорил Рультабийль,— а Старый Боб все трудится. Он и в самом деле отважный человек. Давайте-ка сходим, посмотрим, как он работает. Это поможет нам отвлечься, и я перестану раздумывать над мысленно очерченным мною кругом, который связывает меня по рукам и ногам, изнуряет, душит.— Он тяжело вздохнул и добавил, как бы про себя: — Когда же вернется Дарзак?

Через минуту мы уже пересекли двор и спустились в восьмиугольный зал башни. Он был пуст. На письменном столе горела лампа. Но Старого Боба не было и в помине.

— Однако! — удивился Рультабийль.

Взяв лампу, он принялся осматривать зал. Обошел стоявшие у стен небольшие витрины. В них ничего не изменилось, все экспонаты лежали в сравнительном порядке и были снабжены ярлычками. Мы осмотрели доисторические кости, раковины и рога, «подвески из ракушек», «кольца, вырезанные из диафиза длинной кости», «серьги», «рубила, найденные в слое почвы рядом с северным оленем», «скребки, относящиеся к последнему периоду палеолита», «кремневую пыль, найденную в слое почвы рядом со слоном»; затем вернулись к письменному столу. Там лежал самый древний в мире череп; его челюсть была и в самом деле вымазана красной краской с рисунка, который г-н Дарзак положил сушиться на край стола — туда, куда падал из окна солнечный свет. Я обошел все окна, пробуя прочность решеток, но к ним явно никто не притрагивался.

Увидев, чем я занимаюсь, Рультабийль сказал:

— Что вы там делаете? Прежде чем проверять, не вылез ли он в окно, нужно убедиться, что он не вышел в дверь.

Он поставил лампу на пол и принялся изучать следы.

— Пойдите-ка лучше постучитесь в Квадратную башню,— попросил он,— и выясните у Бернье, не вернулся ли Старый Боб. Расспросите Маттони, дежурящего под потерной, и папашу Жака, который охраняет вход в замок. Ступайте, Сенклер, ступайте.

Минут через пять я вернулся — как и следовало ожидать, ни с чем. Старого Боба нигде не видели. Он нигде не проходил.

Рультабийль все еще обнюхивал пол.

— Он оставил лампу зажженной, чтобы все думали, буд-

то он работает,— сообщил молодой человек и озабоченно добавил: — Следов борьбы нигде нет. Я нашел лишь следы Артура Ранса и Робера Дарзака — вчера вечером, во время грозы, они заходили сюда и принесли на подошвах немного влажной земли со двора Карла Смелого и железистой почвы с первого двора. Следов Старого Боба нет нигде. Он пришел сюда до бури и, возможно, вышел, когда она еще бушевала, но, во всяком случае, больше сюда не возвращался.

Рультабийль встал и поставил лампу обратно на стол: она снова осветила череп, красная челюсть которого никогда еще не скалилась так зловеще. Вокруг не было ничего, кроме древних костей, но они пугали меня меньше, чем отсутствие Старого Боба.

Несколько секунд Рультабийль постоял над окровавленным черепом, взял его в руки и заглянул в глазницы. Потом поднял его на вытянутых руках, внимательно осмотрел снизу, затем в профиль, после чего отдал мне и тоже попросил поднять череп над головой, словно величайшую ценность, а сам поднял над головой лампу.

Внезапно в голове у меня сверкнула мысль. Я бросил череп на стол и ринулся во двор, к колодцу. Там я убедился, что закрывавшие его железные полосы не тронуты. Если бы кто-то убежал через этот колодец, или упал в него, или был туда брошен, полосы оказались бы сдвинуты с места. В необычайном волнении я поспешил назад и воскликнул:

— Рультабийль! Остается одно: в мешке увезли Старого Боба.

Я повторил это еще раз, но репортер меня не слушал: к моему удивлению, он занимался делом, смысла которого я не мог разгадать. В столь трагическую минуту, когда мы ждали возвращения г-на Дарзака, чтобы мысленно замкнуть круг, в котором находился «лишний» труп, когда в древней башне Старого замка Матильда, словно леди Макбет, отмывала следы невероятного преступления,— как мог Рультабийль в такую минуту забавляться с линейкой, угольником, рейсфедером и циркулем? Да, он сидел в кресле старого геолога и, придвинув к себе чертежную доску Робера Дарзака, чертил — спокойно, поразительно спокойно, словно мирный и тихий чертежник.

Поставив на бумагу ножку циркуля, он начертил окружность, обозначавшую, должно быть, башню Карла Смелого,— точно так же, как на плане Робера Дарзака. Затем, проведя еще несколько линий, он обмакнул кисть в чашечку с красной краской, которой пользовался г-н Дарзак, и при-

нялся закрашивать ею круг. Делал это он необычайно тщательно, следя, чтобы краска везде ложилась ровно, словно хотел, чтобы его похвалили за прилежание. Он наклонял голову то налево, то направо и, точно старательный ученик, даже высунул кончик языка. Закончив работу, он замер. Я пытался заговорить с ним, но он молчал. Его взгляд был прикован к рисунку: он смотрел, как высыхает краска. Внезапно рот его искривился, и из него вырвался ужасный крик; я не узнал его искаженного, безумного лица. Он повернулся ко мне так резко, что опрокинул кресло.

— Сенклер, взгляните на красную краску. Взгляните! Я с трепетом склонился над листом, напуганный диким возбуждением моего друга, однако увидел лишь аккуратный рисунок.

— Красная краска! Красная краска! — продолжал стонать репортер; глаза его расширились, словно он наблюдал за какой-то жуткой сценой.

Не выдержав, я спросил:

— Но что тут такого особенного?

— Что особенного? Да разве ты не видишь, что она уже высохла? Разве ты не видишь, что это кровь?

Нет, я этого не видел: я точно знал, что это не кровь, а самая обычная красная краска. Но в ту секунду я и не помышлял противоречить Рультабийлю, а, напротив, сделал вид, что заинтересовался мыслью о крови.

— Чья кровь? — спросил я. — Вы знаете, чья это кровь? Ларсана?

— Да кто же знает, какая у Ларсана кровь? — вскричал он. — Кто видел, какого она цвета? Чтобы узнать, какого цвета у Ларсана кровь, нужно вскрыть вены мне, Сенклер! Это единственный способ.

Я был в полном смятении.

— У моего отца не так-то просто взять кровь.

Уже не в первый раз он говорил об отце с какой-то отчаянной гордостью. «Если мой отец наденет парик, этого никто не заметит». «У моего отца не так-то просто взять кровь».

— Руки у Бернье были в его крови, к тому же вы видели руки Дамы в черном.

— Да, да, они так говорили! Но убить моего отца не так-то просто!

В страшном возбуждении Рультабийль продолжал разглядывать свой аккуратный рисунок. Ему перехватило горло, и, чуть ли не рыдая, он проговорил:

— Господи, да сжался же над нами. Это было бы слишком ужасно!

Помолчав, он добавил:

— Моя бедная мать этого не заслужила. И я тоже. И все мы.

Крупная слеза, скатившись у него по щеке, упала в чашечку с краской.

— Рисовать дальше нет смысла,— прошептал он дрожащим голосом, необычайно бережно взял чашечку и, поднявшись, поставил ее в шкафчик.

Затем схватил меня за руку и потащил за собой; я шел и вглядывался в него: неужто он и в самом деле внезапно сошел с ума?

— Пошли, пошли,— говорил он.— Час настал, Сенклер. Отступать теперь мы больше не вправе. Нужно, чтобы Дама в черном рассказала все, что касается мешка. Ах, поскорее бы вернулся господин Дарзак, нам было бы не так тяжело. Не могу я больше ждать.

Ждать — чего? И все-таки почему он так испугался? Какая мысль заставила взгляд его остановиться? Почему зубы у него опять застучали?

Я не удержался и снова осведомился:

— Что вас так напугало? Разве Ларсан не мертв?

Нервно стиснув мою руку, Рультабийль повторил:

— Говорю же вам, что его смерть страшит меня сильнее, чем его жизни!

С этими словами он постучал в дверь Квадратной башни, к которой мы как раз подошли. Я заинтересовался, не хочет ли он поговорить с матерью с глазу на глаз. Однако, к моему великому удивлению, он ответил, что сейчас ни за что на свете ему нельзя оставаться одному, иначе, как он выразился, «круг не замкнется», после чего мрачно добавил:

— А может, это никогда и не случится?

Нам все не открывали, и Рультабийль постучал снова; наконец дверь распахнулась, и в ней показалось осунувшееся лицо Бернье. Увидев нас, он страшно рассердился.

— Что вам надо? Чего вам еще? Говорите тише, хозяйка в гостиной Старого Боба. А старик так и не вернулся.

— Впустите нас, Бернье,— приказал Рультабийль и толкнул дверь.

— Только не говорите хозяйке...

— Да нет же, нет!

Мы вошли в прихожую. Там стоял почти полный мрак.

— А что делает госпожа в гостиной Старого Боба? — шепотом спросил Рультабийль.

— Ждет... Ждет возвращения господина Дарзака. Войти в комнату она не смеет. Я тоже.

— Ладно, Бернье, возвращайтесь к себе в привратническую и ждите, когда я вас позову,— приказал Рультабийль.

Журналист отворил дверь в гостиную Старого Боба. Мы увидели Даму в черном, точнее, лишь ее силуэт, потому что в комнату только начал пробиваться первый свет дня. Матильда стояла, прислонившись к стене у окна, выходявшего во двор. При нашем появлении она не пошевелилась, но почти сразу заговорила настолько изменившимся голосом, что я его даже не узнал:

— Зачем вы пришли? Я видела, как вы шли по двору. Со двора вы не выходили. Вам все известно. Чего вы хотите? — И с бесконечным страданием в голосе добавила: — Вы же поклялись ничего не видеть.

Рультабийль подошел к Даме в черном и с почтением взял ее за руку:

— Пойдемте, матушка,— сказал он, и эти простые слова прозвучали мягко и в то же время настойчиво.— Пойдемте же, пойдемте!

И он увлек ее за собой. Она не сопротивлялась. Едва он взял ее за руку, как мне показалось, что она готова повиноваться ему во всем. Однако когда он подвел ее к двери роковой комнаты, она попятилась и простонала:

— Только не сюда!

Чтобы не упасть, ей пришлось опереться о стену. Рультабийль подергал за ручку. Дверь была заперта. Он позвал Бернье; тот по его приказу отпер дверь и тут же исчез или, точнее, сбежал.

Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Что за вид! Беспорядок там царил невообразимый. Кровавый свет зари, проникавший сквозь широкие бойницы, придавал этому беспорядку еще более зловещий оттенок. Какое освещение для комнаты, где произошло убийство! Сколько крови на стенах, на полу и мебели! Кровавого света восходящего солнца и крови человека, которого Тоби увез неизвестно куда, в мешке из-под картошки... Столы, кресла, стулья — все было перевернуто. Простыни, за которые, по-видимому, в агонии схватился преступник, были наполовину стянуты с постели на пол, и на белом полотне отчетливо виднелся отпечаток окровавленной руки. Мы вошли, поддерживая Даму в черном, которая, казалось, вот-вот лишится чувств; нежно и просительно Рультабийль повторил: «Нужно, ма-

тушка! Нужно!» Я поставил перевернутое кресло на ножки, он усадил ее и принялся расспрашивать. Она отвечала односложно, а то и просто кивала головой или делала жест рукою. Я видел, что по мере того, как она отвечала, Рультабийль становился все более встревоженным, огорченным и растерянным; он пробовал успокоиться, но тщетно. Обращаясь к Даме в черном на «ты», репортер, чтобы ободрить ее, снова повторил: «Матушка! Матушка!», но она совсем пала духом и протянула к нему руки; они крепко обнялись, и это ее немного оживило. Затем она вдруг разрыдалась, как бы облегчая тем самым давивший на нее тяжелый груз. Я хотел было уйти, но они оба меня удержали, и я понял, что им не хочется оставаться одним в этой кровавой комнате. Матильда тихо проговорила:

— Избавились...

Рультабийль бросился перед нею на колени и стал умолять:

— Чтобы убедиться в этом, матушка, ты должна мне рассказать все, что произошло, все, что ты видела.

И наконец она заговорила. Бросив взор на закрытую дверь, вновь с ужасом оглядев разбросанные вещи, окровавленный пол и мебель, она принялась рассказывать, но так тихо, что мне пришлось подойти и наклониться над нею, чтобы хоть что-нибудь услышать. Из ее отрывистых фраз выходило следующее: как только они вошли в комнату, г-н Дарзак заперся на задвижку и направился прямо к письменному столу, так что, когда все произошло, он находился прямо посередине комнаты. Дама в черном стояла немного левее и собиралась отправиться к себе в спальню. В комнате горела лишь одна свеча, стоявшая слева на ночном столике, недалеко от Матильды. И вот что произошло дальше. В полной тишине послышался какой-то скрип. Они оба посмотрели в одну и ту же сторону, и сердца их застучали от страха. Скрип доносился из стенного шкафа. Внезапно все стихло. Они смотрели друг на друга, не решаясь, а быть может, будучи просто не в состоянии вымолвить ни слова. Скрип показался им необычным, тем более что стенной шкаф раньше не скрипел. Дарзак сделал движение в сторону шкафа, находившегося в глубине комнаты, справа. Но второй, более сильный скрип пригвоздил его к месту; Матильде показалось, что дверца шкафа начинает открываться. Дама в черном усомнилась: не привиделось ли ей все это, в самом ли деле дверца шевельнулась? У г-на Дарзака было такое же ощущение, и он смело двинулся вперед. В этот миг дверца шкафа распахнулась. Да, ее

толкнула чья-то рука! Даме в черном хотелось закричать, но она словно онемела. В порыве ужаса и смятения она задела рукой за свечу, та упала на пол, и в ту же секунду из шкафа показалась чья-то фигура; Робер Дарзак с яростным криком набросился на нее.

— Но у этой фигуры было лицо,— прервал Рультабийль.— Матушка, ну почему ты не видела лица этого человека? Вы убили лишь тень, но кто поручится, что это был Ларсан,— ведь его лица-то ты не видела. Быть может, вы убили даже не тень Ларсана.

— О нет, он мертв,— глухо и просто ответила она и замолкла.

Глядя на Рультабийля, я спрашивал себя: «Но кого же они убили, если не Ларсана? Пусть Матильда не видела его лица, но она слышала его голос. Он ведь слышится ей до сих пор, и она вся дрожит. И Бернье слышал и узнал его голос, жуткий голос Ларсана, голос Балмейера, который ночью, в пылу страшной схватки, грозил Дарзаку смертью: «Теперь-то ты от меня не уйдешь!» А Дарзак смог лишь выдавить в ответ: «Матильда! Матильда!» Ах, как он ее звал, уже хрипя, теряя последние силы! А она? В потемках она не могла разобрать: какая же тень его, Робера, который зовет ее на помощь, а она не в силах ему помочь, и вообще помощи ждать неоткуда. И вдруг прогремел выстрел, исторгнувший у нее из груди крик ужаса, словно пуля угодила в нее. Кто убит? Кто жив? Чей голос сейчас раздастся? Чей голос она услышит?

Заговорил Робер...

Рультабийль обнял Даму в черном, поднял ее с кресла и почти что донес на руках до дверей спальни. Там он проговорил:

— Теперь ступай, матушка, я должен потрудиться — хорошо потрудиться для тебя, господина Дарзака и себя самого!

— Не оставляйте меня. Я не хочу, чтобы вы оставляли меня до возвращения господина Дарзака! — в испуге вскричала она.

Рультабийль пообещал, сказал, чтобы она попыталась отдохнуть, и уже собрался было закрыть дверь в ее спальню, как раздался стук. Рультабийль спросил, кто там. В ответ раздался голос Дарзака.

— Наконец-то! — воскликнул Рультабийль и открыл дверь.

Нам показалось, что в комнату вошел мертвец. Никогда

еще человеческое лицо не было столь бледным, бескровным и безжизненным. Пережитое опустошило Робера Дарзака, и теперь его лицо ничего не выражало.

— Ах, вы здесь,— проговорил он.— Ну, все конечно?

С этими словами Робер Дарзак бросился в кресло, в котором только что сидела Дама в черном. Через несколько мгновений он поднял на нее глаза:

— Ваше желание исполнено. Он там, где вы хотели.

— Но его лицо вы видели? — тут же спросил Рультабийль.

— Нет, не видел. Неужели вы думаете, что я открывал мешок?

Я думал, что это огорчит Рультабийля, однако он внезапно подошел к г-ну Дарзаку и проговорил:

— Ах, так вы не видели его лица? Но это же прекрасно! — Журналист пожал г-ну Дарзаку руку и продолжал: — Но главное не это. Сейчас нам важно не замкнуть круг. И вы, господин Дарзак, поможете нам в этом. Погодите-ка!

С радостным видом Рультабийль встал на четвереньки. Теперь он напоминал повадкой собаку: ползал по всей комнате, заглядывал под стулья, под кровать — точно так же, как делал это когда-то в Желтой комнате; время от времени он поднимал голову и говорил:

— Все-таки я что-нибудь да найду. Что-нибудь, что нас спасет.

Бросив взгляд на г-на Дарзака, я спросил:

— Но разве мы уже не спасены?

— Я найду что-нибудь, что спасет наш мозг! — повторил Рультабийль.

— Парень прав,— заметил г-н Дарзак.— Нам обязательно нужно узнать, как этот человек вошел сюда.

Внезапно Рультабийль встал, держа в руках револьвер, который он выудил из стенного шкафа.

— Вы нашли его револьвер? — проговорил Робер Дарзак.— По счастью, он не успел им воспользоваться.

С этими словами г-н Дарзак вытащил из кармана пиджака собственный револьвер, который спас ему жизнь, и протянул его молодому человеку.

— Вот настоящее оружие.

Рультабийль прокрутил барабан револьвера Дарзака и вытащил стреляную гильзу, затем сравнил этот револьвер с другим, найденным в шкафу и принадлежавшим убийце.

Это был «бульдог» лондонской фирмы; он казался совсем новеньким, все патроны в нем были целы. Рультабийль признал, что из него еще не стреляли.

— Ларсан прибегает к огнестрельному оружию только в крайнем случае,— пояснил он.— Он не любит шума. Будьте уверены, он хотел лишь напугать вас, иначе выстрелил бы, не раздумывая. Рультабийль отдал Роберу Дарзаку его револьвер, а оружие Ларсана спрятал в карман.

— Теперь оружие ни к чему,— проговорил г-н Дарзак и покачал головой.— Клянусь вам, совершенно ни к чему.

— Вы полагаете? — осведомился Рультабийль.

— Уверен.

Рультабийль встал, прошелся по комнате и сказал:

— Когда имеешь дело с Ларсаном, в таких вещах никогда нельзя быть уверенным. Где труп?

— Спросите у госпожи Дарзак,— отозвался г-н Робер.— Мне хотелось бы забыть о нем. Я не хочу ничего больше знать об этом ужасном деле. Если ко мне вернутся воспоминания о страшном путешествии, когда у меня в ногах покачивался мешок с умирающим человеком, я скажу себе: «Это кошмар!» И прогоню его. Не говорите больше со мною об этом. Где труп, кроме меня, знает лишь госпожа Дарзак. Она вам и скажет, если захочет.

— Я тоже забыла,— отозвалась г-жа Дарзак.— Так надо.

— Однако,— покачивая головой, продолжал настаивать Рультабийль,— вы сказали, что он умирал. А сейчас вы уверены, что он мертв?

— Уверен,— просто ответил г-н Дарзак.

— Ох, все уже кончено, все кончено, не правда ли? — подойдя к окну, умоляющим голосом проговорила Матильда.— Смотрите, солнце! Эта страшная ночь прошла навсегда. Все кончено!

Бедная Дама в черном! Слова «все кончено!» были словно вопль ее души. Ей хотелось забыть ужасную драму, которая произошла в этой комнате. Ларсана больше нет. Ларсан погребен. Погребен в мешке из-под картошки.

Внезапно мы в испуге вскочили: Дама в черном иступленно захохотала. Но почти сразу хохот резко оборвался, и наступило гнетущее молчание. Мы не осмеливались смотреть ни на нее, ни друг на друга. Первой заговорила она:

— Уже прошло. Все кончено. Больше я смеяться не буду.

И тут раздался очень тихий голос Рультабийля:

— Все будет кончено тогда, когда мы узнаем, как он сюда вошел.

— К чему? — возразила Дама в черном. — Эту тайну он унес с собой. Объяснить это мог лишь он, но он мертв.

— Он будет по-настоящему мертв, только когда мы узнаем, как он сюда вошел, — отчеканил Рультабийль.

— Очевидно, — вмешался г-н Дарзак, — раз мы этого не знаем, но хотим узнать, он будет все время вставать перед нашим мысленным взором. Его нужно прогнать.

— Так давайте прогоним, — согласился Рультабийль. Он нежно взял Даму в черном за руку и попытался увести ее в соседнюю комнату, говоря, что ей нужен отдых. Однако Матильда заявила, что не пойдет туда, потому что мы собираемся изгонять призрак Ларсана. Нам показалось, что она снова начнет хохотать, и мы дали знак Рультабийлю, чтобы он больше не настаивал.

Тогда Рультабийль отворил дверь и позвал Бернье с женой. Мы буквально заставили их войти в комнату, после чего принялись сопоставлять кто что знает. В результате выяснилось следующее.

Во-первых: в пять вечера Рультабийль побывал здесь и заглянул в шкаф. В обеих комнатах никого не было.

Во-вторых: после пяти часов комнату открывали дважды; оба раза делал это папаша Бернье, который в отсутствие супругов Дарзак один мог ее открыть. В первый раз — в пять часов с минутами: он впустил г-на Дарзака; во второй раз — в половине двенадцатого: он выпустил г-на и г-жу Дарзак.

В-третьих: между шестью с четвертью и половиной седьмого Бернье запер дверь, выпустив нас с г-ном Дарзаком.

В-четвертых: входя в комнату, г-н Дарзак запирался на задвижку; сделал это он и днем, и вечером.

В-пятых: Бернье дежурил у двери непрерывно с пяти до половины двенадцатого, не считая двухминутной отлучки около шести часов.

Когда все это было установлено, Рультабийль, сидевший за столом Робера Дарзака и делавший записи, встал и сказал:

— Ну вот, все очень просто. Надежда у нас только одна: короткий перерыв в дежурстве Бернье, имевший место около шести. Во всяком случае, в тот момент у дверей никого не было. Однако за дверью находились вы, господин Дарзак. Напрягите память и скажите: продолжаете ли вы

настаивать на том, что, войдя в комнату, вы тотчас же закрыли дверь и заперлись на задвижку?

Без малейших колебаний г-н Дарзак торжественно проговорил:

— Да, настаиваю. И отпер задвижку я только тогда, когда вы с вашим приятелем Сенклером постучались в дверь. Я настаиваю на этом.

Впоследствии оказалось, что он говорил сущую правду.

Супругов Бернье поблагодарили, и они вернулись в привратническую. Проводив их, Рультабийль дрожащим голосом заявил:

— Итак, господин Дарзак, вы замкнули круг. Теперь ваши комнаты в Квадратной башне заперты так же, как в свое время была заперта Желтая комната или таинственный коридор — надежно, как сейф.

— Сразу ясно, что имеешь дело с Ларсаном, те же приемы,— заметил я.

— Да, приемы те же, господин Сенклер,— согласилась г-жа Дарзак и, оттянув галстук на шее у мужа, показала на его раны.

— Взгляните,— сказала она,— рука та же. Уж я-то ее знаю.

Наступило тягостное молчание.

Мысли г-на Дарзака вертелись только вокруг этой непостижимой загадки, словно преступление в Гландье повторилось теперь здесь, но только в более жестокой форме. Он повторил те же слова, которые говорил тогда относительно Желтой комнаты:

— Значит, в этих стенах, полу или потолке должно быть какое-то отверстие.

— Но его нет,— ответил Рультабийль.

— Значит, нужно пробить его головой! — продолжал г-н Дарзак.

— Зачем же? — опять отозвался Рультабийль. — Разве в Желтой комнате его пробили?

— Но здесь совсем другое дело,— вмешался я. — Комната в Квадратной башне заперта еще надежнее, чем Желтая: сюда ведь не мог никто проникнуть ни раньше, ни потом.

— Нет, здесь совсем другое дело, потому что все обстоит как раз наоборот,— подытожил Рультабийль. — В Желтой комнате не хватало трупа, а здесь труп лишний.

Он вдруг покачнулся и оперся о мою руку, чтобы не упасть. Дама в черном бросилась к нему. Из последних сил Рультабийль жестом остановил ее и сказал:

— Нет, нет, ничего... Просто я немного устал...

Пока по совету Рультабийля г-н Дарзак и Бернье ликвидировали следы драмы, Дама в черном, поспешно переодевшись, постаралась побыстрее добежать до комнаты отца, прежде чем встанет кто-нибудь из хозяев «Волчицы». Перед уходом она посоветовала нам помалкивать и быть благодарными. Рультабийль тоже откланялся.

Было семь утра, и жизнь в замке и вокруг него начинала пробуждаться. Слышалось протяжное пение рыбаков в лодках. Я бросился на постель и на этот раз крепко уснул, так как валился с ног от усталости. Проснувшись, я несколько минут понежился в приятном полубытии, как вдруг, вспомнив события прошлой ночи, вскочил на ноги.

— Нет, «лишний труп» — это невозможно! — воскликнул я.

Да, из бездны перепутанных сном мыслей, из мрачных пучин памяти первой выплыла именно эта мысль: «Лишний труп — это невозможно». И в этом не было ничего странного, напротив. Ее разделяли все, кто так или иначе участвовал в драме, происшедшей в Квадратной башне, и это смягчало ужас перед самим событием, ужас при мысли об агонизирующем человеке, которого засунули в мешок, увезли среди ночи и бросили в далекую, глубокую таинственную могилу, где он и умер. Этот ужас вытеснялся другой мыслью — невероятной мыслью о «лишнем трупе». Видение это росло, ширилось и вставало перед нами, огромное, грозное, ужасное. Иные, как, например, м-с Эдит, которая привыкла отвергать то, чего не понимает, упорно отвергали условия задачи, поставленные перед нами судьбой и определенные нами в предыдущей главе; по мере того как на сцене форта Геркулес разворачивались события, эти люди все время возвращались к вопросу о правильности данных условий.

Прежде всего нападение. Как оно было совершено? В какой момент? С каких подступов? Какие мины, контрмины, траншеи, сапы и траверсы — применяя к области мысли термины фортификации — помогли нападающему попасть в замок? Да, в каком месте был атакован замок? Непонятно! А знать это нужно. Это ведь как будто слова Рультабийля: нужно знать? При столь таинственной осаде нападение могло быть совершено везде и нигде. Нападающий молчит, атака развивается бесшумно, враг подходит к стенам на цыпочках. Нападение! Быть может, оно в молчании, а может, и в разговорах. В слове, во вздохе, в шепоте. Оно в жесте, оно может быть во всем, что прячется, а может —

во всем, что на виду... Во всем, что на виду и невидимо.

Одиннадцать. Где Рультабийль? Постель его не разобрана... Я поспешно оделся и разыскал своего друга в первом дворе. Он взял меня под руку и повел в большой зал «Волчицы». Там я с удивлением обнаружил многих обитателей замка, хотя время завтрака еще не пришло. Г-н и г-жа Дарзак тоже были там. Мне показалось, что Артур Ранс держится необычайно холодно. Как только мы вошли, нас приветствовала м-с Эдит, с ленивым видом сидевшая в укромном уголке:

— А вот и Рультабийль со своим другом Сенклером. Сейчас мы узнаем, что им нужно.

В ответ Рультабийль извинился, что собрал всех в такой час; но у него есть столь важное сообщение, сказал он, что он не хотел терять ни секунды. Тон его был настолько серьезен, что м-с Эдит вздрогнула и изобразила детский испуг. Однако Рультабийль невозмутимо заметил:

— Подождите дрожать, сударыня, прежде чем не узнаете, о чем идет речь. Я собираюсь сообщить нечто отнюдь не веселое.

Мы переглянулись. Как он это сказал! Я попытался прочесть по лицам г-на и г-жи Дарзак, как они себя чувствуют. Не изменились ли их лица за прошлую ночь? Честное слово, держались они хорошо. Выражение отчужденности исчезло. Что же собирается сообщить Рультабийль? Поскорее бы! Но вот он попросил усесться тех из нас, кто еще стоял, и начал. Обратился он к м-с Эдит:

— Прежде всего позвольте сообщить вам, сударыня, что я решил снять охрану, окружавшую форт Геркулес, словно вторая стена. Я считал ее необходимой для обеспечения безопасности господина и госпожи Дарзак, и вы позволили мне ее организовать по моему усмотрению и, несмотря на то что она вам мешала, отнеслись к моей затее великодушно и, если можно так выразиться, не теряя хорошего настроения.

Этот прозрачный намек на шутки, которые отпускала по нашему адресу м-с Эдит, когда мы организовывали охрану, заставил улыбнуться Артура Ранса и ее самое. Однако ни супруги Дарзак, ни я не улыбнулись: со все возрастающей тревогой мы спрашивали себя, к чему клонит наш друг.

— В самом деле? Вы снимаете охрану с замка, господин Рультабийль? Вы и в самом деле меня порадовали, хотя она мне несколько не мешала,— воскликнула м-с Эдит с напускной веселостью (напускной испуг, напускная веселость — я находил, что в м-с Эдит вообще много

напускного, но — странное дело! — это мне в ней нравилось). — Напротив, — продолжала она, — все это в какой-то мере удовлетворяло мои романтические наклонности. А снятию охраны я радуюсь потому, что, значит, господину и госпоже Дарзак больше не угрожает никакая опасность.

— После сегодняшней ночи это действительно так, — отозвался Рультабийль.

Г-жа Дарзак не сдержала резкого движения, но заметил его лишь я.

— Тем лучше! — вскричала м-с Эдит. — Слава богу! Но почему мой муж и я последними узнаем подобную новость? Ведь этой ночью произошло нечто любопытное? Речь идет, конечно, о путешествии господина Дарзака? Он ведь ездил в Кастеллар.

Г-н и г-жа Дарзак выказывали явные признаки смущения. Взглянув на жену, г-н Дарзак хотел было что-то сказать, но Рультабийль помешал ему.

— Сударыня, я понятия не имею, куда ездил этой ночью господин Дарзак, однако считаю нужным, просто необходимым, сказать вам одно: именно благодаря этой поездке ему и его жене никакая опасность больше не угрожает. Ваш муж, сударыня, рассказывал вам о страшной драме в Гландье и о преступной роли, которую в ней сыграл...

— Фредерик Ларсан. Да, сударь, мне все это известно.

— В таком случае вам должно быть также известно, что мы приняли меры по охране господина и госпожи Дарзак только потому, что снова видели этого человека.

— Совершенно верно.

— Ну так вот, господину и госпоже Дарзак никакая опасность больше не угрожает, потому что этот человек больше не появится.

— А что с ним стало?

— Он умер.

— Когда?

— Этой ночью.

— А каким образом он умер?

— Его убили, сударыня.

— Где же?

— В Квадратной башне.

При этих словах все вскочили; наше волнение было вполне объяснимо: супруги Ранс были ошеломлены известием, супруги Дарзак и я — тем, что Рультабийль не побоялся рассказать об убийстве.

— В Квадратной башне! — вскричала м-с Эдит. — Но кто же его убил?

— Господин Робер Дарзак,— ответил Рультабийль и попросил всех занять свои места.

Удивительное дело, но все покорно расселись, словно в такой момент нам больше было нечего делать, кроме как слушаться этого мальчишку. Однако м-с Эдит почти сразу же встала опять и, взяв г-на Дарзака за руки, воскликнула с неподдельной силой и восторгом (нет, я был решительно не прав, когда говорил, что в ней много напускного):

— Браво, господин Робер! All right! You are a gentleman!¹

Затем, повернувшись к мужу, заметила:

— Вот настоящий мужчина! Он достоин любви.

После этого она рассыпалась перед г-жой Дарзак в комплиментах (все-таки ей было свойственно все преувеличивать), принялась клясться ей в вечной дружбе и заявила, что в столь непростых обстоятельствах она и г-н Дарзак могут рассчитывать на нее и ее мужа, что они готовы показать следователю все, что будет нужно.

— В том-то и дело, сударыня,— прервал излияния Рультабийль,— что ни о каких следователях и речи нет. Нам они не нужны. Мы не желаем, чтобы они вмешивались. Ларсан умер для всех раньше, задолго до того, как его убили этой ночью; вот и пускай продолжает оставаться мертвым. Мы решили, что ни к чему снова затевать скандал — господин и госпожа Дарзак, а также профессор Стейнджерсон и без того много пережили,— и надеемся, что вы нам поможете. Новая драма разыгралась при столь таинственных обстоятельствах, что, если бы мы о ней не рассказали, вам и в голову не пришло бы что-либо заподозрить. Однако господин и госпожа Дарзак слишком хорошо воспитаны, чтобы забыть, как в таких обстоятельствах вести себя с хозяевами. Простая вежливость заставляет их сообщить вам, что этой ночью они убили у вас в замке человека. Но как бы там ни было, несмотря на уверенность, что мы сможем скрыть эту досадную историю от итальянского правосудия, нам нужно иметь в виду: она может всплыть наружу из-за какого-нибудь непредвиденного случая, и поэтому господин и госпожа Дарзак не хотят, чтобы вы рисковали — вдруг в один прекрасный день в окрестностях поползут слухи о том, что произошло под вашей крышей, или даже нагрянет полиция?

Молчавший до этих пор Артур Ранс встал и заговорил; лицо его было бледно.

¹ Превосходно! Вы — порядочный человек! (англ.).

— Фредерик Ларсан мертв. Что ж, тем лучше. Я рад этому больше, чем кто-либо, и если его настигло возмездие в лице господина Дарзака, то я первый поздравлю господина Дарзака. Но я полагаю, что господин Дарзак не прав, скрывая этот славный поступок. Лучше всего сообщить о нем в полицию, и как можно скорее. Если полиция узнает об этом деле из другого источника, представляете, в каком положении мы окажемся. Если мы сознаемся, то будем чисты перед правосудием; если нет — сделаемся злоумышленниками. О нас могут подумать все, что угодно...

Мистер Ранс был весьма взволнован трагическим происшествием, говорил заикаясь, словно сам убил Фредерика Ларсана, словно его уже обвинили в этом и тащат в тюрьму.

— Нужно все рассказать. Господа, нужно все рассказать!

— Я думаю, мой муж прав,— добавила м-с Эдит.— Но, прежде чем принять какое-либо решение, хотелось бы знать, как все случилось.

Она обращалась непосредственно к г-ну и г-же Дарзак. Но они никак не могли оправиться от удивления, вызванного словами Рультабийля,— Рультабийля, который еще утром, в моем присутствии, пообещал им молчать и сам призывал нас к молчанию; супруги были связаны словом и сидели, словно окаменев. Артур Ранс повторил:

— Зачем скрывать? Нужно во всем признаться!

И тут мне показалось, что репортер внезапно принял решение: глаза его сверкнули, как будто в голове у него мелькнула важная мысль. Он наклонился над Артуром Рансом, который сидел, опираясь правой рукой о трость с загнутой ручкой, затейливо вырезанной из слоновой кости знаменитым мастером из Дьепа. Взяв у Ранса трость, Рультабийль заговорил:

— Вы позволите? Я очень люблю слоновую кость, а мой друг Сенклер рассказывал мне о вашей трости. Я только сейчас ее заметил. Очень красиво. Это работа Ламбеса — он лучший мастер на нормандском побережье.

Молодой человек разглядывал трость и, казалось, был поглощен только этим. Он вертел ее до тех пор, пока она не выскользнула у него из рук и не упала перед г-жой Дарзак. Я поспешил ее поднять и протянул Артуру Рансу. Рультабийль поблагодарил меня грозным взглядом. В этом испепеляющем взгляде я прочитал, что вел себя как дурак.

Раздраженная несносным самодовольством Рультабийля и молчанием супругов Дарзак, м-с Эдит встала.

— Душенька,— сказала она, обращаясь к г-же Дар-

зак,— я вижу, вы очень устали. Переживания этой ужасной ночи вконец вас измотали. Прошу вас, пойдите к нам в комнаты, там вы сможете отдохнуть.

— Прошу прощения, но я еще ненадолго задержу вас, миссис Эдит,— вмешался Рультабийль.— То, что мне осталось сообщить, касается лично вас.

— Так говорите же, сударь, не тяните.

Она была права. Интересно, понял ли это Рультабийль? Во всяком случае, неторопливость своих предварительных рассуждений он с лихвою искупил краткостью и точностью, с какою рассказал о событиях прошлой ночи. Никогда еще вопрос о «лишнем трупе» в Квадратной башне не представлял перед нами в столь таинственном и ужасном свете. М-с Эдит вся дрожала (в самом деле дрожала, честное слово). Что же до мистера Ранса, то он покусывал ручку трости с поистине американской флегмой и весьма убежденно повторял:

— Просто дьявольская история, просто дьявольская! Этот «лишний труп» — просто дьявольская история...

Произнося эти слова, он, правда, поглядывал на высунувшийся из-под платья кончик ботинка г-жи Дарзак. Тут начался общий разговор, бессвязный, состоявший сплошь из восклицаний, негодования, жалоб, вздохов сочувствия, а также из просьб объяснить появление «лишнего трупа» и объяснений, которые ничего не объясняли, а лишь усиливали общее замешательство. Зашел разговор и о том, как труп был увезен в мешке из-под картошки, и м-с Эдит вновь разразилась комплиментами в адрес героя — г-на Дарзака. Рультабийль, однако, в эту словесную неразбериху не вмешивался. Он явно не одобрял поднявшейся суеты и смятения, за которыми наблюдал с видом учителя, давшего своим примерным ученикам несколько минут передышки. Подобная манера мне весьма не нравилась, и я неоднократно упрекал за нее Рультабийля, впрочем, без особого успеха: тот всегда напускал на себя такой вид, какой хотел.

Наконец, решив, по-видимому, что перемена затянулась, он резко спросил у м-с Эдит:

— Ну как, миссис Эдит, вы все еще считаете, что следует сообщить в полицию?

— Уверена в этом еще больше, чем раньше,— ответила та.— Полиция обязательно раскроет то, что нам раскрыть не под силу. (Рультабийль остался безучастен к этому сомнению в его умственных способностях.) И признаюсь вам, господин Рультабийль, что, по-моему, ее следовало известить еще раньше. Вам тогда не пришлось бы дежурить столько бессонных ночей; да это, в сущности, оказалось ни

к чему — тот, кого вы опасались, все равно проник в замок.

Рультабийль даже вздрогнул, но подавил возмущение и сел, как бы машинально снова завладев тростью, которую Артур Ранс прислонил к ручке кресла. «Что он собирается делать с этой тростью? На сей раз надо быть осторожнее и не притрагиваться к ней!» — сказал я себе.

Поигрывая тростью, Рультабийль ответил м-с Эдит, которая столь задиристо и даже несколько жестоко напала на него.

— Вы заблуждаетесь, миссис Эдит, полагая, что меры, которые я принял, чтобы обеспечить безопасность господина и госпожи Дарзак, оказались бесполезны. Они позволили мне установить, что у нас появился «лишний труп»; они же позволили мне установить, что одного трупа у нас недостает. Это, впрочем, не так уж необъяснимо.

Мы переглянулись: одни — пытаюсь понять, другие — страшась.

— Ну, в таком случае вы увидите, что никакой тайны больше нет и все устроится наилучшим образом,— отозвалась м-с Эдит и добавила, передразнивая Рультабийля: — С одной стороны — «лишний труп», с другой — недостающий. Все к лучшему.

— Да,— согласился Рультабийль,— но самое страшное в том, что этот недостающий труп появился как раз вовремя, чтобы объяснить присутствие «лишнего» трупа, сударыня. Только знайте, что недостающий труп — это труп вашего дядюшки, мистера Боба.

— Старый Боб! — вскричала женщина.— Пропал Старый Боб?

— Старый Боб! Пропал Старый Боб? — подхватили все присутствующие.

— Увы,— проговорил Рультабийль и уронил трость.

Однако весть об исчезновении Старого Боба до такой степени взволновала и Рансов и Дарзаков, что на упавшую тросточку никто не обратил внимания.

— Дорогой Сенклер, будьте столь любезны, поднимите трость,— попросил Рультабийль.

Ей-богу, я поднял ее, но Рультабийль даже не соблаговолил меня поблагодарить: в этот миг м-с Эдит, словно львица, набросилась на г-на Дарзака с криком:

— Вы убили дядюшку!

Нам с г-ном Рансом едва удалось сдержать ее и немного успокоить. Мы принялись ее уверять, что, если дядюшка исчез на некоторое время, это вовсе не означает, что его увезли в этом жутком мешке. Одновременно мы осыпали

Рультабийля упреками за то, что он был столь жесток и сообщил нам свое мнение, которое к тому же всего лишь шаткая гипотеза, родившаяся в его растревоженном мозгу. Затем мы стали умолять м-с Эдит не считать эту гипотезу за оскорбление, поскольку она возможна, только если предположить, что Ларсан проявил чудо изобретательности и появился здесь под видом ее уважаемого дядюшки. Однако м-с Эдит приказала мужу замолчать, смирив меня взглядом с головы до ног и заявила:

— Господин Сенклер, я твердо надеюсь, что дядюшка вскоре объявится; в противном случае я обвиню вас как соучастника грязного преступления. Что же до вас, сударь,— повернулась она к Рультабийлю,— то одна лишь мысль о том, что вы могли перепутать Ларсана со Старым Бобом, не позволит мне впредь подавать вам руку, и я надеюсь, у вас достанет такта как можно скорее избавить меня от своего присутствия.

— Сударыня,— согнувшись в низком поклоне, ответил Рультабийль,— я как раз хотел попросить у вас позволения отлучиться. Мне нужно ненадолго, примерно на сутки, уехать. Через сутки я вернусь и буду готов помочь вам избавиться от затруднений, которые могут появиться в связи с исчезновением вашего уважаемого дядюшки.

— Если через сутки дядя не вернется, я подам жалобу итальянским властям.

— Это хорошие власти, однако прежде, чем прибегнуть к их помощи, я посоветовал бы вам, сударыня, расспросить слуг, которым вы доверяете, в частности Маттони. Вы доверяете Маттони, сударыня?

— Да, сударь, доверяю.

— Тогда расспросите его, сударыня. Расспросите! Да, перед отъездом позвольте оставить вам это превосходное историческое сочинение.

С этими словами Рультабийль достал из кармана какую-то книгу.

— Это еще что? — гордо и пренебрежительно спросила м-с Эдит.

— Это, сударыня, книга Альбера Батайля «Уголовные и гражданские дела». Я советую вам почитать о переодеваниях, маскировке и прочих надувательствах знаменитого преступника, настоящее имя которого Балмейер.

Рультабийль не знал, что недавно я целых два часа рассказывал м-с Ранс о невероятных похождениях Балмейера.

— Изучив это,— продолжал Рультабийль,— вы, возможно, захотите поразмыслить, так ли невозможно для

столь ловкого преступника предстать перед вами под видом вашего дядюшки, которого вы не видели уже четыре года — ведь в последний раз вы встретились с этим уважаемым ученым четыре года назад, в пампасах Араукании. Что же касается воспоминаний господина Ранса, то они относятся к еще более отдаленному прошлому, и их еще легче обмануть, чем ваше сердце племянницы. Умоляю вас на коленях, сударыня, не надо сердиться. Никогда еще мы не оказывались в столь трудном положении. Давайте же действовать сообща. Вы велите мне уехать? Хорошо, я уеду, но скоро вернусь; ведь сбросить со счетов ужасное предположение о том, что Ларсан выдает себя за Старого Боба, нельзя, а значит, нам придется искать самого Старого Боба, и тут, сударыня, вы можете мною распоряжаться как своим верным и покорным слугой.

М-с Эдит с видом оскорбленного достоинства промолчала, и Рультабийль обратился к Артуру Рансу:

— Прошу вас, господин Ранс, принять мои извинения за все происшедшее и надеюсь, что как истый джентльмен вы убедите м-с Ранс тоже принять их. Вы упрекаете меня за то, что я слишком рано рассказал вам о своем предположении, однако соблаговолите вспомнить, сударь, что несколько минут назад миссис Эдит упрекала меня за медлительность.

Но Артур Ранс больше не слушал. Он взял жену под руку, и только они направились к выходу, как вдруг дверь распахнулась и в зал влетел конюх Уолтер, верный слуга Старого Боба. С головы до ног его покрывал слой грязи, одежда кое-где была разорвана. Потное лицо с прилипшими прядями волос выражало гнев и ужас и тут же навело нас на мысль о новом несчастье. В руке он держал какую-то мерзкую тряпку, которую, войдя, бросил на стол. В этом отвратительном куске ткани, покрытом крупными бурыми пятнами, мы сразу же узнали мешок, в котором был увезен труп, и в ужасе попятились.

Ожесточенно размахивая руками, Уолтер сипло и невразумительно залопотал по-английски, и все мы, за исключением супругов Ранс, перебивали его: «Что он говорит? Что он говорит?»

Тогда Артур Ранс стал время от времени прерывать его тирады, а тот грозил нам кулаками и свирепо поглядывал на Робера Дарзака. В какой-то миг нам даже показалось, что Уолтер бросится на профессора, однако м-с Эдит движением руки остановила его. А Артур Ранс переводил:

— Он говорит, что сегодня утром заметил на двуколке пятна крови; к тому же Тоби казался очень усталым после

ночной поездки. Это его так заинтересовало, что он решил немедленно посоветоваться со Старым Бобом, но не смог его найти. Тогда, полный самых мрачных предчувствий, он пошел по следам двуколки, что сделать было нетрудно: дорога еще не просохла, да и колеса у этого экипажа расставлены необычайно широко. Так он добрался до старого Кастийона и спустился в расселину, убежденный, что обнаружит там труп своего хозяина, однако нашел лишь пустой мешок, в котором, возможно, находился труп Старого Боба. Теперь, поспешно вернувшись назад в одноколке какого-то крестьянина, он требует своего хозяина, спрашивает, не видел ли его кто-нибудь, и готов обвинить Робера Дарзака в убийстве, если хозяин не обнаружится.

Мы были подавлены услышанным. Однако, к нашему великому удивлению, первой взяла себя в руки м-с Эдит. Несколькими словами она успокоила Уолтера, пообещав, что скоро ему покажут живого и невредимого Старого Боба, и спровадила слугу. Затем обратилась к Рультабийлю:

— Сударь, у вас есть сутки, в течение которых дядя должен вернуться.

— Спасибо, сударыня, но если он не вернется, значит, я прав,— отозвался Рультабийль.

— Да где же он может быть в конце концов? — воскликнула м-с Эдит.

— Теперь, когда в мешке его нет, ничего не могу вам сказать, сударыня.

М-с Эдит бросила на журналиста испепеляющий взгляд и вышла в сопровождении мужа. И тут Робер Дарзак поведал нам, насколько он обескуражен историей с мешком. Он ведь сбросил в расселину мешок вместе с Ларсаном, а выплыл наружу только мешок. Рультабийль на это сказал:

— Можете не сомневаться, Ларсан жив! Положение у нас весьма незавидное, я должен ехать. Нельзя терять ни минуты. Через сутки я вернусь. Но поклянитесь оба, что вы носа не высунете из замка. Господин Дарзак, поклянитесь, что вы будете наблюдать за госпожой Дарзак и удержите ее в замке, даже если для этого нужно будет применить силу. Да, и вот еще что: вам не следует больше жить в Квадратной башне. Ни в коем случае! На этаже, где живет господин Стейнджерсон, есть две свободные комнаты. Займите их, это необходимо. Сенклер, проследите за этим переселением. После моего отъезда чтобы ноги вашей не было в Квадратной башне, ясно? Прощайте. Дайте-ка я вас обниму, всех троих!

Он прижал к груди г-на Дарзака, потом меня; затем обнял Даму в черном и вдруг разразился рыданиями. Такое поведение Рультабийля, несмотря даже на серьезность обстановки, показалось мне непонятным. Увы, каким естественным я сочту его позже!

Глава 15. Ночные вздохи

Два часа ночи. Замок спит. Какая тишина на земле и в небесах! Я стою у окна; лицо у меня горит, а сердце застыло; море вздыхает в последний раз, и сразу же луна скрывается за облаками. Ночное светило погасло, нигде не видно даже теней. И вот, среди сонной неподвижности мне слышатся слова литовской песни:

И, деву встречая, разверзлась пучина
И снова сомкнулась, насытись.
И вновь неподвижно, светло и пустынно
Хрустальное озеро Свитезь.

Слова ясно и четко доносятся до меня в гулкой неподвижной ночи. Кто это? Он? Она? А может, их просто подсказывает мне память? Все-таки любопытно: зачем этот чернотелый князь явился со своими литовскими песнями на Лазурный берег? И почему меня преследует его образ и его песни?

Как она его выносит? Он же просто смешон: эти ласковые глаза с длинными темными ресницами, да еще литовские песни! Впрочем, я тоже смешон. Неужели у меня сердце словно у школьника? Не думаю. Скорее я склонен полагать, что в князе Галиче меня волнует не столько интерес м-с Эдит к нему, сколько мысль о том, другом человеке. Да, вот именно: князь и Ларсан тревожат меня вместе. В замке князь не появлялся с того обеда, на котором его нам представили, то есть с позавчерашнего дня.

Вечер после отъезда Рультабийля не принес нам ничего нового. Ни от него, ни от Старого Боба никаких известий не было. М-с Эдит расспросила прислугу, зашла в комнаты Старого Боба и в Круглую башню, после чего заперлась у себя. В комнаты Дарзаков она заходить не стала. «Это дело полиции»,— сказала она. Артур Ранс примерно час разгуливал по западному валу, выказывая признаки крайнего нетерпения. Со мною никто не заговаривал. Супруги Дарзак из «Волчицы» не выходили. Каждый обедал у себя. Профессор Стейнджерсон тоже не показывался.

А теперь замок спит. Но вместе с ночным светилом появились и какие-то тени. Что там такое, если не тень лодки, отделившаяся от черной громады замка и скользящая по серебристой воде? А чей это силуэт горделиво возвышается на носу, тогда как вторая тень молчаливо сгибается над веслами? Это твой силуэт, Федор Федорович! Ну, эту тайну разгадать проще, чем тайну Квадратной башни, Рультабийль. Тут, я думаю, даже у м-с Эдит хватит ума...

Ночь-лицемерка! Кажется, что все спит, а на самом деле не спит никто и ничто. Да и кто похвалится тем, что может спать в форте Геркулес? Думаете, м-с Эдит спит? А супруги Дарзак? А господин Стейнджерсон? Он ведь каждый день ходит полусонный, и, говорят, по утрам его постель не смята, потому что после событий в Гландье его постоянно мучит бессонница,— так неужели он спит в эту ночь? А я разве сплю?

Я вышел из комнаты, спустился во двор Карла Смелого и быстро дошел до вала Круглой башни. Оказался я там вовремя: лодка князя Галича как раз пристала к берегу у «садов Семирамиды», освещенных лунным сиянием. Князь выпрыгнул на гальку, за ним, сложив весла, последовал другой. Я узнал и хозяина и его слугу: Федора Федоровича и его лакея Ивана. Через несколько секунд оба скрылись в тени столетних пальм и гигантских эвкалиптов.

Я обошел кругом вал двора Карла Смелого и с бьющимся сердцем направился в первый двор. Звук моих одиноких шагов гулко разнесся под каменными сводами потерны; мне показалось, что у полуразрушенной паперти часовни настороженно встrepенулась чья-то тень. Я остановился в густой тени Садовой башни и нащупал в кармане револьвер. Тень не двигалась. Что это? Внимательно прислушивающийся человек? Я спрятался за шпалеру из вербены, окаймлявшую дорожку, которая через половодье весенних трав и кустов вела прямо к «Волчице». Двигался я бесшумно, и тень, по-видимому успокоившись, зашевелилась. Это Дама в черном. Луна освещала ее своим бледным светом. И вдруг, словно по волшебству, женщина исчезла. Я двинулся к часовне и, подойдя к развалинам поближе, услышал тихий шепот, бессвязные слова и вздохи, перемежающиеся таким плачем, что и у меня глаза стали влажными. Там, за одной из колонн, плакала Дама в черном. Она одна? Быть может, в столь тревожную ночь она выбрала этот увитый цветами алтарь, чтобы принести тут, в тишине, свою чистую молитву?

Внезапно рядом с Дамой в черном я увидел чью-то

фигуру и узнал Робера Дарзака. Оттуда, где я стоял, мне было слышно, о чем они говорили. Ужасная, некрасивая, постыдная бестактность! Но — странное дело! — я чувствовал, что просто обязан слушать. Я больше не думал ни о м-с Эдит, ни о князе Галиче. Все мои мысли вертелись вокруг Ларсана. Почему? Почему мне хотелось слышать их разговор именно из-за Ларсана? Я понял, что Матильда украдкой вышла из башни, чтобы погрузиться в сад, а муж присоединился к ней. Дама в черном плакала. Она держала Робера Дарзака за руки и говорила:

— Я знаю, знаю, как вы мучаетесь, не трудитесь возражать — я же вижу, как вы изменились, как вы несчастны. Я виню себя — я причинила вам боль, но не надо обвинять меня в том, что я больше не люблю вас. О Робер, я еще буду вас любить, как когда-то, обещаю вам!

Она задумалась, а он с недоверчивым видом продолжал слушать. Через несколько секунд Матильда воскликнула — странным голосом, но вместе с тем очень убежденно:

— Ну разумеется, обещаю!

Она еще раз сжала ему руки и ушла, подарив на прощанье чудную, но настолько несчастную улыбку, что я удивился, как она могла обещать ему счастье. Проходя, Матильда слегка задела меня, но не заметила. Запах ее духов улетел, и я ощущал лишь аромат лавровишен, за которым прятался.

Г-н Дарзак не двигался. Я продолжал наблюдать за ним. Внезапно он воскликнул с яростью, которая заставила меня задуматься:

— Да, нужно быть счастливым! Нужно!

Конечно, он был на пределе сил. И прежде чем уйти к себе в башню, сделал жест, в который вложил свой протест против злой судьбы и вызов року, жест, которым он, невзирая на разделяющее их пространство, как бы обнимал Даму в черном и прижимал ее к груди, становясь ее повелителем.

Возможно, жест его был и не совсем таков, каким я дорисовал его в своем воображении: просто оно, блуждая вокруг Ларсана, наткнулось на Дарзака. Да, я прекрасно помню: именно этой лунной ночью, после этого жеста похитителя я осмелился сказать себе то, что говорил уже о многих других, обо всех: «А что, если это Ларсан?» Порывшись же как следует в глубинах памяти, я могу признаться, что мысль моя была еще более точной. При жесте Робера Дарзака в голове у меня тут же вспыхнуло: «Это Ларсан!»

Я был так испуган, что, увидев идущего в мою сторону Робера Дарзака, невольно попятился, чем и обнаружил свое

присутствие. Он заметил меня, узнал, схватил за руку и заговорил:

— Вы здесь, Сенклер, вы не спите? Все мы бодрствуем, мой друг. Вы все слышали? Знаете, Сенклер, такого горя я не выдержу. Мы уже были почти счастливы, даже она поверила было, что грозный рок от нее отступился,— и тут снова появляется он. И вот все кончено, у нее нет больше сил для любви. Она покорилась неизбежности, ей кажется, что рок будет преследовать ее всегда, точно вечная кара. Только драма минувшей ночи доказала мне, что эта женщина и в самом деле любила меня... раньше... Да, в какие-то секунды она боялась за меня, а я — увы! — совершил убийство только ради нее. Но к ней снова вернулось ее убийственное безразличие. Теперь она думает — если вообще может о чем-нибудь думать, — что будет когда-нибудь молча гулять со стариком, и все.

Он вздохнул так печально и так искренне, что ужасная мысль тут же меня покинула. Я размышлял теперь только о его словах, о горе этого человека, которому казалось, что он окончательно потерял любимую жену, в то время как к ней вернулся сын, о существовании которого он до сих пор не знал. В сущности, он так и не разобрался в поведении Дамы в черном, так и не понял, почему она на первый взгляд столь легко отринула его. Он объяснял эту страшную перемену измученной угрызениями совести дочери профессора Стейнджерсона только любовью к отцу.

Тем временем г-н Дарзак продолжал сетовать:

— Что толку, что я схватился с ним? Зачем я его убил? Зачем она заставляет меня молчать, словно какого-то преступника, если не хочет отблагодарить меня своею любовью? Боится, что меня снова станут судить? Увы, Сенклер, дело не в этом, совсем не в этом. Она опасается, что ослабевший рассудок отца не выдержит нового скандала. Отец! Вечно отец! А меня словно и вовсе нет. Я ждал ее двадцать лет и не успел получить, как отец снова ее у меня отнял.

В голове у меня пронеслось: «Отец? Нет, отец и сын».

Он сел на древние камни обвалившейся часовни и проговорил как бы про себя:

— Но я вырву ее из этих стен... Не могу видеть, как она бродит под ручку с отцом, словно меня и вовсе нет!

Пока он это говорил, перед моим мысленным взором встали два горестных силуэта — отец и дочь, гуляющие на закате в громадной тени башни, которую косые лучи вечернего солнца удлинители еще больше, и я подумал, что

гнев небес безжалостно обрушился на них, словно на Эдипа и Антигону, что они напоминают знакомых нам с юности героев Софокла, живущих в Колоне с грузом нечеловеческого несчастья на плечах.

А потом вдруг — не знаю даже по какой причине, быть может, из-за жеста Дарзака — страшная мысль снова пришла мне в голову, и я в упор спросил:

— А как получилось, что мешок оказался пустым? Дарзак невозмутимо ответил:

— Возможно, об этом расскажет Рультабийль.

Затем пожал мне руку и задумчиво пошел в глубину двора.

Я смотрел ему вслед.

Кажется, я схожу с ума.

Глава 16. «Открытие Австралии»

В лицо ему светит луна. Возможно теперь, полагая, что остался один, он сбросит свою дневную маску. Днем его неуверенный взгляд заслоняют темные стекла очков. И если он, играя комедию, устал горбиться и опускать плечи, то теперь настала минута, когда Ларсан может дать отдых своему массивному телу. Скорее бы он расслабился! Я слежу за ним из кулисы — притаившись за фиговыми деревьями, откуда мне видно каждое его движение.

Вот он стоит, словно на пьедестале, на западном валу, луна заливает его холодным и мертвенным светом. Это ты, Дарзак? Или это твой призрак? А быть может, это тень Ларсана, восставшего из мертвых?

Я схожу с ума... Ей-богу, всех нас нужно пожалеть — все мы сходим с ума. Нам повсюду видится Ларсан, и, быть может, Дарзак однажды тоже смотрел на меня и думал: «А вдруг это Ларсан?» Однажды! Я говорю, словно мы заперты в замке уже невесть сколько, а прошло-то всего четверо суток. Мы приехали сюда 8 апреля, вечером.

Когда я задавал себе этот ужасный вопрос относительно других, сердце мое не билось так сильно — быть может, потому, что и вопрос звучал не так ужасно, когда речь шла о других. И потом, со мной делается что-то странное. Мой ум не только не сопротивляется изо всех сил столь невероятному предположению; напротив, он тянется к нему, поддается его страшному очарованию. Он буквально помутился, и спасения от этого нет. Он заставляет меня

не сводить глаз с этого призрака, стоящего на западном валу, отыскивать знакомые позы и жесты — сначала когда тот стоит спиной, потом в профиль, потом — лицом ко мне. Вот так он очень похож на Ларсана... Да, но вот этак он похож на Дарзака...

Почему эта мысль впервые пришла ко мне только сегодня ночью? Ведь если поразмыслить как следует, это — первое, что должно было прийти нам на ум. Разве во времена событий, связанных с тайной Желтой комнаты, Ларсана не принимали несколько раз за Дарзака? Разве Дарзак, пришедший в 40-е почтовое отделение за ответом м-ль Стейнджерсон, не был на самом деле Ларсаном? Разве этот король перевоплощений уже не выдавал себя за Дарзака, притом с таким успехом, что ему удалось обвинить в своих преступлениях жениха м-ль Стейнджерсон?

Да, конечно... Но если я все же прикажу своему беспокойному сердцу замолчать и прислушаюсь к голосу разума, он мне скажет, что это мое предположение безумно. Безумно? Но почему? Постойте-ка: вон призрак Ларсана зашагал своими длинными ногами, зашагал походкой Ларсана. Да, но плечи у него — как у Дарзака.

Я сказал, что мое предположение безумно, и вот почему: если он не Дарзак, то должен стараться быть все время в тени, в укрытии, как тогда, в Гландье, а тут мы все время сталкиваемся с этим человеком, живем рядом с ним!

Живем рядом с ним? Нет!

Во-первых, среди нас он показывается нечасто — то сидит у себя в комнате, то корпит над своей никому не нужной работой в башне Карла Смелого. Честное слово, рисование — прекрасный повод отвечать на вопросы, не оборачиваясь, так, чтобы твоего лица не было видно.

Но ведь не все же время он рисует. Да, но, выходя из помещения, он всегда надевает темные очки. Вообще этот несчастный случай в лаборатории — выдумка остроумная. Можно подумать — мне, например, всегда так казалось, — что эта взорвавшаяся горелка знала, какую услугу окажет она Ларсану, если тот станет выдавать себя за Дарзака. Теперь он может избегать яркого света, ссылаясь на слабое зрение. Ну как же, как же! Даже м-ль Стейнджерсон и Рультабийль стараются выбрать для него местечко в тени, где его глазам не причинит вреда яркий дневной свет. Если вдуматься, то он чаще всех нас ищет тени, и мы видим его мало, причем всегда в полутьме. В нашем зале военного совета очень темно, в «Волчице» темно, в Квад-

ратной башне он выбрал комнаты, в которых всегда царит полумрак.

И все же... Ладно, посмотрим. Так просто Рультабийля не проведешь, водить его за нос три дня подряд не удастся никому. Однако, как говорит Рультабийль, Ларсан родился раньше него, он ведь его отец...

Но вот что я вспомнил: когда в Кане Дарзак зашел к нам в купе, он первым делом задернул занавески. Полумрак, всегда полумрак!

Вот призрак на западном валу повернулся в мою сторону. Я хорошо его вижу, очков на нем нет. Он неподвижен, словно стоит перед фотокамерой. Не двигайтесь. Готово: это Робер Дарзак! Робер Дарзак!

Он снова двинулся. Не знаю, но все же его походка чем-то отличается от походки Ларсана. Только вот чем?

Разумеется, Рультабийль заметил бы. Заметил бы? Да он больше рассуждает, чем смотрит. И было ли у него время понаблюдать?

Нет! Не нужно забывать, что Дарзак пробыл три месяца на юге. Это верно. Тут можно рассуждать так: три месяца его никто не видел. Он уехал недужным, вернулся здоровым. Не удивительно, что лицо у человека изменилось: уехал он тяжело больным, вернулся ожившим.

И сразу же состоялась свадьба. Все это время он редко показывался на людях, да и длилось все это лишь неделю. Семь дней Ларсан мог бы выдержать.

Человек (Дарзак? Ларсан?) спустился с пьедестала на западном валу и направился в мою сторону. Неужели он меня заметил? Я еще сильнее сжался за своим фиговым деревом.

За три месяца Ларсан мог изучить все привычки и повадки Дарзака, а потом, убрав несчастного, занять его место, похитить его жену — и дело сделано!

Голос? Имитировать голос человека с юга — чего проще! Выговор замечен чуть больше или чуть меньше, и все. Мне показалось, что сейчас у него южный выговор слышен немного больше. Да, у теперешнего Дарзака акцент чуть сильнее, по-моему, чем до свадьбы.

Но вот он уже рядом, проходит мимо, хотя меня не замечает...

Это Ларсан! Говорю вам, это Ларсан!

На секунду остановился, в отчаянии огляделся — все вокруг спит, не спит лишь его горе — и вздохнул, как вздыхают глубоко несчастные люди...

Это Дарзак!

Он ушел, а я остался стоять за фиговым деревом, совершенно уничтоженный тем, о чем осмелился подумать.

Сколько времени провел я в этом состоянии? Час? Два? Когда я очнулся, поясница у меня разламывалась, голова отказывалась работать. В своих ошеломительных предположениях я дошел до того, что подумал: а вдруг Ларсан, лежавший в мешке из-под картошки, засунул на свое место Дарзака, который, запрягши в двуколку Тоби, повез его к кастийонской расселине? Я даже представил себе, как агонизирующий полумертвец воскресает и предлагает г-ну Дарзаку занять его место. Однако, чтобы отбросить столь идиотское предположение, мне понадобилось вспомнить о доказательстве его невозможности, которое я получил во время разговора один на один с г-ном Дарзаком. Разговор этот состоялся утром, после нашего бурного собрания в Квадратной башне, во время которого были четко определены условия задачи о «лишнем трупе». Меня тогда занимал нелепый образ князя Галича, и я задал г-ну Дарзаку несколько вопросов, касающихся этого человека; он сразу ответил на них, причем сослался на другой, весьма ученый разговор на ту же тему, который состоялся между ним и мною накануне и о котором никто, кроме нас двоих, физически не мог знать. Об этом разговоре знал он один, и поэтому у меня не осталось сомнений, что Дарзак, занимающий мой ум сегодня, и Дарзак, с которым я беседовал накануне, — одно и то же лицо.

Как ни абсурдна была мысль о подмене, меня все же следует простить. В том, что она у меня возникла, немного виноват Рультабийль, говоривший о своем отце как о гении перевоплощения. И я вернулся к единственно возможному — для Ларсана, который занял место Дарзака, — предположению о том, что подмена произошла во время свадьбы, когда жених м-ль Стейнджерсон вернулся в Париж после трехмесячного пребывания на юге.

Даже душераздирающая жалоба, вырвавшаяся недавно у Дарзака, когда он считал, что рядом никого нет, — даже она не смогла прогнать эту мысль. Я вспомнил, как он вошел в церковь Сен-Никола дю Шардонне, церковь, выбрannую им самим... Не потому ли, что это самая темная церковь в Париже?

Удивительно, до какого вздора можно дойти, когда в лунную ночь стоишь за фиговым деревом и размышляешь о Ларсане!

Сущий вздор! — говорил я себе, тихонько идя по двору

и мечтая о постели, которая ждала меня в одинокой комнате Нового замка. Вздор, потому что — как хорошо объяснил Рультабийль, — займи Ларсан место Дарзака, ему достаточно было бы увести свою прекрасную добычу, а представать перед Матильдой в своем подлинном обличье и пугать ее, появляться в замке, и себе же на беду снова показываться в лодке Туллио в виде грозного Русселя—Балмейера — все это ему было вовсе ни к чему.

К тому же в таком случае Матильда уже принадлежала бы ему, он уже обрел бы ее снова. А появление Ларсана явно оттолкнуло ее от Дарзака — стало быть, Дарзак не Ларсан. Господи, как болит голова! Это все луна, которая так давит на мозг. У меня лунный удар.

И потом, разве не видел его Артур Ранс в ментонском саду, в то время как Дарзак уже сидел в поезде, доставившем его в Кан раньше нас? Если Артур Ранс не солгал, я могу спокойно отправляться спать. А зачем было Артуру Рансу лгать? Артур Ранс, еще один человек, влюбленный до сих пор в Даму в черном. М-с Эдит не дуручка — она все замечает... Впрочем, ладно, надо идти спать.

Я как раз проходил под потерной и собирался войти во двор Карла Смелого, как вдруг мне показалось, что раздался какой-то звук, словно где-то закрыли дверь, словно железо стукнуло по дереву, словно щелкнул замок. Я быстро высунул голову из-под потерны и заметил у входа в Новый замок неясный человеческий силуэт; взведя курок револьвера, я в три прыжка оказался у двери, но там никого не было. Дверь в Новый замок была затворена, хотя я помнил, что оставил ее приоткрытой. Я чрезвычайно встревожился, чувствуя рядом чье-то присутствие, но кто это мог быть? Очевидно, если силуэт не был плодом моего разгоряченного воображения, находиться этот человек мог лишь в Новом замке, так как двор был пуст.

Я осторожно открыл дверь и вошел. Минут пять я неподвижно стоял и прислушивался. Ни звука! Должно быть, мне померещилось. Тем не менее я не стал зажигать спичку и в темноте, стараясь производить как можно меньше шума, поднялся по лестнице и дошел до своей комнаты. Только закрыв за собой дверь, я облегченно вздохнул.

Это видение беспокоило меня больше, чем я признавался самому себе, и, хотя я сразу лег, заснуть мне не удалось. Наконец по непонятной для меня причине силуэт и мысль о Дарзаке—Ларсане странным образом смешались в моем растревоженном мозгу.

Я дошел до того, что сказал себе: не успокоюсь, пока не удостоверюсь, что Дарзак — это не Ларсан. И сделаю это при первом же удобном случае.

Да, но как? Дернуть его за бороду? Если я ошибаюсь, он примет меня за сумасшедшего или догадается, о чем я думаю, что отнюдь не утешит беднягу в его несчастьях. Оказаться под подозрением, что он — Ларсан,— только этого ему не хватает.

Внезапно, отбросив одеяло, я сел и воскликнул:

— Австралия!

Дело в том, что мне на ум пришел эпизод, о котором я упоминал в начале этого повествования. Вы, должно быть, помните, что, когда в лаборатории произошел несчастный случай, я отправился вместе с Робером Дарзаком к аптекарю. Там Дарзак, естественно, снял куртку; когда аптекарь начал оказывать ему помощь, рукав рубашки нечаянно задрался до локтя, и я увидел у локтевого сгиба правой руки большое родимое пятно, очертаниями удивительно напоминающее австралийский материк. Пока аптекарь работал, я невольно отмечал на этой «карте» места, где должны располагаться Мельбурн, Сидней и Аделаида; более того, рядом с большим на руке находилось еще и маленькое пятнышко, расположенное примерно там, где должен быть остров Тасмания.

И когда позже я случайно вспоминал этот случай с визитом к аптекарю и родимым пятном, мне по вполне понятной ассоциации приходила на ум Австралия.

Вспомнил я о ней и в эту бессонную ночь.

Едва я, сидя на постели, успел поздравить себя с тем, что нашел столь надежный способ проверить личность г-на Дарзака, и уже начал было раздумывать, как лучше взяться за дело, чтобы выяснить все самому, слух мой внезапно уловил какой-то звук. Через несколько секунд звук повторился; казалось, под чьими-то медленными и осторожными шагами скрипят ступени.

Затаив дыхание, я подошел к двери, приложил ухо к замочной скважине и прислушался. Сначала было тихо, затем ступени скрипнули опять. Сомнений не было: кто-то шел по лестнице, причем старался делать это бесшумно. Я подумал о тени, которую видел, когда входил во двор. Кто это мог быть и что этот человек делал на лестнице? Поднимался? Спускался?

Опять тихо. Воспользовавшись этим, я надел брюки и, взяв револьвер, осторожно, без скрипа, открыл дверь. Затаив дыхание, я дошел до перил и стал ждать. Я уже

говорил, в каком ветхом состоянии находился Новый замок. Унылый свет луны падал наискось сквозь высокие окна каждой площадки; бледные, но четкие квадраты лежали на темной, громадной лестнице. При таком освещении запустение замка было еще ощутимей. Сломанные кое-где перила, ветхие балясины, растрескавшиеся стены, на которых тут и там еще висели большие куски обивки,— все это не производило впечатления днем, но сейчас поразило меня, и я подумал, что в такой обстановке вполне уместно какое-нибудь привидение. Мне и в самом деле было страшно. Только что чья-то тень буквально выскользнула у меня из рук, когда я уже почти к ней прикоснулся. Но призраки гуляют по древнему замку, не скрипя ступенями. Правда, больше ступени и не скрипели.

Внезапно, нагнувшись над перилами, я снова увидел тень. Она была ярко освещена и, что совершенно не свойственно тени, стала светлой. Я узнал в ней Робера Дарзака.

Он как раз достиг первого этажа и теперь шел по вестибюлю, подняв голову, словно чувствовал тяжесть моего взгляда. Я инстинктивно отпрянул. Когда же я вернулся на свой наблюдательный пост, то увидел, как он скрывается в коридоре, ведущем к лестнице в другой части здания. Что это значит? Что Робер Дарзак делает ночью в Новом замке? Почему он так старается, чтобы его никто не заметил? У меня в голове пронеслись тысячи подозрений, точнее, опять зароились все недавние скверные мысли, и я отправился за Дарзаком «открывать Австралию».

Я добрался до коридора, как раз когда он из него вышел и начал все так же осторожно подниматься по трухлявым ступеням другой лестницы. Спрятавшись в коридоре, я видел, как он остановился на первой площадке и открыл какую-то дверь. Потом я не видел больше ничего: он попал в темноту и, по-видимому, вошел в комнату. Я поднялся к этой двери, которая оказалась закрытой, и в полной уверенности, что он в комнате, трижды коротко постучал. Затем я стал ждать. Сердце мое бешено колотилось. В этих комнатах никто не жил, они были заброшены. Что делает здесь Робер Дарзак?

Прошли минуты две, показавшиеся мне бесконечными, и, так как мне никто не ответил и не открыл, я постучал снова и снова стал ждать. И вот дверь отворилась, и Робер Дарзак совершенно естественно спросил:

— Это вы, Сенклер? Что вам нужно, друг мой?

— Я хочу знать, что вы тут делаете в такой час? — придушенным голосом ответил я, нащупывая в кармане

револьвер, так как в глубине души мне было страшно.

Он спокойно чиркнул спичкой и проговорил:

— Как видите, собираюсь ложиться спать.

Он зажег свечу и поставил ее на стул — в этой запущенной комнате не было даже плохонького ночного столика. Одна лишь кровать в углу, которую он, должно быть, принес сюда днем, составляла меблировку комнаты.

— Я полагал, что эту ночь вы проведете рядом с господой Дарзак и профессором, на втором этаже «Волчицы».

— Там слишком мало места, и я стеснил бы госпожу Дарзак, — с горечью ответил бедняга. — Вот я и попросил Бернье принести мне кровать сюда. Да и какая разница, где лежать, — я ведь все равно не сплю.

Мы помолчали. Мне было стыдно за свои нелепые выдумки. Откровенно говоря, угрызения совести были столь сильны, что я не сдержался. Я признался ему во всем: в своих постыдных подозрениях, в том, как, увидев его таинственные ночные блуждания по Новому замку, подумал, что имею дело с Ларсаном, в том, как решил отправиться «открывать Австралию». Я не скрыл от него, что в течение какого-то времени связывал все свои надежды с «Австралией».

Выслушав меня с необычайно горестным видом, Дарзак спокойно засучил рукав, поднес руку к свече и показал мне родимое пятно, которое должно было привести меня в чувство. Мне не хотелось даже смотреть на него, но Дарзак настоял, чтобы я его потрогал, и я убедился, что это самое обычное родимое пятно, на котором можно поставить точки с названиями городов — Сидней, Мельбурн, Аделаида, — и что рядом есть маленькое пятнышко, формой напоминающее Тасманию.

— Можете потереть, — добавил он весьма рассудительным тоном, — оно не сойдет.

Со слезами на глазах я снова принялся просить у него прощения, но он не хотел меня прощать, прежде чем я не дерну его изо всех сил за бороду. Я послушался, и в руках у меня она не осталась.

Только после этого он позволил мне идти спать, что я и сделал, обозвав себя дураком.

Глава 17. Необыкновенные приключения Старого Боба

Когда я проснулся, моя первая мысль была о Ларсане. Я уже был не в состоянии верить ни себе, ни другим, ни в то, что он мертв, ни в то, что жив. Быть может, он был вовсе не так тяжело ранен, как мы подумали? Да что я говорю? Быть может, он был вовсе не мертв, как это показалось сначала? Мог ли он выбраться из мешка, сброшенного Дарзаком в Кастийонскую расселину? В конце концов, это было вполне возможно или, точнее, в этом предположении не было ничего, что превосходило бы способности Ларсана, тем более что Уолтер объяснил нам, что нашел мешок в трех метрах от устья расселины, на естественном выступе, о существовании которого г-н Дарзак и не подозревал, сбрасывая останки Ларсана в бездну.

Затем я подумал о Рультабийле. Что он делает все это время? Зачем уехал? Никогда еще он не был так нужен в форте Геркулес. Если он опоздает, то сегодня скандала между Рансами и Дарзаками не избежать.

В этот миг в дверь постучали, и папаша Бернье передал мне короткую записку от моего друга, которую какой-то маленький бродяжка сунул в руку папаше Жаку. Рультабийль писал: «Вернусь сегодня утром. Встаньте поскорее и не откажите в любезности набрать для меня к завтраку прекрасных моллюсков, которых так много на камнях у мыса Гарибальди. Не теряйте ни минуты. Приветствую и благодарю. Рультабийль». Эта записка навела меня на размышления: я знал из опыта, что, когда Рультабийль на первый взгляд занимается пустяками, на самом деле он делает весьма серьезные дела.

Я поспешно оделся и, вооружившись старым ножом, которым снабдил меня папаша Бернье, отправился выполнять фантазию моего друга. Когда я прошел через северные ворота, не встретив никого в этот ранний час (было около семи утра), ко мне присоединилась м-с Эдит, и я рассказал ей о записке Рультабийля. М-с Эдит, крайне обеспокоенная затянувшимся отсутствием дядюшки, нашла записку странной и тревожной и отправилась со мною за моллюсками. По пути она сообщила мне, что дядюшка не прочь порой отлучиться на несколько дней, и до этой минуты она сохраняла надежду, что с его возвращением все объяснится, однако теперь ей опять не дает покоя мысль: а вдруг по какой-то трагической ошибке Старый Боб стал жертвой мщения Дарзаков?

Затем она процедила сквозь свои прелестные зубки смутную угрозу в адрес Дамы в черном, добавила, что ее терпения хватит лишь до полудня, и смолкла.

Мы принялись собирать моллюсков для Рультабийля. М-с Эдит была босиком, я тоже. Однако босые ножки м-с Эдит занимали меня гораздо больше, нежели моллюски. Дело в том, что, бродя по заливу Геркулеса, я обнаружил, что ножки м-с Эдит прекраснее самых дивных морских раковин; они заставили меня начисто забыть о моллюсках, и Рультабийлю пришлось бы завтракать без них, если бы не удивительное рвение молодой женщины. Она шлепала по морской воде и засовывала нож под камни изящно, но несколько нервно, что, впрочем, было ей очень к лицу. Внезапно мы, словно сговорившись, выпрямились и наострили уши. Со стороны пещер донесся чей-то крик. Рядом с пещерой Ромео и Джульетты мы различили небольшую кучку людей, призывно махавших нам руками. Подгоняемые предчувствием, мы поспешили к берегу. Вскоре мы узнали, что двое рыбаков, услышав чьи-то стоны, обнаружили в провале пещеры какого-то бедолагу, который, свалившись туда, по-видимому, долгое время пролежал без сознания.

Мы не ошиблись. На дне ямы лежал Старый Боб. Когда его извлекли на свет божий, он являл собою весьма жалкое зрелище: изящный черный сюртук был грязен, измят, а кое-где и разорван. М-с Эдит не смогла сдержать слез, когда увидела, что ключица и нога ученого вывихнуты, а сам он бледен как смерть.

° По счастью, все обошлось. Через десять минут он, согласно ее распоряжениям, уже лежал у себя на постели в Квадратной башне. Но представьте себе: этот упрямец до прихода врача отказался раздеться и расстаться со своим сюртуком! Сгорая от волнения, м-с Эдит устроилась у его изголовья, однако, как только пришел врач, Старый Боб потребовал, чтобы племянница немедленно оставила его и вышла из Квадратной башни. Он заставил ее даже закрыть дверь.

Эта последняя предосторожность нас весьма озадачила. Мы собрались во дворе Карла Смелого — г-жа и г-н Дарзак, Артур Ранс и я, а также папаша Бернье, который ждал удобного случая, чтобы узнать у меня новости. Выйдя после прибытия врача из Квадратной башни, м-с Эдит подошла к нам и сказала:

— Будем надеяться, ничего очень уж серьезного. Старый Боб человек крепкий. Ну что я вам говорила? И сей-

час повторяю: это просто старый шут — он, видите ли, хотел похитить череп князя Галича! Зависть ученого! Уж и посмеемся мы, когда он поправится!

Тут дверь Квадратной башни распахнулась, и показался верный слуга Старого Боба Уолтер. Он был бледен и встревожен.

— Сударыня! — воскликнул он. — Он истекает кровью. Он не хотел, чтобы я говорил, но его нужно спасать.

М-с Эдит исчезла за дверью Квадратной башни. Мы войти не решались. Вскоре она появилась снова:

— Ах, это ужасно! У него разбита вся грудь.

Я протянул ей руку, и она оперлась на нее, Артур же Ранс, как ни странно, прогуливался тем временем по валу, заложив руки за спину и насвистывая. Я постарался успокоить м-с Эдит и высказал ей свое сочувствие, однако супруги Дарзак остались равнодушны к горю молодой женщины.

Через час в замке появился Рультабийль. Я поджидал своего приятеля, стоя на западном валу, и, как только заметил его на берегу, сразу же бросился навстречу. Он оборвал первый же мой вопрос и сразу поинтересовался, хороши ли у меня улов. Меня не обманул его пристальный взгляд, и, желая показать, что я тоже не промах, я ответил:

— Улов прекрасный! Я поймал Старого Боба.

Рультабийль подскочил. Я пожал плечами, так как полагал, что он продолжает ломать комедию, и проговорил:

— Да ладно вам! Вы же прекрасно знаете, куда направляли нас вашей запиской насчет моллюсков!

Он удивленно уставился на меня:

— Вы, должно быть, не понимаете, что говорите, дорогой Сенклер, иначе не заставили бы меня опровергать подобное обвинение.

— Какое обвинение? — вскричал я.

— Обвинение в том, что я мог оставить Старого Боба в пещере Ромео и Джульетты, зная, что он умирает.

— Да успокойтесь же, — отозвался я. — Старый Боб вовсе не умирает. У него вывихнуты нога и плечо, но не сильно, а история его исчезновения — самая что ни на есть добропорядочная: он утверждает, что хотел похитить череп князя Галича.

— Что за бредовая мысль! — усмехнулся Рультабийль.

Он наклонился ко мне и, глядя прямо в глаза, спросил:

— А вы верите в эту историю? И что, это все? Других ран у него нет?

— Есть. У него есть еще одна рана, но врач нашел ее неопасной. У него разбита грудь.

— Разбита грудь? — переспросил Рультабийль, в волнении сжимая мне руку. — А как она у него разбита?

— Не знаем, не видели. Старый Боб невероятно стыдлив. Он не хотел снимать при нас сюртук, а тот так хорошо закрывал рану, что мы о ней и не подозревали, пока нам не признался Уолтер, напуганный видом крови.

Придя в замок, мы сразу наткнулись на м-с Эдит, которая нас разыскивала.

— Дядюшка не желает, чтобы я дежурила у его постели. Это совершенно необъяснимо! — воскликнула она, глядя на Рультабийля с несвойственной ей тревогой.

— Сударыня! — ответил репортер, церемонно раскланявшись с нашей милой хозяйкой. — Уверяю вас, ничего необъяснимого тут нет, если дать себе труд хоть немножечко поразмыслить.

Затем он поздравил м-с Эдит с тем, что она вновь обрела своего чудесного дядюшку, которого уже считала погибшим.

М-с Эдит, поняв мысль моего друга, только собралась ему ответить, как к нам подошел князь Галич. Узнав о несчастном случае, он явился провести, как поживает его друг Старый Боб. М-с Эдит успокоила его относительно последствий вылазки своего чудака дядюшки и попросила у князя прощения за слишком пылкую любовь ее родственника к самым древним черепам в мире. Когда она ему рассказала, что именно хотел похитить Старый Боб, князь мило и учтиво улыбнулся.

— Вы найдете ваш череп, — продолжала она, — на дне пещеры, куда дядюшка свалился вместе с ним. Во всяком случае, так он мне сказал. За свою коллекцию, князь, можете не беспокоиться.

Князь очень заинтересовался происшествием и попросил рассказать поподробнее. И м-с Эдит поведала, в чем дядюшка ей признался: он ушел из замка через колодец, который сообщается с морем. Как только она это сказала, я сразу вспомнил опыт с ведром воды, который провел Рультабийль, а также железные засовы на крышке колодца, и выдумки дядюшки Боба приняли у меня в голове гигантские размеры. Я был убежден, что, если ему верят, он лжет всем подряд. В заключение м-с Эдит сказала, что у выхода из подземного хода, ведущего из колодца, его ждал Туллио, который и доставил дядюшку в своей лодке к пещере Ромео и Джульетты.

— Зачем такие сложные маневры, когда можно было

просто выйти через дверь? — не удержавшись, воскликнул я.

М-с Эдит бросила мне горестный взгляд, и я тут же пожалел, что оказался не на ее стороне.

— Все это весьма странно,— заметил князь.— Позавчера утром Морской Палач пришел со мною проститься, так как уезжал отсюда, и я был уверен, что в пять вечера он сел в поезд на Венецию, свой родной город. Так как же тогда он вез господина Старого Боба в своей лодке следующей ночью? Здесь его уже не было, да и лодку он продал, потому что решил сюда больше не возвращаться,— так он мне сказал.

Помолчав, князь Галич продолжил:

— Впрочем, все это неважно, сударыня: главное, чтобы ваш дядя как можно скорее поправился и,— добавил он с еще более очаровательной улыбкой,— чтобы вы помогли мне отыскать в пещере некий несчастный камень, который выглядит следующим образом: острый, двадцати пяти сантиметров длиной, сточенный с одной стороны, использовавшийся в качестве скребка, короче, самый древний скребок в мире. Я очень им дорожу,— подчеркнул князь,— поэтому вы, быть может, сообразоволяете узнать у дядюшки, что с ним стало.

Несколько высокомерно, что мне понравилось, м-с Эдит пообещала, что приложит все усилия, чтобы столь ценный скребок не затерялся. Князь попрощался и ушел. Когда мы повернулись, рядом с нами стоял Артур Ранс. Похоже, он слышал весь разговор и теперь обдумывал его. Приложив свою трость с загнутой ручкой к губам, он по своему обыкновению насвистывал и смотрел на м-с Эдит столь пристально, что она раздраженно проговорила:

— Да знаю я, знаю, о чем вы, сударь, думаете, и меня это вовсе не удивляет — уж поверьте!

Затем, весьма раздосадованная, она повернулась к Рультабийлю и вскричала:

— Что бы там ни было, вы никогда не сможете мне объяснить, как, находясь за пределами Квадратной башни, он очутился в шкафу!

— Сударыня,— ответил Рультабийль, глядя в лицо м-с Эдит так, словно хотел ее загипнотизировать,— терпение и отвага! Если господь меня не оставит, я еще до вечера объясню вам то, о чем вы спрашиваете.

Немного спустя я сидел в зале «Волчицы» наедине с м-с Эдит. Мне показалось, что она не находит себе места от беспокойства, и я попытался ее ободрить, однако она провела ладонями по своим растерянным глазам, и с дрожащих губ у нее сорвалось:

— Я боюсь.

На мой вопрос, чего она боится, прозвучало:

— А вы сами не боитесь?

Я промолчал. Это была правда: я и сам боялся. Она проговорила:

— Вам не кажется, что что-то происходит?

— Где?

— Где, где? Вокруг нас,— поежилась она.— Я совсем одна, совсем! Мне страшно.

С этими словами она направилась к двери.

— Куда вы?

— Пойду поищу кое-кого — не хочу оставаться совсем одна.

— Кого же?

— Князя Галича.

— Этого вашего Федора Федоровича? — вскричал я.— Зачем он вам? Разве я не с вами?

Беспокойство ее, однако, становилось тем сильнее, чем старательнее я пытался его развеять; без особых усилий я понял, что вызвано оно закравшимся к ней в душу страшным подозрением относительно личности ее дядюшки.

Она сказала: «Пошли!» — и увлекла меня за собой, прочь из «Волчицы». Приближался полдень; весь двор был залит благоуханным сиянием. Так как темных очков мы не взяли, нам приходилось заслонять глаза рукой от ослепительно ярких цветов, однако гигантские герани все равно проплывали перед нашими взорами кровавыми пятнами. Привыкнув немного к этому сиянию, мы прошли по иссушенной земле и, держась за руки, ступили на раскаленный песок. Но наши руки были еще горячее, чем все, что нас окружало, чем даже жаркое пламя этого полдня. Мы смотрели под ноги, чтобы не замечать бескрайнего зеркала вод, а быть может, и затем, чтобы не видеть, что происходит в сияющем просторе. М-с Эдит твердила свое: «Мне страшно!» Мне тоже было страшно, особенно после моих ночных походов, я боялся этого необъятного, изнурительного и сверкающего молчания полдня. Дневной свет, когда ты знаешь, что в нем происходит что-то невидимое, еще

страшнее мрака. Полдены! Все и замирает, и живет, и молчит, и шумит. Прислушайтесь: у вас в ушах, словно в морских раковинах, гудят звуки куда более таинственные, чем те, что поднимаются с земли с наступлением вечера. Закройте глаза: вы увидите множество серебристых видений, куда более тревожных, чем ночные призраки.

Я посмотрел на м-с Эдит. По ее бледному лицу стекали ручейки холодного пота. Вслед за нею дрожь проняла и меня: я знал, что, увы, ничем не могу помочь и что все, чему суждено случиться, случится помимо нашей воли и желания. М-с Эдит повела меня в сторону потерны. Арка потерны чернела в ярком свете дня, а по ту сторону этого прохладного туннеля виднелись фигуры Рультабийля и г-на Дарзака, которые, словно белые статуи, стояли у входа во двор Карла Смелого. Рультабийль держал в руке трость Артура Ранса. Не знаю почему, но эта подробность меня встревожила. Концом трости он указал сначала на что-то, не видимое нам, на своде арки, а потом на нас. О чем они говорили, мы не слышали. Их губы едва шевелились, словно у сообщников, ведущих секретный разговор. М-с Эдит остановилась, но Рультабийль, повторив движение тростью, дал ей знак подойти.

— Боже, что еще ему от меня нужно? — воскликнула она.— Господин Сенклер, мне очень страшно! Я скажу дяде все, и будь что будет.

Мы вошли под арку; те двое неподвижно следили за нами. Их неподвижность удивила меня, и, когда я задал вопрос, мой голос гулко раскатился под сводом.

— Что вы тут делаете?

Мы подошли ближе, и они предложили нам повернуться спиной к двору, чтобы увидеть то, что они рассматривали. Это был расположенный на своде арки геральдический щит с гербом семейства Мортولا и прибавочным знаком младшей ветви рода. Камень, на котором был вырезан герб, расшатался и, казалось, готов был вот-вот обрушиться на головы проходящих под ним. Рультабийль заметил этот расшатанный герб и теперь спросил у м-с Эдит, не стоит ли выломать его, чтобы потом поставить на место более надежно.

— Я уверен, что, если до него дотронуться кончиком трости, он упадет,— заявил он и, протянув трость м-с Эдит, попросил: — Вы повыше меня, попробуйте сами.

Мы принялись по очереди пробовать достать тростью до камня, но тщетно: он находился слишком высоко; я уже начал было задаваться вопросом, какой смысл в этом не-

обычном упражнении, как вдруг позади меня раздался предсмертный крик!

Все как один обернулись: у каждого вырвалось восклицание ужаса. Ах, этот предсмертный крик! Сейчас он долетел до нас сквозь солнечный полдень, а несколько дней назад донесся в ночи. Когда же прекратятся эти крики? Впервые я услышал такой крик в ночном Гландье — когда же они перестанут возвещать о новой жертве, о том, что кто-то снова пал от руки преступника, нанесшей удар внезапно, исподтишка и таинственно, как настигает человека чума. Да, даже нашествие эпидемии не так незаметно, как движения этой беспощадной руки! И вот мы стоим вчетвером, дрожа и вопросительно вглядываясь расширенными от ужаса глазами в яркий свет дня, еще трепещущий от предсмертного крика. Кто-то умер? Или вот-вот умрет? Из чьих уст вырывается последний вздох? Как нам войти в этот свет, который, кажется, сам стонет и вздыхает?

Больше всех напуган Рультабийль. Я видел, как при самых неожиданных обстоятельствах ему удавалось сохранить поистине нечеловеческое хладнокровие; как, заслышав предсмертный крик, он бросался в опасную темноту, словно герой, спасающий в морской пучине чью-то жизнь. Так почему же сейчас, в ярком свете дня он так дрожит? Он вдруг оробел, словно ребенок, а он и есть ребенок, хотя и пытается всегда оставаться на высоте положения. Значит, он догадывался, что такая минута наступит, минута, когда при свете дня кто-то будет умирать? К нам подбежал Маттони, который проходил по двору и тоже услышал крик. Движением руки Рультабийль заставляет его застыть на месте, тот застывает под потерной, словно часовой, а сам молодой человек движется в сторону, откуда раздаются стоны, точнее, к источнику этих стонов, потому что пылающий воздух наполнен ими повсюду. Мы следуем за ним, затаив дыхание и вытянув вперед руки, словно движемся на ощупь в темноте, боясь на что-нибудь натолкнуться. Мы подходим все ближе и, миновав участок тени, отбрасываемой эвкалиптами, обнаруживаем человека, бьющегося в судорогах. Они сотрясают все его тело. Человек в агонии — это Бернье! Он хрипит, безуспешно пробует подняться, задыхается; из раны в его груди течет кровь; мы наклоняемся над ним, и он успевает перед смертью выдохнуть два слова: «Фредерик Ларсан!»

Голова его безжизненно падает. Фредерик Ларсан! Он везде и нигде. Опять он, и его нет! Это его рука: труп

и, естественно, никого рядом. Ведь единственный выход из места, где совершено преступление, — это потеряна, а там стояли мы вчетвером. Заслышав крики, мы тут же обернулись — так быстро, что должны были успеть заметить движение убийцы. Но в ярком свете дня мы никого не увидели. Движимые, как мне кажется, одною и той же мыслью, мы идем в Квадратную башню, дверь в которую открыта, решительно входим в комнаты Старого Боба — гостиная пуста. Мы открываем дверь в спальню. Старый Боб, в цилиндре, спокойно лежит на кровати, рядом с ним сидит пожилая женщина — матушка Бернье. Как они невозмутимы! Однако, увидев наши лица, жена погибшего вскрикивает от ужаса в невольном предчувствии трагедии. Она ничего не слышала. Она ничего не знает. Она хочет выйти, увидеть, узнать — сама не зная что. Мы пытаемся ее удержать, но тщетно. Она выходит из башни и видит труп. И вот уже в этой страшной полуденной жаре она рыдает над истекающим кровью телом. Мы задираем ему рубашку и видим под сердцем рану. Рультабийль выпрямляется с выражением, которое я у него уже видел, когда он осматривал в Гландье рану на теле жертвы невероятного убийства.

— Похоже, удар ножом точно такой же, — сообщает он. — Та же рука. Но где нож?

Мы принимаемся искать повсюду нож, но безуспешно. Должно быть, убийца унес его с собой. Где он? И кто он? Мы этого не знаем, но Бернье знал; быть может, поэтому он и погиб. Фредерик Ларсан! С дрожью в голосе мы повторяем последние слова умирающего.

Внезапно у выхода из потерны появляется князь Галич с газетой в руке. Он движется в нашу сторону, не переставая читать. Вид у него насмешливый. М-с Эдит подбегает к нему, вырывает у него газету и, указывая на труп, говорит:

— Этого человека только что убили. Ступайте за полицией.

Князь Галич смотрит на труп, потом на нас и, ни слова не говоря, поспешно отправляется за полицейскими. Матушка Бернье все стонет. Рультабийль садится на край колодца. Кажется, что у него не осталось больше сил. Вполголоса он говорит м-с Эдит:

— Пусть наконец придет полиция. Вы ведь так этого хотели.

М-с Эдит бросает на него испепеляющий взгляд своих черных глаз. Я знаю, о чем она думает. Она думает о своей

ненависти к Рультабийлю, который, пусть даже на секунду, заподозрил Старого Боба. Но ведь разве тот не находился во время убийства у себя в спальне под присмотром матушки Бернье?

Рультабийль, лениво осмотрев оковки на крышке колодца, оказавшиеся нетронутыми, ложится на его край, словно намереваясь хоть немного отдохнуть, и еще тише спрашивает:

— А что вы скажете полиции?

— Все!

М-с Эдит произнесла это слово яростно, не разжимая губ. Рультабийль горестно качает головой и закрывает глаза. По-моему, он побежден, просто раздавлен. Робер Дарзак трогает его за плечо. Он предлагает обыскать Квадратную башню, башню Карла Смелого, Новый замок и все службы в этом дворе, откуда по всей логике убийца скрыться не мог. Журналист печальным голосом отговаривает его. Разве мы с Рультабийлем что-нибудь ищем? Разве мы искали что-то в Гландье, когда на наших глазах в таинственном коридоре произошло явление распада материи и человек исчез? Нет, теперь-то я знаю, что глазами искать Ларсана бессмысленно. За нашей спиной только что убит человек. Мы слышали его крик. Мы обернулись, но не увидели ничего, кроме яркого дневного света. Чтобы видеть по-настоящему, нужно закрыть глаза, как только что сделал Рультабийль. Но, кажется, он открывает их снова? К нему возвращается энергия. Он уже на ногах. Он воздевает к небу сжатый кулак.

— Это невозможно,— кричит он,— или рассудок больше ни на что не годится!

Он становится на четвереньки и принимается обнюхивать каждый камешек, крутится вокруг трупа и матушки Бернье, которую нам никак не удастся увести от тела мужа, крутится вокруг колодца, вокруг каждого из нас. Он напоминает свинью, которая роется в грязи в поисках пищи; мы с любопытством, тупо и мрачно наблюдаем за ним. Вдруг он встает и, взяв с земли щепотку пыли, кидает ее в воздух с победным криком, словно пыль эта нарисовала ему образ неуловимого Ларсана. Какую новую победу над тайной одержал молодой репортер? Почему к нему снова вернулась уверенность? Почему его голос опять стал звучен? Да, он обращается к Роберу Дарзаку как обычно звонко:

— Успокойтесь, сударь, ничего не изменилось.

И, повернувшись к м-с Эдит, добавляет:

— Теперь, сударыня, остается только ждать полицию. Надеюсь, она скоро прибудет.

Несчастливая женщина вздрагивает. Этот мальчишка опять ее напугал.

— Да, поскорее бы она явилась! И пусть сама всем занимается. Пускай подумает за нас. Ничего не поделаешь! Поскорее бы она явилась,— говорит м-с Эдит и берет меня за руку.

Внезапно из-под потерны появляется папаша Жак, за которым идут трое жандармов. Это бригадир из Мортоты с двумя своими людьми — их предупредил князь Галич, и они спешат на место преступления.

— Жандармы! Жандармы! Они говорят, что случилось преступление,— восклицает папаша Жак, который еще ничего не знает.

— Спокойнее, папаша Жак! — громко говорит ему Рультабийль, а когда запыхавшийся старик подходит к нему поближе, вполголоса добавляет: — Ничего не изменилось, папаша Жак.

Но папаша Жак уже увидел труп Бернье.

— Ничего, если не считать еще одного трупа,— вздыхает он.— Это Ларсан!

— Это неизбежность,— отвечает Рультабийль.

Ларсан, неизбежность — разницы нет. Однако какой смысл заключен в словах Рультабийля о том, что ничего не изменилось,— быть может, он имеет в виду, что все вокруг нас, если не считать случайного трупа Бернье, продолжает пугать м-с Эдит и меня, точно так же заставляя вздрагивать, а мы точно так же ничего не понимаем?

Жандармы суетятся и что-то лопочут на своем непонятном диалекте. Бригадир сообщает, что он только что звонил в расположенный неподалеку трактир Гарибальди, где как раз завтракает "delegato"— комиссар из Винтимильи. Он вскоре начнет расследование, а продолжит его судебный следователь, которому тоже уже сообщили.

И "delegato" появляется. Он в восторге, хотя и не успел дозавтракать. Преступление! Настоящее преступление в форте Геркулес! Он весь сияет, глаза его горят. Он тотчас напускает на себя важный и озабоченный вид. Первым делом велит бригадиру поставить одного жандарма у входа в замок с приказом никого не выпускать. Затем становится на колени рядом с трупом. Другой жандарм уводит в Квадратную башню матушку Бернье, которая рыдает еще

громче. “Delegato” осматривает рану. На хорошем французском объявляет:

— Экий славный удар ножом!

Комиссар просто очарован. Конечно, если ему удастся задержать преступника тут же, он будет рад. Он смотрит на нас. Пристально разглядывает. Должно быть, ищет среди нас преступника, чтобы выразить ему свое восхищение. Затем встает.

— А как это произошло? — ободряюще спрашивает он, предвкушая удовольствие выслушать хорошенькую криминальную историю. — Просто невероятно! — добавляет он. — Невероятно! Я уже пять лет как “delegato”, и за все это время ни одного убийства. Господин судебный следователь...

Он замолкает, но мы мысленно заканчиваем фразу: «Господин судебный следователь останется доволен!» Он отряхивает запылившиеся колени, утирает лоб и повторяет: «Невероятно!» — с южным выговором, который лишь удваивает его ликование. Во двор входит новое действующее лицо: комиссар узнает в нем врача из Ментоны, который пришел с визитом к Старому Бобу.

— Ах, доктор, как вовремя вы появились! Осмотрите-ка эту рану и скажите, что вы думаете о таком ударе ножом. Постарайтесь до прибытия господина следователя по возможности не сдвигать труп с места.

Врач исследует рану и засыпает нас массой технических подробностей. Сомнения нет. Удар нанесен снизу вверх в область сердца, острие ножа явно угодило в желудочек. Во время обмена мнениями между “delegato” и врачом Рультабийль не сводит глаз с м-с Эдит, которая, ища поддержки, решительно берет меня за руку. Она прячет глаза от взгляда Рультабийля, который ее гипнотизирует, приказывая молчать. Я же чувствую, что ее распирает желание все рассказать.

По просьбе “delegato” мы вошли в Квадратную башню и устроились в гостиной Старого Боба, где сейчас начнется дознание и мы должны будем по очереди рассказывать обо всем, что видели и слышали. Матушку Бернье спрашивают первой, но что-нибудь вытащить из нее не удастся. Она заявляет, что ей ничего не известно. Она сидела в спальне Старого Боба и наблюдала за раненым, когда мы влетели как сумасшедшие. Она сидела там уже с час, оставив мужа в привратничкой башни Карла Смелого — он плел там веревку. Забавная вещь, сейчас меня гораздо

больше интересует не то, что я вижу и слышу, а то, чего я не вижу, но жду. Заговорит ли м-с Эдит? Она упрямо смотрит в открытое окно. Рядом с трупом, лицо которого закрыто платком, стоит жандарм. Так же как и я, м-с Эдит вполуха слушает то, что происходит в гостиной. Взгляд ее по-прежнему блуждает около трупа.

От возгласов “delegato” у нас заложило уши. Он выслушивает наши объяснения, и его изумление начинает приобретать угрожающие размеры: преступление ему кажется все более и более невероятным. Когда подходит очередь м-с Эдит, он готов считать его просто невысказанным.

Допрос начинается. Она уже открывает рот для ответа, как вдруг слышится невозмутимый голос Рультабийля:

— Посмотрите туда, где кончается тень от эвкалиптов.

— А что там — где кончается тень от эвкалиптов? — спрашивает “delegato”.

— Орудие преступления, — отвечает Рультабийль.

Он выпрыгивает через окно во двор и из груды окровавленных камней извлекает острый и блестящий камень. Он потрясает им перед нами.

Мы узнаем «самый древний скребок в мире».

Глава 19. Рультабийль закрывает железные ворота

Орудие преступления принадлежало князю Галичу, однако было известно, что его украл Старый Боб; помнили все и о том, что, прежде чем сделать последний вздох, Бернье обвинил в убийстве Ларсана. Образы Старого Боба и Ларсана у нас перепутались, особенно когда Рультабийль поднял из лужи крови самый древний скребок в мире. М-с Эдит сразу же поняла, что с этой минуты судьба Старого Боба в руках Рультабийля. Ему достаточно шепнуть “delegato” несколько слов относительно странных происшествий, сопровождавших неудачный визит Старого Боба в пещеру Ромео и Джульетты, перечислить причины, заставляющие подозревать, что Старый Боб и Ларсан — одно и то же лицо, а также повторить обвинение, брошенное последней жертвой Ларсана, как все подозрения правосудия падут на увенчанную париком голову престарелого геолога. Конечно, будучи его племянницей, м-с Эдит верила, что живущий в замке Старый Боб и есть ее истинный дядюшка, но благодаря смертоносному скребку она внезапно поняла: невидимка Ларсан стягивает над головой Старого Боба ги-

белые тучи, чтобы взвалить на него и вину за свое преступление, и опасное бремя собственной личности; м-с Эдит затрепетала от страха за дядюшку — затрепетала, словно муха, попавшаяся в паутину, которую Ларсан соткал из таинственных и незаметных нитей, прикрепив их к древним стенам форта Геркулес. У нее было ощущение, что стоит ей сделать движение хотя бы губами, и они оба пропали, что мерзкое насекомое только и ждет этого движения, чтобы их сожрать. И м-с Эдит, только что полная решимости все рассказать, промолчала; теперь настал ее черед опасаться — а ну как Рультабийль заговорит? Рассказывая мне впоследствии о своем состоянии в эти минуты, она призналась, что испытывала тогда такой ужас перед Ларсаном, какого, возможно, не испытывали даже мы. Сначала, слыша страшные истории об этом оборотне, она лишь улыбалась; затем, узнав о деле Желтой комнаты, заинтересовалась, поскольку правосудие было не в силах объяснить, как преступник оттуда вышел; потом, когда произошла драма в Квадратной башне, Ларсан увлек ее еще сильнее, так как никто не мог объяснить, как он туда попал; но теперь, среди бела дня, буквально у нее на глазах Ларсан совершил убийство, причем сделал это в замкнутом пространстве, где находились лишь она, Робер Дарзак, Рультабийль, Сенклер, Старый Боб и матушка Бернье, и никто из них не был достаточно близко к Бернье, чтобы иметь возможность нанести удар. А Бернье обвинил Ларсана! «Так где же Ларсан? Под чьей личиной скрывается?» — спрашивала она, рассуждая, как научил ее я, рассказав ей о «таинственном коридоре». Сама она стояла под аркой между Дарзаком и мною, а Рультабийль был перед нами, когда раздался предсмертный крик в тени эвкалиптов, то есть метрах в семи от нас. А Старый Боб и матушка Бернье были все время вместе, так как она сидела у его постели. Выходит, если исключить всех нас, то убить Бернье было просто некому. На этот раз никто не знал не только как Ларсан скрылся и как пришел, но и каким образом он смог находиться на месте преступления. Вот тут м-с Эдит поняла: бывают минуты, когда при мысли о Ларсане дрожь пробирает до мозга костей.

Ничего! Рядом с трупом, кроме каменного ножа, украденного Старым Бобом, — ничего. Это было ужасно и вместе с тем достаточно, чтобы мы могли вообразить что угодно.

Твердую уверенность в этом м-с Эдит прочла в глазах у Рультабийля и Робера Дарзака. Но с первых же слов Рультабийля она поняла: сейчас другой цели, кроме спасе-

ния Старого Боба от подозрений служителей правосудия, у него нет.

Итак, сидя между “delegato” и только что прибывшим следователем и держа в руках самый древний в мире скребок, Рультабийль рассуждал. В момент преступления поблизости от жертвы находились лишь те, кого я перечислил выше. Это казалось всем бесспорным, как вдруг Рультабийль с необычайной четкостью, которая привела в восторг следователя и в отчаяние “delegato”, доказал, что настоящий и единственный виновник — это сам покойник. Четверо стоявших под потерной и двое в комнате Старого Боба были друг у друга на виду, когда убили Бернье; следовательно, Бернье мог убить себя только сам. Судебный следователь чрезвычайно заинтересовался и спросил, не знает ли кто-нибудь из нас причин возможного самоубийства Бернье, на что Рультабийль ответил, что для того, чтобы умереть, можно обойтись без преступления и без самоубийства — достаточно несчастного случая. Об этом свидетельствует и «орудие преступления» (эти слова Рультабийль произнес с изрядной долей сарказма). По его мнению, представить, что убийца замышляет совершить преступление с помощью этого старого камня, просто невозможно. Тем более невозможно представить себе, что Бернье, решив покончить счеты с жизнью, выбрал своим орудием этот троглодитский нож. А вот если этот камень необычной формы привлек его внимание, если Бернье поднял его, а потом упал, держа камень в руке, — вот тогда драма объясняется очень просто. Папаша Бернье упал на этот ужасный трехгранный камень так неудачно, что пронзил себе сердце.

После этого снова позвали врача, он снова обнажил торс жертвы и, сравнив рану с роковым скребком, вынес научное заключение: рана могла быть нанесена этим предметом. Отсюда благодаря доводам Рультабийля до подтверждения несчастного случая оставался один шаг. Чтобы сделать его, судейским потребовалось шесть часов. В течение шести часов они допрашивали нас — беспрерывно и безрезультатно.

Когда этот суматошный и ненужный допрос окончился и врач принялся осматривать Старого Боба, мы с м-с Эдит уселись в его гостиную, откуда только что ушли представители власти. Дверь гостиной, выходившая в коридор Квадратной башни, была отворена. Мы слышали, как плачет матушка Бернье над телом мужа, которое перенесли в при-

вратницкую. Должен признать, что нам нелегко было сидеть между трупом и раненым, которые, ей-богу, несмотря на усилия Рультабийля, оба казались мне подозрительными; весь ужас того, что мы наблюдали, удваивался из-за внутреннего страха перед тем, что нам еще предстояло увидеть. Вдруг м-с Эдит схватила меня за руку и воскликнула:

— Не оставляйте меня! Не оставляйте! Рядом со мной теперь только вы. Где князь Галич, я не знаю, от мужа тоже нет вестей. Это ужасно! Он оставил мне записку, что отправился на поиски Туллио. Ведь мистер Ранс еще не знает, что Бернье убит. Нашел ли он Морского Палача? Я теперь жду правды только от него, от Туллио! А телеграммы все нет. Это невыносимо!

С той минуты, как м-с Эдит так доверчиво взяла мою руку и задержала ее на несколько мгновений в своей, я был всей душой с нею и дал понять, что она может рассчитывать на мою преданность. Мы вполголоса обменялись с нею этими незабываемыми фразами, а тем временем во дворе мелькали судейские в сопровождении Рультабийля и г-на Дарзака. При всяком удобном случае Рультабийль бросал взгляд в нашу сторону. Окно все еще было открыто.

— Он за нами наблюдает,— проговорила м-с Эдит.— Ну и прекрасно! Возможно, сидя здесь, мы мешаем ему и господину Дарзаку. Но мы отсюда не уйдем, что бы ни случилось, не так ли, господин Сенклер?

— Нужно быть признательным Рультабийлю,— осмелился я вставить,— за то, что он вмешался и не сказал ничего существенного относительно самого древнего скребка в мире. Если следователю станет известно, что этот каменный кинжал принадлежит вашему дядюшке, кто знает, чем все это может кончиться. Если же им станет известно, что Бернье, умирая, назвал имя Ларсана, то версия с несчастным случаем может не пройти.

Последние слова я произнес с нажимом.

— Ну, у вашего друга не меньше причин молчать, чем у меня! — вспыхнула м-с Эдит.— И знаете, я боюсь только одного, да, только одного!

— Чего же?

Она в возбуждении встала:

— Я боюсь, что он спас дядю только затем, чтобы потом надежнее его погубить.

— Как вы можете так думать? — без особой убежденности спросил я.

— Да я только что прочитала это в глазах вашего

друга. Будь я вполне уверена в своей правоте, я предпочла бы иметь дело с представителями власти.

Немного успокоившись, она, похоже, отбросила эту нелепую мысль и сказала:

— В общем, нужно подготовиться ко всему; я буду защищать его до конца.— И, показав мне маленький револьвер, который прятала в складках платья, она вскричала: — Ах, ну почему тут нет князя Галича?

— Опять он! — с гневом воскликнул я.

— А вы в самом деле готовы меня защищать? — спросила она, с тревогой вглядываясь мне в глаза.

— Готов.

— От кого угодно?

Я промолчал, и она повторила:

— От кого угодно?

— Да.

— И от вашего друга?

— Если понадобится! — выдохнул я и утер пот со лба.

— Ладно, я вам верю, — смиловилась она. — В таком случае я оставлю вас здесь на несколько минут. Наблюдайте за этой дверью — ради меня!

С этими словами она указала на дверь, за которой отдыхал Старый Боб, и исчезла. Куда она отправилась? Позже она созналась: побежала искать князя Галича. Ах, женщины, женщины!

Не успела она скрыться под потерной, как в гостиную вошли Рультабийль и г-н Дарзак. Они все слышали. Подойдя поближе, Рультабийль дал мне понять, что знает о моем предательстве.

— Ну, это слишком сильно сказано, Рультабийль, — принялся я защищаться. — Вам прекрасно известно, что не в моих правилах кого-либо предавать. Миссис Эдит нужно и в самом деле пожалеть, а вы безжалостны, мой друг.

— А вы слишком жалостливы.

Я весь залился краской и уже готов был взорваться, как Рультабийль сухим жестом остановил меня:

— Поймите, я прошу вас только об одном: что бы ни случилось, не заговаривайте со мной и господином Дарзаком.

— Это будет нетрудно! — в глупом раздражении бросил я и отвернулся.

Мне показалось, что он с трудом сдержал гнев, однако в этот миг судейские, выйдя из Нового замка, окликнули нас. Дознание закончилось. По их мнению, учитывая заключение врача, несчастный случай доказан, и они закрывают

дело. Следователь и “delegato” направились к выходу из замка. Г-н Дарзак и Рультабийль пошли их провожать. Охваченный мрачными предчувствиями, я стоял, облокотившись о подоконник, смотрел на двор Карла Смелого и с растущей тревогой ожидал возвращения м-с Эдит; в нескольких шагах от меня, в привратнической, затеплив две погребальные свечи, матушка Бернье монотонно и жалобно молилась над трупом мужа, как вдруг над моей головой в вечернем воздухе раздался звук, похожий на удар огромного гонга,— какой-то гулкий металлический звон,— и я понял, что это Рультабийль закрыл железные ворота.

Не прошло и минуты, как я увидел, что ко мне, словно к единственной защите, в неописуемом смятении спешит м-с Эдит.

Потом появился г-н Дарзак.

Потом Рультабийль под руку с Дамой в черном.

Глава 20. Наглядная демонстрация появления «лишнего трупа»

Рультабийль и Дама в черном вошли в Квадратную башню. Я никогда не видел, чтобы Рультабийль шествовал столь торжественно. В другое время мы посмеялись бы над ним, но сейчас, в столь драматическую минуту, это нас только встревожило. Никакой одетый в мантию судья или прокурор не вступал в зал суда, где его ждал обвиняемый, с такою грозной величавостью. Но, как мне кажется, никакой судья не был и столь бледен.

Что же до Дамы в черном, то было видно, с каким трудом она справляется с чувством ужаса, сквозившим, несмотря ни на что, в ее тревожном взгляде, с каким трудом прячет волнение, которое заставило ее судорожно сцепиться в руку молодого спутника. Робер Дарзак шел с мрачным и решительным видом поборника справедливости. Наше беспокойство усугубилось еще и тем, что вслед за ним во дворе Карла Смелого появились папаша Жак, Уолтер и Маттони. С ружьями в руках они молча встали у двери в Квадратную башню и с поистине солдатской дисциплинированностью выслушали из уст Рультабийля приказ никого не выпускать из Старого замка. Находясь на грани ужаса, м-с Эдит спросила у верных Маттони и Уолтера, что означает этот маневр и против кого он направлен, однако, к моему величайшему удивлению, они не ответили. Тогда она в героическом порыве встала перед дверью в гос-

тиную Старого Боба, раскинула руки, загораживая проход, и хрипло воскликнула:

— Что вы хотите делать? Уж не собираетесь ли вы его убить?

— Нет, сударыня,— глухо ответил Рультабийль,— мы собираемся его судить. А чтобы иметь уверенность, что судьи не превратятся в палачей, мы будем судить его перед трупом папаши Бернье, причем каждый предварительно расстанется со своим оружием.

И Рультабийль повел нас в привратническую, где матушка Бернье все оплакивала своего супруга, убитого с помощью самого древнего в мире скребка. Там мы выложили револьверы и произнесли клятву, которую потребовал от нас Рультабийль. Одна м-с Эдит не хотела расставаться с револьвером, спрятанным ею в одежде, о чем Рультабийль, кстати говоря, знал. Однако после настоятельных уговоров репортера, объяснившего, что так ей будет спокойнее, она в конце концов согласилась.

Тогда Рультабийль, снова взяв под руку Даму в черном, повел нас в коридор, но вместо того, чтобы направиться, как мы все ожидали, к комнатам Старого Боба, он пошел к двери, ведущей в комнату, где был обнаружен «лишний труп». Вытащив маленький ключ, о котором я уже рассказывал, он отпер дверь.

Зайдя в бывшие комнаты супругов Дарзак, мы с изумлением увидели на столе г-на Дарзака чертежную доску, рисунок, который тот делал в кабинете Старого Боба, а также чашечку с красной краской и кисточку. Посередине стола, опираясь на свою окровавленную челюсть, весьма достойно лежал самый древний человеческий череп.

Заперев дверь на задвижку, Рультабийль, волнуясь, проговорил, в то время как мы ошолбенело уставились на него:

— Прошу садиться, дамы и господа.

Расставив стулья вокруг стола, мы расселись, мучимые растущей тревогой и, я бы даже сказал, недоверием. Тайное предчувствие говорило нам: в этих знакомых любому художнику предметах, с виду самых обычных, кроется ключ к разгадке страшной трагедии. В довершение всего оскал черепа напоминал улыбку Старого Боба.

— Прошу обратить внимание,— проговорил Рультабийль,— что у стола один стул не занят — среди нас не хватает господина Артура Ранса, но больше мы его ждать не можем.

— А вдруг он раздобыл свидетельство невиновности Старого Боба? — заметила м-с Эдит, которую эти приго-

товления вывели из равновесия больше, чем остальных.— Я прошу госпожу Дарзак присоединиться ко мне и упростить этих людей не предпринимать ничего до возвращения моего мужа.

Дама в черном не успела ответить: еще когда говорила м-с Эдит, в коридоре послышался шум, затем стук в дверь и голос Артура Ранса, который просил немедленно открыть ему. Он крикнул:

— Я принес булавку с рубином.

Рультабийль отворил дверь:

— Артур Ранс! Наконец-то!

Муж м-с Эдит разразился потоком слов:

— В чем дело? Что случилось? Опять несчастье? Увидев, что железные ворота закрыты, и услышав доносившиеся из башни заупокойные молитвы, я сразу подумал, что опоздал. Да, так я и думал: вы казнили Старого Боба.

Тем временем Рультабийль запер за Артуром Рансом дверь и учтиво проговорил:

— Старый Боб жив, умер папаша Бернье. Садитесь же, сударь.

Артур Ранс с удивлением оглядел чертежную доску, чашечку с краской и окровавленный череп и спросил:

— Кто его убил?

Только после этого он заметил, что его жена тоже в комнате, и пожал ей руку, глядя при этом на Даму в черном.

— Перед смертью Бернье обвинил Ларсана,— ответил г-н Дарзак.

— Вы хотите сказать,— перебил Артур Ранс,— что тем самым он обвинил Старого Боба? Нет, я этого не вынесу! Я тоже сомневался в подлинности нашего любимого дядюшки, но повторяю: я принес булавку с рубином.

Что он хотел сказать, все время твердя про булавку с рубином? Я вспомнил: м-с Эдит рассказывала, что дядя отнял у нее эту булавку, когда она в шутку колола его в тот вечер, когда появился «лишний труп». Но какое отношение имеет булавка к похождениям Старого Боба? Не дожидаясь этого вопроса, Артур Ранс сообщил, что булавка пропала одновременно со Старым Бобом, а обнаружил он ее у Морского Палача — ею была сколота пачка банкнот, которые дядюшка заплатил Туллио за то, чтобы тот тайно переправил его в своей лодке к пещере Ромео и Джульетты; Туллио отплыл оттуда лишь на рассвете, весьма обеспокоенный тем, что его пассажир не вернулся. И Артур Ранс победоносно заключил:

— Человек, который дал другому человеку булавку с ру-

бином, не мог в то же самое время находиться в мешке из-под картошки, лежавшем в Квадратной башне.

— А как к вам пришла мысль отправиться в Сан-Ремо? Вы знали, что Туллио там? — спросила м-с Эдит.

— Я получил анонимное письмо, в котором сообщался его адрес.

— Это я вам его послал,— спокойно заметил Рультабийль и ледяным тоном добавил: — Господа, я поздравляю себя с быстрым возвращением господина Ранса. Таким образом, вокруг этого стола собрались все обитатели форта Геркулес, и я думаю, что моя демонстрация появления «лишнего трупа» может представить для них интерес. Прошу внимания!

Однако его снова перебил Артур Ранс:

— Что вы подразумеваете под словами об обитателях форта Геркулес, собравшихся вокруг этого стола?

— Я имею в виду тех, среди кого мы можем найти Ларсана,— заявил Рультабийль.

Молчавшая до сих пор Дама в черном поднялась, вся дрожа:

— Как? Ларсан среди нас? — выдохнула она.

— Я в этом уверен,— ответил Рультабийль.

Наступило жуткое молчание; мы не смели взглянуть друг на друга. Ледяным тоном репортер продолжал:

— Я в этом уверен, и эта мысль не должна застать вас врасплох, сударыня, потому что она никогда вас не оставляла. Что же касается нас, то она пришла нам в голову в то утро, когда мы, надев темные очки, завтракали на террасе, не так ли, господа? Возможно, за исключением миссис Эдит,— вы ведь тогда не чувствовали присутствия Ларсана?

— Этот вопрос с таким же успехом можно задать и профессору Стейнджерсону,— тут же отозвался Артур Ранс.— Ведь раз уж мы начали рассуждать таким образом, мне непонятно, почему профессора, тоже присутствовавшего на том завтраке, нет сейчас среди нас?

— Господин Ранс! — воскликнула Дама в черном.

— Да, конечно, прошу прощения,— с некоторым стыдом в голосе извинился Артур Ранс.— Но Рультабийль был не прав, когда сделал обобщение, сказав о всех обитателях форта Геркулес.

— Профессор Стейнджерсон мыслями так далек от нас,— с прекрасной юношеской торжественностью проговорил Рультабийль,— что его присутствие для меня необязательно. Хотя профессор живет бок о бок с нами в замке,

он никогда по-настоящему не был с нами. А вот Ларсан — тот все еще с нами!

На этот раз мы украдкой переглянулись, и мысль о том, что Ларсан может и в самом деле находиться среди нас, показалась мне настолько сумасбродной, что я, забыв о своем обещании не заговаривать с Рультабийлем, осмелился заметить:

— Но ведь на этом завтраке, когда все были в темных очках, присутствовал еще один человек, которого я здесь не вижу.

Бросив на меня весьма нелюбезный взгляд, Рультабийль буркнул:

— Опять князь Галич! Я ведь говорил вам, Сенклер, чем занимается здесь, за границей, князь, и могу вас уверить, что несчастья дочери профессора Стейнджерсона интересуют его меньше всего.

— Если хорошенько подумать, все это не доводы,— огрызнулся я.

— Вот именно, Сенклер, ваши разглагольствования мешают мне думать.

Но я уже закусил удила и, позабыв, что обещал м-с Эдит защищать Старого Боба, бросился в атаку ради одного удовольствия поставить Рультабийля в тупик; во всяком случае, м-с Эдит потом долго не могла мне этого простить.

— На этом завтраке был и Старый Боб,— самоуверенно заговорил я,— однако вы сразу же исключили его из ваших рассуждений благодаря булавке с рубином. Но эта булавка, которая доказывает, что Старый Боб сел в лодку Туллио у выхода из коридора, якобы соединяющего колодец с морем, эта булавка никак не объясняет, каким образом Старый Боб попал в колодец. Ведь мы нашли крышку закрытой.

— Вы нашли! — воскликнул Рультабийль, глядя на меня так сурово, что я даже поежился.— Это вы нашли ее закрытой. А вот я нашел колодец открытым. Помните, я послал вас к Маттони и папаше Жаку? Вернувшись, вы нашли меня на том же месте, в башне Карла Смелого, однако я успел сбегать к колодцу и заметить, что он открыт.

— И вы его закрыли! — вскричал я.— А зачем? Кого вы хотели обмануть?

— Вас, сударь.

Он произнес эти слова с таким презрением, что кровь бросилась мне в голову. Я вскочил. Все глаза устремились на меня, и едва я вспомнил, как грубо обошелся со мною Рультабийль в присутствии Робера Дарзака, как у ме-

ня тут же появилось ужасное ощущение, что во всех глазах я читаю подозрение, обвинение! Да, меня словно пронизала общая мысль: а вдруг Ларсан — это я.

Я — Ларсан!

Я переводил взгляд с одного на другого. Рультабийль глаз не опустил, хотя и мог прочитать в моих глазах отчаянный протест всего существа и яростное негодование. От гнева кровь стучала у меня в висках.

— Ах, так! — вскричал я. — Пора с этим кончать. Раз Старый Боб отпадает, князь Галич отпадает, профессор Стейнджерсон отпадает, то остаемся только мы, сидящие в этой комнате. А если Ларсан среди нас — укажи его, Рультабийль!

Молодой человек так сверлил меня взглядом, что я, окончательно выйдя из себя и позабыв о манерах, заорал:

— Ну, покажи его! Назови! Ты, я смотрю, так же не спешишь, как и тогда на суде.

— А разве на суде у меня не было причин не спешить? — невозмутимо поинтересовался Рультабийль.

— Значит, ты опять хочешь дать ему скрыться?

— Нет, клянусь тебе, на этот раз он не скроется.

Почему, когда он это говорил, тон его становился все более угрожающим? Неужели он и впрямь думает, что Ларсан — это я? Я встретился взглядом с Дамой в черном. Она смотрела на меня с ужасом.

— Рультабийль, — сдавленным голосом проговорил я, — неужели ты думаешь... подозреваешь...

В этот миг снаружи, недалеко от Квадратной башни, прогремел ружейный выстрел. Мы все вздрогнули, вспомнив о приказе репортера троим стражам стрелять во всякого, кто попытается выйти из Квадратной башни. М-с Эдит вскрикнула и бросилась было бежать, но сидевший неподвижно Рультабийль успокоил ее одной фразой:

— Если бы стреляли в него, мы услышали бы три выстрела. А это лишь сигнал, означающий, что я могу начинать. — И, повернувшись ко мне, продолжал: — Господин Сенклер, пора бы вам знать, что я не подозреваю никого, если мои доводы не опираются на здравый смысл. Это надежная опора, она никогда не подводила меня в пути, и я призываю вас всех опереться на здравый смысл вместе со мною. Ларсан здесь, среди нас, и здравый смысл вам на него укажет. Прошу вас, рассаживайтесь и смотрите внимательно: на этом листе бумаги я сейчас продемонстрирую вам, как появился «лишний труп»!

Удостоверившись, что дверь заперта на задвижку, он вернулся к столу и взял циркуль.

— Я хотел бы показать вам это в том месте, где появился «лишний труп». Так будет убедительней.

С помощью циркуля он снял с чертежа Робера Дарзака радиус окружности, соответствовавшей башне Карла Смелого, и начертил круг на листе белой бумаги, приколов его медными кнопками к чертежной доске. Начертив окружность, он взял чашечку с красной краской и спросил у г-на Дарзака, узнает ли тот краску. Г-н Дарзак, не более нашего понимавший манипуляции молодого человека, ответил, что он и в самом деле приготовил эту краску для своего рисунка.

Краска в чашечке наполовину высохла, однако, по мнению г-на Дарзака, то, что осталось, даст на бумаге примерно тот же тон, которым он пользовался для отмывки своего плана полуострова Геркулес.

— К рисунку никто не прикасался,— торжественно подхватил Рультабийль,— а краска разбавлена лишь самую малость. Впрочем, вы увидите, что лишняя капля воды в чашечке на мою демонстрацию никак не повлияет.

С этими словами он обмакнул кисточку в краску и принялся закрашивать нарисованный круг. Он делал это с усердием, которое поразило меня, еще когда в башне Карла Смелого он самозабвенно рисовал после только что случившегося убийства. Закончив, он бросил взгляд на свои громадные карманные часы и сказал:

— Как видите, дамы и господа, слой краски, которым я покрыл круг, примерно таков, как на рисунке господина Дарзака. Оттенок приблизительно тот же.

— Верно,— отозвался г-н Дарзак,— но что все это означает?

— Погодите,— остановил его репортер.— Само собой разумеется, этот рисунок делали вы?

— Еще бы! Вы же помните, как я был раздосадован, когда, вернувшись вместе с вами из Квадратной башни в кабинет Старого Боба, нашел его в столь плачевном состоянии. Старый Боб испортил мой рисунок, катнув по нему этот свой череп.

— Вот именно,— подытожил Рультабийль.

Взяв со стола самый древний в мире череп, он перевернул его и, показав г-ну Дарзаку выпачканную красной краской челюсть, спросил:

— Стало быть, это вам пришло в голову, что красная краска попала на челюсть с вашего рисунка?

— Да в этом не может быть сомнений, черт возьми!

Череп же валялся на рисунке, когда мы вошли в башню Карла Смелого.

— Значит, и тут наши мнения совпадают,— заметил Рультабийль.

Держа на ладони череп, он встал и прошел в нишу, освещавшуюся широким зарешеченным окном и служившую когда-то пушечной бойницей, а после нашего приезда в замок — туалетной комнатой г-на Дарзака. Там он чиркнул спичкой и зажег стоявшую на маленьком столике спиртовку. На нее он поставил приготовленную заранее кастрюльку с водой, продолжая держать череп в ладони.

Пока Рультабийль занимался этой диковинной стряпней, мы не спускали с него глаз. Никогда еще его поведение не казалось нам столь непостижимым и тревожащим. Чем больше он объяснял и действовал, тем меньше мы понимали. Кроме того, нам было страшно: мы чувствовали, что кто-то из нас испытывает еще больший страх. Кто же? Быть может, самый спокойный?

Самым спокойным казался Рультабийль, возившийся с черепом и кастрюлькой.

Но что это? Почему все мы, словно сговорившись, отпрянули назад? Почему у г-на Дарзака, чьи глаза расширились от ужаса, у Дамы в черном, у мистера Ранса, у меня, наконец, почему у нас всех чуть было не сорвался с губ возглас: «Ларсан!»?

Где мы его увидели? В чем мы его ощутили, глядя на Рультабийля? Ах, этот профиль на фоне зарева приближающейся ночи, эта голова в глубине ниши, которую закат осветил вдруг красным светом — так же, как раньше, утром, лучи зари окрасили кровью стены этой комнаты! Ах, этот энергичный, волевой подбородок, так плавно, немного грустно, но мило закругляющийся при свете дня! Какие грозные и злобные очертания принял он на фоне вечерней зари! Как Рультабийль похож на Ларсана! Сейчас он просто вылитый Ларсан!

Привлеченный громким вздохом матери, Рультабийль покинул мрачные декорации, в которых мы чуть было не приняли его за знаменитого разбойника, подошел к нам и вновь стал самим собой. Мы не могли унять дрожь. М-с Эдит, которая никогда не видела Ларсана, ничего не понимая, спросила у меня: «Что случилось?»

Стоя перед нами с кастрюлькой теплой воды, салфеткой и черепом, Рультабийль принялся смывать с него краску.

Длилось это недолго. Вымыв череп, Рультабийль продемонстрировал его нам. Затем, встав перед столом, он за-

стыл, всматриваясь в собственный рисунок. Сделав нам знак молчать, он простоял так минут десять — десять томительных минут. Чего он ждал? Внезапно он схватил череп правой рукой и движением игрока в кегли несколько раз прокатил его по своему рисунку, после чего показал череп нам и предложил убедиться, что на том нет ни пятнышка красной краски. Затем снова вытащил часы и заговорил:

— Краска на рисунке высохла. Высохла за четверть часа. Одиннадцатого апреля мы видели, как господин Дарзак вошел в Квадратную башню в пять часов вечера. После этого, закрывшись в своей комнате на задвижку, он, по его словам, не выходил оттуда, пока мы не зашли за ним уже после шести часов. Что же до Старого Боба, то мы видели, как он вошел в Круглую башню в шесть часов, держа в руках череп, без каких бы то ни было следов краски. Каким же образом краска, сохнувшая четверть часа, оказалась свежей больше чем через час после того, как господин Дарзак кончил рисовать и Старый Боб, войдя в Круглую башню, в гневе швырнул череп на рисунок и запачкал его в краске? Этому есть только одно объяснение — попробуйте-ка найти другое: господин Дарзак, вошедший в пять часов в Квадратную башню и, по общему мнению, не выходивший оттуда, совсем не тот человек, который рисовал в Круглой башне перед приходом Старого Боба в шесть часов, не тот, к кому мы пришли в Квадратную башню — но не видели, как он туда входил, — и с кем вместе вышли. Короче: это не тот господин Дарзак, который сейчас сидит здесь вместе с нами. Здравый смысл указывает нам, что у господина Дарзака есть двойник.

С этими словами Рультабийль посмотрел на г-на Дарзака. Тот, как и все мы, находился под впечатлением выводов, сделанных молодым репортером. Нас всех охватило двойственное чувство: изумление и беспредельное восхищение. Как было понятно все сказанное Рультабийлем, понятно и ужасно! Он снова продемонстрировал нам свой недюжинный, точный ум. Г-н Дарзак вскричал:

— Значит, вот как он вошел в Квадратную башню! Принял мое обличье и спрятался в стенном шкафу. Потому-то я его и не видел, когда, оставив в башне Карла Смелого свой рисунок, пошел заниматься почтой. Но почему же папаша Бернье впустил его?

— Да он же думал, что это вы, черт возьми! — ответил Рультабийль и взял в свои ладони руку Дамы в черном, словно желая подбодрить ее.

— Значит, вот почему, когда я подошел к двери, она

была не заперта и мне оставалось лишь ее толкнуть. Папаша Бернье думал, что я у себя.

— Совершенно верно! Вы рассуждаете безупречно, — согласился Рультабийль. — Папаша Бернье, отперший дверь первому господину Дарзаку, второго даже не видел. Вне всякого сомнения, вы вошли в Квадратную башню, когда папаша Бернье стоял с нами на валу и наблюдал, как Старый Боб, размахивая руками, говорил что-то м-с Эдит и князю Галичу у входа в Барма Гранде.

— Но как же матушка Бернье, сидевшая в привратничкой, меня не заметила и не удивилась, что я вхожу второй раз, хотя и не выходил? — спросил г-н Дарзак.

— Представьте себе, — с печальной улыбкой отозвался репортер, — представьте себе, господин Дарзак, что именно в эту самую минуту, когда вы шли к себе, то есть когда шел второй господин Дарзак, она собирала картошку, которую я высыпал на пол из мешка. Все ясно?

— Выходит, я должен поздравить себя с тем, что все еще нахожусь на этом свете?

— Поздравьте, господин Дарзак, поздравьте!

— Подумать только, я вернулся к себе, заперся на задвижку, сел работать, а этот бандит был у меня за спиной! Если бы он напал на меня, я и пикнуть бы не успел!

Рультабийль подошел к г-ну Дарзаку и, глядя ему в глаза, спросил:

— Почему же он этого не сделал?

— Вы прекрасно знаете, кого он поджидал! — ответил Робер Дарзак и повернул к Матильде искаженное горем лицо.

Стоя рядом с г-ном Дарзаком, Рультабийль положил руки ему на плечи и сказал голосом, которому вернулись былые звонкость и мужество:

— Господин Дарзак, я должен вам кое в чем признаться. Когда я понял, откуда взялся «лишний труп», и убедился, что вы не обманываете нас и в пять часов действительно вошли в Квадратную башню — в это верили все, кроме меня, — я счел возможным заподозрить, что бандит — вовсе не тот человек, который в пять часов под видом Дарзака вошел в Квадратную башню. Напротив, я думал, что это и есть настоящий Дарзак, а вы — лже-Дарзак. Ах, дорогой мой господин Дарзак, как я вас подозревал!

— Но это же безумие! — воскликнул г-н Дарзак. — Я ведь не смог точно назвать время, когда вошел в Квадратную башню, только потому, что не придавал этому зна-

чения и помнил час довольно приблизительно!

Не обращая внимания на слова собеседника, на растерянность Дамы в черном и на наше полное смятение, Рультабийль продолжал:

— Я подозревал вас до такой степени, что решил: настоящий Дарзак явился, чтобы занять свое место, которое вы у него отняли, — успокойтесь, господин Дарзак, только в моем воображении, — и вы по каким-то неясным причинам и с помощью слишком преданной Дамы в черном дали ему возможность больше не опасаться вашего отважного вмешательства. Я думал даже, господин Дарзак, что раз вы — Ларсан, то человек, которого засунули в мешок, — это Дарзак. Ну и напридумывал же я! Что за нелепое подозрение!

— Да что там, все мы тут друг друга подозревали, — отозвался глухо муж Матильды.

Рультабийль повернулся к г-ну Дарзаку спиной, засунул руки в карманы и обратился к Матильде, которая, казалось, вот-вот лишится от ужаса чувств, слушая выдумки Рультабийля:

— Еще каплю смелости, сударыня!

На этот раз он заговорил хорошо знакомым мне голосом учителя математики, доказывающего теорему:

— Видите ли, господин Робер, Дарзаков было двое. Чтобы узнать, кто из них подлинный, а кто скрывает под своим обликом Ларсана, здравый смысл подсказывал мне, что я должен без страха и сомненья изучить по очереди обоих, изучить совершенно беспристрастно. И я начал с вас, господин Дарзак.

— Ну, довольно, — перебил г-н Дарзак, — вы же меня больше не подозреваете. Вы должны немедленно сказать, кто из нас Ларсан. Я хочу этого, я требую!

— Мы тоже! Немедленно! — обступив их, закричали все присутствующие.

Матильда подбежала к сыну и заслонила его собой, словно ему угрожала опасность. Эта сцена, которая длилась уже довольно долго, вывела нас всех из себя.

— Он же знает! Пусть скажет! Пусть все это кончится! — выкрикнул Артур Ранс.

Только мне пришло в голову, что подобные нетерпеливые крики я неоднократно слышал в суде, как вдруг у дверей Квадратной башни опять раздался выстрел; он сразу нас отрезвил, наш гнев куда-то пропал, и мы — честное слово! — принялись вежливо упрасивать Рультабийля побыстрее положить конец невыносимой ситуации. Мы его не

просто просили, а скорее умоляли, словно каждый хотел доказать остальным, и, быть может, самому себе, что он — не Ларсан.

Услышав второй выстрел, Рультабийль преобразился. Выражение его лица изменилось, весь он, казалось, дрожал от бешеной энергии. Оставив насмешливый тон, которым он разговаривал с г-ном Дарзаком и который нас весьма задевал, он осторожно отстранил Даму в черном, все еще старавшуюся его защитить, прислонился спиной к двери, скрестил руки на груди и заговорил:

— Видите ли, в таком деле нельзя пренебрегать ничем. Два Дарзака вошли в комнату, и два вышли из нее, причем один из них — в мешке. Есть от чего потерять голову! Но теперь мне не хотелось бы наговорить глупостей. С позволения присутствующего здесь господина Дарзака, я тысячу раз прошу прощения за то, что подозревал его.

Тут я подумал: «Как жаль, что он не говорил со мною об этом! Я избавил бы его от многих хлопот и «открыл бы ему Австралию»!

Взбешенный Дарзак стоял перед репортером и настойчиво твердил:

— Какие там извинения! Какие извинения!

— Сейчас вы меня поймете, друг мой, — совершенно спокойно ответил Рультабийль. — Первое, что я себе сказал, когда начал размышлять, вы это или не вы, было: «Но если он — Ларсан, то дочь профессора Стейнджерсона сразу бы это заметила». Логично, не так ли? Логично. Так вот, наблюдая за поведением той, что стала по вашей милости госпожой Дарзак, я понял, сударь: она все время подозревала, что вы — это Ларсан!

Матильда, только что опять упавшая на стул, нашла в себе силы встать и в испуге протестующе взмахнула руками. Страдание еще сильнее исказило лицо г-на Дарзака. Он сел и тихо спросил:

— Возможно ли, чтобы вы подумали такое, Матильда?

Матильда молча опустила голову. С беспощадной жестокостью, которую я лично не мог ему извинить, Рультабийль продолжал:

— Когда я вспоминаю каждое движение госпожи Дарзак после вашего возвращения из Сан-Ремо, мне становится ясно, что в них все время проглядывали страх и постоянная тревога... Нет, позвольте я буду говорить, господин Дарзак. Я должен объясниться, да и все должны. Нам

нужно поставить точки над «і». Итак, поведение мадемуазель Стейнджерсон выглядело неестественно. Даже готовность, с какою она уступила вашему желанию поскорее обвенчаться, указывала на то, что ей хочется поскорее покончить с душевными муками. Я помню ее глаза, они ясно говорили тогда: «Неужели возможно, чтобы я продолжала видеть Ларсана повсюду, даже в человеке, который рядом со мною, который ведет меня к алтарю и увозит с собой?» На вокзале же, сударь, ее прощание было душераздирающим. Тогда она уже звала на помощь — ее нужно было спасти от нее самой, от ее мыслей... а быть может, от вас? Но она не осмеливалась открыться кому-либо: конечно, она боялась, что ей скажут...

Тут Рультабийль спокойно нагнул к уху г-на Дарзак и тихо договорил — недостаточно тихо, чтобы я не расслышал, так, чтобы не расслышала Матильда: «Вы что, снова сходите с ума?» Затем, отойдя немного назад, он продолжал:

— Теперь, думаю, мой дорогой господин Дарзак, вы поняли все: и странную холодность, с которой к вам стали относиться, и самое нежное внимание, которым вдруг принималась вас окружать госпожа Дарзак, — к этому толкали ее угрызения совести и постоянная неуверенность. И наконец, позвольте вам заметить, что вы и сами временами казались очень мрачным и мне приходило в голову: а вдруг вы тоже заметили, что госпожа Дарзак, глядя на вас, разговаривая с вами или замыкаясь в молчании, в глубине души никогда не расстаётся с мыслью о Ларсане. Поэтому поймите меня правильно: мысль о том, что, займи ваше место Ларсан, дочь профессора Стейнджерсона сама заметила бы это, не могла рассеять моих подозрений — ведь вопреки своему желанию она видела его повсюду. Нет, мои подозрения рассеялись по другой причине.

— Но ведь вы могли их рассеять, — насмешливо и вместе с тем отчаянно вскричал г-н Дарзак, — легко могли их рассеять, если бы рассудили следующим образом: если я Ларсан и раз я добился того, что мадемуазель Стейнджерсон стала моей женой, то в моих интересах, чтобы все продолжали верить в смерть Ларсана. Тогда бы я не стал воскресать. Разве в тот день, когда Ларсан появился вновь, я не потерял Матильду?

— Прошу прощения, сударь, — возразил Рультабийль, побелев как мел. — Вы опять забываете о здравом смысле. Он же указывает нам как раз на обратное. Я рассуждаю так: раз женщина верит или близка к тому, чтобы поверить,

что вы — Ларсан, то в ваших интересах доказать ей, что Ларсан находится где-то в другом месте.

При этих словах Дама в черном скользнула вдоль стены, встала, задыхаясь, рядом с Рультабийлем и пристально всмотрелась в лицо г-ну Дарзаку, которое сделалось вдруг невероятно суровым. Мы же были так потрясены неожиданностью и неопровержимостью первых рассуждений Рультабийля, что хотели только, чтобы он продолжал; боясь его прервать, мы спрашивали себя, куда может привести столь неслыханное предположение. Молодой человек невозмутимо продолжал:

— Но если в ваших интересах было доказать, что Ларсан находится где-то в другом месте, то в одном случае эти интересы становились уже настоящей потребностью. Представьте... Я говорю, представьте, мой дорогой господин Дарзак, на один только миг, наперекор себе, представьте, что в глазах дочери профессора Стейнджерсона вы и в самом деле воскресший Ларсан и у вас действительно появилась потребность воскресить его еще раз, но уже в другом месте, чтобы доказать жене, что воскресший Ларсан — это не вы... Ах, да успокойтесь же, дорогой господин Дарзак, умоляю вас! Говорю вам, мои подозрения рассеялись, рассеялись совершенно. Давайте порассуждаем немного, позабыв о всех этих ужасах, когда казалось, что для рассуждений уже нет места. Итак, вот к чему я пришел, считая доказанной гипотезу — это из математики, вы как ученый разбираетесь в этом лучше меня, — считая доказанной гипотезу, что в вашем обличье скрывается Ларсан. Стало быть, вы и есть Ларсан. Тогда я спросил себя: что могло произойти на вокзале в Буре, когда вы показались вашей жене в обличье Ларсана? Факт воскрешения неопровержим. Он налицо. Но тогда его нельзя было объяснить вашим желанием предстать в обличье Ларсана.

Г-н Дарзак больше Рультабийля не прерывал.

— Как вы сказали, господин Дарзак, — продолжал репортер, — именно из-за этого воскрешения вы лишились счастья. Значит, если оно не было намеренным, то оставалось одно: это воскрешение произошло случайно. Теперь вы видите — все стало на свои места. Я долго раздумывал над происшествием в Буре... и, не пугайтесь, пожалуйста, продолжал рассуждать. Итак, вы в Буре, в буфете. Вы считаете, что ваша жена, как и обещала, ждет вас на привокзальной площади. Когда вы покончили с письмами, вам захотелось вернуться в купе, немного привести себя в порядок, проверить взглядом мастера свой грим. Вы думаете: «Еще

несколько часов комедии, и после границы, когда она будет по-настоящему моя, я сброшу маску...» Ведь вы устали от этой маски, ей-богу, так устали, что, придя в купе, позволили себе несколько минут отдохнуть. Понимаете? Вы снимаете накладную бороду, очки, и в этот миг дверь в купе открывается. Ваша жена, едва завидев в зеркале лицо без бороды, лицо Ларсана, с испуганным криком убегает. Да, вы поняли, какая опасность вам грозит. Если жена тотчас же не увидит где-то в другом месте своего мужа, Дарзака,— вы проиграли. Вы надеваете маску, через окно купе спускаетесь на соседний путь и прибегаете в буфет раньше жены, которая поспешила туда к вам. Когда она входит, вы еще стоите. Вы не успели даже сесть. Все в порядке? Увы, нет. Ваши беды только начинаются. Страшная мысль, что вы — и Дарзак и Ларсан, больше ее не оставляет. На перроне, проходя под фонарем, она бросает на вас взгляд, вырывает руку и как безумная летит в кабинет начальника вокзала. Но вы все поняли. Нужно немедленно прогнать эту ужасную мысль. Вы выходите из кабинета и тут же захлопываете дверь, словно столкнулись нос к носу с Ларсаном. И чтобы успокоить ее и сбить с толку нас — на случай, если она решится все же поделиться с кем-нибудь своей тайной,— вы предупреждаете меня первым, вы посылаете мне телеграмму. Дальше уж, наученный опытом этого дня, вы действуете безукоризненно. Уступаете жене и присоединяетесь к ее отцу. Ведь она и без вас поехала бы к нему. И поскольку еще ничто не потеряно, у вас остается надежда все поправить. В дороге ваша жена то верит вам, то приходит в ужас. Она отдает вам револьвер, поддавшись своим горячечным мыслям, которые можно свести к одной фразе: «Если он — Дарзак, пусть меня защитит; если Ларсан — пусть убьет. Только бы наконец знать!» В Красных Скалах вы видите, что она снова отделилась от вас, и, чтобы вернуть ее, опять показываетесь под видом Ларсана. Вот видите, мой дорогой господин Дарзак: у меня в голове все прекрасно встало на свои места, и даже ваше появление перед нами в Ментоне в обличье Ларсана, в то время как Дарзак ехал в Кан,— даже это объяснялось очень просто. На глазах у друзей вы сели в поезд в Ментоне-Гараване, однако на следующей станции, в Ментоне, вышли, и, зайдя там ненадолго в свою гардеробную, уже в виде Ларсана появились перед друзьями, которые пешком добрались до Ментоны. На следующем поезде вы вернулись в Кан, где встретились с нами. Однако, услышав в этот же день из уст господина Артура Ранса, приехавшего в Ниццу встретить

нас, неприятно поразившее вас известие, что на этот раз госпожа Дарзак не заметила Ларсана, и поняв, что ваша утренняя уловка оказалась безрезультатной, вы решили в тот же вечер показаться ей в обличье Ларсана и прокатились под окнами Квадратной башни на лодке Туллио. Теперь вы видите, мой дорогой господин Дарзак: запутанные на первый взгляд вещи стали вдруг простыми и объяснимыми — если мои подозрения верны.

При этих словах я, видевший и трогавший недавно «Австралию», невольно вздрогнул и посмотрел на г-на Дарзака чуть ли не с жалостью, как порой смотрят на какого-нибудь несчастного, который вот-вот станет жертвой ужасающей судебной ошибки. Остальные также не смогли удержать дрожь, поскольку доводы Рультабийля казались настолько неоспоримыми, что каждый задавал себе вопрос: каким образом, доказав столь блестяще его виновность, Рультабийль сможет доказать обратное? Робер Дарзак сначала было помрачнел и забеспокоился, но потом, слушая молодого человека, постепенно остыл, и мне показалось, что взгляд его выражает изумление и смятение; такой взгляд бывает у обвиняемого, когда тот внимает блестящей речи прокурора, уличающего его в преступлении, совершенном тем не менее не им. Голос, которым заговорил Робер Дарзак, звучал не гневно, а скорее испуганно, словно он только что сказал про себя: «Боже, я и не знал, какой опасности мне удалось избежать!»

— Но раз этих подозрений у вас больше нет,— необычайно спокойно проговорил он,— мне, сударь, хотелось бы знать, как вы от них избавились?

— Чтобы от них избавиться, сударь, мне нужна была уверенность. Простое, но неопровержимое доказательство, которое бы ясно продемонстрировало, кто из двух Дарзаков — Ларсан. По счастью, такое доказательство предоставили мне вы, сударь, в ту минуту, когда замкнули круг, тот круг, в котором находился лишний труп. Совершенно честно заявив, что, вернувшись в комнату, вы сразу же заперлись на задвижку, вы нам солгали — утаили, что вошли к себе около шести часов, а вовсе не в пять, как говорил папаша Бернье и как мы сами могли убедиться. Стало быть, только вы и я знали: вошедший в комнату в пять часов Дарзак, о котором мы вам говорили, имея в виду вас, был вовсе не вы. А вы ничего не сказали. И не надо убеждать меня, что вы не обратили внимания на время — именно оно-то все вам и объяснило, именно благодаря ему вы узнали, что другой Дарзак, настоящий, вошел в это время в Квадратную

башню. И как после притворного удивления вы вдруг замолчали! Вы лгали нам своим молчанием. Зачем подлинному Дарзаку было скрывать, что до вас в Квадратной башне спрятался другой Дарзак — ведь это мог быть Ларсан! А вот Ларсану как раз и был смысл скрывать появление второго Дарзака. Из двух Дарзаков Ларсаном был тот, который лгал. Эта уверенность и избавила меня от подозрений. Ларсаном были вы. А человек, находившийся в шкафу, был Дарзак.

— Ложь! — зарычал и бросился на Рультабийля тот, кто — я никак не мог в это поверить! — был Ларсаном.

Мы оттащили его, а Рультабийль все так же невозможно указал рукой на шкаф и проговорил:

— Он и сейчас там.

Неописуемая, незабываемая минута! После жеста Рультабийля чья-то невидимая рука толкнула дверцу шкафа — точно так же, как и в тот вечер, когда столь таинственно появился «лишний труп».

И «лишний труп» предстал перед нашими глазами. Возгласы удивления, радости и ужаса наполнили Квадратную башню. Дама в черном душераздирающе вскрикнула:

— Робер! Робер!

Это был крик радости. Перед нами стояли два Дарзака, столь похожие друг на друга, что не ошибиться могла лишь Дама в черном. Сердце не обмануло Матильду, хотя после такого потрясающего вывода Рультабийля рассудок ее легко мог опять пошатнуться. Простирая руки, она подошла ко второму Дарзаку, вылезшему из пресловутого стенного шкафа. Лицо Матильды сияло новой жизнью, ее глаза, ее печальные глаза, так часто блуждавшие по лицу другого, теперь смотрели радостно, спокойно и уверенно. Это был он! Он, кого, как ей казалось, она утратила, кого она тщетно искала в другом и, не найдя, денно и ночью обвиняла в этом свое злополучное помешательство.

А тот, в ком до последней минуты я не мог признать преступника, этот отчаянный человек, разоблаченный и загнанный, оказавшись внезапно лицом к лицу с живым доказательством своего преступления, решил тем не менее на одну из уловок, которые так часто его спасали. Окруженный со всех сторон, он сделал попытку убежать. И тут мы поняли, какую дерзкую комедию он разыгрывал перед нами уже несколько минут. Нимало не сомневаясь в исходе спора с Рультабийлем, он нашел в себе достаточно самообладания, чтобы не выдать себя, у него хватило ловкости продол-

жать разговор и позволить Рультабийлю разглагольствовать сколько угодно; он знал, что в конце разговора его ждет гибель, и попытался найти способ скрыться. Все это время он перемещался по комнате таким образом, что когда мы бросились к настоящему Дарзаку, то не смогли помешать Ларсану ринуться в спальню г-жи Дарзак и молниеносно захлопнуть за собою дверь. Мы разгадали его хитрость слишком поздно: он уже был там. Рультабийль же стерег дверь в коридор и не обратил внимания, что, пока он уличал Ларсана во лжи, тот шаг за шагом приближается к комнате г-жи Дарзак. Репортер не придавал этому значения, зная, что убежать оттуда Ларсан не может. Когда преступник скрылся в своем последнем убежище, наше замешательство возросло до необычайных размеров. Нас словно охватило какое-то неистовство. Мы ломались в дверь, кричали. Нам сразу же вспомнились все его невероятные по-беги.

— Он сбежит! Он сбежит и оттуда!

Артур Ранс был в бешенстве. М-с Эдит в волнении изо всех сил вцепилась мне в руку. На Даму в черном и Робера Дарзака никто не обращал внимания, а они среди этой неразберихи, казалось, забыли обо всем на свете и даже не слышали поднявшегося в комнате шума. Они молчали, но смотрели друг на друга, словно открыли новый мир — мир, в котором любят. Благодаря Рультабийлю они только что обрели его вновь.

Молодой человек отворил дверь в коридор и позвал на помощь троих слуг. Те тут же прибежали, держа в руках ружья, однако нам пригодились бы скорее топоры. Мас-сивная дверь была заперта на прочную задвижку. Папаша Жак сбегал за бревном: теперь нам нужен был таран. Мы взялись за дело, и вскоре дверь стала поддаваться. Боялись мы одного — увидеть в комнате лишь голые стены да решетки на окнах, мы были готовы ко всему или, скорее, к тому, что там никого не окажется; мысль, что Ларсан исчезнет, улетучится, что снова произойдет распад материи, не давала нам покоя и доводила до исступления.

Когда дверь начала поддаваться, Рультабийль приказал слугам взять ружья и стрелять лишь в том случае, если нам не удастся взять Ларсана живым. Затем он ударил плечом в дверь, та упала, и он первым ворвался в комнату.

Мы двинулись за ним, но остановились на пороге, пораженные тем, что увидели. Ларсан был там. Мы все его ясно видели. Кроме него, в помещении никого не было. Он пре-

спокойно сидел в кресле посреди комнаты, глядя перед собой безмятежным, неподвижным взором. Руки его покоились на подлокотниках, голова была откинута на спинку кресла. Казалось, мы пришли к нему на прием и он ждет, когда мы начнем излагать свои просьбы. Мне померещилось даже, что на губах у него играет легкая ироническая улыбка.

Рультабийль шагнул вперед и проговорил:

— Ларсан, сдается?

Но Ларсан молчал. Тогда Рультабийль притронулся к его руке, потом к лицу. Ларсан был мертв. Рультабийль показал нам на перстень, украшавший руку Ларсана: в оправе, под камнем, хранился мгновенно действующий яд. Артур Ранс приложил ухо к груди Ларсана и объявил, что все кончено. После этих слов Рультабийль попросил всех уйти из Квадратной башни и позабыть о покойнике.

— Я сам займусь им,— мрачно сказал он.— Этот труп — лишний, его отсутствия никто не заметит.

Затем он отдал Уолтеру распоряжение, а Артур Ранс перевел его на английский:

— Уолтер, принесите-ка мне мешок, в котором лежал «лишний труп».

С этими словами он жестом приказал нам выйти; мы повиновались. Рультабийль остался наедине с трупом своего отца.

Роберу Дарзаку стало плохо, и мы тотчас же перенесли его в гостиную Старого Боба. Но это была лишь минутная слабость: открыв глаза, он улыбнулся Матильде, склонившей над ним свое прекрасное лицо, на котором читался страх потерять любимого мужа в минуту, когда благодаря таинственному стечению обстоятельств она обрела его вновь. Робер Дарзак убедил ее, что ему не грозит никакая опасность, и попросил вместе с м-с Эдит выйти из комнаты. Когда дамы оставили нас, мы с Артуром Рансом, принявшись оказывать ему помощь, увидели, в каком необычном состоянии он находился. Каким образом этому человеку, которого все считали мертвым, которого на последнем издыхании засунули в мешок,— каким образом удалось ему выйти живым из пресловутого шкафа? Раздев г-на Дарзака и сняв повязку, скрывавшую рану на груди, мы увидели, что эта рана (случай не такой уж редкий) хоть и вызвала мгновенный обморок, не была серьезной. Пуля, попавшая в Дарзака в разгар его отчаянной борьбы с Ларсаном, расплющилась о грудную кость и вызвала сильное крово-

течение, организм получил болезненную встряску, но никакой жизненно важный орган задет не был.

История знает случаи, когда людям казалось, что они видят, как умирает такой раненый, а тот через несколько часов как ни в чем не бывало вновь появлялся перед ними. Мне и самому вспомнился случай, который успокоил меня окончательно. Мой добрый приятель журналист Л. на дуэли с музыкантом В. выстрелил своему противнику прямо в грудь, и тот упал, не успев сделать ответного выстрела. Однако через несколько секунд мертвец встал и всадил пулю моему приятелю в бедро, так что тот чуть было не лишился ноги и несколько месяцев пролежал в постели. Музыкант же пришел в себя и на следующий день отправился прогуляться по бульвару. Как и Дарзаку, пуля угодила ему в грудную кость.

Только мы закончили перевязывать Дарзака, как подошедший папаша Жак закрыл дверь в коридор, которая была приоткрыта. Я принялся размышлять о причинах, побудивших к этому доброго старика, но тут в коридоре послышался звук, словно по полу тащили чье-то тело. Я подумал о Ларсане, о мешке из-под «лишнего трупа» и о Рультабийле.

Оставив Артура Ранса рядом с г-ном Дарзаком, я побежал к окну. Я не ошибся: во дворе появилось мрачное шествие.

Уже почти стемнело. Благодатная ночь опускалась на все вокруг. Я различил Уолтера, сторожившего вход под потерну. Он смотрел в сторону первого двора, готовый, очевидно, преградить путь любому, кто вздумал бы пройти во двор Карла Смелого.

Я увидел, как Рультабийль и папаша Жак идут к колодцу, сгибаясь под тяжестью какого-то темного предмета; предмет этот был мне хорошо знаком, но в ту ужасную ночь в нем было тело другого человека... Мешок был тяжел. Они положили его на край колодца. И тут я увидел, что колодец открыт — да, его деревянная крышка стояла в стороне. Рультабийль вспрыгнул на край колодца и полез внутрь. Делал он это уверенно, словно путь был ему уже знаком. Вскоре голова его скрылась из виду. Тогда папаша Жак спихнул мешок внутрь и, поддерживая его, наклонился над краем. Затем он выпрямился и закрыл колодец, аккуратно положив на место крышку и придавив ее железными брусками. Они при этом звякнули, и я вспомнил, что этот звук озадачил меня в ту ночь, когда я перед «открытием Австралии» бросился вслед за тенью, но та вдруг исчезла и я оказался перед затворенной дверью Нового замка.

Но мне хотелось увидеть... До последней минуты мне хотелось увидеть, узнать. Слишком много необъяснимого! Я знал только самую важную часть правды, но не всю правду, мне кое-чего не доставало, чтобы понять все до конца.

Выйдя из Квадратной башни, я отправился к себе в Новый замок и встал у окна; мой взгляд пытался проникнуть во мрак, нависший над морем. Темная, непроницаемая ночь. Ничего. Тогда я попробовал прислушаться, но не различил даже скрипа весел. Вдруг далеко, очень далеко в море — во всяком случае, мне показалось, что это происходит где-то у самого горизонта, рядом с узкой красной полоской заката, украшавшей ночь последним отблеском дневного солнца,— вдруг в эту полосу вошла какая-то тень, отнюдь не большая, но мне, не видевшему ничего, кроме нее, она показалась колоссальной, громадной. Тенью этой была лодка; словно бы сама скользя по воде, она остановилась, и из нее поднялся силуэт Рультабийля. Я узнал его, как если бы он находился в двух метрах от меня. На фоне красной полоски все его жесты вырисовывались необычайно отчетливо. Продолжалась сцена недолго. Он наклонился и сразу же выпрямился, держа в руках мешок, чьи очертания сливались с его собственными. Затем мешок упал во мрак, и я снова видел лишь маленький силуэт человека, который простоял несколько секунд нагнувшись, затем опустился в лодку, и та снова заскользила по воде, пока не вышла за пределы красной полоски. А потом пропала и она.

Рультабийль опустил в воды залива Геркулес труп Ларсана.

Эпилог

Ницца, Кан, Сан-Рафаэль, Тулон... Без сожаления я следил, как проплывают передо мной этапы моего обратного пути. На следующий день после завершения этих ужасных событий я поспешил оставить Юг, поскорее оказаться в Париже, погрузиться в свои дела, а главное, оказаться наедине с Рультабийлем, который едет теперь в соседнем купе вместе с Дамой в черном. До последней минуты, то есть до Марселя, где им предстоит расстаться, я не хочу мешать их нежным, а быть может, и отчаянным излияниям, разговорам о будущем, последнему прощанию. Несмотря на все уговоры Матильды, Рультабийль решил с нею расстаться, ехать в Париж и продолжать работу в газете. У него хватило твердости духа оставить супругов вдвоем. Дама

в черном не смогла возражать Рультабийлю: условия диктовал он. Он захотел, чтобы г-н и г-жа Дарзак продолжали свадебное путешествие, как будто в Красных Скалах ничего необычайного не произошло. Выезжал в это счастливое путешествие один Дарзак, а закончит его — другой, однако для всех это будет один и тот же человек. Г-н и г-жа Дарзак женаты. Их соединяет гражданский закон. Что же касается закона церковного, то, по словам Рультабийля, это может решить лишь папа римский, и супруги отправятся в Рим, чтобы все устроить и успокоить угрызения совести. Пусть они будут счастливы, по-настоящему счастливы — они этого заслужили.

Никто никогда не узнал бы о жуткой драме с мешком, в котором лежал «лишний труп», если бы сейчас, когда я пишу эти строки, когда прошло уже столько лет и можно не бояться скандального процесса, — если бы сейчас не возникла необходимость познакомить публику с тайной Красных Скал, как в свое время я познакомил ее с секретами Гландье. Все дело тут в мерзавце Бриньоле, которому известно довольно много и который из Америки, куда он эмигрировал, угрожает, что заставит нас все рассказать. Он собирается написать какой-то мерзкий пасквиль, а поскольку профессор Стейнджерсон перешел в небытие, куда по его теории каждый день исчезает все и откуда каждый день все появляется снова, мы решили опередить события и поведать всю правду.

Бриньоль... Какова была его роль в этом ужасном деле? Сейчас — на следующий день после развязки, сидя в поезде, который везет меня в Париж, в двух шагах от обнявшихся и плачущих Рультабийля и Дамы в черном, — сейчас я задаю себе этот вопрос. Ах, сколько вопросов я задавал себе, прислонившись лбом к окну спального вагона! Одно слово, одна фраза Рультабийля могли бы мне все прояснить, но он со вчерашнего дня забыл и думать обо мне. Со вчерашнего дня он не расстается с Дамой в черном.

Они попрощались в «Волчице» с профессором Стейнджерсоном. Робер Дарзак сразу же уехал в Бордигеру, где позже к нему присоединится Матильда. Артур Ранс и м-с Эдит проводили нас до вокзала. Вопреки моим предположениям, м-с Эдит отнюдь не опечалилась из-за моего отъезда. Такое безразличие я отношу на счет того, что на перроне нас нагнал князь Галич. Она сообщила ему, что Старый Боб чувствует себя превосходно, и больше мною не занималась. Мне это причинило настоящую боль. Теперь, кажется, мне пора сделать читателям одно признание. Я никогда и не намекнул бы о чувствах, которые я испытывал к м-с Эдит,

если бы через несколько лет, после смерти Артура Ранса — об этой трагедии я, быть может, когда-нибудь расскажу, — я не женился на белокурой, грустной и грозной Эдит...

Мы подъезжаем к Марселю... Марсели! Прощание было душераздирающим. Они не сказали друг другу ни слова.

Когда поезд тронулся, она осталась неподвижно стоять на перроне, с опущенными руками, в своем темном платье, словно статуя, олицетворяющая траур и тоску.

Плечи Рультабийля вздрагивали от рыданий.

Лион. Нам не спалось, и, спустившись на перрон, мы вспомнили, как несколько дней назад проезжали здесь, стремясь на помощь бедняжке. Мы снова погрузились в драму. Рультабийль говорил, говорил... Должно быть, он старался забыть, не думать больше о своей боли, которая заставила его плакать, словно мальчишку, как в те времена...

— Но ведь этот Бриньоль оказался мерзавцем, старина! — заявил он мне с упреком, который почти заставил меня поверить, что я всегда считал этого бандита честным человеком.

И тут он рассказал мне все об этом невероятном деле, которое занимает здесь так немного строчек. Ларсану был нужен родственник Дарзака, чтобы засадить того в сумасшедший дом. И он отыскал Бриньоля. Лучшего помощника ему не приходилось и желать. Оба мошенника поняли друг друга с полуслова. Всем известно, что даже сегодня не составляет большого труда засадить кого-либо в палату психиатрической лечебницы. Как это ни невероятно, во Франции для подобного мрачного дела достаточно желания родственника и подписи врача. Изобразить чужую подпись всегда было для Ларсана пустяком. Он ее подделал, и Бриньоль, которому он щедро заплатил, взял все на себя. Его приезд в Париж был уже частью комбинации. Ларсан планировал занять место Дарзака еще до свадьбы. Несчастный случай, из-за которого Дарзак повредил себе глаза, как я и думал, был вовсе не случаен. Бриньоль должен был устроить все таким образом, чтобы зрение г-на Дарзака оказалось не в порядке — тогда Ларсан, заняв его место, получил бы сильный козырь: черные очки, а так как носить их не снимая невозможно, то и право находиться в тени.

Отъезд г-на Дарзака на Юг упростил преступникам задачу. В конце пребывания Дарзака в Сан-Ремо Ларсан, не перестававший за ним следить, буквально упрятал его в су-

масшедший дом. Естественно, ему помогла в этом специальная «полиция», не имеющая никакого отношения к официальной полиции и предоставляющая свои услуги семьям в различных неприятных случаях, когда требуются соблюдение тайны и быстрота.

Однажды Дарзак прогуливался у подножия горы. Сумасшедший дом находился на ее склоне, в двух шагах от итальянской границы; там давно уже было все приготовлено для встречи бедняги. Перед отъездом в Париж Бриньоль договорился с директором и представил ему своего доверенного — Ларсана. Встречаются порой директора психиатрических лечебниц, которые не задают лишних вопросов — лишь бы все было в согласии с буквой закона да клиенты не скупились. Произошло все очень быстро, такие вещи случаются каждый день.

— Но как вы об этом узнали? — спросил я у Рультабийля.

— Помните, друг мой, — ответил репортер, — вы принесли мне в форт Геркулес кусочек бумаги — в тот день, когда, никого не предупредив, отправились выслеживать этого ловкача Бриньоля, который ненадолго приехал на Юг? Этот обрывок бланка из Сорбонны с двумя слогами «...бонне» сослужил мне хорошую службу. Во-первых, обстоятельства, при которых вы его нашли, а во-вторых, то, что вы подобрали его там, где прошли Ларсан и Бриньоль, сделали его для меня весьма ценным. И потом, место, где вы его нашли, оказалось для меня неожиданностью, когда я отправился искать настоящего Дарзака, убедившись, что именно его как «лишний труп» спрятали в мешок и увезли.

И Рультабийль красноречиво рассказал мне, как постепенно проникал в тайну, оставшуюся так и не понятой нами. Во-первых, неожиданное открытие, связанное со скоростью высыхания краски, во-вторых, ложь одного из Дарзаков. После того как человек с мешком уехал, Рультабийль расспросил Бернье, и привратник повторил лживые слова того, кого все принимали за Дарзака. Этот человек удивился словам Бернье, но не сказал, что Дарзак, которому Бернье отпер в пять часов, был вовсе не он. Он решил скрыть появление второго Дарзака, а скрывать это ему был смысл лишь в том случае, если второй Дарзак был подлинным. Он должен был утаить, что где-то есть или был другой, настоящий Дарзак. Это было ясно как день. Рультабийль удивился, не зная, что и подумать, ему стало плохо, зубы его застучали. Быть может, надеялся он, папаша Бернье ошибся, неверно истолковав удивление и слова г-на Дарзака. Рультабийль

должен спросить об этом у самого Дарзака, и тогда все станет ясно. Скорее бы он вернулся! Замкнуть круг должен сам г-н Дарзак. С каким нетерпением ждал его Рультабийль! И когда тот вернулся, как Рультабийль цеплялся за самую слабую надежду... «Вы видели лицо этого человека?» — спросил он, и, когда Дарзак ответил: «Нет, не видел», — Рультабийль не сумел скрыть своей радости. Ведь Ларсан легко мог ответить: «Да, видел, это лицо Ларсана». Молодой человек не догадался, что это была последняя уловка бандита, намеренная оговорка человека, прекрасно вошедшего в роль: ведь настоящий Дарзак именно так и поступил бы. Он избавился бы от страшного груза, даже не посмотрев на него. Но что стоили все ухищрения Ларсана против разума Рультабийля? Фальшивый Дарзак после точных вопросов, заданных Рультабийлем, замкнул круг. Он солгал. Теперь Рультабийль все понял. Во всяком случае, глаза его, которые всегда смотрят вдогонку разуму, теперь прозрели.

Но что же делать? Разоблачить Ларсана немедленно, и тот, быть может, ускользнет? А заодно раскрыть глаза матери на то, что она вторично вышла замуж за Ларсана и помогла убить Дарзака? Нет, ни в коем случае! Он должен поразмыслить, понять, что-то придумать. Рультабийль хотел действовать наверняка и поэтому попросил отсрочку на сутки. Он обеспечил безопасность Дамы в черном, переселив ее к профессору Стейнджерсону и взяв с нее тайное обещание не выходить из замка. Он обманул Ларсана, заставив того поверить, что совершенно уверен в виновности Старого Боба. И когда Уолтер вернулся в замок с пустым мешком, у него появилась надежда: а вдруг Дарзак жив? Как бы то ни было, он отправляется его искать. У Дарзака он берет револьвер, найденный в Квадратной башне, совершенно новый. Такие револьверы он видел в оружейной лавке в Ментоне. Он отправляется в эту лавку, показывает револьвер и узнает, что купил его накануне утром человек со следующими приметами: мягкая шляпа, просторное серое пальто, большая, окаймляющая все лицо борода. Рультабийль тут же теряет этот след, но не задерживается, а берет другой, который привел Уолтера к Кастийонской расселине. Там он делает то, чего не сделал Уолтер. Тот, найдя мешок, ничем больше не занимался, а сразу спустился в форт Геркулес. А Рультабийль, продолжая идти по следу (его было легко читать благодаря большому расстоянию между колесами двуколки), обнаружил, что от Кастийона, вместо того чтобы возвращаться к Ментоне, след идет дальше, на противопо-

ложный склон в сторону Соспеля. Соспелы! Разве Бриньоль не вышел в Соспеле? Бриньоль... Рультабийль вспоминает о моей экспедиции. Зачем Бриньоль приехал в эти края? Его присутствие здесь должно быть тесно связано с драмой. С другой стороны, исчезновение и появление Дарзака говорит за то, что кто-то его лишил свободы. Но где? Бриньоль, который явно связан с Ларсаном, просто так из Парижа не приехал бы. А может быть, он приехал в этот ответственный момент, чтобы пронаблюдать за узником? Размышляя таким образом и сделав логические умозаключения, Рультабийль расспросил хозяина трактира, расположенного у Кастийонского туннеля, и тот признался, что накануне его удивило появление человека, приметы которого в точности совпадали с приметами посетителя оружейной лавки. Человек этот зашел к нему напиться, но казался не в себе и вел себя очень странно: можно было подумать, что он сбежал из сумасшедшего дома. Рультабийль почувствовал: «Жарко!» и безразличным тоном поинтересовался: «Так у вас тут есть сумасшедший дом?» Хозяин ответил: «Конечно, есть, на склоне горы Барбонне». Вот тут-то два слога «...бонне» и приобрели смысл. Теперь у Рультабийля не оставалось сомнений, что Дарзака силою упрятали в сумасшедший дом на горе Барбонне. Он вскочил в экипаж и приказал везти его в Соспель, который находится у подножия этой горы. Он рисковал встретить Бриньоля, однако не встретил и тут же отправился к больнице для умалишенных. Настроен он был очень решительно. Как репортер газеты «Эпок» он собирался «разговорить» директора под предлогом, что делает материал для профессоров Сорбонны. И тогда, быть может, ему удастся точно узнать, что стало с Дарзаком: ведь раз мешок найден пустым, раз след двуколки тянулся в Соспель, где, впрочем, терялся, раз Ларсан не счел необходимым избавиться от Дарзака, сбросив его в мешке в Кастийонскую расселину, значит, ему выгодно было возвратить живого Дарзака в сумасшедший дом. Тут Рультабийлю пришла в голову здравая мысль: живой Дарзак гораздо нужнее Ларсану, чем мертвый. Какой прекрасный будет заложник, когда Матильда заметит подмену! Он ведь сделает Ларсана хозяином положения, и несчастная женщина будет вынуждена заключить с ним что-то вроде соглашения. Если же Дарзак умрет, Матильда убьет Ларсана сама или выдаст его правосудию.

Рультабийль рассчитал верно. У дома умалишенных он наткнулся на Бриньоля и не долго думая схватил его за горло и пригрозил револьвером. Бриньоль был трусом. Он тут

же запросил пощады и заявил, что Дарзак жив. Через четверть часа Рультабийль знал все. Однако револьвера оказалось недостаточно: Бриньоля страшила смерть — он очень любил жизнь и все, что делает ее приятной, в особенности деньги. Рультабийль без труда убедил его, что если он не предаст Ларсана, то его песенка спета, а вот если он поможет семейству Дарзаков выйти из этого положения без скандала, то неплохо на этом заработает. Они ударили по рукам и отправились в сумасшедший дом, директор которого принял и выслушал их с известным изумлением, вскоре превратившимся сперва в ужас, а затем в необычайную любовь, которая вылилась в немедленное освобождение Робера Дарзака. Дарзак по счастливой случайности, о которой я уже рассказывал, почти не пострадал от раны, чуть было не оказавшейся смертельной. Безмерно счастливый, Рультабийль забрал его с собой и доставил в Ментону. Обоюдные их излияния я оставляю в стороне. С Бриньолем они расстались, назначив ему встречу в Париже, чтобы рассчитаться. По дороге Дарзак рассказал, что несколько дней назад наткнулся в своей тюрьме на местную газету, в которой рассказывалось о прибытии в форт Геркулес г-на и г-жи Дарзак, только что сочетавшихся браком в Париже. Большого ему и не надо было, чтобы понять причину всех своих бед и догадаться, у кого хватило дерзости занять его место рядом с несчастной женщиной, чей рассудок еще не совсем восстановился. Это открытие сообщило ему нечеловеческие силы. Украд у директора пальто, чтобы спрятать под ним больничную одежду, и забрав его кошелек с сотней франков, он с риском сломать шею перелез через стену, которая при других обстоятельствах показалась бы ему неприступной. Спустившись в Ментону, он бросился в форт Геркулес и там своими глазами увидел Дарзака, увидел самого себя! Он дал себе несколько часов, чтобы снова стать похожим на самого себя до такой степени, что другой Дарзак пришел бы в замешательство. План его был прост. Проникнуть в форт Геркулес, словно к себе домой, войти в комнаты Матильды и показаться своему двойнику, чтобы привести его в замешательство перед Матильдой. Он расспросил людей, живших на берегу, и узнал, где помещаются Дарзаки — в Квадратной башне. Супруги... Все, что вынес Дарзак до сих пор, не идет ни в какое сравнение с мучениями, которые доставило ему это слово — супруги! Эти муки продолжались до той минуты, когда во время демонстрации появления «лишнего трупа» он увидел Даму в черном. И тогда он понял: она никогда не осмелилась бы по-

смотреть на него так, не вскрикнула бы с такой радостью, никогда с таким счастьем не узнала бы его, если бы хоть на секунду душой или телом оказалась жертвой колдовства того, другого, если бы стала его женой. Они с Матильдой разделены, но не потеряны друг для друга.

Прежде чем привести свой план в исполнение, Дарзак пошел в Ментону, купил там револьвер, избавился от пальто, которое могло его погубить, если бы его стали искать, купил пиджак, цветом и покроем похожий на пиджак другого Дарзака, дождался пяти часов и начал действовать. Спрятавшись за виллой «Люси» стоявшей на небольшом холме в верхней части Гараванского бульвара, он стал наблюдать оттуда за тем, что происходило в замке. В пять часов он рискнул, так как знал, что другой Дарзак находится в башне Карла Смелого и, следовательно, его не будет там, куда идет настоящий, — в Квадратной башне. Проходя мимо меня и Рультабийля, он нас узнал и испытал сильнейшее желание крикнуть нам, кто он такой, однако сдержался, потому что хотел, чтобы первым делом его узнала Дама в черном. Только эта надежда и придавала ему силы. Только ради этого стоило жить, и, когда часом позже он держал в руках жизнь Ларсана, сидевшего спиной к нему и писавшего письма, у Дарзака даже не появилось желания отомстить. После стольких испытаний у него в сердце не осталось места для ненависти к Ларсану — настолько оно было переполнено любовью к Даме в черном. Бедный, несчастный г-н Дарзак!

Остальное известно. Не знал я другого: как настоящий г-н Дарзак вторично проник в форт Геркулес и оказался в стенном шкафу. Оказалось, что, доставив г-на Дарзака в Ментону и благодаря бегству Старого Боба зная, что из замка существует выход через колодец, Рультабийль воспользовался лодкой и переправил г-на Дарзака в замок тем же путем, которым улизнул Старый Боб. Рультабийль хотел быть хозяином положения в час, когда должен будет застать Ларсана врасплох и нанести ему решающий удар. Этим вечером действовать было уже поздно, но он рассчитывал покончить с Ларсаном на следующий вечер. Оставалось лишь спрятать г-на Дарзака на день. С помощью Бернье он нашел для него в Новом замке заброшенный и спокойный уголок.

В этом месте я вскрикнул и прервал Рультабийля, заставив тем самым его искренне рассмеяться.

— Значит, вот в чем дело! — воскликнул я.

— Ну конечно, именно в этом.

— Так вот почему я «открыл в тот вечер Австралию»! Передо мною был настоящий Дарзак! А я так ничего и не понял! Ведь там была не одна «Австралия». Была еще и борода, и она держалась. Вот теперь я все понял!

— Не очень-то вы торопились,— благодушно отпаривал Рультабийль.— Вообще в ту ночь вы нам весьма мешали. Когда вы появились во дворе Карла Смелого, господин Дарзак только что проводил меня до колодца. Я успел лишь опустить вслед за собой деревянную крышку, а господин Дарзак тем временем ускользнул в Новый замок. Когда же, проделав опыт с его бородой, вы легли спать, он снова пришел ко мне; мы находились в изрядном смущении. Если вы по случайности расскажете об этом приключении на следующее утро другому господину Дарзаку, думая, что разговариваете с тем, кого видели в Новом замке, произойдет катастрофа. И все же я не хотел уступать господину Дарзаку, предлагавшему открыть вам всю правду. Я боялся, что на следующий день вы не сможете ее утаить. Вы несколько импульсивны, Сенклер, и при виде дурного человека испытываете похвальное раздражение, которое в данном случае могло все испортить. А потом, ведь другой Дарзак весьма хитер! Поэтому я решил нанести ему удар, ничего вам не говоря. На следующее утро я собирался на глазах у всех вернуться в замок. Мне нужно было устроить так, чтобы вы не встретили Дарзака. Вот почему я отправил вас на заре за моллюсками.

— Теперь понимаю.

— В конце концов вы поймете все, Сенклер. Надеюсь, вы не держите на меня зла за эту прогулку, стоившую вам часа, проведенного в обществе очаровательной м-с Эдит.

— Кстати о миссис Эдит: почему вы находили противоестественное удовольствие в том, чтобы довести меня до этой дурацкой вспышки? — поинтересовался я.

— Чтобы дать выход вашему гневу и запретить вам заговаривать с нами — со мною и господином Дарзаком. Повторяю, я не хотел, чтобы после своего ночного приключения вы разговаривали с господином Дарзаком. Продолжайте же и дальше все понимать, Сенклер.

— Продолжаю, друг мой.

— Поздравляю.

— И все же есть еще одна вещь, которой я не понимаю! — вскричал я.— Смерть папаши Бернье. Кто же его убил?

— Трость,— мрачно ответил Рультабийль.— Эта дурацкая трость.

— А мне казалось, что дело в самом древнем скребке...

— Было две вещи, трость и самый древний скребок. Но главную роль в его смерти сыграла трость, а скребок послужил лишь орудием.

Я уставился на Рультабийля, спрашивая себя, не присутствую ли я на этот раз при окончательном закате этого светлого ума.

— Среди прочего, Сенклер, вы так и не поняли, почему в день, когда я прозрел, я уронил между господином и госпожой Дарзак тросточку с загнутой ручкой, тросточку Артура Ранса. Дело в том, что я надеялся, что господин Дарзак ее поднимет. Помните, Сенклер, трость Ларсана и как он ее держал в Гландье? У него была весьма своеобразная манера держать трость, вот мне и захотелось посмотреть, будет ли Дарзак держать трость на манер Ларсана. Я рассуждал правильно, однако мне хотелось собственными глазами увидеть Дарзака с ухватками Ларсана; эта мысль преследовала меня и на следующий день, даже после визита в сумасшедший дом, даже после того, как я обнял настоящего Дарзака, мне хотелось увидеть ошибку в поведении Ларсана. Увидеть, как он размахивает тростью на манер того бандита, как он забудет, хотя бы на секунду, что скрывает свой настоящий рост, как расправятся его притворно опущенные плечи. Постучите же! Постучите по гербу семейства Мортولا, постучите тростью, мой дорогой господин Дарзак. И он постучал. И я увидел его настоящий рост. Но другой тоже узнал его и погиб! Бедняга Бернье узнал Ларсана и от изумления поскользнулся и неудачно упал на самый древний скребок. Он погиб потому, что поднял скребок, выпавший из кармана сюртука Старого Боба, и хотел отнести его в кабинет к профессору, в Круглую башню. Он погиб потому, что в этот миг увидел трость Ларсана, увидел самого Ларсана, со всеми его ухватками и выпрямившегося во весь рост. В любой битве, Сенклер, бывают невинные жертвы.

Мы помолчали. Потом я не выдержал и сказал Рультабийлю, что сержусь на него — он слишком мало мне доверяет. Я не мог ему простить, что вместе со всеми он обманул и меня относительно Старого Боба. Рультабийль улыбнулся.

— Вот кто меня вовсе не занимал. Я был уверен, что

в мешке не он, еще вечером, накануне того, как его нашли. С помощью Бернье я поместил Дарзака в Новом замке, а потом, выйдя из хода, связывающего колодец с морем, и оставив на берегу лодку, которая должна была мне понадобиться на следующий день, лодку, которую я взял у Паоло, приятеля Морского Палача, я вплавь добрался до берега. Естественно, я разделся и переправил свою одежду, держа ее на голове. Выйдя на берег, я наткнулся в тени на Паоло, который ужасно удивился, увидев, что я купаюсь в такой час, и пригласил меня половить с ним осьминогов. Это давало мне возможность всю ночь находиться поблизости от замка и наблюдать. Я согласился. Тогда-то я и узнал, что лодка, которой я пользовался, принадлежит Туллио. Морской Палач неожиданно разбогател и объявил всем, что уезжает в родные края. Он рассказал, что очень выгодно продал старому ученому ценные раковины; его и в самом деле неоднократно видели со Старым Бобом. Паоло знал, что, прежде чем отправиться в Венецию, Туллио собирался остановиться в Сан-Ремо. Так для меня стали ясны похождения Старого Боба: чтобы сбежать из замка, ему нужна была лодка; вот он ее и взял у Морского Палача. Я узнал адрес Туллио в Сан-Ремо и с помощью анонимного письма отправил туда Артура Ранса, который был убежден, что Туллио знает что-то о Старом Бобе. На самом деле Старый Боб заплатил Туллио, чтобы тот сопровождал его ночью в пещеру, а потом сразу исчез. Я решил предупредить Артура Ранса только из жалости к старому профессору, с которым и вправду могло что-то стрястись. Мне же хотелось одного — чтобы этот очаровательный старичок не вернулся, прежде чем я покончу с Ларсаном, так как я желал заставить лже-Дарзака поверить в то, что меня прежде всего интересует Старый Боб. Когда же я узнал, что его нашли, то обрадовался, хотя и не вполне, однако понял, что благодаря ране на груди у него и у человека в мешке он мне не помешает. Теперь я мог надеяться через несколько часов продолжить свою игру.

— А почему вы сразу не покончили с нею?

— Неужели вы не понимаете, что я не мог избавиться от «лишнего трупа» — трупа Ларсана — среди бела дня? Мне понадобился целый день, чтобы подготовить его исчезновение. Но что это был за день — ведь погиб папаша Бернье! Прибытие жандармов отнюдь не облегчило мне задачу. Чтобы начать действовать, мне пришлось дожидаться их ухода. Первый выстрел из ружья, раздавшийся, ког-

да мы собрались в Квадратной башне, известил меня, что последний жандарм вышел из трактира Альбо на мысе Гарибальди, второй — что таможенники вернулись к себе и ужинают и что в море никого нет.

— Но скажите, Рультабийль,— проговорил я, всматриваясь в его светлые глаза,— когда вы оставили у выхода из подземного коридора лодку Туллио, вы уже знали, что повезете в ней на следующий день?

Рультабийль опустил голову и неторопливо, глухо проговорил:

— Нет, не думайте так, Сенклер. Я не предполагал, что повезу в ней труп — в конце концов, это был мой отец. Я думал, что повезу в ней человека в сумасшедший дом. Видите ли, Сенклер, я ведь приговорил его лишь к тюрьме, правда пожизненной. Но он покончил с собой. Видно, такова воля божья. Да простит его господь!

Этой ночью мы не обменялись больше ни словом. В Лароше я предложил Рультабийлю съесть чего-нибудь горячего, но он решительно отказался. Он купил все утренние газеты и, склонив над ними голову, стал поспешно пробегать новости. Газеты наперебой писали о России. В Петербурге открыт крупный заговор против царя. Факты были столь ошеломляющими, что верилось с трудом.

Я развернул «Эпок» и на первой странице прочел набранный крупным шрифтом заголовок:

«Отъезд Жозефа Рультабийля в Россию» и ниже: «Его требует царь!» Я протянул газету Рультабийлю, тот пожал плечами и сказал:

— Вот как! Даже у меня не спросили! Интересно, что, по мнению господина директора, я должен там делать? Меня не интересует царь с его революционерами — это его заботы, а не мои, пусть выпутывается сам. В Россию! Придется просить отпуск. Мне нужен отдых. Сенклер, а вы не хотите? Поедем вместе куда-нибудь, отдохнем...

— Нет уж! — воскликнул я несколько поспешно.— Благодарю, я уже достаточно поотдыхал с вами. Теперь мне страшно хочется поработать.

— Как угодно, друг мой. Я никого не заставляю.

Когда мы подъезжали к Парижу, Рультабийль принялся приводить себя в порядок и с удивлением обнаружил в кармане неизвестно как пропавший туда красный конверт.

— Что это? — удивился он и распечатал конверт.

Прочитав содержимое, он расхохотался. Передо мной опять был мой веселый Рультабийль. Мне захотелось узнать причину его веселости.

— Я уезжаю, старина! — ответил Рультабийль. — Уезжаю! Раз так, я уезжаю. Сегодня же вечером сажусь в поезд.

— Куда?

— В Санкт-Петербург.

С этими словами он протянул мне письмо и я прочел:

«Нам известно, сударь, что Ваша газета решила послать Вас в Россию в связи с событиями, взбудоражившими двор в Царском Селе. Мы обязаны Вас предупредить, что живым Вы до Петербурга не доедете.

Подписано: Центральный революционный комитет».

Я взглянул на Рультабийля: радости его не было конца.

— На вокзале находился князь Галич, — сообщил я. Он понял, равнодушно пожал плечами и ответил:

— Ну и повеселимся же, старина!

Это было все, что я из него вытянул. Вечером, когда на Северном вокзале я обнимал его, умоляя не уезжать, и плакал от отчаяния, он только смеялся и повторял:

— Ну и повеселимся же!

Это были его последние слова. На следующий день я приступил к своим обязанностям во Дворце правосудия. Первыми, кого я там встретил, были гг. Анри-Робер и Андре Гесс.

— Хорошо отдохнул? — поинтересовались они.

— Превосходно! — ответил я и скроил при этом такую мину, что они тут же потащили меня в кафе.

Морис Леблан

Арсен Люпен — ДЖЕНТЛЬМЕН- ГРАБИТЕЛЬ



Maurice Leblanc
Arsène Lupin
gentleman-
cambrioleur

Paris

1907

Перевод Н. БОРДОВСКИХ

АРЕСТ АРСЕНА ЛЮПЕНА

Странное путешествие! А ведь как хорошо оно началось! Я лично не помню плавания, которое обещало бы оказаться столь удачным. «Прованс» — это быстроходное и комфортабельное океанское судно, управляемое опытным капитаном. На нем собралось самое изысканное общество. Быстро завязывались знакомства, устраивались развлечения. Нами владело восхитительное чувство оторванности от всего мира; подобно обитателям неведомого острова, мы замкнулись в самих себе и, следовательно, вынуждены были искать общения друг с другом.

Общение это становилось все более и более тесным...

Случалось ли вам задумываться над тем, сколько сюрпризов и неожиданностей сулит компания, состоящая из людей, еще накануне вам незнакомых, которым, однако, предстоит в тесном единении провести несколько дней между бескрайними небесами и необозримым морским простором, совместно бросая вызов гневному нраву океана, чудовищному натиску волн и обманчивому спокойствию утихомирившейся пучины?

В каком-то смысле такое путешествие можно считать уменьшенным отражением самой жизни во всем ее трагическом и бурном величии, разнообразии и монотонности. Должно быть, именно поэтому мы с таким лихорадочным нетерпением торопились вкусить все прелести этого краткого плавания, чей конец ощущался уже в самом его начале.

Однако с некоторых пор чувства людей, совершающих подобные поездки, стали претерпевать странные перемены. Их плавучий островок стал все более зависеть от мира, с которым они вроде бы порвали все связи. На самом деле такая связь существует — это беспроволочный телеграф! Голос из вселенной, новости, получаемые самым таинствен-

ным путем! Ничье воображение не в силах представить себе стальные нити, лежащие на дне океана, по которым летят невидимые сигналы. Что же говорить о еще более непостижимой, еще более поэтичной тайне, объяснить которую можно разве что ссылкой на пресловутые крылья ветра?

Итак, в первые часы нашего плавания нас преследовали, догоняли и даже перегоняли эти отдаленные голоса, время от времени нашептывая нам на ухо вести с суши. Со мной поговорили двое друзей. Десятки других посылали нам всем по волнам эфира грустные или шутливые слова прощания.

А на второй день, в штормовую погоду, когда мы находились уже в пятистах милях от французских берегов, беспроволочный телеграф донес к нам нижеследующую депешу:

«Арсен Люпен у вас на борту первый класс приметы светлые волосы шрам на правой руке путешествует один под именем Р...»

В этот миг громовой раскат потряс сумрачное небо. Связь прервалась. Конец депеши до нас не дошел. От имени, под которым скрывался Арсен Люпен, осталась только начальная буква.

Если бы речь шла о любой другой новости, ее тайна, как мне кажется, была бы сохранена совместными усилиями радистов, судового комиссара полиции и самого капитана. Но она принадлежала к числу тех сообщений, которые просто не могут остаться неразглашенными. В тот же день неведомо какими путями мы знали, что среди нас находится Арсен Люпен.

Арсен Люпен среди нас! Неуловимый взломщик, о чьих подвигах уже который месяц твердят газеты! Таинственный преступник, с которым вступил в смертельную схватку старый Ганимар, наш лучший сыщик,— все мы следили за неожиданными перипетиями этой борьбы! Арсен Люпен, разборчивый вор, работающий только в замках и великосветских салонах, тот самый, что однажды ночью проник к барону Шорману и вышел от него с пустыми руками, оставив свою визитную карточку, на которой было написано: *«Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, навестит вас снова, когда в вашем доме не останется подделок»*. Арсен Люпен, тысячеликий незнакомец, появляющийся в обличье шофера, оперного певца, букмекера, отпрыска благородного семейства, подростка, старика, марсельского коммивояжера, русского врача, испанского тореро!

Но как представить себе, что этот самый Арсен Люпен на полной свободе разгуливает по относительно узкому миру океанского парохода, и даже не всего парохода, а только той его части, которая принадлежит первому классу, и где его можно встретить повсюду — в столовой, в салоне, в курительной... Быть может, вот этот господин и есть Арсен Люпен... или вон тот... мой сосед по столу... мой компаньон по каюте.

— И все это должно продолжаться еще целых пять суток! — воскликнула на следующее утро мисс Нелли Андердаун. — Да это же нетерпимо! Я надеюсь, что его вот-вот арестуют. — И, обращаясь ко мне, добавила: — Вы, мсье Андреси, уже завязали тесные отношения с капитаном — нет ли у вас новостей на этот счет?

Ах, как хотелось бы мне поделиться с мисс Нелли хоть какой-нибудь новостью и тем самым снискать ее расположение! Она принадлежала к числу тех очаровательных созданий, которые, куда бы они ни попали, тут же начинают притягивать к себе взоры всех присутствующих. Их красота и богатство в равной мере ослепительны. Вокруг них вечно вьется целый рой поклонников и вздыхателей.

По матери она была француженкой, воспитывалась в Париже, а теперь вместе с компаньонкой, леди Джерланд, возвращалась к отцу, чикагскому миллионеру.

С первой же минуты знакомства я, как и многие другие пассажиры, попытался было с нею флиртовать. Но когда ее черные глаза встретились с моими, я был мгновенно очарован и почувствовал такой прилив настоящей влюбленности, что ни о каком банальном флирте уже не могло быть и речи. Тем не менее она с известной благосклонностью принимала от меня знаки внимания. Снисходила до того, что смеялась моим остроумиям, выслушивала мои анекдоты. Казалось, в ответ на мои ухаживания в ней рождается еще неосознанное чувство симпатии.

Единственным соперником, внушавшим мне кое-какую ревность, был довольно красивый молодой человек, чей сдержанный юмор порою нравился ей больше, чем моя парижская раскованность.

Когда мисс Нелли принялась меня расспрашивать, он как раз находился среди окружавших ее кавалеров. Мы сидели на палубе в уютных шезлонгах. Вчерашняя буря прошла, небеса прояснились. Погода была восхитительной.

— Ничего определенного мне не известно, — ответил я, — но разве мы не можем начать расследование собствен-

ными силами, как это сделал бы на нашем месте старый Ганимар, личный враг Арсена Люпена?

— Не много ли вы на себя берете?

— А что тут особенного? Неужели задача кажется вам чересчур сложной?

— Она неимоверно сложна.

— Не забывайте о сведениях, которые помогут нам решить ее.

— Что же это за сведения?

— Во-первых, Люпен находится здесь под именем господина Р. ...

— Указание довольно расплывчатое...

— Во-вторых, он путешествует в одиночку.

— Если бы этого нам было достаточно!

— В-третьих, у него светлые волосы.

— И что с того?

— Нам нужно всего-навсего взглянуть на список пассажиров и вычеркнуть из него лиц, не отвечающих этим приметам.

Тут я вынул список, который предусмотрительно захватил с собой.

— Прежде всего заметим, что в нем значится всего тринадцать человек, чьи инициалы заслуживают нашего внимания.

— Всего тринадцать?

— Я имею в виду пассажиров первого класса. Девять из этих тринадцати человек, как вы можете убедиться, путешествуют вместе с женами, детьми или слугами. Остается четверо одиноких пассажиров: маркиз де Равердан...

— Секретарь посольства,— прервала меня мисс Нелли,— мы с ним знакомы.

— Майор Роусон...

— Это мой дядя,— сообщил кто-то.

— Месье Ривольта...

— Это я,— вскричал один из нас, итальянец, почти до самых глаз заросший роскошной черной бородой.

Мисс Нелли прыснула со смеху:

— Вот уж про кого не скажешь, что он блондин!

— В таком случае,— продолжал я,— мы вынуждены заключить, что подозреваемым является последний в списке.

— Кто же это?

— Месье Розен. Кто-нибудь здесь знает мсье Розена?

Наступила пауза. Затем мисс Нелли обратилась к тому самому молчаливому молодому человеку, чьи недвусмыс-

ленные виды на нее доставляли мне только беспокойство.

— Что же вы не отвечаете, месье Розен?

Он посмотрел на нее. У него были светлые волосы.

Признаюсь, я почувствовал, что в этот миг у меня перехватило дыхание. А гнетущая тишина, наступившая вслед за этим, доказывала, что и остальные тоже испытали нечто вроде шока. Все это было довольно нелепо, поскольку ничто в облике месье Розена не могло вызвать ни малейших подозрений.

— Почему я не отвечаю? — отозвался он. — Да потому, что, памятуя о моей фамилии, положении одинокого пассажира и цвете волос, я уже сам провел подобное расследование и пришел к такому же выводу, что и вы. Отсюда следует, что именно меня и нужно арестовать.

Станный у него был вид, когда он произносил эту тираду. Узкие губы слились в одну черту и побелели. Глаза налились кровью.

Все им сказанное было, разумеется, шуткой. Однако его лицо и тон производили иное впечатление. Мисс Нелли простодушно спросила:

— Но разве у вас есть шрам на руке?

— Чего нет, того нет, — ответил он и, резким движением расстегнув манжетку, обнажил запястье. Я взглянул в глаза мисс Нелли и понял, что нас одновременно поразила одна и та же мысль: он показал нам не правую, а левую руку.

Я уже собирался было высказать вслух свои соображения по этому поводу, когда наше внимание привлекла леди Джерланд, компаньонка мисс Нелли, которая, еле переводя дыхание, выбежала на палубу.

На ней буквально лица не было. Все окружили ее, и лишь после немалых усилий она смогла наконец пролепетать:

— Мои драгоценности... мои жемчуга... все похищено!

Как мы установили впоследствии, она ошиблась: похищено у нее было далеко не все. Но самое любопытное, что вор ей попался разборчивый!

Из бриллиантовой броши, из кулона с неограниченными рубинами, из ожерелий и браслетов он вынул не самые крупные, а самые изящные, самые дорогие камни, имеющие, так сказать, наибольшую цену при наименьшем объеме. Оправы валялись на столике, похожие на груды цветов, из которых чья-то рука вырвала самые красивые, самые яркие лепестки.

И как только вор ухитрился сделать свое дело за то

время, пока леди Джерланд пила чай? Ведь ему нужно было — среди бела дня, в коридоре, где снуют люди, — взломать дверь каюты, найти сумочку, спрятанную на дне шляпной коробки, достать из нее драгоценности и выбрать из них приглянувшиеся ему камни!

Когда весть о краже разнеслась по пароходу, пассажиры единодушно решили, что ее виновником мог быть только Арсен Люпен. В этом не было сомнения. Здесь чувствовалась его манера — сложная, таинственная, непостижимая... и в то же время логичная, ибо насколько трудно было бы хранить при себе все драгоценности целиком, настолько легко припрятать горстку разрозненных камешков — жемчужин, изумрудов, сапфиров!

За обедом было замечено, что никто не желает садиться рядом с Розеном: места справа и слева от него пустовали. А вечером разнесся слух, что его вызвали к капитану. Арест этого типа — а никто не сомневался, что он арестован, — вызвал настоящий вздох облегчения. У всех отлегло от сердца. Мы занялись играми, затеяли танцы. Особенно веселилась мисс Нелли, наводя меня на мысль о том, что если ухаживания Розена и были ей приятны в начале плавания, то теперь она не хотела и вспоминать о них. Ее прелесть и изящество окончательно вскружили мне голову. Ближе к полуночи при ясном свете луны я признался ей в своих чувствах и был, как мне кажется, выслушан не без интереса.

Но на следующий день все мы с удивлением узнали, что Розен был освобожден за недостатком улик.

Этот сын почтенного коммерсанта из Бордо представил командиру совершенно безупречные документы. К тому же оказалось, что на руках у него нет ни малейшего намека на шрамы.

— Подумаешь, документы! — распинались недоброжелатели Розена. — Да ведь Арсен Люпен раздобудет их себе сколько угодно! Что же касается шрамов, то либо их у него и не было, либо он как-то закрасил их.

Им возражали, что в час кражи он — это было точно установлено — прогуливался по палубе. На что они отвечали:

— Разве такому ловкачу, как Люпен, необходимо лично присутствовать на месте преступления, которое он совершает?

Но помимо всех этих соображений, существовал пункт, на котором сходились даже самые яростные скептики. Кто, кроме Розена, путешествовал в одиночку, был блон-

дином и носил фамилию, начинающуюся на букву «Р»? на кого, как не на Розена, указывала оборванная депеша?

И когда за несколько минут до завтрака он решительно направился к нашей группе, мисс Нелли и леди Джерланд тут же встали и удалились.

Было ясно, что они боятся его.

Часом позже на борту появилось рукописное объявление, с которым по очереди ознакомились пассажиры всех классов, а также матросы и корабельная прислуга: Луи Розен предлагал сумму в десять тысяч франков тому, кто сумеет сорвать маску с Арсена Люпена или укажет местонахождение похищенных камней.

— А если никто не придет мне на помощь против бандита,— заявил Розен капитану,— я обойдусь собственными силами.

Розен против Арсена Люпена или, вернее, Арсен Люпен против Арсена Люпена! Подобная схватка не могла не привлечь к себе внимания.

Ей суждено было растянуться на двое суток.

Розен расхаживал по всему кораблю, завязывая разговоры с матросами, высматривал, вынюхивал. Даже ночью его тень продолжала поиски.

Капитан со своей стороны тоже развернул самую активную деятельность. «Прованс» был обшарен сверху донизу и снизу доверху. Во всех без исключения каютах произвели обыск — это было сделано под тем предлогом, что драгоценности могли быть припрятаны где угодно, кроме каюты самого преступника.

— Но ведь должны же они, в конце концов, что-то обнаружить? — спрашивала меня мисс Нелли.— Каким бы чудотворцем он ни был, ему не под силу сделать бриллианты и жемчуга невидимыми.

— Разумеется,— отвечал я,— в противном случае следовало бы вспороть подкладки наших шляп и курток, перещупать все, что мы на себе носим.

Указав ей на мой «кодак», с чьей помощью я только и делал, что снимал ее в разных позах, я продолжал:

— Даже в таком небольшом аппарате нашлось бы достаточно места для всех драгоценных камней, похищенных у леди Джерланд. Вор мог бы делать вид, что щелкает красивые кадры, и никто бы его не заподозрил.

— Но ведь говорят, что нет таких преступников, которые бы не оставляли после себя каких-нибудь следов.

— Такой преступник есть: это Арсен Люпен.

Почему вы так считаете?

— Потому, что он думает не только о совершенном им преступлении, но и обо всех мелочах, которые могли бы его выдать.

— В начале плавания вы были бóльшим оптимистом.

— Тогда я еще не сталкивался с ним на деле.

— И каковы же теперь ваши прогнозы?

— Я думаю, что мы только даром теряем время.

Поиски и в самом деле не дали никакого результата, вернее сказать, привели к результату совершенно противоположному: во время этих поисков у капитана были похищены часы.

Вне себя от ярости, он удвоил рвение и стал в оба глаза следить за Розеном, то и дело вызывая его для допросов. На следующий день, по иронии судьбы, пропавшие часы обнаружились среди накладных воротничков его первого помощника.

Все это смахивало на чудо и как нельзя лучше говорило о насмешливом нраве Люпена, который, разумеется, был вором, но только не профессионалом, а любителем. Он занимался своим ремеслом как по призванию, так и ради забавы. Он напоминал актера, который потешается над разыгрываемой им ролью и, спрятавшись за кулисы, во все горло смеется над характерами и ситуациями, которые сам создает.

Спору нет, в своем деле он был настоящим артистом, и, когда наблюдал за мрачным и сосредоточенным Розеном, памятуя о двойной роли, которую, без сомнения, разыгрывал этот поразительный тип, я не мог думать о нем без некоторого восхищения.

В предпоследнюю ночь нашего рейса вахтенный офицер услышал глухие стоны, доносившиеся из самого темного закоулка палубных надстроек. Подойдя поближе, он увидел лежащего человека, лицо которого было обмотано толстым серым шарфом, а руки связаны тонким шнурком.

Его развязали, оказали ему необходимую помощь.

Этим человеком оказался Розен.

На него напали во время одного из его ночных обходов, сбили с ног и обчистили. К его куртке была пришпилена визитная карточка с запиской:

«Арсен Люпен с благодарностью принимает десять тысяч франков от месье Розена».

На самом деле в похищенном бумажнике находилась вдвое большая сумма.

Как и следовало ожидать, потерпевшего обвинили в том, что он сам подстроил его нападение. Однако не мог

же он сам так основательно себя связать, а кроме того, почерк записки не имел ничего общего с почерком Розена, но обнаруживал поразительное сходство с автографом Люпена, воспроизведенным в старой газете, нашедшейся на борту.

Итак, Розен не был Арсеном Люпенем. Розен был Розеном, сыном почтенного бордоского коммерсанта. Арсен Люпен лишь напомнил о своем пребывании на борту — и сделал это столь устрашающим способом!

Все были охвачены ужасом. Никто не решался теперь оставаться в одиночку в своей каюте, а уж тем более заираться в отдаленные уголки корабля. Пассажиры старались держаться поближе друг к другу, выбирая самых надежных компаньонов. Но и тогда их разделяло взаимное недоверие. Ведь угроза исходила не от определенного, а потому менее опасного человека. Арсеном Люпенем стал теперь каждый. Наше воспаленное воображение приписывало ему неограниченную и фантастическую власть над всеми. Полагали, что он способен предстать перед нами в самом неожиданном обличье, прикинуться почтенным майором Роусоном, благородным маркизом де Раверданом или даже — вот до чего дошла наша подозрительность — любым из пассажиров, путешествующих с женами, детьми и слугами.

Первые радиogramмы из Америки не принесли никаких новостей. По крайней мере капитан не сообщал нам их содержания, в чем, разумеется, было мало утешительного.

Так что последний день на борту показался нам бесконечным. Мы жили в тревожном ожидании несчастья. Были готовы к новому преступлению, более серьезному, чем два предыдущих, — не к краже или нападению, а к убийству. Не мог же Арсен Люпен ограничиться какими-то пустяковыми выходками! Став полным хозяином судна, убедившись в бессилии корабельных властей, он не без оснований считал, что ему все позволено, что он вправе располагать как имуществом пассажиров, так и их жизнью.

Но для меня эти томительные часы обернулись блаженством, ибо они помогли мне окончательно завоевать доверие мисс Нелли. И без того впечатлительная по натуре, а теперь еще и потрясенная столькими событиями, она инстинктивно искала у меня поддержки и покровительства — и я был счастлив прийти к ней на помощь.

В глубине души я благословлял Арсена Люпена. Разве не благодаря ему мы так сблизились? Разве не благодаря

ему я мог теперь предаваться самым сладостным грехам? То были — чего уж там скрывать — не только возвышенные мечты о любви, но и куда более прозаические помыслы о браке. Андреси — старинный и славный пуатевенский род, однако позолота на его гербе несколько поистерлась, и мне вовсе не казалось, что такому благородному человеку, как я, грешно помышлять о том, чтобы вернуть этому гербу его былой блеск.

И эти мечты, судя по всему, вовсе не смущали мисс Нелли. Ее благосклонный взор вселял в меня надежды. Серебристый голосок нашептывал слова ободрения.

Опершись на поручни, мы до самого последнего мига не расставались друг с другом, глядя на растущую вдаль полосу американского берега.

Поиски прекратились. Все, начиная с пассажиров первого класса и кончая эмигрантами, кишевшими в трюме, ждали той минуты, когда наконец разъяснится неразрешенная загадка. Кем был Арсен Люпен? Под каким именем, под какой маской скрывался среди нас знаменитый преступник?

И эта незабываемая минута наступила. Проживи я еще хоть сотню лет, из моей памяти не изгладится ни единой подробности этого решающего мига.

— Как вы бледны, мисс Нелли,— обратился я к своей спутнице, которая, едва держась на ногах, оперлась о мое плечо.

— А вы! — услышал я в ответ.— Да на вас лица нет!

— Ничего удивительного. Я так счастлив, что в эту минуту вы рядом со мною, мисс Нелли! Мне кажется, что и вы запомните ее навсегда...

Но мисс Нелли, задыхаясь и дрожа от волнения, уже не слушала меня. На землю перебросили сходни. Не успели мы ступить на них, как на борт поднялось множество народу — таможенники, полицейские, носильщики.

Мисс Нелли прошептала:

— Сейчас окажется, что Люпен покинул борт корабля еще до прибытия в гавань,— я лично несколько бы не удивилась этому.

— Возможно, он предпочел смерть позору и бросился в море, чтобы избежать ареста.

— Здесь нет ничего смешного,— отозвалась она раздраженным тоном.

Внезапно я вздрогнул и, не обращая внимания на ее дальнейшие расспросы, сказал:

— Видите вон того низенького человечка, что стоит в самом конце сходней?

— В темно-зеленом рединготе и с зонтиком?

— Ну да. Это Ганимар.

— Ганимар?

— Тот самый знаменитый сыщик, который поклялся, что собственноручно задержит Люпена. Теперь я понимаю, почему мы не получали никаких известий с американского берега. Ганимар уже был в Америке. Он не любит, когда в его дело вмешиваются другие.

— Стало быть, Люпену не миновать ареста?

— Как знать? Ганимар видел его раньше только в гриме и парике. Но, может быть, ему известно имя, под которым тот скрывается...

— Ах, как бы мне хотелось присутствовать при его аресте,— вздохнула моя собеседница, охваченная по-женски жестоким любопытством.

— Наберитесь терпения. Арсен Люпен наверняка уже заметил своего врага. Он постарается сойти на берег в числе последних пассажиров, когда внимание старого сыщика притупится.

Высадка началась. Ганимар оперся на зонтик и безразлично поглядывал на теснящуюся между обоих поручней толпу. Я заметил, что стоявший позади него морской офицер время от времени давал ему какие-то пояснения.

Маркиз де Равердан, майор Роусон, итальянец Ривольта в числе других пассажиров уже сошли на берег... Наконец я увидел, как на сходни ступил Розен.

Бедный Розен! По его виду нельзя было сказать, что он оправился от своих злоключений.

— Наверное, это все-таки он,— прошептала мисс Нелли.— А вы как думаете?

— Я думаю, что было бы весьма интересно сделать снимок, на котором запечатлены Ганимар и Розен. Возьмите мой аппарат, у меня заняты руки.

Я протянул ей «кодак», но было уже поздно: Розен разминулся с Ганимаром. Офицер склонился к уху сыщика, тот слегка пожал плечами, и Розен спокойно сошел на берег.

«Да кто же тогда был Арсеном Люпеном?» — подумал я.

— Кто же им был? — вслух повторила мои мысли мисс Нелли.

На борту оставалось всего десятка два человек. Она окинула их смущенным взглядом, словно опасаясь, как бы он не оказался среди них.

— Нам пора,— сказал я своей спутнице.

Она двинулась вперед, я последовал за ней. Но не успели мы сделать и десяти шагов, как Ганимар преградил нам дорогу.

— Что такое? В чем дело? — воскликнул я.

— Минуточку, сударь, не торопитесь.

— Я провожаю вот эту барышню.

— Минуточку,— повторил сыщик не терпящим раздражения тоном. И добавил, смотря мне прямо в глаза:

— Вы — Арсен Люпен, не так ли?

Я расхохотался:

— Нет, перед вами всего лишь Бернар д'Андреzi.

— Бернар д'Андреzi погиб три года назад в Македонии.

— Будь это так, меня можно было бы считать выходцем с того света. Но я жив. Вот мои документы.

— Это его документы, а не ваши. И мне было бы крайне интересно узнать, каким образом вы их раздобыли.

— Вы с ума сошли. Арсен Люпен отправился в плавание под именем Р.

— Это ваша собственная выдумка, с помощью которой вы решили сбить с толку корабельное начальство. В изобретательности вам не откажешь! Но на сей раз вам не повезло. Полно притворяться, Люпен, давай-ка играть по всем правилам.

Я промедлил всего лишь секунду — и его кулак тут же обрушился на мое правое предплечье. Я вскрикнул от боли. Удар пришелся по еще не зажившей ране, о которой говорилось в радиограмме.

Волей-неволей мне пришлось подчиниться. Я обернулся к мисс Нелли. Она побледнела и еле держалась на ногах. Ее взгляд встретился с моим, потом она перевела его на «кодак», который я ей передал. Ее рука дрогнула — и по этому произвольному жесту я понял, что она внезапно обо всем догадалась. Да, именно там, в этом маленьком аппарате, который я успел всучить ей перед тем, как меня задержал Ганимар, находились и двадцать тысяч франков, отнятые у Розена, и драгоценности леди Джерланд.

Клянусь, что в этот роковой миг, когда Ганимар и двое его сподручных окружили меня со всех сторон, мне было безразлично все на свете — и мой арест, и враждебные взгляды пассажиров,— все, кроме одного: решения, которое примет мисс Нелли. Что она сделает с аппаратом?

Я не думал о весомой материальной улике, находя-

щейся у нее в руках, меня интересовало только, передаст ли она ее полицейским?

Решится ли выдать меня и тем самым погубить? Поступит ли как безжалостный враг или как женщина, не забывшая ни о чем, сумевшая смягчить всю горечь презрения ко мне капелькой снисходительности и невольной симпатии.

Она прошла мимо меня. Не проронив ни слова, я ответил ей глубокий поклон. Смешавшись с другими пассажирами, она направилась к трапу, держа в руках мой «кодак».

Она не решится сделать это на людях, подумал я. Передаст им аппарат чуть позже, через несколько минут, через час.

Не дойдя до середины сходней, она сделала вид, что поскользнулась, и выронила аппарат. Он упал в воду между причалом и бортом корабля.

Я смотрел, как она удаляется.

Ее стройная фигурка скрылась в толпе, вынырнула из нее, снова скрылась. Теперь уже навсегда.

Я застыл на месте, охваченный одновременно печалью и тихой нежностью, а потом, к удивлению Ганимара, глубоко вздохнул:

— Грустно, как ни говори, быть непорядочным человеком.

Эту историю своего ареста поведал мне однажды зимним вечером сам Арсен Люпен. Случайное происшествие, которое я, быть может, опишу когда-нибудь в отдельном рассказе, сначала сблизило нас, а потом и сдружило. Да, да, я склонен думать, что Арсен Люпен и впрямь почтил меня своей дружбой; именно поэтому он иногда заглядывает ко мне безо всякого предупреждения, и вместе с ним в тишину моего рабочего кабинета врывается искрометное веселье, молодой задор и жизнерадостность человека, все существование которого кажется сплошной удачей и везением.

Каков он из себя? Признаюсь, мне было бы трудно ответить на этот вопрос. Всякий раз, когда я вижу Арсена Люпена, он предстает передо мною в новом обличье... вернее сказать, обличье остается одним и тем же, но меняются зеркала, в которых оно отражается, придавая моему другу новое выражение лица, переиначивая его жесты, силуэт и характер.

— Я и сам не знаю, кто я такой,— признавался мне Арсен Люпен.— Я давно уже не узнаю себя в зеркале.

Можно, разумеется, счесть это заявление бравадой или шуткой, но оно остается истиной по отношению к тем знакомым Люпена, которые не подозревают о его неисчерпаемых внутренних ресурсах, о поразительной способности к перевоплощению, позволяющей ему изменять даже черты лица.

— Какой мне прок в определенном обличье? — продолжает он. — Разве не опасно всегда быть похожим на самого себя? Пусть обо мне судят не по внешнему виду, а по делам.

И не без гордости уточняет:

— Да ведь оно и хорошо, что никто не может сказать обо мне со всей определенностью: это Арсен Люпен. Главное, что при этом он может безошибочно утверждать: этот тип — творение Арсена Люпена.

Некоторые из его приключений я и попытаюсь пересказать здесь в том виде, в каком он сам поведал мне о них в зимние вечера, в тиши моего рабочего кабинета...

II

АРСЕН ЛЮПЕН В ТЮРЬМЕ

Заядлому туристу, идущему вдоль берегов Сены от развалин Жюмьежа к руинам Сен-Вандри, не может не броситься в глаза небольшой, но диковинный феодальный замок, гордо высящийся на скале посреди реки. Одноарочный мост связывает его с берегом. Подножие сумрачных башен сливается с огромной гранитной глыбой, сброшенной сюда чудовищным подземным толчком с невесть какой крутизны. А вокруг играют среди камышей спокойные струи, да покачивают хвостами трясогузки на влажных камнях.

История замка Малаки сурова, как его имя, причудлива, как его силуэт. Сплошные побоища, осады, штурмы, похищения и убийства. Собравшись на посиделки, окрестный люд с дрожью вспоминает о совершенных в нем преступлениях, рассказывает таинственные легенды, говорит о знаменитом подземном ходе, что вел некогда из аббатства Жюмьеж к усадьбе Агнессы Сорель, прекрасной возлюбленной Карла VII.

В этом древнем логове героев и разбойников обитает барон Натан Каорн, Барон Сатана, как прозвали его на бирже, где он с подозрительной быстротой сколотил себе

состояние. Разорившиеся владельцы замка вынуждены были уступить ему за гроши свое родовое гнездо. Он разместил в нем замечательные коллекции мебели и картин, фаянса и деревянной скульптуры. И уединился там с тремя старыми слугами. Никто и никогда не переступал порога его жилища. Никому не доводилось проникнуть в старинные залы, где хранились три полотна Рубенса, две картины Ватто, резная кафедра работы Жана Гужона и множество иных редкостей, перехваченных этим толстосумом на аукционах у богатейших завсегдатаев.

Барона Сатану мучил страх. Он боялся не только за себя, но и за свои сокровища, собранные с такой ненасытной страстью и проницательностью любителя, что даже самые плутоватые антиквары не могли бы похвастать тем, что хоть раз всучили ему подделку. Он обожал свою коллекцию. Относился к ней с жадностью скупца и ревностью любownika.

Каждый вечер четыре окованных железом двери — две из них располагались по обоим концам моста, а две другие вели во двор замка — запирались на замки и засовы. При малейшем стуке тишину нарушало дребезжание электрических звонков. А со стороны Сены опасаться было нечего: утес был отвесным.

И вот однажды в сентябре, в пятницу, у ворот, ведущих на мост, появился, как обычно, почтальон. Следуя неписаному правилу, барон самолично приоткрыл тяжелую дверь и подозрительно оглядел его с ног до головы, словно видел впервые, хотя-ему давно уже был знаком этот веселый крестьянский парень с хитрецей в глазах.

— Это всего-навсего я, господин барон,— произнес почтальон с улыбкой.— Я, а не кто-нибудь другой, забравший у меня куртку и фуражку.

— Как знать,— пробормотал барон.

Почтальон протянул ему кипу газет. Потом добавил:

— А теперь, господин барон, у меня для вас новость.

— Какая еще новость?

— Письмо... к тому же заказное.

Живя на отшибе, не имея ни друзей, ни знакомых, барон никогда не получал писем, поэтому слова почтальона не на шутку его встревожили. Кто был этот таинственный корреспондент, нарушивший его уединение?

— Нужно расписаться, господин барон.

Делать было нечего, барон расписался. Потом взял письмо, подождал, пока почтальон скроется за поворотом дороги, потоптался на месте и наконец, облокотившись

о перила моста, вскрыл конверт. В нем оказался квадратный листок с пометкой вверх: «Тюрьма Санте, Париж». Внизу стояла подпись: «Арсен Люпен». Ошеломленный барон прочел:

«Господин барон, в галерее, соединяющей оба Ваших салона, находится картина Филиппа де Шампеня отличной работы, которая мне очень нравится. Оба Ваших Рубенса тоже в моем вкусе, равно как и меньший из двух Ваших Ватто. В салоне, расположенном справа, отмечу сервант эпохи Людовика XIII, gobelены из Бовэ, круглый столик времен Империи и комод эпохи Ренессанса. В левом салоне мое внимание привлекает витрина с драгоценностями и миниатюрами.

На сей раз я удовольствуюсь этими предметами, которые, надеюсь, мне удастся легко сбыть. А посему прошу Вас в течение недели должным образом упаковать их и отправить на мое имя (с оплаченной доставкой) на вокзал Батиньоль... В противном случае мне придется лично позаботиться об их перевозке в ночь со среды 27-го на четверг 28 сентября, причем тогда, разумеется, я уже не удовлетворюсь вышеозначенными предметами.

Прошу прощения за причиненное беспокойство. Соблаговолите принять уверения в моем совершеннейшем к Вам почтении.

Арсен Люпен.

P. S. Ради бога, не ошибитесь, прислав мне большего из Ваших Ватто. Хоть Вы и заплатили за него тридцать тысяч франков, это всего лишь копия: оригинал картины был сожжен Гаррасом в эпоху Директории во время пьяной оргии. Упоминания об этом можно найти в неизданных мемуарах Гара.

Не привлекает меня и нагрудная цепочка Людовика XV, чья подлинность кажется мне сомнительной».

Будь это письмо подписано кем-то другим, барон Каорн уже был бы не на шутку встревожен, но подпись Арсена Люпена просто потрясла его.

Будучи усердным читателем газет, пристально следя за всеми сообщениями об ограблениях и кражах, он был прекрасно наслышан о подвигах дьявольского взломщика. Он знал, разумеется, что Люпен, арестованный в Америке своим врагом Ганимаром, надежно упрятан за решетку и что в настоящее время по его делу ведется следствие. Но знал и то, что от Люпена можно ожидать чего угодно. К тому же детальное знакомство преступника с замком, с расположе-

нием картин и мебели наводило на самые мрачные размышления. Кто бы мог поведать ему о том, чего никто никогда не видел?

Барон взглянул на грозный силуэт замка, на крутой утес, служащий ему основанием, на окружавшую его реку и пожал плечами. Опасности нет никакой. Никто на свете не в силах пробраться в святая святых, где хранятся его коллекции.

Никто, кроме Арсена Люпена. Разве для него существуют ворота, подъемные мосты, стены? Что толку во всех запорах и засовах, если он решил добиться своего?

В тот же вечер барон написал в Руан прокурору Республики. Он угрожал, требовал помощи и защиты.

Ответ не заставил себя ждать: поскольку Арсен Люпен содержится в настоящее время под стражей в тюрьме Санте без права переписки, полученное бароном письмо следует считать проделкой мистификатора. Доказательством тому служили как логика и здравый смысл, так и очевидные факты. Тем не менее в целях предосторожности письмо было передано соответствующему эксперту, который заявил, что почерк, которым оно написано, не принадлежит заключенному, хотя и обнаруживает некоторое сходство с его рукой.

«Обнаруживает некоторое сходство»! Барону запали в память только эти три зловещих слова, в которых он усматривал признание в сомнении, какового, как ему казалось, вполне хватило бы для вмешательства правосудия. Его страхи усилились. Он без конца перечитывал письмо Люпена. «Мне придется лично позаботиться об их перевозке...» И эта точная дата: в ночь со среды 27 на четверг 28 сентября!..

Подозрительный и замкнутый барон не решился довериться слугам, чья преданность не казалась ему идеальной. В то же время его впервые за много лет мучило желание поделиться с кем-нибудь своими опасениями, посоветоваться. Брошенный на произвол судьбы правосудием, он больше не надеялся на собственные силы и уже подумывал о том, чтобы съездить в Париж и попросить там помощь у какого-нибудь отставного сыщика.

Так прошло два дня. На третий, читая газеты, он вздрогнул от радости. В «Заре Кодебека» ему попалась на глаза следующая заметка:

«Мы рады сообщить, что в стенах нашего города вот уже третью неделю обретается г-н Ганимар, полицейский инспектор, один из ветеранов сыскной службы. Совершив

свой очередной подвиг, арест Арсена Люпена, принесший ему известность во всей Европе, г-н Ганимар отдыхает здесь от трудов, занимаясь ужением пескарей и уклеек».

Ганимар! Да ведь именно такого защитника и искал барон Каорн! Кто, как не смекалистый и терпеливый Ганимар, сумел бы расстроить планы Люпена?

Барон не колебался ни минуты. Всего шесть километров отделяло замок от маленького городка Кодебек. Он одолел их бодрым шагом человека, окрыленного надеждой на спасение.

После нескольких неудачных попыток разузнать адрес инспектора он направился в редакцию «Зари», которая выходила прямо на набережную. Подведя его к окну, редактор заметки воскликнул:

— Ганимар? Я уверен, что вы найдете его где-нибудь на берегу. Там мы с ним и познакомились: я случайно прочел его имя на пластинке, прикрепленной к удочке. Смотрите-ка, да вот и он сам: вон тот старичок, что прогуливается по аллее.

— В рединготе и соломенной шляпе?

— Вот именно. Станный, скажу я вам, тип: слова из него клещами не вытянешь.

Пять минут спустя барон уже отыскал знаменитого сыщика, представился и попытался завязать разговор. Когда же ему это не удалось, он отбросил околичности и открыто изложил суть дела.

Инспектор выслушал барона, не отрывая глаз от поплавка, потом обернулся, смерил его взглядом и с видом глубокой жалости произнес:

— Запомните, месье, что грабители не имеют обыкновения предупреждать свои жертвы о готовящихся преступлениях. Арсен Люпен, в частности, никогда не совершал подобных промахов.

— И тем не менее...

— Будь у меня хоть какие-то сомнения на сей счет, я поступил бы чем угодно ради удовольствия упрятать нашего милейшего Люпена еще подальше. К сожалению, этот молодой человек уже находится под стражей.

— А если он убежит?..

— Из Санте невозможно убежать.

— Но ведь ему...

— Ни ему, ни кому другому.

— И однако...

— Если это ему удастся, тем лучше: я сам водворю его

на место. А вы тем временем спите спокойно и не мешайте мне ловить уклеек.

Беседа была окончена. Барон вернулся восвояси, несколько ободренный беззаботностью Ганимара. Он проверил засовы, понаблюдал за слугами и спокойно провел следующие двое суток, в течение которых почти сумел убедить себя, что, в общем, страхи его были безосновательными. Видно, прав был Ганимар, говоря, что грабители не имеют обыкновения предупреждать свои жертвы о готовящихся преступлениях.

Назначенная дата между тем приближалась. Во вторник утром, накануне 27-го, ничего особенного не произошло. Но в три часа дня раздался звонок — мальчишка-посыльный принес телеграмму.

«Багаж не прибыл на вокзал Батиньоль. Приготовьте все к завтрашнему вечеру. Арсен».

Барона снова охватила растерянность. Он даже подумал, не лучше ли ему уступить требованиям Люпена.

Он поспешил в Кодебек. Ганимар удил на том же месте, сидя на складном стуле. Не говоря ни слова, барон протянул ему телеграмму.

— Ну и что? — спросил инспектор.

— Как что? Да ведь это назначено на завтра!

— Что именно?

— Кража со взломом. Похищение моих коллекций!

Ганимар отложил удочку, обернулся к барону и, скрестив руки на груди, с раздражением воскликнул:

— Неужели вы думаете, что я намерен заниматься этой дурацкой историей?

— Какое вознаграждение попросите вы за то, чтобы провести в моем замке ночь с 27 на 28 сентября?

— Не нужно мне ни гроша, оставьте меня в покое.

— Назначьте вашу цену, я богат, очень богат.

Откровенность этого предложения несколько смутила Ганимара, и он продолжал более спокойным тоном:

— Я здесь в отпуске и не имею права вмешиваться...

— Никто об этом не узнает. Что бы там ни случилось, я обязуюсь хранить молчание.

— Уверяю вас, что ничего не случится.

— Устроит ли вас сумма в три тысячи франков?

Перед тем как ответить, инспектор взял понюшку табаку, подумал и наконец бросил:

— Ладно. Только должен честно вас предупредить, что вы швыряете деньги на ветер.

— Это меня не волнует.

— В таком случае... А впрочем, с этим чертовым Люпенom нужно держать ухо востро! У него под началом может оказаться целая банда... Вы доверяете своим слугам?

— Затрудняюсь сказать...

— Тогда не будем на них рассчитывать. Я дам телеграмму двум парням, с которыми хорошо знаком, с ними мы будем чувствовать себя в большей безопасности. Итак, до завтра, до девяти вечера.

На следующий день, день возможного ограбления, барон Каорн перебрал свою коллекцию оружия, наточил сабли и шпаги и отправился гулять по окрестностям Малаки. Ничего подозрительного не бросилось ему в глаза.

Вечером, в половине девятого, он отпустил своих слуг. Они жили в дальнем крыле замка, выходящем окнами на дорогу. Оставшись один, он тихонько отпер все четыре двери. И через несколько минут услышал звук приближающихся шагов.

Ганимар представил ему обоих своих помощников, рыжих детин с бычьими шеями и здоровенными ручищами, а потом попросил дать кое-какие объяснения. Ознакомившись с помещением, он тщательно запер и забаррикадировал все входы и выходы, которые вели в залы, где размещались коллекции. Осмотрел стены, приподнял ковры и, наконец, разместил своих молодчиков в центральной галерее.

— Будьте начеку, понятно? Вы сюда не спать явились. При малейших признаках тревоги открывайте окна во двор и зовите меня. И в сторону реки тоже посматривайте. Там десятиметровый обрыв, но эту чертову банду ничто не остановит.

Заперев их, он положил ключ в карман и обратился к барону:

— А теперь отправимся на наш наблюдательный пункт.

Он решил провести ночь в крохотной комнатухе, расположенной в толще крепостной стены, между двумя главными дверьми,— раньше она служила сторожкой. В каждой двери было по окошку — одно выходило на мост, другое — на двор замка. А на полу виднелось отверстие, похожее на устье колодца.

— Вы, помнится, говорили мне, господин барон, что этот колодец — единственный ход, ведущий в подземелье, и что на вашей памяти он всегда был замурован?

— Да.

— Стало быть, если только не существует другого лаза, не известного никому, кроме Люпена, что кажется

мне маловероятным, мы можем быть спокойны.

Он сдвинул вместе три стула, улегся на них поудобнее, закурил трубку и вздохнул:

— По правде говоря, господин барон, я взялся за столь пустяковое дело только потому, что очень уж мне хочется пристроить второй этаж к домишку, где я рассчитываю окончить свои дни. Когда я расскажу эту историю моему другу Люпену, он покатится со смеху.

А барону было не до смеха. Он напряженно вслушивался в тишину, его томило беспокойство. Время от времени он склонялся над колодцем, настороженно всматриваясь в его жерло.

Пробило одиннадцать часов, полночь, час ночи.

Внезапно барон схватил за руку Ганимара, который тут же вскочил со стульев.

— Вы слышите!

— Да.

— Что это такое?

— Это я храплю.

— Да нет же, прислушайтесь...

— Да, и в самом деле! Это автомобильный гудок.

— И что из этого следует?

— Да ровным счетом ничего. Нельзя же предположить, будто Люпен решил протаранить автомобилем стены вашего замка. Так что, господин барон, я бы на вашем месте тоже поспал... Чем я и намерен снова заняться. Спокойной ночи.

Эта тревога оказалась единственной. Ганимар погружился в непробудный сон, и до барона доносился только его могучий и равномерный храп.

На рассвете они покинули свою келью. Вокруг царило полное спокойствие, мирная заря занималась над замком, от воды тянуло свежестью. Каорн сиял от радости, Ганимар был по-прежнему невозмутим. Они поднялись по лестнице. Нигде ни звука. Ничего подозрительного.

— Ну, что я вам говорил, господин барон? Признаться по чести, не следовало мне принимать ваше предложение... Меня мучает совесть...

Он повернул ключ в замке и вошел в галерею.

Его подручные спали, сидя на стульях,— обмякшие, с повисшими до земли руками.

— Разрази вас гром, сукины дети! — взорвался инспектор.

И в тот же миг раздался вопль барона:

— Мои картины... мой комод!..

Заикаясь, еле переводя дыхание, он тыкал пальцем в голые стены, где торчали только гвозди и болтались веревки. Ватто исчез! Рубенсов не было и в помине! Гобелены пропали! В витринах не осталось ни одной драгоценной безделушки.

— А мои канделябры эпохи Людовика XVII!.. А подсвечник времен Регентства! А Богоматерь двенадцатого века!

Обезумевший, охваченный отчаянием, он метался взад-вперед, вспоминая цены похищенных вещей, прикидывая понесенные убытки, бормоча цифры попеременно с обрывками слов, с неоконченными фразами. Вне себя от ярости, он топал ногами, дергался всем телом. Можно было подумать, что он полностью разорен и ему остается только пустить себе пулю в лоб.

Если что-нибудь и могло его утешить, так это удрученный вид Ганимара, который застыл на месте, словно окаменел, и только исподлобья шарил вокруг взглядом. Окна? Закрыты. Дверные засовы? Не тронуты. Потолок не пробит. Пол не взломан. Везде царит полный порядок. Преступление, должно быть, было совершено спокойно и методично, по заранее выработанному плану.

— Арсен Люпен... Арсен Люпен,— бормотал он как в полусне.

А потом, охваченный вспышкой запоздалого гнева, внезапно набросился на своих подручных, принялся трясти их, расталкивать, осыпать проклятиями. Те продолжали спать.

— Черт побери,— воскликнул он,— это неспроста!..

Он склонился над ними, вглядывался в них повнимательней: да, они и впрямь спали, но сон их был неестественным.

— Их усыпили,— сказал он наконец барону.

— Но кто же это сделал?

— Он сам, черт побери!.. Или руководимая им банда. Это его почерк. Льва узнают по когтям.

— В таком случае все потеряно. Ничего не поделаешь.

— Ничего не поделаешь.

— Но это же ужасно, просто чудовищно.

— Подайте жалобу.

— Что в ней толку?

— Все равно попробуйте... У правосудия длинные руки...

— Правосудие! Вам ли о нем вспоминать! Сейчас, когда еще можно обнаружить какие-то следы, что-то установить, вы не двигаетесь с места.

— Обнаружить какие-то следы Арсена Люпена? Запомните, дорогой мой, что Арсен Люпен никогда не оставляет после себя никаких следов! Он действует наверняка! А может, он нарочно позволил арестовать себя в Америке, чтобы совершить это преступление?

— Значит, я должен навеки распрощаться с моими картинами, со всем остальным! Ведь у меня похитили жемчужины моей коллекции. Я отдал бы целое состояние, чтобы их вернуть. Если мы бессильны перед ним, пусть он назначит цену!

Ганимар посмотрел на барона в упор.

— Вот это здравые речи. Вы не откажетесь от своих слов?

— Нет, нет, и еще раз нет! А почему вы меня об этом спросили?

— У меня есть одна идея.

— Какая идея?

— Мы поговорим о ней в том случае, если следствие зайдет в тупик...— отозвался инспектор.— Только, прошу вас, никому ни слова, если вы желаете мне успеха.— И добавил сквозь зубы: — Ведь мне, по правде говоря, нечем пока похвалиться.

Тем временем оба его помощника мало-помалу приходили в себя. У них был такой ошалелый вид, словно они побывали под гипнозом. Они удивленно хлопали глазами, стараясь хоть что-нибудь понять. Когда Ганимар допросил их, оказалось, что у них начисто отшибло память.

— Неужели вы никого не видели?

— Нет.

— И ничего не помните?

— Ровным счетом.

— И ничего не пили?

Они малость помедлили, потом один из них признался:

— Я сделал глоток воды...

— Вот из этого графина?

— Ну да.

— Я тоже,— заявил второй.

Ганимар понюхал воду, попробовал ее на вкус. Никакого подозрительного привкуса, никакого запаха.

— Ну ладно,— сказал он наконец,— не будем даром терять время. Задачку, заданную нам Арсеном Люпенем, в пять минут не решишь. Но, черт побери, я клянусь, что снова упрячу его за решетку. Он заработает второй срок. Последнее слово остается за мной!

В тот же день барон Каорн подал в суд жалобу на Арсена

Люпена, содержащегося в Санте, за совершенную им дерзкую кражу.

И в скором времени пожалел о том, что сделал это: в его замке тут же появились прокурор и следователь, его за-полонили жандармы и журналисты, не говоря уже о прочих любителях совать нос куда не следует.

Происшествие взбудоражило всю округу. Оно произошло при столь необычных обстоятельствах, а имя Арсена Люпена до такой степени будоражило воображение, что страницы газет незамедлительно заполнились совершенно фантастическими историями, встречавшими, однако, полное доверие со стороны читателей.

Но письмо Арсена Люпена, опубликованное «Эхом Франции» (никто так и не дознался, кто передал газете этот текст), — письмо, в котором барон Каорн был самым оскорбительным образом предупрежден о готовящейся краже, изрядно накалило страсти. Тотчас посыпались самые невероятные объяснения. Многие вспомнили о существовании знаменитых подземных ходов. И прокуратура, поддавшись влиянию слухов, направила свои поиски именно в этом направлении.

Полицейские обшарили весь замок сверху донизу. Ощупали каждый камень. Проверили деревянную обшивку стен, каминные трубы, оконные переплеты и потолочные балки. При свете факелов обследовали огромные погреба, где сеньоры Малаки хранили некогда свои боевые и съестные припасы. Обшарили пустоты в скале. И все понапрасну. Никаких следов подземелья обнаружено не было. Подземный ход тоже оказался выдумкой.

Ладно, слышалось со всех сторон, но не могли же картины и комоды взять да испариться? Их можно вынести только через окна и двери, и люди, которые их вынесли, тоже должны были воспользоваться дверями и окнами. Но кто эти люди? Каким образом они проникли в замок? И как из него выбрались?

Убедившись в своем бессилии, прокуратура Руана обратилась за помощью к парижской полиции. Г-н Дюбуи, глава сыскной полиции, послал на место происшествия своих лучших сыщиков из так называемой «железной бригады». И сам провел в Малаки двое суток. Но удача не улыбнулась и ему.

Тогда он вызвал к себе инспектора Ганимара, услугами которого уже не раз пользовался.

Ганимар молча выслушал предписания своего начальника, потом, покачив головой, сказал:

— Мне кажется, что дальнейшие поиски в замке ни к чему не приведут. Это ложный путь. Решения нужно искать в другом месте.

— Где же?

— У Арсена Люпена.

— У Арсена Люпена? Но ведь это значит, что мы считаем его участником преступления!

— Именно так я и считаю. Более того, я в этом уверен.

— Послушайте, Ганимар, это ни в какие ворота не лезет. Арсен Люпен в тюрьме.

— Что правда, то правда. Он в тюрьме, он содержится под стражей, но, будь он даже скован по рукам и ногам, будь у него вдобавок кляп во рту, я все равно остался бы при своем мнении.

— Откуда у вас такая уверенность?

— Только ему под силу задумать преступление подобного размаха и осуществить его с таким успехом... с каким оно и было осуществлено.

— Все это слова, Ганимар.

— Но они отражают действительность. Нечего больше искать подземные ходы, вертящиеся каминны и тому подобную чепуху. Наш молодчик не прибегает к столь старомодным приемам. Он идет в ногу со временем, а то и обгоняет его.

— И что из этого следует?

— Я прошу у вас разрешения поговорить с ним один на один.

— В его камере?

— Разумеется. Возвращаясь из Америки, мы в течение всего путешествия поддерживали с ним наилучшие отношения, и, осмелюсь сказать, он даже проникся некоторой симпатией к человеку, который сумел схватить его за шиворот. Если он может сообщить мне необходимые сведения без ущерба для себя, я не пожалею о времени, потраченном на эту встречу.

Было немного за полдень, когда Ганимар вошел в камеру Арсена Люпена. Увидев его, лежавший на койке заключенный поднял голову и радостно закричал:

— Вот это сюрприз так сюрприз! Ганимар собственной персоной!

— Как видишь.

— О многом я мечтал в этом уединении, но самой большой моей мечтой оставалась встреча с тобой.

— Весьма польщен.

— Ты и представить себе не можешь, до какой степени я тебя уважаю.

— Искренне этим горжусь.

— Я всегда говорил: Ганимар — наш лучший сыщик. Он почти — как видишь, я с тобой совершенно откровенен, — он почти ни в чем не уступает Шерлоку Холмсу. Как жаль, что я не могу предложить тебе ничего, кроме вот этой скамейки. И с прохладительными напитками здесь туговато. Даже кружки пива не найдется. Извинение этому всего одно: я здесь временно.

Ганимар, улыбаясь, присел на предложенную ему скамейку, а заключенный продолжал, радуясь тому, что у него наконец-то нашелся собеседник.

— Господи, боже мой, как я рад увидеть порядочного человека. Как мне осточертели рожи всех этих шпигов и легавых, которые по десять раз на дню обшаривают мои карманы и обыскивают всю эту скромную камеру, чтобы удостовериться, что я не затеваю побег. Неплохо же, черт побери, заботится правительство!

— У него есть на то основания...

— Ну уж нет! Я был бы счастлив, если бы оно позволило мне жить, как я хочу!

— На чужие денежки...

— А почему бы и нет? Это было бы проще простого. Но я заболтался, говорю глупости, а ты, наверно, торопишься. Приступим к делу, Ганимар. Чем я обязан твоему визиту?

— Делом Каорна, — откровенно заявил Ганимар.

— Погоди-ка секунду... У меня столько этих дел, что все и не упомнишь. Дай пошевелить мозгами. А, вот и вспомнил. Дело Каорна, замок Малаки, Нижняя Сена. Два Рубенса, один Ватто и еще кое-какие мелочи.

— Ничего себе мелочи!

— Клянусь, бывают дела и покрупнее. Но если оно тебя интересует... Говори же, Ганимар.

— Должен ли я сообщать, на какой стадии находится следствие?

— Зачем это мне? Я читал сегодняшние газеты. И позволю себе сказать, что вы продвигаетесь не очень-то быстро.

— Именно поэтому я и обратился к тебе за помощью.

— Можешь полностью мною располагать.

— Сначала вот что: ты и в самом деле возглавлял эту операцию?

— От начала до конца.

— Сам послал письмо и телеграмму?

— Разумеется. У меня даже квитанции где-то сохранились.

Арсен открыл выдвижной ящик небольшого стола из некрашеного дерева, составлявшего, вместе со скамейкой и койкой, всю обстановку его камеры, достал оттуда два клочка бумаги и протянул их Ганимару.

— Я-то думал, что с тебя тут глаз не спускают,— воскликнул сыщик,— следят за каждым твоим шагом, обыскивают каждую минуту. А ты, оказывается, почитываешь газеты и коллекционируешь почтовые квитанции.

— Что взять с этих олухов? Они вспарывают подкладку моего пиджака, осматривают подметки, выстукивают стены. Но никому и в голову не приходит, что Арсен Люпен может быть таким простаком, чтобы прятать свои сокровища в столь доступном месте. На это я и рассчитывал.

Ганимар от души рассмеялся:

— Ну и чудной же ты парень! К тебе так просто не поступишься. А все-таки, расскажи мне, как было дело.

— Больно ты прыток! Посвяти его в тайны... Открой ему все секреты... Многого захотел!

— Выходит, я ошибался, рассчитывая на твою помощь?

— Ну уж если ты настаиваешь, так и быть...

Арсен Люпен пару раз прошелся по камере и начал с вопроса:

— Что ты думаешь о моем письме барону?

— Думаю, что ты хотел позабавиться, сыграть на публику.

— Ах, вот оно что — сыграть на публику! Поверь мне, Ганимар, я считал тебя умнее. Арсен Люпен не склонен к детским шалостям. Стал бы я заниматься писаниной, если бы мог облапошить барона и без письма? Да пойми же ты, что оно было необходимым отправным пунктом, пружиной, приводящей в действие всю машину. Давай вернемся вспять и попробуем вместе заново подготовить кражу в замке Малаки.

— Я весь внимание.

— Итак, возьмем замок, запертый со всех сторон, забаррикадированный,— словом, замок барона Каорна. Могу ли я отказаться от игры и вожаемых сокровищ под тем предлогом, что замок, в котором они хранятся, совершенно неприступен?

— Разумеется, нет.

— Могу ли я попытаться взять его приступом, во главе шайки разбойников?

— Ребяческая затея!

— Могу ли я пробраться в него так, чтобы меня не заметили?

— Это невозможно.

— Остается всего один способ, на мой взгляд единственный: постараться, чтобы меня пригласил в замок сам хозяин.

— Ничего не скажешь, оригинальный способ!

— И какой легкий! Предположим, что в один прекрасный день барон получает письмо, предупреждающее его о том, что готовит против него некий Арсен Люпен, знаменитый взломщик. Что он делает?

— Перешлет это письмо прокурору.

— А тот только посмеется над ним, поскольку упомянутый *Арсен Люпен содержится в настоящее время под стражей*. Далее, представим себе смятение нашего коллекционера, который готов просить помощи у первого встречного, разве не так?

— Вне всякого сомнения.

— А если ему попадется на глаза заметка в местной газетенке, где говорится, что некий известный сыщик отдыхает неподалеку...

— То он поспешит обратиться к этому сыщику.

— Вот именно. Но, с другой стороны, предположим, что Арсен Люпен, предвидя этот его поступок, попросит одного из самых ловких своих друзей обосноваться в Кодебеке, познакомиться с редактором тамошней «Зари» — *газеты, выпускаемой бароном*, — и представиться ему таким-то и таким-то, известным сыщиком... Что произойдет?

— Редактор объявит в «Заре» о том, что этот сыщик обретаётся в Кодебеке.

— Превосходно. И тогда случится одно из двух. Либо рыбка — я имею в виду Каорна — не клонет на крючок, и тогда замысел Люпена провалится. Либо — и это более вероятно — Каорн сам примчится к моему другу, прося у него защиты от Арсена Люпена.

— Оригинальней не придумаешь!

— Разумеется, псевдосыщик сначала отклонит просьбу Каорна. Тут подоспеет телеграмма Арсена Люпена. Перепуганный барон снова бросится к моему другу и предложит ему кругленькую сумму за бессонную ночь в замке. Друг согласится, приведет с собой пару молодчиков из

нашей шайки, которые в течение ночи, пока мой друг караулит Каорна, спустят кое-какие из его вещичек на веревке в окно, под которым стоит хорошая лодка, зафрахтованная *ad hoc*¹. Все это просто, как любой замысел Люпена.

— Все же чертовски ловко придумано, — воскликнул Ганимар, — у меня нет слов, чтобы похвалить и смелость плана, и точность его выполнения. Но я не знаю столь знаменитого полицейского, чтобы его имя могло до такой степени привлечь и обворожить барона.

— Такой полицейский есть — и он всего один на свете.

— Кто же это?

— Знаменитый сыщик, личный враг Арсена Люпена. Короче говоря, инспектор Ганимар.

— Я?

— Ты, Ганимар. И вот что тут самое восхитительное: если ты отправишься в замок и барон решит все тебе рассказать, окажется, что твой долг — арестовать себя самого, как ты арестовал меня в Америке. То-то было бы смеху: Ганимар, арестованный Ганимаром!

И Арсен Люпен от души расхохотался. Задетый за живое инспектор только кусал губы. Шутка показалась ему не особенно смешной.

Появление надзирателя, принесшего Люпену обед, помогло сыщику прийти в себя. В виде исключения Люпену позволялось заказывать блюда в ближайшем ресторане. Доставив поднос на стол, надзиратель удалился. Арсен разломил кусок хлеба, сделал два-три глотка и обернулся к Ганимару:

— Но будь спокоен, друг мой: тебе не придется отправляться в замок. Сейчас я скажу тебе нечто такое, от чего ты потеряешь дар речи: дело Каорна скоро будет закрыто.

— Что ты говоришь?

— Будет закрыто!

— Как же так? Ведь я только что из кабинета начальника сыскной полиции...

— Ну и что с того? Разве месье Дюбуи лучше меня осведомлен о том, что касается именно меня? Вернись в этот кабинет — и ты узнаешь, что Ганимар — то есть, прошу прощения, псевдо-Ганимар — остался в весьма хороших отношениях с бароном. И тот — это главная причина того, что он ничего не выболтал, — возложил на

¹ Специально для этого случая (лат.).

моего друга деликатное поручение: переговорить со мной на предмет возвращения ему похищенного в обмен на известную сумму денег. Вполне возможно, что в данный момент барон уже получил обратно свои безделушки. И следовательно, изъял свое заявление в полицию. Стало быть, никакого преступления не было. И прокуратуре придется прекратить следствие.

Ганимар удивленно посмотрел на заключенного:

— А откуда тебе это известно?

— Я только что получил телеграмму, которую ждал.

— Получил телеграмму?

— Сию минуту, дорогой мой. Из вежливости я не решился прочесть ее вслух. Но если ты не против...

— Ты дурачишь меня, Люпен.

— Будь любезен, дорогой мой, разбей осторожно это яйцо всмятку. И ты убедишься, что я и не думал тебя дурачить.

Ганимар стукнул по яйцу лезвием ножа и вскрикнул от изумления. В пустой скорлупе лежал клочок голубой бумаги. По просьбе Арсена он развернул его. То была телеграмма или, вернее, обрывок телеграммы без почтовых указаний. Он прочел:

«Договор заключен. Сто кусков получено. Все в порядке».

— Сто кусков? Что это значит?

— Сто тысяч франков! Не особенно много по теперешним временам... У меня столько расходов! Если бы ты знал мой бюджет... бюджет жителя большого города!

Ганимар поднялся. Его досада рассеялась. Несколько секунд он пребывал в задумчивости, пытаясь мысленно охватить все это дело целиком и найти в нем слабое место. И наконец произнес тоном, в котором сквозило восхищение знатока:

— К счастью, таких, как ты, раз-два и обчелся, иначе нам пришлось бы закрывать свою контору.

Арсен Люпен со скромным видом ответил:

— Нужно же было мне как-то развлечься, использовать досуг... тем более, что мой план мог осуществиться только в том случае, если я нахожусь в тюрьме.

— Вот это да! — воскликнул Ганимар. — Неужели тебя не развлекает следствие, общение с адвокатом и предстоящий процесс?

— Нисколько, ведь я не собираюсь участвовать в моем процессе.

— Как это так?

— Я не собираюсь участвовать в моем процессе, только и всего,— твердо повторил Люпен.

— В самом деле?

— Дорогой мой, неужели ты думаешь, что я собираюсь гнить здесь и дальше на тюремном тюфяке? Ты меня обижаешь. Арсен Люпен остается в тюрьме ровно столько времени, сколько ему нужно, и ни минутой больше.

— А может быть, ему было бы лучше и вообще там не появляться? — ироническим тоном заметил инспектор.

— Сударь изволит издеваться? Сударь не забыл, что имел честь участвовать в моем задержании? Знайте же, мой любезный друг, что никто на свете, включая вас, не смог бы взять меня за шиворот, если бы в столь критический момент это не совпадало бы с моими собственными интересами.

— Ты меня удивляешь.

— В тот момент, Ганимар, на меня смотрела женщина, которую я полюбил. Да понимаешь ли ты, что это такое — взгляд любимой женщины? Все остальное — сущая ерунда, уверяю тебя. Вот почему я здесь и оказался.

— И довольно давно, позволю себе заметить.

— Сначала я хотел все забыть. Не смейся: происшествие на корабле оказалось таким волнующим, что я до сих пор не могу его забыть... Я ведь отчасти неврастеник! А жизнь в наши дни — сплошная нервотрепка! Вот я и решил прибегнуть к способу лечения, который называется самоизоляцией. Это местечко показалось мне вполне подходящим. Не находите ли вы, что в названии тюрьмы Сантэ есть что-то схожее с санаторием?

— Арсен Люпен,— заметил Ганимар,— ты заплатишь за это лечение головой.

— Послушайте, Ганимар: сегодня у нас пятница. Обещаю вам, что в следующую среду, в четыре часа, я зайду к вам выкурить сигару у улицы Перголезе.

— Я жду тебя, Арсен Люпен.

Они обменялись рукопожатием, как добрые приятели, знающие цену друг другу, и старый полицейский направился к двери.

— Ганимар!

Сыщик обернулся:

— Что такое?

— Ганимар, ты забыл у меня часы.

— Часы?

— Ну да, они почему-то оказались у меня в кармане. Он с извинениями протянул их инспектору.

— Прости меня... Нет сил избавиться от дурной привычки... Но не могу же я лишать тебя часов только потому, что у меня отобрали мой брегет? Впрочем, я тут обзавелся другим хронометром, который вполне меня устраивает.

Он вынул из ящика стола солидные часы в золотой оплыве и с массивной цепью.

— А эти у тебя откуда? — полюбопытствовал Ганимар.

Арсен Люпен небрежно взглянул на монограмму:

— «Ж. Б.». Что бы это означало? Ах, да, вспомнил: это инициалы Жюля Бувье, моего следователя. Очаровательный человек, скажу я вам.

III

ПОБЕГ АРСЕНА ЛЮПЕНА

Когда Арсен Люпен, закончив обед, вынул из кармана роскошную сигару с золотым ободком и принялся любовно ее разглядывать, дверь номера отворилась. Он едва успел бросить ее в ящик стола и отскочить в сторону. Вошедший надзиратель объявил, что заключенному пора на прогулку.

— Я ждал тебя, милый друг! — воскликнул Люпен, не теряя прекрасного расположения духа.

Они вышли. И не успели скрыться за поворотом коридора, как в камеру проскользнули два инспектора и приступили к тщательному осмотру. Одного из них звали Дьёзи, другого — Фольанфан.

Нужно было покончить со всей этой историей. Сомнений не оставалось: Арсен Люпен поддерживает связь с внешним миром, переписывается с сообщниками. Как раз накануне «Большая газета» опубликовала несколько строк, обращенных к ее собственному судебному обозревателю:

«Сударь, в одной из своих недавних статей вы позволили себе в мой адрес выражения, которым не может быть извинения. За несколько дней до открытия слушания по моему делу я предъявлю вам за это счет. С наилучшими пожеланиями, Арсен Люпен».

Почерк оригинала не оставлял сомнений в том, что автором послания был Арсен Люпен. Следовательно, он отправлял письма. И получал их. Отсюда можно было заключить, что он и впрямь готовил побег, о котором с таким вызовом сообщалось в записке.

Нельзя было более терпеть подобную наглость. Заручившись поддержкой следователя, глава сыскной поли-

ции, месье Дюбуи, собственной персоной отправился в Санте, чтобы вместе с директором тюрьмы обсудить и принять необходимые меры. А тем временем отправил двух своих подчиненных для осмотра камеры Люпена.

Они перевернули все плитки на полу, разобрали постель, короче говоря, сделали все, что полагается делать в подобных случаях, но ровным счетом ничего не обнаружили. И уже собирались уйти ни с чем, когда в камеру ворвался запыхавшийся надзиратель:

— Ящик... загляните в ящик стола! Когда я сюда входил, мне показалось, что он задвигал его.

Полицейские последовали его совету. Дьёзи воскликнул:

— Ну, теперь-то он попался!

Фольанфан остановил его:

— Не спеши, малыш, пусть начальник тюрьмы сам сделает опись.

— Но ведь эта роскошная сигара...

— Оставь сигару в покое и ступай за начальником.

Через две минуты месье Дюбуи приступил к осмотру ящика. Прежде всего, он обнаружил в нем кипу газетных вырезок, отобранных агентством «Аргус», в которых шла речь об Арсене Люпене, затем кисет с табаком, трубку, стопку тончайшей бумаги и, наконец, пару книг.

Он взглянул на корешки. То было английское издание «Культа героев» Карлейля и прелестный эльзевир в старом переплете, немецкий перевод «Учебника Эпиктета», вышедший в Лейдене в 1634 году. Полистав книги, он заметил, что их страницы были сплошь усеяны подчеркиваниями, пометками, засечками от ногтей. Что это такое? Условные знаки или просто свидетельство внимательного чтения?

— Мы еще успеем в этом разобраться,— решил месье Дюбуи.

Он осмотрел кисет и трубку, потом схватил пресловутую сигару с золотым ободком:

— Черт побери, наш подопечный совсем недурно устроился! Самому Анри Клею не уступит!

Машинальным движением курильщика он поднес сигару к уху, повертел ее между пальцами и чуть не вскрикнул. «Гавана» треснула. Он всмотрелся в нее повнимательней и обнаружил, что между табачными листьями что-то белеет. С помощью булавки он осторожно извлек из сигары тоненький, не толще зубочистки, свиток бумаги. Это была записка. Он развернул ее и взгляделся в бисерный женский почерк: «Корзину заменили. Восемь на десять приготовлены.

При нажатии на внешнюю ступеньку пластинка поднимается. От двенадцати до шестнадцати ежедневно. Н. Р. будет ждать. Но где? Отвечай немедленно. Не беспокойтесь, ваш друг следит за вами».

Немного поразмыслив, месье Дюбуи изрек:

— Все это довольно ясно... корзина... восемь отделений... с двенадцати до шестнадцати, то есть от полудня до четырех...

— А что это за Н. Р.?

— Н. Р. в данном случае означает автомобиль. Н. Р., horse power, значит по-английски «лошадиная сила». Так на спортивном жаргоне обозначается мощность мотора. Например, 24 Н. Р.— это машина в двадцать четыре лошадиные силы.

Месье Дюбуи поднялся и спросил у надзирателя:

— Заключенный кончал обедать, когда вы вошли?

— Да.

— И поскольку он еще не прочел эту записку, как видно из состояния сигары, значит, он ее только что получил.

— Но каким образом?

— Сигара была спрятана среди провизии, в куске хлеба, например, или в картофелине.

— Это невозможно. Мы разрешили ему получать провизию из ресторана только затем, чтобы поймать его сличным, но пока нам ничего не удалось найти.

— Сегодня вечером нам придется поискать ответ Люпена. А пока подержите его вне камеры. Я отнесу записку следователю, и, если он со мной согласится, мы переснимем ее, а через час подсунем в ящик стола новую сигару той же марки с оригиналом послания. Люпен ни о чем не догадается.

Когда Дюбуи в сопровождении инспектора Дьёзи вернулся вечером в тюремную канцелярию, его разбирало любопытство. В углу, на печке, громоздились три грязные тарелки.

— Он успел поужинать?

— Да,— ответил директор.

— Дьёзи, потрудитесь-ка измельчить остатки макарон и раскрошить кусочки хлеба... Ничего?

— Ровным счетом ничего.

Месье Дюбуи обследовал тарелки, вилку, ложку и нож, обычный тюремный нож с тупым лезвием. Повертел его рукоятку влево и вправо. Она подалась и стала отвинчиваться. Рукоятка оказалась поллой, и там был клочок бумаги.

— Не очень-то хитрая уловка для такого плута, как

Арсен. Но не будем терять время. Вам, Дьёзи, придется сходить в ресторан и навести там кое-какие справки.

Потом он прочел:

«Я полагаюсь на вас, Н. Р. будет следовать на некотором расстоянии каждый день. Я выйду навстречу. До свиданья, мой дорогой и нежный друг».

— Наконец-то можно считать,— воскликнул Дюбуи, потирая руки,— что дело сдвинулось с места. Небольшое содействие с нашей стороны — и побег удастся... в той мере, в какой это необходимо для поимки сообщников.

— А что, если Арсен Люпен выскользнет у нас из рук? — возразил директор.

— У нас будет достаточно людей, чтобы этого не случилось. А если он окажется чересчур прытким, то, черт возьми, тем хуже для него. Что же касается его шайки, то, если главарь молчит, мы заставим разговориться сообщников.

Арсен Люпен и впрямь предпочитал держать язык за зубами. Уже который месяц следователь Жюль Буве бился над ним, но все понапрасну. Допросы превращались в пустую перепалку между следователем и мэтром Данвалем, одним из светил адвокатуры, который, впрочем, знал о своем подзащитном не больше, чем другие.

Время от времени Арсен Люпен снисходительно бросал:

— Не стану отпираться, господин следователь: ограбление Лионского банка, кража на Вавилонской улице, выпуск поддельных банкнот, история со страховыми полисами, кражи со взломом в замках Армений, Гуре, Амблевен, Малаки и Гроселье — все это дело рук вашего покорного слуги.

— В таком случае не могли бы вы объяснить...

— Не нахожу это возможным. Я признаюсь сразу во всем и даже в том, о чем вы и не подозреваете.

Доведенный до отчаяния, судья перестал его допрашивать. Но узнав о двух перехваченных записках, возобновил допросы. И теперь Арсена Люпена ежедневно, в полдень, доставляли из тюрьмы в префектуру полиции в тюремной карете, вместе с несколькими другими заключенными. Они возвращались в Санте часам к трем-четырем.

И вот однажды Арсену пришлось проделать обратный путь в одиночку, потому что остальных заключенных еще не успели допросить. Он поднялся в пустую карету.

Эти тюремные колымаги, называемые в просторечии «корзинками для салата», разделены внутри продольным коридором, в котором открываются двери десяти отсеков —

пять слева и пять справа,— отделенных друг от друга параллельными перегородками. В каждом отсеке — узкое сиденье для одного узника. Муниципальный надзиратель, сидящий в конце коридора, наблюдает за всеми отсеками.

Арсена поместили в третью клетушку справа, и тяжелая повозка тронулась. Он понял, что они миновали Часовую набережную и сейчас проезжают мимо Дворца правосудия. Подождав, когда карета окажется посреди моста Сен-Мишель, он попробовал нажать правой ногой на заднюю перегородку своего отсека. Тотчас же раздался щелчок и перегородка мало-помалу сдвинулась в сторону. Арсен увидел, что он находится как раз между двух колес.

Он выжидал, все время поглядывая в образовавшийся проем. Колымага поднималась по бульвару Сен-Мишель. На перекрестке Сен-Жермен ей пришлось остановиться: впереди пала кляча, запряженная в подводу. Движение застопорилось, фиакры и omnibusy запрудили проезжую часть.

Арсен Люпен просунул голову в проем. Рядом стояла еще одна полицейская карета. Он подался вперед, нащупал ногой спицу большого колеса и спрыгнул на землю. Заметив его, кучер соседнего экипажа расхохотался, а потом опомнился и поднял крик. Но голос его потонул в грохоте экипажей, которые возобновили движение. Впрочем, Арсен Люпен был уже далеко.

Пробежав несколько шагов по левому тротуару, он огляделся по сторонам, словно выбирая нужное направление. Потом, решившись, сунул руки в карманы и с беззаботным видом не спеша зашагал вверх по бульвару.

Стояла благодатная и свежая осенняя пора. Кафе были переполнены. Он уселся на веранде одного из них.

Заказал пива и пачку сигарет. Потихоньку осушил кружку, выкурил одну сигарету, начал другую. Потом поднялся и попросил гарсона позвать управляющего.

Когда тот подошел, Люпен сказал ему достаточно громко, чтобы слышали все окружающие:

— Весьма сожалею, сударь, но я забыл бумажник дома. Быть может, вам знакомо мое имя и вы могли бы предоставить кредит на несколько дней? Я — Арсен Люпен.

Управляющий уставился на него, приняв все это за шутку. Но Арсен повторил:

— Я — Арсен Люпен, заключенный тюрьмы Санте, в настоящее время нахожусь в бегах. Смею надеяться, что мое имя внушает вам полное доверие.— И удалился под

смех собравшихся. С него и не подумали требовать денег.

Он перешел наискосок улицу Суффло и, свернув на улицу Сен-Жак, не спеша зашагал по ней, останавливаясь перед витринами и покуривая сигареты. Но, добравшись до бульвара Пор-Ройаль, огляделся, спохватился и пошел прямо к улице Санте. Вскоре перед ним замаячила высокая и неприветливая тюремная ограда. Пройдя вдоль нее, он направился к стоящему на часах стражнику и, сняв шляпу, спросил:

— Это и есть тюрьма Санте?

— Ну да.

— Я хотел бы вернуться к себе в камеру. Я вышел из тюремной повозки по дороге и не хотел бы злоупотреблять случившимся...

— Идите своей дорогой,— проворчал стражник,— нечего вам тут задерживаться.

— Прошу прощения! Дело в том, что моя дорога лежит как раз через эти ворота. И если вы не пропустите в них Арсена Люпена, вам это может дорого обойтись, друг мой.

— Арсена Люпена? Что за чушь вы порете?

— К сожалению, у меня нет с собой визитной карточки,— сказал Арсен, хлопая себя по карманам.

Ошарашенный стражник смерил его взглядом. Потом, ни слова не говоря, дернул за шнурок звонка. Железные ворота приоткрылись.

Спустя несколько минут в тюремную канцелярию ворвался директор. Он размахивал руками и задыхался от притворного гнева. Арсен улыбнулся.

— Послушайте, господин директор, не разыгрывайте передо мной эту комедию. Подумать только! Меня словно бы по случайности оставляют одного в карете, подстраивают небольшой затор и воображают, будто я тут же во всю прыть помчусь к моим друзьям. А как же быть с двумя десятками переодетых полицейских, которые сопровождали меня пешком, в фиакрах и на велосипедах? Что они мне готовили? Да я бы из их рук не вышел живым! Так что скажите мне, господин директор, не на это ли вы рассчитывали? — Он пожал плечами и продолжал: — Попрошу вас, господин директор, больше обо мне не беспокоиться. Когда я сочту нужным бежать, мне не потребуется ничья помощь.

На следующий день «Эхо Франции», и впрямь превратившееся в официальный рупор подвигов Арсена Люпена,— поговаривали, будто он был одним из главных совладельцев этой газеты,— опубликовала подробный отчет о неудав-

шейся попытке бегства. Текст записок, которыми обменялись заключенный и его таинственная знакомая, обстоятельства этой переписки, пособничество полиции, прогулка по бульвару Сен-Мишель — все это было преподнесено жителям как на блюдечке. Сообщалось также, что опрос, произведенный инспектором Дюбуи среди служащих ресторана, не дал никаких результатов. А кроме того, выяснилось поразительное обстоятельство, говорившее о безграничности средств, которыми обладал заключенный: колымага, в которой его в тот раз перевозили, оказалась подставным экипажем: шайка Люпена заменила им одну из шести настоящих тюремных карет.

Предстоящий побег Люпена уже ни у кого не вызывал сомнений. Да и сам он, впрочем, говорил о нем, как о решенном деле, что явствовало хотя бы из его ответа месье Бувье на следующий день после описанных событий. Следовательно принялся потешаться над его неудачей, но Арсен оглядел его и холодно сказал:

— Выслушайте меня хорошенько, сударь, и поверьте моим словам: эта попытка побега являлась всего лишь частью моего плана.

— Я вас не понимаю,— ухмыльнулся следователь.

— И никогда не поймете,— отрезал заключенный.

А когда следователь вновь вернулся к допросу, стенограмма которого, кстати говоря, немедленно появилась на страницах «Эха Франции», Люпен воскликнул, скорчив усталую мину:

— Господи боже мой, к чему это все? Ваши вопросы не имеют ни малейшего смысла.

— Как это так — не имеют смысла?

— Да вот так. Представьте себе, что я не собираюсь присутствовать на собственном процессе.

— Не собираетесь присутствовать...

— Таково мое твердое и безоговорочное решение. Никто не сумеет меня переубедить.

Подобная самоуверенность и необъяснимая бестактность, проявлявшиеся каждый день, раздражали следователя и одновременно сбивали его с толку. Здесь крылась какая-то тайна, ключом к которой обладал только Арсен Люпен,— и, стало быть, только он мог раскрыть ее. Но как вырвать у него признание?

Люпена перевели в другую камеру, на нижний этаж. Одновременно следователь поставил точку в деле и передал его для подготовки обвинительного заключения. Наступила пауза. Она длилась два месяца. Арсен Люпен провел их, ле-

жа на койке лицом к стене. Судя по всему, перемена камеры сломила его. Он отказывался принимать адвоката. И едва обменивался несколькими словами с надзирателями.

Но за две недели до начала процесса он вроде бы ожил. Стал жаловаться на нехватку воздуха. По утрам, едва рассветет, двое конвоиров выводили его гулять на тюремный двор.

Любопытство публики, однако, не ослабевало. Каждый день все ждали сообщения о его побеге. И, можно сказать, желали ему удачи, настолько он нравился толпе — остроумный, веселый, многоликий, изобретательный, таинственный. Арсен Люпен должен был осуществить побег. Это было неизбежно, неотвратимо. Все только диву давались, отчего он так медлит. Каждое утро префект полиции спрашивал своего секретаря:

- Ну как, он еще не сбежал?
- Нет еще, господин префект.
- Стало быть, сбежит завтра.

А накануне процесса некий субъект явился в редакцию «Большой газеты», спросил судебного обозревателя и, бросив ему в лицо визитную карточку, поспешно удалился. На карточке значилось: «Арсен Люпен всегда верен своим обещаниям».

Вот при таких-то обстоятельствах и открылось слушание дела. Наплыв народа был громадный. Всем хотелось взглянуть на знаменитого Арсена Люпена, все заранее предвкушали, как он будет потешаться над председателем суда. Адвокаты и судьи, хроникеры и полицейские, художники и светские дамы — словом, весь Париж теснился на скамьях зала суда.

Было пасмурно, за окнами лил дождь, так что лицо Арсена Люпена, введенного конвоирами, едва можно было различить. Он вошел, тяжело ступая, неуклюже плюхнулся на скамью и застыл на ней, неподвижный, ко всему равнодушный. Все это не могло расположить к нему публику. Уже несколько раз его адвокат — один из секретарей месье Данваля, который посчитал зазорным для себя самолично взяться за это дело, — обращался к нему с вопросами. Но тот лишь качал головой и отмалчивался.

Секретарь зачитал обвинительный акт, после чего председатель суда произнес:

— Обвиняемый, встаньте. Ваша фамилия, имя, возраст и профессия?

Не получив ответа, он повторил:

— Ваша фамилия? Я спрашиваю, как ваша фамилия?

— Бодрю, а зовут Дезире.

По залу пробежал шепоток. Председатель продолжал:

— Дезире Бодрю? А, понимаю: ваше новое перевоплощение. Но поскольку это уже восьмое имя, под которым вы выступаете, и так как оно, без сомнения, такое же вымышленное, как и все остальные, то позвольте нам все-таки называть вас Арсеном Люпенем. Ведь именно под этим именем вы завоевали себе всеобщую известность.— Председатель полистал свои заметки и продолжал: — Ибо несмотря на все наши усилия, нам не удалось установить ваше подлинное имя. В современном обществе вы являетесь довольно оригинальным примером человека без прошлого. Мы не знаем, кто вы такой, откуда взялись, где прошло ваше детство,— короче говоря, ровным счетом ничего. Три года назад вы внезапно появились бог весть откуда под именем Арсена Люпена, человека, в котором диковинным образом сочетаются ум и извращенность, аморальность и щедрость. Данные, которыми мы располагаем о вашем прошлой жизни, можно считать скорее предположениями. Вполне возможно, что некий Роста, лет восемь назад служивший подручным у фокусника Диксона, был не кем иным, как Арсеном Люпенем. Возможно также, что некий русский студент, шесть лет назад работавший в лаборатории доктора Альтье при больнице Святого Людовика и частенько поражавший своего руководителя замысловатостью бактериологических гипотез и смелостью опытов по кожным болезням, был не кем иным, как Арсеном Люпенем. Не исключено, что Арсен Люпен был тем самым учителем японской борьбы, который обосновался в Париже задолго до того, как заговорили о джиу-джитсу. И тем велосипедистом, что, выиграв главный приз на Всемирной выставке, забрал свои десять тысяч франков и был таков. Арсен Люпен мог быть и тем ловкачом, который спас стольких людей во время пожара на благотворительной распродаже, а потом... обчистил их и скрылся.— Председатель сделал паузу и перешел к заключительной части своей речи: — Таковы факты, относящиеся к тому периоду вашей жизни, который был для вас лишь временем тщательной подготовки к борьбе против общества, временем ученичества, позволившим вам довести до высшей степени совершенства вашу силу, энергию и ловкость. Признаете ли вы подлинность изложенных фактов?

Во время этой речи обвиняемый сидел, заложив ногу за ногу, ссутулившись, уронив руки. При свете зажегшихся ламп было видно, что он страшно худ: впалые щеки, высту-

пающие скулы, землистый цвет лица, покрытого красноватой сыпью и обрамленного редкой клочковатой бородой. Тюрьма явно надломила и состарила Люпена. Куда девалась его стройная фигура и свежее лицо, знакомые публике по снимкам в газетах!

Он, казалось, не слышал обращенного к нему вопроса. Его пришлось повторить дважды. Тогда он поднял глаза, задумался и наконец с явным усилием пробормотал:

— Бодрю, а зовут Дезире.

Председатель не мог удержаться от смеха:

— Я не совсем понимаю выбранный вами способ защиты, Арсен Люпен. Если вам вздумалось разыгрывать из себя дурачка, воля ваша. Что же касается меня, я приступлю к делу, не обращая внимания на ваше кривлянье.

И он принялся во всех подробностях описывать преступления, вменяемые в вину Люпену. Иногда он задавал вопрос обвиняемому. Тот либо ворчал что-то невнятное, либо вовсе не отвечал.

Приступили к допросу свидетелей. Одни из них давали серьезные показания, другие говорили о пустяках, причем все без исключения противоречили друг другу. Эта атмосфера неясности царила в зале суда до тех пор, пока не был вызван главный инспектор полиции Ганимар, чье появление возбудило всеобщий интерес.

Впрочем, сначала старый полицейский несколько разочаровал публику. Вид у него был не то чтобы робкий — ему доводилось участвовать и не в таких процессах, — но какой-то беспокойный, неуверенный. Он то и дело с явным смущением оборачивался в сторону обвиняемого. Вцепившись обеими руками в трибуну, он рассказывал о происшествиях, с которыми ему пришлось столкнуться, о погоне через всю Европу, о прибытии в Америку. Его слушали с такой жадностью, будто он повествовал о каких-то необыкновенных приключениях. Но в конце показаний, уже намекнув на свои беседы с Арсеном Люпенем, он дважды запнулся, словно не решаясь продолжать речь.

Было ясно, что его одолевает какая-то подспудная мысль. Председатель суда сказал ему:

— Если вы чувствуете себя неважно, не лучше ли вам прервать показания?

— Нет, нет, вот только...

Он снова запнулся, внимательно оглядел человека, сидящего на скамье подсудимых, и продолжал:

— Я прошу позволения рассмотреть обвиняемого поближе, мне кажется, что здесь что-то неладно.

Он подошел поближе, посмотрел на него еще внимательней, еще сосредоточенней и, обернувшись к членам суда, торжественным тоном произнес:

— Господин председатель, я утверждаю, что человек, сидящий вот здесь, напротив меня, не является Арсеном Люпенем.

После этих слов в зале воцарилась полная тишина. Озадаченный председатель крикнул:

— Что за ерунду вы мелете? Вы с ума сошли?

Инспектор спокойно продолжал:

— Не спору, с первого взгляда можно обмануться: какое-то сходство между этим человеком и Люпенем существует. Но достаточно как следует приглядеться — и вы увидите, что нос, рот, волосы, цвет кожи — все это принадлежит не Люпену. А глаза! Да это же глаза алкоголика! А Люпен никогда не был пьющим.

— Хорошо, хорошо, но объяснитесь толком. К чему вы клоните?

— Да разве я знаю? Он подсунул вместо себя какого-то пропойцу, которому вы собираетесь вынести приговор. Добро, если бы он оказался хотя бы его сообщником!

Со всех сторон зала слышались возгласы, крики и смех — столь неожиданный поворот дела изрядно взбудоражил публику. Председатель велел пригласить следователя, директора тюрьмы и надзирателя и на время прервал заседание.

Когда же оно возобновилось, месье Бувье и директор, рассмотревшись в обвиняемого, заявили, что они находят лишь отдаленное сходство между ним и Арсеном Люпенем.

— Но кто же тогда этот человек? — вскричал председатель. — Откуда он взялся? Как попал в руки правосудия?

Ввели двух надзирателей Санте. И те, ко всеобщему удивлению, признали в нем заключенного, которого поочередно стерегли и выводили на прогулку.

Председатель облегченно вздохнул. Но один из надзирателей уточнил:

— Да, да, мне кажется, что это он.

— Вам кажется или вы уверены?

— Да я его, черт побери, едва видел. Мне передали его вечером, и с тех пор он два месяца только и делал, что лежал лицом к стене.

— А что было перед этим?

— Перед этим он занимал камеру № 24.

Директор тюрьмы пояснил:

— После попытки побега мы перевели заключенного в другую камеру.

— А вы сами, господин директор, видели его в течение этих двух месяцев?

— У меня не было в этом необходимости... он вел себя спокойно.

— И этот человек не является тем заключенным, который был вам передан?

— Нет.

— Тогда кто же он?

— Этого я не могу сказать.

— Стало быть, мы можем констатировать подмену, осуществленную два месяца назад. Как вы ее объясняете?

— Это невозможно.

— Что же дальше?

Председатель в отчаянии обернулся к обвиняемому и заискивающим тоном произнес:

— Вы не могли бы объяснить мне, каким образом вы очутились в руках правосудия?

Судя по всему, этот благожелательный тон смягчил недоверие незнакомца или вывел его из сонного оцепенения. Он попытался дать ответ. Подвергнутый терпеливому и мягкому допросу, он сумел с грехом пополам связать пару фраз, из коих явствовало, что два месяца назад его доставили в префектуру полиции. Он провел там ночь, а наутро его отпустили, предварительно снабдив суммой в 75 сантимов. Но едва он вышел во двор, двое агентов подхватили его под руки и втолкнули в полицейскую колымагу. С тех пор он обитал в камере № 24, не чувствуя себя особенно несчастным... кормят там неплохо... дают выпасться... так что оснований для жалоб у него не было.

Все это казалось вполне правдоподобным. Среди всеобщего смеха и возбуждения председатель отложил слушание дела до следующей сессии суда, чтобы собрать дополнительные сведения по данному вопросу.

Следствие тут же установило следующий факт, занесенный в полицейские протоколы: два месяца назад некий Дезире Бодрю и в самом деле провел ночь в префектуре полиции. Его освободили в два часа пополудни на следующий день. Как раз в это время Арсен Люпен после очередного допроса должен был покинуть префектуру в полицейской карете.

Неужели надзиратели сами допустили такую оплошность и, обманутые сходством обоих лиц, по невниматель-

ности сунули в колымагу этого пьянчугу вместо своего подопечного? Но подобная небрежность с их стороны вряд ли совместима с их служебным долгом.

А может быть, подмена была подготовлена заранее? Но, во-первых, двор префектуры — самое неподходящее место для ее осуществления, а во-вторых, в таком случае следовало бы предположить, что Бодрю был в сговоре с Люпенем и дал себя задержать с единственной целью занять его место. Каким же образом мог осуществиться этот план, основанный исключительно на стечении невероятных случайностей, немыслимых совпадений и поразительных упущений?

Дезире Бодрю был подвергнут антропометрическому обследованию; карточки, соответствующей его описанию, в архиве обнаружено не было. Тем не менее его следы отыскивались довольно легко. Этого бродягу знали в Курбевуа, Аньере и Левалуа. Он кланчил там милостыню и ночевал в халупах тряпичников, громоздящихся за заставой Терн. Впрочем, последний год он пропал из виду.

Неужели Арсен Люпен подкупил его? Никаких доказательств этому не было. Да если бы они и были, они ничего не прояснили бы в обстоятельствах побега заключенного. Чудо продолжало оставаться чудом. Для его объяснения было выдвинуто десятка два гипотез, но ни одна из них не выдерживала критики. В чем не оставалось сомнения, так это в самом факте побега — непостижимого и впечатляющего, в котором как публика, так и вершители правосудия усматривали основательную подготовку, совокупность тщательно продуманных и взаимосвязанных действий, развязка которых вполне оправдывала горделивое предсказание Арсена Люпена: «Я не собираюсь присутствовать на собственном процессе».

Целый месяц прошел в кропотливых поисках, а загадка так и оставалась загадкой. Нельзя было, однако, до бесконечности держать в заключении беднягу Бодрю. Процесс по его делу был бы смехотворным: какие обвинения можно было ему предъявить? Следовательно, пришлось подписать приказ о его освобождении. Но глава сыскной полиции велел установить за ним тщательное наблюдение.

Эту мысль подсказал ему Ганимар. С его точки зрения, Бодрю не был ни жертвой случая, ни сообщником Люпена, а всего лишь инструментом, которым тот воспользовался с присущей ему поразительной ловкостью. А когда Бодрю окажется на свободе, он может навести на след если не самого Люпена, то хотя бы кого-нибудь из его шайки.

В помощь Ганимару отрядили инспекторов Фольанфана и Дъэзи, и вот однажды, туманным январским утром, ворота тюрьмы распахнулись наконец перед Дезире Бодрю.

Поначалу он казался растерянным и шагал вперед неуверенно, словно бы соображая, куда же ему податься и что делать. Улица Санте привела его на улицу Сен-Жак. Там он остановился перед лавкой старьевщика, разоблачился до пояса, спустил владельцу жилет за несколько сантимов, а куртку снова надел и двинулся дальше по мосту через Сену. Возле Шатле с ним поравнялся омнибус. Он хотел было вскочить в него, но там не оказалось свободных мест. Кондуктор посоветовал ему взять билет и посидеть в зале ожидания.

Тут Ганимар подозвал к себе обоих своих подручных и, поглядывая на станцию омнибусов, приказал:

— Остановите фиакр... нет, лучше два, так будет благоразумнее. Я сяду с одним из вас, и мы последуем за ним.

Приказание было выполнено. Но Бодрю не появлялся. Ганимар заглянул в зал ожидания: там не было ни души.

— Ну и дурак же я,— пробормотал он,— забыл про второй выход.

И в самом деле, внутренний коридор соединял станцию с улицей Сен-Мартен. Ганимар бросился туда. И выбежал наружу как раз в тот самый миг, когда Бодрю вскочил на империал омнибуса, следовавшего по маршруту Батиньоль — Ботанический сад и как раз заворачивавшего за угол улицы Риволи. Он помчался вслед за ним и успел вскочить на подножку, но оба его помощника отстали, так что ему пришлось продолжать преследование в одиночку.

Вне себя от ярости, он хотел было безо всяких церемоний схватить бродягу за шиворот. Как ловко этот мнимый идиот обвел его вокруг пальца и оторвал от помощников!

Он взглянул на Бодрю. Тот подремывал, сидя на скамейке, его голова моталась из стороны в сторону. Рот был слегка приоткрыт, на лице застыло выражение невероятной тупости. Нет, такой противник неспособен тягаться со старым Ганимаром. Он воспользовался случаем, только и всего.

На перекрестке у магазина Галери Лафайет бродяга пересел из омнибуса в трамвай, идущий в Мюэтт. Они проехали по бульвару Оссмана, по проспекту Виктора Гюго. Бодрю сошел на последней остановке. И вразвалочку направился в сторону Булонского леса.

Там он принялся слоняться взад и вперед по аллеям,

то возвращаясь на те места, где уже был, то забираясь вглубь. Чего он искал? Какую цель преследовал?

Проплутав так целый час, он, видимо, порядком утомился. Высмотрел себе лавочку, стоявшую на берегу небольшого пруда, обсаженного деревьями, в совершенно пустынном месте неподалеку от Отёйля. Потеряв терпение, Ганимар решил поговорить с Бодрю.

Присел рядом с ним на лавочку, закурил сигарету, поводит концом трости по песку и наконец обронил:

— А сегодня довольно прохладно, вы не находите?

Бодрю не отозвался. И внезапно в тишине грянул раскат смеха, радостного, счастливого смеха — так хохочет ребенок, захлебываясь, не в силах совладать с собой. Ганимар почувствовал, что волосы у него на голове встают дыбом. Как знаком ему был этот смех, этот сатанинский смех!

Он вцепился в лацканы бродяги, всмотрелся в него еще внимательней, еще пристальней, чем в зале суда. Нет, перед ним был вовсе не жалкий побирушка, а тот, другой, настоящий... Или оба они вместе.

Сыщик продолжал всматриваться — и у него на глазах лицо бродяги преображалось, с него как бы спадала обветшавшая маска, сквозь которую проступали свежая кожа, искрящийся взгляд, губы, не обезображенные горькой складкой. Это были глаза Люпена, губы Люпена, это было его выражение лица — острое, живое, насмешливое, умное, ясное и молодое!

— Арсен Люпен, Арсен Люпен,— бормотал полицейский.

И внезапно, вне себя от ярости, он схватил его за горло, попытался повалить на землю. Несмотря на свои пятьдесят лет, он еще был полон сил, а его противник выглядел таким хилым! Вот будет здорово, если ему удастся вернуть беглеца!

Схватка оказалась короткой. Арсен Люпен почти не защищался, но Ганимар был вынужден выпустить добычу столь же неожиданно, как он схватил ее. Его правая рука плетью повисла вдоль тела.

— Если бы ты брал уроки джиу-джитсу на набережной Дезорфевр,— заметил Люпен,— ты знал бы, что этот прием называется по-японски уни-ши-ги.— И холодно добавил: — Еще секунда — и я сломал бы тебе руку, впрочем, именно этого ты и заслуживаешь. Как ты мог злоупотребить моим доверием — ты, мой старый друг, которого я настолько уважаю, что решился открыть перед тобой свое ин-

когнито... Ах, как нехорошо!.. И что это с тобой?

Ганимар молчал. Этот побег, который он сам же подстроил,— ведь разве не он своим заявлением ввел суд в заблуждение? — этот побег казался ему постыдным концом его карьеры. По седым усам сыщика скатилась слеза.

— Господи боже, да не убивайся ты так, Ганимар! Если бы ты не поторопился со своим заявлением, я подстроил бы так, чтобы выступил кто-то другой. Сам посуди: мог ли я допустить, чтобы этому Дезире Бодрю был вынесен несправедливый приговор?

— Так это ты был там? — пробормотал Ганимар.— А теперь оказался здесь?

— Ну конечно же.

— Возможно ли это?

— Никакого чуда в этом нет. Милейший председатель суда совершенно верно заметил, что десятка лет тщательной подготовки вполне достаточно для того, чтобы достойно встретить любые перевратности судьбы.

— А твое лицо? А глаза?

— Тебе ли не понимать, что я проработал полтора года в больнице Святого Людовика с доктором Альтье не только из чистой любви к медицине. Я решил, что тот, кому некогда выпадет честь называться Арсеном Люпенем, не должен зависеть от естественных законов, определяющих личность и внешность человека. Ибо что такое внешность? Ее можно перекроить на любой лад. Подкожная инъекция парафина заставит ваше лицо вздуться в нужном месте. Пирогалловая кислота превратит вас в краснокожего. Сок большого чистотела украсит великолепными лишаями и опухолями. Одно химическое вещество повлияет на рост бороды и волос, другое изменит тембр голоса. Прибавьте ко всему этому двухмесячный тюремный рацион в камере № 24 и ежедневные упражнения, позволяющие изменить мимику, посадку головы, осанку, не забудьте закапать в глаза атропин, придающий им диковатое и растерянное выражение,— и дело в шляпе.

— Но я не понимаю, как надзиратели...

— Превращение было постепенным. Они не могли заметить перемен, накапливающихся изо дня в день.

— А как же Дезире Бодрю?

— Он существует на самом деле. Я повстречался с этим полоумным год назад и заметил, что мы и впрямь несколько похожи. Предвидя возможный арест, я поместил его в надежное место и принялся наблюдать за ним, выискивая в его обличье прежде всего те черты, которые несвой-

ственным мне самому, чтобы затем воспроизвести их на собственном лице. Мои друзья устроили так, что ему пришлось провести ночь в префектуре, которую он покинул в то же время, что и я; это совпадение легко обнаружить. Заметь, что в префектуре должны были сохраниться следы его пребывания, иначе правосудие задалось бы вопросом, кто же я такой. А поскольку я подsunул ему эту великолепную приманку, оно должно было неизбежно — ты понимаешь, неизбежно — польститься на нее и, несмотря на всю неподобность подмены, признать ее в качестве свершившегося факта. Иначе ему пришлось бы расписаться в собственной некомпетентности.

— Да, да, так оно и есть,— пробормотал Ганимар.

— К тому же,— воскликнул Арсен Люпен,— в руках у меня был потрясающий козырь, припрятанный с самого начала: всеобщая уверенность в том, что я должен осуществить побег. Вот здесь-то все блюстители правосудия, не исключая и тебя, сделали грубый промах в развернувшейся между нами азартной игре, ставкой в которой была моя свобода: вы в который раз внушили себе, что я просто-напросто бахваюсь, что я, словно какой-нибудь желторотый юнец, потерял голову от собственных успехов. Но Арсену Люпену несвойственны подобные слабости. Как и во время следствия по делу Каорна, вы не сказали себе: «Раз Арсен Люпен на все лады трезвонит о предстоящем побеге, значит, у него есть основания для этого». Да пойми же, черт побери, что для того, чтобы совершить побег, не покидая стен тюрьмы, нужно заранее убедить всех в его неизбежности. Нужно, чтобы все уверовали в него, чтобы этот предстоящий побег стал непреложной истиной, всеобщим убеждением. И я сумел внушить всем эту истину: Арсен Люпен сбежит, Арсен Люпен не собирается присутствовать на собственном процессе! И когда ты заявил на суде, что «этот человек не является Арсеном Люпенем», все тут же поверили в правоту твоих слов. Да если бы хоть кто-то усомнился в этом, хоть кто-то высказал робкое возражение, я в ту же минуту проиграл бы всю партию! Достаточно было как следует непредвзято приглядеться ко мне, несмотря на все мои уловки, я был бы опознан. Но я был спокоен. И логически, и психологически такое простейшее предположение не могло прийти в голову никому.

Внезапно он схватил Ганимара за руку:

— Признайся, Ганимар, что через неделю после нашего свидания в тюрьме Санте ты ждал меня у себя дома в четыре часа, как я обещал.

— А как же твоя тюремная карета? — спросил Ганимар, пропустив его слова мимо ушей.

— То был чистейший блеф! Мои друзья отыскиали и привели в порядок эту старую колымагу, чтобы попытаться осуществить побег. Я понимал, что он не может удалиться без необыкновенного стечения обстоятельств, но счел нужным довести дело до конца, чтобы затем придать ему самую широкую огласку. Блистательно задуманная первая попытка придавала второй характер заведомо удачного предприятия.

— Так что сигара...

— ...была моим собственным изобретением. Равно как и нож с полый рукояткой.

— А записки?

— Я писал их сам.

— А ваша таинственная корреспондентка?

— Она была всего лишь одной из моих ипостасей. Я способен подделать любой почерк.

Немного подумав, Ганимар полюбопытствовал:

— Как могло получиться, что антропометрическая служба, заполняя карточку Бодрю, не заметила, что ее данные совпадают с данными Арсена Люпена?

— Карточки Арсена Люпена не существует.

— Полноте!

— Или по крайней мере она фальшива. Я много занимался этим вопросом. Система Бертильона включает прежде всего словесное описание — ты сам убедился, сколь оно несовершенно, — а затем следуют различные обмеры: головы, пальцев, ушей и т. д. С этим ничего не поделаешь.

— И как же ты поступил?

— Мне пришлось раскошелиться. Еще до моего возвращения из Америки один из сотрудников антропометрической службы за приличную мзду проставил неверную цифру в самом начале обмеров. Этого было достаточно, чтобы и остальные данные сместились, так что вся карточка вовсе не соответствует действительности и не совпадает с карточкой Бодрю.

После некоторой паузы Ганимар задал еще один вопрос:

— А что же ты собираешься делать теперь?

— Теперь, — воскликнул Люпен, — я собираюсь отдохнуть, как следует подкормиться и мало-помалу прийти в себя. Нелегко, конечно, побывать в шкуре Бодрю или еще кого-нибудь, сменить свою личность, как рубашку, выбрать новую внешность, голос, взгляд, почерк. Но наступает момент, когда за всем этим ты перестаешь видеть

самого себя,— и тебе становится весьма грустно. Сейчас я испытываю те самые чувства, которые, должно быть, томил человека, потерявшего свою тень. Я отправлюсь на поиски своей тени... я должен ее отыскать.

Он встал и принялся расхаживать взад и вперед по аллее. Начинало смеркаться. Наконец он остановился перед Ганимаром:

— Как по-твоему, нам нечего больше друг другу сказать?

— Хотелось бы мне знать,— ответил инспектор,— собираешься ли ты поведать всему свету правду о своем побеге... Ведь допущенная мною оплошность...

— О, никто и никогда не узнает, что сегодня на свободу был отпущен не кто иной, как Арсен Люпен. Мне выгодно, чтобы клубящийся вокруг меня таинственный мрак не рассеивался, чтобы мой побег навсегда остался в памяти людей таким волшебным трюком. Так что не бойся ничего, мой добрый друг, и прощай. Я сегодня ужинаю в городе, мне надо успеть переодеться.

— А я-то думал, что ты собираешься отдохнуть.

— Увы! Существуют светские обязательства, которыми невозможно пренебречь. Отдыхать я начну только завтра.

— И где же ты ужинаешь?

— В английском посольстве.

Содержание

От Лекока до Люпена. <i>В. Балахонов</i>	3
Э. Габорио. Дело вдовы Леруж. <i>Перевод Е. Баевской и Л. Цывьяна</i>	23
Г. Леру. Духи Дамы в черном. <i>Перевод И. Русецкого</i>	339
М. Леблан. Арсен Люпен — джентльмен-грабитель. <i>Перевод Н. Боровских</i>	555

ДЕЛО ВДОВЫ ЛЕРУЖ

Романы

Перевод с французского

Редактор О. С. Богданова
Художник Ю. А. Ноздрин
Художественный редактор В. А. Пузанков
Технический редактор М. Г. Акколаева
Корректор М. А. Таги-Заде

ИБ № 17487

**Сдано в набор 24.08.89. Подписано в печать 22.02.90. Формат 84 × 108¹/₃₂.
Бумага офсетная № 2. Гарнитура тип таймс. Печать офсетная. Условн. печ. л.
31,92. Усл. кр.-отт. 31,92. Уч.-изд. л. 37,30. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1095.
Цена 5 р. 90 к. Изд. № 45504**

**Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Прогресс» Государственного
комитета СССР по печати
119847, ГСП, Москва, Г-21, Zubовский бульвар, 17**

**Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного коми-
тета СССР по печати
143200, Можайск, ул. Мира, 93**

